

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ

Сборник
современной
прозы

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ





Д. ЧУКОВСКАЯ



И. ГРЕКОВА



Б. ОКУДЖАВА



Н. ШМЕЛЕВ



М. КУРАЕВ



С. КАЛЕДИН



Е. ПОПОВ



Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ



Г. ГОЛОВИН



Ф. ИСКАНДЕР



Т. ТОЛСТАЯ

ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА



**«ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА» ОСНОВАНА В 1987 ГОДУ
ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО СПРОСА
СОЦИОЛОГАМИ ИНСТИТУТА КНИГИ
ЕЖЕГОДНАЯ ПРОГРАММА СЕРИИ УТВЕРЖДАЕТСЯ
ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
«КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»**

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ

*Сборник
современной
прозы*



МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО "КНИЖНАЯ ПАЛАТА" 1989

ББК 84Р7
П62

Послесловие *И. А. Дедкова*
Художник *Г. Д. Расторгуев*

Последний этаж: Сборник современной прозы.— М.:
П62 Кн. палата, 1989.—432 с.— (Попул. б-ка).
ISBN 5-7000-0159-4

В сборник «Последний этаж» вошли повести и рассказы Л. Чуковской, И. Грековой, Б. Окуджавы, С. Каледина, Т. Толстой и других авторов. Некоторые из этих писателей имеют многолетнюю литературную известность, другие только завоевывают читательское внимание. Произведения, вошедшие в сборник, несмотря на разное время их создания, были опубликованы лишь в самые последние годы. И это не случайно: все они ведут речь о тех сферах нашей жизни, которые до недавнего времени были скрыты от внимания литературы и тем не менее полны острейших драм, эмоций и конфликтов.

П 4702010201-098 Без объявл.
008(01)-89

ББК 84Р7

ISBN 5-7000-0159-4

© Состав, послесловие, художественное оформление.
Издательство «Книжная палата», 1989

Л. ЧУКОВСКАЯ

Софья Петровна

1

После смерти мужа Софья Петровна поступила на курсы машинописи. Надо было непременно приобрести профессию: ведь Коля еще не скоро начнет зарабатывать. Окончив школу, он должен во что бы то ни стало держать в институт. Федор Иванович не допустил бы, чтобы сын остался без высшего образования... Машинка давалась Софье Петровне легко; к тому же она была гораздо грамотнее, чем эти современные барышни. Получив высшую квалификацию, она быстро нашла себе службу в одном из крупных ленинградских издательств.

Служебная жизнь всецело захватила Софью Петровну. Через месяц она уже и понять не могла, как это она раньше жила без службы? Правда, по утрам неприятно было вставать в холоде, при электрическом свете, зябко было ожидать трамвая в толпе невыспавшихся, мрачных людей; правда, от стука машинок к концу служебного дня у нее начинала болеть голова — но зато как увлекательно, как интересно оказалось служить! Девочкой она очень любила ходить в гимназию и плакала, когда ее из-за насморка оставляли дома, а теперь она полюбила ходить на службу. Заметив ее аккуратность, ее быстро назначили старшей машинисткой — как бы заведующей машинописным бюро. Распределять работу, подсчитывать страницы и строчки, скалывать листы — все это нравилось Софье Петровне гораздо больше, чем самой писать на машинке. На стук в деревянное окошечко она отворяла его и с достоинством, немногословно принимала бумаги. По большей части это были счета, планы, отчеты, официальные письма и приказы, но иногда рукопись какого-нибудь современного писателя. «Будет готово через 25 минут, — говорила Софья Петровна, взглянув на большие часы. — Ровно. Нет, ровно через 25, не раньше», — и захопывала окошечко, не пускаясь в разговоры. Подумав, она давала бумагу той машинистке, которую считала наиболее подходящей для данной работы, — если бумагу приносила секретарша директора, то самой быстрой, самой грамотной и аккуратной.

В молодости, скучая, бывало, в те дни, когда Федор Иванович надолго уходил с визитами, она мечтала о собственной швейной мастерской. В большой, светлой комнате сидят миловидные девушки, наклонясь над ниспадающими волнами шелка, а она показывает им фасоны и во время примерки занимается светской беседей элегантных дам. Машинописное бюро было, пожалуй, еще лучше: как-то значи-

тельнее. Софье Петровне зачастую теперь доводилось первой, еще в рукописи, прочесть какое-нибудь новое произведение советской литературы — повесть или роман, — и хотя советские романы и повести казались ей скучными, потому что в них много говорилось о боях, о тракторах, о заводских цехах и очень мало о любви, — она всё-таки бывала польщена. Она стала завивать свои рано поседевшие волосы и во время мытья добавляла в воду немного синьки, чтобы они не желтели. В черном простом халатике — но зато в воротничке из старых настоящих кружев — с остро очиненным карандашом в верхнем кармане, она чувствовала себя деловитой, солидной и в то же время изящной. Машинистки побаивались ее и за глаза называли классной дамой. Но слушались. И она хотела быть строгой, но справедливой. Она приветливо беседовала в перерыве с теми из них, которые писали старательно и грамотно, — беседовала о трудностях директорского почерка и о том, что красить губы вовсе не всем идет, — а с теми, кто писал «репитиция» и «коликтив», держала себя надменно. Одна из барышень, Эрна Семеновна, сильно действовала Софье Петровне на нервы: ошибка чуть ли не в каждом слове, нахально курит и болтает во время работы. Эрна Семеновна смутно напоминала Софье Петровне одну наглуемую горничную, служившую у них когда-то в старое время. Горничную звали Фани, она грубила Софье Петровне и флиртowała с Федором Ивановичем... И за что только такую держат?

Больше всех машинисток в бюро нравилась Софье Петровне Наташа Фроленко, скромная, некрасивая девушка с зеленовато-серым лицом. Она всегда писала без единой ошибки, поля и красные строки получались у нее удивительно элегантно. Глядя на ее работу, казалось, будто и на бумаге написана она какой-то особенной, и машинка, наверное, лучше, чем другие машинки. Но в действительности и бумага и машинка были у Наташи самые обыкновенные, а весь секрет, подумать только, заключался в одной аккуратности.

Машинописное бюро было отделено от всего учреждения деревянной форточкой, покрытой коричневым лаком. Дверь была постоянно заперта на ключ, и разговоры велись через форточку. В первое время Софья Петровна никого в издательстве не знала, кроме своих машинисток да еще курьерши, разносившей бумаги. Но постепенно перезнакомилась со всеми. Миновали какие-нибудь две недели, и в коридоре к ней уже подходил поболтать солидный, лысый, но моложавый бухгалтер: оказывается, он узнал Софью Петровну — когда-то, лет двадцать тому назад, Федор Иванович очень успешно лечил его. Бухгалтер увлекался лодочным спортом и западноевропейскими танцами — и Софье Петровне было приятно, что он и ей посоветовал записаться в их танцевальный кружок. С ней начала здороваться пожилая и вежливая секретарша директора, ей кланялся и заведующий отделом кадров, а также один известный писатель, красивый, седой, в бобровой шапке и с монограммой на портфеле, всегда приезжавший в издательство в собственной машине. Писатель даже спросил у нее однажды, как ей понравилась последняя глава его романа. «Мы, литераторы, давно заметили, что машинистки — самые справедливые судьи. Право, — сказал он, показывая в улыбке ровные вставные зубы, — они судят

непосредственно, они не одержимы предвзятыми идеями, как товарищи критики или редакторы». Познакомилась Софья Петровна и с парторгом Тимофеевым, хромым, небритым человеком. Он был хмур, говорил, глядя в пол, и Софья Петровна слегка побаивалась его. Изредка он подзывал к деревянному окошечку Эрну Семеновну — с ним приходил завхоз, Софья Петровна отпирала дверь, и завхоз перетаскивал машинку Эрны Семеновны из машинописного бюро в спецчасть. Эрн Семеновна следовала за своей машинкой с победоносным видом: как объяснили Софье Петровне, она была «засекречена», и парторг вызывал ее в спецчасть переписывать секретные партийные бумаги.

Скоро Софья Петровна знала уже всех в издательстве — и по фамилиям, и по должностям, и в лицо: счетоводов, редакторов, техреда, курьерш. В конце первого месяца своей службы она впервые увидела директора. В директорском кабинете был пушистый ковер, вокруг стола — глубокие мягкие кресла, а на столе — целых три телефона. Директор оказалась молодым человеком лет тридцати пяти, не более, хорошего роста, хорошо выбритым, в хорошем сером костюме, с тремя значками на груди и с вечным пером в руке. Он беседовал с Софьей Петровной какие-нибудь две минуты, но за эти две минуты трижды звонил телефон, и он говорил в один, сняв трубку с другого. Директор сам пододвинул ей кресло и вежливо спросил, не будет ли она так добра остаться сегодня вечером для сверхурочной работы? Она должна пригласить машинистку по своему выбору и продиктовать ей доклад. «Я слышал, вы прекрасно разбираете мой варварский почерк», — сказал он ей и улыбнулся. Софья Петровна вышла из кабинета гордая его властью, польщенная его доверием. Воспитанный молодой человек. Про него рассказывают, будто он рабочий, выдвиженец, — и действительно, руки у него, кажется, грубые, — но в остальном...

Первое общее собрание служащих издательства, на котором довелось присутствовать Софье Петровне, показалось ей скучным. Директор произнес коротенькую речь о приходе к власти фашистов, о поджоге рейхстага в Германии и уехал на своем «форде». После него выступил парторг, товарищ Тимофеев. Говорить он не умел. Между двумя фразами он замолкал так прочно, что, казалось, никогда не заговорит опять. «Мы должны кон-стан-тировать...» — скучно говорил он и умолкал. «Наш производственный портфель...»

Потом выступила председательница месткома, полная дама с камеей на груди. Потирая и поламывая свои длинные пальцы, она произнесла, что ввиду всего происшедшего в первую очередь необходимо уплотнить рабочий день и объявить беспощадную войну опозданиям. Напоследок истерическим голосом она сделала краткое сообщение о Тельмане и предложила всем служащим записаться в МОПР. Софья Петровна плохо понимала, о чем речь, ей было скучно и хотелось уйти, но она боялась, что это не полагается, и строго взглянула на одну машинистку, пробиравшуюся к дверям.

Однако скоро и собрания перестали быть скучными для Софьи Петровны. На одном из них директор, докладывая о выполнении плана, говорил, что высокие производственные показатели, которых

надо добиваться, зависят от сознательной трудовой дисциплины каждого из членов коллектива — не только от сознательности редакторов и авторов, но и уборщицы, и курьерши, и каждой машинистки. «Впрочем, — сказал он, — надо признать, что машинописное бюро под руководством товарища Липатовой работает уже и в настоящий момент с исключительной четкостью».

Софья Петровна покраснела и долго не решалась поднять глаз. Когда она решилась, наконец, посмотреть кругом, все люди показались ей удивительно добрыми, красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры.

2

Все свободное время Софья Петровна проводила теперь с Наташей Фроленко. А свободного времени становилось у нее все меньше и меньше. Сверхурочная работа, а чаще того — заседания месткома, куда все время кооптировали Софью Петровну, отнимали у нее чуть ли не все вечера. Коля все чаще должен был сам разогревать себе обед и в шутку называл Софью Петровну: «мама-общественница». Местком поручил ей собирать профсоюзные взносы. Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии. Ей нравилось, что можно в любую минуту войти в торжественный кабинет директора и шутливо напомнить ему о его четырехмесячном долге, и он так же шутливо извинится перед терпеливыми товарищами из месткома, вынет бумажник и заплатит. Даже хмурому парторгу можно было безо всякого риска напоминать о долгах.

В конце первого года службы в жизни Софьи Петровны произошло торжественное событие. Она выступила на общем собрании служащих от имени всех беспартийных работников издательства. Произошло это так. В издательстве ждали приезда каких-то ответственных московских товарищей. Завхоз, лихой паренек с пронзительным пробором, похожий на офицерского денщика, целыми днями носился по издательству, на собственной спине таская какие-то рамы, и в самое неподходящее время напустил на машинописное бюро полотеров. Однажды, в коридоре, к Софье Петровне подошел хмурый парторг. «Партийная организация совместно с месткомом, — сказал он, глядя по обыкновению в пол, — наметила тебя... — он поправился, — вас... давать обещание от имени беспартийных активистов».

Работы накануне приезда москвичей стало множество. Бюро писало всё какие-то отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер Софья Петровна с Наташей оставались на сверхурочную работу. Машинки глухо стучали в пустой комнате. Кругом, в коридорах и кабинетах, было темно. Софья Петровна любила эти вечера. Окончив работу, перед тем как из светлой комнаты выйти во тьму коридора, они с Наташей подолгу беседовали возле своих машинок. Наташа говорила мало, но прекрасно умела слушать. — Вы заметили, что у Анны Гри-

горьевны (это была предместкома) всегда грязные ногти? — спрашивала Софья Петровна. — А еще носит каменю, завивается. Лучше бы руки почаще мыла... Эрна Семеновна ужасно действует мне на нервы. Она такая наглая... И вы заметили, Наташа, что Анна Григорьевна всегда как-то иронически отзывается о парторге? Не любит она его... Поговорив о предместкома и парторге, Софья Петровна рассказывала Наташе о своем романе с Федором Ивановичем и о том, как Коля упал под корыто, когда ему было полгода. И какой это был хорошенький мальчик, на улице все оборачивались. Его одевали во все белое: белая пелеринка и белый капор. Наташе как-то не о чем было рассказывать — ни одного романа. «Впрочем, с таким цветом лица...» — думала Софья Петровна. В жизни Наташи были одни неприятности. Отец ее, полковник, умер в 17-м году от разрыва сердца. Наташе тогда едва исполнилось пять лет. Дом у них отняли, и они вынуждены были переехать к какой-то парализованной родственнице. Мать ее была избалованная, беспомощная женщина, они жестоко голодали, и Наташа чуть ли не с пятнадцати лет поступила на службу. Теперь Наташа осталась совсем одна: мать в позапрошлом году умерла от туберкулеза, родственница скончалась от старости. Наташа сочувствовала советской власти, но когда она подала заявление в комсомол, — ее не приняли. — Мой отец был полковник и домовладелец, и, понимаете, мне не верят, что я могу сочувствовать искренно, — говорила Наташа, шурясь. — С марксистской точки зрения, может быть, это и правильно...

У нее краснели веки каждый раз, как она рассказывала об этом отказе, и Софья Петровна поспешно переводила разговор на другое.

Наступил торжественный день. Портреты Ленина и Сталина вставили в новые рамы, собственноручно принесенные завхозом, письменный стол директора покрыли красным сукном. Московские гости — двое полных мужчин в заграничных костюмах, в заграничных галстуках и с заграничными вечными перьями в верхних карманах сидели рядом с директором за столом под портретами и вынимали бумаги из туго набитых заграничных портфелей. Парторг в косовороточке и в пиджачке казался рядом с ними совсем невзрачным. Лихой завхоз и лифтерша Марья Ивановна то и дело вносили на подносах чай, бутерброды и фрукты, предлагали их гостям и директору, а затем уже и всем присутствующим.

От волнения Софья Петровна не в силах была слушать речи. Как замороженная смотрела она, не отрывая глаз, на колеблющуюся воду графина. По слову председателя она подошла к столу, повернулась сначала лицом к директору и гостям, потом спиной к ним, потом стала боком и сложила руки у пояса, как ее учили в детстве, когда она декламировала французские поздравительные стихи. — От имени беспартийных работников, — сказала она дрожащим голосом, и потом дальше, всё свое обещание о повышении производительности труда — всё, что они составили вместе с Наташей и она выучила наизусть.

Вернувшись домой, она долго не ложилась спать, поджидая Колю, чтобы рассказать ему о собрании. Коля сдавал последние школьные зачеты и все вечера проводил у своего любимого товарища, Алика Финкельштейна: они занимались вместе. Софья Петровна прибрала

кое-что в комнате и вышла в кухню разжигать примус. «Какая жалость, что вы не служите,— сказала она добродушной жене милиционера, которая мыла посуду.— Столько впечатлений, это так много дает в жизни. Особенно, если ваша служба имеет касательство к литературе».

...Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем, и Софья Петровна поставила перед ним тарелку щей. Облокотясь на стол против Коли и глядя, как он ест, она только что собралась рассказать ему про свое выступление, как — «знаешь, мама? — сказал он,— я теперь комсомолец, меня сегодня утвердили на бюро». Сообщив эту новость, он без передышки перешел к другой, набивая полный рот хлебом: в школе у них случился скандал — «Сашка Ярцев — этаким старорежимный балбес... («Коля, я не люблю, когда ты ругаешься», — перебила Софья Петровна.) Да не в этом дело: Сашка Ярцев обозвал Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня на ячейке постановили устроить показательный товарищеский суд. Знаешь, кого назначили общественным обвинителем? Меня!»

Поужинав, Коля сразу лег спать, и Софья Петровна тоже легла за своей ширмой, и в темноте Коля читал ей наизусть Маяковского. «Правда, мама, гениально?» — и, когда он дочитал, Софья Петровна рассказала ему о собрании. «Ты, мама, молодец», — сказал Коля и сейчас же заснул.

3

Коля окончил школу, наступило душное лето, а Софье Петровне всё не давали отпуска. Дали только в конце июля. Ехать она никуда не собиралась, но весь июль жадно мечтала о том, как будет по утрам отсыпаться и как переделает, наконец, всю домашнюю работу, которую из-за службы никогда не успевала сделать. Она мечтала отдохнуть от барабанной дробы машинок, и подыскать Коле демисезонное пальто, и съездить, наконец, на кладбище, и позвать маляра, чтобы выкрасить заново дверь. Но вот отпуск, наконец, наступил, и оказалось, что отдыхать приятно только в первый день. Софья Петровна, по служебной привычке, все равно просыпалась не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил дверь; могила Федора Ивановича была в полном порядке; пальто куплено сразу; носки зачинены в два вечера. И потянулись длинные, пустые дни, с тиканьем часов, разговорами в кухне и ожиданием Коли к обеду. Коля теперь целыми днями пропадал в библиотеке: готовился вместе с Аликом в вуз, в машиностроительный институт, и Софья Петровна почти не видала его. Изредка навевалась усталая Наташа Фроленко (она замещала Софью Петровну в бюро). Софья Петровна с жадностью расспрашивала ее про секретаршу директора, про ссору предместкома с парторгом, про орфографические ошибки Эрны Семеновны. И про обсуждение в кабинете у директора повести того симпатичного писателя. Весь редакционный сектор собрался... «Неужели кому-нибудь может не понравиться? — всплескивала руками Софья Петровна.— Там ведь так красиво описана первая чистая любовь. Совсем как у нас с Федором Ивановичем».

Теперь уже Софья Петровна вполне соглашалась с Колей, когда он толковал ей о необходимости для женщин общественно-полезного

труда. Да и всё, что говорил Коля, всё, что писали в газетах, казалось ей теперь вполне естественным, будто так и писали и говорили всегда. Вот только о бывшей квартире своей, теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна сильно сожалела. Их уплотнили еще во время голода, в самом начале революции. В бывшем кабинете Федора Ивановича поселили семью милиционера Дегтяренко, в столовой семью бухгалтера, а Софье Петровне с Колей оставили Колину бывшую детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему необходима отдельная комната, ведь он уже не ребенок. «Но, мама, разве это справедливо, чтобы Дегтяренко со своими детьми жил в подвале, а мы в хорошей квартире? Разве это справедливо, скажи!» — строго спрашивал Коля, объясняя Софье Петровне революционный смысл уплотнения буржуазных квартир. И Софья Петровна вынуждена была согласиться с ним: это и в самом деле не вполне справедливо. Жаль только, что жена Дегтяренко такая грязнуха: даже в коридоре слышен кислый запах из ее комнаты. Форточку открыть боится как огня. И близнецам ее уже шестнадцатый год пошел, а они всё еще пишат с ошибками.

В потере квартиры Софью Петровну утешало новое звание: жильцы единогласно выбрали ее квартуполномоченной. Она стала как бы хозяйкой, как бы заведующей своей собственной квартирой. Она мягко, но настойчиво делала замечания жене бухгалтера насчет сундуков, стоящих в коридоре. Она высчитывала, сколько с кого причитается платы за электроэнергию с той же аккуратностью, с какой на службе собирала членские профсоюзные взносы. Она регулярно ходила на собрания квартуполномоченных в ЖАКТе и потом подробно докладывала жильцам, что говорил управдом. Отношения с жильцами были у нее в общем хорошие. Если жена Дегтяренко варила варенье, то всегда вызывала Софью Петровну в кухню попробовать: довольно ли сахару? Жена Дегтяренко часто заходила и в комнату к Софье Петровне — посоветоваться с Колей: что бы такое придумать, чтобы близнецы, не дай Бог, снова не остались на второй год? и посудачить с Софьей Петровной о жене бухгалтера, медицинской сестре. «Этакой милосердной сестрице попадись только, она тебя разом на тот свет отправит!» — говорила жена Дегтяренко.

Сам бухгалтер был уже пожилой человек, с обвислыми щеками, с синими жилками на руках и на носу. Он был запуган женою и дочерью, и его совсем не было слышно в квартире. Зато дочка бухгалтера, рыжая Валя, сильно смущала Софью Петровну фразочками «а я ей как дам!», «а мне наплевать!» — и у жены бухгалтера, Валиной матери, был и в самом деле ужасный характер. Стоя с неподвижным лицом возле своего примуса, она методически пилила жену милиционера за коптящую керосинку или кротких близнецов за то, что они не заперли дверь на крюк. Она была из дворянок, брызгала в коридоре одеколоном с помощью пульверизатора, носила на цепочке брелоки и разговаривала тихим голосом, еле-еле шевеля губами, но слова употребляла удивительно грубые. В дни полочки Валя начинала кланяться у матери денег на новые туфли.

— Ты не воображай, кобыла, — ровным голосом говорила мать, и Софья Петровна поспешно скрывалась в ванную комнату, чтобы не слышать продолжения, — в ванную, куда скоро вбегала Валя отмывать

свою запухшую, зареванную физиономию, произнося в раковину все те ругательства, которые она не посмела произнести в лицо матери.

Но в общем квартира 46 была благополучной, тихой квартирой — не то что 52, над нею, где чуть ли не каждую шестидневку накануне выходного случались настоящие побоища. Сонного после дежурства Дегтяренко регулярно вызывали туда составлять протокол вместе с дворником и управдомом.

Отпуск тянулся, тянулся — между кухней и комнатой — и кончился к большой радости Софьи Петровны. Зачастили дожди, желтые листья валялись возле Летнего сада, вдавленные в грязь каблуками, — и Софья Петровна, в калошах и с зонтиком, уже снова ежедневно ходила на службу, ждала по утрам трамвая и ровно в 10 часов, облегченно вздохнув, вешала на доску свой номерок. Снова вокруг нее стучали и звенели машинки, шелестела бумага, щелкала, закрываясь и открываясь, дверца; Софья Петровна с достоинством вручала пожилой секретарше директора аккуратно сложенные, сколотые, пахнущие копиркой листы. Она клеивала марки в членские профсоюзные книжки, заседала в месткоме по вопросам укрепления трудовой дисциплины и некорректного поступка одной машинистки с одной курьершей. Она по-прежнему побаивалась хмурого парторга, товарища Тимофеева, по-прежнему не любила председательницу месткома с грязными ногтями, втайне обожала директора и завидовала его секретарше — но все они уже были для нее своими, привычными людьми, она чувствовала себя на месте, уверенно и уже, не стесняясь, громко делала замечания наглой Эрне Семеновне. И за что только ее держат? Нужно будет поставить вопрос на месткоме.

Коля и Алик выдержали экзамены в машиностроительный институт. Прочтя свои фамилии в списке принятых, они, на радостях, решили поставить в комнате радиоприемник. Софья Петровна не любила, когда Коля и Алик сооружали что-нибудь техническое у нее в комнате, но она сильно надеялась, что радио обойдется ей все же дешевле, чем буер. Окончив школу, Коля затеял построить буер, чтобы зимою кататься на собственном буере по Финскому заливу. Он приобрел какую-то книжку о буере, раздобыл бревна, внес их вместе с Аликом в комнату — и не то что подмести пол, но и просто передвигаться по комнате сразу сделалось невозможно. Бревна оттеснили обеденный стол к стене, диван к окну; они лежали на полу огромным треугольником, и Софья Петровна по сто раз в день спотыкалась о них. Однако все мольбы ее были напрасны. Напрасно объясняла она Коле и Алику, что жить ей стало так же неудобно, как если бы они привели в дом слона. Они строгаи, измеряли, чертили, пилили до тех пор, пока не убедились с абсолютной ясностью, что автор брошюры о буере невежда и буера по его чертежам не построишь.

Тогда они распилили бревна и покорно сожгли их в печке вместе с брошюрой. А Софья Петровна расставила вещи по местам и целую неделю нарадоваться не могла простору и чистоте своей комнаты.

Поначалу радио тоже приносило Софье Петровне одни огорчения. Коля и Алик завалили всю комнату проволокой, винтиками, болтиками, дощечками; до двух часов ночи ежевечерне спорили о преимуществах

того или другого типа приемника; потом соорудили приемник, но не давали Софье Петровне ничего дослушать до конца, так как им хотелось поймать то Норвегию, то Англию; потом ими овладела страсть к усовершенствованию, и каждый вечер они пускались перестраивать приемник заново. Наконец Софья Петровна взяла дело в свои руки, и тогда оказалось, что радио действительно очень приятное изобретенье. Она научилась сама включать и выключать его, запретила Коле и Алику к нему притрагиваться и по вечерам слушала «Фауста» или концерт из филармонии.

Наташа Фроленко тоже приходила послушать. Она брала с собой свое вышивание и садилась возле стола. У нее были умелые руки, она прекрасно вязала, шила, вышивала салфеточки и воротнички. Вся ее комната была уже сплошь увешана вышивками, и она принялась вышивать скатерть для Софьи Петровны.

По выходным дням Софья Петровна включала радио с самого утра: ей нравился важный, уверенный голос, повествующий о том, что в парфюмерный магазин № 4 привезли большую партию духов и одеколона, или о том, что на днях предстоит премьера новой оперетты. Она не могла удержаться и на всякий случай записывала все телефоны. Единственное, чем она не интересовалась совсем, — это были последние известия о международном положении. Коля усердно рассказывал ей про немецких фашистов, про Муссолини, про Чан Кай-Ши — она слушала, но только из деликатности. Садясь на диван, чтобы прочесть газету, она прочитывала только происшествия и маленький фельетон или «В суде», а на передовой или телеграммах неизменно засыпала, и газета падала ей на лицо. Гораздо больше газет нравились ей переводные романы, которые Наташа брала в библиотеке: «Зеленая шляпа» или «Сердца трех».

8 Марта 1934 года было счастливым днем в жизни Софьи Петровны. Утром курьерша из издательства принесла ей корзину цветов. В цветах лежала карточка: «Беспартийной труженице Софье Петровне Липатовой поздравление в день 8 Марта. Партийная организация и местком». Она поставила цветы на Колин письменный стол, под полку с собранием сочинений Ленина, рядом с маленьким бюстом Сталина. Весь день у нее было тепло на душе. Она решила не выбрасывать эти цветы, когда они завянут, а непременно засушить их и спрятать в книгу на память.

4

Шел третий год служебной жизни Софьи Петровны. Ей повысили ставку: теперь она получала уже не 250, а 375. Коля и Алик еще учились, но уже недурно зарабатывали в каком-то конструкторском бюро: чертили. Ко дню рождения Софьи Петровны Коля купил ей на собственные деньги маленький сервиз: молочник, чайник, сахарницу и три чашки. Узор на сервизе не очень-то понравился Софье Петровне — какие-то квадраты красные на желтом. Она предпочла бы цветы. Но фарфор был тонкий, хороший, да и не все ли равно? Это подарок от сына.

А сын стал красивый — сероглазый, чернобровый, высокий и такой уверенный, спокойный, веселый, каким даже в самые лучшие годы не бывал Федор Иванович. Всегда он как-то по-военному подтянут, чистоплотен и бодр. Софья Петровна смотрела на него с нежностью и неустанной тревогой, радуясь и боясь радоваться. Красавец собою, здоровяк, не пьет и не курит, почтительный сын и честный комсомолец. Алик, конечно, тоже юноша вежливый, работающий, но где уж ему до Коли? Отец его переплетчик в Виннице, куча ребят, бедность. Алик с малых лет живет в Ленинграде у тетки, а та, видно, не очень-то заботится о нем: локти заплатанные, сапоги худые. Сам он щупленький, невысокий. Да и ума в нем такого большого нет, как в Коле.

Одна мысль неустанно тревожила Софью Петровну: Коле пошел уже двадцать первый год, а у него всё еще нету отдельной комнаты. Уж не мешает ли она своим постоянным присутствием Колиной личной жизни? Коля, кажется, там в институте влюбился в кого-то: она искусно допрашивала Алика — в кого? как ее зовут? сколько ей лет? хорошо ли она учится? кто ее родители? Но Алик отвечал уклончиво и по глазам его видно было, что на предательство он не способен. Софья Петровна выпытала у него только имя: Ната. Но все равно, как бы ее там ни звали, и серьезная ли это любовь, или только увлечение,— все равно молодому человеку в его годы необходима отдельная комната. Софья Петровна поделилась своими тревожными мыслями с Наташей. Наташа молча выслушала ее, потом покраснела и сказала, что да... безусловно... конечно... Николаю Федоровичу лучше было бы в отдельной комнате... но, впрочем... вот живет же она одна... без матери... и что же? ничего!..

Наташа сбилась и замолчала, и Софья Петровна так и не поняла, что, собственно, она хотела сказать.

Софья Петровна обдумывала со всех сторон, как бы ей обменять одну комнату на две, и начала даже откладывать деньги на книжку, чтобы приплатить, если понадобится. Но вопрос об отдельной комнате для Коли неожиданно потерял свою остроту: отличников учебы Николая Липатова и Александра Финкельштейна по какой-то там разверстке направляли в Свердловск, на Уралмаш, мастерами. Там не хватало итэровцев. Институт же им предоставляли возможность закончить заочно.

— Ты не беспокойся, мама, — сказал Коля, положив свою большую руку на маленькую руку Софьи Петровны, — ты не беспокойся, мы там с Аликом прекрасно заживем... Нам обещают комнату в общежитии... да Свердловск ведь и недалеко. Ты приедешь к нам как-нибудь... и... знаешь что? ты будешь нам посылки посылать.

С этого дня, возвращаясь со службы, Софья Петровна сразу же принималась пересчитывать Колино белье в комод, шить, штопать, отглаживать. Она отдала починить старый чемодан Федора Ивановича. Теперь уже то весеннее утро, когда они вместе с Федором Ивановичем купили этот чемодан в магазине Гвардейского Общества, казалось бесконечно далеким и каким-то ненастоящим утром из какой-то ненастоящей жизни. Она с недоумением взглянула на лист «Нивы», которым была оклеена поврежденная стенка: декольтированная дама с

длинным шлейфом, с высокой прической поразила ее. Это тогда были такие моды.

Колин отъезд беспокоил и огорчал Софью Петровну, но она не могла налюбоваться на ловкость и аккуратность, с какой он упаковывал книги и большие блокноты, исписанные его отчетливым почерком, и сам зашил в пояс свой комсомольский билет. День отъезда всё был через неделю и вдруг оказался завтра.— Коля, ты уже готов, Коля? — спросил Алик Финкельштейн, входя утром к ним в комнату, маленький, большеголовый, с торчащими ушами.— Что?

Новая куртка топорщилась у него на спине, кончики воротничка загибались. Коля большими шагами подошел к своему чемодану и поднял его так легко, будто он был пустой. Всю дорогу на вокзал он чуть ли не размахивал чемоданом, а бедный Алик еле волочил свой сундучок, отдуваясь и рукавом куртки отирая со лба пот. Коротконогий, большеголовый, он казался Софье Петровне похожим на комический персонаж мультипликационного фильма. Тетка Алика не потрудилась, разумеется, приехать на вокзал проводить его, и они втроем — Коля, Софья Петровна и Алик — чинно прохаживались по платформе в сырой мгле вокзала. Коля и Алик с азартом обсуждали вопрос: какая машина выносливее и легче — «фиат» или «паккард»? И только за пять минут до отхода поезда Софья Петровна вспомнила, что она ничего, ничего не сказала мальчикам ни о ворах в дороге, ни о прачке. Сдавая белье прачке, надо непременно считать его и записывать... И ни под каким видом не есть в столовых винегрет — он часто бывает вчерашний, несвежий и легко можно заболеть брюшным тифом. Она отвела Алика в сторону и вцепилась ему в плечо.— Алик, голубчик,— говорила она,— уж вы позаботьтесь, голубчик, о Коле...

Алик смотрел на нее сквозь очки большими добрыми глазами.

— Разве мне трудно? Я, конечно, буду приглядывать за Николаем. А что же?

Пора было в вагон. Коля и Алик через минуту появились у окна. Коля — высокий, Алик ему по плечо. Коля сказал что-то Софье Петровне, но сквозь стекло было не слышно. Он рассмеялся, снял кепку и обвел купе возбужденным, веселым взглядом. Алик показывал Софье Петровне буквы пальцами. «Не...» — разобрала она и замахала на него рукой, догадавшись: «не беспокойтесь...» Боже мой, ведь совсем дети едут!

Через минуту она шла по перрону назад, одна в толпе людей, все быстрее и быстрее, не замечая дороги и пальцами вытирая глаза.

5

После Колиного отъезда Софья Петровна еще меньше времени проводила дома. Сверхурочной работы в бюро всегда было вдоволь, и она чуть ли не каждый вечер оставалась работать, прикапливая деньги Коле на костюм: молодой инженер должен одеваться прилично.

В свободные вечера она приводила к себе Наташу пить чай. Они вместе заходили в гастроном на углу и выбирали себе два пирожных. Софья Петровна заваривала чай в чайничке с квадратами и включала

радио. Наташа брала свое вышивание. В последнее время, по совету Софьи Петровны, она усердно пила пивные дрожжи, но цвет лица у нее не становился лучше.

В один из таких вечеров, уходя домой от Софьи Петровны, Наташа вдруг попросила подарить ей Колину последнюю карточку. — А то у меня в комнате только мамина карточка и больше ничья, — объяснила она. Софья Петровна подарила ей Колю, красивого, глазатого, в галстуке и воротничке. Фотограф удивительно схватил его улыбку.

Однажды, возвращаясь с работы, они зашли в кино — и с тех пор кино сделалось их любимым развлечением. Им обоим сильно нравились фильмы о летчиках и пограничниках. Белозубые летчики, совершавшие подвиги, казались Софье Петровне похожими на Колю. Ей нравились новые песни, зазвучавшие с экранов, — особенно «спасибо, сердце!» и «если скажет страна — будь героем», нравилось слово «родина». От этого слова, написанного с большой буквы, у нее становилось сладко и торжественно на душе. А когда самый лучший летчик или самый мужественный пограничник падал навзничь, сраженный пулей врага, Софья Петровна хватала Наташину руку, как в дни молодости хватала руку Федора Ивановича, когда Вера Холодная внезапно вытаскивала маленький дамский револьвер из широкой муфты и, медленно его поднимая, целила в лоб подлецу.

Наташа снова подала заявление в комсомол и ее снова не приняли. Софья Петровна очень сочувствовала Наташиному горю: бедная девушка так нуждалась в обществе! Да и почему, собственно, ее не принимают? Девушка трудящаяся и вполне предана советской власти. Работает прекрасно, прямо-таки лучше всех — это раз. Политически грамотная — это два. Она не то, что Софья Петровна, она дня не пропустит, чтобы не прочитать «Правду» от слова до слова. Наташа во всем разбирается не хуже Коли и Алика, и в международном положении, и в стройках пятилетки. А как она волновалась, когда льды раздавили «Челюскина», от радио не отходила. Из всех газет вырезала фотографии капитана Воронина, лагерь Шмидта, потом летчиков. Когда сообщили о первых спасенных, она заплакала у себя за машинкой, слезы капали на бумагу, от счастья она испортила два листа. «Не дадут, не дадут погибнуть людям», — повторяла она, вытирая слезы. Такая искренняя, сердечная девушка! И вот теперь ее опять не приняли в комсомол. Это несправедливо. Софья Петровна даже Коле написала о несправедливости, постигшей Наташу. Но Коля ответил, что несправедливость — понятие классовое и бдительность необходима. Все-таки Наташа из буржуазно-помещичьей семьи. Подлые фашистские наймиты, убившие товарища Кирова, не выкорчеваны еще по всей стране. Классовые бои продолжаются и потому при приеме в партию и в комсомол необходим строжайший отбор. Тут же он писал, что через несколько лет Наташу, наверное, примут, и сильно советовал ей конспектировать произведения Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса.

— Через несколько лет! — горько улыбнулась Наташа. — Николай Федорович забывает, что мне уже скоро двадцать четыре. — Тогда вас примут прямо в партию, — сказала ей Софья Петровна в утешение. —

И что такое двадцать четыре года? Первая молодость.— Наташа ничего не ответила, но, уходя домой в этот вечер, взяла у Софьи Петровны том Колиного Ленина.

Письма от Коли получались регулярно, раз в шестидневку, накануне выходного дня. Какой он прекрасный сын — не забывает, что мама беспокоится, а мало ли у него там дела! Возвращаясь со службы домой, Софья Петровна еще на лестнице, в самом низу, доставала из сумочки ключик, шла по лестнице быстро и, добежав, наконец, до четвертого этажа, задыхаясь, отворяла голубой почтовый ящик. Письмо в желтом конверте уже ждало ее. Не снимая пальто, она садилась у окна и расправляла аккуратно сложенные листки блокнота. «Здравствуй, мама! — начиналось каждое письмо.— Надеюсь, что ты здорова. Я тоже здоров. Выработка на нашем заводе за последнюю шестидневку достигла...» Письма были длинные, но всё больше о заводе, о росте стахановского движения, а о себе, о своей жизни — ни слова. «Ты подумай только, — писал Коля в первом письме, — и червячные, и фрезы, и даже броши — всё у нас еще заграничное, за всё золотом расплачиваемся с капиталистами, а сами никак не можем освоить». Но Софью Петровну не фрезы интересовали. Ей бы узнать: как они там питаются с Аликом, добросовестная ли у них прачка? хватает ли у них денег? когда же они занимаются? по ночам, что ли? На все эти вопросы Коля отвечал крайне бегло и невразумительно. Софье Петровне так хотелось представить себе их комнату, их быт, их обед, что она, по совету Наташи, написала письмо Алику.

Ответ пришел через несколько дней.

«Уважаемая Софья Петровна! — писал Алик. — Извините мою смелость, но вы напрасно беспокоитесь о здоровье Николая. Мы кушаем совсем неплохо. Я с вечера покупаю колбасу и утром сам жарю ее на сливочном масле. Обедаем мы в столовке, из трех блюд, очень неплохо. Варенье, вами нам присланное, мы решили пить только с вечерним чаем и таким путем его нам хватит надолго. Белье я тоже сдаю прачке по счету. Для занятий мы выделили специальные часы каждый день. Вы можете мне вполне поверить, что я всё делаю для Николая, как его друг и товарищ, и стараюсь все для него».

Письмо кончалось так: «Николай успешно разрабатывает метод изготовления долбяков Феллоу в нашем инструментальном цехе. Про него в парткоме на заводе говорят, что это будущий восходящий орел».

Конечно, восходит светило, а не орел, и Софья Петровна решительно не понимала, что такое долбяки Феллоу, — и все же эти строки наполнили ее сердце гордостью и восхищением.

Колины письма Софья Петровна аккуратно складывала в коробку из-под писчей бумаги. Там у нее хранились жениховские письма Федора Ивановича, фотографии маленького Коли и фотография малютки Карины, родившейся на «Челюскине». Туда же Софья Петровна положила и письмо Алика. Она испытывала нежность к Алику: он, несомненно, был предан Коле и так умел понять его!

Однажды, уже месяцев через десять после Колиного отъезда, Софья Петровна получила по почте внушительный фанерный ящик. Из Свердловска. От Коли. Ящик был такой тяжелый, что почтальон с

трудом внес его в комнату и потребовал рубль на чай. «Швейная машина? — размышляла Софья Петровна. — Вот бы хорошо!» Свою она продала в трудные годы. Почтальон ушел. Софья Петровна взяла молоток и нож и вскрыла ящик. В ящике оказался черный стальной непонятный предмет. Он был заботливо засыпан стружками. Колесо не колесо, дуло не дуло, Бог знает, что такое. Наконец, на черной спине непонятного предмета, Софья Петровна обнаружила ярлык, написанный Колиной рукой: «Мамочка, посылаю тебе первую шестеренку, нарезанную долбяком Феллоу, изготовленным на нашем заводе по моему методу». Софья Петровна засмеялась, похлопала шестеренку по спине и, пыхтя, отнесла ее на подоконник. Каждый раз, как она взглядывала на нее, ей становилось весело.

Через несколько дней, утром, когда Софья Петровна допивала чай, торопясь на службу, в ее комнату внезапно влетела Наташа. Волосы ее, мокрые от снега, были растрепаны, один ботинок расстегнут. Она протянула Софье Петровне мокрую газету.

— Смотрите... Я сейчас на углу купила... читаю просто так... и вдруг вижу: Николай Федорович. Коля.

На первой странице «Правды» Софья Петровна увидела Колино улыбающееся, белозубое лицо. Фотография изменила и немного состарила его, но, безо всякого сомнения, это он, ее сын, Коля. Под портретом было написано: «Энтузиаст производства, комсомолец Николай Липатов, разработавший метод изготовления долбяков Феллоу на Уральском машиностроительном заводе».

Наташа обняла Софью Петровну и поцеловала ее в щеку.

— Софья Петровна, милая! — умоляюще сказала она, — пожалуйста, пошлите ему телеграмму!

Софья Петровна никогда еще не видела Наташу такой возбужденной. Да у нее и у самой тряслись руки, и она никак не могла найти свой портфель. Телеграмму они сочинили на службе, во время обеденного перерыва, и отправили после работы. Все поздравляли Софью Петровну; на службе ее поздравила с таким сыном даже Эрна Семенова, а дома — даже медицинская сестра. Вечером, ложась в постель, счастливая и усталая, Софья Петровна впервые подумала, что Наташа, наверное, влюблена в Колю. Как это она раньше не догадалась! Хорошая девушка, воспитанная, работающая, только очень уж некрасивая и старше его. Засыпая, Софья Петровна старалась представить себе ту девушку, которую полюбит Коля и которая станет его женой: высокую, свежую, розовую, с ясными глазами и светлыми волосами — очень похожую на английскую открытку, только со значком КИМа на груди. Ната? Нет, лучше Светлана. Или Людмила: Милочка.

6

Приближался новый, тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Местком принял решение устроить елку для детей служащих издательства. Организация праздника была поручена Софье Петровне. Она кооптировала себе в помощницы Наташу, и работа у них закипела. Они звонили по телефонам на квартиры служащих, узнавая имена и

возраст ребят; отстукивали на машинке приглашения; бегали по магазинам, закупая пастилу, пряники, стеклянные шары и хлопушки; сбились с ног, отыскивая снег. Самое важное и самое трудное было решить, какой подарок сделать кому из ребят, так, чтобы не выйти из лимита и в то же время чтобы все были довольны. Из-за подарка девочке директора Софья Петровна и Наташа даже немного поссорились. Софья Петровна хотела купить ей большую куклу — побольше, чем другим девочкам, — а Наташа находила, что это будет бестактно. Помирились на хорошенькой дудочке с пушистой кисточкой. Наконец осталось купить только елку. Они купили высокую, до потолка, с широкими, густыми лапами. Наташа, Софья Петровна и лифтерша Марья Ивановна украшали елку с раннего утра и до двух часов дня накануне праздника. Марья Ивановна развлекала их рассказами о жене директора; про самого директора она говорила, как в старое время: «они». Лифтерша подавала Наташе и Софье Петровне шары, хлопушки, почтовые ящики, серебряные кораблики, а Наташа и Софья Петровна вешали их на елку. Скоро у Софьи Петровны заболели ноги, и она уселась в кресло и сидя вкладывала в пакетики с конфетами записочки: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». Украшать продолжала одна Наташа. У нее были умелые руки и бездна вкуса: Деда Мороза укрепила она удивительно эффектно. Потом Софья Петровна клеила кудрявую головку маленького Ленина в середину большой, красной, пятиконечной звезды, Наташа водрузила звезду на верхушку елки — и всё было закончено. Они сняли со стены портрет Сталина во весь рост и заменили его другим — Сталин сидит с девочкой на коленях. Это был любимый портрет Софьи Петровны.

Три часа. Пора домой — полежать немного, пообедать и переодеться перед праздником.

Праздник удался на славу. Явились все ребята и почти все папы и мамы. Жена директора не приехала, но директор приехал и сам привез свою маленькую девочку, очаровательную крошку с белокурыми волосиками. Дети радовались подаркам, родители громко восхищались елкой. Только Анна Григорьевна, председательница месткома, обиделась, что сыну ее подарили барабан, а не оловянных солдатиков, как сыну парторга; солдатикки стоили дороже. Она была в зеленом шелковом платье и даже декольте. Сын ее, долговязый, неприятный мальчик, присвистнул, демонстративно ткнул барабан кулаком и прорвал его. Но все остальные были довольны. Дочка директора без усталости трубила в свою трубу, подпрыгивая между колен отца, упираясь маленькой пухлой рукой в его колено и запрокидывая голову назад, чтобы видеть елку.

Софья Петровна чувствовала себя настоящей хозяйкой бала. Она заводила патефон, включала радио, показывала лифтерше глазами, кому поднести блюдо с пастилой. Ей было жаль Наташу, которая робко жалась к стене, бледно-серая, в своей нарядной, новой, собственноручно вышитой блузке. Директор, согнувшись, водил девочку вокруг елки и пугал ее Дедом Морозом. Софья Петровна с умилением смотрела на эту сцену: ей хотелось, чтобы Коля во всем походил на директора. Кто знает, быть может, годика через два и у нее будет такая же милая внучка. Или внук. Она уговорит Колю внука назвать

Владен — очень красивое имя! — а внучку Нинель — имя изящное, французское, и в то же время, если читать с конца, получается Ленин.

Софья Петровна, усталая, опустилась в кресло. Пора бы уж и домой, у нее начиналась мигрень. К ней подошел представительный бухгалтер и, любезно нагнувшись, поведал странную новость: в городе арестовано множество врачей. Бухгалтер был лично знаком со всеми медицинскими светилами города: экзема его не поддавалась ничьему лечению, один только покойный Федор Иванович умел согнать ее. («Да, вот это был врач! Другие все присыпают, мажут, а толку никакого...») Среди арестованных бухгалтер назвал доктора Кипарисова, сослуживца Федора Ивановича, Колиного крестного.

— Как? Доктор Кипарисов?.. Не может быть! И что случилось? Разве опять какое-нибудь... несчастье?.. — спросила Софья Петровна, не решаясь произнести «убийство». Бухгалтер возвел очи горé и отошел, ступая почему-то на цыпочках. Два года назад, после убийства Кирова (о! какие это были мрачные дни! по улицам ходили патрули... а когда ждали товарища Сталина — вокзальная площадь оцеплена войсками... улицы, переулки перекрыты... не пройти, не проехать), после убийства Кирова тоже было много арестов, но тогда сначала брали каких-то оппозиционеров, а потом «бывших», всяких там «фон баронов». А теперь вот врачей. После убийства Кирова выслали как дворянку м-ме Неженцеву, старинную приятельницу Софьи Петровны, — они в гимназии вместе учились. Софья Петровна была поражена: какое отношение м-ме Неженцева могла иметь к убийству? Преподает в школе французский язык и живет как все. Но Коля объяснил, что Ленинград необходимо очистить от ненадежного элемента. А кто такая, собственно говоря, эта твоя м-ме Неженцева? Ведь ты сама помнишь, мама, что она не признавала Маяковского и говорила всегда, что в старое время всё было дешевле. Она — не советский человек... Ну хорошо, а врачи? Они чем провинились? Подумать только — Иван Игнатьевич Кипарисов! Такой почтенный врач!

Ребята шумели в раздевалке. Софья Петровна, в качестве хозяйки, помогала родителям разыскивать рейтузы и ботики. Директор с девочкой на руках подошел к ней проститься. Он поблагодарил местом за прекрасный праздник. — Я видел в «Правде» портрет вашего сына, — сказал он ей, улыбаясь. — Хорошая у нас смена подросла... — Софья Петровна смотрела на него с обожанием. Ей хотелось сказать ему, что он еще никакого права не имеет говорить о смене — что такое тридцать пять лет? первая молодость! — но она не решилась. Он сам одел девочку и поверх шубки закутал ее в белый пушистый платок. Как он всё умеет. Мать может спокойно отпускать с ним ребенка. Сразу видно — прекрасный семьянин.

7

В газетах ничего не писали про врачей и про доктора Кипарисова. Софья Петровна собиралась зайти к м-ме Кипарисовой и всё не могла собраться. Времени не было, да и неловко как-то. Она не видала

Кипарисову года три уже. Как это она ни с того ни с сего вдруг зайдет?

В январе начали появляться в газетах статьи о новом предстоящем процессе. Процесс Каменева и Зиновьева сильно поразил воображение Софьи Петровны, но она с непривычки к газетам не следила за ним изо дня в день. А на этот раз Наташа втянула ее в чтение газет, и они ежедневно прочитывали вместе все статьи о новом процессе. Очень уж упорно заговорили вокруг о фашистских шпионах, о террористах, об арестах... Подумать только, эти негодяи хотели убить родного Сталина. Это они, оказывается, убили Кирова. Они устраивали взрывы в шахтах. Пускали поезда под откос. И чуть ли не в каждом учреждении были у них свои ставленники.

Одна машинистка в бюро, только что вернувшаяся из дома отдыха, рассказала, что в соседней с нею комнате жил молодой инженер, она даже иногда с ним по парку гуляла. Один раз ночью вдруг приехала машина и его арестовали: он оказался вредителем. А на вид такой приличный — и не узнаешь.

В доме Софьи Петровны, в квартире 45, напротив, тоже кого-то арестовали — коммуниста какого-то. Комнату его запечатали красными печатями. Софье Петровне рассказал управдом.

Софья Петровна по вечерам надевала очки — у нее в последнее время развилась дальнозоркость — и читала вслух газету Наташе. Скатерть была уже кончена — Наташа вышивала теперь накидку Софье Петровне на постель. Они говорили о том, как, наверное, возмущен сейчас Коля. Да и не только Коля: возмущены все честные люди. Ведь в поездах, пущенных под откос вредителями, могли быть маленькие дети! Какое бессердечие! Изверги! Недаром троцкисты тесно связаны с гестапо: они и в самом деле не лучше фашистов, которые в Испании убивают детей. И неужели, неужели доктор Кипарисов участвовал в их бандитской шайке? Его не раз приглашали на консилиумы вместе с Федором Ивановичем. После консилиума Федор Иванович привозил его домой, попить чайку, посидеть. Софья Петровна видела его совсем близко — вот как сейчас Наташу видит. И теперь он вступил в бандитскую шайку! Кто бы мог ожидать? Такой почтенный старик.

Однажды вечером, прочитав в газете перечень преступлений, совершенных подсудимыми, прослушав тот же перечень по радио, они с Наташей так ясно представили себе оторванные руки и ноги, горы изуродованных трупов, что Софье Петровне сделалось страшно остаться одной у себя в комнате, а Наташе страшно одной идти по улице. В эту ночь Наташа ночевала у нее на диване.

Всюду, на всех предприятиях, во всех учреждениях собирались митинги, и в их издательстве тоже состоялся митинг, посвященный процессу. Предместкома заранее обошла все комнаты и предупредила, что если есть такие несознательные, которые хотят уйти до собрания, то пусть имеют в виду: выходная дверь заперта. На собрание явились поголовно все, даже работники редакционного сектора, которые обыкновенно манкировали. Выступил директор и кратко, сухо и точно изложил газетные сообщения. После него говорил парторг, товарищ Тимофеев. Останавливаясь после каждых двух слов, он

сказал, что враги народа орудуют повсюду, что они могут проникнуть и в наше учреждение и потому всем честным работникам необходимо неустанно повышать свою политическую бдительность. Затем слово было предоставлено председательнице месткома, Анне Григорьевне.

— Товарищи! — произнесла она, опустила веки и смолкла. — Товарищи! — она жала тонкие пальцы с длинными ногтями. — Подлый враг протянул свою грязную лапу и к нашему учреждению. — Все замерли. Каменя опускалась и поднималась на полной груди Анны Григорьевны. — Предыдущей ночью арестован бывший заведующий нашей типографией, ныне разоблаченный враг народа Герасимов. Он оказался родным племянником московского Герасимова, разоблаченного месяц назад. При попустительстве нашей партийной организации, страдающей, по меткому выражению товарища Сталина, идиотской болезнью беспечности, Герасимов продолжал, с позволения сказать, «работать» в нашей типографии уже после разоблачения его родного дяди, московского Герасимова.

Она села. Грудь ее поднималась и опускалась.

— Вопросов нет? — осведомился директор, председательствовавший на этом собрании.

— А что они... сделали... в типографии? — робко спросила Наташа.

Директор кивнул предместкома.

— Что сделали? — высоким голосом отозвалась она, поднявшись со стула. — Я, кажется, товарищ Фроленко, ясно, русским языком объяснила здесь, что наш бывший заведующий типографией, Герасимов, оказался родным племянником того, московского, Герасимова. Он осуществлял повседневную родственную связь со своим дядей... разваливал в типографии стахановское движение... срывал план... по указаниям родственника. При преступном попустительстве нашей партийной организации.

Наташа больше не спрашивала.

Вернувшись после собрания домой, Софья Петровна села писать письмо Коле. Она написала ему, что у них в типографии открылись враги. А на Уралмаше? Всё ли там благополучно? Как честный комсомолец Коля обязан быть бдительным.

В издательстве явственно ощущалось какое-то странное беспокойство. Директора ежедневно вызывали в Смольный. Хмурый парторг то и дело входил в бюро, отпирая дверь собственным французским ключом, и вызывал Эрну Семеновну в спецчасть. Вежливый бухгалтер, которому откуда-то всегда всё было известно, рассказал Софье Петровне, что партийная организация заседает теперь каждый вечер.

— Милые бранятся, — сказал он, многозначительно усмехаясь. — Анна Григорьевна во всем обвиняет парторга, а парторг директора. Насколько я понимаю, предстоит смена кабинета.

— В чем обвиняет? — спросила Софья Петровна.

— Да вот... никак договориться не могут, кто из них Герасимова проглядел.

Софья Петровна ничего толком не поняла и в этот день ушла из издательства в какой-то смутной тревоге. На улице она обратила внимание на высокую старуху, в платке поверх шапки, в валенках,

в калошах и с палкой в руке. Старуха шла, выскивая палкой, где не скользко. Лицо ее показалось Софье Петровне знакомым. Да это Кипарисова! Неужели она? Боже, как она изменилась!

— Мария Эрастовна! — окликнула ее Софья Петровна.

Кипарисова остановилась, подняла большие черные глаза и с видимым усилием изобразила на лице приветливую улыбку.

— Здравствуйте, Софья Петровна! Сколько лет, сколько зим! Сынок-то ваш, верно, взрослый уже? — Она стояла, держа Софью Петровну за руку, но не глядя ей в лицо. Огромные глаза ее в смятении бежали по сторонам.

— Мария Эрастовна,— сердечно сказала Софья Петровна.— Я так рада, что встретила вас. Я слышала, у вас неприятности... с Иваном Игнатьевичем... Послушайте, мы ведь с вами друзья... Иван Игнатьевич Колю крестил... конечно, это теперь не считается, но мы-то ведь с вами старые люди. Скажите, Ивана Игнатьевича обвиняют в чем-нибудь серьезном? Неужели эти обвинения имеют под собой какую-нибудь почву? Я просто не могу, не могу поверить. Такой прекрасный, такой почтенный врач! Муж всегда уважал его и как клинициста ставил выше себя.

— Иван Игнатьевич ничего не сделал против советской власти,— угрюмо сказала Кипарисова.

— Я так и думала! — воскликнула Софья Петровна.— Я ни минуты в этом не сомневалась, я так всем и говорила...

Кипарисова мрачно смотрела на нее черными огромными глазами.

— До свиданья, Софья Петровна,— сказала она без улыбки.

— Когда Иван Игнатьевич вернется, зовите меня на пирог,— проговорила Софья Петровна.— Да что вы, право, такая расстроенная? Раз Иван Игнатьевич не виноват — значит, всё будет хорошо. В нашей стране с честным человеком ничего не может случиться. Просто недоразумение. Смотрите же, будьте молодцом... Пришли бы когда-нибудь чайку выпить!

Кипарисова зашагала по панели, постукивая палкой о лед.

«Неужели и я так же постарела? — думала Софья Петровна.— Лицо черное, всё в морщинах. Да нет, не может быть, я еще не такая. Она просто распустилась уж очень: валенки, палка, платок... Для женщины много значит не распускаться, следить за собой. Ну кто теперь носит валенки? Не восемнадцатый год. Вот и выглядит на 65— а ведь ей не больше пятидесяти... Хорошо, что Кипарисов не виноват. Уж кто-кто, а жена знает. Я так и думала, что это просто недоразумение и ничего больше».

8

На следующий день машинописное бюро кончало полугодовой отчет. Все знали, что ночью, со «Стрелой», директор выедет в Москву, чтобы завтра доложить о полугодовой работе издательства в Отделе печати ЦК Партии. Софья Петровна торопила машинисток. Наташа писала, не отвываясь, весь обеденный перерыв.

В 3 часа отчет в четырех экземплярах лежал уже перед Софьей Пет-

ровной, и она аккуратно раскладывала его по четырем копиям. Не жалея зажимок, она ровненько скалывала листы.

А секретарша директора всё не шла за отчетом. Софья Петровна решила сама отнести его в кабинет.

У полуоткрытых дверей директорского кабинета она столкнулась с парторгом. — Туда нельзя! — сказал он ей, не поклонившись, и, хромя, прошел в другую комнату. Вид у него был востропанный.

Софья Петровна заглянула в полуоткрытую дверь. Перед письменным столом на коленях стоял незнакомый мужчина и вынимал из тумбочки бумаги. Весь ковер в кабинете был усыпан бумагами.

— В котором часу будет сегодня товарищ Захаров? — спросила Софья Петровна у пожилой секретарши.

— Он арестован, — одними губами, без голоса, ответила ей секретарша. — Сегодня ночью.

Губы у нее были голубые.

Софья Петровна понесла отчет обратно в бюро. Когда она дошла до дверей бюро, она почувствовала, что у нее слабеют колени. Грохот машинки оглушил ее. Знают они уже или не знают? Они стучали, как будто ничего не случилось. Если бы ей сообщили, что директор умер, она была бы менее поражена. Она села на свое место и начала машинально снимать зажимки с листов. Вошел Тимофеев, открыв дверь собственным ключом. Софья Петровна впервые заметила, что, несмотря на хромоту, парторг держится очень прямо и походка у него мерная. «Простите!» — сказала она испуганно, когда он, проходя мимо, нечаянно задел ее плечом.

В половине пятого раздался, наконец, звонок. Софья Петровна молча сошла с лестницы, молча оделась и вышла на улицу. Таяло. Софья Петровна остановилась перед лужей, сосредоточенно обдумывая, как бы ее обойти. К ней подошла Наташа. Наташа уже знала: ей сказала Эрна Семеновна.

— Наташа, — начала Софья Петровна, когда они дошли до угла, где обыкновенно прощались. — Наташа, вы верите, что Захаров виноват в чем-нибудь? Да нет, какая чепуха... Наташа, ведь мы-то знаем...

Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свою уверенность. Захаров, большевик, их директор, которого они видели каждый день, Захаров — вредитель! Это была невозможность, чепуха, р е н и к с а, как говорил когда-то Федор Иванович. Недоразумение? Но ведь он такой видный партиец, его знали и в Смольном, и в Москве, его не могли арестовать по ошибке. Он не Кипарисов какой-нибудь!

Наташа молчала.

— Зайдемте к вам, я вам сейчас все объясню, — сказала вдруг Наташа с необычайной торжественностью.

Они пошли. Молча разделись. Наташа вынула из своего старенького портфельчика аккуратно сложенную газету. Она развернула газету перед Софьей Петровной и указала ей подвал на вкладной странице.

Софья Петровна надела очки.

— Понимаете, дорогая, его могли завлечь, — шепотом сказала Наташа. — Женщина...

Софья Петровна принялась читать.

В статье рассказывалось о некоем советском гражданине А., честном партийце, который был командирован советским правительством в Германию с целью освоить применение недавно изобретенного химического препарата. В Германии он честно исполнял свой долг, но вскоре увлекся некоей С., эlegantной молодой женщиной, сочувствовавшей якобы Советскому Союзу. С. нередко навещала гражданина А. у него на квартире. И вот однажды гражданин А. обнаружил пропажу из бюро серьезных политических документов. Квартирная хозяйка сообщила ему, что в его отсутствие в комнате побывала С. Гр-н А. имел мужество немедленно порвать связь с С., но сообщить о пропаже документов товарищам мужества у него не хватило. Он уехал обратно в СССР, надеясь честной работой советского инженера загладить свое преступление перед Родиной. Целый год он работал спокойно и начал уже забывать о своем преступлении. Однако замаскированные агенты гестапо, проникшие в нашу страну, начали его шантажировать. Запуганный ими А. выдал им секретные планы того завода, на котором работал. Доблестные чекисты разоблачили окопавшихся агентов фашизма: нити следствия привели к несчастному А.

— Вы понимаете? — шепотом спросила Наташа. — Нити следствия... Наш директор, конечно, хороший человек, честный партиец. Но ведь и гражданин А., тут пишут, тоже был сначала честным партийцем... Всякого честного партийца может опутать смазливая женщина.

Наташа терпеть не могла смазливых женщин. Она признавала только строгую красоту и не находила ее ни в ком.

— Говорят, наш директор бывал за границей, — вспомнила Наташа. — Тоже в командировке. Помните, лифтерша Марья Ивановна рассказывала, что он привез своей жене из Берлина голубой вязаный костюм?

Статья сильно смутила Софью Петровну, и все-таки ей еще не верилось. То какой-то А., а то их Захаров. Выдержанный партиец, сам докладывал о процессе. И при нем издательство всегда выполняло план с превышением.

— Наташа, ведь мы же знаем, — устало сказала Софья Петровна.

— Что мы знаем? — с азартом заговорила Наташа. — Мы знаем, что он был директором нашего издательства, а больше ничего мы, собственно, не знаем. Разве вам известна вся его жизнь? Разве вы можете за него поручиться?

И в самом деле: Софья Петровна не имела ни малейшего представления о том, чем был занят товарищ Захаров, когда не председательствовал на издательских собраниях и не водил девочку под елкой. Мужчины — все, все до единого, страшно любят смазливых женщин. Какая-нибудь наглая горничная — и та может прибрать к рукам любого мужчину, даже порядочного. Если бы Софья Петровна не выгнала Фани вовремя, — еще неизвестно, чем кончилось бы ее заигрывание с Федором Ивановичем.

— Давайте чай пить, — сказала Софья Петровна.

За чаем они припомнили, что фигура Захарова отличалась военной выправкой. Прямая спина, широкие плечи. Уж не был ли он в свое время белым офицером? По возрасту он вполне мог успеть.

Они пили пустой чай. Обе были так утомлены, что поленились спуститься в магазин за булкой или пирожными. «Завтра будет тяжело в издательстве,— думала Софья Петровна.— Будто покойник в доме. Что ни говори, а жаль директора». Она вспомнила полуоткрытую дверь кабинета и мужчину на коленях перед столом. Она только теперь поняла, что это был обыск.

Наташа собралась уходить. Она аккуратно сложила газету и спрятала ее в портфель. Потом налила себе в стакан кипятку и на прощанье стала греть о стакан свои большие красные руки. Они у нее были отморожены в детстве и всегда мерзли.

Вдруг раздался звонок. И второй. Софья Петровна пошла отворять. Два звонка — это к ней. Кто бы это так поздно?

За дверьми стоял Алик Финкельштейн.

Видеть Алика одного, без Коли, было противоестественно.

— Коля?! — вскрикнула Софья Петровна, схватив Алика за висящий конец его шарфа.— Брюшной тиф?

Алик, не глядя на нее, медленно снимал калоши.

— Тссс! — выговорил он наконец.— Пройдемте к вам.

И он пошел по коридору, ступая на цыпочках, смешно раскорячивая свои короткие ноги.

Софья Петровна, не помня себя, шла за ним.

— Вы только не пугайтесь, ради Бога, Софья Петровна,— сказал он, когда она притворила дверь,— спокойненько, пожалуйста, Софья Петровна, пугаться, право, не стоит. Ничего страшного нет. Поза-поза-позавчера... или когда это? ну, перед тем выходным... Колю арестовали...

Он сел на диван, двумя рывками развязал шарф, бросил его на пол и заплакал.

9

Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоразумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт. Сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что, по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась! Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги.

— Ключи? Вы оставили там ключи? — закричала она, подступая к Алику.— Вы оставили кому-нибудь ключи?

— Ключи? Какие ключи? — оторопел Алик.

— Боже, какой же вы глупый! — выговорила Софья Петровна и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа подбежала и обняла ее за плечи.— Да ключ... от комнаты... в вашем, как его... общежитии...

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Ка-

кие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило, и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей.

— Ведь он... ведь его...— говорила Софья Петровна, отстраняя стакан,— ведь его... уже наверное... выпустили... увидели, что не тот... и выпустили... он вернулся домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас, наверное, будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор, пока и щека и подушка не стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее болело лицо и кулаком стучало в груди сердце.

Наташа и Алик шептались возле окна.

— Вот что,— сказал Алик, жалостливо глядя на нее из-под очков своими добрыми глазами,— мы договорились с Натальей Сергеевной. Вы себе ложитесь сейчас спать, а утром идите потихонечку в прокуратуру. Наталья Сергеевна скажет завтра в издательстве, что вы прихворнули... или что-нибудь еще... что у вас ночью угар был... я знаю!

Алик ушел. Наташа хотела остаться ночевать, но Софья Петровна сказала, что ей ничего, ничего не надо. Наташа поцеловала ее и ушла. Кажется, она тоже плакала.

Софья Петровна вымыла лицо холодной водой, разделась и легла. В темноте трамвайные вспышки молниями озаряли комнату. Белый квадрат света, как согнутый пополам лист бумаги, лежал на стене и на потолке. В комнате медицинской сестры еще взвизгивала и смеялась Валя. Софья Петровна представляла себе, как Колю, под конвоем, приводят к следователю. Следователь — красивый военный, весь в ремнях и карманах. «Вы Николай Фомич Липатов?» — спрашивает Колю военный. — «Я — Николай Федорович Липатов», — с достоинством отвечает Коля. Следователь делает строгий выговор конвойным и приносит Коле свои извинения. «Ба! — говорит он,— как я сразу не узнал вас? Да ведь вы — молодой инженер, портрет которого я недавно видел в „Правде“! Простите, пожалуйста. Дело в том, что ваш однофамилец, Николай Фомич Липатов,— троцкист, фашистский наймит, вредитель...»

Всю ночь Софья Петровна ждала телеграммы. Вернувшись домой, в общезитие, и узнав, что Алик выехал в Ленинград,— Коля немедленно даст телеграмму, чтобы успокоить мать. Часов в 6 утра, когда уже снова задрезбуждали трамваи, Софья Петровна уснула. И проснулась от резкого звонка, который, казалось, был проведен прямо ей в сердце. Телеграмма? Но звонок не повторился.

Софья Петровна оделась, умылась, заставила себя выпить чаю и прибрать комнату. И вышла на улицу — в полумглу. По-прежнему от-тепель, но за ночь лужи подернулись легким ледком.

Сделав несколько шагов, Софья Петровна остановилась. Куда, собственно, следует идти?

Алик говорит: в прокуратуру. Но Софья Петровна не знала толком, что такое прокуратура, и не знала, где она. А расспрашивать прохожих про это место ей казалось стыдным. И она пошла не в прокуратуру, а в тюрьму, потому что случайно ей было известно, что тюрьма на Шпалерной.

У железных ворот стоял часовой с винтовкой. Маленькая парадная возле ворот была заперта. Софья Петровна тщетно толкала дверь рукой и коленом. И нигде не видно было ни одного объявления.

К ней подошел часовой.

— В девять часов пускать будут,— сказал он.

Было без двадцати восемь. Софья Петровна решила не уходить домой. Она прохаживалась взад и вперед мимо тюрьмы, задирая голову вверх и поглядывая на железные решетки.

Неужели это может быть, что Коля здесь, в этом доме, за этими решетками?

— Тут ходить нельзя, гражданка,— сказал часовой.

Софья Петровна перешла на другую сторону улицы и машинально побрела вперед. Налево она увидела широкою, снежную пустыню Невы.

Она свернула по улице налево и вышла на набережную.

Было уже совсем светло. Беззвучно, с поразительной дружностью, на Литейном мосту погасли фонари. Нева была завалена кучами грязного, желтого снега. «Наверное, сюда снег свозят со всего города»,— подумала Софья Петровна. Она обратила внимание на большую толпу женщин посреди улицы. Одни стояли, облокотившись на парапет набережной, другие медленно прохаживались по панели и по мостовой. Софью Петровну удивило, что все они были очень тепло одеты: поверх пальто закутаны в платки, и почти все в валенках и в калошах. Они притоптывали ногами и дули на руки. «Видимо, они уже давно тут стоят, если так замерзли,— размышляла от нечего делать Софья Петровна,— а мороза-то нет, снова тает». У всех этих женщин был такой вид, будто на полустанке, много часов подряд, они ожидали поезда. Софья Петровна внимательно оглядела дом, против которого толпились женщины,— дом обыкновенный, на нем никаких вывесок. Чего же они тут ожидают? В толпе были дамы в нарядных пальто, были и простые женщины. От нечего делать Софья Петровна прошла раз два сквозь толпу. Одна женщина стояла с грудным ребенком на руках и за руку держала другого, повязанного шарфом крест-накрест. У стены дома одиноко стоял мужчина. Лица у всех были зеленоватые, может быть, это в утренней мгле они казались такими?

К Софье Петровне вдруг подошла маленькая опрятная старушка с палочкой. Из-под котиковой, низко надвинутой шапки сверкали серебряные волосы и черные еврейские глаза.

— Вам список? — спросила старушка дружелюбно.— В парадной 28.

— Какой список?

— На «Л» и «М»... Ах, извиняюсь, гражданка! Вы ходите здесь, так я подумала, вы тоже об арестованном.

— Да, о сыне...— с недоумением ответила Софья Петровна.

Отвернувшись от старушки, неприятно поразившей ее своей проницательностью, Софья Петровна отправилась разыскивать парадную дома 28. Мысль, что все эти женщины пришли сюда за тем же, за чем пришла она, смутно зашевелилась в ее душе. Но почему они здесь, на набережной, а не возле тюрьмы? Ах да, возле тюрьмы не позволяет стоять часовой.

Дом № 28 оказался облупленным особняком почти у самого моста. Софья Петровна вошла в парадную — роскошную, но грязную, с каминном, с огромным разбитым трюмо и мраморным купидоном без одного крыла. На первой ступеньке величественной лестницы, подложив под спину газету, а под голову — заиндевевший портфель, свернувшись, лежала женщина.

— Записываться? — спросила она, подняв голову. Потом села и вынула из портфеля измятую бумажку и карандаш.

— Да я, собственно, не знаю, — растерянно произнесла Софья Петровна. — Я пришла поговорить о сыне, которого по ошибке арестовали в Свердловске... Понимаете ли, просто как однофамильца...

— Говорите, пожалуйста, тише, — с раздражением оборвала ее женщина. У нее было интеллигентное, усталое лицо. — Списки отбирают, и вообще... Как фамилия?

— Липатов, — робко ответила Софья Петровна.

— 344, — сказала женщина, записывая. — Ваш номер 344. Уходите отсюда, пожалуйста.

— 344, — повторила Софья Петровна и снова вышла на набережную.

Толпа всё росла. — Ваш какой номер? — то и дело спрашивали Софью Петровну. — Ну, вам сегодня не попасть, — сказала ей одна женщина, повязанная платком по-крестьянски. — Мы-то еще с вечера записавшись... — Список где? — шепотом спрашивали другие... Было уже светло: наступил день.

И вдруг вся толпа кинулась бежать. Софья Петровна побежала со всеми. Громко заплакал ребенок, повязанный шарфом. У него были кривые ножки, и он еле поспевал за матерью. Толпа свернула на Шпалерную. Софья Петровна издали увидела, что маленькая дверь возле железных ворот уже открыта. Люди протискивались в нее, как в дверь трамвая. Втиснулась и Софья Петровна. И сразу стала: идти дальше было некуда. В полутемной прихожей и на маленькой деревянной лесенке толпились люди. Толпа колыхалась. Все разматывали платки, расстегивали вороты, и все пробирались куда-то: каждый искал предыдущий номер. А сзади всё напирало и напирало люди. Софью Петровну крутило как щепку. Она расстегнула пальто и вытерла платком лоб.

Переведя дыхание и привыкнув к полутьме, Софья Петровна тоже принялась отыскивать нужные номера: 343 и 345. 345 был мужчина, а 343 — сгорбленная, древняя старуха. «Ваш муж тоже латыш?» — спросила старуха, подняв на Софью Петровну мутные глаза. «Нет, почему же? — ответила Софья Петровна. — Почему именно латыш? Мой муж давно умер, но он был русский».

— Скажите, пожалуйста, а у вас уже есть путёвка? — спросила у Софьи Петровны старушка-еврейка с серебряными волосами — та, которая заговорила с ней на набережной.

Софья Петровна не ответила. Она ничего не понимала здесь. Женщина, лежащая на лестнице, теперь какие-то глупые вопросы о латыше, о путевке. Ну при чем тут путевка? Ей казалось, что она не в Ленинграде, а в каком-то незнакомом, чужом городе. Странно было ду-

мать, что в тридцати минутах ходьбы — ее служба, издательство, Наташа стучит на машинке...

Отыскав своих соседей, люди стояли спокойно. Софья Петровна разглядела: лесенка вела в комнату, и в комнате тоже толпой стояли люди, и, кажется, за этой комнатой была еще вторая. Софья Петровна исподлобья поглядывала вокруг. Вот женщина с портфелем, в шерстяных носках поверх чулок, в плохоньких туфельках — это та самая, которая лежала на лестнице. К ней и тут то и дело подходят люди, но она уже не записывает их: поздно. Подумать только, все эти женщины — матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина — муж или брат... На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине. Только все усталые, с помятыми лицами. «Воображаю, какое это несчастье для матери — узнать, что ее сын вредитель», — думала Софья Петровна.

Изредка по скрипучей узкой лесенке, с трудом протискиваясь сквозь толпу, спускалась женщина. — «Передала?» — спрашивали ее внизу. «Передала», — она показывала розовую бумажку. А одна, по виду молочница, с большим бидоном в руке, ответила — «выслан!» — и громко заплакала, поставив бидон, прислонившись головой к косяку двери. Платок пополз вниз, показались рыжеватые волосы и маленькие серьги в ушах. «Тише! — зашикали на нее со всех сторон. — Он шуму не любит, закроет окно и всё. Тише!»

Молочница поправила платок и ушла со слезами на щеках.

Из разговоров Софья Петровна поняла, что большинство этих женщин пришли передать деньги арестованным мужьям и сыновьям, а некоторые — узнать, здесь ли муж или сын. У Софьи Петровны кружилась голова от духоты и усталости. Она очень боялась, что таинственное окошечко, к которому все стремились, закроется раньше, чем она успеет подойти к нему. «Если сегодня будет только до двух, нам с вами не попасть», — сказал ей мужчина. «До двух? Неужели до двух здесь стоять? — с тоской подумала Софья Петровна. — Ведь сейчас не больше десяти».

Она закрыла глаза, стараясь осилить головокружение. Мерно гудели тихие, немногословные разговоры. «Вашего-то когда взяли?» — «Да уж третий месяц пошел». — «А моего — две недели». — «Скажите, вы не знаете, где еще можно навести справки?» — «В прокуратуре. Да нигде не говорят ничего». — «А вы на Чайковского были? А на Герцена?» — «На Герцена военная». — «Вашего-то когда взяли?» — «У меня дочка». — «А на Арсенальной, говорят, белье принимают». — «Вы кто, латыши будете?» — «Нет, мы поляки». — «Вашего-то когда взяли?» — «Да уж полгода». — «А какие номера там идут? Двадцатые только? Господи, боже мой, как бы он в два не закрыл! Прошедший раз аккурат в два захлопнул!»

Софья Петровна повторила про себя, что она спросит: привезли ли Колю в Ленинград? Когда можно видеть судью — или кого там, следователя? И нельзя ли сегодня? И нельзя ли немедленно получить свидание с Колей?

Через два часа Софья Петровна, следом за древней старухой, вступила на первую ступеньку деревянной лестницы. Через три — в первую

комнату. Через четыре — во вторую и через пять — следом за извивающейся очередью — снова в первую. Из-за спин она разглядела деревянное квадратное окошечко и в окошечке широкие плечи и большие руки тучного мужчины. Было три часа. Софья Петровна сосчитала — перед ней еще 59 человек.

Женщины, называя фамилию, робко протягивали в окошечко деньги. Кривоногий мальчик всхлипывал, облизывая языком слезы. «Ну, уж я-то с ним поговорю, — нетерпеливо думала Софья Петровна. — Пусть сейчас же проведет меня к следователю, к прокурору, или к кому там... Как много еще у нас в быту некультурности! духота, вентиляцию не могут устроить. Надо бы написать письмо в „Ленинградскую правду“».

И вот, наконец, перед Софьей Петровной осталось только трое. На всякий случай она тоже приготовила деньги: пусть Коля пока что не стесняет себя. Сгорбленная старуха дрожащей рукой передала в окошечко 30 рублей и получила розовую квитанцию. Она вглядывалась в нее слепыми глазами. Софья Петровна торопливо стала на место старухи. Она увидела молодого, тучного человека, с белым опухшим лицом и маленькими сонными глазками.

— Я хотела бы узнать, — начала Софья Петровна, согнувшись, чтобы получше видеть лицо человека за окошечком, — здесь ли мой сын? Дело в том, что он арестован по ошибке...

— Фамилия? — перебил ее человек.

— Липатов. Его арестовали по ошибке и вот уже несколько дней я не знаю...

— Помолчите, гражданка, — сказал ей человек, наклоняясь над ящиком с карточками. — Липатов или Лепатов?

— Липатов. Я хотела бы сегодня же повидаться с прокурором или к кому вам будет угодно меня направить...

— Буквы?

Софья Петровна не поняла.

— Звать-то его как?

— Ах, инициалы? Эн, эф.

— Нэ или мэ?

— Эн, Николай.

— Липатов, Николай Федорович, — сказал человек, вынимая из ящика карточку. — Здесь.

— Я хотела бы узнать...

— Справок мы не даем. Прекратите разговоры, гражданка. Следующий!

Софья Петровна поспешно протянула в окошечко 30 рублей.

— Ему не разрешено, — сказал человек, отстраняя бумажку. — Следующий! Проходите, гражданка, не мешайте работать.

— Уходите! — шептали Софье Петровне сзади. — А то он окошко захлопнет.

Софья Петровна добралась до дома в шестом часу. У себя она застала Алика и Наташу. Она опустила на стул и несколько минут не в силах была снять с себя боты и пальто. Алик и Наташа смотрели на нее вопросительно. Она сообщила, что Коля здесь, в тюрьме, на Шпалерной, и никак не могла объяснить им, почему она не узнала, по какому делу он арестован и когда можно будет получить с ним свидание.

Софья Петровна взяла в издательстве двухнедельный отпуск за свой счет. Пока Коля сидит в тюрьме, разве может она думать о каких-то бумагах, об Эрне Семеновне! Да и не успеешь служить: с утра до ночи и с ночи до утра надо стоять в очередях. Она подала заявление хромому парторгу: после ареста Захарова он был назначен временно исполняющим обязанности директора. Он сидел в том же кабинете, где раньше сидел Захаров, за тем же большим столом с телефонами; носил он уже не косоворотку, а серенький костюмчик из Ленинградодежды, галстучек, воротничок — и все-таки казался невзрачным. Софья Петровна сказала, что отпуск ей нужен по домашним обстоятельствам. Не глядя на нее, Тимофеев долго писал резолюцию красными чернилами. Он сказал Софье Петровне, что замещать ее на этот раз будет Эрна Семеновна и приказал сдать ей дела. «А почему не Фроленко? — удивилась Софья Петровна. — Ведь Эрна Семеновна малограмотна и пишет с ошибками...» — Товарищ Тимофеев ничего не ответил и встал. Ах, не всё ли равно! Софья Петровна вышла из кабинета. Она торопилась в очередь.

Дни и ночи ее проходили теперь не дома и не на службе, а в каком-то новом мире — в очереди. Она стояла на набережной Невы, или на Чайковской — там скамейки, можно присесть, или в огромном зале Большого Дома, или на лестнице в прокуратуре. Уходила домой поесть или поспать она только тогда, когда Наташа или Алик сменяли ее. (Алика директор отпустил в Ленинград всего только на одну шестидневку, но он со дня на день откладывал свой отъезд в Свердловск, надеясь вернуться вместе с Колей.) Многое узнала Софья Петровна за эти две недели — она узнала, что записываться в очередь следует с вечера, с 11-ти или с 12-ти, и каждые два часа являться на перекличку, но лучше не уходить совсем, а то тебя могут вычеркнуть; что непременно надо брать с собой теплый платок, надевать валенки, потому что даже в оттепель с трех часов ночи и до шести утра будут мерзнуть ноги и всё тело охватит мелкая дрожь; она узнала, что списки отнимают сотрудники НКВД и того, кто записывает, уводят в милицию; что в прокуратуру надо ходить в первый день шестидневки и там принимают не по буквам, а всех, а на Шпалерной ее буква 7-го и 20-го (в первый раз она попала в свой день каким-то чудом); что семьи осужденных высылают из Ленинграда и путевка — это направление не в санаторий, а в ссылку; что на Чайковской справки выдает краснолицый старик с пушистыми, как у кога, усами, а в прокуратуре — мелкозавитая, остроносая барышня; что на Чайковской надо предъявлять паспорт, а на Шпалерной нет; узнала, что среди разоблаченных врагов много латышей и поляков, — и вот почему в очереди так много латышек и полек. Она научилась с первого взгляда догадываться, кто на Чайковской не прохожий вовсе, а стоит в очереди, она даже в трамвае, по глазам, узнавала, кто из женщин едет к железным воротам тюрьмы. Она научилась ориентироваться во всех парадных и черных лестницах набережной и с легкостью находила женщину со списком, где бы та ни пряталась. Она знала уже, выходя из дому после краткого сна, что на ули-

це, на лестнице, в коридоре, в зале — на Чайковской, на набережной, в прокуратуре — будут женщины, женщины, женщины, старые и молодые, в платках и в шляпах, с грудными детьми и с трехлетними и без детей — плачущие от усталости дети и тихие, испуганные, немногословные женщины — и как когда-то в детстве, после путешествия в лес, закрыв глаза, она видела ягоды, ягоды, ягоды, так теперь, когда она закрывала глаза, она видела лица, лица, лица...

Одного только она не узнала за эти две недели: из-за чего Коля арестован? И кто и когда будет его судить? И в чем его обвиняют? И когда же, наконец, кончится это глупое недоразумение и он вернется домой? В справочном бюро на Чайковской краснолицый старик с пушистыми усами смотрел в ее паспорт, спрашивал: «Как имя вашего сына? Вы мать? а почему жена не пришла? не женат? Липатов, Николай? следствие ведется», — и выкидывал из окошечка паспорт, и, прежде чем Софья Петровна успевала открыть рот, механическая дверца окошечка с треском падала сверху вниз и раздавался звонок, означающий: «следующий!». С дверцей Софье Петровне разговаривать было не о чем, и, постояв секунду, она уходила. В прокуратуре мелкозавитая остроносая барышня, высовываясь из окошечка, говорила скороговоркой: «Липатов? Николай Федорович? Дело в прокуратуру еще не поступало. Справьтесь через две недели». На Шпалерной тучный, сонный мужчина неизменно отстранял ее деньги и произносил: «ему не разрешёно». Это было всё, что она знала о Коле: другим деньги «разрешёны», а ему почему-то не «разрешёны». Почему? Но она уже понимала, что расспрашивать человека в окошечке — тщетно.

Зато она с жадностью расспрашивала Алика про то, как это было, как уводили Колю. И Алик покорно рассказывал опять и опять, что они уже спали, что вдруг раздался стук в дверь и вошел заведующий общежитием, а за ним комендант, а за ним кто-то в штатском и один военный. — Который был час? — спрашивала Софья Петровна. — Так, примерно, полвторого, — отвечал Алик и рассказывал дальше: — Комендант зажег свет, а штатский спросил — кто тут Липатов, Николай? — Коля испугался? — тревожно перебивала Софья Петровна. — Ни капельки, — отвечал Алик. — Он одел белье, костюм и просил меня завтра передать на заводе, что его по недоразумению задержали и он, может быть, несколько дней прогуляет... Так пусть на участке заменит его Яша Ройтман, это у нас комсомолец такой... — И неужели он ничего, ничего не взял с собою! — всплескивала руками Софья Петровна. Алик объяснял ей, что Коля ни за что не хотел взять с собой ни смены белья, ни полотенца, хотя прачка только-только принесла: «Зачем мне? Ведь я завтра-послезавтра вернусь». — «Сильно советую взять», — сказал военный. Но Коля и ему повторил, что незачем: он завтра вернется.

— Вот что значит чистая совесть! — с умилением говорила Софья Петровна. — Но дадут ли ему там полотенце?

Алик послушно ждал Колю и день, и два, и три, и только на четвертый решился ехать в Ленинград — выяснять обстоятельства. Он сохрал директору, будто у него мамаша при смерти. И директор — парень свой, хороший — отпустил.

Софья Петровна осторожно выпрашивала Алика: не поссорился ли там Коля с начальниками? не нагрубил ли кому? не водился ли с кем-нибудь, кто потом оказался вредителем? или женщина, быть может, во что-нибудь его впутала?

— Ну, какая там женщина! — с легким раздражением отвечал Алик. — Да и впутаешь разве Николая? Не знаете вы его, что ли? Про него директор так прямо и говорил, что это будущий мировой инженер...

Ах, конечно, конечно, Коля ни на что дурное не способен. Уж Софье ли Петровне не знать, что это за сердце, какая голова, как он предан советской власти и партии. Но ведь и без причины ничего не бывает. Коля еще молод, не жил один на свете. Восстановил там кого-нибудь против себя. Надо уметь обходиться с людьми. И Софья Петровна с неприязнью взглядывала на Алика: недосмотрел. Вот если бы Коля остался в Ленинграде, у матери на глазах, ничего бы с ним не случилось. Не надо было отпускать его в Свердловск.

Но и так, и так ничего не может худого случиться, уговаривала себя Софья Петровна. Каждый час, каждую минуту ждала она Колю домой. Уходя в очередь, она всегда оставляла ключ от своей комнаты в коридоре, на полочке, в старом условленном месте. Она даже суп горячий оставляла для него в духовке. И, возвращаясь, поднималась по лестнице торопливо, без передышек, как когда-то навстречу письму: вот она сейчас войдет в свою комнату, а Коля, оказывается, дома, и никак не может понять, куда же запропастилась мама?

Одна женщина — в очереди — говорила прошлой ночью другой — Софья Петровна слышала: «Жди его, вернется! Кто сюда попал — не вернется». Софья Петровна хотела было ее оборвать, но не стала связываться. У нас невиновных не держат. Да еще таких патриотов советских, как Коля. Разберутся и выпустят.

Однажды вечером Алик, уговорив Софью Петровну полежать хоть часок, надел уже свою куртку, обмотал шею шарфом и простился: было 19-е, он шел занимать очередь на Шпалерной. — Я приду не позже двух, — сказала ему Софья Петровна с кровати слабым голосом. — Софья Петровна, хоть в пять, — ответил он бодро и вышел за дверь. Но почему-то вернулся. Он подошел к Наташе, сидевшей у окна с вязаньем в руках. — Как вы себе мыслите, Наталья Сергеевна, — спросил он, прямо глядя на нее из-под очков блестящими глазами, — там, в тюрьме, все такие же виноватые, как Коля? Что-то в очереди все мамаши сильно смахивают на Софью Петровну.

— Не знаю, — ответила, по своему новому обыкновению, Наташа.

Наташа и прежде была молчалива, но с тех пор, как арестовали Колю, она почти что совсем лишилась дара речи. На вопросы она отвечала «да», «нет» или «не знаю». Казалось, спроси ее, как ее зовут, и она тоже ответит «не знаю». Свободное от службы время она проводила у Софьи Петровны — стряпала обед, мыла посуду, подавала воду с валерьянкой — или в очереди. И всё это не открывая рта.

— Что вы, Алик, — тихо сказала Софья Петровна. — Как вы можете сравнивать! Ведь Колю-то арестовали по недоразумению, а других... Вы что, газет не читаете?

— Э, что газеты, — ответил Алик и вышел.

В газетах как раз появились признания подсудимых на суде. Вчера в очереди Софья Петровна прочла целый лист из-за плеча стоящего перед ней мужчины. У нее болели ноги, ныло сердце, но газета была такая интересная, что, вытянув шею, она прочла ее всю. Подсудимые подробно рассказывали про убийства, про отравления, про взрывы — и Софья Петровна была возмущена вместе с прокурором. «Это как называется?» — со сдержанным негодованием спрашивал у подсудимого прокурор. — «Подлость!» — сокрушенно отвечал подсудимый.

Нет, Софья Петровна недаром сторонилась своих соседей в очередях. Жалко их, конечно, по-человечеству, особенно жалко ребят — а все-таки честному человеку следует помнить, что все эти женщины — жены и матери отравителей, шпионов и убийц.

11

Прошло две недели. Алик уехал обратно в Свердловск на завод. Софья Петровна приступила к работе в издательстве — так ничего и не разузнав о Коле.

Женщины в очереди объяснили ей, что дело, по всей вероятности, в конце концов поступит в прокуратуру, а когда дело поступит в прокуратуру, — можно будет пройти к прокурору. Он принимает не через окошечко, а за столом, и ему можно все рассказать.

А пока что оставалось одно — ходить на службу, подсчитывать строчки, улыбаться, распределять работу и под стук и звон машинок неустанно думать о Коле. Коля сидит в тюрьме, Коля в тюрьме. Среди бандитов, шпионов и убийц. В камере. На запоре.

Стараясь представить себе тюрьму и Колю в тюрьме, она неизменно представляла себе картину, изображающую княжну Тараканову: темная стена, девушка с растрепанными волосами прижимается к стене, вода на полу, крысы... Но в советской тюрьме все, конечно, совсем не так.

Алик, на прощанье, посоветовал ей никому не говорить о Колином аресте. «Мне нечего стыдиться Коли!» — начала было гневно Софья Петровна, но потом согласилась с Аликом: другие-то ведь не знают Колю и могут невесть что вообразить. И ни на службе, ни в квартире она никому ничего не рассказала — только жене Дегтяренко, которая однажды застала ее плачущей в ванной. Жена Дегтяренко сочувственно вздохнула. «Что ж плакать-то, может, еще и вернется, — сказала она. — То-то, я смотрю, вы и днем и ночью бегае, лица на вас нет».

Прошло 5 месяцев со дня ареста Коли — зима уже сменилась весной, и весна беспощадно жарким июнем, — а Коли всё не было. Софья Петровна изнемогала от жары, от ожидания, от ночных очередей. 5 месяцев, 3 недели и 4 дня, и 5 дней, и 6 дней... 5 месяцев и 4 недели. А Коля все не возвращался, деньги ему все были «не разрешены», и на службе у Софьи Петровны вдруг начались неприятности. Неприятности одна за другой.

Виновницей неприятностей была Эрна Семеновна.

Когда Софья Петровна вернулась на службу после двухнедельного отпуска, Эрну Семеновну оставили при ней помощницей: вычитывать

переписанные рукописи. Софья Петровна полагала, что помощи от нее никакой: сама неграмотна! как она чужие ошибки исправит? но против распоряжения Тимофеева не пойдешь. И Эрна Семеновна вычитывала, а Софья Петровна молчала.

И вот однажды хмурый товарищ Тимофеев, позванивая ключами — он теперь всегда носил при себе все ключи от всех столов и от всех комнат, — остановил Софью Петровну в коридоре и попросил ее посылать к нему после работы Фроленко. Софья Петровна послала Наташу к нему в кабинет, а сама осталась ждать ее в раздевалке, недоумевая, что бы могло товарищу Тимофееву понадобиться от Наташи.

Наташа вернулась довольно скоро. Серое лицо ее было бесстрастно, только губы будто немного дрожали. «Меня уволили», — сказала она, когда они вышли на улицу.

Софья Петровна остановилась.

— Эрна Семеновна показала парторгу мою вчерашнюю работу. Помните, большая статья о Красной Армии. У меня в одном месте написано «Крысная» армия, вместо Красная.

— Но позвольте, — сказала Софья Петровна, — ведь это простая описка. С чего вы взяли, что вас завтра уволят? Всем известно, что вы лучшая машинистка в бюро.

— Он сказал: уволят за отсутствие бдительности. — Наташа пошла вперед. Солнце било ей прямо в глаза, но она не опускала глаз.

Софья Петровна привела ее к себе, напоила чаем. Коли не было. Раньше, когда Коля жил благополучно в Свердловске, Софья Петровна не мучилась оттого, что его с ней не было. Так, скучала немножко. А теперь каждая вещь в комнате вопила Софье Петровне в лицо, что Коли нету. На подоконнике одиноко чернела его шестеренка.

— Завтра я еще приду в издательство, но в последний раз, — сказала Наташа, прощаясь.

— Не говорите глупостей! — прикрикнула на нее Софья Петровна. — Не может этого быть.

Но оказалось, что может. На следующий день, на стене, в коридоре, висел приказ об увольнении Н. Фроленко и Е. Григорьевой — бывшей секретарши директора. Мотивировкой увольнения Фроленко служило отсутствие политической бдительности, увольнения секретарши — связь с разоблаченным врагом народа, бывшим директором Захаровым.

Рядом с приказом висел большой плакат, извещающий, что сегодня, в 5 часов дня, состоится общее собрание всех работников издательства. Повестка дня: 1) Доклад товарища Тимофеева о вредительстве на издательском фронте. 2) Разное. Явка обязательна.

Наташа, собрав свой портфельчик, сразу после звонка ушла, сказав всем вместе: «До свиданья». «Всего хорошего», — хором ответили ей машинистки, одна только Эрна Семеновна не ответила: она поправляла прическу, ловя свое отражение в стекле окна. У Софьи Петровны было тяжело на душе. Она проводила Наташу до самой раздевалки.

— Приходите вечером, — сказала она ей на прощанье.

Предместкома уже созывала всех в кабинет директора. Лифтерша Марья Ивановна вносила стулья. Софья Петровна вошла и села в первом ряду. Она чувствовала себя испуганной и одинокой. Зажгли верхний свет, задернули тяжелые шторы. Входили и рассаживались служащие. На всех лицах заметно было какое-то жадное и тревожное любопытство.— Что же вам, товарищи, особое приглашение посылать надо, что ли?— кричала в редакционном секторе предместкома.

Тимофеев стоял у стола, сосредоточенно перебирая бумаги.

Предместкома объявила собрание открытым. Лениво поднимая руки, ее единогласно выбрали председательницей. Товарищ Тимофеев откашлялся.

— Мы, товарищи, собрались сегодня для важного дела,— начал он,— для того, чтобы кон-стан-тировать в нашем издательстве преступное притупление бдительности и сообща обдумать, как нам ликвидировать его последствия.— (Он говорил на этот раз уверенно, гладко, он даже почти не запинаясь.) — В течение целых пяти лет тут у нас, перед самым носом, если можно так выразиться, у нашей общественности подвизался ныне разоблаченный враг народа, злостный бандит, террорист и вредитель, бывший директор Захаров. Захаров уже лишен возможности вредить. Но в свое время он привел с собою целый хвост своих людишек, свою, с позволения сказать, свиту, которая вместе с ним образовала тут плотное гнездо и всячески способствовала ему в его грязных троцкистских махинациях. К стыду нашей общественности, захаровская свита не ликвидирована до сих пор. Вот тут передо мной,— он развернул бумаги,— вот тут передо мной находятся документальные данные, которые документально подтвердят вам об их грязном контрреволюционном деле.

Тимофеев замолчал и налил себе воды.

— Что показывают эти документы? — начал он снова, утерев рот ладонью.— Вот этот документ неопровержимо показывает, что в тридцать втором году, по личному распоряжению директора, без увязки с месткомом и отделом кадров, по личному, я повторяю, распоряжению директора, была принята на работу некто Н. Фроленко.

Софья Петровна вся съёжилась на стуле, будто заговорили о ней.

— А кто такая Фроленко? Она — дочь полковника, владевшего в старое время так называемым поместьем. Что же, спрашивается, делала в нашем советском издательстве гражданка Фроленко, дочь чуждого элемента, принятая на работу бандитом Захаровым? Об этом нам расскажет другой документ. Под крылышком у Захарова гражданка Фроленко научилась чернить нашу любимую рабоче-крестьянскую Красную Армию, устраивать контрреволюционные вылазки: она называет Красную Армию — Крысиной Армией...

У Софьи Петровны пересохло во рту.

— А бывшая секретарша Григорьева? Это — верная подручная директора, которой он вполне мог доверять во всей своей, с позволения сказать, деятельности... Как же могло случиться, чтобы вредитель и его прихвостни целые пять лет нагло морочили советскую общественность? Это, товарищи, могло объясняться только одним: преступным притуплением политической бдительности.

Товарищ Тимофеев сел и принялся пить воду. Софья Петровна с жадностью смотрела на воду: такая сушь была у нее во рту и в горле. Предместкома резко зазвонила в звонок, хотя все молчали и никто не шевелился.

— Кто хочет высказаться?— спросила она.

Молчание.

— Товарищи, кто просит слова? — еще раз спросила предместкома.

Молчание.

— Неужели никто не хочет сказать пару слов по такому жгучему вопросу?

Молчание. И вдруг — громкий голос от дверей, на который все повернули головы.

Это была лифтерша Марья Ивановна. До сих пор она ни разу не выступала ни на одном собрании. И вообще мало кто в издательстве слышал ее голос.

— Пожалуйста, просим, просим, товарищ Иванова!

Лифтерша, грузно шагая, подошла к столу.

— Вот я тоже хочу сказать свое пролетарское слово. Тут насчет секретарши, это, граждане, правильно. Как, бывало, войдет в лифт в калошах — наследит, наследит, — а ты вытирай за ей. Она наследит, а ты вытирай. И вверх ее вози, да еще вниз норовит на лифте съехать. Вверх по сту разов ездит, да еще и вниз ее спускай. А как ее не спустишь, когда она всё норовит к директору присуседиться? Куды он, туды и она. Он в лифт — и она за им в лифт, он в машину — и она рядом в машину. Это верно, что они в одну руку работали.. Только я хочу и товарищу Тимофееву сказать — по нашему, по простому, по пролетарскому — сколько разов ему, бывало, докладываешь: уйми ты ее, барыню! а ему хоть бы хны! — никакого внимания не оказывал — махнет рукой и пойдет. Думаете, товарищ Тимофеев, лифтерша маленький человек, не понимает? Ошибаетесь! Нонче не старое время! при советской власти маленьких нет, все большие.

— Правильно, товарищ Иванова, правильно,— сказала Анна Григорьевна.— Кто еще, товарищи, просит слова?

Молчание.

— Можно мне,— тихо попросила Софья Петровна. Она встала, потом села опять.— Я хотела всего несколько слов, насчет Фроленко... Конечно, это ужасно, ужасно, то, что она написала... но ведь у каждого в работе бывают ошибки, не правда ли? Она написала не «Красная», а «Крысная» просто потому, что в машинке — это все машинистки знают — буква «ы» находится неподалеку от буквы «а». Товарищ Тимофеев говорил, что она написала к р ы с и н а я, но ведь она написала к р ы с н а я — а это немного не то... это не имеет нехорошего смысла. Простая описка. Фроленко — высокой квалификации работник и очень старательная. Это просто случайность.

Софья Петровна смолкла.

— Будете отвечать? — спросила у Тимофеева предместкома.

— Документы,— отозвался из-за стола Тимофеев и постучал косточками пальцев по бумагам,— против документов не пойдешь, то-

варищ Липатова. Крысына я или крысиная — это значения не имеет. Классово-враждебная вылазка со стороны гражданки Фроленко налицо.

— Кто-нибудь еще хочет слова?.. Объявляю собрание закрытым.

Люди быстро расходились, торопясь домой. У вешалки, в раздевалке, уже слышны были разговоры: о том, что 5-й номер трамвая редко ходит и что в детском отделе Пассажа появились прекрасные рейтузы. Бухгалтер приглашал Эрну Семеновну покататься на лодке.

— Да ну вашу лодку! — говорила она, протягивая к зеркалу губы, как бы для поцелуя. — Вот в кино бы сходить.

О собрании, вредительстве — никто ни слова.

Софья Петровна быстро, не замечая дороги, шла домой. Ей казалось, что, когда она придет в свою комнату и закроет дверь, — голова перестанет болеть, все кончится, ей будет хорошо. В висках у нее стучало. Почему это так болит голова? — ведь на собрании, кажется, не курили. Бедная Наташа! Не везет ей в жизни! Отличная машинистка, и вдруг...

В комнате, на Колином столике, лежала записка:

«Уважаемая Софья Петровна! Я опять приехал. Яша Ройтман подал на меня заявление в комсомол, что я был связан с Николаем. Меня исключили из комсомола благодаря тому, что я отказался отмежеваться от Николая, и сняли с работы. Очень тяжело быть исключенным из рядов. Подойду завтра. Ваш Александр Финкельштейн».

Софья Петровна повертела записку в руках. Боже мой, сколько неприятностей сразу! С Колей, потом с Наташей, теперь с Аликом. Но Алик, наверное, сам виноват: наговорил там чего-нибудь на собрании. Он стал такой резкий. В день его отъезда, когда она опять спросила его осторожно, не водилась ли Коля с худыми людьми, он весь покраснел, как-то вжался в стенку и закричал на нее: «да вы понимаете, что вы спрашиваете, или нет? Коля ни в чем не виноват, вы что — сомневаетесь, что?» Конечно, на самом деле ни в чем, смешно говорить об этом, но ведь подал же Коля какой-нибудь повод?.. Теперь, наверное, на собрании, Алик надерзил начальству. Разумеется, он должен был заступиться за Колю — но как-нибудь осторожно, тактично, выдержанно...

У Софьи Петровны болела голова. Собрание для нее будто еще не кончилось. В ушах звучал голос Тимофеева. У нее теснило в груди — ей казалось, что это голос Тимофеева стесняет ей грудь. Лечь? Нет, нет. Она решила принять ванну.

Что-то было такое в словах Тимофеева, от чего она вся цепенела. Ей казалось, что если принять ванну, это сразу пройдет. Она сама принесла дров из чулана и затопила колонку. Раньше дрова ей всегда приносил Коля, потом стал носить Алик, а после вторичного отъезда Алика в Свердловск — носила Наташа. Ах, этот Алик! Он, конечно, хороший мальчик и предан Коле, но очень уж резкий. Нельзя так с плеча. Не из-за его ли резкости и Коля сидит? Один раз в очереди, на Шпалерной, когда она сказала Алику, что деньги для Коли опять не приняли, он громко воскликнул: «бюрократы проклятые!» Он и в Свердловске, на заводе, мог так же себя держать.

Софья Петровна пустила воду, разделась и села в ванну — в белую широкую ванну, купленную еще Федором Ивановичем. Мыться ей не хотелось. Она лежала неподвижно, закрыв глаза. Как она теперь будет на службе без Наташи? И всё эта Эрна Семеновна! Бывают же на свете такие завистливые, злые люди! Ну, ничего, Наташа поступит на другое место, где-нибудь неподалеку, и они будут часто видеться. Скорее бы Коля вернулся.

Она лежала, глядя на свои руки, измененные водой. Неужели секретарша директора была вредительницей? Лучше не думать об этом. Какой сегодня тяжелый день. Собрание по-прежнему теснило ей грудь. Она лежала с закрытыми глазами, в тепле и покое.

На кухне кто-то потушил примус, и сразу стали слышны голоса и грохот посуды. Медицинская сестра, по обыкновению, произносила какие-то колкости.

— Я пока еще не сумасшедшая и не без глаз,— медленно говорила она.— Керосину я третьего дня самолично приобрела 3 литра. А теперь тут капля на доньшке, псу под хвост. С некоторых пор ничего невозможно на кухне оставить.

— Кто у вас керосин брать будет? — басом отозвалась жена Дегтяренко. По голосу слышно было, что она стоит согнувшись — моет пол или плиту растапливает.— У всех своего керосина хватает. Я, что ли?

— Я не о вас говорю. В квартире, кроме вас, люди живут. Если уж один член семьи в тюрьме — то от остальных всего можно ожидать. За хорошее в тюрьму не посадят.

Софья Петровна замерла.

— Что ж, что сын в тюрьме,— сказала жена Дегтяренко.— Посидит, да и выпустят. Он не карманник какой-нибудь, не вор. Образованный молодой человек. Мало ли теперь кого сажают. Муж говорит, многих теперь берут порядочных. А про него и в газете писали. Знаменитый ударник был.

— Ударник, подумаешь! Маскировался, вот и всё,— сказал Валин голос.

— Овечка какая невинная нашлась,— снова заговорила медицинская сестра.— Нет уж, извините, пожалуйста, зря у нас не сажают. Уж это вы бросьте. Меня же вот не посадят? А почему? Потому что я женщина честная, вполне советская.

Софье Петровне сделалось холодно в ванне. Вся дрожа, она вытерлась, накинула халат и на цыпочках прошла в свою комнату. Она улеглась под одеяло и сверху, на ноги, положила подушку. Но дрожь не унималась. Она лежала, дрожа, и смотрела прямо перед собой в темноту.

Ночь, часа в два, когда все уже спали, она встала, накинула на рубашку пальто и пробралась в кухню. Она взяла свою керосинку, свой примус, свои кастрюли и всё перенесла к себе в комнату.

Заснула она только под утро.

На другой день у дверей издательства ее подждал Алик. Оказалось, что он и Наташа, ничего не сказав ей, чтобы она не беспокоилась зря, с утра заняли очередь в прокуратуре. Они стояли шесть часов, сменяя друг друга, и полчаса назад барышня в окошечке сказала им, что дело Николая Липатова находится у прокурора Цветкова. Тогда они заняли для Софьи Петровны очередь к прокурору Цветкову. В комнату № 7.

Алик уговаривал Софью Петровну зайти домой пообедать, но она боялась пропустить очередь и шагала быстро, изо всех сил. Она шла спасать Колю. От того, что она скажет сейчас прокурору, зависит Колина судьба. Она шла, задыхаясь, и на ходу обдумывала свою речь. Она расскажет прокурору о том, как Коля мальчиком вступил в комсомол, почти что против воли матери; как старательно он учился и в школе и в вузе, как его ценили на заводе, как его похвалила ЦО «Правда». Он был замечательным инженером, честным комсомольцем, заботливым сыном. Разве такого человека можно заподозрить во вредительстве или в контрреволюции? Какой вздор, какое дикое предположение! Она, его старая мать, свидетельствует перед судьями, что это неправда.

Алик распахнул тяжелую дверь, и она вошла.

За последнее время Софья Петровна много перевидала очередей, но такой еще не видывала. Люди стояли, сидели, лежали на всех ступеньках, на всех площадках, на всех подоконниках огромной пятиэтажной лестницы. По этой лестнице невозможно было подняться, не наступив кому-нибудь на руку или на живот. В коридоре возле окошечка и возле дверей комнаты № 7, плотно, как в трамвае, стояли люди. Это были те счастливыцы, которые уже простояли лестницу. Наташа горбилась у стенки под большим плакатом: «Выше знамя революционной законности!». Добравшись до нее, Софья Петровна и Алик остановились и вместе тяжело перевели дух. Алик снял запотевшие очки и начал протирать их пальцами.

— Ну, я пошла,— сразу сказала Наташа,— вы будете вот за этой дамой.

Софье Петровне хотелось рассказать Наташе про вчерашнее собрание и про то, как она выступила в ее защиту, но Наташина спина уже мелькнула далеко, возле лестницы.

— Плохие дела Наталии Сергеевны,— сказал Алик, кивнув подбородком вслед Наташе,— на работу ее нигде не берут. Вроде как меня.

Оказалось, что Наташа успела уже побывать в нескольких учреждениях, где требовались машинистки, но никуда ее не приняли, справившись на месте предыдущей работы. Алик тоже, прямо с вокзала, зашел в одно конструкторское бюро, но, узнав, что он исключен из комсомола,— с ним и разговаривать не стали.

— Волчий паспорт, так я понимаю, выдали нам. Ну и мерзавцы! И откуда это вдруг столько сволочи всюду набралось? — сказал Алик.

— Алик! — укоризненно произнесла Софья Петровна.— Разве так можно? Вот, вот, за резкость вас и из комсомола исключили.

— Не за резкость, Софья Петровна, — ответил Алик, и губы у него задрожали, — а за то, что я не пожелал отречься от Николая.

— Да нет же, Алик, — мягко сказала Софья Петровна, прикасаясь к его рукаву. — Вы молоды еще, уверяю вас, вы ошибаетесь. Всё зависит только от такта. Вот я вчера на собрании защищала Наталию Сергеевну. И что же? ничего мне за это не сделали. Поверьте, меня замучила история с Колей. Я мать. Но я понимаю, что это временное недоразумение, перегибы, неполадки... надо перетерпеть. А вы уже сразу: негодяи! мерзавцы! Помните, Коля всегда говорил — у нас еще много несовершенного и бюрократического.

Алик молчал. На лице у него застыло упорное, упрямое выражение. Он был небритый, осунувшийся, с синевой под глазами. И глаза смотрели из-под очков по-новому: сосредоточенно и угрюмо.

— Я уже подал заявление в райком. А если и там не восстановят меня — в Москву поеду. Прямо в ЦК комсомола, — сказал он.

«Бедняга! — думала Софья Петровна. — Трудно ему будет, пока он без работы. Тетка, верно, уже сейчас попрекает его». И Софья Петровна, наклонившись к Алику, прошептала: «Вот выпустят Колю — вас и восстановят сразу». — И улыбнулась ему. Но Алик не улыбнулся в ответ.

А до дверей прокурора всё еще было далеко. Софья Петровна считала: человек 40. Туда входили по двое — так как в комнате № 7 принимал не один, а сразу два прокурора, — и все-таки очередь двигалась медленно. Софья Петровна разглядывала лица — ей казалось, что большинство этих женщин она уже видела раньше — на Шпалерной, или на Чайковской, или здесь же, в прокуратуре, возле окошечка. Возможно, что это те самые, а может быть, и другие. У всех женщин, стоящих в тюремных очередях, есть что-то одинаковое в лицах: усталость, покорность и, пожалуй, какая-то скрытность. Многие держали в руках белые бумажки — Софья Петровна знала уже, что это и есть «путевки» в ссылку. В здешней очереди слышны были всё время три вопроса: «вы куда?» или «вы когда?» или «у вас была конфискация?»

Софья Петровна прислонилась к стене и на минуту закрыла глаза. Какая бессердечная, какая злая и глупая женщина — жена бухгалтера! Вообразить, что Коля — вредитель! Ведь она его с детства знала. Софья Петровна теперь никогда, никогда не переступит порога кухни. До тех пор, пока медсестра не попросит у нее прощения. Можно себе представить, как станет ей стыдно, когда Коля вернется! Софья Петровна всё расскажет Коле — про его замечательных друзей, Наташу и Алика (без них ей ни за что не справиться было бы с очередями) и про эту змею, жену бухгалтера. Пусть он знает, какие встречаются на свете мерзавки.

Открыв глаза, Софья Петровна обратила внимание на маленькую девочку, сидевшую на корточках возле стены. Девочка была в пальто, застегнутом на все пуговицы. «Как это у нас привыкли всегда кутать детей, — подумала Софья Петровна, — даже летом». И вдруг, взглядевшись, она узнала девочку: это была маленькая дочка директора Захарова. Девочка ерзала спиной по стене и хныкала, изнывая от жары. А высокая стройная дама в светлом костюме, за которой вот уже час

стояли Софья Петровна и Алик,— это была жена директора. Конечно, она.

— Ну что, цела еще твоя дудочка? — ласково спросила Софья Петровна, наклоняясь к ребенку.— Или кисточку ты уже оторвала? Помнишь меня? На елке? Дай я тебе ворот расстегну.

Девочка молчала, глядя на Софью Петровну круглыми глазами и дергая за руку мать.

— Что же ты? Отвечай тете! — сказала жена директора.

— Я знала вашего мужа,— обратилась к ней Софья Петровна.— Я работаю в издательстве.

— А! — сказала жена директора и как-то болезненно скривила губы. Губы у нее были подкрашены, но не по губам, а выше и ниже. Безусловно, красивая женщина — но теперь она уже не казалась Софье Петровне такой нарядной и молодой, как полгода тому назад, когда она приходила на минутку в издательство к мужу и в коридоре приветливо отвечала на поклоны служащих.

— Ну что ваш муж? — осведомилась Софья Петровна.

— Десять лет дальних лагерей.

«Значит, он таки был виноват. Вот уж никогда б не сказала. Такой приятный человек», — подумала Софья Петровна.

— А меня вот с ней в Казахстан — в деревню или в аул, как там... Завтра ехать. Там я с голоду подохну без работы.

Она говорила громко, резким голосом, и все оглядывались на нее.

— А куда направили вашего мужа? — спросила Софья Петровна, чтобы переменить разговор.

— А я почему знаю, куда. Разве они скажут, куда.

— Но как же вы потом... через 10 лет... когда он освободится... найдете друг друга? Вы не будете знать его адреса, а он — вашего.

— А вы думаете,— сказала жена директора,— что хоть одна из них,— она махнула рукой на толпу женщин с «путевками»,— знает, где ее муж? Мужа уже увезли, или завтра увезут, или сегодня увезят, жена тоже уезжает к черту в тартарары и понятия не имеет, как она потом найдет своего мужа. Откуда же мне-то знать? Никто не знает, и я не знаю.

— Надо проявить настойчивость,— тихо ответила Софья Петровна.— Если здесь не говорят, надо написать в Москву. Или поехать в Москву. А то как же так? Вы же потеряете друг друга из вида.

Жена директора смерила ее взглядом с ног до головы.

— А у вас кто? Муж? Сын? — спросила она с такой энергической яростью, что Софья Петровна невольно подвинулась поближе к Алику.— Ну так вот, когда вашего сына отправят — тогда и проявите настойчивость, разузнайте его адрес.

— Моего сына не отправят,— извиняющимся голосом сказала Софья Петровна.— Дело в том, что он не виноват. Его арестовали по ошибке.

— Ха-ха-ха! — захохотала жена директора, старательно выговаривая слоги.— Ха-ха-ха! По ошибке! — и вдруг слезы полились у нее из глаз.— Тут, знаете ли, все по ошибке... Да стой же ты, наконец, хоро-

шенько!— крикнула она девочке и наклонилась к ней, чтобы скрыть слезы.

Между дверьми и Софьей Петровной стояли пять человек. Софья Петровна повторяла про себя слова, которые сейчас она скажет прокурору. Она со снисходительной жалостью думала о жене директора. Хороши мужья, нечего сказать! Натворят бед, а жены мучайся из-за них. Едет теперь в Казахстан, с ребенком, да еще очереди эти — тут поневоле нервная сделаешься.

— Знаете, я пойду с вами, — сказал вдруг Алик. — В качестве сослуживца и друга. Я расскажу товарищу прокурору, что в Николае мы имеем кристально чистого человека, негнибаемого большевика. Я расскажу ему о применении на нашем заводе долбяка Феллоу, которым мы обязаны исключительно изобретательности Николая.

Но Софья Петровна не хотела, чтобы Алик шел к прокурору. Она боялась его резкости: надерзит и всё дело испортит. Нет, уж лучше она пойдет одна. Она уверила Алика, будто посторонних прокурор не принимает.

Наконец настала ее очередь. Жена директора открыла дверь и вошла. Следом за нею, с замирающим сердцем, вошла Софья Петровна.

У двух противоположных стен большой пустой полутемной комнаты стояли два письменных стола и перед ними — два ободранных кресла. За столом направо сидел полный белотелый человек с голубыми глазами. За столом налево — горбун. Жена директора с девочкой подошла к белотелому, Софья Петровна — к горбатому. Она уже давно слыхала в очередях, что прокурор Цветков — горбатый.

Цветков разговаривал по телефону. Софья Петровна опустилась в кресло.

Цветков был маленького роста, худой, в синем засаленном костюме. Головка остренькая, а горб большой, круглый. Длинные кисти рук и пальцы поросли черным волосом. Трубку от телефона он держал как-то не на человеческий, а на обезьяний манер. Он вообще показался Софье Петровне до такой степени похожим на обезьяну, что она невольно подумала: если ему захочется почесать за ухом, он, наверное, сделает это ногой.

— Федоров? — кричал Цветков в трубку охрипшим голосом. — Это Цветков, здорово. Скажи там Пантелееву, что я уже все провернул. Пусть пришлет. Что? Я говорю — пусть пришлет.

А за другим столом белотелый полный человек с ясными фарфоровыми, кукольными глазами и маленькими, пухлыми, дамскими ручками вежливо беседовал с женою директора.

— Я прошу переменить мне село на какой-нибудь город, — отрывисто говорила она, стоя перед столом и держа за руку девочку. — В селе я окажусь без работы. Мне не на что будет кормить ребенка и мать. По профессии я стенографистка. В селе стенографировать нечего. Я прошу послать меня не в село, а в город, хотя бы и в том же самом — как его? — Казахстане.

— Садитесь, гражданка, — ласково сказал ей белотелый.

— Вам что? — спросил Софью Петровну Цветков, оставив телефон и мельком взглядывая на нее маленькими черными глазками.

— Я о сыне. Его фамилия Липатов. Он арестован по недоразумению, по ошибке. Мне сказали, что его дело находится у вас.

— Липатов? — переспросил Цветков, припоминая. — 10 лет дальних лагерей. (И он снова снял трубку с телефона.) — Группа А? 244-16.

— Как? Разве его уже судили? — вскрикнула Софья Петровна. — 244-16? Морозову позовите.

Софья Петровна смолкла, придерживая сердце рукой. Сердце стучало медленно, редко и громко. Стук отдавался в ушах и в висках. Софья Петровна решила дожидаться, пока Цветков кончит, наконец, говорить по телефону. Она с испугом смотрела на его длинные, волосатые кисти, на усыпанный перхотью горб, на небритое, желтое лицо. Терпение, терпение. И слушала стук своего сердца: в висках и в ушах.

А за противоположным столом белотелый прокурор мягко говорил жене директора:

— Напрасно вы расстраиваетесь, гражданка. Присядьте, пожалуйста. Как представитель законности, я обязан напомнить вам, что великая сталинская конституция обеспечивает право на труд всем без различия. Поскольку никаких гражданских прав вас никто не лишает — право на труд остается вам обеспеченным, где бы вы ни жили.

Жена директора порывисто встала и пошла к дверям. Девочка мелкими, сбивчивыми шажками бежала за нею.

— Вы еще здесь? Чего ж вам надо? — грубо спросил Цветков, положив, наконец, трубку.

— Я хотела бы знать, в чем мог провиниться мой сын, — спросила Софья Петровна, напрягая все силы, чтобы голос у нее не дрожал. — Он всегда был безупречным комсомольцем, честным гражданином...

— Сын ваш сознался в своих преступлениях. Следствие располагает его подписью. Он террорист и принимал участие в террористическом акте. Вам понятно?

Цветков выдвигал и задвигал ящики письменного стола. Выдвинет и толчком задвинет. Ящики были пустые.

Софья Петровна мучительно вспоминала: что она еще хотела сказать? Но она всё забыла. Да и в этой комнате, перед этим человеком, все слова были тщетными. Она поднялась и побрела к дверям.

— Как же я узнаю теперь, где он? — спросила она от двери.

— Это меня не касается.

В коридоре ее ожидал верный Алик. Молча протискались они сквозь толпу по коридору, потом по лестнице. Молча вышли на улицу. На улице звенели трамваи, блесло солнце, толкались прохожие. Душному летнему дню еще далеко было до конца.

— Ну что, Софья Петровна, что? — тревожно спросил Алик.

— Осужден. В дальние лагеря. На 10 лет.

— Шутите! — вскрикнул Алик. — За что же?

— Участвовал в террористическом акте.

— Колька — в террористическом акте?! Бред!

— Прокурор говорит: он сам сознался. Следствие располагает его подписью.

Слезы ручьем текли по щекам Софьи Петровны. Она остановилась у стены, схватившись за водосточную трубу.

— Колька Липатов — террорист! — захлебываясь, говорил Алик. — Сволочи, вот сволочи! Да это же курам на смех! Знаете, Софья Петровна, я начинаю думать так: всё это какое-то колоссальное вредительство. Вредители засели в НКВД — вот и орудуют. Сами они там враги народа.

— Но ведь Коля сознался, Алик, сознался, поймите, Алик, поймите... — плача, говорила Софья Петровна.

Алик твердо взял Софью Петровну под руку и повел к дому. У дверей ее квартиры, пока она искала в сумочке ключи, он заговорил опять:

— Коле не в чем было сознаваться, неужели вы в этом сомневаетесь, что? Я ничего не понимаю больше, совсем ничего не понимаю. Я теперь одного хотел бы: поговорить с глазу на глаз с товарищем Сталиным. Пусть объяснит мне — как он себе это мыслит?

13

Софья Петровна всю ночь напролет пролежала с открытыми глазами. Которая уже была это ночь со времени ареста Коли — бесконечная, бездонная? Она уже наизусть знала всё: летнее шарканье подошв под окном, крики в соседней пивной, замирающий зуд трамваев — потом недолгая тишина, недолгая тьма — и вот уже снова заползает в окно белый рассвет, начинается новый день, день без Коли. Где-то сейчас Коля, на чем спит, о чем думает, где он, с кем он? Софья Петровна ни секунды не сомневалась в его невиновности; террористический акт? бред! — как говорит Алик. Просто следователь попался ему слишком старательный, запутал и сбил его. А Коля не сумел оправдаться, он ведь так молод еще. К утру, когда опять рассвело, Софья Петровна вспомнила, наконец, то слово, которое вспоминала всю ночь: алиби. Она где-то читала про это. Он просто не сумел доказать свое алиби.

В первые часы на службе ей стало как будто немного полегче. Ярко светило солнце, и пыль клубилась в солнечном луче, и так деловито стучали машинки — и машинистки в перерыве бегали вниз, на улицу и потом без конца сосали эскимо на палочках — всё было так обычно... 10 лет! Днем, при солнечном свете, становилось ясно, что это чепуха. Она 10 лет не увидит Колю! Да почему же? Что за вздор! Не может этого быть. В один прекрасный день — и совсем скоро — всё станет по-старому: Коля будет дома, будет по-прежнему спорить с Аликом о машинах и паровозах, по-прежнему чертить — только теперь уж она ни за что не отпустит его в Свердловск. Можно ведь и в Ленинграде устроиться.

В перерыве она вышла побродить в коридор — сидя, она боялась уснуть. В коридоре висела новая стенная газета. Перед нею толпились служащие. Софья Петровна тоже подошла почитать. Это был

большой, нарядный номер, с красными заглавными буквами и портретами Ленина и Сталина по обеим сторонам ярко-красного названия: «Наш путь». Софья Петровна подошла к газете. «Как же могло случиться, чтобы вредители в течение целых пяти лет без помехи обдeldывали свои грязные дела перед носом советской общественности?» — прочла Софья Петровна. Это была передовая Тимофеева. На столбце рядом начиналась статья предместкома. Анна Григорьевна язвительно уличала Тимофеева в том, что выступление его на собрании было недостаточно самокритично. Если общественность проглядела вредительство, то первым за это должен отвечать товарищ Тимофеев, бывший парторг. Тем более, что, как выяснилось, парторгу своевременно сигнализировали снизу: сигнализировала товарищ Иванова, давно раскусившая секретаршу своим пролетарским чутьем. Софья Петровна перевела глаза на следующий столбец. И прежде чем она поняла, что читает, у нее стало жарко в груди. Статья была о ней самой, о Софье Петровне, о ее выступлении в защиту Наташи. Автор, скрывшийся под псевдонимом Икс, писал:

«На собрании произошел возмутительный факт, за который, по нашему мнению, недостаточно дали по рукам. Товарищ Липатова выступила с настоящей адвокатской речью — и кого же она сочла необходимым защищать? Фроленко, полковничья дочь, позволившую себе грубый антисоветский выпад против нашей любимой рабочекрестьянской Красной Армии. Известно, что товарищ Липатова постоянно покровительствовала Фроленко, предоставляла ей сверхурочную работу, посещала с ней вместе кинотеатры и пр. и т. п. Теперь, когда издательству предстоит напрячь все силы честных работников, партийных и беспартийных большевиков, чтобы возможно скорее ликвидировать последствия «хозяйничанья» Герасимова—Захарова и К°, — допустимо ли, чтобы в этот ответственный момент в рядах работников издательства находились подобные лица? Выше знамя большевистской бдительности, как учит нас гениальный вождь народов товарищ Сталин! Выкорчем с корнем всех вредителей, тайных и явных, и всех, расписавшихся в сочувствии к ним!»

Раздался звонок, возвещающий конец обеденного перерыва. Софья Петровна пошла к себе в бюро. Как это она раньше не заметила, что сегодня все смотрят на нее особенными глазами?

Вернувшись домой, она прильнула к подушке — к своему последнему прибежищу. И сон сразу сомкнул ей глаза. Она спала долго, ей снился Коля. На нем был пушистый серый свитер. Он привязал к сапогам коньки. И потом, низко наклонившись, заскользил по коридору издательства. Когда она проснулась, за окном синели поздние сумерки, а в комнате горел свет. Возле стола шила Наташа. Видно было, что она шьет здесь уже давно.

— Сядьте сюда, поближе, — слабым голосом сказала Софья Петровна, облизывая губы, невкусные после дневного сна.

Наташа покорно перенесла свой стул к изголовью кровати и села.

— Вы знаете, Колю осудили, на 10 лет. Вам, верно, уже сказал Алик?

Наташа кивнула.

— Ах, да, знаете? — вспомнила Софья Петровна. — Обо мне написали в стенной газете, будто я защищаю вредителей и мне не место...

— Алик арестован. Сегодня ночью, — ответила Наташа.

14

Если Софья Петровна ночью не спала — все часы и минуты суток были для нее одинаковы. Свет резал глаза, болели ноги, ныло сердце. Но если ночью удавалось заснуть, то самой тяжелой минутой, бесспорно, была минута, следующая после пробуждения. Открыв глаза и увидев окно, спинку кровати, свое платье на стуле — в первый миг она не думала ни о чем, кроме этих предметов. Она узнавала их: окно, стул, платье. Но в следующий миг где-то в области сердца возникала тревога, похожая на боль, и сквозь туман этой боли она вдруг вспоминала всё сразу: Коля осужден на 10 лет, Наташу прогнали, Алик арестован, о ней написано, что она заодно с вредителями. Да, еще: керосин.

На работе она ни с кем не разговаривала больше. Даже бумаги, которые приносили ей для переписки, клала перед машинистками молча. И с ней никто не разговаривал. Сидя за своим столиком в бюро, она вглядывалась в лица машинисток, стараясь угадать: кто из них написал про нее в газете? Вероятнее всего — Эрна Семеновна. Но разве она умеет так гладко писать? И когда это она видела их с Наташей в кино? Ее они не видели ни разу.

Однажды, слоняясь в тоске по коридору, она чуть не столкнулась с Наташей. Наташа шла, как лунатик, ступая, будто в темноте.

— Наташа, что вы здесь? — испуганно спросила Софья Петровна.

— Я прочла газету. Не разговаривайте со мною. Увидят, — ответила ей Наташа.

Вечером она пришла к Софье Петровне. Теперь она казалась возбужденной и говорила без умолку, перескакивая с предмета на предмет. Софье Петровне еще никогда не доводилось слушать, чтобы Наташа говорила так много. И она не вышивала, не шила на этот раз.

— Как вы думаете, Коля еще здесь, в городе, или уже далеко? — спросила она вдруг.

— Не знаю, Наташа, — со вздохом ответила Софья Петровна. — Ведь на Шпалерной его буква 20-го, а сегодня только 10-е.

— Нет, я не о том. А как вы чувствуете? — Наташа провела рукой по воздуху. — Он еще здесь, близко от нас, или уже далеко? Мне кажется, далеко. Я вчера вдруг почувствовала: сейчас он уже далеко. Его уже нет здесь... А знаете, Софья Петровна, ведь лифтерша отказалась поднять меня в лифте. «Я не обязана поднимать всяких...» Да, Софья Петровна, вам необходимо сейчас же, завтра же, уйти из издательства. Обещайте мне, что вы уйдете. Милая, обещайте! Завтра же, хорошо?

Наташа коленями стала на диван, на котором сидела Софья Петровна, и умоляюще сложила перед ней руки. Потом она села

к столу, схватила перо и сама написала заявление от имени Софьи Петровны. Она уверяла Софью Петровну, что ей необходимо уйти по собственному желанию, иначе ее непременно уволят за связь с вредителями — «это со мной» — улыбнувшись бледными губами, сказала Наташа, — и тогда уже ни на какую новую службу ни за что не примут. Софья Петровна подписала заявление. Она и сама уже подумывала уходить. Страшно как-то стало в издательстве. От одного вида хромого Тимофеева со связкой ключей в руке ее пробирала дрожь.

— Но мне ведь всё равно в Ленинграде не служить, — грустно сказала она. — Меня ведь всё равно вышлют. Всех жен и матерей высылают.

— Как вы думаете, — спросила Наташа, беря с полки книгу и сейчас же ставя ее на место, — чем объясняется, что Коля сознался? Можно сбить, запутать человека, — я понимаю, — но ведь это в мелочах только. Как можно было так сбить Колю, чтобы он сознался в преступлении, которого никогда не совершал? Этого я, как хотите, не пойму. И отчего все признались? Ведь всем женам говорят, что их мужья признались... Всех сбили?

— Он просто не сумел доказать свое алиби, — сказала Софья Петровна. — Вы забываете, Наташа, что он так молод еще.

— А почему Алика арестовали?

— Ах, Наташа, если бы вы знали, какие грубости он говорил при всех в очереди. Я теперь уверена, что и Коля погиб из-за его языка.

Наташа собралась уходить. На прощанье она порывисто обняла Софью Петровну.

— Что с вами сегодня? — спросила Софья Петровна.

— Со мной ничего... Сидите, не вставайте, не надо! Как вы похожи на Колю, то есть Коля на вас... Вы подадите заявление завтра же, да? Не раздумаете? — спрашивала она, заглядывая Софье Петровне в глаза. — И потом — не забудьте, что 30-го «Ф», надо будет непременно передать Алику деньги, у него ведь ни гроша, а тетка побоится передавать... И потом, дорогая, умоляю вас — пойдите к врачу! Прошу вас! Ведь вы на себя не похожи!

— Что мне врач... Коля, — сказала Софья Петровна и опустила налившиеся слезами глаза.

На другой день с утра она вошла в кабинет директора и молча положила заявление на стекло стола. Тимофеев прочел его и так же молча кивнул головой. Увольнение ее было оформлено с необычайной поспешностью. Через два часа на стене уже висел приказ. А через три вежливый бухгалтер уже выдал ей полный расчет. «Покидаете нас? Ай-я-яй, нехорошо! Смотрите же, заглядывайте, не забывайте старых друзей».

В последний раз идет она по этому коридору. «До свиданья», — сказала она машинисткам после звонка, когда все с треском уже надевали покрышки на свои «ундервуды». «Всего хорошего!» — хором, как Наташе недавно, ответили все, а одна даже подошла к Софье

Петровне и крепко пожала ей руку. Софья Петровна была очень тронута: какая мужественная, благородная девушка! «Счастливо!» — весело крикнула Эрна Семеновна, и Софья Петровна сразу перестала сомневаться, что именно Эрна Семеновна и никто другой написала ту статью.

Она вышла на улицу — в летний шум, в грохот. Вот и кончилась служба — кончилась навсегда. Она пошла было к дому, но скоро повернула к Наташе. Всюду на углах босые мальчишки сжимали в потных пальцах букеты колокольчиков и ромашек. Всё благополучно, вот даже цветы продают. Но оттого, что Коля сидит в тюрьме или едет куда-то под громыханье колес, — весь мир стал бессмысленным и непонятным.

Поднявшись — Боже, как с каждым днем все тяжелее подниматься по лестнице! — поднявшись на пятый этаж, она позвонила. Ей открыла женщина, соседка Наташина, вытирая мокрые руки о передник.

— Наталью Сергеевну утром в больницу отправили, — шумным шепотом сказала женщина. — Отравилась. Вероналом. В Мечниковскую.

Софья Петровна попятилась от нее. Женщина захлопнула дверь.

17-й долго не шел. Прошли уже две девятки и два 22-х, а 17-й всё не шел. Потом 17-й пополз медленно, еле-еле, подолгу задерживаясь у каждого светофора. Софья Петровна стояла. Были заняты даже все места для пассажиров с детьми, и, когда вошла девятая женщина с младенцем, — никто не пожелал уступить ей место. — Скоро весь вагон займут! — кричала старуха с клюкой. — Ездют взад-вперед! Мы, небось, детей на руках таскали. Подёржите, не померте.

У Софьи Петровны тряслись колени — от испуга, от жары, от злого крика старухи. Наконец она вышла. Она почему-то не сомневалась, что Наташа уже умерла. Больница сверкнула ей навстречу всеми своими вымытыми стеклами. Она прошла в прохладный белый вестибюль. Возле справочного окошечка стояла очередь — три человека. Софья Петровна не решилась подойти без очереди. Справки выдавала красивая сестра в накрахмаленном белом халате. Возле нее, перед телефоном, в стакане стоял букет колокольчиков.

— Алло, алло! — закричала она в телефон, выслушав вопрос Софьи Петровны. — Второе терапевтическое? — и потом, положив трубку: — Фроленко, Наталья Сергеевна, скончалась сегодня в 4 часа дня, не приходя в сознание. Вы родственница? Можете получить пропуск в покойницуку.

15

Девятнадцатого вечером, надев осеннее пальто, платок под пальто и калоши, Софья Петровна заняла очередь на набережной. В первый раз предстояло ей продежурить всю ночь бессменно: кто теперь мог сменить ее? Не было больше ни Наташи, ни Алика.

Софья Петровна одна проводила Наташин сосновый гроб через

весь город на кладбище. В тот день долго шел дождь, и большое колесо колымаги плескало ей грязью в лицо.

Наташа лежала в могиле, в желтой земле, недалеко от Федора Ивановича. А где были Алик и Коля? Этого понять невозможно.

Она стояла на набережной всю ночь напролет, прислонившись к холодному парапету. От Невы поднимался мокрый холод. Тут впервые в жизни Софья Петровна увидела восход солнца. Оно встало откуда-то из-за Охты, и по реке сразу побежали мелкие волны, будто ее погладили против шерсти.

К утру у Софьи Петровны от усталости онемели ноги, она совсем не чувствовала их, и, когда в 9 часов толпа кинулась к дверям тюрьмы,— Софья Петровна не в силах была бежать: ноги стали тяжелые, казалось, надо взяться за них руками, чтобы приподнять и сдвинуть с места.

На этот раз номер у нее был 53-й. Через два часа она протянула в окошечко деньги и назвала фамилию. Тучный, сонный человек поглядел в какую-то карточку и вместо обычного «ему не разрешено» ответил: «выслан». После разговора с Цветковым Софья Петровна была вполне подготовлена к такому ответу и все-таки ответ оглушил ее.

— Куда? — без памяти спросила она.

— Он напишет вам сам... Следующий!

Она пошла домой пешком, потому что стоять и ждать трамвая было ей труднее, чем идти. Пыль уже пахла жарой, она расстегнула тяжелое пальто и развязала платок. Казалось, прохожие разучились ходить: они наталкивались на нее то спереди, то сбоку.

Коля напишет ей. Она снова получит письмо, как получала когда-то из Свердловска. Раз сказали в окошечке, что напишет, значит напишет.

Все последующие дни, не завтракая, не убирая постель, Софья Петровна с утра уходила искать работу. В газетах было много объявлений: «Требуется машинистка». Ноги сделались у нее как тумбы, но она покорно ходила целый день по всем адресам. Всюду задавали ей один и тот же вопрос: у вас есть репрессированные? В первый раз она не поняла. «Арестованные родственники», — объяснили ей. Солгать она побоялась. «Сын», — сказала она. Тогда выяснилось, что в учреждении нет утвержденной штатной единицы. И нигде ее не было для Софьи Петровны.

Теперь она боялась всего и всех. Она боялась дворника, который смотрел на нее равнодушным и все-таки суровым взглядом. Она боялась управдома, который перестал с ней раскланиваться. (Она больше не была квартуполномоченной — вместо нее выбрали жену бухгалтера.) Она как огня боялась жены бухгалтера. Она боялась Вали. Она боялась проходить мимо издательства. Возвращаясь домой после бесплодных попыток найти себе службу, она боялась взглянуть на стол в своей комнате: быть может, там уже лежит повестка из милиции? Ее уже вызывают в милицию, чтобы отнять паспорт и отправить в ссылку? Она боялась каждого звонка: не с конфискацией ли имущества пришли к ней?

Она побоялась передать Алику деньги. Когда вечером, накануне 30-го, она приплелась в очередь — к ней подошла Кипарисова. Кипарисова навевывалась в очередь не только в свой день, но чуть ли не каждый день, чтобы узнать у женщин: нет ли чего новенького? кого уже выслали? а кто еще здесь? не переменялось ли вдруг расписание?

— Напрасно вы это делаете, вполне напрасно! — зашептала Кипарисова на ухо Софье Петровне, когда та рассказала ей, зачем пришла.— Дело вашего сына свяжут с делом его приятеля — и получится нехорошо, пятьдесят восемь-одиннадцать, контрреволюционная организация... Зачем вам это нужно, не понимаю!

— Но ведь там не спрашивают, кто передает деньги,— робко возразила Софья Петровна.— Спрашивают только, кому.

Кипарисова взяла ее за руку и отвела подальше от людей.

— Им незачем спрашивать,— произнесла она шепотом.— Они всё знают.

Глаза у нее были огромные, карие, бессонные.

Софья Петровна вернулась домой.

На следующий день она не встала с постели. Ей больше незачем было вставать. Не хотелось одеваться, натягивать чулки, спускать ноги с кровати. Беспорядок в комнате, пыль не раздражали ее. Пусты! Голода она не чувствовала. Она лежала в кровати, ни о чем не думая, ничего не читая. Романы давно уже не занимали ее: она не могла ни на секунду оторваться от своей жизни и сосредоточиться на чьей-то чужой. Газеты внушали ей смутный ужас: все слова в них были такие же, как в том номере стенной газеты «Наш путь»... Изредка она откидывала одеяло и пристыню и смотрела на свои ноги: огромные, отекающие, как водой налитые.

Когда со стены ушел свет и начался вечер, она вспомнила про Наташино письмо. Оно всегда лежало у нее под подушкой. Софье Петровне захотелось снова перечитать его, и, приподнявшись на локте, она вынула его из конверта:

«Дорогая Софья Петровна! — написано было в письме.— Не плачьте обо мне, всё равно я никому не нужна. Мне так лучше. Быть может, всё наладится еще правильно и Коля будет дома, но я не в силах ждать, пока наладится. Я не могу разобраться в настоящем моменте советской власти. А вы живите, моя дорогая, настанет время, когда можно будет посылать посылки и вы ему будете нужны. Пошлите ему крабов, консервы, он любил. Крепко вас целую и благодарю за всё и за ваши слова на собрании. Я жалею вас, что вы из-за меня претерпели. Пусть моя скатерка лежит у вас и напоминает вам про меня. Как мы с вами в кино ходили, помните? Когда Коля вернется, положите ее к нему на столик, на ней цвета веселые подобраны. Скажите ему, что я никогда про него худому не верила».

Софья Петровна снова положила письмо под подушку. А не разорвать ли его? Она тут пишет про настоящий момент советской власти. Что, если это письмо найдут? Тогда Колино дело свяжут с Наташиным делом... А быть может, оставить? Ведь Наташа уже умерла.

Прошло три месяца, потом еще три — наступила зима, январь, годовщина Колиного ареста. Через несколько месяцев будет годовщина ареста Алика и сразу за нею годовщина Наташиной смерти.

В день Наташиной смерти Софья Петровна побывает у нее на могиле. А в годовщину Колиного ареста некуда ей поехать. Неизвестно, где он.

Письма от Коли не было. Софья Петровна по пять, по десять раз в день заглядывала в почтовый ящик. В ящике иногда лежали газеты для жены бухгалтера или открытки для Вали — от ее многочисленных кавалеров, — но письма для Софьи Петровны всё не было.

Второй год она уже не знала, где он и что с ним. Не умер ли? Могло ли ей когда-нибудь прийти на ум, что настанет время, когда она не будет знать: умер Коля или жив?

Она уже снова служила. От голодной смерти спасла её только статья Кольцова в «Правде». Через несколько дней после этой статьи — замечательной статьи о клеветниках и перестраховщиках, понапрасну обижающих честных советских людей, — Софью Петровну приняли на службу в одну библиотеку: не в штат, правда, а вне штата, но все-таки приняли. Она должна была особым библиотечным почерком писать карточки для каталога: 4 часа в день, 120 рублей в месяц. На своей новой службе Софья Петровна не только ни с кем не разговаривала, но даже не здоровалась и не прощалась. Сгорбившись над заваленным книгами столом, в очках, с седыми стриженными волосами; падающими на очки, она высиживала на стуле свои 4 часа, потом поднималась, складывала карточки стопочкой, брала палку с резиновым кончиком, стоящую всегда возле ее стула, запирала карточки в шкаф и медленно, ни на кого не глядя, выходила.

Целая колонна крабовых консервов возвышалась уже на подоконнике в комнате Софьи Петровны, под ногами скрипела крупа, и все-таки ежедневно после службы она отправлялась закупать продукты еще и еще. Она покупала консервы, топленое масло, сушеные яблоки, свиное сало — всего этого было в магазинах вдоволь, но ведь когда Коля придет письмо, то или другое может как раз исчезнуть. А иногда рано утром, до службы еще, Софья Петровна брела на Обводный, на барахолку. Жестоко торгуясь, купила она там шапку с ушами, шерстяные носки. По вечерам, сидя в своей неряшливой, нетопленной комнате, она шивала из старых тряпок мешки и мешочки. Они понадобятся, когда нужно будет уложить посылку. Из-под кровати торчали фанерные ящики разных размеров.

Она теперь почти никогда ничего не ела — только чай пила с хлебом. Есть не хотелось, да и денег не было. Продукты для посылки стоили дорого. Из экономии она топила у себя не чаще раза в неделю. И потому дома всегда сидела в старом летнем пальто и напульсниках. Когда ей делалось очень уж холодно, она забиралась в кровать. В холодной комнате убирать было незачем — всё равно холодно и неудобно, — и Софья Петровна не мела больше пол и пыль сметала только с Колиных книг, с радио и шестеренки.

Лежа в кровати, она обдумывала очередное письмо к товарищу Сталину. С тех пор, как Колю увезли, писем товарищу Сталину она написала уже три. В первом она просила пересмотреть Колино дело и выпустить его на свободу, потому что он ни в чем не виноват. Во втором она просила сообщить, где он, чтобы она могла поехать к нему и увидеть его еще один раз перед смертью. В третьем она умоляла сказать ей только одно: жив он или умер? Но ответа не было. Первое письмо она просто опустила в ящик, второе сдала казачьим, а третье — с обратной распиской. Обратная расписка вернулась к ней через несколько дней. В графе «Расписка получателя» стояло что-то непонятное, с маленькой буквы: «...ерян».

Кто такой этот Ерян? И передал ли он письмо товарищу Сталину? Ведь на конверте было написано: «В собственные руки. Личное».

Регулярно раз в три месяца Софья Петровна заходила в какую-нибудь юридическую консультацию. С защитниками беседовать приятно, они учтивы, не чета прокурорам. Там тоже очередь, но пустяковая, не больше, чем на какой-нибудь час. Софья Петровна терпеливо ждала, сидя на стуле в коридорчике и опираясь обеими руками и подбородком на свою палку. Но ждала она зря. К какому бы защитнику она ни обращалась, каждый вежливо объяснял ей, что помочь ее сыну ничем, к сожалению, невозможно. Вот если бы дело его было передано в суд...

Однажды — это было ровно год, 1 месяц и 11 дней после ареста Коли — в комнату Софьи Петровны вошла Кипарисова. Вошла она не постучавшись и, тяжело задыхаясь, опустилась на стул. Софья Петровна взглянула на нее с удивлением: Кипарисова опасалась, как бы дело Ивана Игнатьевича не связали с Колиным делом, и потому никогда не заходила к Софье Петровне. И вдруг пришла, села и сидит.

— Выпускают, — хрипло сказала Кипарисова, — людей выпускают. Сейчас в очереди сама своими глазами видела: один из выпущенных пришел за документами. Не худой, только лицо очень белое. Мы его все обступили, спрашиваем: ну, как у вас там было? Ничего, говорит.

Кипарисова смотрела на Софью Петровну. Софья Петровна смотрела на Кипарисову.

— Ну, я пойду, — Кипарисова поднялась. — У меня очередь в прокуратуре занята. Не провожайте, пожалуйста, чтобы нас в коридоре никто вместе не видел.

Выпускают. Некоторых людей выпускают. Они выходят на улицу из железных ворот и возвращаются домой. Теперь и Колю могут выпустить. Раздастся звонок и войдет Коля. Или нет, раздастся звонок и войдет почтальон: телеграмма от Коли. Ведь Коля не здесь, он далеко. Он пошлет телеграмму с пути.

Софья Петровна вышла на лестницу и отворила дверцу почтового ящика. Пусто. Пусто в его нутре. Софья Петровна с минуту смотрела на его желтую стенку — как бы надеясь, что взгляд ее вызовет из этой стенки письмо.

Не успела она вернуться к себе и вдеть нитку в иглу (она шила

очередной мешок), как дверь ее комнаты опять отворилась без стука и на пороге показалась жена бухгалтера и за ней управдом.

Софья Петровна встала, загоразвивая спиной продукты.

Ни медсестра, ни управдом не поздоровались с Софьей Петровной.

— Вот видите! — сразу заговорила медсестра, указывая на керосинку и примус. — Обратите ваше внимание: целую кухню здесь устроила. Копоть, гадость, весь потолок закоптила. Разрушает домовое хозяйство. На кухне, с другими, не желает, видите ли, стряпать — гнушается с тех пор, как мы уличили ее в систематических покражах керосина. Сын в лагере, разоблачен как враг, сама без определенных занятий, вообще — подозрительный элемент.

— Вы, гражданка Липатова, — сказал управдом, оборачиваясь к Софье Петровне, — вынесите немедленно принадлежности на кухню. А не то в милицию заявлю...

Они ушли. Софья Петровна перенесла примус, керосинку, решето и кастрюли в кухню, на прежнее место, потом легла на кровать и громко зарыдала. «Я не могу больше терпеть, — говорила она вслух, — я не могу больше терпеть». И снова, высоким голосом, не сдерживая себя, по слогам: «я не мо-гу, не мо-гу боль-ше терпеть». Она произносила эти слова так убедительно, так настойчиво, будто перед нею стоял кто-то, кто утверждал, что, напротив, у нее еще вполне хватит сил потерпеть: «Нет, не могу, не могу, невозможно больше терпеть!»

К ней вошла жена милиционера.

— Вы не плачьте, — зашептала она, укутывая Софью Петровну в одеяло, — да вы послушайте, что я вам скажу! Они не по закону поступают. Муж говорит: раз не выслали вас — значит, никто права не имеет притеснять. Да вы не плачьте! Муж говорит, многих сейчас выпускают — Бог даст, и Николай Федорович скоро вернется... Ейная дочка выходит замуж — вот мамаша и нацелилась на вашу комнату. А вы не выезжайте и всё. Мамаша для дочки нацелилась, а управдом для полюбовницы для своей. Вот они и передерутся... Да вы не плачьте! Я верно вам говорю.

17

Зимую сквозь двойные рамы уличные звуки по ночам почти не проникали в комнату. Зато квартирные шорохи и скрипы слышны были Софье Петровне всю ночь. Настойчиво скреблись мыши — как бы они не подобрались к салу, купленному для Коли. В коридоре скрипели половицы и, когда мимо проезжал грузовик, вздрагивали входные двери. В комнате бухгалтера каждые пятнадцать минут важно били часы.

Коля скоро вернется. В эту ночь Софья Петровна не сомневалась больше, что Коля скоро вернется. Кипарисова говорит и милиционер Дегтяренко... Он должен вернуться, потому что, если он не вернется, она умрет. Раз невиновных начали выпускать, значит, и Колю скоро выпустят. Не может же быть, чтобы других выпустили, а его нет. Коля вернется — и как тогда будет стыдно медицинской сестре!

И управдому. И Вале. Они глаз на него не посмеют поднять. Коля не станет даже и здороваться с ними. Пройдет мимо, как мимо стены. Когда он вернется, ему сразу дадут какую-нибудь ответственную службу — и даже орден! — чтобы поскорее загладить свою вину перед ним. На груди у него будет орден, а с медицинской сестрой и с Валей он не станет здороваться...

Под утро Софья Петровна уснула и проснулась поздно, только в 10 часов. Проснувшись, она вспомнила: что-то вчера было хорошее, что-то она узнала хорошее про Колю. Ах, да, людей стали выпускать из тюрьмы. И раз начали выпускать — значит, скоро и Коля вернется. И Алик. Всё будет хорошо, всё по-прежнему. Софья Петровна поймала себя на быстрой мысли: значит, и Наташа вернется. Нет, Наташа не вернется, но Коля — Коля уже едет домой, может быть, вагон его уже подъезжает к вокзалу.

Возвращаясь в этот день из библиотеки, Софья Петровна остановилась перед витриной комиссионного магазина и долго перед ней простояла. В витрине был выставлен фотографический аппарат «лейка». Коля всегда мечтал о фотографическом аппарате. Хорошо бы продать что-нибудь и купить Коле ко дню его возвращения «лейку». Фотографировать Коля научится быстро — ведь он такой умелый, такой сообразительный.

Весь день Софья Петровна была в приподнятом, радостном состоянии духа. Ей даже есть захотелось — впервые за много дней. Она уселась на кухне чистить картошку. Если приобрести для Коли фотографический аппарат — то вот затруднение: где он будет проявлять снимки? Необходима абсолютно темная комната. Ну, конечно, в чулане. Там дрова, но можно очистить место. Можно потихоньку часть своих дров унести в комнату и попросить жену Дегтяренко, чтобы и она взяла вязанку к себе — она не откажет — вот и очистится место. Коля всех будет фотографировать: и Софью Петровну, и близнецов, и знакомых барышень — только Валю и медсестру снимать ни за что не будет. У него составится целый альбом фотографий, но Вале и медсестре в этот альбом не попасть.

— У вас еще много дров в чулане? — спросила Софья Петровна жену Дегтяренко, когда та вошла в кухню за веником. — Вязанки этак три, — отозвалась жена Дегтяренко. — Вы любите сниматься? Я очень любила в молодости, у хорошего фотографа, конечно... Знаете что? Колю выпустили.

— Да ну! — вскрикнула жена Дегтяренко и выронила веник. — Ну вот, а вы убивались! (Она расцеловала Софью Петровну в обе щеки.) — Письмо прислал или телеграмму? — Письмо. Только что получила. Заказное, — ответила Софья Петровна.

— А я и не слыхала, как почтальон приходил. С этими примусами совсем оглохнешь.

Софья Петровна ушла к себе в комнату и села на диван. Ей надо было посидеть в тишине, отдохнуть от своих слов, понять их. Колю выпустили. Выпустили Колю. Из зеркала смотрела на нее сморщенная старуха с зелено-серыми, седыми волосами. Узнает ли ее Коля, когда вернется? Она вглядывалась в глубь зеркала до тех пор,

пока всё не поплыло перед нею и она перестала понимать — где настоящий диван, а где отражение.

— Знаете, моего сына выпустили. Из тюрьмы,— сказала она в библиотеке сотруднице, писавшей карточки за одним столом с ней. Та до сих пор не слышала от Софьи Петровны ни единого слова, а Софья Петровна не знала даже, как ее зовут. Но ей необходимо было повторять свое заклинание.— Вот как! — ответила сотрудница. Это была неряшливая, толстая женщина, вся осыпанная волосами и пеплом от папирос.— Ваш сын, вероятно, ни в чем не был виноват — вот его и выпустили. У нас не станут держать человека зря... И долго сидел ваш сын?

— Год два месяца.

— Что ж, разобрались и выпустили,— сказала толстая женщина, отложила папиросу и принялась писать.

Вечером, столкнувшись с Софьей Петровной в коридоре, милиционер Дегтяренко поздравил ее.— С вас магарыч,— сказал он, пожимая ей руку и широко улыбаясь.— А когда же Николай Федорович к мамаше пожалует?

— А вот проработает месяц-другой на заводе, потом поедет в Крым отдыхать,— он так нуждается в отдыхе! — а потом и ко мне. Или, может быть, я к нему съезжу,— ответила Софья Петровна, сама удивляясь легкости, с какой она говорит.

Она была радостно возбуждена и даже ноги носили ее быстрее. Ей хотелось каждую минуту говорить кому-нибудь: «Колю выпустили. Знаете? Выпустили Колю!» Но некому было говорить. Вечером она вышла в магазин за хлебом и сразу встретила любезного издательского бухгалтера. Еще день тому назад, увидев его, она перешла бы на другую сторону, потому что всё, что напоминало ей службу в издательстве, причиняло ей боль. Но теперь она приветливо заулыбалась ему.

Он галантно поклонился и сразу спросил:

— Слыхали наши новости? Тимофеев арестован.

— Как? — смутилась Софья Петровна.— Ведь он же... ведь он же всех и разоблачил... вредителей...

Бухгалтер пожал плечами.

— А теперь его кто-то разоблачил...

— У меня, знаете, радость,— поспешно сказала Софья Петровна.— Сына выпустили.

— Вот как! Примите мои поздравления. А я и не знал, что сын ваш был арестован.

— Да, был, а вот теперь его выпустили,— весело сказала Софья Петровна и простилась с бухгалтером.

Возвращаясь домой, она машинально заглянула в почтовый ящик. Пусто. Нет письма. У нее сжалось сердце, как всегда сжималось возле пустого ящичка. Ни строчки за целый год. Неужели потихоньку ни с кем невозможно переслать письмо? Год и два месяца нету от него вестей. Не умер ли он? Жив ли он?

Она легла в кровать и почувствовала, что ни за что не заснет. Тогда она приняла люминал, двойную порцию. И заснула.

— Сегодня я получила еще письмо,— рассказывала в кухне Софья Петровна на следующее утро.— Представьте, моего сына директор завода назначил своим помощником. Правой рукой. Местком приобрел для него путевку в Крым — роскошная там природа, я бывала в молодости. А когда он вернется, он женится. На одной девушке, комсомолке. Ее зовут Людмила — правда, красивое имя? Я буду звать ее Милочка. Она ждала его целый год, хотя имела много других предложений. Она никогда не верила про Колю худому.— Софья Петровна победоносно взглянула на жену бухгалтера, стоящую возле своего примуса.— И теперь он на ней женится — сразу, чуть вернется из Крыма.

— Внучат, значит, нянчить будете,— сказала жена Дегтяренко.

Медсестра даже бровью не повела. Но через минуту, когда Софья Петровна, сходя к себе за солью, снова вышла на кухню, медсестра сказала ей: «Здравствуйте!», будто видела ее сегодня впервые. Первое «здравствуйте» за целый год.

У Софьи Петровны был выходной день, и она решила прибрать свою комнату. Если Коля еще и не на свободе, то ведь его должны освободить с минуты на минуту. Он придет, а в комнате такой разгром. Взглянув на себя мельком в зеркало, Софья Петровна решила, что ей необходимо снова начать завиваться. А то седые патлы висят. Женщина должна следить за собой до своего последнего дня. Она вытащила из-под кровати ящики и растопила ими печь. Фанера горела отлично, с веселым треском. Софья Петровна раздумывала: куда бы засунуть консервы, чтобы они не валялись на подоконнике? И к чему столько банок? Когда понадобятся, всегда можно в магазине купить.

Она решила вымыть окна и пол. Ноги у нее болели, как всегда, и поясница болела, но что же делать, надо потерпеть. Она разорвала мешки на тряпки.

Пока греется вода, надо вытряхнуть коврик. Софья Петровна вытащила коврик на площадку. В скважинах почтового ящика что-то темнело. Софья Петровна, тяжело ступая, пошла за ключом.

В ящике лежало письмо. Конверт был розовый, шершавый. «Софье Петровне Липатовой»,— прочла она. Ее имя было написано незнакомым почерком. И ни адреса, ни почтового штемпеля — ничего.

Забыв коврик на площадке, Софья Петровна кинулась к себе. Села у окна и вскрыла конверт. От кого бы это?

«Милая мамочка! — написано было в письме Колиной рукой, и Софья Петровна сразу опустила листок на колени, ослепленная этим почерком.— Милая мамочка, я жив и вот добрый человек взялся доставить тебе письмо. Как-то ты поживаешь, где Алик, где Наталья Сергеевна? Все время думаю я о вас, мои дорогие. Страшно мне думать, что ты, может быть, живешь сейчас не дома, а где-нибудь в другом месте. Мамочка, на тебя вся моя надежда. Мой приговор основан на показаниях Сашки Ярцева — помнишь, такой мальчик был у меня в классе? Сашка Ярцев показал, что он вовлек меня в

террористическую организацию. И я тоже должен был сознаться. Но это неправда, никакой организации у нас не было. Мамочка, меня бил следователь Ершов и топтал ногами, и теперь я на одно ухо плохо слышу. Я писал отсюда много заявлений, но всё без ответа. Напиши ты от своего имени старой матери и в письме изложи факты. Тебѣ ведь известно, что я Сашу Ярцева со времени окончания школы даже ни разу не видел, так как он учился в другом вузе. И в школе я с ним никогда не дружил. Его, наверное, тоже сильно били. Целую тебя крепко, привет Алику и Наталье Сергеевне. Мамочка, делай скорее, потому здесь недолго можно прожить. Целую тебя крепко. Твой сын Коля».

Накинув пальто, нахлобучив шапку, с грязной тряпкой в руках, Софья Петровна побежала к Кипарисовой. Она боялась, что забыла номер квартиры Кипарисовой и не найдет ее. Письмо она сжимала в кармане. Она не взяла с собой палку и бежала, хватаясь за стены. Ноги подводили ее: как ни торопилась она, до Кипарисовой всё еще было далеко.

Наконец она вошла в парадную и из последних сил поднялась на третий этаж. Здесь, кажется. Да, здесь. «Кипарисова М. Э.— 1 звонок». Ей открыла какая-то девочка и сейчас же убежала. Пробравшись по темному коридору мимо шкафов, Софья Петровна наобум отворила дверь и вошла.

Кипарисова, в пальто и с палкой в руках, сидела посреди комнаты на сундуке. В комнате было совершенно пусто. Ни стула, ни стола, ни кровати, ни занавесок, один телефон возле окна на полу. Софья Петровна опустила ее на сундук рядом со старухой.

— Меня высылают,— сказала Кипарисова, не удивляясь появлению Софьи Петровны и не здороваясь с ней.— Завтра утром еду. Всё до нитки продала и завтра еду. Мужа уже выслали. На 15 лет. Видите, я уже уложилась. Кровати нет, спать не на чем, просижу ночь на сундуке.

Софья Петровна протянула ей Колино письмо.

Кипарисова читала долго. Потом сложила письмо и запихала его в карман пальто Софьи Петровны.

— Пойдемте в ванную, тут телефон,— шепотом сказала она.— При телефоне нельзя ни о чем разговаривать. Они вставили в телефон такую особую пластинку и теперь ни о чем нельзя разговаривать — каждое слово на станции слышно.

Кипарисова провела Софью Петровну в ванную, накинула на дверь крючок и села на край ванны. Софья Петровна села рядом с ней.

— Вы уже написали заявление?

— Нет.

— И не пишите! — зашептала Кипарисова, приближая к лицу Софьи Петровны свои огромные глаза, обведенные желтым.— Не пишите, ради вашего сына. За такое заявление по головке не погладят. Ни вас, ни его. Да разве можно писать, что следователь бил? Такого даже думать нельзя, а не только писать. Вас позабыли выслать, а если вы напишете заявление — вспомнят. И сына тоже упекут

подальше... А через кого прислано это письмо? А свидетели где?.. А как доказать?.. — Она безумными глазами обвела ванную. — Нет уж, ради Бога, ничего не пишите.

Софья Петровна высвободила руку, открыла дверь и ушла. Она торопливо, но медленно брела домой. Нужно было закрыться на ключ, сесть и обдумать. Пойти к прокурору Цветкову? Нет. К защитнику? Нет.

Выкинув из кармана письмо на стол, она разделась и села у окна. Темнело, и в светлой темноте за окном уже загорались огни. Весна идет, как уже поздно темнеет. Надо решить, надо обдумать — но Софья Петровна сидела у окна и не думала ни о чем. «Следователь Ершов бил меня...» Коля по-прежнему пишет «д» с петлей наверху. Он всегда писал так, хотя, когда он был маленький, Софья Петровна учила его выписывать петлю непременно вниз. Она сама учила его писать. По косой линейке.

Стемнело совсем. Софья Петровна встала, чтобы зажечь свет, но никак не могла отыскать выключатель. Где был в этой комнате выключатель? Невозможно вспомнить, где в этой комнате выключатель? Она шарила по стенам, натываясь на сдвинутую для уборки мебель. Нашла. И сразу увидела письмо. Измятое, скомканное, оно корчилось на столе.

Софья Петровна вытащила из ящика спички. Чиркнула спичку и подохла письмо с угла. Оно горело, медленно подворачивая угол, свертываясь трубочкой. Оно свернулось совсем и обожгло ей пальцы.

Софья Петровна бросила огонь на пол и растоптала ногой.

ноябрь 1939 — февраль 1940
Ленинград

Я родилась в Петербурге в 1907 году. Окончив среднюю школу в 1924-м, поступила на Государственные курсы при Институте истории искусств. С 1928 года начала работать в Ленинградском отделении Детиздата, руководителем С. Я. Маршаком. Как и для многих, работа в «маршаковской редакции» явилась для меня истинной школой литературы. Однако в 1937 г. редакция была объявлена «вредительской группой», некоторые ее члены арестованы, многие из окружающих погибли. В том же 1937-м арестовали, а в 1938-м расстреляли моего мужа, физика-теоретика М. П. Бронштейна.

Из моих работ, появившихся в Москве, существенными представляются мне «В лаборатории редактора» (1963) и книга о «Былом и думах» Герцена (1966). В 1939—40 гг., по свежим следам событий, мною была написана повесть «Софья Петровна», опубликованная в 1965-м на Западе. Там же в 1972 г. напечатана повесть «Спуск под воду», написанная в 1949—57 гг., а затем «Записки об Анне Ахматовой» и сборник статей в защиту незаконно гонимых — «Открытое слово».

В 1974 году меня исключили из Союза писателей. Ни одна моя строка не печаталась дома, самое имя было запрещено. На Западе вышла книга «Процесс исключения» (1979). Только с 1988 года мои статьи и книги снова начали печататься в Москве и Ленинграде.

Л. Чуковская

И. ГРЕКОВА

Хозяйева жизни

Было это в конце пятидесятых годов. Я ехала в поезде в одну из дальних моих командировок. На душе у меня была одна большая забота, какая именно — говорить не стоит, потому что к моему рассказу это не имеет отношения. Из-за этой заботы мне больше хотелось быть одной, и я почти не разговаривала со своими соседями по купе. Их было двое. Один — военный, бесформенно толстый полковник с прядью волос, переброшенной поперек лысины от одного уха до другого. В дороге он сразу распустился и надевал китель только выходя на станциях, а так ехал в подтяжках поверх сиреневой трикотажной рубашки (обычное, стандартное мужское белье). Он раздражал меня своей манерой хлюпая пить чай, обручальным кольцом, вросшим в пухлый волосатый палец, и тем общим разлитым тоном превосходства, который обычно идет от высокого оклада в сочетании с низкой культурой.

Другой был, наоборот, аскетически-худой, сутулый, с коричнево-смуглым лицом, изрубленным морщинами. Когда он говорил, огромный кадык нырял, как поплавок, на длинной шее. Несмотря на морщины, седые виски и поредевшие, отступившие ото лба волосы, в нем было что-то неприятно-юношеское.

С этим было сложнее, чем с тем. Иногда он почти начинал мне нравиться — и вдруг становился неприятен. Хорош был голос — глубокий, музыкальный, с неуловимо изящными интонациями хорошо воспитанного человека. Такой голос сам по себе было интересно слушать. И вдруг, как ножом по стеклу, в нем царапала противная, лебезящая нота. Глаза — большие, голубые, блестящие, но взгляд не прямой, уклончивый, а белки — в мелких кровавых жилках. Особенно раздражала его подчеркнутая, ненатуральная вежливость. Стоило мне войти в купе, как он вскакивал, расшаркивался и всеми средствами выражал предупредительность. Но вот когда он молчал и задумчиво смотрел в окно, я не могла оторвать глаза от его резкого профиля. Кого-то он мне напоминал. Кого-то очень хорошо знакомого, с детства. Только на вторые сутки я догадалась — кого. Это был Иоанн Креститель с «Явления Христа народу». Тот же горячий, вдохновенный глаз. Та же впалая, скорбная щека. Это был Иоанн Креститель — постаревший, полысевший, изрубленный жизнью.

Четвертое место в купе было не занято. И вообще в нашем мягком вагоне было много свободных мест. В проходе обычно бывало пусто, и я подолгу стояла у окна наедине со своей большой заботой. И в тот вечер, о котором идет речь, я тоже долго стояла и смотрела. Мимо летели суровые, изможденные, отработавшие свое степи. Была поздняя осень — начало зимы по-здешнему. На всех неровностях

голой земли, как седина в черных волосах, лежали белые полосы инея. Местами ветер трепал сухие мертвые стебли бурьяна, почерневшие то ли от жестокого летнего солнца, то ли от мороза ранней зимы. А над степью, снизу до половины неба, светилась нежная, пронзительно розовая заря. У одной станции, рядом с водокачкой, стоял чеканный, черный на розовом, верблюд. Такое одиночество шло от этого верблюда! А дальше — снова одни пустые степи. Редко-редко мелькали затерянные в степях людские поселки: два-три вросших в землю глинобитных домика. У одного такого домика, на целую голову выше его, стояла, с платком до самых глаз, женщина в ватнике. Высокие резиновые сапоги были облеплены грязью, ветер дергал тонкую ситцевую юбку. Женщина стояла неподвижно, только голова медленно поворачивалась за идущим поездом. На самом краю дороги растопыренный чертополох протягивал черные, обугленные, тонкие руки и словно взывал: «Остановитесь! Выслушайте нас! Не проходите мимо!» Все это почему-то трогало меня, становилось в мысли рядом с моей большой заботой. Как здесь должно быть жутко осенней ночью, когда поезд уже прошел, и заря погасла, и так далеко отсюда: от городов, от людей!

А заря и вправду постепенно погасла, и за окном не стало ничего видно. Одна темнота: серее — сверху, чернее — внизу, а сквозь нее редко бежал спереди назад дрожащий желтый огонек.

Я вернулась в купе. Оба соседа были там. Мне показалось, что мой приход оборвал какой-то разговор, важный для обоих. Худой даже не вскочил и не засуетился. Им, видно, было одинаково неловко и продолжать разговор, и прервать его внезапно.

— Да,— протянул военный,— сколько воды утекло! Я ведь вас сперва не узнал. Смотрю — знакомое лицо. А где видел — ума не приложу. Спасибо, вы напомнили.

— Я-то вас узнал сразу,— сказал худой своим глубоким голосом.— Вы, в сущности, мало изменились.

— Да,— повторил военный и помолчал.— Умерла, значит, Нина Анатольевна. Жаль, жаль. Такая интересная была женщина.

Худой ничего не ответил, только потрогал себя за шею и издал неопределенный, мычащий звук. Я тревожно на него покосилась. Мне показалось — человек сейчас заплачет. Нет, я ошиблась — он заговорил совсем спокойно, даже со своей лебезящей нотой:

— Очень приятно было снова с вами встретиться. Очень рад. Очень рад.

Мне стало как-то противно, к тому же я не хотела им мешать. Я пошла в вагон-ресторан. Идти было далеко: почти через весь поезд. Я все шла и шла через тускло освещенные, жарко натопленные общие вагоны. Здесь было тесно и душно, пахло людьми. С верхних полок поперек прохода протягивались мужские ноги в носках; нужно было нагнуться, чтобы пройти. Внизу спали и бредили женщины, маленькие дети. В одном вагоне, на откидном деревянном столике, с треском «забывали козла» и ругались. В другом надрывно, с силой, плакал-убивался грудной ребенок, и женский голос терпеливо, заунывно тянул: аа-а! аа-а! А между вагонами шатались и гремели

темные, холодные площадки-переходы, лязгало железо, приплясывали буфера. Здесь сразу холодом и грозной чернотой вступала в свои права окаянная, безлюдная, кричащая от одиночества степь. Так и чередовались: вагон и площадка, людское и степное бездолье.

Вот, наконец, и вагон-ресторан. Я села у окна за столик с залитой скатертью и мокрыми окурками на грязных тарелках. Другие столики были не лучше. Кроме меня, в вагоне посетителей не было. Только в дальнем углу унылый, серый пьяный, видно давно уже все съевший и выпивший, тихо объяснял что-то сам себе на матерном языке и никак не мог понять, переспрашивал. За стойкой дремала пожилая, толстая буфетчица с красными руками, в белом халате поверх ватника, в кружевном, жестко накрахмаленном кокошнике. Ко мне никто не подходил. Я подошла к стойке и разбудила буфетчицу. Она прснулась неохотно, явно меня ненавидя, но пошла и привела (вероятно, тоже разбудила) официантку. Эта была великолепна: молодая, статная, раскрашенная блондинка с ярко-лиловыми ногтями. Брезгливо, медленно она убрала со стола и приняла заказ — тоже холодно и враждебно. Ох, эта ресторанный ненависть! Как мы ее хорошо знаем — мы, одинокие женщины, не пьющие водки... Народу в ресторане не было, и все-таки пришлось ждать больше получаса, пока она принесла скользкие биточки с холодными макаронами и синеватое какао. Оставленная сверх счета мелочь на скатерти выглядела ужасно сиротливо. Блондинка казалась смертельно оскорбленной, но деньги взяла.

Я сидела и без охоты ковыряла вилкой свои биточки, когда вдруг услышала голос:

— Разрешите к вам присоединиться?

Это был худой из моего купе. Он стоял и кланялся, как петрушка.

Я медлила с ответом. Кругом же было много свободных столиков. А мне не хотелось нарушать наше одиночество — наше с большой заботой. Но он об этом знать не мог.

— Я понимаю, что вы думаете, — сказал он, — зачем ему понадобилось садиться как раз за мой столик? Вы правы, конечно. Но у меня сегодня... одним словом, мне сегодня трудно быть одному. А наш с вами сосед, полковник, уже лег спать.

— Да нет, ничего, — поспешила сказать я, — садитесь тут, пожалуйста. — Он вдруг напомнил мне тот чертополох у дороги.

Официантка подошла, играя бедрами, и довольно оживленно приняла заказ: четыреста грамм и бутерброды. Удивительно, как скоро она их принесла.

— Может быть, сделаете мне честь? — спросил худой. — Нет? Ну, не надо.

Он налил рюмку и профессионально, даже изящно, опрокинул ее в рот. Закусил бутербродом.

— Тысячу раз прошу извинения, — вдруг спохватился он. — Я забыл вам представиться. Игорь Порфирьевич Галаган.

Он снова встал и по-петрушечьи поклонился. Снова пришлось его усадить. Я довольно неохотно назвала себя: имя, отчество, фамилию, профессию. В наше время, рекомендуясь, надо назвать профессию.

Чтобы сразу видно было — кто ты. Я сказала ему об этом. Он задумчиво выслушал и не сразу улыбнулся.

— Кто я? А этого я и сам не знаю. Знаете что? Давайте, я вам расскажу свою историю. Тогда вы сами увидите, кто я. Может быть, даже мне объясните.

Это он славно как-то сказал и понравился мне. Я совершенно искренне ответила:

— С большим удовольствием вас послушаю.

Он снова выпил водки и начал рассказывать.

* * *

Ну, с чего же начать? Прежде всего, я коренной ленинградец. Петербуржец даже. Все мои предки жили в Петербурге. Я из старинной путейской семьи. Отец мой был инженер путей сообщения, и оба дяди, и дед. И по материнской линии тоже все путейцы. Целый клан. А из меня путейца не вышло. Я захотел быть художником. Отец был против, но я стоял на своем. Любил я живопись, знаете, до страсти. Просто трясся, когда о ней думал.

Родители мои были очень хорошие люди, особенно мать. Я ее страшно любил. Хотите, покажу карточку?

Он порывлся дрожащими пальцами в бумажнике и вынул старинную, на твердом картоне, фотографию. С краю карточка была грубо срезана, наверное, ножницами — видно, не помещалась в бумажнике. На снимке была удивительной прелести молодая белокурая дама, в белой блузке с высоким воротом, с тревожными и трогательными глазами. Прижавшись к ней щекой, такими же глазами смотрел хорошенький, кудрявый мальчик в белой матроске.

— Это вы? — спросила я.

— Я, а что? Трудно узнать? Естественно. Много лет прошло, да и жизнь...

Да, жизнь. Кому не случалось горестно вздыхать, глядя на ее жестокие труды. Но здесь было другое. Как бы это объяснить? Здесь поражало не различие, а тождество. Словно в эту минуту кто-то сказал: «А и слаба же ты, жизнь! Била, била, а таки не смогла убить в этом лице красоту». И точно, она была здесь: неизменная, тождественная самой себе, тревожная красота тех двоих — дамы и мальчика.

— Но я не об этом хотел рассказывать, не о детстве. Детство мое было довольно заурядным детством мальчика из интеллигентной, обеспеченной семьи. С боннами, гувернантками, белыми чулочками. С тремя языками. С музыкой. Совсем обыкновенное в том кругу детство, если бы не мама. Я у нее был один. Любила она меня бесконечно. И я ее. Мы все друг другу говорили и вместе мечтали, как самые близкие друзья. Это я как-то не так рассказываю, выходит обыкновенно, а было... Ну, вот. Когда я захотел стать художником, отец был против, а она всегда была за меня, больше, чем я сам.

Отец умер вскоре после революции, в 18-м году, и остались мы с ней вдвоем. Время было трудное, голод. Я уже был лет семнадцати. Посещал студию изобразительных искусств — были тогда такие, и

каждая с порывом к новому. Всю жизнь заново строили — и искусство тоже. Наша студия помещалась в разоренном барском особняке. Ободранные диваны, позолота. Отопление не действовало, трубы полопались. В зале, где мы работали, зимой лед стоял на полу. Чтобы согреться, мы жгли бумагу прямо на паркете. Такие дикарские костры! А какие ребята были! Голодные, оборванные, веселые и все — пророки. Работали как одержимые. Писали красками, только красок не было. Мы делали их сами из чего придется — из сажи, из толченого кирпича, из известки... Это даже было интересно — писать такими красками. Каждая картина была как задача. Вроде как в геометрии задачи на построение только циркулем и линейкой.

Зимой руки у нас мерзли, и краски тоже. Пока разотрешь, разогрешь... Мне все это было нипочем. Я был счастлив, знаете. Молодой, способный. Возможно, даже талантливый.

Маме было труднее. Она хозяйничала, неумелая, варила в кафельной печи на лучинках кашу — ржаную, овсяную, из отрубей. Я эту кашу съедал и даже не замечал, что ем. А ведь крупу надо было достать. Мама зарабатывала: давала уроки музыки спекулянтским дочкам. А еще вещицы разные носила на базар: менять на продукты. Вещиц этих у нас очень мало осталось, потому что в самом начале у нас какой-то отряд почти все реквизирует. Вернее всего, незаконно. Помню, принесла она мне как-то раз два кусочка сахара — все в хлебных крошках. Я их съел и даже не очень заметил. А она на меня, когда я ел, так смотрела — словно молилась. Исхудала, стала такая голубая, прозрачная. Я не очень беспокоился. Я ведь и сам был худой, как уличная собака, но все у меня внутри горело.

Света, конечно, не было, по вечерам темно. Мы с мамой рано ложились спать, в валенках, в шубах, наложив на себя сверху все тряпье, какое было в доме, и тут начинались разговоры. Мы говорили в темноте без конца. О чем? Об искусстве, о его перспективах, о моих замыслах. О моем будущем. Никогда не говорили о быте, о еде, о трудностях. У нас это не было принято. В нашем доме и раньше не говорили о деньгах, например. Как-то считалось, что приличные люди об этом не говорят.

Так мы жили с ней, и я был счастлив. И вот однажды в феврале девятнадцатого года, двадцать пятого февраля, такой сиреневый был вечер, я пришел домой из студии и нашел ее мертвой.

(...Он остановился и снова издал тот внутренний, мычащий звук, и снова я покосилась: не плачет ли? Нет, не плачет.)

— Как я тогда выжил, выдержал — объяснить не могу. Я был в отчаянии. Виноват: увлекся искусством (черт бы его взял, это искусство!), а ее, знаете, убил. Но, так или иначе, я выжил и даже в люди выбился. Но это уже потом. Сначала был на фронте, в каком-то дорожном отряде. Потом заведовал конюшней. Вернулся в Петроград, когда уже жизнь стала полегче. И опять — искусство. В новой студии писал уже настоящими красками. А потом стукнулся в Академию художеств. Вообразите, приняли — с моим-то происхождением. Впрочем, мне везло. Работал как бешеный. Еще студентом выставлялся. Имел успех. Академию окончил с отличием. Но это все, конечно,

пустяки. Вы же вот, например, не знаете, что был такой художник Галаган?

— Видите ли, я не из той среды и вообще плохо знаю живопись. Только почему вы говорите: был?

— Потому что был. Посмотрите.

Он протянул над столом свои тонкие, коричневые руки. В них было что-то неестественное, не совсем человеческое. Может быть, так казалось потому, что средний палец был много длинней остальных, как на орлиной лапе. И эти орлиные руки дрожали. Они буквально плясали над грязной скатертью. Чтобы их остановить, ему пришлось уцепиться за край стола. «Так вот почему, — подумала я, — он все время за что-то держится».

— Был, — повторил он. — Был такой художник Галаган. Знаете, мне иногда кажется, что это не я был. Уж очень я был счастлив. Я ужасно горевал после смерти матери, но все-таки, вы понимаете, был счастлив, несмотря ни на что. Словно был приговорен к этому счастью. Все видел свои картины, которые напишу, чувствовал их — до обморока, до галлюцинации. А главное, знал, что могу их написать и напишу, и что жизнь велика. Трудно поверить, но, знаете, я даже теперь по ночам иногда не сплю и вижу картины. Но теперь это очень тяжело, из-за рук.

Так вот, о чем я сейчас рассказывал? Да. Был я художником и жил один и был счастлив. И тут я влюбился. В первый раз в жизни. Да как влюбился! Она была жена одного моего приятеля, инженера. Звали ее Нина Анатольевна. Прекрасная женщина. Вот именно прекрасная. Большая, статная, сильная. Волосы светлые-светлые, почти белые. Обычно светлые волосы бывают мягкие, а у нее они были жесткие, густые и вьющиеся. Стояли на голове, как шлем Афины-Паллады. И такого невероятного цвета! Все думали, что она красится. Она уже привыкла. Бывало, спросит кто-нибудь: «Правда ведь, вы красите волосы?» А она: «Нет, но брови и ресницы крашу». Ресницы были длинные, черные и от краски слипались лучиками.

Веселая была женщина. Голос — силы необыкновенной. Я в нее влюбился, когда она пела. Смотрю ей в рот и вижу: зубы, все до одного, белые и крепкие, как у собаки, без единой пломбы. А из-за зубов — голос. Иерихонская труба. Я просто пропал. Грудь у нее была мощная, широкая, выпуклая. Знаете, сколько кубиков она выдувала? Шесть тысяч. А мускулы какие! Представьте себе, потом, когда мы с ней уже были женаты, иной раз она меня даже била. Вам смешно: баба бьет мужчину, но, честное слово, я очень это любил. Думал: бьет, значит любит.

— А за что она вас била? Простите за нескромный вопрос.

— Ну что вы. Какая же нескромность, когда я сам вызвался вам все рассказать. Била за женщин. Знаете, мне всегда очень женщины нравились. Может быть потому, что я с мамой вырос. Мне с ними было как-то больше по себе, чем с мужчинами. Мне почти все женщины нравились. Каждая по-своему. И я им нравился, вероятно, за то, что умел их различать. Случалось и согрешить. И всегда после этого я приходил к Нине и каялся. Она никогда не устраивала трагедий,

как другие женщины: слезы там и прочее. Сердилась она, это верно. Ругалась. Иногда даже собиралась совсем уйти. А уж когда побьет, я знаю, что в душе она меня простила. Какая была женщина! Этого не расскажешь.

— Вы, кажется, говорили, что она была женой вашего приятеля? А потом — вашей? Как же это произошло?

— Знаете, я в нее сразу же влюбился и, видимо, тем ее и взял, что очень уж сильно любил. А она любила мужа. Ну и меня тоже полюбила. Вы не подумайте, она вовсе не была легкомысленной женщиной. Только мы с ней четыре раза женились и разводились. Выйдет она за меня замуж, и начинает ей казаться, что она того, Леню, больше любит. Уходит от меня и выходит замуж за Леню. Тогда с браками и разводами просто было. Чтобы жениться, надо было вдвоем прийти, а чтобы развестись, достаточно было заявления одного из супругов. Теперь трудно даже поверить, что была такая свобода. Доверяли людям. Так вот, моя Нина записывалась вдвоем — то со мной, то с ним, — а разводилась одна. Не мог я с ней ходить разводиться. На третий раз (кажется, на третий) я уж не захотел даже идти регистрироваться, сказал: «Может, просто так попробуем?» А она сверкнула на меня глазами (голубые были глаза, а сверкали как черные) да как закричит: «За кого ты меня принимаешь? Я ведь к тебе по-серьезному пришла, на всю жизнь!» И пошли, записались. Мне уже было неловко перед барышнями в загсе: все нас знали и смеялись. Мелкий человек. А Нине — хоть бы что. Идет каждый раз в загс веселая, гордая, счастливая, а волосы так и сияют. А потом — пройдет недели две-три, и начинает она задумываться. Думает о Лене. Даже плачет, жалеет его. Видите ли, она так трогательно о нем говорила, что иногда я сам с ней плакал — ну, не плакал буквально, а таял от жалости. Один раз даже сам сказал ей: иди, и пальто подал.

— И как же это все кончилось?

— Знаете, кончилось это самым неожиданным образом. Я почувствовал, что больше не могу, и перевез к себе тещу. Тещу свою, Аделаиду Филипповну, я терпеть не мог. Должно быть, за то, что она очень была похожа на Нину, но в карикатуре. Нина — большая, полная, сильная, а теща — грузная, грубая. Голос у Нины — громкий и яркий, как фанфара. А у тещи был голос вышибалы. Меня она терпеть не могла, а Леню — любила. Жила она отдельно, и я даже редко ее видел. Когда Нина ушла в третий раз, я поехал к Аделаиде Филипповне и предложил ей у меня поселиться. Старуха меня просто ненавидела. Но тут почему-то согласилась и ко мне переехала. Ну и ругались мы с ней! Бранилась она куда крепче меня, как грузчик. Прожили мы с ней месяца полтора-два, и тут вернулась Нина. И, представьте себе, навсегда вернулась. Зарегистрировались мы в последний раз и больше уже не разводились. Удачно получилось у меня с тещей, как говорят, — осенило. Потом я ее даже полюбил, и она меня, хотя ругались по-прежнему. Умерла она года через два — я о ней очень жалел, вот ведь как бывает.

С Ниной мы жили хорошо. Она, я вам уже говорил, была певица, и отличная певица. Успех огромный. Всегда были у нас букеты, цветы в горшках, даже венки. Другие певицы поют только в концертах, на эстраде: боятся голос надорвать. Нина была не такая. Она везде пела: в ванной так в ванной, в кухне так в кухне. Иной раз даже на улице запоет, милиционера дразнит. А дома она всегда пела, а я рисовал или писал красками, и мне казалось, что я рисую то, что она поет. А портретов с нее я не писал, боялся.

Дома у нас порядка большого не было. Хозяйка она была никакая. Вот тут, поскольку я заговорил о хозяйстве, можно вам рассказать про Татьяну. Она потом много для нас сделала.

Татьяна эта была большая, толстая, сильная бабища, вроде каменной бабы с кургана. Лицо, впрочем, красивое — в русском духе. Гладкое, широкое, румяное, глаза с поволокой и коса до колен. Ее раскулачили, и пришлось ей с семьей бежать из деревни. Муж у нее — этакий незаметный мужичонка, с насморком. Двое детей, еще маленькие: Нюра и Коля. Приехали они всей семьей в Ленинград. Конечно, без прописки. Приткнулись в уголке за занавеской у брата Татьянинного — тоже пьяница, род занятий неопределенный. Татьяна семью кормила и брата тоже. Энергии в ней было через край. На работу, конечно, поступить не могла — ни одной справки. Стала она, что называется, спекулировать: выстоит в магазине очередь, купит, несет на рынок, продает — конечно, с наценкой, с божеской, а то и без наценки, если покупатель по душе придется.

По этим делам она и к нам попала, по спекулятивным. Нине ее рекомендовали: все, мол, может достать. И правда. Нина любила хорошо одеться, хоть и не умела носить вещи — то запачкает, то прожжет. На мой вкус, чем проще она была одета, тем лучше. Нину не надо было украшать, она ведь очень была красивая. Кажется, я это уже говорил. Татьяна стала к нам ходить сначала как спекулянтка. А потом прижилась. Стала Нине помогать по хозяйству, приходила каждый день. Привыкли мы к ней, а она к нам.

Меня в этой Татьяне всегда поражало невозмутимое спокойствие, даже, я бы сказал, веселость. Казалось бы — какая ее жизнь? Бьет-ся одна с детьми — муж не в счет — в чужом городе, без прописки. Ютятся в каком-то мерзком подвале, за занавеской. В любую минуту могут дознаться, что она живет незаконно, выслать из города, а то еще хуже — арестовать за спекуляцию. Я все удивлялся: как она может быть такой безмятежной? Очень уж мне это было непонятно. Знаете, наш брат, проклятый интеллигент, родится с любовью к законности. Ему непременно надо быть прописанным, зарегистрированным, куда-то причисленным, иначе ему не жизнь. А Татьяна жила как птица небесная. Наш брат на ее месте загрыз бы себя страхами, сам бы пошел в милицию — давайте меня, мол, куда хотите, только определите мое положение. А Татьяне ее жизнь казалась естественной, как всякая другая. Улыбалась она очень хорошо. Я ее портрет написал с косой и с улыбкой, ничего. Он потом пропал; как и все. Нина к ней почти не ревновала, один раз только или два попало мне за Татьяну.

— Как, вы разве с Татьяной тоже?..

— Да,— (он сказал это просто, с доброй улыбкой).— Я ведь вам сказал, что мне женщины очень нравились. А Татьяна была даже очень красивая, в своем роде, в своих габаритах. Главное — спокойная. Ничего лишнего не было у нее в душе.

Ну, так вот, жили мы с Ниной хорошо, только детей у нас не было. В тот первый год, когда Нина уходила от меня к Лене и обратно, она сделала два аборта, а потом как-то не получалось. Жили мы так лет пять или шесть. А в тридцать четвертом году Нина забеременела, и мы были рады. Я детей очень люблю. Ждали мы девочку, Леночку. Только ничего из этого не вышло, потому что скоро началось все.

Что все? Вы понимаете, я Кировского набора. Не понимаете? Да, вы же не ленинградка. Кировским набором у нас называли тех, кого из Ленинграда выслали в тридцать пятом году, после убийства Кирова. Сколько тогда выслали народу — никто в точности не знает. Только наверняка очень много. Многие тысячи. А нам казалось — всех. Ведь каждый из нас живет в довольно замкнутом мире, и ему кажется, что этот мир — все. Высылали, конечно, не всех, а главным образом интеллигенцию. А пуще всего — старую, потомственную интеллигенцию, с крепкими ленинградскими корнями. Рвали с корнем. Всех наших друзей выслали. И нас с Ниной — тоже. Пришли однажды ночью, отобрали паспорта, приказали через два дня выехать в Казахстан. Даже село, куда ехать, в точности обозначили. Там тогда не целина была, а сплошная дикость. Нина была беременна на восьмом месяце, и я пошел к одному — черт его знает, кто он был по должности, — от которого мы зависели, и очень просил, чтобы нам разрешили остаться до родов. Очень хорошо помню, как он меня принял. Я ему: «Ведь мы же ни в чем не виноваты». А он: «Вас никто ни в чем и не обвиняет. Вы высылаются в порядке массового оздоровительного мероприятия. Ничего для вас не могу сделать». А сам смеется, особым таким смехом, беззвучно, — знаете, как собаки смеются: открыл рот и дрожит языком. Тут я понял, что говорить ему что-нибудь бесполезно. Пошел домой и стали мы собираться.

Татьяна нам помогала укладываться. Грустно ей было с нами расставаться, привязалась все-таки. Вот она и говорит: а вы не поезжайте. — Как так? — А очень просто, не поезжайте, и все тут. — Так ведь у нас же паспорта взяли. — А вы живите без паспортов. Я же вот живу.

Нет, куда там! Разве это нам было по силам. Легальность нас заедала. Собрались и поехали.

Село это в Казахстане, куда нас выслали, было даже не маленькое, но очень уж далеко отовсюду: глубоко в степях, от железной дороги — километров сорок. Знаете, как может быть одиноко в степях? Я всю жизнь прожил в Ленинграде и привык чувствовать рядом море. А тут — страшно даже подумать — на тысячи километров кругом одна сухая земля. Вначале я от этого очень тосковал с непривычки.

Нас, ссыльных, в этом селе много было, человек пятьсот, и все из Ленинграда. Нашли там знакомых: Головиных, Голицыных, Геллеров. Потом оказалось, что в это село высылали только букву Г. Жить было негде, работать — тоже. Кое-как устроились мы с Ниной в избе, вернее, землянке глинобитной, вместе с хозяевами, спасибо — пустили нас. Жили мы в углу, за ситцевой занавеской, как Татьяна у брата. На другой день после приезда начались у Нины роды, раньше срока. Больница — за тридевять земель, да и везти не на чем. Верблюды там, но как-то не решился я на верблюда. Принимала у Нины одна докторша, тоже на букву Г. Нина рожала там же, за занавеской, а я выходил на двор и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. Роды были трудные, двое суток. А ребенок — девочка, родился мертвым. Да.

Нина долго болела. А когда встала, начали мы с ней пытаться жить. Трудно было. Главное, ведь мы из-за легальности ехать согласились, а легальности — никакой. Никому до нас дела не было. Живи как хочешь и чем хочешь, только ходи каждую неделю отмечаться в районный центр. Полное село учителей, инженеров, библиотекарей — а работы нет даже для десятка. Кое-как мы все-таки перебивались. Нина на картах гадала за хлеб. А я пробовал рисовать. Даже один раз сделал маслом портрет местного вельможи и получил за него баранью ногу.

Но все это — не так страшно. Самое страшное было то, что среди нашего населения на букву Г начались уже настоящие аресты. Ночью залают собаки, так и заляются. А утром выйдешь, и говорят: того взяли, другого взяли. Очень это было страшно. Человек трус, пока уязвим, а у меня была своя уязвимость: Нина. Помню, выйдешь ночью во двор, луна светит — огромная, белая. Тень от плетня — черная-черная. И слышно, как по всему селу перекликаются, лают собаки. Идут, значит. И чувствую, что на этот раз к нам идут. За нами. И так становитея страшно, что думаешь: хоть бы уж скорей приходили. А собаки лают уже дальше — значит, не к нам. Утром смотришь: одного нет, другого. Шепоты. Страшнее всего эта неизвестность: за что, почему, кого? Немцы, нацисты, это очень хорошо понимали. У них такая система называлась *Nacht und Nebel*. Ночь и туман.

И вот однажды, в одну такую ночь с собаками, я почувствовал, что больше не могу. Сойду с ума. На другой день я заявил Нине: «Мы с тобой едем в Ленинград». — «Как в Ленинград?» — «А так, очень просто. Возьмем и поедем». Она сразу согласилась, даже повеселела. Я сам-то больше колебался, во мне крепче была легальность, но я переломил легальность, и мы уехали. Добрались до станции, продали мой костюм (хорошо, Нина его сберегла) и купили билеты. Нина настояла, чтобы в мягком. Кутить так кутить.

Едем мы, значит, в мягком вагоне. Едем совсем как люди, и никто нас не знает. Все оторвано — сзади и спереди. Словно легишь куда-то. Помню, в молодости был у меня друг, тоже художник. Он говорил, что ему хотелось бы существовать, но не числиться ни в одном списке. Так вот — мы ехали и существовали, но нас не было

ни в одном списке. То есть, там, позади, оставался список на букву Г, но от этого списка мы оторвались, и теперь у нас списка не было. Любопытное ощущение.

Ехал с нами в купе один военный. Высокий такой, молодой, красивый. Я его сегодня с трудом узнал. Это тот самый — наш с вами сосед. Изменился он, конечно, ведь двадцать лет прошло с хвостиком, да и поседел, но все-таки узнать можно. Вспомнили мы с ним сегодня про Нину. Она тогда ему очень понравилась. Моя Нина ведь была очень красивая, все в нее влюблялись. А тут, когда мы вырвались из списка и ехали, особенно она была хороша — веселая, как в лучшие времена, и немного пьяная от свободы. Достали они у проводницы гитару и целыми днями пели. У него голос был неплохой, а Нина, чего вы хотите, — профессиональная певица. К нашему купе со всего вагона сходились — слушать.

Один раз вышел он в коридор покурить, а мы с Ниной остались в купе, и я ей говорю: «Завидно на него смотреть. Есть же такие счастливые люди! Едет он и знает, куда едет, есть у него свое место. Хозяин жизни. А мы с тобой?» Нина ничего не ответила, только по щеке потрепала. А тут он вошел, и снова начались песни.

Вечером я лег на верхней полке, а они остались внизу. Четвертое место было не занято, вот как у нас с вами. Лежу я на верхней полке и все думаю: что будем делать в Ленинграде? А они разговаривают, и слышу я этот разговор. Сначала смеялись, шутили, а потом замолчали. И вдруг, слышу, говорит он — совсем другим голосом: «А знаете, Нина Анатольевна, как мне приятно на вас с мужем смотреть? Смотрю и думаю: едут двое, молодые, красивые — хозяева жизни. А я? Не могу даже понять, кто я такой. Хочется мне все вам рассказать. Был я в отпуску и получил письмо от приятеля по работе, что на меня поступил донос, и, как только я вернусь, меня сразу же арестуют. Разумеется, не всеми словами написано, но понятно. И я решил — не возвращаться. Взял билет и поехал просто так, куда глаза глядят. И сейчас я рядом с вами еду, и вид у меня как у человека, а на самом деле меня вовсе нет. Вы этого не поймете». И тут, понимаете, он заплакал. Я тоже лежу на верхней полке, прикрывшись пальто, и, верите ли, плачу. А Нина была твердая, она не заплакала. Она только сказала ему, совсем тихо: «Мы такие же, как вы».

* * *

Пока шел рассказ, мой собеседник несколько раз наливал рюмку. Он совсем не пьянел, только становился спокойнее, и из голоса совсем пропали неприятные, заискивающие ноты. Он сидел за столом красиво и просто, как хозяин, и нравился мне все больше. Все-таки, когда он еще раз налил, я на всякий случай спросила:

— Может быть, хватит?

— А, это вы о водке, — не сразу понял он. — А я думал, о моей истории. Насчет водки вы не беспокойтесь. Я никогда не бываю

пьян. Мне, если хотите, чтобы стать нормальным, нужно двести грамм, без этого я не человек. Так сказать, отрицательное опьянение.

В вагоне-ресторане было совсем тихо. Статная официантка с кружевной короной на голове несколько раз подходила узнать, не нужно ли чего еще, но нам ничего не было нужно. Наконец поняла, что ждать больше нечего, и ушла, окинув меня через плечо презрительным взглядом. Так умеют смотреть молодые женщины на тех, кто постарше. Серый пьяный за дальним столом, наконец, успокоился, уронив голову на руки. Мой собеседник через стол на мгновение положил свою прыгающую руку на мою — теплым, дружеским жестом.

— Вам в самом деле не надоело еще слушать?

— Нет, что вы, напротив, очень интересно.

— Какая вы милая. Так я буду продолжать. Собственно, не так много уж осталось. Приехали мы в Ленинград. Под ногами — родные камни. Хочется целовать эти камни. Денег нет, жилья — тоже. Идти — некуда. Друзья все, как и мы, высланы. А кто и остался, того страшно подвести. И тут сразу, не сговариваясь, решили: к Татьяне. Пошли к Татьяне.

Брат ее, пьяница, жил все в том же подвальчике, только спился уже окончательно. Еле мы его растолкали. Рассказал, что сестра больше тут не живет, муж ее умер, сына взяли в армию, а дочь вышла замуж за рабочего, и теперь Татьяна, как путная, живет у дочери и даже прописана. Дал нам ее адрес.

Представьте себе, встретила нас Татьяна как родных. Накормила, напоила, вымыла. Стали мы с ней советоваться — как быть? Она говорит: дальше будет видно, а пока что живите у меня. Я даже удивился, что она так смело говорит: «у меня» — дом-то ведь был Нюрино мужа. Но потом стало ясно, что она здесь полная хозяйка. Мальчик этот, Нюрин муж, просто в рот ей смотрел. Да и в материальном смысле она по-прежнему была глава семьи. Откуда уж она деньги добывала, чтобы кормить всех, и нас в том числе, — не знаю. Боюсь, что по-старому, спекулировала.

Я, вероятно, плохо рассказываю. Вам может показаться, что Татьяна эта дурной женщиной была. Ведь спекулянтка — это, по-вашему, плохо. Значит, это я виноват перед ней, что плохо рассказываю. Татьяна была чудесный, настоящий человек. Это про нее сказал Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Ничего она не боялась, все делала просто и весело. Верите ли, пока мы с Ниной у нее жили, мы ни разу не почувствовали, что живем из милости, на ее счет.

У них в квартирке — плохонькая такая квартирка, в старом деревянном домике, — был темный чулан, и она отдала его нам с Ниной. И стали мы жить у Татьяны. Мы с Ниной тоже немного зарабатывали. Она вышивала салфетки, я рисовал коврики — русалок и лебедей, — а Татьяна наши изделия продавала на рынке. Немного, но что-то выручала.

Скоро я научился так рисовать, чтобы было красиво. Ведь у нас, в сущности, вкус испорчен, а по-настоящему красиво это то,

что всякому нравится: огромные глаза, губы сердечком, лебедь на фоне зари. Татьяна этих ковриков больше бы продавала, спрос был, но боялась, как бы не дознались, где она их берет.

И так мы жили, от всех спрятавшись, два года. На улицу не выходили: заметят. Увидим, что идет к Татьяне кто-нибудь, и сразу с Ниной к себе, в чулан, сидим тихо-тихо. Уйдут — мы обратно. Один раз даже милиционер приходил. Только не за нами, а по Татьяниним рыночным делам. Она быстро с ним справилась, очаровала, даже водкой угостила, ушел ручной.

В общем, жить можно было, только очень скучно без книг (книг-то у Татьяны не было, я уж календари читал по многу раз) и без воздуха. Я иной раз даже задумывался: а хорошо ли сделали, что уехали? Там хоть иногда подышать удавалось.

А Нине труднее всего было — не петь. Нельзя ей было петь: соседи услышат. Иногда забудется, запоет, а я ей: Нина, не пой. Раз она на меня так посмотрела, даже страшно. Я сразу понял, что она подумала: тебе хорошо, ты рисуешь, этого никто не слышит. А я уже совсем ничего не мог рисовать, кроме лебедей и русалок. Они даже по ночам мне снились.

Прожили мы так года два, и стал я замечать, что с Ниной что-то неладно. Прежде всего, у нее изменился взгляд. Раньше был голубой такой, открытый, а стал серый, подозрительный. Раз как-то я вошел в чулан, а она от меня что-то прячет. Я все-таки увидел: это была маленькая-маленькая рубашечка, как ее называют... распашонка. Только совсем маленькая, меньше, чем на грудного ребенка. Я было обрадовался, хоть и испугался, но потом оказалось, что нет у нее никакой беременности, а это начинается душевная болезнь. И все из-за ребенка.

Когда Леночка умерла, Нина не очень сильно горевала. Нет, вы не поймите меня плохо, она плакала, как всякая мать, но горе ее не сломило. Оставался и блеск в глазах, и голос, и осанка. А два года в чулане — сломили. Скоро я понял, в чем дело. Достаточно было раз увидеть, как она сидела в углу и баюкала тряпичный сверток, называла Леночкой... Я все понял. А еще иногда она принималась хохотать. «Тише, Нина», — я говорил. Она умолкала и начинала рвать на себе волосы. Я их каждый день находил на нашей койке в чулане — красивые такие, блестящие локоны, — она их рвала целыми прядями. Я...

(Он снова немного помычал с закрытым ртом. Я уже знала, что это ничего, нужно только переждать, и он заговорит спокойно. Он все не говорил, а я торопила его мысленно: ну же, ну... Он заговорил.)

— Пришлось нам с Татьяной отдать Нину в больницу. Она уже мало что понимала. Договорились, что Татьяна отведет ее и скажет, что нашла больную на улице. А я не пойду с ними, чтобы себя не выдать. Мне-то было все равно, выдам или нет, но Татьяна заботилась о ней, чтобы ей было куда вернуться, когда поправится. Я согласился. Довел Нину только до перекрестка. Первый раз я был на улице за два года. Небо такое голубое — больно глазам. На углу я поцеловал Нину. Она на меня посмотрела — и, честное слово, это

был совсем осмысленный взгляд. Я смотрел, как они уходили под солнцем, она с Татьяной, и волосы у нее стояли на голове и светились. Я это на всю жизнь запомнил. Больше я Нину не видел. То есть видел один раз — в гробу.

Мы посидели и помолчали. Он не говорил, я не спрашивала. Прошло минуты две или три. Кстати, где была моя большая забота? Кажется, ее не было.

— Умерла моя Нина в больнице. Об этом я рассказывать не буду. Тогда я совершенно отупел. Мне было все равно. Я сидел в чулане и молчал. А когда кончил молчать, оказалось, что руки у меня трясутся, и я даже не мог рисовать лебедей.

Татьяна меня буквально выходила. И знаете, что она сделала? Она мне купила паспорт и новое имя, устроила меня на работу. Стал я бухгалтером в одной артели. Звали меня Иван Матвеевич Сидоркин. Никто в мою жизнь не лез. А перед самой войной я даже получил работу получше: стал референтом в научно-исследовательском институте. Устроил меня туда один знакомый, еще по старой жизни. Знал, кто я, но не испугался. Не все же трусы. В науке я ни черта не смыслил, но знал три языка и в общем справлялся. Жил по-прежнему у Татьяны, только был уже прописан и почти легален.

Так я жил до самого начала войны. А зимой сорок первого меня арестовали. И вот что интересно: арестовали уже под новым именем, за преступления Ивана Матвеевича Сидоркина. И, представьте себе, когда арестовали, я в каком-то смысле даже обрадовался. Это давало мне какую-то почву под ногами. Я сразу же объявил следователю свое настоящее имя. Он не поверил, решил, что я заметаю следы. Говорю ему: «Я Галаган». А он: «Не морочьте мне голову, вы Сидоркин». Сказал, разинул рот и засмеялся беззвучно, как собака. И тут я его узнал. Это был тот самый, с песьим смехом, который тогда высылал нас с Ниной. Я его узнал, а он меня — нет. Ведь таких, как мы, были тысячи. И тут я потерял над собой контроль и сказал ему: «Ах ты сволочь, сволочь. Ты думаешь — ты хозяин жизни. А ты — пес жизни». И дал ему в морду. После этого меня сильно били в тюрьме.

Приговорили меня на двадцать пять лет, значит, пожизненно. Обвинение было какое-то опереточное. Будто бы была в Ленинграде тайная организация, которая ждала прихода немцев и заранее формировала правительство. И будто бы мне предназначили портфель министра торговли. Именно «портфель». Мне было все равно, и я все подписал, только в одном пункте заупрямился. Признавал, что министр, а что торговли — нет. Требовал портфель министра по делам искусств. Они говорят: «Нет такого министерства». А я им: «А у нас было. Ведь я же участвовал в заговоре, а не вы». Держу пари, что некоторые из них даже поверили, что выдуманный ими заговор действительно существовал! Люди вообще часто верят в заведомые фантомы. А я уже ничего не боялся, смеялся, смеялся над ними. Думаю — бейте, а все равно на министра торговли я не согласен. Только

они больше меня не били. Спать не давали, это верно, будили среди ночи и подсовывали на подпись показания, а я не подписывал. И, вообразите, уговорил их. Дали они мне портфель министра по делам искусств. Очень это мне было приятно. Часто потом, уже в заключении, в лагере, я вспоминал, что переломил-таки их, и чувствовал себя человеком.

В заключении было не так уж плохо. Или мне лагерь такой попался, благополучный сравнительно. Другие — те страхи рассказывают. Лагерь был в Сибири, далеко от войны, и мы ее почти не чувствовали. Разве что кормить стали похуже, но все-таки сносно, просуществовать можно. Холод, конечно... Зимой было тяжело. Но вообще все это не так страшно. Страшен по-настоящему только страх. Те собачьи ночи, когда я еще был уязвим. Жили мы, заключенные, все по 58-й, дружно, и начальство не очень притесняло. Когда выводили нас на работу, конвойные удивлялись: все мужики, а мата нет.

Тяжело только было с «верующими». Мы так называли тех, кто верил в виновных. Они-то как рассуждали: не может быть, чтобы все это было совсем бессмысленно. Чтобы вся страна сошла с ума. Поэтому должны быть виновные. Не все, далеко не все, есть и невинные (я же вот невинен), лес рубят — щепки летят (слышали, наверно, такую пошлую фразу), да, щепки летят, но где-то должен быть и лес. А на самом деле все мы были щепки, а лесу вовсе не было. Я, по крайней мере, ни одного случая не видел. Были такие, которые брюзжали, критиковали, но ни один не был, по существу, «против» власти. Наоборот, все были «за». И даже озлобленных, таких, чтобы через меру, не видел. Все-таки, святая она, наша российская интеллигенция.

Ну, что же вам дальше рассказать? В сущности, я уже кончил. В пятьдесят четвертом меня освободили, в пятьдесят шестом — реабилитировали. Прописку дали в Ленинграде и даже компенсацию денежную за сколько-то времени.

А того, с песьим смехом, я еще раз видел. Меня вызывали давать против него показания. Я ведь из всего нашего совета министров один-единственный жив остался. Видел я его. Облинял он сильно и не смеялся. Не стал я его гробить, не сказал про то, что меня били. И то, сказать по совести, я же его первый ударил.

Вот, кажется, я вам все и рассказал. Вы меня давеча спросили: кто я? А я и сам не знаю. Поселился я в Ленинграде у Нюры — Татьянина дочка, помните? Татьяна сама умерла в блокаду, Нюрин муж на войне погиб, она сошлась с другим, а он ее бросил. Осталась она с маленьким мальчиком, Сашенькой зовут. Очень я этого мальчика полюбил. Нюра на работу ходит, а я Сашеньку нянчу. Хорошенький такой мальчуган, голубоглазый. Когда гуляю с ним, все его за моего принимают — кто за сына, кто за внука. Так и живу — у Нюры в няньках. И насколько мне не стыдно, что я нянька. А вы спрашиваете: кто я? Сказал бы вам тогда: нянька, вы бы не поверили.

А куда я сейчас еду? Это так, глупость одна. Деньги у меня пока есть — от компенсации остались, и захотелось мне съездить

на Леночкину могилку. Посмотреть, как она там, не срыли ли. Холмик-то был совсем маленький.

Он кончил рассказывать и добавил:

— Да, хозяева жизни. Не видал я, в сущности, хозяев жизни. Разве что Татьяна. Но она — не в счет. Что это за хозяйка — спекулянтка. А как вы думаете, есть они где-нибудь — настоящие хозяева жизни?

— Должны быть,— ответила я.

1960

Переводили, кажется, в двадцати восьми странах. Ни в одной из них не была, т. к., кроме литературы, работала «на испытаниях» и ездить было нельзя. Сейчас бы поехала, да уже не очень хочется, все-таки возраст.

«Хозяев жизни» в начале 60-х носила по журналам. Но даже Твардовский сказал, что печатать невозможно, хотя рассказ ему понравился. Потом рассказ путешествовал по многим другим журналам. Ответ везде был один: «...С уважением. Рукопись возвращаем».

Когда была объявлена гласность, «Хозяева жизни» отправились в новое плавание. В редакциях стали отвечать иначе: «Этой темой у нас уже занимаются другие...» Рассказ напечатал «Октябрь».

И. Црекова

Б. ОКУДЖАВА

Искусство кройки и житья

В деревне перед началом учебного года у меня была на зиму студенческая куртка из какого-то старорежимного истершегося драпа. В такой куртке можно было зимовать в Тбилиси, да и то с трудом, но калужская зима, которая в октябре уже напоминала о себе, с такой курткой расправилась бы легко — и это ощущалось. Что было делать молодому учителю? Хорошо тем, у которых родители, родственники, щедрые и сердечные. А у меня не было никого. Поэтому я набрал, где только смог, шестьсот рублей (по нынешним временам — шестьдесят) и отправился в Перемышль, наш районный центр. Мне повезло. В магазине продавались зимние пальто, и стоили они всего четыреста пятьдесят. Я взял пальто на размер больше, вернулся в деревню обладателем собственной зимней шубы, а оставшиеся сто пятьдесят рублей раздал кредиторам. Что же из себя представляло это пальто, эта шуба, это спасительное убранство? Конечно, в природе существовали наряды и получше. Я к ним, бывало, прикасался в трамваях и гардеробах, я ощущал их мягкие, теплые волны, их формы, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки. Их благородные и разнообразные цвета ласкали глаз. Они были легки как пух и жарки, подобно раскаленной печке. Мое же пальто было совсем иным. Его материал тоже назывался драпом, но напоминал листовую фанеру, которую почти невозможно согнуть, и плохо обработанную, о которую можно было содрать кожу. Этот драп ткали вместе с соломой, веточками и отрубями, и, бывало, просяживая в каких-нибудь приемных или на вокзалах в ожидании поезда, я коротал время, выщипывая из него этот строительный материал и собирая его в горсть. Горсть по горсти. Кроме того, это пальто было подбито простеганной ватой, напоминая матрас. Изысканно распахнуть его было невозможно. Его можно было только раскрыть, да и то с трудом, словно плохо смазанную двустворчатую дверь, раскрыть, войти в него, просунув в рукава руки, и с треском захлопнуть полы. Каково было мне? Но я, представьте, чувствовал себя счастливым, потому что первые же холода засвидетельствовали отменную непробиваемость драпового панциря. Я был счастлив и потому, что уложился в собственный бюджет, который в те времена составлял шестьсот восемьдесят рублей, и потому, что на мне было какое-никакое, а пальто вместо потертой куртки. И это пальто вместе с валенками и шапкой-ушанкой придавало мне устойчивость, солидность и вес.

На фотографии, сохранившейся с тех времен, мы сняты на фоне полуразвалившегося Шамординского собора. Мой новый друг, Сысоев Семен Кузьмич, его жена, Зоя Петровна, и я. Они сидят на обломках собора, а я стою в своем новом несгибаемом пальто, в ва-

ленках и шапке, и на лице моем написано благоговение. Я солиден и значителен.

Ну хорошо, моя радость, что же ты будешь делать с этой солидностью в этом не самом совершенном наряде, раня руки при малейшем прикосновении к драпу, не сгибаясь, едва переставляя деревянные ноги, гудящие под тяжестью ватной брони? А что я должен делать? Мне тепло, непроницаемо, надежно. Конечно, если бы... Но тут не до изысков, и если у нас в городе, то есть у вас в городе, некоторые позволяют себе роскошь не походить одеждой на других и приобретают тряпки с заграничными клеймами, то мне, нам, здесь, мы все здесь заняты делом, и, может быть, это и есть та самая духовность, о которой вы там только разглагольствуете, а мы здесь ее выращиваем и тем способствуем...

Теперь о Семене Кузьмиче.

Это был еще довольно-таки молодой человек среднего роста, с растопыренными ушами, жилистый, с внезапной, непредсказуемой улыбкой на маленьком, с кулачок, скуластом лице. Он был директором небольшой школы механизаторов, обучал трактористов. К нам, учителям средней школы, относился с глубоким почтением, наверное потому, что Зоя Петровна преподавала математику в младших классах нашей школы, да и сам он причислял себя к работникам просвещения и любил говорить: «У нас, значит, в просвещении...» Ну вот, видимо, и моя причастность к просвещению вызывала его симпатию, и я это сразу почувствовал: как человек на тебя смотрит, как с тобой разговаривает — это же всегда чувствуешь. И я к нему потянулся тоже — по сердцу ли, по одиночеству ли, но потянулся. Его очень потешала и трогала моя слабая осведомленность в житейских делах. Покровительствовать было для него удовольствием. Когда я проявлял свою непрактичность, попадал впросак, он звонко заливался и с радостью начинал поучать. Он был человеком хозяйственным, сельским, из этих мест. Он во всем любил добротность, основательность в том смысле, как понимал это сам. Рубля лишнего не потратит, а сам то и дело навязывал взять у него в долг... «Да хоть на сколько. Ты, главное, не тушуйся, Булат Шалч. Привыкнешь к деревне. Это вам, городским, сначала трудно, а потом обживешься, коровку заведешь...» «Ну да, коровку! — лукавил я. — Вот это да!» — хотя, признаться по чести, в деревне задерживаться не собирался. Но мне нравилось ему подыгрывать, вот я и лукавил, разыгрывая простачка, этакое городского балбеса, чем разжигал его страсти... «А что ж? — заливался он. — И заведешь коровку, попомни мои слова... А иначе как же?.. А откуда молочко, сметанка?.. Зой, гляди на чудака!.. А сливки?» «Ну разве что сливки, — говорил я, — сливки это да... Меня маленького заставляли пить сливки с миндальным пирожным...» Это его почему-то сердило. «С пирожным, с пирожным», — говорил он обиженно...

Мне, одинокому, было у них хорошо. Это был хлебосольный дом, и, когда меня приглашали, появлялась возможность посидеть в сытном тепле, в комнате, почти городской по виду. Происходило это чаще всего так: вваливался ко мне запорошенный снегом

Сысоев, с досадой оглядывал мою дымящую печку, тусклую лампочку в потолке и говорил: «Да ладно книжки читать, всех не перечитаешь,— и похохатывал от собственного остроумия.— Айда к нам — чайку попьем». И мы шли по сугробам.

В его доме тотчас появлялась водка, и домашние огурчики со смородиновым листом, и капуста, и помидорчики, и рассыпчатая картошка, и розовое сало, и крутые яички, а иногда и холодец. Мы рассаживались. Сысоев производил все приличествующие моменту движения: потирал руки, передергивал плечами, ухал, ахал, чертыхался, заливался — был счастлив.

Я так до конца и не мог понять, чем я ему мил. Кроме того, что я кончил университет и был учителем, так же как и его жена, о чем я уже говорил, видимо, и мое грузинское происхождение, экзотика, что ли, все это усугубляло, и усики мои, и еще возможное обстоятельство: дело в том, что это был пятидесятый год, а в те времена везде маячили всевозможные изображения моего усатого соплеменника. Не могу сказать, чтобы я был его особенным почитателем, да и родители мои находились в местах отдаленных, но Сысоев перед генералиссимусом благоговел, как все в те годы, и, может быть, как-то там в туманном своем сознании связывал воедино мое происхождение со своим кумиром. Не знаю, насколько точны мои наблюдения, но об этом еще предстоит говорить.

Симпатия его ко мне была легка и сердечна, и я долго мялся, не зная, как посвятить его в то, что составляло боль моей жизни. Я боялся, что едва он узнает, где мои родители, как тотчас в его веселых глазах заплещется, как это бывало с другими, холодное бесстрастное море. Я это хорошо знал, как они отскакивали от меня, словно горошины от стенки, как оглядывали с ужасом и обидой, а если даже сдерживались, то я все равно различал в них едва заметные знаки отчужденности. Разве это скроешь? И вот, когда я признался ему, я увидел, что он не дрогнул, лишь воскликнул с удивлением: «Иди ты!..» и потом:

— Ну и чего?

— Хочу, чтобы ты знал, я не скрываю. Чего мне скрывать?

— Пугаешь, да? — залился он.— Ну напугал!.. Да мы ведь тоже грамотные: сын-то ведь за отца чего?.. Не отвечает?.. Ну вот.

— Я ведь совсем маленький был, когда их... это...

— Да ладно тебе,— засмеялся он,— чудак ты, ей-богу... Был бы ты сам виноват — другое дело... Подумаешь, родители...

И все. И больше об этом не говорил.

И вот мы сидели в самый разгар января, опрокидывая рюмочки и похрустывая огурчиками под аккомпанемент метели. И Сысоев, как обычно, учил меня жить, а я тогда подумал, что, если бы побольше денег, у меня были бы не эти грязно-серые дубовые валенки, похожие на декорации античных колонн, которые мне посчастливилось купить на козельской толкучке, а белые чесанки, легкие, теплые и пружинистые, и не солдатская шапка-ушанка украшала бы мою голову, а мохнатое великолепие из выделанной овчины, а может быть, даже из волка. За деньги все можно... Не надо мне вашей коровки

и сливок, а если бы купить пять кубометров сухих березовых дров вместо сырой осины, щедро раздаваемой учителям...

— Да ты, Шалч, погоди,— сказал Сысоев,— вот чудило... Зой, ты глянь-ка... Чудило ты, ей-богу... Да ты накопи, и я подкину...

— Не нужна мне ваша коровка,— сказал я,— что я, пастух, что ли? Я ведь все-таки в университете...

— А у нас-то в просвещении знаешь как? Ага... Приноровиться нужно...

— Легко вам говорить,— сказал я,— у вас во-о-он хозяйство какое: и огурчики, и шуба, и трактор...

— Ух ты,— рассердился он,— ну, Шалч, тебя не переговоришь, все тебе не так... Да я тебе трактор дам, ну... Куда ты на нем?..

— Да ладно тебе, Семен,— сказала Зоя,— чего привязался? Вон человек себе пальто из одних отрубей купил, а ты сливки, сливки...

Тут наступила пауза. Потом он сказал, рассмеявшись:

— А чего?.. Мы можем и кожаное пошить, в два счета...

— Ка-ко-е?..

— Эх ты, университет,— всхлипнул он,— какое... А вот такое, слушай, чего я скажу...

Кстати, это мое новое непробиваемое пальто можно поставить посреди комнаты, и оно так и останется стоять, не переломится и не оползет, а будет стоять, словно негораемый шкаф. А кожаное?..

Что мыслит себе этот деревенский волшебник? Это что, кожа старой свиньи, грубо выделанная, та самая, из которой шили железные сапоги, что так мне в армии и не достались? Какую кожу представляет он себе, разглядывая меня без лукавства, всерьез, даже с грустью?

— Ну-ка, ну-ка,— посмеиваюсь я,— расскажи, Семен Кузьмич, что это за кожа? Буйволиная? Свиная?..

— Зачем буйволиная? — обиделся он.— Кожа как кожа, из которой пальто шьют.

— Ну что это? — спросил я.— Старый кабан?

— Ух ты,— и он погрозил пальцем,— Зой, а Зой, ты только глянь на него... Старый кабан, старый кабан...

— А из чего же? — не сдался я.— Из хрома?

— Зачем же из хрома? — сказал он едко.— Из хрома сапожки шьют, а мы и из шевра можем.

— Из шевро? — не поверил я.

— Из шевра,— подтвердил он.

Походило на правду. Он сердился.

Я решил ему потрафить и слукавил, бог меня простит. Я спросил, тараща наивные глаза:

— Да разве из шевро пальто бывает? Его же мало, ну перчатки там...

Он залился, обрадовался, что вот есть же дурачок, которого приятно и просветить. Мы выпили еще по одной.

— Значит, так,— наставительно сказал он,— из шевра пальто шьют. Я ведь уже для себя самого прицелился, а теперь можем и вместе.

— Да не верю я! — крикнул я, холодея. — Да разве это здесь возможно?

— А вот возможно! — крикнул он с наслаждением. — Возьмем и пошьем!

— Да кожу-то где взять? — крикнул я, догадываясь, что это не треп:

— А ты слушай, слушай! — крикнул он и хитро прищурился. — Аль не веришь?

— Да вы слушайте, Булат Шалвович, — сказала Зоя строго, — уж если Семен Кузьмич чего говорит, значит, так и будет.

— Ага! — залился он.

— И что? У нас будет в руках шевро, и мы пошьем...

— Ну?..

Я разволновался, и мне было приятно морочить ему голову, подогревать его и притворяться идиотом. Я видел, как ему радостно открывать мне неведомое, верховодить, подтрунивать над моим невежеством, опекать...

Я растрогался и сказал, чтобы его посмешить, потешить:

— Между прочим, если мое пальто новое поставить посредине комнаты...

Но он шутки не понял, а сказал с осуждением:

— Зачем же его на пол ставить? Пальто полагается на плечики и в гардероб...

Шуток он не понимал. Как-то я встретил его на улице и сказал по городской привычке: «А вот идет молодой многообещающий директор». Он поглядел на меня мрачно и сказал: «А я вам ничего не обещал». Вот и теперя та же вата.

— Ладно, — махнул я рукой, — а с кожей-то как?

И тут он посвятил меня в поразительный по своей доступности проект. Все складывалось одно к одному: в марте почему-то, оказывается, на деревне режут телят, словно спешат принести их в жертву таким, как я, жаждущим облечься в кожаные покровы. Шкуры, естественно, обдирают и продают по самым доступным ценам. Мы покупаем и везем их в Калугу к знакомому скорняку. Через месяц нам вручают выделанное шевро, и нам остается только найти мастера по пошиву. Максимум через три месяца, а то и раньше на нас — великолепные обнови.

Так фантастично завершилась наша очередная трапеза. Едва все это свалилось на меня, как во мне началась привычная вибрация от нетерпения. Меня залихорадило. Я уже видел в своих руках эти немислимые шкуры. Я даже верил, что могу и сам, не дожидаясь скорняцких милостей, которые то ли они есть, а то ли нет, выделать этот телячий дар с помощью соли и этого... Что там еще нужно? Спирт? Укус? Выскреблю ножом лишнее, выщиплю в нерабочее время, после уроков, по ночам, до самого рассвета, черт подери! И вот, наконец, мягкое, лоснящееся, переливающееся, ароматное, черное, тускловатое развешу по комнате в преддверьи ножниц и иглы.

В нынешние времена, когда на каждом третьем — кожаное пальто, или пиджак, или брюки, трудно вообразить размеры богатства, которое сваливалось в мои руки. А тогда, только обладая изощренным воображением, можно было попытаться пофантазировать о кожаной одежде, а уж иметь ее — нечего было и мечтать. Мне выпадала удача изредка видеть это на одиноких счастливицах. Я даже до этого дотрагивался. Тонкий аромат, смесь духов и светлого будущего, достигал моего обоняния прежде, чем я это видел. Эти таинственные, возбуждающие волны предвещали появление чего-то прекрасного, и, наконец, возникало оно. Оно напоминало шелк на вид и на ощупь. Оно переливалось, было послушным, облегалo тело, придавая ему изысканность и элегантность; оно сияло в толпе подобно драгоценному камню среди бульжников и несло на себе печать заграничного благополучия и признаки причастности к особому клану отличенных капризной фортуной. Кроме всех этих внешних благородных достоинств, существовал целый ряд достоинств чисто практических, о которых нельзя умолчать. Это было прочно. Смазанное касторовым маслом приобретало большую эластичность и не боялось воды. Грязь с него исчезала мгновенно, стоило прикоснуться влажной ваткой, а если же оно мялось, то вскоре само же восстанавливало былые формы и не нуждалось в утюге. Чего же боле?

Все ждали марта с нетерпением, но никто не ждал так, как я. С приходом же его лихорадка моя достигла предела. Я замучил Сысоева вопросами и сомнениями. Он терпеливо отшучивался.

В один прекрасный мартовский день, уже на исходе месяца, в день, озаренный солнцем, украшенный звоном капели и журчанием ручьев, в дверь моей одинокой отсыревшей кельи сильно постучали. На пороге стоял незнакомый мужичок.

— Шкурки телячьи вы заказывали? — спросил он.

— Ах, ах! — закричал я. — Заказывал! Заказывал!

— Ну, стало быть, получайте. Все шесть.

Шесть! Шесть моих шкурок! Еще не выделанных, но уже моих!..

— Как договаривались, — сказал мужичок, — по семьдесят ры. Я быстро помножил: шестью семь сорок семь? Или нет? Это шестью шесть тридцать шесть, а шестью семь...

— Четыреста двадцать, — спокойно сказал он, получил свои деньги, сбросил тюк с саней и уехал.

Тюк оказался тяжеленным. Я втащил его в дом и развернул трясушимися руками. Отвратительное зловоние тронутого разложением мяса распространилось по комнате. Шесть сырых скользких шкур лежали передо мной. Моя мечта начала пропитываться зловонием. Однако вовремя явился Сысоев и спросил, празднично улыбаясь:

— Ага, принесли? Ну, видишь, Шалч?.. Я ему, дурню, полчаса втолковывал, где ты живешь. Ну вот, значит, теперь понеслась... Теперь просолить надо, а не то погниют, — и ушел.

Я провозился целый вечер, раздобывая соль, присаливал, присаливал, упаковывал покомпактней, наконец скатал, обмотал какими-то тряпками, веревкой, подержал на весу — страшная тяжесть —

и уволок в кладовку. После долго мыл руки и проветривал комнату. Настроение немного сникло, но надежды все еще бушевали во мне.

Все это происходило именно так, как я описываю. Нет ли у вас ко мне недоверия? Мне и самому все это кажется придуманным, настолько я выгляжу суетным и малосимпатичным. Я не умел тогда относиться к лишениям с равнодушием и стойкостью. И благородная гордая отрешенность не покрывала моего розовощекого лица. Неужели я и впрямь был так жаден и завистлив, и внешнее убранство играло такую роль в моей жизни? Особенно тяжелы были последние дни перед отправлением к мифическому калужскому скорняку. Теперь я думаю, что несоответствие меж нищенскими обстоятельствами, в которых мы все, и особенно я, находились в том трудном пятидесятом году, и открывшиеся возможности, их головокружительная близость — все это и вызывало во мне позорную на нынешний взгляд лихорадку. Но легко судить себя того из нынешних благополучных времен, поэтому это вздорное занятие оставлю читателю, а сам тороплюсь навстречу Сысоеву, как и договорились, однажды в субботу, после занятий, в самых последних числах марта.

Он подъехал на тракторе, свежий и улыбчивый, а я, тем не менее, всю ночь не сомкнул глаз и теперь был бледен. Но я лихо вынес из своих тайников драгоценный, невероятно тяжелый сверток. Трактор должен был провезти нас километра два с половиной по чудовищной весенней грязи до большой дороги. И он повез. Мы выгрузились в назначенном месте и устроились в ожидании какого-нибудь попутного грузовика, так как никаких других средств передвижения тогда не существовало. Дорога эта была далеко не из главных, поэтому путешественники могли рассчитывать лишь на чудо.

Часа через три налетели ранние сумерки. Дорога была пустынная. Слава богу, в моем непробиваемом было тепло, а Семену Кузьмичу в его добротном становилось неуютно. Он пританцовывал, я стоял, прислонившись к столбу, и оба мы молчали. Не знаю, о чем думал он. Я же смаковал в своем воображении уже заученную наизусть картину: вот я привычно и легко облакаюсь в кожаное пальто. На мне кепка из светло-серого материала... Представляете? Черное кожаное пальто и светло-серая кепка? Ну, еще какое-нибудь непременно кашне... Я медленно иду по московскому тротуару, распространяя тревожащее толпу благоволие. Да, я иду... Вы спросите: и что же? А ничего. Я просто иду.

Наконец, когда сумерки начали густеть, невероятный попутный грузовик, набитый полугнилой картошкой, повез нас к Перемышлю. Мы сидели на картошке, отворотившись от резкого ветра. До районного центра было более тридцати километров по выбитой горбатой дороге, по бывшему Козельскому тракту, по моим нервам и моим костям.

До Перемышля мы доползли часа за два без приключений. Уже в полных сумерках. Там нам повезло: мы сравнительно быстро договорились со следующим грузовиком, идущим прямо до Калуги. Перетащили свои тюки и тронулись. И еще тридцать километров по такой же унылой дороге. Пусть меня простят калужане: для них

эта дорога, наверное, прекрасна, даже олицетворение родины. И леса вокруг прекрасны, и поля. Но мне-то что было до всего этого во тьме, на каких-то мешках, в открытом кузове, в тряской машине, под ледяным ветром?

Начало подмораживать. Закаленный крестьянин Сысоев откровенно коченел, а счастливый сибарит в своем непробиваемом пальто благодарил судьбу за удачную покупку. Это у вас там, в городе, что ни говори, а есть возможность в подъезд забежать и прогреться возле батареи, а у нас здесь, в открытом кузове, под режущим ветром... Вот вы над нами и смеетесь в своих метро и автобусах и так самоутверждаетесь за наш счет, пока мы здесь кочене-ем и, не покладая рук, производим молоко, сливки, картошку и прочее, чтоб было чем вам наполнить брюхо...

И вот тогда, когда показались огни Кадуги и снова в воздухе повеяло ароматом выделанной кожи, Сысоев прокричал сквозь стянутые холодом губы:

— А моста-то нет! Придется вплавь, Шалч!

— Как это вплавь?! — крикнул я из глубины шубы.

— Значит, сами в воду, — визгливо захохотал он, — а шкуры в руке, чтоб не замочить!

— Так ведь лед по Оке идет! — крикнул я, и жгучий ветер ворвался ко мне под шубу.

— Это хорошо! — крикнул он. — На льдинах и поплывем!

Мы остановились возле того места, откуда в обычное время начинается понтонный мост. Из-за ледохода мост был убран. Во тьме, озаренные неясным светом звезд и городских фонарей с того берега, с шорохом, скрежетом и скрипом мимо нас шли льдины одна за другой. Грузовик развернулся и ушел. Еще несколько печальных теней смутно вырисовывались у кромки воды.

— Не надо было ехать, — сказал я, — куда же мы теперь?

— А теперь, Шалч, ежели не хочешь в воду лезть, — залился Сысоев, — надо лодочку поискать. Может, кто и перевезет.

Было к полночи. Мы продрогли. От голода кружилась голова. Наши злополучные заледеневшие тюки покоились во тьме под ногами. Но я еще был жив, и я бы не обменял драгоценного зловонного груза на тарелку горячего борща и подержанные крылья, которые вернули бы меня в мой дом. Калуга посверкивала на том берегу, и ее мозолистая рука держала меня за горло, и, хоть и потускневший, мерцал еще в сознании образ благополучного молодого человека в черном кожаном пальто и светло-серой кепке, и ради этого я был готов на еще большие подвиги, и даже ледяная Ока не казалась мне непреодолимой. Маленький Сысоев не предавался мрачным раздумьям. Он семеня по зловещему берегу, исчезал во тьме, возникал вновь и наконец окликнул меня из смутной плоскодонки: «Давай тюки, Шалч!» Это восклицание прозвучало, как «Дай руку, брат!». И я, подобно Геркулесу, изловчился, напрягся и оба пудовых тюка дотащил до лодки и рухнул вместе с ними на ее мокрое дно. Пожилой хозяин оттолкнулся веслом, и мы закружились меж льдин во мраке.

— Эй, земляк, — крикнул Сысоев, — а почему нынче потонуть?

— Дорого не возьму, — ответил лодочник, — сиди знай!

Уже на середине реки я обнаружил, что лодка медленно, но верно заполняется водой. Мои валенки погрузились по щиколотки. Я поднял промокший тюк и держал его в руках, словно большого ледяного младенца. Ничего, думал я, на фронте и не такое бывало. Берег приближался, но вода подымалась быстрее, и темно-синие льдины ударяли в борта. Как умудрялся лодочник проскальзывать меж ними! Теперь я вспоминаю, что мы все трое кричали, пересиливая грохот и скрежет, выкрикивали самые высокие классические образцы матерщины погоде, Оке, каждой надвигающейся льдине и Калуге, не торопящейся нам навстречу, и веслу, и воде в лодке, и шкурам, и этой жизни, и нашим мечтам... И все-таки я еще был тверд, и силуэт мой, эlegantный и значительный, все еще маячил на московском тротуаре. Был ли во мне страх? Безумие было. Хотелось победить. О, если бы эта энергия и эти силы направлялись на великие дела! Какое бы количество великих дел возвысило бы человечество! Но в том-то и штука, что не было для меня тогда более великого, чем то, что я выполнял... Да и кто знает, что такое великое, пока оно не совершено?

Но мы успели выскочить из почти захлебнувшейся лодки и ступили на калужскую твердь.

— Эх ты, — сказал Сысоев лодочнику, — мог бы дырочки-то залатать. Ведь потопли бы...

— Некогда, — сказал лодочник, — все ехать желают.

— А ты за деньги и утопить готов, — сказал Сысоев.

— А чего ж, отказываться? — засмеялся лодочник. — Весна-то в году раз бывает...

Мы долго тащились с тюками в гору, выбиваясь из сил. Калуга давно уже спала. И скорняк спал. Ока бушевала далеко внизу. И гостиница называлась «Ока» — старая, мрачная, с облетевшей штукатуркой, но когда мы, наконец, вползли в нее, пуча рыбы глаза, я задохнулся от густого тепла и мирной тишины.

Да, была тишина. И пожилая администраторша за своей конторкой казалась ангелом-спасителем. Над ее золотистой головой кумир Сысоева с погасшей трубкой в руке удивленно взирал на нас из рамки.

Помню, как я протягивал к ней деревянные ладони и не мог вымолвить ни слова, и не слышал, о чем, жалко улыбаясь, говорил ей Сысоев. Может быть, он рассказывал ей свою жизнь, не очень легкую и не самую удачную, о том, как он жил на этом свете, через что прошел, и вот теперь ему не хватило кровати во всем этом великолепном разрушающемся старом здании. И она смотрела мимо него, отрешенно и привычно, с видом человека, привыкшего к тому, что от него теперь зависит и жизнь наша, и смерть.

Что уж он ей там говорил! Но он показывал ей то на меня, то на портрет генералиссимуса, и вдруг она оживилась и даже ответила, что-то человеческое промелькнуло в ее божественных чертах, и наконец нам было позволено устроиться в самом конце коридора на крашеном полу, до рассвета — не позже, и, помню, я

был сражен неучливой добросердечностью дежурной, выбравшей нам место возле горячей батареи. Мы расстелили мое замечательное пальто, разулись, засунули валенки за батарею и улеглись рядом, приложив ступни к горячим трубам; и мы покрылись пальто Сысоева и начали стремительно уходить из этого мира... От тюков подымался легкий парок, зловоние просачивалось сквозь упаковку, но мы были уже далеко от этих мест.

Утром нас разбудили брезгливые голоса. Мы молча одевались, посапывая, наслаждаясь теплом просохших валенок, беспрестанно твердя про себя благодарения гостиничной дежурной. В конце концов нас могли и не впустить, а впустив, выдворить, но мы остались, и место возле жаркой батареи словно специально было забронировано для нас и наших тюков с будущим шевро. Видимо, она все-таки сумела распознать в этих полночных бродягах людей, полезных для общества. И вот она сберегла наши жизни, нарушая внутренний распорядок.

Теперь оставалось самое простое: добраться до скорняка. Мы оба, сильные и молодые, вновь подогреваемые своей мечтой, сгибаясь под тюками, не успевшими просохнуть, отправились по известному адресу. Впрочем, адреса не было. Была замечательная память Сысоева, и едва мы прошли по улице Ленина, пересекли улицу Кирова, как эта замечательная память приступила к действию.

— Значит, так,— сказал Сысоев,— теперь у этой церкви направо,— мы свернули,— теперь во-о-он до того голубого забора,— подсказала она,— два квартала, и будет колонка для воды...— и точно: колонка, покрытая ледяной коркой, возникла перед нами,— от нее налево и прямо до магазина,— миновали и магазин, еще не успевший открыться,— теперь, значит, так, от магазина направо, так, во-о-он, до тех деревьев...— шли, задыхались, останавливались передохнуть, пытались шутить, делали вид, что веселимся, что все — трын-трава, вздор: эта ночь, Ока, ледоход, гостиница. По утреннему морозцу явственно пахло уже выделанными шкурками. Еще никто не просыпался: не было ради чего. Лишь мы одни бодрствовали в этом мире, непреклонно приближаясь к своей великой цели. И вот она внезапно открылась за каким-то очередным поворотом, открылась, и мы замерли на мгновение.

— Значит, так, Шалч,— сказал Сысоев, отдуваясь,— теперь, значит, все. Эвот он домик стоит,— и залился,— стоит, чего ему делается? Теперь, Шалч, я схожу поразведать...

И он удалился, а я, прислонившись к дереву, застыл над тюками, и горячий пот стекал по моему высокому лбу. И я подумал о чуде. Что если оно случится: ну, допустим, у этого скорняка залежались уже готовые шкурки, и он просто обменяет их на наши, и нам не надо будет снова ждать...

Минут через десять вышел Сысоев, широко ухмыляясь.

— В самую точку попали,— сказал он,— ждет. Ну, Шалч, будет тебе шевро.

Он сам оттащил тюки в дом вместе с задатком, и мы были свободны.

— В конце апреля получим шкурки,— захохотал Сысоев, вернувшись,— готовь остальные деньги, Шалч.

— Сошьем пальто и поедем в Москву? — спросил я.

— А чего ж? — залился он.— Пусть смотрят...

...Как я дожил до конца апреля, не передать. Я, конечно, боролся с недугом, честно и настойчиво, но безумие (впрочем, безумием это не назовешь), но жажда, охватившая меня, утолялась едва-едва. Моя пересохшая душа, как пересохшее горло, требовала своего, и все усилия усмирить ее, успокоить, утишить, умиловать ни к чему не приводили. Как я выжил, известно самому богу. Почему это происходило со мной? Как ответить? Времена были трудные для большинства. Помню, что я был стоек. Никто меня в детстве не баловал, и направленность души была несколько иной. Почему же мне жаждалось выглядеть с иголки? Не потому ли, что мне... что я... что такие, как я... то есть мы... Не потому ли, что мы... Кем я хотел выглядеть, казаться, быть? Бог свидетель: я презирал пижонов. Чего же я жаждал?.. Мои родители были там. И хотя сын за отца... и тому подобное, но горестный ответ катастрофы лежал и на мне, и мне ли было замирать при одной мысли о возможном превращении в импозантного красавца?

Не понимаю.

Накануне Первого мая (в довершение ко всему) у меня выдалась бурная ночь. Первого мая с утра мы всей школой должны были собраться на праздничный митинг. Вечером накануне я осмотрел свой единственный костюм. Это был старый костюм моего дяди, подаренный мне, когда я вернулся с войны. За годы студенчества он заметно сдал. Теперь брюки внизу порвались и замахрились, и пиджак коробился и блестел на спине и локтях. В отчаянии я намеревался броситься в ножки Зое Петровне, упросить ее, женщину, своими ловкими ручками привести мою единственную одежду в приличествующий празднествам вид, но я спохватился слишком поздно: было за полночь. Наверное, ничего бы особенного не произошло, и мои ученики и коллеги, привычные к не таким лишениям, не предали бы меня позору. Но ведь оглядывали бы с печалью и сочувствием, и, чего доброго, собрались бы в складчину, чтобы поддержать мою репутацию молодого симпатичного учителя грузинского происхождения с городским вкусом, с любовью к прекрасному... И вот я стиснул зубы, напрягся, взял в руки ножницы, иголку с ниткой и принялся за работу. Как я изловчился справиться со старым расползающимся материалом, не желающим больше жить,— не знаю. Он мучал меня и подставлял мне не те места, к которым следовало бы прикоснуться ножницами, и швы терялись в складках и ускользали, и игла вонзалась далеко от намеченного места, но к утру я вышел победителем, и когда я отпарил утюгом ветхую ткань, она благородно затускнела, и почти совсем новехонький костюм висел передо мной. Я не спал ни минуты, но удача окрыляла. Много ли нужно? Что еще нужно, если ощущаешь себя человеком? Иди, раскованный и гордый, в свой класс, на свою палубу, на штурм, на гибель...

И вот в самом начале мая, когда празднества уже отшумели, и все зеленело вокруг, и страшный мартовский ледоход выглядел игрушечным, и моя непробиваемая шуба висела на гвозде за ненадобностью, тогда заглянул ко мне Сысоев, с наигранным ужасом, как всегда, оглядел мою комнату и сказал, потирая руки:

— Ну, Шалч, готовься. Завтра, значит, на зорьке и тронемся, помолвившись,— и захохотал счастливый, что принес мне долгожданную добрую весть.

Мы снова ехали в Калугу, уже налегке, под майским солнышком, и я видел, что дорога и впрямь хороша, то есть не шоссе, а обрамление, этот классический среднерусский пейзаж, эти вполне былинные леса и долины, покрытые легким туманом. Ехать было радостно, и перспектива ночевки в затхлом гостиничном коридоре уже не удручала, тем более что перспектива в виде выделанной кожи была окрыляющая. Оказывается, думал я, не так это трудно переждать, пересилить нетерпение. От этого огня не умирают, думал я, никнут и горбятся — это да, но не умирают, а с другой стороны, это может быть, даже укрепляет нервы и душу, и черная кожа облетает уже не хилого и капризного учителяшку с тонкими ножками, а воина, человека, личность... Стоит помучаться, думал я, подпрыгивая в кузове на ухабах.

Мы переехали мост, вновь наведенный после того ужасающего ледохода, и теперь он гордо поскрипывал под грузовиками, и желтая вода уже опавшей Оки дружелюбно терлась о понтоны, и наступающий вечер был ласков и милостив.

— Теперь,— сказал, посмеиваясь, Сысоев,— идем, Шалч, по прежнему маршруту.

И мы бодро зашагали по улице Ленина под зеленеющими деревьями, пересекли улицу Кирова, дошли до церкви, свернули направо...

— Надо бы поскорее,— сказал Сысоев,— скоро стемнеет — ищи тогда...

Впереди показался знакомый голубой забор. От него мы прошли, как и полагалось, два квартала, но... колонки для воды не было.

— Погоди,— сказал Сысоев,— я помню, что два квартала...

— Да мы уже все четыре пробежали,— сказал я, сдерживая начавшуюся лихорадку.

— Але,— сказал Сысоев случайному прохожему,— тут, кажись, колоночка должна быть?

— Колоночка? — задумался прохожий.— Здесь ее сроду не было. Вон на той улице, на параллельной, верно, на углу, а здесь ее не было...

— Да мы не по той улице кварталы отсчитывали,— сказал я.

— Ах ты господи,— изумился Сысоев,— а как же забор голубой?

— Может, и там забор голубой,— сказал я,— пойдем-ка на ту улицу, Семен Кузьмич, если там есть колонка, значит, та самая улица...

Мы побежали. Темнело быстро. Тревоги не было — лихорадило.

На параллельной улице обнаружили, наконец, колонку. Оглянулись для верности, но теперь не видно было голубого забора. Пробежали уже по этой улице обратно два квартала, три, четыре... Вот и крашенный забор, но цвет уже не различить. Вроде бы голубой, а может быть и зеленый, и коричневый. Толстая женщина стояла у калитки.

— Здрасьте,— сказал Сысоев,— какого цвета у вас забор, что-то не разберу.

— А вам зачем? — спросила она.

— Да тут, значит, спор у нас вышел, какого цвета забор...

— Ну, синий,— сказала она.

— А может, голубой? — обрадовался я.

— Зачем же голубой? — рассердилась она.— Синий и синий.

Мы отошли немного.

— Знаешь,— сказал Сысоев бодро,— придется нам, Шалч, вернуться опять до улицы Ленина и уж тогда еще раз аккуратненько обратно... А то мы с тобой разлимонились, значит: весна, тепло, вот мы сейчас, вот мы уже, как все просто... А оно и не просто.

Мы вернулись к гостинице «Ока» и медленно двинулись обратно. Улицу Кирова пересекли уже в темноте. Редкие фонари были слабыми помощниками. Дошли до церкви. От нее свернули направо. Пока все было правильно. Наконец возник голубой забор, тот самый, истинный. Даже в темноте отчетливо просматривалась его голубизна. Медленно, крадучись, миновали два квартала, и... колонка стояла на своем месте! Мы ее потрогали, погладили, из крана капала вода. Теперь уже было проще: налево до магазина. Прошли, но магазина не обнаружили. Вместо магазина простиралась аккуратная площадка. Улица была пустынна. Мы стояли, тяжело дыша.

— Надо было хоть адрес записать,— сказал я раздраженно,— полные идиоты.

— Не тушуйсь, Шалч,— сказал Сысоев мрачно,— найдем.

— Может, в справочное обратиться? — спросил я.— Как его фамилия?

— А черт ее знает,— нервно засмеялся Сысоев,— Степан Егорыч, и все...

Вдруг послышались торопливые шаги, и из-за угла вынырнул мужчина.

— Але,— радостно сказал Сысоев,— погоди, дорогой...

Увидев нас, мужчина отскочил в сторону.

— Да ты не бойся,— взмолился Сысоев.— Где он, магазин, который здесь стоял?

Мужчина отступил на несколько шагов.

— Але,— сказал Сысоев жалобно,— тебя же спрашивают, ну чего ты?..

— В справочном спрашивай! — крикнул мужчина и побежал по улице.

— Вот черт,— сказал Сысоев.— заблудились мы, что ли?

— Давай снова попробуем,— без надежды предложил я,— от самой гостиницы.

Но это уже был чистый вздор, и мы, пораскинув, решили отправиться на вокзал и пересидеть там до утра.

На вокзале тускло освещенный ресторан работал круглые сутки. Единственный поезд на Москву отправлялся через час, и веселье было в самом разгаре. Впрочем, веселье — это громко сказано: было шумно, звонко, разухабисто, хмельно. Пахло подгоревшим маслом, прошлогодней капустой. Табачный дым висел над столами... Нет, это вспоминается так, потому что я теперь не люблю вокзальные рестораны, подвыпивших швейцаров и официантов и постоянную суету: от поезда к столу, от стола к поезду. Теперь не люблю. А тогда, видимо, любил. А что было делать? После деревни, сырой холодной комнаты, желтой лампочки под потолком — и вдруг этот зал, и люди, и звонкие подносы, и можно заказать, отменить, развалиться, пошутить, презрительно оглядеть зал, соседей, или, наоборот, сладко улыбнуться. Я плачú — а вы подавайте. Никто обо мне ничего не знает. Все, словно в бане, равны. Были бы деньги. Теперь я не люблю вокзальные рестораны. Теперь уже нет необходимости самоутверждаться, стараться выглядеть и тому подобное. А тогда, хоть и было так же: и вонь, и суета, и подвыпивший швейцар у дверей, но воспринималось, как карнавал... И сквозь раскрытую дверь виден был на стене в клубах табачного дыма привычный портрет генералиссимуса. Он стоял посреди нескончаемой равнины, ранним утром, и смотрел вдаль вверх наших голов.

Швейцар долго не хотел нас впускать, просто так, ни почему, и мы жалко и без обиды толклись у дверей, и горбились, горбились, и елеиню ему улыбались, одуревая под тяжестью собственных горбов. Он долго унижал нас, но чем дольше, тем вожделенней поглядывали мы на ресторанные столы, за которыми можно было бы и распрямиться. Наконец он смилостивился. И мы вошли в зал. Это теперь можно, как это называется, качать права и призывать к ответу, тогда же шутки такого рода были опасны: мы ведь хорошо видели, как милиционер с малиновым околышем дружески похлопывал швейцара по плечу, когда проходил мимо, словно они свояки, кумовья, а может быть, даже братья...

Мы заказали графинчик водки и по порции котлет с лапшой.

— Ну, Шалч,— проговорил Сысоев, откинувшись,— кто сказал, что жизнь плохая?

И я кивнул ему согласно, потому что мне и впрямь было хорошо.

Мы выпили, свет стал ярче, я подошел к ресторанной двери не сгибаясь. На мне было кожаное пальто и светло-серая кепка, и швейцар распахнул дверь передо мной. Я похлопал его по плечу...

Я доел котлеты, и мне захотелось ликера с кофе... Теперь я ликеров терпеть не могу, эта сладкая влага мне отвратительна, но тогда мне казалось, что ликер с кофе это так высоко, тонко, аристократично, и подите вы со своими котлетами неизвестно из чего, и с лапшой, от которой склеиваются внутренности!..

И я заказал ликер и кофе. И мне принесли рюмку ликера и чашечку черного пойла, но все же... И Сысоев, хохотнув, придвинул к себе графинчик с водкой. В этот самый момент к нашему столу подошли двое, мужчина и женщина, и уселись на свободные места. Они были крепко навеселе, особенно женщина, но тут же заказали поллитра и по порции кислых щей. Женщина долго всматривалась в меня, потом выговорила с трудом: «усики...» и показала черные зубы.

— Помалкивай,— сказал ей мужчина и объяснил нам: — в Архангельск везу, на лесозаготовки...

— Ее одну? — удивился я.

— Зачем одну,— усмехнулся мужчина,— я их тут много навербовал... вот и везу... А вы кто же будете?

— Мы местные,— сказал Сысоев и кивнул в мою сторону:— А он грузин...

— Грузин? — удивился мужчина.

— Ага,— сказал Сысоев и снова кивнул уже на портрет генералиссимуса.

Женщина спала, положив голову на скатерть. Мужчина выпил и вдруг заплакал.

— Але,— сказал Сысоев,— что это ты?

— Письмо ему написать хочу,— сказал мужчина,— чтоб разобрался во всем...

— В чем же? — спросил я.

— Эх, ты...— снова заплакал мужчина,— да у нас там вредители в начальниках... понятно?

— Пиши, пиши,— сказал Сысоев и кивнул на портрет,— он им даст...

— Конечно,— сказал я.

— Да я не умею,— захныкал мужчина,— как это письмо писать? С чего начинать?.. Не умею... А то еще не так чего-нибудь...

— Давайте я напишу,— вызвался я,— вы мне факты, фактики, а уж я сделаю...

— Он сделает,— сказал Сысоев,— он грузин, он университет закончил...

Как там все это в точности происходило, сейчас уже не помню. Он бормотал что-то, я записывал. «Зачем это мне нужно?» — думал я, а сам записывал, записывал, пока кто-то не произнес над моей головой:

— Ваши документы, гражданин...

Милиционер в малиновой фуражке тянул ко мне ладонь. Женщина спала. Мужчина смотрел дикими глазами. Сысоев зарумянился и сказал тоненько:

— Ой, мне в туалет надобно, я сейчас...

Я выложил на широкую милицейскую ладонь все, что у меня было. Он подхватил и мой блокнот и велел мне следовать за ним.

— Не трожь...— прохрипел мужчина,— не трожь, говорю...

И меня повели.

В дежурной комнате сидел капитан с желтым помятым лицом. Милиционер разложил перед ним мои бумаги и сказал:

— Вот, товарищ капитан, гражданин сидел с пьяным и чего-то у него выспрашивал и записывал... Сам не ел, не пил...

— Ну что? — спросил капитан.

— Как это не ел, не пил, — сказал я, слабея, — я съел котлеты с лапшой и ликер выпил...

— А что записывал? — спросил капитан.

— Видите ли... — сказал я.

— Давай его туда, — сказал капитан и кивнул на боковую дверь.

Я зашел в маленькую грязную комнату с лавкой, и дверь хлопнулась, и щелкнул замок.

Шесть квадратных метров. Тусклая лампочка над входом. На окне решетка, за решеткою майская ночь. За дверью — чужой, равнодушный офицер... Несколько минут назад мне хотелось выглядеть человеком. Разве это несправедливо? Да зачем, зачем мне понадобилась эта дурацкая кожа! Я обманывал сам себя, думал я, играя в эту игру с деревенским совратителем, не верил и играл, и вот доигрался... Теперь, когда выяснят, что мои родители... потом усмехнутся понимающе и недобро... Я, конечно, отвечу словами того человека, который везде: в мыслях, в воздухе, в разговорах, в позолоченных рамках — я, конечно, повторю как магическое заклинание сказанное им однажды, что, мол, сын за отца не отвечает... да, но ведь и яблоко от яблоньки... и это тоже надо учитывать, ибо это тоже народная мудрость, а народ не ошибается... Теперь, в наши времена, какой-нибудь молодой человек в подобной ситуации спросил бы с легкой усмешкой ничего не боящегося члена общества: «А почему, собственно, я не могу записывать, что желаю?..» Что ответил бы ему усталый капитан? Действительно, ну достал блокнот, ну записывал. Что дальше?.. Но это теперь... А тогда... Куцый пиджачок и чертовы усики, и рюмка ликера, и пьяный бред о каких-то вредителях, и все это под большим портретом, в то самое время, когда, как мы знали, сотни и тысячи закамуфлированных злодеев шныряли среди нас, записывая, выпытывая, взрывая... Помню, как на лекции о коварстве иностранных разведок лектор сказал: «Западный агент, к примеру, в ресторане выпивает по глоточку и не закусывает. Это бросается в глаза...»

Если бы я сидел в своей деревне, не поддавшись на провокации Сысоева, ничего этого не было бы: ни лихорадки, ни вожделения, ни мучительной дороги в кузове грузовика, ни плавания среди льдин, ни унижения в гостинице, ни этого чудовищного ликера и пьяных рож, ни зарешеченных окон и перспективы насильственного путешествия куда-нибудь подальше, надолго, навсегда... «Где ваши родители?» «Видите ли...» И все. Потому что жалким словам было не в силах перебороть существовавший стереотип. Зачем мне понадобилось это проклятое пальто?..

Наступал рассвет. Кажется, я плакал. Тихо, для самого себя. Я еще надеялся, что произойдет чудо: усталый капитан забудет обо всем, выслушает меня без интереса, махнет рукой, и я ринусь на улицу, сбегу к Оке, на первом же попавшемся грузовике

укачу в деревню, домой, сварю суп из молодой крапивы и пшена, засну и проснусь в другом мире.

В этот момент там, в предбаннике, что-то загрохотало, треснуло и хриплый голос проорал: «Не трожь, тебе говорят!..» Кого-то там втаскивали, втискивали в двери, а он упирался и орал: «Сталин где?!.. Куда Сталина подевали, суки!!»... Это был тот, архангельский вербовщик, допившийся до горячки. Он искал меня и топил меня окончательно, перемешав в своем помутненном сознании мои тщедушные усики с теми холеными и всемирными, и он топил меня, топил, приговаривал к дальней дороге, пьяная сволочь... «Сталина подавай!..»

— Заткнись, сволочь! — крикнул я сквозь слезы, но никто не мог меня услышать, и на чудо уже нечего было рассчитывать. В предбаннике проволокли по полу тяжелое тело, щелкнула задвижка, и все смолкло.

За окном быстро светало. Вскоре и вовсе наступило майское утро, зазвучали шаги счастливых прохожих... Если бы не это шевро!.. Затем отворилась со скрипом дверь, и меня пригласили в предбанник к дежурному. Я стремительно шагнул вместе с клокочущим в горле криком: «Товарищ капитан, я умоляю вас... это все недоразумение!.. Честное слово, я не виноват!.. Это он виноват, этот пьяный негодяй, болтун... Спросите у наших... Я хотел сшить кожаное пальто... я, как дурак, переждал до утра... я думал... Это Сысоев меня надомил, а сам убежал. Честное слово, честное слово, я умоляю вас!..»

За барьером сидел молодой незнакомый лейтенант. Он повертел мои бумаги и спросил бесстрастно:

— Проспались?

— Я не спал, — сказал я, просительно улыбаясь.

— Лавка жесткая? — безглаголиво усмехнулся он.

Через окно виднелся перрон. Там стояли пассажиры. Цветы распускались на газоне. На вывеске было написано: «Хлеб»...

— Я всю ночь думал, что неправильно поступил, — сказал я.

Он протянул мне мои бумаги!

— А теперь? — спросил я, не веря.

— Пить надо меньше, — сказал он, — идите.

...От вокзала до понтонного моста я добежал за какие-нибудь десять минут, ни разу не оглянувшись. На берегу Оки на свежем бревне сидел Сысоев. Я присел рядом, тяжело отдуваясь. Мы молчали. Он рисовал на песке веточкой домик. Доканчивал, стирал и вновь начинал, но уже с большим совершенством. Я стал рисовать тоже.

Так текло время. Попутных машин не было. Желających ехать прибавлялось.

— Ты что, Семен Кузьмич, испугался? — спросил я, не поворачиваясь к нему.

— Зачем испугался? — сказал он сквозь зубы. — Вовсе и нет... Вот машину жду.

Мы снова помолчали.

— А чего вам там говорили? — вдруг спросил он, стирая очередную дом.

— Ничего,— сказал я,— вернули бумаги и все...

— Ух ты, и все,— засмеялся он,— фамилию-то, небось, записали?

— Ну и что? — спросил я шепотом.

— А ничего,— сказал он,— теперь узнаете...

— Да ведь там дежурный сменился,— заспешил я,— лейтенантик какой-то, он и не спрашивал ни о чем. Идите и идите, я и пошел... Я сначала испугался, знаешь, как подумал, что вот о родителях спросят, то да се, ну, думаю, конец...

— Это почему же конец? — спросил он, презирая меня.— Что ж, у нас разобраться не могут? Больно вы рассуетились, словно виноваты...

— А что это ты на «вы» со мной? Мы ведь не один день знакомы,— удивился я.

— Да уж и не больно-то мы и знакомы,— сказал он, оглядывая дорогу,— я вас и не знаю-то толком...

Я не успел ответить, как подкатил грузовик — спасительный экипаж, который увезет меня от этих мест подальше будто бы в недосыгаемые пространства. Все забрались в кузов, и я уселся на какой-то мешок, и лишь один Сысоев продолжал дорисовывать дом...

— Давай скорее! — крикнул я без надежды.

— Вы едете и езжайте,— сказал он, не поднимая головы,— а у нас и в Калуге дел по горло.

И я уехал.

Наша дружба с Семеном Кузьмичом оборвалась. Он меня в гости не приглашал, да и я не навязывался. О коже он не вспоминал. Я не спрашивал. Потом мне удалось выяснить у одного знакомого человека, что все равно хранили мы шкурки неправильно, и за такой срок без обработки они должны были сгнить непременно. Это известие меня окончательно утешило. О деньгах я не пожалел. А может быть, окажись я тогда на вокзале в черном кожаном пальто,— неизвестно, где бы я сейчас находился. А тут корявый пиджачок, какие были на всех, стоптанные башмаки... Чего с меня взять? Верно ведь?..

Октябрь, 1985

У меня, в общем, счастливая литературная судьба. Она сложилась из многочисленных трудностей, препятствий, конфликтов — это ли не счастье? Судьба меня закалила, многому научила и в то же время не лишила способностей выражать себя теми средствами, которыми меня наделила природа. Хорошо или плохо я ими распорядился — не мне судить. Во всяком случае, я очень старался. Если бы я умел обольщаться на свой счет, я бы считал, что мне предстоит теперь написать самую значительную свою вещь. Но, к счастью, я научился не обольщаться...

Б. Кузьмин

Н. ШМЕЛЕВ

Последний этаж

Один мой относительно юный друг — ему сорок, мне семьдесят три — утверждает, что в истории человечества только трое решились публично вывернуть себя наизнанку до конца: блаженный Августин, Руссо и Толстой. Трое или не трое — не знаю, в этом я не специалист, спорить, во всяком случае, не берусь. Следует, однако, сказать, что друг мой — профессиональный философ, человек очень думающий, и, как я уже имел возможность неоднократно убедиться, обычно он знает, о чем говорит.

Года два назад с его легкой руки я прочел все эти знаменитые исповеди. Признаюсь, тягостное было чтение: ничего или почти ничего, кроме разочарования и раздражения, мне оно не принесло. Времени мне осталось немного, если оно вообще осталось, и теперь, на пороге перехода, так сказать, в иную систему координат, мне думается, я могу, не поддаваясь гипнозу столь громких имен и не опасаясь вместе с тем обвинений в какой-то скрытой личной предвзятости, позволить себе высказать некоторые вещи, которые в устах более молодого человека, чем я, могли бы, допуская, показаться по меньшей мере экстравагантностью, а то и того хуже — прямым святотатством.

Во-первых, никогда еще в своей жизни мне не приходилось сталкиваться с такой несокрушимой уверенностью, с таким непомерным, я бы даже сказал — неумным вниманием человека к самому себе и ко всякой ерунде, которая когда-то, где-то и, бог его знает, по какому стечению обстоятельств могла приключиться с ним. Как будто каждый их вздох, каждая завитушка мысли или ничтожное житейское происшествие есть действительно достояние истории и должно войти в общий багаж, мало того — в золотой фонд всего человечества. Если бы еще это было написано для себя и только для себя — я бы понял, наверное. Но нет же! Все, каждое слово с самого начала предназначалось на всеобщий суд... Далее: не верю, не могу я поверить в это якобы смирение, именно якобы, потому что под ним — это видно, что называется, невооруженным глазом — гордыня, гордыня тотальная и по сути своей, и по замаху, упорное стремление заставить всех, обязательно всех, не меньше, жить по своей методе, выдуманной в кабинетной тиши, свирепая нетерпимость к живому, спотыкающемуся, страдающему человеку, которого бог в своей милосердии бросил, как щенка, на призыв судьбы: мол, барахтайся там, как знаешь, может, выплывешь, а может, нет... Взять бы этого Августина за бороденку: а грудные-то младенцы в чем у тебя виноваты, отче? Их-то ты за что проклял? Или так, для стройности концепции, чтобы уж никого не обойти?.. И, наконец, — ложь, постоянная ложь самому себе, лицемерное признание своих мнимых грехов и удручающее, ничем не прошибаемое бессерде-

чие в отношении грехов действительных, да не грехов даже — преступлений! Подумаешь, яблоко украл... И вот разводит, разводит вокруг этого соплю... А что двух женщин сгубил, любовницу и невесту, жизнь им искалечил — ну, что ж, жалко, конечно, очень даже жалко, виноват, какаясь, но прошу, однако, учесть: ради господа моего и спасения в вечной жизни, ради души моей нетленной — ни за чем другим... Эх, святой отец, святой отец... Ничего, господь милостив, не ты первый — не ты последний: надо думать, из уважения к твоей искренности заодно вместе с яблоком он и их тебе когда-нибудь простит... Особенно возмутила меня в этом смысле исповедь Руссо: загнал пятерых своих детей в воспитательный дом, так что ни имени, ни следа от них не осталось, а туда же — высокий строй души, благородство мыслей, любовь к добродетели, кротость, чувствительность, никому от него никаких обид. И ведь действительно уверен, сукин сын, что он «лучший из людей» и имеет право учить других!.. Да и Толстой тоже хорош. Воистину, как в Писании: поступайте, люди, по словам проповедника, не по делам его...

Но я отвлекся. К тому же я явно опять начинаю злиться, раздражаться, а при тех задачах, которые я здесь перед собой ставлю, мне это не нужно и, если хотите, даже не к лицу: в какой-то мере тот случай, о котором я собираюсь сейчас рассказать, для меня своеобразное подведение итогов, и мне хотелось бы до конца сохранить спокойную, уравновешенную интонацию человека, закрывающего последнюю страницу своей жизни и полностью отдающего себе отчет в том, что он делает именно это, а не выязывается опять, пусть в иной форме и под иным предлогом, в суетную, утомительную житейскую борьбу, не ведущую, как известно — особенно людям моего возраста, — ни к чему. Перечтя, я было хотел даже зачеркнуть первые страницы, но потом решил, что, если зачеркну, — это тоже будет ложь, и прежде всего ложь самому себе, то есть то, чего я самым решительным образом хотел бы избежать именно здесь, поскольку и по замыслу своему, и по цели эта работа имеет смысл лишь в том случае, если мне удастся обойтись в ней без вранья как себе, так и другим... Все, больше никакой полемики, я должен успокоиться... Тем более, что это не так и трудно: валидол теперь всегда у меня под рукой, лежит на письменном столе как раз в той самой пепельнице, где когда-то лежала моя любимая трубка, — года три уже, как пришлось упрятать ее в нижний ящик стола, подальше от соблазна... Ну вот, звон в ушах утих, сердце опять стучит ровно — теперь постараюсь по возможности без эмоций объяснить, к чему я затеял весь этот разговор.

Мне за семьдесят, и, естественно, я о многом думал, пока жил. Я почти ровесник века, ни одно из его значительных событий не миновало меня, не обошло стороной, и на что на что, но на скуку или недостаток впечатлений, начиная с первых моих сознательных лет, я пожаловаться не могу. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые... Не знаю, как насчет блаженства (по-моему, в блаженном состоянии я находился всего каких-нибудь полгода или год в своей жизни, в сорок седьмом, когда, как в угаре, писал и переписывал единственную свою книгу, а потом заново переживал написанное и все

никак не мог понять, как же мне, именно мне, не кому другому, это удалось), но материала для размышлений мне судьба подвалила столько, что даже и сейчас, когда никакие страсти уже не волнуют меня, и ничто не мешает думать, и склероза, слава богу, пока нет и, надеюсь, уже не будет, я не могу из этой груды впечатлений выстроить ничего прочного, не могу соорудить никакой логической конструкции, определить, хотя бы для самого себя, что было причиной, что следствием, что было во-первых, а что было во-вторых. Единственное, в чем я отдаю себе полный отчет, что я действительно знаю, — это свои симпатии и антипатии, а почему они возникли, как складывались, да и справедливы ли они в конце концов, убейте, сказать не могу.

Плохо, но я помню первую мировую войну, тоже плохо, но все-таки более отчетливо помню войну гражданскую, тиф, голод, разруху, в двадцатые годы я уже вел активную, деятельную жизнь, окончил Московский межевой институт, работал маркшейдером на шахте в Донбассе, потом каким-то боком был втянут в «процесс промпартии», но отделался, по молодости, пустяками — хотя этих пустяков, естественно, мне хватило на всю жизнь, — и вскоре вышел живым и здоровым на свободу, в тридцатые годы работал геодезистом в полевых партиях, исходил, исколесил всю Россию из конца в конец, сороковые провел на Дальнем Востоке, в военно-топографическом отряде, был даже дважды награжден, в пятидесятые перебрался в Москву, преподавал геодезию в Геологоразведочном институте, потом перешел в НИИ, защитил зачем-то под старость диссертацию... Вот уже четвертый год я на пенсии, сплю, читаю, гуляю по Тверскому бульвару, беседую с такими же старичками, как и я, беседу преимущественно о былом, но иногда и о злобе дня — ей, как известно, нет конца и не предвидится, пока человек жив... Все мило, скромно, тихо, достойно — чего же еще и желать на старости лет?

Мне хотелось бы быть правильно понятым с самого начала: я действительно давно уже не думаю ни о боге, ни о своем, так сказать, месте во вселенной. Я глубоко убежден — даже неловко как-то об этом говорить, заранее прошу у читателя извинения за подобные банальности, — что никому еще и никогда не удавалось додуматься в этих вечных вопросах до большего, чем простая констатация унылого, согласен, неприятного и тем не менее абсолютно бесспорного факта: каждый из нас — лишь песчинка в пустыне бытия, и приходил ли ты в мир или вовсе не был в нем, не имеет ровным счетом никакого значения ни для кого, кроме разве что тебя самого да еще немногих твоих близких, кого судьба так или иначе связала с тобой в один узел. В молодости, помню, все во мне топорщилось, протестовало против этой горькой истины, но со временем я смирился, вернее, вынужден был смириться с ней: после того, как на моих глазах десятки миллионов людей, не повинных ни в чем, кроме того, что они вообще имели несчастье появиться на свет, сгорели в огне войны или погибли в концентрационных лагерях — как мог бы я по-другому смотреть на мир, как мог я продолжать искать какие-то резоны, какие-то высшие оправдания своему собственному существованию и существованию других?

Повезло, остался жив по какой-то непонятной случайности — ну, и слава тебе, господи, дыши, радуйся, пока не пришел и твой черед...

Постепенно, не сразу, уже под старость, я включил в круг этих размышлений и так называемых великих людей, и чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что и в этом я тоже прав. Был ли человек по имени Лютер или не было человека по имени Лютер — какая кому, в сущности, разница? Его имя — просто удобный символ для обозначения очередного всплеска безбрежной человеческой стихии, и в этом смысле оно ничем не отличается от таких обыденных и безликих понятий, как дождь, ветер, слякоть, дым. Для него самого все было так же, как и для других, «прах ты и во прах возвратишься», а для людей что же, для людей, может, и действительно был человек по имени Лютер, а может, его и вовсе не было, черт его знает, как оно там на самом-то деле было четыреста с лишним лет назад, да и недосуг, по правде говоря, этим всем заниматься, у каждого своих забот по горло, а тут еще какой-то Лютер — да пошел он! И без него, что называется, голова кругом идет... Конечно, по-человечески я восхищаюсь величием замысла Николая Федорова — всех когда-нибудь воскресить всеобщими усилиями морали и науки — но, если вдуматься, если на минуту допустить, что это когда-нибудь будет возможно, ну и что из этого всего может получиться в конце концов? На практике, в реальной жизни? А ничего. Ничего не получится. Опять будет толпа, толпа безликая, только много бóльшая, чем сейчас, и человек как был незаметен в этом море голов, так и останется, и никаких его проблем это тотальное: воскрешение не решит... Мое глубокое, выстраданное жизнью убеждение: нет выхода из этого тупика, было так от века и так и пребудет во веки веков, только вот жаль, что чужой опыт никогда никого и ничему не учит, каждый заново сам, ощупью, а то и обдирая в кровь бока, пробирается сквозь эти дебри, тратит лучшие свои годы на поиски ответа, которого вообще не существует, не может существовать, и в конце концов, естественно, — как это было до него и будет после него, — не находит ничего.

Равным образом мне глубоко претят всякие попытки учить людей, разрабатывать для них спасительные рецепты жизни — каждый раз заново и каждый раз обязательно в расчете на поголовный, всеобщий охват — создавать умственные конструкции, в которые реальную жизнь надо впихивать ногами, силой, потому что никак иначе ее туда не впихнешь, не лезет она ни во что, ни в какие конструкции: слава богу, наш век, чуть было не захлебнувшийся в крови, кажется, уже начинает это понемногу понимать. Сколько их было, великих моралистов прошлого? И где они? И что стало с их наследием? Согласен, все это провозглашалось и делалось, как правило, с лучшими намерениями, в порыве искренней, жаркой, всепоглощающей любви к людям, но... Но за каждым святым с удручающим постоянством неизменно следовал свой Великий Инквизитор, и опять все начиналось заново, пока не появлялся очередной святой, и с ним очередная — и тоже обреченная на провал — надежда... Будда, Христос, Толстой, Ницше, Ганди — как говорится, несть им числа... Конечно, по крохам можно отыскать много полезного, доброго у каждого из них, но не дай бог

вновь сложить все эти крохи в нечто целое: опять получится черт знает что, опять будет кровь, насилие, вражда, и больше ничего... Иногда я думаю: если бы люди удовлетволялись десятью заповедями,— я не в смысле их божественного происхождения, а в смысле их удобства для жизни, сам я неверующий или, точнее сказать, почти неверующий, в дедушку с бородой я, естественно, верить не могу, но и отрицать всякую возможность существования каких-то высших сил тоже не решусь; нет у меня никаких доказательств ни за, ни против этой возможности,— право, этого было бы более чем достаточно для разумного устройства всех их дел на земле. Но, как известно, самое простое решение — это как раз то, которое приходит в последнюю очередь, если оно приходит вообще.

Однако один вывод, чуть-чуть все же смахивающий на рецепт, я, пожалуй, позволю себе сделать: человек — сам себе вселенная, сам себе бог, сам себе судья и палач в одно и то же время. Не оригинально? Конечно, не оригинально, я и не претендую на это, я достаточно образован, чтобы знать, что у меня были предшественники, и многие из них, сознаю, по калибру не мне чета. Но сама мысль от этого не делается ни менее актуальной, ни менее значительной, ни — что самое печальное — менее труднодостижимой. В своей крайней, доведенной до абсурда форме она звучит так, как ее когда-то сформулировали стоики: «Человек может быть счастлив и на дыбе» — мир не властен над человеком, пока он сам себе отдает в этом отчет. Бесспорно, как принцип, как руководство к жизни эта мысль рассчитана на людей каких-то совсем уж титанических масштабов, людей уникальных по величию и силе духа, были ли действительно такие в истории — сомневаюсь, думаю, что вряд ли. Для человека с улицы она неподъемна, и в этом смысле ей место скорее в кунсткамере, чем в повседневном житейском обиходе. Но кое-что в этой системе рассуждений могло бы, уверен, быть полезно и обычному, рядовому человеку со всеми его страстями и слабостями, могло бы уберечь его от ненужных страданий и несчастий, на которые он по большей части напрашивается сам, без всякого толчка извне, сохранить ему силы если не для счастья, то хотя бы для душевного равновесия, некоей удовлетворенности собой, а значит, и окружающим миром,— наверное, это и есть единственно возможное, единственно достижимое счастье, по крайней мере здесь, на земле... Всеобщая борьба? Нет, хватит и борьбы с самим собой, да еще не забудь о тех немногих, кто так или иначе зависит от тебя — вот, наверное, все или почти все, с чем я пришел к концу своей жизни. Убогая программа, не так ли? Нет, не убогая — самая тяжелая из всех возможных программ, и не случайно лживый, изворотливый человеческий ум вместо нее все время подсовывает какие-то суперидеи и планы, потому что всеобщая идея — это как раз то, что требует усилий и страданий не от меня лично, а от других, а меня лично, даст бог,— ясно же, что я умнее и хитрее других! — эта идея когда-нибудь, может быть, даже и вознесет: ведь, естественно, я буду руководить, а выполнять — нет, это уж, пожалуйста, вы бросьте, выполнять, конечно, буду не я, на это есть другие, я-то один, а их, как известно, легион... Кроме того, эта программа требует, пользуясь терминологией Марка Аврелия,

абсолютной честности «наедине с собой», а что может быть труднее для человека, чем не врать самому себе?

...Начало всей этой истории надо отнести к той зиме с сорок седьмого на сорок восьмой, когда я только что закончил свою книгу,— о ней, если помните, я уже упоминал. Дело было в одном городке неподалеку от Хабаровска, мы сидели на камеральных работах, обрабатывали материал, полученный во время летних экспедиций: если память мне не изменяет, готовили мелкомасштабную карту какого-то глухого, гористого района, очень важного, однако, в оборонном отношении. Поначалу, помню, запарывали один лист за другим, приходилось по нескольку раз переделывать, и не из-за спешки, а большей частью по неумению: горизонтали на листах сплошь и рядом ложились столь густо, а расстояние между ними было столь мало, что у некоторых наших чертежниц — это были, как правило, молоденькие девочки, вольнонаемные, приехавшие сюда за длинным рублем или в расчете выйти наконец замуж,— очень быстро начинали болеть глаза и кривоножка от напряжения сама собой вываливалась из рук.

Но вообще-то работали не торопясь, с ленцой: городок был по крыши завален снегом, вставали поздно, ложились рано, развлечений почти не было никаких, время тянулось медленно, как во сне. Картчасть, начальником которой я тогда был, располагалась в уютном, добротном срубленном бараке, у меня был свой крохотный кабинет, одну стену которого занимала печка с заслонкой, я подтапливал ее сам и сам же кипятил себе чайник, стоявший обычно на подоконнике, в маленькой лужице от наледи, медленно, капля за каплей оттаивавшей от тепла,— хватало на целый день, а за ночь она нарастала вновь. Окно мое всегда было плотно затянуто толстым слоем инея, и мне приходилось по нескольку раз в день дышать в одно и то же место, а потом долго скрести иней ногтем, чтобы сделать дырочку в стекле и иметь возможность хоть так, изредка, взглянуть на белый свет. Подчиненные не очень докучали мне, я вволю дымил в одиночестве трубкой — у меня тогда было около десятка хороших трубок, первую из них я еще, помню, выменял на что-то в тюрьме, она и сейчас лежит у меня в столе — и писал, писал до самозабвения, сохраняя полную уверенность в том, что, во-первых, я ни у кого ничего не ворую и никакого служебного времени не трачу зря, что, наоборот, жизнь мне гораздо больше должна, чем я ей, и, во-вторых, что моим сослуживцам никак невозможно догадаться, чем я в действительности занят здесь, за закрытыми дверьми. Последнее убеждение, однако, как показали недавние события, было ошибочным: они все прекрасно знали, только виду не показывали, опасаясь, вероятно, как-то испортить весьма неплохие отношения, которые у нас установились сами собой, без всяких видимых усилий как с их, так и с моей стороны.

Мы с женой и сыном снимали в тот год две комнаты в доме у одного одинокого старика, когда-то, в гражданскую, воевавшего в этих местах, а потом осевшего здесь же, как он говорил, «на тягло» и работавшего возчиком на лесоскладе. Старик был неглуп, только пил много и во хмелю тяжелел, мрачнел, а когда совсем уж перебирал, то становился слезлив и даже неприятен. Иногда я, для поддержания тишины и со-

гласия в доме, сам ставил ему бутылку спирта, он наваливал миску ядреной кочанной капусты, резал сало, хлеб, и мы вдвоем распивали эту бутылку до конца, беседуя о том о сем. Как я теперь понимаю, он тогда весьма добросовестно и по-своему талантливо учил меня жить, только вот материал ему попался, к сожалению, неподходящий: нередко он сердился на мою неподатливость, но был терпелив и дела своего не бросал, вновь и вновь возвращаясь в этих застольях к одному и тому же. «Что тебя все носит? Таскаешься, таскаешься — и все зря... — говорил он.— Бродяга ты... Нет в тебе ни солидности, ни должности настоящей... Погоны снимешь — садись здесь, портфель тебе дадут, здесь же и помрешь, когда срок придет... Земля крепка могилами, где погосты, там и жизнь... Понял? Нет, скажи — ты понял? То-то... Сибирь обживать надо... Я тебе дом свой продам, хочешь? Мне все равно скоро помирать...» Распорядившись так собой, он вздыхал, замолкал, голова его свешивалась, по щеке скатывалась слеза, и кончалось это все всегда какой-то тягучей, заунывной песней, каждый раз той же самой, другой я от него не слышал, после чего я обычно не выдерживал — уходил.

Зарабатывал я тогда много, в смысле снабжения в городке тоже было очень неплохо: мы проходили по какому-то особому списку, кроме того, у меня, естественно, был офицерский паек, да и жена тянула в школе не одну, а две ставки, преподавала в старших классах и географию, и историю одновременно, и не из жадности, конечно, а просто потому, что в тот год не смогли найти специалиста-историка и уговорили ее, все-таки как-никак — Московский университет: пришлось ей, что называется, на ходу осваивать целый курс. Молодец, она сумела откопать в этой дыре у какой-то древней старушки петербургских, видимо, происхождений, застрявшей здесь еще с прошлых времен, великолепную историческую библиотеку, включая Устрялова, Соловьева, Костомарова, Ключевского, — в конце концов мы купили эту библиотеку всю на корню, и она до сих пор со мной... Интересно, кому она достанется после меня? Сын? Сын очень хороший, очень неглупый человек, но он морской офицер, все время в плавании — на кой черт она ему? Да, честно говоря, и не для служивого человека такое чтение — расслабляет, а им этого нельзя... Вечера напролет жена запоем читала, переживала все это неожиданно свалившееся на нее богатство, втравила в это дело и меня — я тоже увлекся не на шутку. Даже сейчас, когда, закрыв глаза, я оглядываюсь назад, во мне с прежней силой оживают ощущения той зимы, и будто вновь все, как прежде, когда в полутьме по углам нашей комнаты, куда не доставал свет от настольной лампы, толпились, спорили, грозились нам оттуда кто перстом, а кто и кулаком вероломные Шуйские, спесивые Милославские, дикие, разбойные или, наоборот, утонченные донельзя Голицыны, когда тупой убийца Бирон, или хитрюга Остерман, или методичный бюрократ, великий технолог власти Бестужев-Рюмин были для нас с ней, по существу, реальнее, ближе, чем все другое вокруг, — морозная стьялая темь за окном, скрип полозьев по снегу, кряхтенье старого деревянного дома, сменившего на своем веку многих хозяев... Ближе, чем даже крики и смех собственного сына, заигравшегося с

мальчишками допоздна где-то там, на краю оврага, разделявшего нашу улицу пополам... Было, все было! И все, что есть, было, и все, что будет, тоже уже было... К этому выводу я пришел именно тогда, а было мне в ту зиму не так уж много — всего сорок один год.

Но главным, конечно, и для меня, и для нее была моя книга. Жили мы с ней довольно замкнуто, у нас бывали, и то очень не часто, всего два-три человека, сын с малых лет проявлял редкую самостоятельность и почти не требовал присмотра: сам готовил уроки, сам, не спрашивая нас, гонял где-то по полдня на лыжах, мы и не знали, где, сам разбирался в своих маленьких обидах и конфликтах, которых, объективно, даже в детстве у него было немного — товарищи любили его, в этом смысле ему, надо сказать, всегда везло... Про книгу мы говорили с ней утром, когда вставали, о книге же мы говорили и вечером, когда сын укладывался спать, а мы долго еще сидели за столом, у настольной лампы: что я еще написал сегодня, куда все поворачивает, как должен, а как не должен поступать тот или иной из тех, кого она уже знала не хуже, чем я. Жена болела за книгу, пожалуй, даже больше меня самого: я еще сомневался, я еще никак не мог решить для себя, графоман я или не графоман, — а вдруг это все чудовищная ошибка, ослепление, бывает же так с людьми, ведь недаром говорят «ошибка всей жизни», значит, может быть ошибка масштабом в целую человеческую жизнь, где гарантия, что именно это и не происходит со мной, разве могу я быть беспристрастен, разве я сам себе судья? — а она уже поверила и в меня, и в книгу окончательно и бесповоротно, оценила ее по самому высокому счету и потом до самой своей смерти никогда, ни на йоту от этой оценки уже не отступала. Должен сразу сказать: она была права.

О чем была книга? Это деликатный вопрос, и я надеюсь, что к концу рассказа читатель сам поймет, почему я не хочу ничего говорить ни о ее сюжете, ни о содержании. Скажу только, что, как и все книги такого рода, она была о людях, о жизни, в ней почти не было политики, но зато много было житейских наблюдений и размышлений, то есть того, что трогает и волнует каждого человека, и именно поэтому она имела такой успех, когда вышла в свет.

Повторяю, политики в ней почти не было, и не было даже не потому, что времена тогда были трудные, очень трудные, опасные были времена, а потому, что внутренне меня всегда интересовали не какие-то гигантские исторические смещения — я достаточно наглядился на них и знаю, что они не зависят ни от меня, ни от тех людей, которых я каждый день встречаю на работе, на улице, с которыми я бок о бок прожил всю свою жизнь, — а человек, если хотите, один человек: как он родился, как и чем он жил, как он умрет. Более того, до сих пор я сохраняю подозрение — нет, не подозрение, а скорее убеждение, — что все эти гигантские смещения есть только рябь на поверхности огромной толщи жизни, а сама жизнь на самом деле заключается не в них, а в чем-то другом, в том, что происходит каждый день со мной и с моим соседом, и даже не в этом, а в том, что происходит во мне, именно во мне и в миллионах таких же, как я, которым тоже надо каждое утро вставать на работу, пить, есть, растить детей, думать о близких, тянуть свой воз, пока есть силы, и в конце концов умирать.

В книге было всего одно место, где я позволил себе подняться, так сказать, на макроуровень, и это-то место и сыграло для меня роковую роль. Один из моих героев, старый инженер, выведенный из себя какой-то явной служебной бестолковщиной и понимая в то же время, что нет и не может быть никакого выхода из создавшегося тупика и единственное, что остается, это смириться с тем, что есть, в сердцах бросает своему собеседнику: «По натуре я, видимо, анархист. Я не люблю всякую власть: прошлую, нынешнюю, будущую — мне все равно. Но я не слепой, я же вижу, что без власти нельзя, без нее будет еще хуже, все развалится к чертям собачьим — только и всего. Как там у Пушкина? „Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный...“ Так вот, я его видел и, признаюсь, больше видеть не хочу. Вот потому-то я и служу верой-правдой этой власти и буду служить, пока не подохну или пока меня не поставят к стенке...» По-моему, достаточно лояльная и конструктивная позиция, не так ли? Особенно если смотреть сегодняшними глазами... Однако в то время рассуждали иначе: нечего и говорить, что, когда книга вышла в свет, это место в ней было опущено все без остатка, совсем.

Эх, какое же это все-таки великолепное было время для меня — та зима с сорок седьмого на сорок восьмой! Если я и жил когда-нибудь полной грудью, если я хотел когда-нибудь, чтобы время остановилось и не двигалось с места, — так это было именно тогда. Не нужно мне было ничего, никакого будущего, пусть только эти люди, голоса, эта жизнь, которой я населил толстую общую тетрадь, с утра до вечера лежавшую у меня перед глазами, останутся со мной. И не на время! Нет, не на время — навсегда. Я не только сознавал — я нутром, печенками, спинным хребтом, наконец, чувствовал, что я живу сейчас, именно сейчас, а не в прошлом или будущем, где мы обычно живем всю свою сознательную жизнь... Э, да что об этом говорить... Под конец я даже начал, кажется, понемногу сходить с ума: я стал заговариваться, путать реальных и выдуманных мной людей и временами терять всякое представление о том, где и с кем я нахожусь. В одну из таких минут жена, придя в ужас от моего почти уже бреда наяву, сказала: «Ну, все, хватит. Еще немного — и ты спятишь. Я не хочу жить с помешанным... Надо, наконец, выносить это все на люди...»

Почему я, дурак, не послал сразу рукопись в какую-нибудь редакцию? Зачем мне понадобилось проверять себя на ком-нибудь еще? Мало мне было жены? Видимо, мало. Видимо, иначе, несмотря на весь подъем, в котором я тогда жил, мне было бы не побороть глубокой, не поддающейся никакому контролю неуверенности в себе, так часто заставлявшей меня просыпаться по ночам в холодном поту... Конечно, то была дьявольская случайность. Впрочем... Как знать... Случайность, конечно, случайностью... И тем не менее с каждым случается именно то, что удивительно ему подходит, — мысль не моя, мысль Хаксли, но как же часто за свою теперь уже долгую жизнь я убеждался в том, что она верна...

В мае сорок седьмого я перенес острейший аппендицит, еще немного бы — и мне конец, перитонит был мне гарантирован. Спас меня хирург местной лагерьной больницы — вблизи городка тогда распола-

гался довольно крупный лагерь, интересно бы посмотреть, что сейчас осталось от него? — человек умелый, решительный, лет тридцати или чуть побольше, с голубыми ясными глазами, шапкой белокурых волос и открытым, охотно улыбающимся лицом. Естественно, я испытывал тогда чувство глубокой благодарности к нему, кроме того, мне всегда были интересны люди, так явно ни в чем не похожие на меня: он прекрасно пел песни под гитару, здорово, просто восхитительно здорово ел — моя жена очень любила готовить именно ему, он был, пожалуй, единственным, кто мог по достоинству оценить ее кулинарные способности, так никогда и не раскрывшиеся до конца, — мог усидеть бутылку спирта и остаться на ногах, только глаза его при этом наливались кровью, но речь оставалась связной и твердой, по слухам, переспал не только со всеми своими сестричками, но и со всеми моими чертежницами тоже, был охотник, спортсмен, кутила, приятель всему городу и, ко всему прочему, надо признать, был неглупый, думающий человек — каким-то образом среди всей этой кутерьмы он умудрялся еще и успевать читать книги, и, я знал, не только детективы. Единственное, что меня корбило в нем, — его неизлечимое, постоянное гыканье, но в конце концов я и к этому привык.

Вот ему-то, после долгих размышлений, я и решился первому показать то, что я сделал. Расчет был простой и, я бы сказал, в принципе довольно верный: вот так, головой, с размаху — бух в омут, выдержу — хорошо, не выдержу — туда мне и дорога. С другой стороны, если уж ему, человеку, несомненно, благожелательному и в то же время совершенно несхожему со мной в своих привычках и образе жизни, будет интересно, — значит, все в порядке, значит, лучше или хуже, но меня поймут и другие, ну, а уж дальше что — это, как говорится, моя забота. Помню, он сразу очень серьезно отнесся к моей просьбе, не удивился ничему, только поморщился немного, увидев, что все это пока от руки, — для меня же перепись на машинке была в тот момент слишком уж значительным шагом, требовавшим дополнительных усилий над собой, да и не хотелось печатать здесь, в городке, где меня тоже все знали, — сунул рукопись под мышку и пообещал вернуть ее никак не позже, чем через неделю. Доктор был человек слова: через неделю, день в день, он был у меня.

Этот вечер, как сейчас, стоит у меня перед глазами: ничего более значительного — я имею в виду событийную сторону жизни — со мной не случилось ни до него, ни после него. Помню, как был накрыт стол, помню, где сидел доктор, где я, где жена, помню, как мы смеялись, болтали о всяких пустяках, откладывая, по молчаливому обоюдному согласию, разговор о важном на потом, когда мы останемся вдвоем, — жена с самого начала заявила, что они с сыном попозже бросят нас ради какого-то трофейного боевика, о котором уже неделю только и разговоров было в городке, — помню даже, что я чуть ли не с момента его прихода уловил в нем что-то необычное, мне показалось, какую-то растерянность, нерешительность, что ли, но после первого же стакана эта нерешительность исчезла, и он опять стал самим собой — четким, собранным, уверенным в жизни и в себе. Когда жена, пожелав нам хорошо провести остаток вечера и не очень все же на-

легать на спирт,— была пятница, завтра предстоял обычный рабочий день,— закрыла наконец за собой дверь, он выложил из кармана вчетверо сложенный лист бумаги, положил его перед собой и, твердо, ясно глядя мне в глаза, сказал:

— Георгий Михалыч, ты меня знаешь, я не люблю петлять вокруг да около. По мне лучше нож, лучше сразу проткнуть нарыв, чем мучиться со всякими припарками, от которых все равно никакого толку... Один раз у тебе спас жизнь? Надеюсь, ты не станешь такое отрицать?.. Только получается, что на этом не кончилось... Приходится, вижу, и в другой раз тебя спасать... На, прочти. Это копия. Предупреждаю, что оригинал уже запечатан в конверт и лежит у меня в сейфе...

Ничего не понимая, я развернул протянутый мне лист. В углу было напечатано: «Районному уполномоченному...» Ниже шел текст: «Считаю своим гражданским долгом довести до Вашего сведения, что в нашем районе мною обнаружены факты вражеской контрреволюционной пропаганды...» Дальше шла моя фамилия и прочие данные обо мне, сообщалось, что рукопись у меня изъята, что в настоящее время она находится у нижеподписавшегося и может быть представлена, куда следует, в любой момент, а в качестве примера ее вредительской направленности цитировалось то самое место, которое я уже приводил здесь, включая и слова Пушкина. Внизу стояла полная подпись автора докладной.

— Прочел? Чувствуешь, чем пахнет? — расставив локти и навалившись грудью на стол, продолжал он нарочито прямо, не отрываясь, смотреть мне в глаза.— Я тебе скажу... Не столько тебя... Мальчишку твоего и жену твою жалко — им-то за что страдать?.. Ну, так вот... Мои условия следующие: рукописи этой нет и никогда не было, место ей в печке, куда я сам ее и засуну в ближайшие же дни, а конверт этот я на всякий случай еще подержу — черт тебя знает, что ты еще выкинешь... Когда отлежишься, придешь в себя, поймешь, что я прав,— как говорится, милости прошу к нашему шалашу, я с тобой ссориться не намерен... Тем более из-за такой чепухи...

Комната, он, окно — все закачалось, поплыло у меня перед глазами: сказал я что-нибудь или нет — не помню, и не помню, как я очутился у портупей, висевшей на стене... Помню только, что кобура никак не поддавалась, не расстегивалась, пальцы мои дрожали — в ту же секунду чудовищной силы удар чуть не перешиб мне руку у запястья...

— Не балуй, дурень. С пистолетом, сам знаешь, шутки плохи...— миролюбиво, даже добродушно проворчал он, оттаскивая меня от стены к дивану: он был на целую голову выше и намного крупнее меня. Потом он расстегнул кобуру, вытащил из пистолета обойму и положил ее себе в карман. Уже одевшись, в дверях, он еще раз повернулся ко мне:

— Будь здоров... И поберегись: с ума сойдешь — на меня не рассчитывай, это не по моей части... Предупреждаю: конверт я сегодня же сдам на хранение своему фельдшеру. Так что, если опять за пистолет схватишься, учти...

Потом... Что было потом? Помню белое, без кровинки лицо жены, сидящей на диване, ее руки, зажатые в коленях, губы, почти беззвучно повторявшие одно и то же: «как же так... как же так... так же не может

быть...», помню тиканье ходиков в простенке у двери... Помню острый, захватывающий дух холод улицы, по которой я бежал, темноту, сугробы, тоненький серп луны над головой, помню дерматиновую обивку на двери барака, где жил доктор, торчащую из нее паклю, ожог на пальцах — я схватился за дверную ручку голой рукой, клубы кислого пара из коммунальной кухни в конце коридора, фигуру доктора в дверях его комнаты, его быстрый взгляд по сторонам — не видят ли соседи... Помню, что я что-то лепетал, просил его, умолял, клялся, в конце концов повалился ему в ноги — помню колени в галифе, за которые я хватался, помню его домашние тапочки без задников... Все было тщетно. Через неделю мы с женой узнали, что он взял отпуск и уехал в Россию. Из отпуска он не вернулся, и больше я его никогда не видел.

Нельзя сказать, чтобы я так сразу и сдался: нет, по-своему я боролся до конца, мне не в чем себя упрекнуть, я сделал все, что мог... Мне стоило огромного труда восстановить рукопись заново, — легко себе представить состояние, в котором я тогда находился, — но я это сделал и после перепечатки сразу же послал ее в один из сибирских журналов. Спустя несколько месяцев мне пришел отказ, а в какой-нибудь другой журнал я ее послать уже просто не успел: весной следующего года моя книга вышла в свет под фамилией доктора, под которой она и живет в литературе до сих пор. Успех она имела большой. Многие еще и сейчас помнят ее, и даже новое поколение, как я имел уже случай не раз убедиться, читает ее и читает, надо сказать, не без интереса.

Что я еще мог сделать? Пойти на крест? Ради идеи, ради главного, так сказать, дела своей жизни? Нет, это был не выход. Рукопись это не только бы не спасло, а, наоборот, скорее всего окончательно бы погубило — сгрызли бы ее в конце концов мыши в подвале какого-нибудь архива, ну, а что мне самому в таком случае, по всей вероятности, не жить — об этом, по-моему, и говорить не надо. И, думаю, даже не это остановило меня тогда. Я боюсь боли, боюсь мучений — а кто их не боится? Но умереть с достоинством я, наверное, могу. Было два-три случая в моей жизни, во время экспедиций, когда мне приходилось смотреть смерти в глаза, — ничего, выдержал: помню, тело как-то сразу подбиралось, голова пустела, весь я вытягивался в нечто прямое, устремленное в одну точку — ну, что ж, прямо — так прямо, в лоб, вот она, косяя, вот и все, хватит, конец — значит, конец... Страшно было не только и не столько это, страшно было другое — жена и сын.

Сейчас, оглядываясь назад, я иногда думаю: странно как-то, непохоже на других сложилась наша с ней жизнь... Ведь я, можно сказать, не любил ее вначале, жалеть — жалел, а любить — нет, начинали мы с ней не с этого, само слово это было в нашем с ней случае не очень-то уместно, по крайней мере с моей стороны, и мы оба понимали, что это так. Да и встретились мы с ней, и поженились как-то не по-людски, не так, как все: тридцать пятый год, узловая станция в степи, в Казахстане, осень, дождь, подтеки на окнах, сарай — не сарай, барак — не барак, какая-то развалюха, только и название, что вокзал, телеграфист стучит за перегородкой, тусклая лампочка, мешки, сапоги, дым, матеремат, уголовники в углу куражатся — выпустили после очередной амнистии, цыганки с детьми, толстые бабы на лавках, пьяные мужи-

ки — и она, тоненькая, хрупкая, сжалась, спряталась, таращит глазенки: убьют — не убьют, а все равно страшно, и до места назначения еще ехать и ехать, а что там будет, одному богу известно, глушь, степь, тоска... На другой день она стала моей женой... Спряталась за меня? Или действительно полюбила? Не знаю... Во всяком случае, не каждая бы выдержала потом ту жизнь, которую ей пришлось со мной вести. Как сезон, так полгода, а то и больше меня нет, черт меня знает, где я там шляюсь, с кем живу, что делаю — я не святой, она это прекрасно понимала. Но никогда она не требовала от меня никаких клятв и обещаний, да и сама, надо сказать, не связывала себя ничем... Впрочем, по-моему, ей это и не нужно было... Не знаю, так до самого конца я ни разу и не спросил у нее, была ли она мне верна, нет ли... Да какая, в сущности говоря, разница? Разве это важно? И разве в этом жизнь?

К старости у многих людей — и я в этом смысле не исключение — особенно сильно начинает болеть совесть. Старость, помимо всего прочего, в том и состоит, что твои проступки, давно уже пережитые и, казалось бы, успешно забытые навсегда, вдруг оживают ни с того ни с сего с новой силой, преследуют, мучают по ночам, и ладно бы только по ночам — в конце концов есть же снотворное, — нет, иной раз и прямо, что называется, на свету, посреди бела дня: сидишь, смотришь в окно или тихо-мирно читаешь газету, все спокойно, все хорошо, и вдруг как кольнет, как вонзится что-то в самое сердце — дыхание сразу останавливается, на лбу проступает пот, хочется куда-то бежать, где-то спрятаться с головой от самого себя, отбиться, отмахнуться от этого наваждения... Но как отмахнуться? Нет никакой возможности от этого отмахнуться, и лекарства никакого тоже нет, никакой водкой то, что было, не залешь, а молиться... Кому молиться? Кого молить о прощении? Вот в чем весь ужас-то: некому молиться, некого просить о прощении, кроме как самого себя... Я не хочу этим сказать, что я совершил в жизни что-либо особенно уж тяжкое: нет, слава богу, я никого не предал, ни на кого не донес, никого не пхнул ногой, не оттолкнул локтем, к деньгам и власти всегда был, в сущности, равнодушен... И, конечно, не о яблоках речь: если бы еще и такая дребедень всерьез ложилась камнем на человеческую душу — кому ж тогда и жить на Земле?.. Но многое, очень многое мне все-таки хотелось бы исправить в своей жизни, и если уж не исправить, то хотя бы забыть совсем.

Два воспоминания почему-то особенно часто мучают меня. Одно — девушка, тоже топограф, любившая меня в ту памятную алтайскую экспедицию, за год перед войной. Два аборта за один полевой сезон... Милое, преданное существо, не надеявшееся ни на что серьезное — у меня уже был сын, — ее глаза и сейчас стоят перед мной, и мне все кажется, что, когда она прижималась ко мне, когда гладила, ерошила мои волосы, заглядывая мне куда-то даже не в зрачки, а куда-то в самую мою душу, она все хотела, но так и не решилась никогда сказать, попросить меня — пощади... А я... Что я? Какой здоровый тридцатилетний мужик думает о чем в ослеплении страсти? Но в отместку за все я и сегодня никак не могу отогнать от себя одну и ту же картину: осенний березняк, лошадка идет шагом, я иду рядом с телегой, на те-

леге сено, тулуп, из-под тулупа выглядывает бледное, почти детское лицо, и глаза ее смотрят куда-то мимо меня в небо... Но иногда она поворачивает голову и улыбается мне слабой, вымученной улыбкой: мне опять удалось уговорить врача местной маленькой больницы помочь нам, и я везу ее после операции домой, в ту деревушку, где мы с ней тогда жили... Что она, как она? Как сложилась потом ее жизнь? И как она помнит обо мне? Ничего не знаю...

Другое воспоминание тоже связано с больницей. Умирает мой отец, умирает медленно, долго, мучительно, уже третий месяц, желтый обтянутый лоб, провалившийся рот, глаза, затуманенные болью, но когда боль отступает, прежний острый, как бритва, ум опять светится в них, а взгляд печальный, каждый раз прощающийся со мной, и взгляд этот, как и прежде, видит меня — здорового, сытого, полного каких-то планов, торопящегося жить — насквозь, а мне нечего ему сказать, никаких слов для него сейчас я не знаю, мне тяжело, я мучаюсь, мне неудобно, надоело сидеть на колченогой больничной табуретке, и отвратительная малодушная мысль опять начинает расти, подниматься во мне: скорее бы ты умер, отец, чего ж тянуть, и для тебя было бы лучше, и для других. И от этого мне так тошно, так хочется вскочить и убежать отсюда, что я окончательно замолкаю и так сижу, только глажу его ссохшуюся руку, перебираю пальцы, а он вдруг отвечает мне слабым, еле уловимым пожатием — мол, понимаю, все понимаю, брат...

Почему именно это, а не другое? Почему, например, я до сих пор не чувствую никакой вины перед женой, хотя умом и сознаю, что я доставил ей немало горьких минут, особенно в начале нашей с ней жизни? Не знаю почему... Не знаю. Положа руку на сердце — не знаю... Может быть, потому, что те далекие первые годы успели потускнеть, расплыться в нечто полуреальное, а возможно, и вообще не бывшее никогда еще задолго до того, как мы попрощались с ней в последний раз в углу Даниловского кладбища... «Прошло и не было — равны между собою...» А может быть, и потому, что эти горькие минуты на самом-то деле ничего или почти ничего не значили ни для нее, ни для меня, потому что их действительная величина была ничтожной по сравнению с тем огромным, враждебным, что давило нас с ней со всех сторон — то, что люди называют словом «жизнь», — и что мы выдержали с ней, вероятно, только потому, что были всегда не поодиночке, а вместе... Любил, не любил — какая же это все, в сущности, ерунда... Мы ведь прожили с ней не месяц, не год — всю жизнь... Прожили, протерпели, и не было у меня ничего дороже ее, не было ни тогда, когда я еще колобродил, ни потом, и уж тем более ни сейчас, когда вокруг меня лишь четыре стены и даже кот мой — и тот однажды ушел и не пришел, а нового заводить, признаюсь, уже нет больше ни желания, ни сил... Сын? Я уже двадцать лет как не нужен ему, и обижаться на это нечего — жизнь есть жизнь, он не лучше и не хуже других... Книга? А что книга? Сколько этого барахла скопилось на полках у людей, одной больше, одной меньше — какая разница, все равно все они об одном... Вот так: жил, ценил, дорожил, а может быть, иногда и не ценил, забывал ценить, ведь жена всегда была под рукой, рядом,

даже, небось, и вовсе не замечал иной раз, есть ли она вообще, нет ли ее, сколько было всякой ненужной изо дня в день суеты — разве теперь расскажешь... А вот ушла — и все, пустота, и оказалось, что другого-то, в сущности, нет и не было ничего, что бы привязывало меня к жизни...

Конечно, теперь для полноты картины мне следовало бы рассказать о том, как я жил все последующие годы — ни много ни мало, тридцать лет, — что я думал, что делал, каких людей встречал, как я относился к ним и как они ко мне... Но делать я этого все-таки не буду. И не только потому, что это утомительно — вновь ворошить свою уже практически прожитую жизнь, силы ушли, я теперь нередко засыпаю просто так, сидя за столом, но и потому, что, убежден, вряд ли это будет представлять интерес для кого-нибудь еще, кроме меня. Что обычно интересно в любом рассказе? Или событие, или мысль. Событий в моей жизни с тех пор, если не говорить о смерти жены, по существу, не было никаких, а что касается мыслей — мысли уже давно вложены в ту единственную мою книгу и, хорошо ли, плохо ли, уже давно живут своей жизнью... Да и вообще, если бы не эта история, которая побудила меня вновь взяться за перо... Нет, вру: конечно, я не раз с тех пор брался за перо, извел, надо сказать, пропасть бумаги, но каждый раз с грустью обнаруживал, что писать-то мне, по сути дела, больше не о чем, все так или иначе — лишь перепев того, что уже было в той книге. Писать же ради куска хлеба, слава богу, мне никогда не нужно было, теодолит и геодезия вплоть до пенсии неплохо кормили меня, да и того, что я имею сейчас, мне одному — хотя и очень скромно, конечно, — но в общем-то вполне хватает. Могу даже позволить себе роскошь — послать внукам в Североморск по случаю праздника какую-нибудь ерунду...

В прошлый понедельник, под вечер, я сидел у себя в кресле: то ли дремал, то ли читал — не помню. Скорее всего дремал, в последние год-два я уже не столько читаю, сколько дремлю над книгой. Я живу на самом верхнем этаже, и у меня тихо. Пожалуй, даже слишком тихо. Но зато очень удобно с богом разговаривать — до неба рукой подать... Вдруг раздался телефонный звонок, я вздрогнул — я уже давно вздрагиваю, когда звонит телефон, он теперь нередко молчит по неделям, что поделаешь — некому звонить. Это не жалоба, нет, а просто необходимая, как мне кажется, ссылка на ту обстановку, в которой я теперь живу.

— Георгий Михайлович? Здравствуйте. С вами говорят из группыкома союза литераторов... У нас тут возник один вопрос, мы чувствуем, что без консультации с вами нам его не решить... Не могли бы вы принять нашего сотрудника? На часок, не больше... Когда? А когда вам удобно?.. Хоть сегодня? Очень хорошо. Давайте сегодня — нас это тоже устраивает... Значит, договорились: наш товарищ подъедет к вам сегодня часов около семи. Время вам подходит?.. Вы, если не ошибаюсь... Так, пишу: Тверской бульвар, Малая Бронная, дом номер...

Ровно в семь в дверь позвонили. Гость оказался помятым, потертым человеком с большой лысиной и остатками волос, уложенных поперек черепа, с животом, в руках у него был портфель, в кармане сло-

женная газета, костюм серый, дешевенький — вид служивый и не скажу, чтобы очень симпатичный. Я проводил его в большую комнату, пододвинул ему стул: он уселся, водрузил портфель к себе на колени, вытащил из него пачку каких-то бумаг, скрепленных канцелярской скрепкой, потом поставил портфель рядом с собой на пол, вплотную к ножке стула...

— Итак, чем могу служить?

— Георгий Михайлович, дело довольно тонкое, и без вашей помощи нам, по-видимому, не обойтись... Дело вот в чем... Мы знаем, что автором одного достаточно известного романа являетесь вы, а не писатель Н... Скажу вам даже больше: мы знаем об этом, если не ошибаюсь, уже лет двадцать пять — не меньше...

— Так... Вон оно, значит, что... Откуда?

— Сейчас скажу... Мир не без добрых людей, Георгий Михайлович... Спустя несколько лет после выхода романа в свет мы получили сигнал из известного вам журнала, что автором книги, о которой идет речь, на самом деле являетесь вы, а не он. Письмо было подписано, и в нем были указаны некоторые ваши основные данные... Поэтому-то, кстати, мы и не потеряли вас из вида... Потом был сигнал, правда анонимный, от ваших бывших сотрудников по картчасти. Мы, конечно, проверили и его... Потом ваша покойная жена за несколько лет до своей кончины рассказала всю эту историю одной своей приятельнице. Это тоже стало нам известно... Так что, как видите, свидетельств хватает, — и он похлопал ладонью по пачке бумаг, лежавшей перед ним. — Но все они, к сожалению, носят... как бы сказать... косвенный характер. Нам теперь нужно одно: ваше собственное заявление с подробным изложением обстоятельств всего дела.

— Интересно... Интересно... Позвольте тогда вопрос: а раньше-то где вы были? Сами же говорите: столько лет...

— Вопрос, конечно, законный... Хотя, прямо скажем, не такому умному человеку, как вы, казалось бы, его задавать... Что вам сказать, Георгий Михайлович? Люди есть люди, жизнь есть жизнь... Времена были непростые, а книга была нужная, хорошая была книга, таких тогда не много выходило. Бросить тень на нее — кто бы решился тогда на это? Нас бы не поняли, Георгий Михайлович, уж кому-кому, а вам это и без разъяснений должно быть ясно. Недаром вы сами не давали о себе знать все эти годы... Да и мнимый автор ее тогда был в большом фаворе, человек он, сами знаете, энергичный, хваткий, такого голыми руками не возьмешь...

— А сейчас?

— Сейчас? Сейчас другое дело. И времена другие, и он уже не тот — постарел, обмяк... Много пьет... Ведь он так больше ничего и не написал с тех пор...

— И что же... Если я напишу заявление... Справедливость, так я вас понимаю, будет восстановлена?

— Непременно, Георгий Михайлович! Непременно будет восстановлена... Надеюсь, вы понимаете, что без предварительных консультаций там, где надо, я бы к вам не пришел. Дело теперь за вами...

— А если я не напишу такого заявления? Тогда что?

— Как то есть не напишете? Я вас что-то не понимаю... Почему же не напишете? Вам что, безразлично, чье имя будет на книге — ваше или этого проходимца? Не говоря уже о деньгах...

— Не знаю... Для меня это все как снег на голову... Дайте мне опомниться... Подумать... Я, наверное, позвоню вам на днях...

— Обязательно позвоните. Я буду ждать... Очень ждать вашего звонка. Запишите мой телефон... И мой вам совет: не откладывайте в долгий ящик. Конечно, над нами с вами не каплет, но ведь все, как говорится, под богом ходим. Мало ли что...

После его ухода я, конечно же, провел бессонную ночь: нашлась где-то в ящике стола пачка сигарет, дымил, пил воду, ходил из угла в угол... Собственно говоря, когда он еще сидел за столом, я уже знал, как я поступлю. Но ведь надо же было обосновать свое решение, убедить самого себя, что это не причуда, не блажь выжившего из ума старика, а естественный, так сказать, итог половины, да что я говорю половины, — по сути дела, всей моей жизни... Месть? Отомстить наконец негодяю, хотя бы под занавес, на краю могилы? А зачем? И он, и я уже прожили жизнь, ненависть давно потухла, я уже давно привык к тому, что все сложилось именно так, а не иначе... Да и вряд ли доктор так уж был счастлив все эти годы: тридцать лет знать, что ты ничтожество, что ты живешь на ворованное, каждый день лгать, изворачиваться, щеки надувать, напускать на себя значительный вид — нет, не хотел бы быть на его месте! По ночам-то, небось, суй не суй голову под подушку, а от себя никуда не денешься, разве что бутылкой себя оглоушишь, свалишься сном, но ведь это же не день, не два — всю жизнь... Люди? История? Мое имя? Господи, это-то совсем уж чепуха... Кому какое, по правде говоря, дело, кто написал эту книгу — я или он? Как меня в действительности звали, как я жил?.. Какая, скажите, разница — Шекспир или Френсис Бэкон? Нет, на самом деле — какая разница? Да никакой. Никакой разницы. Разве что для десятка-другого профессионалов, которые кормятся либо от того, либо от другого из этих имен... Для меня же лично... Для меня? Что для меня? Моя песенка, как ни крутись, спета — восьмой десяток, тут уж, как говорится, не до иллюзий. Сколько мне еще осталось? Ну, год, ну, два от силы — больше, вероятно, я не протяну: сердце уже никуда не годится, и все чаще по утрам охватывает такая слабость, что прямо хоть сейчас ложись и помирай. Нет никакой возможности выбраться из-под одеяла и доползти хотя бы до ванной, лежу, глядя в потолок, до полудня, а то и дольше, надо бы встать, да сил никаких на это нет... Не могу же я в самом деле верить, что там, куда я скоро уйду, сохранится хоть какая-то связь между тем, что останется от меня — если от меня вообще что-либо останется, — и тем, что будет здесь после меня, включая и такую, в сущности, безделицу, как вопрос о том, кто же в действительности был автором одной из многих десятков тысяч книг. Всего поколение-два, и о ней, по всей вероятности, уже и помнить-то никто не будет. Грустно, но что поделаешь: сидеть на краю облачка и поглядывать, как там внизу, на земле, идут без меня дела, — нет, на что другое, а на это надежды нет никакой. Все эти миллионы галактик, миллиарды световых лет и всякие там шестые

измерения к лучшему, ли, к худшему, но уже лишили человека надежды на такой элегический исход... И еще одно для меня, может быть, самое важное соображение... Унизительно все это... Такое ощущение, что, подай я это заявление — я тем самым тоже распишусь в собственном ничтожестве... В том, что сама по себе, без этой книги, моя личность была недостаточна для того, чтобы жить на земле... Выходит, что только книга оправдывает мою жизнь, мое существование среди себе подобных, мое право на то, чтобы дышать и думать? Что без нее я — так просто, дерьмо, и больше ничего? Ну, а если бы я ее вообще не написал — что тогда? Я ведь прожил семьдесят с лишним лет — и что же, это все был навоз истории, мусор на гигантской человеческой стройке, какой-то обломок битого кирпича, которого и вообще-то могло и не быть? Может быть, так оно и есть на самом деле, более того, скорее всего именно так оно и есть, но я-то с этим согласиться не могу! Даже перевалив на восьмой десяток и зная подлинную, прямо скажем, плевою цену отдельной человеческой жизни, — все равно не могу. Гордыня? Гордыня — не, гордыня, называйте как хотите, мне уже стесняться нечего. Ясно, что это последний раз, когда я говорю в полный голос, скоро, надо думать, намолчусь всласть... В тишине и вечном-то покое... Кстати, в этой связи уместен будет и вопрос: зачем я написал этот рассказ? Зачем? А затем, что я писатель. Я писатель, и наконец-то у меня вновь появилось что сказать, не мучаясь страхом за перепевы одного и того же. И не ловите меня на вранье самому себе: учитывая нашу обычную издательскую канитель, я абсолютно уверен, что если это и будет когда-нибудь напечатано, то только после моей смерти.

Через день или два я позвонил человеку, приходившему ко мне. Не буду скрывать, он был очень удивлен, более того, возмущен моим отказом, долго убеждал меня, напирал на совесть, на чувство долга, но я остался тверд. Разговор был тягостным, и мы так и расстались, не поняв друг друга...

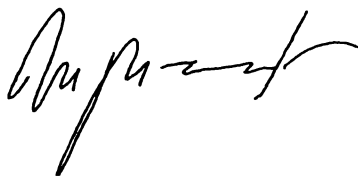
Мне вспоминается, как года три назад я сидел в доме отдыха за столом с одним глубоким стариком. Ему было уже за восемьдесят, он был сух, строг, прям, и я невольно ежилась под его каким-то странным, немигающим взглядом, который смотрел все время сквозь меня и позади меня, — как потом выяснилось, это были последствия операции по поводу катаракты. Естественно, мы разговорились, стали вспоминать прошлое, у него тоже была нелегкая жизнь — тоже сидел, но, в отличие от меня, не месяцы, а годы — жена его так и умерла, не дождавшись его возвращения, детей не было, теперь он ждал очереди в дом престарелых, ни родных, ни даже более или менее близких знакомых вокруг него уже не осталось — он пережил всех. Поговорили, конечно, и о болезнях — какая-то, уже не помню, хворь мучила его тогда — я, разумеется, сказал что-то такое очень бодренькое, что-то насчет того, что это все, дескать, пустяки, от этого не умирают, выглядит он еще молодцом, еще рано, еще только, мол, жить да жить... Он вдруг замолчал, потом поднял на меня свой немигающий взгляд и сказал — медленно, серьезно, обращаясь, как мне показалось, даже не ко мне, а к самому себе: «Нет... не нужно. Надоело... Пора...»

Помню, я тогда пожал в недоумении плечами — не поверил: как это так надоело? Врет, наверное, старик... Не много же мне понадобится, чтобы убедиться, что старик не врал, а говорил святую истинную правду! Всего три года... Да нет, даже меньше, ведь и со мной это началось, конечно, тоже не вчера... Надоело, скорей бы — с меня хватит, я тоже устал ждать. Больше мне неинтересно... Я не могу это объяснить, я прошу просто поверить мне... Разве что только воробьи на подоконнике еще иногда развлекают меня или тополь, который вырос на моих глазах до самого верхнего этажа, вровень с моим окном. Но и с ними, я чувствую, я расстанусь без всяких сожалений... Мне хотелось бы закончить одной мыслью, и, прошу вас, не отмахивайтесь так просто от нее: как ни странно, во всем этом тоже есть надежда. Какая-никакая — и все-таки надежда.

Последнее время меня нередко спрашивают: кто я — писатель или экономист? Положа руку на сердце, не знаю, и не только другим, но и сам себе не могу ответить на этот вопрос. Бесспорно одно: почти тридцать лет сидел на двух стульях и, что хуже всего,— продолжаю сидеть.

Но, оглядываясь, понимаю: если бы была во дни моей молодости возможность не только писать, но и печатать свою прозу, не покрывив при этом душой,— наверное, я бросил бы экономику и писал бы лишь «про любовь». Но ведь был и всегда есть еще вопрос о хлебе насущном... Да и экономика, если влезть в нее основательно, не такая уж скучная материя. Вот так и прожил, что называется враскорячку, до пятидесяти с лишним лет.

Начиная с 1987 года прозу мою начали, наконец, печатать. Наверное, самое бы время и переключиться только на нее. Но ведь оброс же за эти долгие годы людьми, обязательствами, связями, накопил какие-то идеи, которые хотелось бы воплотить в жизнь... Найду ли в себе силы оборвать все это? Не знаю. Может быть, найду, а может быть, и нет.



М. КУРАЕВ

Капитан Дикштейн

*Фантастическое повествование
о мятежном кондукторе*

*С «Севастополя» стреляют,
Недолет да перелет!..
А курсантики ныряют
Все под лед, да все под лед.
Частушка. 1921*

Зато какая глушь и какой закоулок!
Н. В. Гоголь. «Мертвые души», т. II

Двадцать седьмого января 196... года в городе Гатчине, в доме на углу улиц Чкалова и Социалистической, на втором этаже, в квартире восемь, в угловой комнате, уже заполненной сероватой утренней дымкой, Игоря Ивановича Дикштейна покидал сон.

Он еще не проснулся, но предметы и фигуры, заполнявшие зыбкое марево сна, стали обретать вес, оседая куда-то, где уже ничего нельзя было ни рассмотреть, ни приблизить... Утро вдвигалось в сон безусловной своей конкретностью.

Еще не открывая глаз, Игорь Иванович понял, что просыпается. И первая мысль была о том, как бы не начать о чем-нибудь думать, иначе — проснешься... Сон притягивал Игоря Ивановича своим особым, легким мироустройством...

Сам Игорь Иванович навряд ли смог бы сколько-нибудь внятно объяснить эту притягательную силу сна, где жизнь была не менее причудливой, чем та, что досталась ему наяву, но все роковые сплетения людей и событий, в отличие от житейских, имели только счастливый конец — пробуждение. Он не смог бы объяснить это не по скрытности характера или косноязычию, а скорее от непривычки, свойственной, быть может, и нам с вами, задаваться вопросом «за что?», когда тебе удача, когда тебе везет и счастье так и валит в руки. Бездна вопросов возникает как раз в ситуациях прямо противоположных. Но Игорь Иванович, в отличие от большинства, и под ударами судьбы никогда не бросал неизвестно кому адресованный истерты́й вопрос: «За что?!» Он как раз знал, за что.

Надо лишь полагать, что в снах совершенно неосознанно Игоря Ивановича привлекала тайная власть над этим непредсказуемым миром, таившаяся в самом дальнем, в самом крохотном закутке недремлющего сознания; и власть эта превращала падение в полет, ужас от приснившейся казни разрешался при пробуждении счастливейшим чувством если не бессмертия, то уж воскрешения, даже любовь всегда

была не мучительной, легкой, а стыд, боль, горе — все было подчинено милосердной воле недремлющего ангела-хранителя, сберегающего у последней черты.

Вот и сейчас он стоял у самого края обрыва и старался податься вперед, принимая самым дальним закутком сознания, что ничего страшного и непоправимого все равно не случится. Он хотел разглядеть, увидеть дно, но мешали тонкие и живые, поднимавшиеся из непроглядной глубины то ли голые веточки, то ли корешки. Ноги еще казались тверды, но кто-то тянул его вниз все сильней и сильней, он чувствовал, как зависает над бездной. Страх все-таки сдавил дыхание. Вдруг в груди стало просторно и холодно, пропасть, открывшаяся под ним, прошла сквозь него, пронзила, екнуло сердце, но пустота обрела плотность, знакомый, как старая уловка, вдох сделал его невесомым, и он уже парил над пропастью и медленно падал, обмирая от ожидания.

Падая, пронзенный этим тягучим падением, он не думал о том, что у пропасти есть дно, а старался разглядеть большую птицу, которая падала рядом с ним, заваливаясь головой вниз, потом падала боком, поворачиваясь самым неожиданным образом, и от этого Игорь Иванович не мог ее разглядеть, рассмотреть, узнать, хотя ему все время казалось, что птицу эту он знает. И не возникало вопроса, почему птица не расправит крылья и почему эти крылья не держат ее, хотя нет-нет да и разворачиваются широким шуршащим пологом, но тут же подламываются, заставляя птицу так странно переворачиваться...

...Сосна была неподвижна, она стояла на краю обрыва, даже не обрыва, а просто на краю пруда, и пруд этот был знаком.

Игорь Иванович не заметил, как веко на правом глазу само собой чуть приоткрылось и он сквозь дымку ресниц стал вглядываться в картину, висевшую в ногах за кроватью. Как только Игорь Иванович догадался об этом, он тотчас зажмурился, и от этого энергичного движения ушел сон.

Он затаился, чтобы ускользнуть туда, к птице, вернуть все как было, но бездна тихо оседала в его груди, и даже закрытые глаза не могли сдержать день, он входил в тело Игоря Ивановича со всех сторон.

Ну что ж, пусть будет как будет.

Ему не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть и ощутить светлую утреннюю тишину в остывшей за ночь комнате, увидеть фанерованный двухэтажный буфет классической довоенной постройки, с зеркалом в среднем углублении наподобие прямоугольного грота, где стояла чашка из дворцового павловского сервиза с императорским вензелем и гипсовый раскрашенный матрос с гармошкой, шкаф, стол, шесть разномастных стульев, в том числе два крепких венских, плетенный из цветного лоскута половик, перегоревший двухдиапазонный приемник «Москвич» на почетном месте у окна, цвет в прямоугольной кадучке рядом с приемником, прикрывающий своими широкими полированными листьями Николу Морского в углу.

Все замерло и затихло, как парад за мгновение до сигнала «Слушайте все»...

На кухне тихо — значит, Настя чистит картошку или ушла за керосином.

Игорь Иванович, не открывая глаз, погрузился в созерцание буфета.

Это была вещь. Настоящая вещь. Досталась она от старшей дочери, от Валентины, собиравшейся этот буфет чуть ли не выкинуть, в то время как тридцать рублей, ну, на худой конец, двадцать пять за такую вещь можно было получить смело. Постоять подольше, на выдержку, и свободно можно было взять тридцатку. Много? Ну, хорошо. С моей доставкой! А хоть и в Колпаны! Возьму у Павла тележку и отвезу за милую душу. Да он же как пух! И на тачке — милое дело... Вот так! Хочешь — три красных и забирай. Кусается? Не по карману? Ах, нравится?! С зеркалом... то-то и оно.

Игорь Иванович уже спал и продавал буфет на морозном базаре.

Для тех, кто не знал Игоря Ивановича лично, для тех, кто и по сегодняшней день слыхом о нем не слыхивал, вот эти грезы о тридцати рублях за этакую дрянь с двумя потерянными ножками, с темными разводами на фанерованных боках, оставшимися от давних попыток посредством марганцовки придать буфету вид изделия из красного дерева, не говоря уже о треснувшей задней стенке, впрочем, бог с ней, с задней стенкой, если ее все равно не видно, — так вот, эти алчные мечты могут рекомендовать Игоря Ивановича действительно как героя фантастического, но лишь в самом привычном и невыгодном для него смысле.

Как же далеки эти торопливые предположения от действительного, именно действительного Игоря Ивановича!

Чтобы не запутать читателя, уделившего нам с Игорем Ивановичем частицу своей, увы, тоже не бесконечной жизни, надо сказать, что Игорем Ивановичем в данную минуту является вот этот житель города Гатчины, облысевший еще в 35 лет (как и английский король Генрих III, о чем Игорь Иванович даже не подозревал), распластавшийся в свободной позиции под красным ватным одеялом в белом пододеяльнике конвертом на полотораспальной металлической кровати, построенной в самом начале века на известной в Петербурге кроватной фабрике, перешедшей впоследствии на выпуск аэропланов. Вот он, натуральный, известный едва ли не всей улице Чкалова, ничем не украшенный, если не считать украшением аккуратные бантики из тесемочек у щиколоток, более свидетельствующие о любви к порядку, нежели о былой склонности к щегольству.

Острая мысль о том, что зря все-таки Валентина такую вещь, считай, выкинула, вернула Игоря Ивановича в явь, глаз он не открыл и перехода из сна не заметил.

Мысль, вынесенная из сна, поглотила его целиком. Продать буфет, прийти к Валентине и так, не раздеваясь, бац — тридцать рублей на стол. На, бери и не кидайся такими вещами. Буфет им не нужен! А дрянь эта полированная нужна?! Да хоть и гатчинской фабрики, ну и что! Черта в ней, в полировке, если даже зеркала нет. А здесь — пожа-

луйста. Хочешь — брейся, хочешь — причешишься, воротник оправь, галстук... Смотреться, правда, не очень удобно, все-таки зеркало в углублении и даже в затемнении, ну и что? Какому ослу придет в голову перед буфетом бриться?

Кто не был мужчиной, тот не знает этого высшего блаженства от источения небрежной щедрости и нечаянного милосердия, поднимающих душу и разум до высот истинной свободы и божественной мудрости.

Да, можно и все тридцать отдать за то, чтобы во всей полноте почувствовать себя отцом, знающим жизнь, кое-что в ней понимающим и умеющим жить!..

На кухне лязгнул упавший в раковину нож, фыркнул кран.

Игорь Иванович напрягся. Неужели не польется? В сильные морозы водопровод прихватывало, а здесь вроде и морозов-то не было еще... Шипенье сменилось утробным урчанием. Трубы зарокотали по всему дому. Трубы дрожали, словно хотели скинуть с себя тягостную оболочку прилепившегося к ним жилья. Напряжение нарастало. Трубы глухо содрогались, то ли подавившись чем-то, то ли споря с чуждой им волей. Игорь Иванович уже видел мысленным взором трехдюймовый подвальный вентиль с сочащимся сальником и знал, как поступить, если опять... Но кран, трижды чихнув, крикнул, плюнул раз, второй и зашипел обнадеживающе.

Как ни в чем не бывало ровной струей побежала вода.

Игорь Иванович открыл глаза легко и быстро.

И тут же увидел часы на стене рядом с картиной. Собственно, увидел даже не сами часы, а стрелки, показывающие без тринадцати три: Ишь ты, усмехнулся Игорь Иванович лихой гримасе часов и от обозрения стрелок перешел к наблюдению за маятником. Шаг мерный, звук деловой, ничего лишнего, все как надо. Часы шли...

За временем по этим часам Игорь Иванович не следил, хотя и прилагал усилия для поддержания их затухающего хода.

Лет шесть назад часы стали останавливаться, и пустить их стоило немалого труда. Шли часы в строго определенном положении, причем вовсе не вертикальном, а чуточку смещенном влево. И вот во время завода, хотя процедура эта и происходила раз в неделю, часы смещались в сторону от идеального положения ровно на такую чуточку, чтобы дальше не идти. Требовалось величайшее терпение и уважение к Павлу Буре и убеждение, что часы будут служить, и, может быть, еще не одному поколению, чтобы, не жалея времени и сил, в течение суток, а то и двух, и трех, подталкивать остановившийся маятник, помогать часам найти то единственно удобное для механизма положение, в котором они еще могли продолжать свою работу.

Тогда же, лет пять тому назад, Игорь Иванович отнес часы в мастерскую. Мастер попался серьезный, внимательный и неторопливый. Закончив тщательный осмотр, он даже отказался взять деньги. «Здесь нечего чинить, — сказал мастер. — Это были хорошие часы. Но всему свой век, свое они отслужили». Если бы он говорил как-нибудь иначе, излишне сочувственно, или, напротив, покровительственно, или

небрежно, Игорь Иванович обязательно стал бы спорить или, на худой конец, поехал бы с часами в Ленинград.

Мастер говорил, положив руку на часы и глядя куда-то мимо Игоря Ивановича, словно говорил про самого себя.

Стар был мастер, немолод Игорь Иванович, состарились и часы.

Вернувшись из мастерской, Игорь Иванович повесил часы на старое место, главным образом чтобы прикрыть пятно на выгоревших обоях, но они пошли и шли великолепно месяца три, все это время веселя душу Игоря Ивановича своим бессмертием. Потом они стали останавливаться опять, но Игорь Иванович был неумолим, он не позволял им умирать, и они шли, шли, показывая какое-то свое особое время. И было не важно — правильно ли они идут, важно было, чтобы они шли.

Впрочем, будем уж до конца откровенны: Игорь Иванович просто не мог уснуть, когда часы стояли, засыпал, конечно, но само погружение в эту остановившуюся, беззвучную темноту было тягостным и печальным. Несколько раз он просыпался, когда часы останавливались ночью, и тут же пытался пустить их снова. «Нё сходи с ума», — говорила Настя и засыпала.

В Игоре Ивановиче незаметно сложилась, нет, не мысль и не убеждение, а как бы предчувствие, что смерть — это остановившееся время, отсюда, может быть, и такая забота о часах.

Последние месяца два часы шли отменно. Пропало даже легкое дребезжание пружины, вселявшее в Игоря Ивановича известную тревогу. Маятник наполнял комнату мягким цокотом, будто за окном по каменной мостовой ступал конь, неторопливо, с достоинством следуя своей бесконечной дорогой. Клек-клек, клек-клек...

Перестав проверять время по этим часам, Игорь Иванович перевесил их так, чтобы не очень бросались в глаза и чтобы ночью к ним удобней было вставать, да и зачем на часы пялиться, если и без часов ясно, что сейчас половина десятого, никак не больше.

— Настя! Я встаю! — крикнул Игорь Иванович, повернулся на бок и стал подворачивать для тепла одеяло.

— Коля сегодня должен приехать! — прокричала из кухни Настя.

— А ты думаешь, я забыл! — крикнул Игорь Иванович, действительно забывший о приезде Николая, и откинул одеяло.

Секунду неподвижное длинное тело в кальсонах и нижней рубашке лежало на кровати, примиряясь с холодом, и уже в следующую минуту махало руками, переминаясь в движениях, отдаленно напомилавших гимнастику. Среди всей этой сумятицы непродолжительных телодвижений четко обозначились лишь два взмаха руками — в стороны, вместе — и молодцеватое натягивание брюк.

Полагаю, что на каждом из знавших Игоря Ивановича Дикштейна лично лежит нравственная обязанность сохранить от забвения черты человека, которого фактически как бы не было, что, собственно, и составило бы привлекательный фантастический элемент всякого повествования о нем. И сказанное пусть не прозвучит упреком в поразительной слепоте тогдашним литературным и художественным автори-

тетам, не сохранившим ни одного прижизненного портрета Игоря Ивановича. И, разумеется, это не упрек в догматической приверженности к каноническому типу героя, благодаря которому и существует основная масса литературы и живописи. Игорь Иванович не собирается никого теснить и занимать чье-то место, заняв один-единственный раз в жизни чужое, скажем так, место, он уже никогда больше никого не теснил, ни на что не претендовал и, строго говоря, места вообще не занимал.

Собственно, почему же человек, которого еще, может оказаться, и не было вовсе, вдруг претендует на чье-то внимание? Или жизнь оскудела героями?! Или автор уже совсем...

Нет, не из последних Игорь Иванович! Не из последних!..

Судите сами: кроме одной-единственной тайны, о которой и сам он к концу жизни почти забыл, весь он был поразительно открыт во всей своей страстности, искренности и неподкупности.

Что из того, что страсти его охватывали, прямо скажем, небольшие пространства, искренность касалась предметов, как правило, мало задевающих чужие интересы, а подкупать его никто за всю жизнь не пытался, что из того? Разве искренность, страстность и неподкупность от этого упали в цене, или нам станет проще найти человека, в котором бы еще так же счастливо три этих качества были бы соединены вместе? Не покривив душой, добавлю к этому честность, доброту, прямоту и обостренное чувство справедливости. Может быть, и этого мало, чтобы привлечь внимание к герою неканонического типа?

Но более всего подвигает к труду память о тихих летописцах — тех самых, что молчат, выжидая, а после, убежденные в беспечной забывчивости, начинают сочинять судьбу покойника, сообщают о нем сомнительные слухи и сведения или, хуже того, вычеркивают его из истории вовсе.

— Я, Настя, думаю, надо сегодня кроля забить, того, который с ухом, — с поразительной легкостью, за которой едва угадывалось значительное напряжение души, проговорил Игорь Иванович, непринужденно оглядывая кухню. Как известно, кролей у него было шесть, а не десять.

Пока Настя собирается с ответом, можно заметить, что Игорь Иванович очень неплохо знал весь кроличий обиход, и только отсутствие помещения не позволяло ему поставить дело на широкую ногу; звери у него почти не болели, хорошо сохранялся приплод, и снять и выделывать шкуру он тоже умел получше многих, только лишь один момент кролиководства, обозначенный словечком «забить», был для него непреодолим. Помнится, когда еще в самый первый раз Настя сказала как-то: «Ты забил бы того, серого, старый уже...», Игорь Иванович на мгновение замер и, строго глядя Насте в глаза, четко ответил: «Мне это не свойственно». «Того серого» и всех последующих — и серых и белых — забивал сосед Ефимов.

Настя внимательно посмотрела на Игоря Ивановича, стоявшего руки в брюки, и отнесла его внезапное предложение на счет шероховатости характера.

Если бы все глаза смотрели так, как глаза Анастасии Петровны, то человеческой доброты и правды в нашей жизни было бы гораздо больше!..

Все помнят, как в сорок втором в Череповце на ее двенадцатиметровую жилплощадь, где уже и без того ютились пятеро, обрушилась чудом вывезенная из Ленинграда двоюродная сестра с двумя дышавшими на ладан детьми. Гости почти на два года заняли не только целую кровать, но и три места за столом. И тогда молодые, жаждущие жить, вечно голодные Валентина и Евгения восстали. И тогда прозвучали исторические слова, сказанные Анастасией Петровной просто и непреклонно: «Если кому-то в моем доме плохо — я никого не держу».

Плохо было ее детям, и не держала она своих детей.

— А может, он и обедать у нас не будет.

— Как не будет? — встрепенулся Игорь Иванович. — В суд ему к часу. Ну сколько его там продержат? Как раз к обеду и придет. Я тебе просто удивляюсь...

Настя привыкла к тому, что житейскую свою правоту Игорь Иванович, в зависимости от настроения, утверждал или удивлением, или обидой.

— Я суп грибной сделаю. Он любит. Тушенки баночку откроем на второе. Худой он, пусть еще погуляет,— без перехода добавила Настя, имея в виду уже того, с ухом.

На тушенку Игорь Иванович никак не рассчитывал, поэтому решил ответить такой же щедростью:

— У нас есть сдать бутылки? Я бы пивка взял к обеду, к тушенке особенно. Это будет красиво.

— Сам же знаешь, что нет,— спокойно сказала Настя, наливая воду в кастрюльку.— От олифы отмоешь — сдавай.

— Говорю же, что их не примут,— продолжил давний спор Игорь Иванович.

— Не пори ерунду, нормальные поллитровки, как от портвейна, почему это не примут?.. Этикетки сдери, и все.

— А керосин есть?

— Я ходила.

— Меня почему не разбудила?

— Ты так хорошо спал. А я как в семь проснулась, так и не смогла уснуть... Что-то цвет лица у тебя нехороший.

— Надо эти сидения до ночи кончать,— фырча над раковиной, говорил Игорь Иванович.— Давай за правило: десять часов — отбой. А то все утро пропадает, самое золотое время.

Настя, уже привыкшая к этим порывам наведения порядка в жизни, только вздохнула; вытираясь жестким вафельным полотенцем, Игорь Иванович вздоха не услышал.

Пять запыленных бутылок заняли место под раковиной.

Раковина была из тех допотопных, что вселились в неказистые петербургские кухни, но не с первым водопроводом, а как бы со вторым, в ту самую пору, когда увлечение лилиями, осокой, водорослями, болотной и морской растительностью и тощими обнаженными женщина-

ми с распущенными волосами стало среди художников повальным и повсеместным. Как именовалась лохань под водопроводным краном до появления этих чугунных чаш волнистого литья, расширяющихся кверху и сужающихся вниз, сказать трудно. Скорее всего именно эти раковины и дали родовое имя всем последующим приспособлениям аналогичного назначения. Раковина напоминала большую воронку, была не очень удобна, но заменить ее не представлялось возможным, так как расположена она была близко ко входу, а поставить на ее место нынешнее прямоугольное эмалированное корытце (Настина мечта) значит и без того стеснить узкий вход на треугольную кухню, неведомо как образовавшуюся в процессе множества генеральных реконструкций этого довольно-таки несуразного дома.

Понятно, что читателю в высшей степени неинтересно наблюдать за Игорем Ивановичем, размышляющим над тем, как извлечь остатки подсохшей олифы из непрозрачных и липких бутылок. Читатель, напротив, ждет незамедлительных объяснений того, как Настя, старшая дочь своего отца, проживавшая, как известно, вместе с сестрами и родителями в прекрасной квартире на Старопетергофском, близ Обводного канала, в двух шагах от «Треугольника» и в трех шагах от знаменитых Нарвских ворот, оказалась в несуразной гатчинской квартире, состоявшей из трех небольших кособедренных треугольников. Собственно, треугольников было два: прихожая с туалетом и кухня, а вот жилая комната скорее всего напоминала слегка перекошенную трапецию.

Лучше всех об этом переселении мог бы рассказать начальник тринадцатого отделения милиции бывшей Коломенской части Гришка Бушуев, только погиб он чуть ли не в первые дни войны, что дало повод острой на язык младшей дочери Евгении при посещении своей бывшей квартиры детства после войны так прямо и сказать Люське Бушуевой: «Это бог его наказал» — «Женечка, я-то здесь совсем не знаю. Уж не держи зла на покойника», — только и нашла что сказать Люська Бушуева, вдова при троих детях.

Гришка, став начальником тринадцатого отделения, продолжал жить где-то в скверных условиях возле Московского вокзала, на Лиговке, точнее даже на Курской улице. Квартиру же на Старопетергофском он запомнил с тех пор, когда еще был опером и ходил на рекевизиции, ну а в тридцать пятом, утвердившись в новых правах и полномочиях, открывавших очень большие возможности, он остался верен мечте и с легкостью покончил с эксплуататором, гнездившимся у самого порога Нарвской заставы.

Вместе с Гришкой поселился изумительный кобель породы ирландский сеттер, Гришка называл его, явно с кем-то полемизируя, Нероном. Пес был восхитительно красив и безусловно чистопороден, даже казалось, что он и сам знает и о достоинствах своей масти, и о надежности родословной, и поэтому, когда Гришка выводил его во двор выгуливать и, явно работая на жильцов, командовал: «Нерон, пиль назад!», Нерон только улыбался беспечным и веселым своим лицом и пиль назад не делал. Рассчитанные на сильный психологический

эффект с определенным политическим акцентом выгуливания кобеля иногда дискредитировались недалекой все-таки Люськой, свешивавшейся из окна просторной кухни на третьем этаже и на весь двор объявлявшей: «Гриш, а Гриш... Иди картошку со льняным маслом кушать!..»

Гришка свирепел и бранил матерно и жену, и Нерона.

По всей вероятности, эстетическое чувство указывало Гришке на определенную дисгармонию: укротителя Нерона нельзя было соблазнить картошкой со льняным маслом. Сколько раз он ясно говорил Люське: «Придержи свою серость! Посмотри, кто над тобой смеется? Над тобой классовый враг смеется!»

Капиталисты и помещики, выметенные из Петрограда-Ленинграда, немало удивились бы, увидев в своих рядах на свалке истории Петра Павловича с женой, двумя взрослыми дочками, зятем Игорем Ивановичем и тремя внуками.

Понятие «ежовщина», надо думать, достаточно освещенное и исчерпывающе описанное в соответствующей литературе, проливает свет на множество сюжетов, лежащих на обочине исторического пути, и если требует какого-то дополнительного исследования, так только «бушувщина», то есть «ежовщина» в рамках одного отделения милиции.

Итак, Настин отец, уважаемый в Коломенской части Петр Павлович, ходил до тридцать пятого года в котелке, носил усы с изумительными стрелками, любил узкие пальто и числил себя фабрикантом, поскольку заведение свое, то ли из какой-то непонятной гордости, то ли в угоду своей демократической клиентуре, именовал неблагозвучным именем «вошечная фабрика». Парикмахерская у Обводного канала держалась на хорошем счету и была оставлена за Петром Павловичем как бы в поднаем от отдела Сангигиены, где он даже два года работал сразу после образования советской власти.

Пострадал Петр Павлович из-за наемной силы. А наемной силой был Петька Кудрявкин, племянник няньки Татьяны Яковлевны, тоже Кудрявкиной, взятый «в мальчики» даже не из самого Залучья, откуда родом была Татьяна Яковлевна, а вовсе из мало кому известной деревни Лещин. Взят был давно.

Так что когда в 1934 году в парикмахерской у Обводного канала, накинув белоснежный пеньюар на плечи клиента, Петр Павлович кричал по привычке: «Мальчик, воды!..» — воду выносил уже не Петька. В ту пору «в мальчиках» была бабка... Факт для избранного нами жанра вполне естественный, и, более того, если бы такого факта нигде в истории не оказалось, то его следовало бы выдумать именно в интересах жанра, для большей увлекательности и фантастичности.

Итак, под видом «мальчика» на историческую арену выходит жена Петра Павловича, женщина немолодая, к тому времени уже бабушка, и выход ее был бы вполне удачен, если бы она, к неудовольствию Петра Павловича, державшего марку, не приговаривала постоянно, конфузя мастера: «Иду, Петенька, несу, несу...»

Петька Кудрявкин, работавший к этому времени уже мастером, «мальчика» звать стеснялся и на легкой ноге, сказав клиенту что-

нибудь забавное, летел в задние комнаты, где бабушка Оля, вечная труженица, держала на своих сухих, но еще крепких плечах все тыловое обеспечение парикмахерской.

Вот на Петьке-то Кудрявкине и скovyрнул Бушуев Петра Павловича.

...И как было объяснить чрезвычайной тройке в считанные минуты тот факт, что Петька Кудрявкин был Петру Павловичу как бы компенсацией за не посланного богом сына, что Петька был у Петра Павловича баловнем и щеголем, что Петьке многое позволялось, прощалось и не помнилось, что Петр Павлович, выпустивший из своих рук за долгую жизнь немало классных мастеров, Петькой гордился...

Нет, не было в ту горячую пору у чрезвычайной тройки ни сил, ни времени выслушивать все эти мелкобуржуазные сказочки о классовом мире между кучкой эксплуататоров и эксплуатируемой массой. Карающая десница Бушуева освободила и Петьку, и парикмахерскую у Обводного канала, и квартиру над парикмахерской от враждебного элемента.

Так вот как Настя и Игорь Иванович оказались в Гатчине?!

О нет, столь поспешное предположение может возникнуть лишь на прямолинейных путях исторического сознания — раз или просто при отсутствии фантазии — два.

Не будем подгонять историю, она уже произошла, и ей никогда не стать иной, сколько бы ее ни переписывали. Не будем спешить хотя бы из уважения к тем, у кого не было и не будет иной жизни, кроме той, что досталась...

Впрочем, если спешите — загляните в конец, и простимся.

Но и неспешные истории иногда приобретают изумительный темп.

В двадцать четыре часа, то есть даже несколько поспешно, то есть не успев толком собраться, даже бросив швейную машину «Зингер», на которой умевшая все Ольга Алексеевна общивала семью, успев лишь наскоро и за бесценок продать то, что люди пожелали купить, после множества ссор и взаимных обвинений лишенный голоса Петр Павлович вместе с семейством кое-как погрузился и выехал по месту назначения, в город Череповец. И только лишь после войны поредевшая семья без Петра Павловича и Ольги Алексеевны перебралась в Гатчину вслед за старшей сестрой Валентиной, работавшей всю войну под Череповцом в тыловой воинской части по ремонту военной техники. В конце войны часть эту как бы перебросили поближе к Ленинграду, и Валентина, профорг и ударница, первой зацепилась за Гатчину, потом уже перетащила всех.

А что ж Игорь Иванович?

Почему мы не видели его лица, не слышали его резкого голоса в этих бурных событиях, потрясавших семейство?

Игорь Иванович вел себя предельно разумно и осмотрительно, что с ним бывало не так уж часто, но здесь он думал вовсе не о себе, зная, что подойди Бушуев к Петру Павловичу не со стороны Петьки, а со стороны зятя, то есть Игоря Ивановича, и семейство могло бы отправиться значительно дальше Череповца.

Быть может, еще не раз на страницах этого фантастического повествования Игорь Иванович будет исчезать, теряться из виду в событиях и более значительных, но это вовсе не потому, что события эти его не касаются, напротив, он будет исчезать и теряться лишь для того, чтобы занять свое, отведенное ему во всемирной истории место.

Бутылки были вымыты неторопливо и тщательно. Вся процедура, как ни старался Игорь Иванович ее продлить, закончилась быстро, в каких-нибудь полчаса. Не только вера Насти в то, что бутылки будут приняты, передалась Игорю Ивановичу, хотя, надо сказать, поверил он в это глубоко и полно, но главным образом его захватило ни с чем не сравнимое ощущение того, что он, скребя, взбалтывая, промывая, нюхая, рассматривая стекло на свет, делает деньги, небольшие, но безусловные, и чувство это придавало даже возне с керосином и липкой жижей ощущение дела серьезного, стоящего. Работал Игорь Иванович много, он мог сшить неплохую кроличью шапку, мог подшить валенки, построить сарай, был кровельщиком, в некотором роде носильщиком, вел кружок мандолины при Разнопромсоюзе, где выполнял и другие работы, обувь чинил, но неохотно, не отказывался и дрова попилить, а колол даже с удовольствием, но всякий раз неопределенность заработка грызла и без того нездоровое сердце и лишала труд полной радости. Может быть, именно поэтому он всегда с охотой шел на любую работу по твердой таксе, здесь был важен уже и не барыш, а душевное равновесие и покой от ясного понимания своего будущего. Поэтому и в возне с бутылками не думалось о конкретных двенадцати копейках, думалось о деньгах, думалось о пиве, которое не только с удовольствием можно выпить, но главным образом думалось о пиве, которое станет украшением обеда. Игорь Иванович чуть было не произнес в уме своем изрядную речь о пользе пива как такового и о пользе пива к обеду особенно, но вовремя остановился и направил свое воображение в другую сторону.

А может, разливного взять? Больше получится...

И тут же эта предательская мысль была сметена со всей беспощадностью человека, знающего цену малодушию. И дело было вовсе не в бидончике, который надо было найти и отмыть, просто вся идея хорошего обеда как бы подрывалась, извращалась, уродовалась. Лишить себя удовольствия легким жестом скovyрнуть с горлышка шляпку с зубчатыми краями, увидеть пенистую шапку в стакане, почувствовать живую остроту напитка легкого и кружащего голову, как весенний, пахнущий льдом и снегом воздух... И стол — одно дело с тремя; пусть даже двумя бутылками, и совсем иное — бидон...

Пожалуй, здесь можно было бы заподозрить Игоря Ивановича в невинном лукавстве. Может быть, нелепую и возмутительную идею о разливном пиве он специально, нарочно привлек к своим размышлениям, чтобы, разбивая ее в пух и прах, в полноте всех подробностей утвердить единственно верную и, главное, безусловно красивую идею о бутылочном пиве к обеду.

Когда Игорь Иванович наскоро выпил чаю с булкой и надел пальто,

обнаружилась пропажа сетки, с которой он обычно ходил сдавать посуду, желтой сетки.

— Возьми вот этот мешочек.— Настя протянула хозяйственную торбочку, сшитую, как и многие предметы в доме — скатерть на тумбочке, портьеры над дверью в комнате, покрывало на сундучок,— из отслужившего свой век плюшевого занавеса, полученного Игорем Ивановичем в клубе Разнопромсоюза.

— Ну что ж я, как гопник... Посмотри, где желтая сеточка?

— Бог ее знает, давно не вижу, возьми вот эту.

— Здравствуй! Новое дело... С картофельной сеткой пойду бутылки сдавать?! Вечно порядка нет. Неужели так трудно: принес сетку, выложи из нее все и повесь. Вот, специально прибит гвоздик. Неужели трудно?

Легко представить, как моралисты различных направлений обрушатся на Игоря Ивановича, вскрывая нравственную уязвимость его стремления отыскать именно желтую сеточку. Пусть, пусть ищет! Лишь ослепленное самолюбие может помешать увидеть в этом поиске поиск и утверждение порядка, этого высшего блага, высшего господина в мире, коему подчинялись раньше даже боги. И, зная, что сеточка лежит в кармане керосиновой куртки, им же самим туда положенная, я не прерву его поиск, ибо философский, онтологический смысл его поступка куда выше житейского!

— Опрятная кухарка дороже повара,— смягчив острие высказывания улыбкой, сказал Игорь Иванович, заглядывая в сокровенные уголки кухни.

Настя спокойно двигалась от керогаза к раковине и от раковины к кухонному столу.

Игорь Иванович приналег: «Опрятность — это не то чтобы навел порядок и все. На майские или к пасхе у нас тоже порядок. Опрятность — это не наведение, а поддержание порядка, это когда всегда порядок, вот как...»

Под этим афоризмом мог бы подписаться двумя руками и сам Игорь Иванович Дикштейн, не тот, о котором до сих пор шла речь, а тот, что впереди, с кем ненадолго предстоит еще познакомиться; Анастасия же Петровна все эти вариации на темы опрятности и порядка сто раз слышала и потому в сто первый раз пропустила мимо ушей.

— Я боюсь, не управиться мне будет на керогазе. Ты бы принес пару полешков, надо бы плитку растопить.

— Здравствуй!. Человек собрался, а теперь раздевайся, ватник напяливай, в сарай тащись. Где ты раньше была? Разве я против? А то на дно семь пятниц, новое дело, иди в сарай...

Игорю Ивановичу вовсе даже не трудно было и переодеться, и дров принести, и сознание того, что Настя сама будет носить по два полена, стыдом подползло аж под сердце, он даже видел, как раскачивается ее грузное тело, поднимаясь на второй этаж по этой дурацкой лестнице, но согласиться было еще трудней, даже невозможно. Сегодня дрова, вчера керосин, завтра другое, послезавтра еще что-нибудь. Должен быть, наконец, какой-то порядок. Игорь Иванович

даже не признался себе в том, что отказывается от удовольствия переодевания.

Человек посторонний не понял бы глубокого смысла этих переодеваний, истолковав их как-нибудь поверхностно, да и сам Игорь Иванович ни разу не призадумался над удовольствием, испытанным при замене пальто ватником или керосиновой курткой. Не то чтобы ватник нравился больше, чем пальто, но сама возможность переодевания, при том что ни одной новой вещи из верхнего гардероба за всю семейную жизнь для него ни приобретено, ни шито не было,— сама эта возможность переодевания оказывалась как бы шагом в ту жизнь, где человека окружает множество необходимых предметов, и придуманных, и сделанных для его удобства. Энергия, заложенная природой для отправления положительных эмоций в связи с приобретением обновок или шитьем новых вещей, находила у Игоря Ивановича выход в отыскании и осознании достоинств в каждом отдельном предмете его разнообразного платья.

Ватник, куртка и пальто, каждая вещь по-своему подчеркивала строгую соразмерность худой фигуры и как бы нацеливала ее к определенным свершениям и действиям. Все три предмета верхнего гардероба Игоря Ивановича отличались не только фасоном, материей, но, главным образом, мерой изношенности и потом уже разными сопутствующими подробностями. В ватнике, например, предмете наиболее добротном в сравнении с курткой и пальто, кроме небольшой дырочки, черт знает как образовавшейся рядом с левым наружным карманом, был еще и внутренний карман — аккуратно нашитый темно-синего сатина лоскут. Пользоваться этим карманом Игорю Ивановичу никогда не приходилось, но существование кармана Игорь Иванович, находясь в ватнике, ощущал и знал, что карман может всегда пригодиться, вот тут-то он и будет как находка. И еще одна давняя история связывала Игоря Ивановича тонкой симпатией с этим ватником. Однажды он надел его, чтобы пойти во двор помочь Василию Дмитриевичу устроить голубятню по-настоящему; Настя увидела его узкое лицо с глубокими продольными морщинами на впалых щеках, высокий лоб, переходящий в обширную лысину, сосредоточенный взгляд, обращенный в себя, строгую складку узких губ, увидела все это и сказала: «Ты у меня прямо профессор кислых щей».

Он понял, что она шуткой старалась скрыть сильное впечатление, произведенное его видом, и почти всякий раз, надевая ватник, он надеялся услышать еще раз «профессора». И хотя Настя больше так не говорила, он бы голову дал на отсечение, что слышал это, слава богу, не один раз.

Куртка имела иные достоинства. Мало того, что она была перешита из черной флотской шинели и напоминала о многом, она была еще и произведением мастерства и напряженной фантазии. Она же, куртка эта, была и ответом маловедам. Насте и Валентине, твердившим, что из шинели, из этого старья, где и места живого, видите ли, не осталось, не может получиться что-то стоящее. Куртка имела теперь строгое предназначение: походы за керосином и осенние работы на огороде, по-

скольку огород был рядом с шоссе и нужно было на людях выглядеть поприличней.

Пальто, перешитое в свою очередь много лет назад из демисезонного пальто Владимира Орефьевича, мужа Настиной сестры, поразило два года назад Игоря Ивановича своей изношенностью и невозможностью. После этого он с полгода не мог его надевать, тогда еще куртка, кстати сказать, не была пожалована в керосиновые. Но после того как опрокинутый керогаз дал окончательное название куртке и выйти было не в чем, Игорь Иванович надел пальто и опять удивился, потому что не производило оно уже того удручающего ощущения собственной невозможности, как когда-то. «И что за блажь, почему я его не носил», — долго еще удивлялся Игорь Иванович.

Так вот и сложилась счастливая ситуация, дававшая возможность переодеваний и полное чувство удовлетворения необходимым выбором ко всякому жизненному случаю.

Навряд ли удастся когда-нибудь достоверно объяснить, почему, надевая именно пальто, Игорь Иванович как бы надевал и особое выражение лица, которое и не назовешь иначе как готовностью к отражению оскорбления. Что-то в его лице появлялось почти гордое и даже с оттенком вызова, и наблюдательные люди могли заметить, что именно в этом пальто Игорь Иванович становился как-то особенно немногословен.

Но прежде чем последовать за Игорем Ивановичем на улицу Чкалова и тут же повернуть налево, на Горького, наблюдая, как он приветствует знакомых, сдержанно и чуть торжественней, чем обычно, надо все-таки вернуться к его выходу из квартиры, иначе ни сам поход в приемный пункт сдачи стеклянной посуды, ни покупка пива уже не будут поняты в полной мере.

Пока Игорь Иванович искал желтую сетку, ему казалось, что стоит ее найти, и он покажет Насте, как по-настоящему можно без лишней суеты сделать маленькое, но очень нужное по хозяйству дело. Да, да, сдать бутылки, сходить в магазин — это все очень просто и совсем не трудно, если не устраивать из этого происшествие. И не надо лишних слов. Взял сетку на месте, там, где ей положено быть, надел пальто — и через двадцать-пятнадцать минут уже дома. И все. Так нет же...

В конце концов сетку Игорь Иванович обнаружил в кармане керосиновой куртки. Еще минут за десять до того, как он запустил руку в этот карман, скомкал сетку в кулаке и быстро переложил в карман пальто, он уже подозревал, что она может оказаться именно там, хотя и отгонял эту мысль как только мог и искал сетку даже в посудном шкафу в комнате, ворча, что из-за такого пустяка приходится перерывать всю квартиру.

Когда пальто было надето, оказалось, что уйти независимо и деловито не удастся. Надо было спросить у Насти денег. Поэтому уже в пальто он стал чистить ботинки и был изгнан Настей на площадку перед входной дверью. Потом Игорь Иванович взял свою толстую зимнюю кепку, решил ее тоже почистить, но вышел на площадку уже сам.

Эта непонятливость Насти стороннему наблюдателю могла бы показаться даже коварством, даже изощренным коварством, но именно стороннему наблюдателю, а никак не Игорю Ивановичу. Он-то знал, что особенно по утрам Насте приходится вести самый тщательный расчет всех обстоятельств предстоящего дня, и, помешивая в кастрюльке или регулируя высоту пламени в керогазе, она почти не замечает этих своих движений, а напряженно и сосредоточенно просчитывает жизненные комбинации, выстраивая их во временной последовательности, обозначая степень важности каждого дела и меру усилий, необходимых для преодоления осложняющих обстоятельств. Эту умственную работу Игорь Иванович в насмешку называл «политической экономикой», но в душе относился к ней с уважением, часто ворчал по поводу предлагаемых решений, но поскольку никогда ничего путного со своей стороны предложить не мог, то в конечном счете принимал Настину программу как на ближайшие часы, так и на последующие годы. Настя была старшей среди сестер, и Петр Павлович за рассудительность и спокойствие нрава ласково называл ее «слонюшкой». Игорь Иванович если и вспоминал это прозвище, то именно в эти минуты «политической экономики», когда она не замечала неотрывно обращенного к ней взгляда, не чувствовала, как нравится Игорю Ивановичу в эту минуту смотреть на нее. Плотные сжатые гребнем седые со стальным отливом волосы лежали не прилизанной гладью, что никогда не нравилось Игорю Ивановичу, а хранили причудливое непокорство кудрей, и теперь все еще густой, даже пышный шлем волос напоминал Игорю Ивановичу вспаханное поле, припорошенное первым чистым снегом. Крупные черты лица были неподвижны, как бы охраняя покой, необходимый для внутренней сосредоточенности нелегкой умственной работы. Игорь Иванович знал, что в этом состоянии Настя может даже отвечать на вопросы, спрашивать что-нибудь мелкое, житейское, не прерывая нити главных своих размышлений.

— Ты мне дашь что-нибудь? — спросил Игорь Иванович, рассматривая себя в косой осколок зеркала над раковиной.

Настя вытерла руки, взяла сумочку, пересчитала всю наличность и выдала пятьдесят семь копеек.

Игорь Иванович чмокнул Настю в щеку, заработал за это улыбку, легкий толчок в грудь и «пьяницу», после чего двинулся уже в третий раз за это утро к дверям.

— Что ж ты бутылки в карманы посовал?

— Да ничего, здесь недалеко, — легко сказал Игорь Иванович и аккуратно прикрыл дверь.

Площадка второго этажа перед входом в две квартиры была размером с сигнальный мостик какого-нибудь занюханного миноносца. Огороженная перилами, она позволяла обозреть обширнейшее пространство, видимо, когда-то использовавшееся более разумно. Лестница вниз наподобие трапа лепилась тремя маршами по стенке и занимала совсем немного места, поскольку была довольно узкой, а над входной дверью с улицы на высоте второго этажа на голой стене были два комнатных окна. Видимо, когда-то к ним примыкала и комната, но

как она держалась, не имея опоры под собой, понять было невозможно. Почему в доме с тесными комнатками, десятки раз перекроенными и собравшимися наконец, к великой радости жильцов, в отдельные квартиры с относительными удобствами, оставалось так много лишнего места? Неужто по замыслу человеколюбивого архитектора в этом доме в недалеком будущем предполагалось строительство даже не одного, а двух лифтов — пассажирского и грузового, поскольку места хватило бы на оба? Делать же лестницу чуть пошире не стали из соображений, Игорю Ивановичу неведомых. Когда человек первый раз входил с улицы и видел наверху площадку с входом в две квартиры, он даже не сразу замечал лестницу, ведущую к этой площадке, и испытывал секундное недоумение, поскольку перила лестницы, как и стены вокруг, были выкрашены яркой зеленой краской и для непривычного глаза сливались.

Затем взор гостя наткнулся на два вертикальных бруса, устремленных вверх, где открывалась верхняя площадка, которая воспринималась как балкон, озадаченный путник начинал размышлять о назначении этого балкона, и здесь невольно приходило на ум, что в три колена идущая вдоль стены лестница — хоть и неширокий, но единственно реальный путь в верхнее жилье. Но на этом недоумения пытливого странника не заканчивались. Пространство, открывавшееся его взору, было настолько значительным, что невольно возникал вопрос, где же расположено жилье, ведь двухэтажный, обшитый досками дом, углом стоявший на пересечении улиц, не производил впечатления здания, располагающего столь обширным вестибюлем. И то, что в прихожей не было не только обычного житейского хлама, но и вообще ничего, лишь усиливало впечатление нежилья.

Выйдя на площадку, Игорь Иванович механическим движением отогнул острые лацканы пальто, клыками нависавшие над двумя рядами почти одинаковых больших черных пуговиц. Когда-то, по моде сороковых годов, острые треугольники лацканов гордо торчали вверх, как уши молодого зайца. По всей вероятности, был допущен какой-то портновско-инженерный просчет — буйные цветы моды быстро вянут, — и острые клыки лацканов сначала отпрянули от груди, потом стали медленно загигать. Об эту пору пальто и перешло от Владимира Орефьевича к Игорю Ивановичу. В сущности, легкий жест, призванный придать лацканам вертикальное положение, был бесполезен, поскольку клыки через три минуты снова принимали свой боевой вид, но Игорь Иванович уже приучил себя после того, как туалет завершен, не обращать больше внимания на свою внешность, допуская некоторую небрежность, могущую образоваться впоследствии; мужчине вовсе не идет быть прилизанным и, что называется, быть застегнутым на все пуговицы.

Игорь Иванович сам не заметил, как непринужденность эта превратилась в правило, в привычку и даже частенько приводила к маленьким недоразумениям. Нет-нет да и приходилось Насте указывать Игорю Ивановичу на необходимость уделять внимание тем пуговицам, которые даже в самом свободном наряде надо соблюдать строго.

Когда Игорь Иванович уже выходил на крыльцо, дверь наверху открылась и Настя крикнула вдогонку:

— Гоша, папирочек возьми!

Игорь Иванович не обернулся и не подтвердил услышанное, поскольку мог этого уже и не услышать.

На улице Игорь Иванович был сосредоточен и сдержан, деловит и немногословен, собран и целеустремлен, подчеркнута лаконичен в ответах на расспросы о собственном здоровье и здоровье Анастасии Петровны.

Забыв переложить бутылки в сетку на лестнице, он уже решил не возиться с этим делом, благо ходьбы тут пять минут.

Жена Ермолая Павловича, мимо которой не проходило ни одно историческое событие, жительница пятого номера с первого этажа, вывернулась перед Игорем Ивановичем, едва он ступил во двор. Увидев три бутылки в руках и две, торчащие из карманов, жена Ермолая Павловича, зная Игоря Ивановича как человека в высшей степени опрятного, готова была засыпать вопросами, но знала, а вернее, чувствовала она в Игоре Ивановиче еще и что-то такое, что не позволяло ей обращаться с Игорем Ивановичем так же, как со всеми. В связи с этим последним наблюдением и есть смысл несколько задержаться на жене Ермолая Павловича, не ставившей, кстати, ни в грош четвертого своего мужа.

Введение в фантастическое повествование жены Ермолая Павловича, представляющей как модель интерес лишь для монументальной скульптуры или, в крайнем случае, монументальной живописи, нуждается хоть в каком-нибудь оправдании.

Скажем прямо, умеет жена Ермолая Павловича объяснить чувства, управляющие ее житейскими устремлениями, мы получили бы интереснейшее свидетельство той власти над людьми, коей Игорь Иванович обладал, сам об этом не догадываясь.

Жена Ермолая Павловича, женщина громоздкая и немудреная, как известно, глубоко презирала всех своих мужей, и Ермолай Павлович не был счастливым исключением. Слушая его рассуждения, не лишённые, как правило, здравого смысла и простоты выражения, она неукоснительно хмыкала, поводила плечом, делала какой-то прощальный жест рукой и, отворотив свое довольно крупное лицо, произносила а parte: «Ври толще!». Однако было замечено, что во время бесед Ермолая Павловича с Игорем Ивановичем о предметах, вовсе не доступных ее ослепленному гордыней уму, она в беседы не встревала, на мужа не цыкала — напротив, как бы пропускала сказанное мужем якобы через свое сознание, согласно кивала. А ведь не было на свете силы, которая была бы способна пересидеть жену Ермолая Павловича с ее возгласами, маханием рук, неожиданным для такого крупного человека протяжным повизгиванием, сужением глаз и сведением тощих губ в различные фигуры. Сокрушительную власть ее вздохов, стонов, хмыканья и умения разнообразно презирать людей испытали на себе даже немцы, стоящие в ее доме на улице Володарского во время оккупации; они не только не позволяли себе лишнего, а, уходя, предупреди-

ли, что сейчас будут поджигать дом, и предложили приготовиться тушить; для очистки совести перед великой Германией они плеснули все-таки на угол керосином и ткнули для проформы факелом и, не оглядываясь, потрусили к домам напротив, там теперь стоит новый рынок, и сожгли, надо сказать, их мастерски, просто не замечая, как будущая жена Ермолая Павловича сбивает старым половиком не успевшее разгореться пламя. И вот загадка: лишь в присутствии Игоря Ивановича эта женщина, не знающая в мире преград, больше слушала, чем говорила, жестов и охов не позволяла, а чтобы не выглядеть при умном разговоре дурой, умела вовремя вставить словечко, обращаясь исключительно к Игорю Ивановичу с доброй улыбкой: «И кто же ты есть и с чем тебя съест?..»

Эта глуповатая присказка, произносимая регулярно лишь по незначению других подходящих, всякий раз производила на Игоря Ивановича резкое впечатление: он мгновенно напрягся, вскидывал голову, на впалых щеках отчетливо прорезались глубокие вертикальные линии, отчего в лице проступала затаенная сила, он ждал продолжения, но жена Ермолая Павловича, удовлетворенная вызванным эффектом, лишь улыбалась и игриво грозила мизинчиком. Ермолай Павлович осуждающе качал головой и старался тут же свести разговор к кроликам, резать которых за годы дружбы с Игорем Ивановичем стал великим мастером. Фамилия Ермолая Павловича была Ефимов.

— Ермолая я за капустой поставила, — вместо «здрассте» сказала жена Ермолая Павловича, — вам не нужно?

— Благодарю. Николай приезжает. Не могу! — В голосе Игоря Ивановича была даже нотка сочувствия, будто у него помощи попросили, а не предложили услугу.

— Так, может, на вас взять? — крикнула уже почти вдогонку монументальная соседка.

— У Насти спроси! Спешу! — вполборота выкрикнул Игорь Иванович.

Итак, ходьбы было действительно минут пять — десять. Это небольшое время надо использовать двояко: дать читателю минимум сведений, предваряющих фантастическую судьбу Игоря Ивановича, и, разумеется, обозреть сквозь призму истории город Гатчину, куда помещен герой в настоящее время.

Местом рождения Игоря Ивановича был Загорск, называвшийся с середины XIV примерно века до нынешнего девятнадцатого года Сергиевым Посадом, по имени своего основателя, с девятнадцатого — городом Сергиевом, а с тридцатого года названный по имени Загорского Владимира Михайловича, известного революционера, чья жизнь оборвалась на посту секретаря Московского комитета партии от рук контрреволюции в девятнадцатом бурном году. Игорь Иванович, узнав о переименовании Сергиева в Загорск, к известию отнесся положительно, как, впрочем, и к переименованию в двадцать девятом году Трощка в Красногвардейск, хотя и не предполагал, что в Красногвардейске, правда еще раз переименованном и обретшем свое изначальное имя, ему предстоит прожить свои окончательные годы и дни. Для

полноты изложения надо заметить — будь Игорю Ивановичу известно, что на самом деле фамилия В. М. Загорского была Лубоцкий, то и это обстоятельство было бы воспринято им с удовлетворением.

Детство Игоря Ивановича в семье железнодорожного служащего, совершившего трудный путь от стрелочника на станции Новый Вилейск Либаво-Роменской железной дороги до багажного кассира станции Сергиевск Московско-Ярославской железной дороги, изобиловало событиями чрезвычайно ординарными. От матери, женщины доброй и неграмотной, Игорь Иванович унаследовал музыкальный слух и не без помощи смычка псаломщика, которым бывал бит за огрехи своей альтовой партии в церковном хоре, достиг тонкого понимания различных музыкальных моментов, что позволило без труда овладеть игрой на мандолине.

Отец Игоря Ивановича тоже не был лишен слуха и, почитая себя уже более москвичом, нежели жителем Сергиева, на большие праздники, в отличие от москвичей, искавших благодати в Сергиеве, считал для себя непреложным отстоять службу в одном из именитых московских соборов. Однажды в святой четверг на страстной неделе, протиснувшись под высокие своды Храма Христа Спасителя на Волхонке, исправно постившийся багажный кассир воочию слышал знаменитое трио — Шаляпина, Собинова и Нежданову разом. И то сказать, слушать «Разбойника благоразумного...» съезжалась и сходилась вся Москва. Сподобившись высокого причастия, он в минуты сердечного умиления, не глядя на календарь, затягивал: «Ра-збо-ойника-а благо-разу-у-умного...» «...Во едином часе...» — тут же вступала любившая петь матушка, взором призывая сына. «Сподобил еси госпо-о-оди...» — пристраивался отроческий альт, и вся семья едино печаловалась сердцем о чужой боли, забывая о своей, и на недолгие мгновения совсем близко переносилась из собственного дома, размером едва превосходящего иную русскую баньку, к подножию трех крестов, где вершилась жестокая и отчасти несправедливая казнь.

Близкое наблюдение суетности церковного быта лишило Игоря Ивановича поэтического ощущения древних преданий, а великое множество калек и убогих, заполнявших Сергиев чуть не целый год в бесплодной надежде на чудо, лишило Игоря Ивановича и прагматической религиозности; единственным; что связывало его с миром неведомым и прекрасным, как мечта и надежда, была музыка. Воспоминания о семье, поющей про речкавшего разбойника, казались ему много лет спустя теплым лучом, светившим из ускользящей, в общем-то холодной дали.

Хранитель консервативных начал, батюшка Игоря Ивановича видел в науках и образованности главным образом средство улизнуть от тяжелой и грязной работы. Примеров, подтверждающих верность его точки зрения, жизнь предлагала немало и на заре нашего века, но еще больше в его конце вследствие расцвета научных учреждений, всеобщей грамотности и выхода на историческую арену множества удивительных лиц, сомнительно образованных, тем не менее владеющих главным и несметным богатством — судьбами великого числа людей. Правда, отец Игоря Ивановича не заносился высоко, примеров

хватало и в непосредственной близости, и первым и самым сильным примером был младший брат Василь, достигший всего, о чем мечтал, да к тому же еще получивший место начальника станции Кошары. В стране по преимуществу крестьянской, где прогресс в области облегчения тяжчайшего крестьянского труда и производства продуктов питания отстает от семимильных шагов науки, позиция отца Игоря Ивановича, многими умниками признававшаяся глуповатой, к сожалению, должна быть признана заслуживающей внимания хотя бы как объяснение недолгого следования по путям просвещения самого Игоря Ивановича.

В детстве же был один поступок Игоря Ивановича, небольшое происшествие, оставшееся до конца неразгаданным и по сию пору. И хотя все участники этого события умерли прежде Игоря Ивановича, Игорь Иванович нет-нет да и рассказывал снова о происшествии, не исправляя и не прибавляя никаких деталей, как будто бы мог быть кем-то уличенным.

Сестре Вере было в ту пору месяца три-четыре. Мать вышла куда-то с девочкой на руках, а чтобы сын не скучал, дала ему серебряный полтинник. Мальчик играл монетой в передней маленькой комнатке, но больше даже смотрел в окно, чем играл. На полу стояла лохань с помоями для поросенка. Мальчик подбрасывал монету и ловил, пока злополучная игрушка не угодила в лохань. Игорь Иванович отчетливо помнил свой испуг. Пришла мать и спросила, где денежка.

— Не знаю, упала.

И так до прихода отца и после все говорил: не знаю.

Отец, получавший жалованья двенадцать рублей десять копеек, потерю полтинника чувствовал очень остро.

Игорь Иванович видел, как родители обшарили весь пол, отодвинули от стен все, что можно было отодвинуть, и, конечно, ничего не нашли.

Лохань унесли поросенку.

Перед самым сном, когда мать подошла перекрестить его на ночь, он признался.

Пошли в хлев, но лохань уже стояла чистая на своем месте.

Этот эпизод детства Игорь Иванович рассказывал чаще других, только никому не приходило на ум вдуматься в причину этой особой привязанности. Можно было бы и заметить, что случай этот Игорь Иванович вспоминал не только тогда, когда речь заходила о разного рода пропажах и утратах, о том, как люди поступали деньгами ради иного, высокого смысла, но главным образом этот случай выплывал наружу, когда говорилось вдруг о том необъяснимом и загадочном, что окружает человека и даже пребывает в нем самом. По всей вероятности, Игорю Ивановичу приходилось нет-нет да и напомнить самому себе, что, зная, уж судьбой ему уготовано быть человеком, способным на необъяснимые поступки.

...Скрип начищенных ботинок на утоптанном снегу, сопровождавший Игоря Ивановича, придавал не только движению, но и самочувствию категорическую решительность. Была в этом скрипе ясность и четкость посвиста павловской флейты, подтягивавшей и направлявшей

шагавших по дворцовому плац-параду. В скорой походке Игоря Ивановича была откровенность человека, ясно сознающего свои цели и возможности, человека, не умеющего представлять себе жизнь иной, нежели она рисуется перед ним в ежедневной своей конкретности. Читавшие Тацита и наблюдавшие походку Игоря Ивановича могут припомнить, что торопливость носит наружность страха, в то время как небольшая медленность имеет вид уверенности. Смее утверждать решительно, что не только страх, да-да, свивший некогда гнездо в душе Игоря Ивановича, так вот, не только страх испарился и улетел безвозвратно, даже гнезда не сохранилось, не сохранилось и места, где в иные времена это самое гнездо занимало довольно обширное пространство — от сердца, как говорится, до пяток. Быстрота же передвижения, принимаемая за торопливость, должна быть объяснена только свойствами обуви, не рассчитанной на мороз.

Снег скрипел четко и однообразно под легкими ботинками Игоря Ивановича.

Это была настоящая мужская походка.

И скрип снега был настоящий, решительный; за человеком, умеющим вот так шагать, женщина пойдет очертя голову, забыв и бросив все на свете. Игорь Иванович имел в виду красивую женщину с грустными глазами, немо высказывавшими беззащитность и надежду. Ясно как дважды два, что красивая женщина, утомленная предложениями всяческих чувств и любви, верит только в то, что найдет сама, и она ищет, ищет, взглядывая по сторонам глазами, полными надежды. Ей нужен человек независимый и решительный. А что лучше походки может сказать о мужчине? Ничто.

Сверкнули из-под фиолетовой менингитки голубые глаза-молнии, обращенные к Игорю Ивановичу, и нежным рокотом благодарности громыхнуло в груди; в своей сосредоточенности Игорь Иванович не заметил, как с ним поздоровалась всего лишь соседкина дочь, старшая дочь Марсельезы Никоновны, с которой знакомиться не будем, а о самой же Марсельезе Никоновне речь впереди. Итак, опаленный фиолетовой молнией, Игорь Иванович тихо усмехнулся: где мои двадцать пять? — забывая, что именно в двадцать пять он был ввергнут в пучину бед, имевших для всей его последующей жизни самые фантастические последствия.

Игорь Иванович шел вдоль одноэтажных домиков на невысоком каменном цоколе. Окна выходили на тротуар и располагались на высоте груди среднего роста человека, и потому отчаявшиеся обитатели вывешивали на стенки самодельные объявления с просьбой у окон не останавливаться и в окна не заглядывать. Быть может, не все авторы этих слезных, а подчас и строгих афиш не подозревали, что заглядывание в окна имеет в Гатчине давнюю традицию, отличную от кишиневской традиции, преследовавшей исключительно цели волокитства.

Город Гатчина расположен как бы на острове, выступающем в середине сырой болотистой низменности. Чуть приподнятая, возвышающаяся его часть занята императорским дворцом и прилегающими к

нему кавалергардскими казармами, в то время как обширная северо-восточная, мерно переходящая в болото, отведена под устройство горожанам.

Свет и столичная аристократия, не сговариваясь, чурались этого места, словно над ним висело какое-то недоброе знамение, потому, быть может, в отличие от Царского Села, Павловска и Петергофа, имела Гатчина пасмурный лик заштатного уездного городка.

Все здания в Гатчине несходны между собой, в чем почтенные историографы скорее видят не столько богатство фантазии строителей и хозяев, сколько разнообразие бедности. Куда больше сходства было внутри обиталищ горожан, где мебель, посуда и убранство, состоявшее из рукодельных ковриков, вышивок и домашних цветов, служили знаком житейского благополучия и гражданской положительности.

Государь Николай I, приняв от почившей в бозе матушки Гатчину в собственность, любил ежегодно проживать здесь осенью совершенно патриархально. Летние же его визиты напоминали скорее воинственные набеги, когда исполненный боевого азарта самодержец после успешных маневров под Красным Селом входил в Гатчину, предводительствуя покрытыми пылью и славой кирасирами, устраивал им смотр на плац-арене перед дворцом, располагал сопутствовавшее ему семейство на подкормку, а сам скакал под Колпино, близ кирхи разбивалась ему палатка, где в одиночестве он вкушал ужин и остывал от военных упражнений. И даже в отсутствие императора Большой стол, устраивавшийся после маневров, и Фамильный, а в особенности Кавалерский, остро чувствовали непреклонный нрав, решительность и волю нового хозяина дворца.

Осенью же, напротив, государь был исполнен миролюбия и благодетельности; никоим образом не стесняясь, он даже любил, когда местные жители относились к нему с той доверчивостью и любовью, которая характеризует отношение детей к своему отцу.

Простота отношений доходила до того, что жителям не возбранялось смотреть в окна дворца, когда императорская фамилия сидела за обеденным столом или проводила время в разговорах и увеселениях во вкусе *европейской роскоши*.

В заботах о благоустройстве и внешнем благообразии города государь препроводил в Гатчину тетрадь с чертежами образцовых фасадов для применения к обывательским постройкам и предписание строить на цоколе не ниже полутора аршин. Надо думать, до этого предписания обывательские окна сидели еще ближе к земле. Заданная высота не только не мешала обитателям строений наблюдать улицы и прохожих, но в свою очередь и прохожим позволяла обозревать внутренность жилых помещений, утоляя таким образом чувство, названное ныне информационным голодом.

Хотя Гатчина и служила местопребыванием императора Николая I на весьма короткие промежутки времени, обстановка высочайших посещений была такова, что город всегда должен был быть готов принять августейших гостей, и это обстоятельство сообщало ему и жизнь и энергию.

Впрочем, как свидетельствуют хроники, время от времени проливав-

шиеся на город царственные заботы мало способствовали движению города на путях прогрессивного развития.

Ко времени описываемых событий городок уже давным-давно забыл о напряжении, сообщавшемся возможностью высочайших инспекций, отошли в дальнее и недалее прошлое времена потрясений, пылились в архивах камер-фурьерские журналы и журналы со статьями «Керенский в Гатчине». Народный театр во Дворце культуры еще не открыли, а о спектаклях и дивертисментах французской труппы, о пьесах, сыгранных во дворце высокопоставленными особами и членами императорской фамилии с участием самих государей, мало кто помнил. Кстати, куранты на дворцовых башнях пропали во время войны, а дважды переименованный город, побыв недолгое время Троцком, потом чуть подольше Красногвардейском, вновь обрел свое изначальное имя и, пользуясь преимуществами тихой провинции, утешал себя жизнью «не хуже, чем у других».

Шоссейная дорога от Смоленских ворот на юге до Ингебургских на севере разделяла Гатчину на две неравные части, и если пространство влево от дороги, ведущей в столицу, можно было бы по праву назвать историческим, где все значительные строения и события замечены и описаны историками, а события мелкие пунктуально внесены в камер-фурьерский журнал, то пространство вправо от дороги, занятое собственно городом, с таким же успехом и правотой следует считать обочиной истории, где господствует по преимуществу страдательное и созерцательное отношение к исторической действительности, никем не описанной.

Самая разрезающая город шоссе́нная дорога несет на себе знаки исторического движения: именованная изначально Киевской, дорога впоследствии стала Большим проспектом, вслед за тем проспектом императора Павла I, а на последнем историческом отрезке окончательно стала проспектом 25 Октября. Слева все было единственным и неповторимым: дворец, напоминавший снаружи военную крепость, строгим своим внешним обликом спорил с изысканной роскошью внутреннего убранства; обширнейший парк с его прудами, озерами, мостами и мостиками, террасами, Сильвией, Зверинцем, собственным флотом и артиллерией не знал себе равных; круглая рига с зубчатой башенкой, Коннетабль, даже казармы, обыкновенные кирасирские казармы и те блистали именами зодчих — Баженова, Бренны и Старова. В то же время строения, события и имена правой части города, обширной и унылой, заставляли вспомнить о том классическом русском городе, от которого три года скачи — ни до какой границы не доскачешь. Да и можно ли считать событием, достойным истории, преобразование Съезжей части с каланчой в Отдел внутренних дел и переименование Съезжинской улицы в Революционный переулок? Мало кому и что скажет сегодня имя архитектора Кузьмина, воздвигнувшего собор Петра и Павла на пересечении Малогатчинской и Бульварной, поскольку едва ли не самой памятной страницей в этой биографии был десятисуточный арест по именному государеву повелению за превышение сметы, предусмотренной на изготовление икон и стенных росписей для собора. Предмет гордости горожан — дом знаменитого художника,

этнографа и карикатуриста Щербова, в причудливой архитектуре которого навряд ли кто-нибудь узнает руку архитектора Кричинского, прилагавшуюся в ту же пору к строительству Соборной мечети в Петербурге...

Можно еще наскрести коротенький список композиторов и писателей, бежавших в поисках тишины и уединения в это ближайшее к столице захолустье. Но какой из русских городков, простояв и продержавшись на этой зыбкой земле пару сотен лет, не обретет своего Кузьмина, не возгордится своим Щербовым, не помянет с почтением пять-шесть знаменитостей, отдыхавших раз-другой под его пыльными липами по пути в бессмертие?

И все-таки Гатчина несравненна! Где еще найдешь такое место, чтобы вот так рядом, вплотную, по разные стороны неширокого шоссе по-разному шли часы, по-разному показывали время! Слева размеренным царственным шагом ступали куранты истории, а справа сыпался и сыпался мелкий песок судеб в бесшумных часах вечности...

Да была ли история у Гатчины?! Своя история, а не история прихотей ее несчетных владельцев? Что хотел сказать затерявшийся в бездне времен тот первый человек — а ведь был же первый! — кто назвал озерцо почему-то Хотчино? По размышлению? Или бросил в шутку, замерзнув или разомлев от жары, умилясь душой или во гневе, стар он был или молод? Бог весты! Сгинул и оставил нам загадочное словцо, словно упрек нашей гордости, нашему уменью все понять и объяснить. Что думал и думал ли что-нибудь новгородский грамотей, хозяйственно внесший в писцовую книгу Вотской пятины в завершающем году XV века сельцо Хотчино над озерцом Хотчином в числе прочих великокняжеских волостей, сел и деревень в погосте Дятлинском? Вроде сельцо и новгородское, а сестра императора Петра Первого получила от брата в подарок мызу Гатчину под видом бедного финского села. С той поры и пошла кочевать Гатчина со всеми душами мужского и женского пола примыкавших двадцати деревень со всеми угодьями, пашнями, перелогам, покосами, лесами, моховыми болотами и выгонами из рук в руки, от лица к лицу. И кто только не считал Гатчину единственно своей, были среди них и мужи именитые, Куракин например, тайный советник, князь Борис Александрович; был счастливый остзейский пасынок архиатр Блументрост, усыновленный отечеством, недолюбливавшим своих сыновей; ничейная эта страна шла то в награду гофмейстеру, то за долги вновь возвращалась в казну, чтобы стать подарком тридцатипятилетнему генерал-фельдцейхмейстеру и кавалеру Григорию Орлову, большому любителю охоты. И нередко, облачив себя в мундир гвардии пехотного полка, императрица, влекомая чувством дружбы, изволила предпринимать отсутствие из Царского Села в мызу Гатчину, к «гатчинскому помещику», в малой свите. Утомленная дорогой государыня откушивала обеденное кушанье с гостеприимным хозяином и по окончании стола изволила несколько прогуливаться по озеру, забавляться в галерейке с кавалерами в карты, не забывая в обыкновенное время кушать вечернее кушанье с пребывавшими в свите персонами. Предлагалась Гатчина в подарок и вели-

кому поборнику добра и справедливости Жану Жаку Руссо. Трудно сказать, что отвратило французского просветителя от искушения стать гатчинским помещиком и владельцем рабов, но никак уж не описанные щедрой дарительницей здоровый воздух, удивительная вода и пригорки, окружающие озера и образующие уголки, приятные для прогулок и мечтательности. Решающим, надо думать, стало сообщение правдивой императрицы о том, что «местные жители не понимают ни по-английски, ни по-французски, еще менее по-гречески и латыни». Впрочем, с этой стороны за миновавшие два века прогресса среди местного населения почти не наблюдается. По упокоении в бозе императрицына любимца Григория Орлова забывчивая матушка тут же подарила замок и поместье, воздвигнутые убийцами Петра III, сыну убитого, злосчастному наследнику Павлу Петровичу. Практичный и всегда ожидавший худшего, наследник оценил прежде всего удаленность замка от глаз матушки, крепость его стен и возможность устроить наконец-то на этой неверной земле гнездо прочное и основательное, в немецком вкусе. Проворные слугители муз по мере сил подвели исторический фундамент под прихоть очередного владельца, найдя возможность само слово «Гатчина» прочитывать по-немецки и затвердить открытие в исполненных изящества стихах: «...и тако Гатчина со именем согласна, ея и внутренность и внешность есть прекрасна»¹. И Гатчина по воле императора, талантом грубоватого Бренны и переимчивого Львова уподобилась маленькому германскому городу. Ратуша, госпиталь, народное училище, почтовая контора, церковь, военный сиротский дом, стеклянный и фарфоровый завод, суконная фабрика, шляпная мастерская, сукновальня и словно сошедший с картинок из немецких сказок Приоратский дворец с острым шпилем над восьмиугольной башней — все придавало пожалованному в ранг города селенью новое устройство и обличье; куда же делось обличье прежнее и печалился ли кто-нибудь о его утрате — неизвестно. Убранство дворца, способное ответить самому чуткому вкусу любителя истинного искусства, прекрасно устроенный и украшенный парк самым неожиданным образом сочетались с пренебрежением к повседневным удобствам жизни. Чего стоит хотя бы узкая и крутая винтовая лестница, соединяющая во дворце комнаты Павла с внутренними покоями Марии Федоровны. Историки до сих пор удивляются, «как могли по этой лестнице взбираться в парадных русских платьях императрица с дочерьми, великие княгини и свитские дамы» в те дни, когда зачем-то «выход» происходил из нижнего этажа наверх и далее из Тронной в парадные покои.

Пора расцвета, благоустройства и военного могущества пришлось для Гатчины на тяжких тринадцать лет «упражнения в терпении» ее порывистого владельца, обреченного долгие годы носить маску покорного и благодетельствованного сына, непрестанно предававшегося терзавшим душу размышлениям о похищенной матерью короне и находившего опору своим надеждам и выход страстям в бесконечных военных упражнениях и забавах. Всесильный и всевластный хозяин престола, чей минутный каприз и любая прихоть могли стать судьбой

¹ Попытка читать «Гатчина» производным *Nat Schöne* — имеет красоту.

множества людей, томился невозможностью жить своей жизнью, метался между тремя с в о и м и дворцами в Павловске, Гатчине и на Каменном острове в Петербурге, нигде не чувствуя себя самим собой, то есть благодетелем, миротворцем, просвещенным и справедливейшим отцом народов... Где уж там народов, если даже собственных его детей всемилостивейшая государыня мать незамедлительно изымала от родителя под свою опеку и воспитание...

Сгинул и он, придушенный с молчаливого согласия сына на походной кровати рядом с ботфортами, будто и в последнем дворце, самом крепком, самом надежном и богатом, он лишь разбил бивак при неустанном своем движении неизвестно куда.

Так и остался в Гатчине замечательный замок прекрасной декорацией бессмысленного спектакля, сыгранного неведомо для кого и неведомо зачем.

Гатчина, Гатчина — чья ты боль? чье ты счастье?..

Словно крутые, отвесные берега реки Славянки, открывшие для всех спрессованную историю земли, ты лежишь предо всеми распахнутой и забытой на обочине книгой, «безуездный город» дворцового ведомства, где городничим сам император! Где как не здесь Великая Империя обнаруживает свое сокровенное существо, где как не здесь видны незримые из других мест нити, прямо соединившие самую верхнюю точку, расположенную, быть может, на вершине креста, венчающего корону, с неразличимой точкой где-нибудь на прохуdivшихся подметках последнего подданного империи? Где как не здесь разыгрывались, а быть может, и по сей день разыгрываются фантастические по своей невозможности истории, способные изумить людей, еще не разучившихся, не утративших способность изумляться до боли в сердце, несмотря на многолетнюю привычку к жизни, объясненной во всех ее проявлениях и подробностях?

Ко времени описываемых событий город переживал в своей истории, быть может, самый благоприятный этап для многообразного и разностороннего развития сети пунктов приема посуды. Стоит напомнить, что в ту пору даже в головах наших отечественных жюльвернов не могло возникнуть словосочетание «салон по приему стеклотары». Напротив, запрет приема пустой там, где торговали ею наполненной, заставил приемщиков посуды искать приют в самых невероятных строениях, частях строений и без пяти минут руинах.

Исключенный из списков интуристовских маршрутов, город с величайшим трудом выкарабкивался из той отчаянной беды, из этой бездны, в которую был низвергнут фашистским нашествием.

Кстати, одним из первых был восстановлен и открыт для посетителей «Павильон Венеры» на «Острове Любви» в гатчинском парке. Оккупанты, с риском для жизни притащившиеся в Гатчину в начале сороковых годов нынешнего столетия, не пощадили трудов своего бывшего соотечественника Меттенлейтера, ставшего в России академиком живописи «кабинетных картин во фламандском вкусе» и распи-

савшего 80-метровый плафон «Триумф Венеры» в одноименном павильоне. Земляки придворного живописца прицельно расстреляли из своих громких парабеллумов шаловливых амуров на потолке, еще не пресыщенные удовольствиями холостой военно-полевой жизни, изрешетили Юнону, покровительницу брака, не утолив желания видеть Венеру во всей ее наготе, расстреляли нежных Ор, служанок богини, придерживающих ее покрывало, а демонстрируя мужество и бесстрашие, избили меткими пулями кролика, символизирующего, как известно, робость... Зеркала в проемах между огромными невесомыми окнами они украли, а вделанные в пол мраморные вазы-фонтаны украсть не сумели и поэтому просто разбили, по-видимому, прикладами винтовок... Все эти подробности стали достоянием истории лишь потому, что сам «Павильон Венеры», совершенно деревянный, да еще обшитый легкой трельяжной плетенкой, способный вспыхнуть разом от неаккуратно придавленного в углу окурка, уцелел, в отличие от множества каменных дворцов, десятков павильонов и особняков, сотен памятников и обелисков, воздвигнутых из куда более крепкого материала.

Разрушенные здания, впрочем, как и дворец, были не столько восстановлены, сколько приспособлены для гражданских нужд, для нужд обитания людей и учреждений. Раны, хотя наскоро и в меру сил и средств и подлеченные, оставались ранами. Характернейшим элементом зданий, не представлявших художественной и исторической ценности, стали пристройки, надстройки и достройки — причудливый симбиоз каменно-деревянных строений, где к бывшей гостинице, построенной с претензией на итальянство, лепился бревенчатый сруб и где трудно было подчас отличить жилье от хозяйственной постройки и хозяйственную постройку от жилья.

Печальные памятники послевоенной, наскоро сколоченной жизни к середине шестидесятых годов стали ветшать, требовать новых решительных усилий для поддержания жизненного минимума, а потому, представляя угрозу для обитателей, расселялись, открывая для арендаторов пунктов приема стеклотары богатейший и разнообразнейший выбор. Помнится, какой-то пункт просуществовал два года даже в гаденьком кинематографе, описанном в свое время Куприным, а в наше время закрытом и подлежащем немедленному сносу.

Дом, к которому направился Игорь Иванович, производил впечатление недостроенного. Его гладкие двухэтажные стены с безбровыми глазницами окон, казалось, еще ждут небольших последних штрихов, чтобы обрести свое лицо. Но иметь лицо дому не предусматривалось, по какой причине, судить трудно. Скорее всего потому, что оказался он сдвинут с улицы на задворки, на пустырь, в окружение приземистых, хорошей кирпичной кладки амбаров, двухэтажных дощатых сараев и сараев поменьше, построенных из самых неожиданных материалов: автомобильных дверок и кузовов, деталей грузовых вагонов, металлических листов и, главным образом, горбыля и толя.

Гладь стены с двумя рядами окон, будто вырезанных бритвой в сероватом картоне, нарушалась приступочкой из двух ступенек, шедших к третьему от правого угла окну, превращенному по временной

надобности в дверь. Прямо с улицы человек попадал в комнату, а уже через нее мог пройти на кухню — между кухней и комнатой раньше было что-то вроде тамбура, но для удобства одну перегородку сняли совсем, а другую сдвинули почти к самому входу с улицы. Стены хранили следы истребленного жилья, напоминавшего о себе пятнами от картинок и фотографий на выгоревших обоях, картонкой оборванного календаря, замусоленной круглой печкой, ветхим амбирным креслом без одной ножки, зато с ковровой обивкой, правда, изодранной.

Решительная перепланировка образовала небольшую прихожую, способную вместить человек пять-шесть с посудой, и обширное пространство, заставленное деревянными ящиками.

Дом был расселен еще в позапрошлом году, но, как потом выяснилось, все-таки поспешно, поэтому уже осенью прошлого года было получено согласие на аренду части его помещений под временные нужды.

Игорь Иванович подошел к приступочке, где переминались на морозе человек десять, не больше. Прочитав листок, прикрепленный к дверям, он обратился к обществу кивком головы и невнятным звуком, напоминавшим «день добрый». Услышав в ответ что-то такое же невнятное, четко спросил:

— Давно?

— С Витькой ушла, — визгливо сказала какая-то дама.

Игорь Иванович быстро просчитал: подсобников звали Шурка и Костя, завмага звали Виктор Павлович, но его никогда не назвали бы Витькой, значит, ушла с сыном. Уйти могла или в поликлинику, или вызвали в школу. Анька — человек известный, ни там, ни там томить не станут, долго не задержат.

Игорь Иванович занял свое место в очереди, терпеливо перетаптывавшейся на морозе и вжимавшейся в одежду для наилучшего сохранения тепла.

— Давно она ушла? — поинтересовался Игорь Иванович, но вопрос растворился в морозном воздухе, в тишине, нарушаемой лишь поскрипыванием снега под переступавшими с ноги на ногу сдавальщиками.

— Такие молодые — и уже пьяные, — сказала бабенка с тремя бутылками, заметив на подходе двоих парней.

Один был в распахнутом ватном бушлате армейского образца, свалывшемся замусоленном шарфике, не прикрывавшем голую красную шею, и огромных валенках, в которые, казалось, можно было бы влезть даже в сапогах. Парень остановился, счастливой улыбкой приветствуя общество.

Второй направился прямо к объявлению на двери. Его красные от мороза пальцы цепко держали за толстое горлышко по паре бутылок в каждой руке, глянцево поблескивавших, как заледенелые головешки с зимнего пожара.

— Прокол? — все еще улыбаясь, то ли спросил, то ли констатировал тот, что в бушлате. Неожиданное препятствие рушило планы, но еще не испортило настроения.

Тот, что читал объявление, стал дергать дверь.

Парень был здоровущий, и дверь опасно задрожала, грозя вместе с дверной рамой вывалиться наружу, а тогда, мелькнуло у Игоря Ивановича, Анька закроется самое малое на неделю.

— Вы, ребята, нечего здесь мешать. Или стойте, как положено или нечего балаганить. Вот так вот! — не глядя на парней, а скорее ища поддержки у очереди, объявил Игорь Иванович.

— Батя,— сказал счастливый парень, убежденный в возможности найти общий язык с любым человеком на свете, так как любому в свете понятно их положение,— нам же на «фаустпатрон» не хватает! — И потряс тяжелыми бутылками.

— А мы что, на хлеб сдаем, что ли? — высунулся мужичок из поднятого воротника.

Все рассмеялись, парни тоже, только Игорь Иванович, пригрозивший к серьезному, смеяться не стал.

— Мамаша,— сказал счастливый,— вы будете стоять?

— А как же!..

— Сдайте наши... Вам же все равно!

— Что я вам, приемный пункт? — сказала женщина с тремя бутылками в сетке.— Все стоят, и вы стойте.

— Мы не можем, нас люди ждут,— поспешил на помощь друг

— Вас пьяницы такие же ждут, а у меня дети дома оставлены сказала общительная тетка.

Счастливый помрачнел, обвел очередь взглядом, словно перебив с кем бы заговорить. Все смотрели куда-то мимо.

— Лю-юди...— выдавил парень злую усмешку, посмотрел на тылки и, коротко размахнувшись, хажнул о стену сначала одну, по вторую.

— А ну не хулиганить! — грозно сказал Игорь Иванович.

— Все в порядке, батя, держи,— сказал парень и поставил рядом с его ботинками четыре больших бутылки.— Алик, давай твою И поставил еще две.— Держи, папаша, сдашь, как положено, куп как положено... Нос не отморозы!

Парни размашисто зашагали прочь.

«В таких валенках, в бушлате ватном,— подумал Игорь Иванович,— и полдня простоять можно».

— Бери бутылки-то, бери... Ишь, раскидались,— сказала отельная женщина.

— Вот напьются, а потом нервы треплют и себе, и людям сказала женщина с тремя бутылками.

— Посуду берешь? — снова высунулся из воротника муж В душе Игоря Ивановича клубились змеи.

«Шесть штук по семнадцать... Больше рубля... Я их на поставил, к порядку призвал, а теперь подбирать... Взять надо так, чтобы не уронить себя... Надо сетку достать... Больше рубля еще три пива. Три да три, шесть бутылок пива, куда его столы можно что-нибудь и посущественней...»

Если бы Игорь Иванович вот так еще минут десять-пятнадцать постоял около этих злосчастных бутылок, свыкся бы с ними, бы с мыслями о них, то, скорее всего, каким-нибудь естество

неторопливым жестом и переставил бы эти законные трофеи в свою сетку, но тут опять вывернулся тот, из воротника.

— Берешь, нет? — и взял одну бутылку в руки словно для того, чтобы разглядеть, не обито ли горлышко, нет ли чего внутри. — А чего, нормальная бутылка. — И положил к себе в торбочку, специально для этого извлеченную из кармана. — Мне так очень даже сгодится.

Потом взял вторую бутылку и тоже для приличия стал ее изучать.

Игорь Иванович пнул бутылку, стоявшую рядом, и та завертелась на утоптанном снегу.

— Наставят тут! — Игорь Иванович отступил в сторону.

— А мне в самый раз, — сказал мужичок и, уже не разглядывая каждую, собрал остальные и побежал за откинутой Игорем Ивановичем.

— Ишь, шустрый какой, — сказала женщина с тремя бутылками. — Тебе их дали, что ли?!

— Я товарища спросил, он не хочет, а мне в самый раз... Нормальные бутылки, — буркнул и утонул в поднятом воротнике.

Женщинам ничего не оставалось, как обменяться осуждающими усмешками по поводу пронырливого мужичка.

На улице по-утреннему было холодно и пусто.

Игорь Иванович не только боялся холода, но и как бы даже опасался, что кто-нибудь эту боязнь заметит.

— Хорош морозец, — неожиданно и даже к общему удивлению произнес он, ни к кому не обращаясь, и замер, энергично перебирая пальцами ног в ботинках.

Знаменитый полярный исследователь, скорее всего Амундсен, утверждал, что холод, мороз — это единственное, к чему не может привыкнуть человек, и случись ему сейчас стоять рядом с Игорем Ивановичем и понимать по-русски, он непременно бы заинтересовался в высшей степени неожиданным для человека в кепке и легких ботиночках заявлением. В этой связи необходимо сделать еще одно отступление, чтобы окончательно ввести наконец повествование в его фантастическое русло.

Город Кронштадт, разместившийся на плоском и низменном острове Котлине, следует признать местом, благоприятным для разыгрывания фантастических историй наряду с Загорском и Гатчиной. И то сказать, что никто не удивляется, читая в официальных описаниях событий, происходивших на этом острове, загадочные с точки зрения повседневного сознания сведения.

С достоверностью известно, что в сентябрьском вооруженном восстании 1905 года участвовали 3 тысячи матросов и полторы тысячи солдат, а при подавлении стихийного революционного выступления было арестовано 4 тысячи матросов и 800 солдат, из коих 10 человек отправились на каторгу, а 67 угодили в тюрьму.

Куда более загадочные и необъяснимые с точки зрения положительной науки следы оставил в официальных изданиях кровавый мятеж 1921 года. Военные историки будущих времен немало удивятся, узнав, что потери среди атаковавших первоклассную морскую крепость с открытых всем ветрам ледяных полей, где и укрыться-то

можно только за трупом павшего прежде тебя товарища, потери очень скромные — 527 человек, в то время как защитников крепости в ходе штурма погибло вдвое больше; чувство удовлетворения вызывает и утверждение, что ранен среди атакующих был лишь один человек из десяти. С точки зрения милосердия и человеколюбия эти сведения весьма утешительны, но тут же возникают совершенно ненужные вопросы. Значит, не потеряла бригада Тюленева за первый час боя ровно половину своего состава? А ведь бригада — это три полка минимум. Значит, и бригада Рейтера, первой ворвавшаяся на Петроградскую пристань Кронштадта, за двадцать минут боя не поредела на треть? Значит, и у Итальянского пруда не полег 3-й батальон Невельского полка? И бригадная школа, брошенная на прикрытие отхода обескровленных и разбитых невельцев, не погибла целиком? И не докладывал комдив истекающей кровью Сводной дивизии, уцепившейся за восточный край острова, что нет больше человеческих сил держаться и возможен отход во избежание полного истребления? И зачем только питерцы помнят, как 8 марта 3 тысячи беззаветных красных курсантов были брошены юным командармом-7 на штурм тридцатитысячного гарнизона крепости, как по дороге к твердыне брали курсанты штыком и гранатой оледенелые неприступные форты, как вошли-таки, ворвались в город и в городе дрались, да там и полегли, не помышляя о славе, не помышляя о том, как боящиеся простуды и служебных неприятностей историки из соображений высшего порядка их смерть и кровь сочтут не имевшими места.

Кронштадтский мятеж в отличие и от октябрьского кронштадтского восстания 1906 года еще терпеливо поджидает своего историка.

Странно отразились события февраля и марта 1921 года в противоречивых и удивительных сведениях о них. А началось все с того, что об этих событиях постарались забыть. Пятитомная история в фундаментальном бордовом переплете, украшенная портретами и картинками, любовно прикрытыми плащаницей из папиросной бумаги, снабженная даже нарукавной повязкой красногвардейца, история, дотошно освещающая всю гражданскую войну по самый ее край в 1922 году, не содержит на своих веленевых страницах ни рассказа, ни упоминания о мятеже, представлявшем, по мнению Владимира Ильича Ленина, для советской власти опасность большую, «чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые». Даже воспоминания участников событий, частично дошедшие до нас, появлялись на свет то без начала, то без конца, а то и вовсе без середины. Мемуаристы, иногда и в глаза друг друга не видевшие, будто по сговору впадают в немоту и беспамятство, едва дело коснется выдворенных за пределы истории подробностей. Отдельные исторические лица, возвышавшиеся на авансцене революции и гражданской войны, сыгравшие какую-то роль и в кронштадтских событиях, вдруг исчезали, словно подо льдом, вместе с сотнями безымянных красноармейцев и курсантов, атакующих вьюжной ночью неприступную морскую крепость. Даже округленный подсчет жертв с той и с другой стороны, где цифры заканчиваются

двумя и тремя нолями, вызывает не только печаль от небрежения десятками, не говоря уж о единицах, но и ставит в укор историкам и статистикам их поспешность в изложении совершенно правильных выводов, минуя частности и подробности...

Где же еще прикажете искать фантастических героев и фантастические события, как не в черных дырах истории, поглотивших, надо полагать, не одного любопытствующего, нерасчетливо заглянувшего за край! Именно здесь, где жизнь спрессована в сверхплотное вещество, где замерзают в зарево пожаров города, где пламенеют отчаянием недра засыпанных снегом линкоров, где в нерасторжимое вместе спеклись бинты и кровь, где висают надо льдом вздыбленные взрывом в небо непривычные к полету лошади и остаются последним видением в глазах ошалевшего от грохота и воя бойца, прикрытого от смерти материнской молитвой да белым халатом, выданным перед атакой; где как не здесь, среди задыхающихся паровозов и надменных броневиков, нюхающих весенний воздух тупыми рыльцами пулеметов, где как не здесь, откуда мы родом, обратиться нам всем, кто помнит, кто видел, кто знает... бросить горсть земли и разойтись молча...

Если с восстанием 1906 года ясны хотя бы итоги: 1417 человек осуждены, 36 казнены, то с мятежом все значительно сложнее, с достоверностью же можно утверждать лишь одно: мятеж 18 марта был подавлен, а Игорь Иванович Дикштейн 21 марта казнен. Читатель ждет непременного разъяснения и уверений, что, дескать, смерть Игоря Ивановича носила случайный характер, совсем не обязательный, и была как бы не совсем смерть, и хотя малые основания для такого суждения, понятное дело, есть, но стоит вспомнить мятеж, яростный и кровавый жестокость и беспощадность боевых действий с обеих сторон, чтобы не заблуждаться относительно смерти на войне. Уж скорее жизнь на войне можно назвать случайной, а никак не смерть.

Между октябрьскими событиями 1906-го и февральскими 1921-го нельзя не заметить мятеж мобилизованных матросов 14 октября 1918 года в Петрограде, по социальной и политической сути бывший предвестником Кронштадтского восстания 1921 года. С одной стороны, мобилизованные матросы еще не могли освободиться от деревенских переживаний и несли в себе недовольство кулацкой и середняцкой массы политикой пролетарской диктатуры, а с другой стороны, по меткому замечанию комиссара Балтфлота, из самой матросской массы еще «не были выдавлены все контрреволюционные угри». И лозунги уже были те же, что и через два с половиной года в Кронштадте, — «свободные Советы», «долой комиссародержавие» и все такое, да и вдохновители те же — левые эсеры, максималисты, анархия. По весеннему опыту ликвидации таких настроений в минной дивизии флота было совершенно ясно, что в обработке мобилизованных матросов придется, вероятно, прибегнуть к революционным репрессиям.

Но обошлось без них. Постоянное несчастье левых эсеров — в неумении рассчитывать шансы на победу и в желании побыстрее получить шумный эффект.

Мятеж бряцал оружием, но 14-го вышли на демонстрацию, оставив оружие в казармах, а вот без оркестра идти отказались. Как известно, Второй флотский экипаж в двух шагах от Мариинского оперного театра, туда матросы и зашли за оркестром прямо во время представления «Сеидильского цирюльника» — спектакли тогда начинались рано. Извинившись и вежливо объяснив публике и дирижеру, для каких целей мобилизуется оркестр, попросили музыкантов выходить строиться с инструментом. Струнных и арфу попросили не беспокоиться, упор был сделан на духовые, а вот с ударными вышел конфуз. Главный большой барабан, краса и гордость всякого оркестра, оказался намертво принайтован к оркестровому трюму. Попытались сначала снять по-хорошему, потом стали прикладывать силу, и все это под свист и улюлюканье несознательной публики, по преимуществу мелкой и средней буржуазии. Особенно обидно было слышать матросам выкрики с добавлением «большевики» и «комиссары», но объяснить публике, что как раз против большевиков и комиссаров и собираются они идти с барабаном, не было никакой возможности. В конце концов больше всех переживавший оркестровый ударник пообещал из среднего барабана извлечь звука не меньше, чем из большого. Пришлось пойти на этот компромисс, поскольку оторвать большой барабан от оперного театра без значительных обоюдных повреждений оказалось невозможно.

Уже около Николаевского моста вспугнутая случайным винтовочным выстрелом демонстрация мятежников смешалась и двинулась обратно в казармы.

Историю эту Игорь Иванович услышал, когда команда линкора «Севастополь» принимала резолюцию, где требовала от комиссаров Балтфлота «строгого разбора с этими элементами» и просила не останавливаться «ни перед чем, хотя бы пришлось вырвать несколько десятков человек из среды мобилизованных».

В 1921-м в Кронштадте начиналось почти так же, только не так пошло да не так и кончилось.

Буза шла весь февраль; для утомленной бездельем и митингами матросни со скованных льдом кораблей не было другого дела, как высчитывать полноту и недостачу выдаваемых пайков, наблюдать за нечеткой работой интендантских служб по части обеспечения вещевым довольствием да вести бесконечные разговоры о деревне, о земле, о свободе торговли, о затянувшейся мобилизации, о заградотрядах, вылавливающих на транспорте любого, кто везет в город продукты на обмен.

С тусклыми лицами слонялись они по заплеванному, грязному кораблям, по неделям не убирая даже снег. На глазах угасало любопытство и к политике и к литературе, несмотря на обилие лекторов, охотно ехавших на корабли за продуктовым гонораром. На лекции политической тематики ходили неохотно, поэтому их почти и не было. В программу Политотдела для чтения солдатам и матросам были включены такие темы, как «Происхождение человека», «Итальянская живопись», «Греческая скульптура», «Каменный век». Почему-то особым спросом у военморов пользовалась лекция о

сугубо сухопутной стране — «Нравы и быт жителей Австрии». Но, как правило, если и сходились в кают-компании по тридцать — сорок человек послушать какого-нибудь лектора, то все опять сводилось к тем же бесконечным вопросам о земле, свободе торговли, опять же о зарплатах.

Невыполнение приказаний на корабле стало почти обыденным, обнаруживалось и вялое отношение партийцев к своим обязанностям. Среди команды было брожение по поводу отпусков, которое выразилось в самостоятельном созыве ротных собраний, на которых команда отказывалась от 5% отпусков, требовали больше. Матросы желали объясниться с командующим флотом и его заместителями и требовали созыва бригадного совещания.

Да, флот был уже не тот, и «Севастополь» не тот, что одним дыхом принимал резолюцию против недовольных новобранцев и лихо бил по мятежной Красной Горке осенью 1919-го.

На смену революционным морякам, раскиданным по всем фронтам от Украины до Сибири, пришла сырая крестьянская масса, уставшая от «военного коммунизма», готовая вспыхнуть от любой искры. А тут еще иуда Троцкий, как свидетельствуют историки, «перебросил в Кронштадт много своих лиц из районов, охваченных кулацкими мятежами».

К 1921 году Кронштадт походил на плохо охраняемый и в беспорядке содержащийся пороховой погреб.

28 февраля на «Петропавловске» старший писарь Петриченко протасил резолюцию за «Советы без коммунистов». Пошли на второй линкор, благо оба стояли рядом кормой к стенке в гавани Усть-Рогатка. На «Севастополе» общее собрание к резолюции присоединилось.

Отправили в Петроград делегатов, чтобы ознакомиться с причиной волнений на фабриках и заводах, а заодно пощупать настроение на «Полтаве» и «Гангуте», стоявших охлажденными в городе на Балтийском заводе, но все еще числившихся в 1-й бригаде линейных кораблей.

Многие вообще считали, что вся буза пошла с линкоров, потому и прошли впоследствии частым гребнем по «Петропавловску» и «Севастополю». Что касается «Гангута» и «Полтавы», пусть скажут спасибо двадцатилетнему беспартийному командиру коммунистических отрядов Петроморбазы Мише Кручинскому, поднявшемуся без ремней и оружия на борт вмерзшего в невиский лед линкора. На корабле царил страшное возбуждение, подогретое в ту пору успехом кронштадтцев, с легкостью отбивших первый штурм. Что он там говорил злобно оравшей и размахивавшей оружием матросне «Гангута» и подошедшим делегатам с «Полтавы», никто уже не скажет, но после двухчасового митинга оба экипажа сочли за лучшее сдать оружие, снаряды, патроны и с кораблей уйти. На борт опустевших дредноутов поднялась охрана из курсантских частей Петрограда. Видно, немало народу молилось за здоровье Кручинского, если целым прошел он две войны, в 1942-м вступил в партию и дожил до глубокой старости.

Известие о «Гангуте» и «Полтаве» мгновенно облетело всех и сбilo дыхание у кронштадтских агитаторов, уверявших, что матросы на матросов не пойдут, и крепко надеявшихся на приставленные к вискам города двенадцатидюймовые орудия линкоров.

...Все в этой истории состояло как бы из двух половинок, причем совершенно противоположных, как и погода на переломе от зимы к весне — то мороз, то оттепель, то лужи, то пурга. Вот и бригада линкоров — пополам, власти в Кронштадте — две, войска и в петроградском гарнизоне и в крепости колеблются то туда, то сюда, даже партийная ячейка в Кронштадте и то развалилась на две — одна за мятежников, другая категорически против. А уж о «Севастополе» и говорить нечего, видно, и ему было на роду написано иметь две судьбы: два названия, две войны, два флота, два сердца — угольное и нефтяное... Лишь на склоне долгих отпущенных милостивой судьбой лет, когда при стрельбе главного калибра в низах с треском лопались стеклянные плафоны и электролампочки, осыпалась краска и изоляция, отваливались от переборок проржавевшие, дослужившие свой век крепления рундуков, линкор, прежде чем быть исключенным из списков уже Черноморского флота и разобранным на металл, вновь обрел свое родовое имя, став из «Парижской коммуны» опять «Севастополем».

И все-таки судьбу одного человека проследить и описать куда трудней, чем историю государства, города или знаменитого корабля.

Несмотря на тьму, покрывающую происхождение Игоря Ивановича и ему подобных, кое-что установить удалось, хотя и с величайшим напряжением сил. Однако в почерпнутых сведениях, по большей части безусловно достоверных, могут оказаться одна-две неточности, просто не поддающиеся проверке. Чтобы свести возможность ошибки к минимуму, приходится прибегнуть к многократно проверенному способу написания обширных биографий древних и не очень древних героев, о ком вообще ничего не известно, ну почти ничего. Берутся крупницы достоверных подробностей, сохраненных благодарной памятью человечества и милосердной случайностью, и погружаются в обилие сведений вокруг да около — об эпохе, погоде, модах, слухах, геологических и социологических процессах, — почерпнутых из прошедших проверки изданий, благодаря чему и домысленные подробности, одна-две, в биографии главного героя начинают выглядеть более-менее правдоподобно.

...Прочитав еще в Гельсингфорсе 28 октября 1917 года в газете «Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов» выступление председателя Петросовета Троцкого об учреждении новой власти, о новой победе низов над верхами, на редкость бескровной и на редкость удачной, приняв к сведению установление диктатуры, поставившей низы выше верхов, Игорь Иванович с отчетливостью увидел свое место в этой борьбе — посередине. Он решительно не нуждался в тех благах, которые несло низвержение Временного правительства. В земле он не нуждался, на фабрики и заводы не претендовал, свободы начиная с 1 марта 1917 года у него было более чем достаточно, даже можно было бы и поубавить, а что касается войны, так она для флота была не такой уж и обременительной, а идея немедленного мира казалась ему настолько нереальной, что принималась лишь как тактический лозунг большевиков.

Игорь Иванович Дикштейн был из недоучившихся «черных гардемаринов», низкорослый кондуктор из студентов, попавший на флот во время войны, имел жиденькую и потому казавшуюся неопрятной

бородку, очки в серебряной оправе и тихое заведование — погреба второй башни главного калибра. Без труда усвоив все правила содержания, ухода и хранения боезапаса, кондуктор с немецкой аккуратностью, не раз поощрявшейся старшим артиллеристом «Севастополя» Гайцуком, смерть которого будет описана ниже, усердно «выхаживал» боезапас. После Брестского мира многие офицеры и мичманы старой армии с флота уволились, получив на руки отпускные билеты, в которых значилось: «...увольняется в отпуск до востребования и обращается в первобытное состояние». Игорь Иванович в первобытное состояние обращаться не спешил, в Петрограде был голод, и, по всем сведениям, так широко обсуждавшимся на бесконечных митингах и спорах в кондукторской кают-компании, наступивший 1921 год никакого облегчения не обещал. Сытный краснофлотский паек заслуживает того, чтобы быть названным по составным частям, поскольку и половины того не получали рабочие в Петрограде: полтора-два фунта хлеба, четверть фунта мяса, четверть фунта рыбы, четверть фунта крупы, 60—80 граммов сахара — и все это на один день. Правда, желание съесть хлеба или других продуктов возникало у многих вставших от стола и после флотского обеда. Хотя база снабжалась регулярно, без перебоев, по нормам зимнего времени, но продукты, поступающие на довольствие, были не всегда хорошего качества. Вместо круп часто шел в пищу мерзлый картофель, не хватало жиров, сахара...

Мать и младший брат умерли в 1919-м от голода в тесной квартирке на пятом этаже старого дома по Петропавловской улице в Петрограде, поэтому задача выжить стала единственной и главной для Игоря Ивановича. Он умел предвидеть, умел рассчитать, но все чаще и чаще и даже вовсе не неожиданный, а какой-то идущий своим путем строй событий все его вроде бы просчитанные конструкции рушил.

Сначала все шло в соответствии с расчетом.

В предвидении мобилизации Игорь Иванович пошел вольноопределяющимся, что давало совершенно очевидные льготы, право выбора рода войск и даже специальности. Одновременно с его уходом на флот облегчалось положение семьи, жившей на небольшую отцовскую пенсию. На корабле он выбрал самое безопасное место — снарядные погреба, и был прав, потому что даже в то время, когда все службы на корабле разболтались, когда порядка не стало никакого, лишь минно-артиллерийские содержатели пользовались непрерываемым авторитетом. Наряды назначались на демократической основе, вахты несли из рук вон плохо, снег лежал, лед не скалывали, но артодозоры, наблюдавшие погреба и следившие за состоянием боезапаса и исправностью системы орошения, пожаротушения и затопления погребов, назначались строго и исполнялись по совести. Даже самый темный матросик из деревенских быстро понимал, что значит неисправность патронной беседки и беспорядок в кюйт-камерах.

Игорь Иванович не собирался век свой коротать на флоте; нужно было пережить все эти передряги, закончить образование и жить солидной и обеспеченной жизнью русского инженера. А потому он сторонился всяческой политической активности, называл себя сочувствующим, но не уточнял кому, и в душе своей нисколько не осуждал авроровцев, чуть ли не на следующий день после неудачного вы-

ступления большевиков в июле присягнувших Временному правительству, а потом это же правительство пугнувших холостым выстрелом из-за Николаевского моста в ночь взятия большевиками Зимнего.

Было бы абсолютно неверно предполагать, что, дескать, в то время, когда весь народ готов был сплотиться вокруг одной великой цели, когда жажда свободы была у всех на устах, а сердца переполнены стремлением вперед, один Игорь Иванович Дикштейн в своей средней части подбашенного отделения, где расположен снарядный погреб, среди стеллажей, зарядников и храповых приспособлений, с помощью которых снаряд укладывался на тележки и подавался к подготовительным столам, — один он не испытывал жажды свободы и стремления вперед. Конечно, испытывал, но очень недолго, и после известных событий, последовавших одно за другим буквально через день и оба раза на его глазах, Игорь Иванович замкнулся и ни о жажде своей, ни о стремлении ковать свободу предпочитал вслух не говорить.

В соответствии с боевым расписанием зимой 1917 года обе бригады линейных кораблей стояли в Гельсингфорсе.

2 марта, на следующий день после получения известия о падении самодержавия, был убит контр-адмирал Небольсин. А 4 марта, когда выводили из гельсингфорсского порта арестованного адмирала Непенина, отказавшегося сложить полномочия командующего Балтийским флотом без приказа Временного правительства, уже у ворот в него выстрелили прямо на глазах толпы.

В газетах оба случая называли инцидентом, и, что более всего поразило Игоря Ивановича, никому ничего за это не было.

Игорь Иванович замкнулся под тремя броневыми палубами и с еще большим тщанием следил за состоянием аэроохлаждающей системы «Вестингауз — Леблан», обеспечивающей в погребах в автоматическом режиме температуру пятнадцать — двадцать градусов, с предельным вниманием следил за направляющими латунными поясками и всякими там бронебойными и баллистическими наконечниками трехсот своих подопечных. Как прилежный старшина боезапаса, он строго следил за герметичностью пеналов, хранящих полузаряды нитроглицеринового трубчатого пороха, обшитого великолепным, дотла сгорающим шелком, проверял легкость хода зарядной платформы, вращающейся на шаровом погоне, работу малых подъемников шестидесятикилограммовых полузарядов, придирчиво осматривал резиновые ролики снарядных лотков, предохраняющие от забивания ведущие пояски четырехсоткилограммовых снарядов.

Оказавшись в феврале 1921 года в Петрограде, Игорь Иванович в первую очередь уловил острое сходство с событиями четырехлетней давности, хотя народу в городе поубавилось, и очень заметно.

...Даже не то что поубавилось, а, можно сказать, обезлюдел город, где против двух с половиной миллионов населения в 1916 году к февралю 1921-го не осталось и одной трети, меньше 800 тысяч. Распылился и рабочий класс, опора революции, набиралось едва 90 тысяч, впятеро меньше, чем в том же 1916-м, да и по составу народ уже был не тот, кто только не прятался на заводах от призыва в армию или в погоне за рабочей карточкой и пайком. Отсутствие

рабочей силы восполнялось трудармейцами, то есть воинскими подразделениями, получавшими вместо долгожданной демобилизации направление на работу. Привозились граждане из 37 губерний по трудповинности и трудмобилизации, только этих никто толком не считал, поскольку разбегались они по мере возможности вроде первых строителей Петербурга, так же скрывая свои профессии, а в общем-то попросту не желая после победоносного окончания войны жить на казарменном положении, вдали от дома, да еще и на полувоенном положении.

Трудармейцы эти как жили, так и работали, а жили плохо — и в смысле обстановки и хозяйственного устройства, и в смысле еды и одежды.

На VIII Всероссийском съезде Советов отвечавший за транспорт Троцкий заверил страну в том, что наступающая зима «не грозит нам гибелью, не грозит нам полным параличом, которого мы могли бы ожидать в середине зимы». Трудно сказать, на что опирался оптимизм вождя, только паралич надвинулся прежде, чем зима подошла к середине.

Впрочем, экономические трудности еще не давали разглядеть политический кризис, уже заявивший о себе на том же VIII съезде Советов в крестьянских речах. «...Все обстоит хорошо, — с привычной мужицкой смиренностью говорил хитрый делегат, — только земля-то наша, да хлебушко ваш; вода-то наша, да рыба-то ваша; леса-то наши, да дрова-то ваши...» Поэтому мужик и в лесозаготовках, и в снабжении города продовольствием участвовал неохотно. Освободив беднейшее крестьянство от продразверстки, власти стали привлекать к ответу за несвоевременные и нечеткие выполнения заданий Наркомпрода и по топливу не отдельных крестьян, а всю деревню, что вызывало возражения несознательной массы.

Топлива Питер в январе получил треть от запланированного, а в феврале только четверть. Зима же выдалась тяжелая, морозная, с большими заносами. Каменный центр города стал отапливаться деревянными окраинами, раскатали 175 зданий и добытые таким путем 3 тысячи кубических сажень дров поделили справедливо: 2 тысячи пошли населению, а 1 тысяча на отопление учреждений. В феврале приговорили к слому еще 50 сооружений. Понимая, что этот источник, как и все другие, ограничен, Петросовет выступил с обращением, разъясняя гражданам, что слом строений можно производить только по разрешению Совнархоза.

Хотя урожай в 1920 году был неплохой, из-за нехватки топлива, подвижного состава и заносов продовольственные эшелоны ползли к городу со средней скоростью 84 версты в сутки, иногда эта скорость доходила до 32 верст. Продукты портились по дороге; так, яйца, доставленные из Сибири, пришли испорченными, картошка тоже мерзла в пути и приходила негодной.

15 февраля в город не пришел ни один вагон с продовольствием. Запаса хлеба не было, то есть был, но на один-два дня, если выдавать по половинной норме. И так весь март.

Специально образованная Комиссия по снабжению столиц при

СТО¹ сократила в январе на десять дней выдачу хлеба по карточкам на одну треть, выдавая двухдневную норму на три дня; решение это касалось не только Москвы и Петрограда, но и Иваново-Вознесенского района и Кронштадта. Однако и по истечении оговоренного срока Петросовет был вынужден объявить о снижении хлебных норм для некоторых граждан, а для других пришлось пойти на отмену специальных продовольственных пайков.

Без топлива, без еды, без заинтересованных в труде квалифицированных рабочих много не наработаешь, пришлось закрыть 93 предприятия, да не каких-нибудь, а «Путиловец», «Лесснер», «Треугольник», Франко-Русский завод, завод Барановского, Ленгензилен. Без работы оказалось 27 тысяч человек, треть из оставшихся в Питере рабочих; власть сохранила за всеми на время вынужденного простоя право на паек и заработок по среднему, с учетом сдельных и премиальных. Чтобы хоть как-то сохранить рабочую гвардию Питера, издавались приказы о ежедневном выходе на работу для регистрации. «Петроградская правда» рассказывала о находчивости табачников, которые после запрещения пользоваться электроэнергией пустили в ход ручные станки и заняли этим 125 человек, 200 человек занялись доработкой изделий, а еще 428 стали убирать снег и переносить сырье. Попытки пользоваться хотя бы на краткое время током на остановленных предприятиях пресекались в корне, поскольку 150 предприятий продолжали работу с полной нагрузкой, правда работу лихорадила «волынка». Слово это, не сходявшее с языка, мелькавшее сплошь и рядом в печати и официальных документах, в словари не попало, и приходится лишь догадываться, что в новом обиходе оно заменило отжившие свой век слова «стачка» и «забастовка».

В городе царили тревога и недовольство. Усталость, страшная усталость, нечеловеческая усталость послужила почвой для мрачных настроений у людей, разбивших белогвардейцев, прогнавших интервентов, сносивших все лишения и невзгоды, изголодавшихся, промерзших, переживших тиф и холеру; три года ждавших мира и надеявшихся на незамедлительное улучшение жизни.

То остановится цех на Балтийском заводе, то откажутся идти на выгрузку дров работницы прачечной № 1... Рабочие, не жалевшие ранее сил для защиты своей власти, стали теперь предъявлять к ней требования, настроения проявлялись главным образом через требование удовлетворить население продовольствием, но были и выступления иного рода: так, рабочие завода Дюмо требовали выдать им мыло, и ордера на баню.

Петроградский губком партии ощущал всю напряженность момента, и на его заседании в конце февраля прозвучали вещие слова: «Мы стоим перед моментом, когда могут быть демонстрации».

Демонстрации начались в конце февраля.

«Петроградская правда» в передовой «Руки прочь!» открыто признавала, что контрреволюционным агитаторам «удалось добиться того, что на заводах волят». Волюнили на «Арсенале», Трубочном, на табачной фабрике Леферма, на Балтийском заводе, на 1-й Невской

¹ СТО — Совет труда и обороны.

ниточной фабрике, всех не упомнишь. Волыньщики шли демонстрацией по городу, требовали освобождения арестованных, разоружали караулы, отбирая не только винтовки, но и патроны. Красные курсанты разгоняли толпу, причем оружия не применяли, а из толпы несколько раз выстрелили и одного курсанта ранили.

Так же как в феврале 1917-го, в открытую шла агитация против правительства, так же во всех бедах, в том числе и в отсутствии топлива и продовольствия, обвиняли власть, теперь уже большевиков; так же разношерстная публика толпилась перед казармами и военными училищами, прощупывая настроения тех, у кого было оружие в руках; на фабриках и заводах шли стихийные собрания, так же вспыхивали попытки разоружить то один, то другой караул, и если в феврале 1917-го опорой власти были юнкера, то нынче героями дня были красные курсанты, державшиеся стойко и воинственно. Их обращения к петроградским рабочим и работницам было исполнено угрозы решительных действий, слова воззвания о том, что «вчера мы не выпустили ни одного боевого патрона, а завтра уже можем не отличить правого от виноватого, честного, но обманутого труженика от бесчестного провокатора и подлеца», напоминали умиротворяющие усилия покачнувшейся власти.

Из уст в уста достоверно сообщалось, что Зиновьев, возглавивший образованный в эти дни Комитет обороны Петрограда, перевел его в Петропавловскую крепость. Мера эта подтверждала известия о том, что со дня на день в Петрограде вспыхнет восстание.

Комитет обороны сразу же выпустил обращение «Остерегайтесь шпионов! Смерть шпионам!», газеты разъяснили: «Доподлинно известно, что Англия, Франция, Польша и др. имеют своих шпионов в Петрограде... Военный совет предлагает через комиссии по борьбе с контрреволюцией немедленно принять меры к раскрытию всех шпионских организаций и аресту тех, кто распространяет злостные слухи, сеющие панику и смуту».

Петроградский комитет партии со всей определенностью поставил на повестку дня своего бюро вопрос «О мероприятиях завтрашнего дня в связи с мятежом на заводах»; заседание было долгим и бурным, закончилось оно в полной темноте, поскольку подача электроэнергии прекратилась. По постановлению бюро в районах были созданы чрезвычайные тройки, восстановлены отряды особого назначения и проведена партийная мобилизация; хождение по улицам ограничивалось одиннадцатью часами вечера, оно и в любом случае было небезопасным, поскольку уличного освещения ночью не было. Театры «несерьезного характера» подлежали закрытию, а в серьезных театрах начало спектаклей переносилось с семи на шесть вечера.

Разламывая накатанные по льду Невы санные дороги и натопанные горожанами пешеходные тропинки, несколько раз в день на глазах редких прохожих, забредавших на пустынные набережные, нещадно дымя своими двумя огромными прямыми трубами, самый крупный в мире ледокол «Ермак» разрезал город на две части. На всю ночь разводились мосты, чего зимой никогда не делалось, а по улицам с песнями и оркестром, в полной боевой выкладке маршировали

курсанты, вселяя бодрость и уверенность в тех, кто в этом нуждался, и предупреждали врага: не балуй! Зазмеившиеся по улицам провода полевых телефонов окончательно придали городу фронтовой вид.

Петроград стоял угрюмый, пустой, на перекрестках главных улиц, словно забытые, возвышались броневики. На лицах горожан лежала печать усталости и растерянности.

Отчаянные призывы Петросовета и губкома партии к рабочему классу, вышедшему на улицы: «За работу!.. За работу!..» тонули в дружном хоре эсеров, меньшевиков и всякой антиправительственной публики, призывавшей лишить большевиков власти, выкинуть их из Советов. Прокламации анархистов призывали «свергать самодержавие коммунистов».

Появились листовки, напоминая и про Учредительное собрание: «Мы знаем, кто боится Учредительного собрания. Это те, кому грабить нельзя будет, а придется отвечать перед народными избранниками за обман, грабеж, за все преступления. Долой же ненавистных коммунистов! Долой советскую власть! Да здравствует Учредительное собрание!» Здесь даже руку было трудно разобрать: то ли эсеровская, то ли кадетская. А вот руку дьякона из лужского кафедрального собора, развесившего у себя в Луге самодельные плакаты: «Радуйтесь и ликуйте — скоро придут белые освободители!», уездная ревтройка узнала без труда. Вообще в окрестностях Петрограда было сравнительно спокойно, население привыкло даже к бродившим командами по 20—30 человек дезертирам; крестьяне устанавливали очередность постоя и повинность по приему и дальнейшей отправке этих вооруженных и голодных шаек. В Рождественской и Гатчинской волостях появились плакаты: «Да здравствует Учредительное собрание!», но особо выдающихся крестьянских выступлений не было, если не считать недоразумения в Смердовской волости из-за сена.

24 февраля в городе объявили военное положение, через несколько дней положение было введено — осадное.

Петросовет принял решение о демобилизации трудармейцев и граждан, привлеченных в город по трудовым обязанностям, всем им был предоставлен двухнедельный заработок и бесплатный билет на родину. Таким образом часть наиболее недовольного, а потому и взрывчатого материала из города была удалена.

Неустойчивые и ненадежные войска, затронутые брожением, особенно морские части, были незамедлительно тремя эшелонами отправлены из Петрограда на Кавказ, на Черное море.

Преданные большевикам курсанты и части особого назначения несли караул у зданий райсоветов, охраняли партийные комитеты, телефонные станции, вокзалы, мосты, главные магистрали города. Курсантские патрули вылавливали контрреволюционеров и их пособников и отправляли в распоряжение беспощадных революционных троек.

На кораблях и в учреждениях Балтфлота запрещались собрания и присутствие посторонних лиц; замеченные в агитации подлежали аресту, при сопротивлении приказывалось применять силу.

Партийная организация Петрограда до отказа мобилизовалась для отпора мятежникам и поддержания порядка.

В Ораниенбауме спокойно и организованно была налажена и прошла подводная (гужевая) повинность, поскольку на побережье все больше и больше стягивалось войско, снаряжения и боеприпасов.

Сверх всякой похвалы держали себя рабочие железнодорожники, впрочем, быть может, побаивались мобилизации.

Характерно, что «стихийные» собрания и митинги были исключительно «беспартийными», именно беспартийные заявляли о том, что во всех наступивших затруднениях виноваты коммунисты, хотя без труда уже тогда можно было понять «на чью мельницу льют воду эти волки в овечьих шкурах», как метко скажет впоследствии историк.

И снова на устах у многих появилась жажда «свободы».

Когда Игорь Иванович в начале лета 1916 года впервые поднялся на «Севастополь», он даже робел ступить, сделать первый шаг на его надраенную до янтарной желтизны верхнюю палубу, ровную, как стол, от бака до юта.

Солнце переливалось, играло и слепило, отражаясь в медных, латунных и бронзовых частях механизмов, поручней, трапов, переговорных трубок, иллюминаторов; все это металлическое величие, казалось, только что отлито, выковано и сияющий огнем металл еще не успел остыть.

Потом уже Игорь Иванович стал замечать, что по мере приближения свободы всякий раз тускнела латунь и медь, а палуба как-то незаметно приобретала унылый вид провинциального тротуара. Игорь Иванович был убежден, что грязь эта появлялась на корабле не от делегаций и агитаторов, не от комиссий и представителей, постоянно выяснявших и направлявших настроение команды линкора, а выползала непосредственно из недр самого корабля. И это было неизбежно, как неизбежен неопрятный вид любого разлаженного или в небрежении содержащегося механизма, где непременно будет сифонить какой-нибудь патрубков, сочиться отработанным маслом пробитый сальник, подтекать не дотянутый до нормы фланец.

Неизвестность и обреченность на бездействие угнетали и разлагали.

Острее всего на все волнения отзывались трюмные команды и кочегары, приставленные к двадцати пяти котлам линкора, самые бессловесные, самые невидные, они выползали наверх ковать свободу — шумные, непримиримые, резкие, горластые. Глядя на них, Игорь Иванович думал, что при любой свободе все равно кому-то сидеть в трюмной сырости, а кому-то жариться у огнедышащей топки и пить тепловатую воду из подвешенного на шнурке чайника.

Запомнился ему чубатый, один из «духов», расписанный и разрисованный, как беседка в городском саду, он сидел в окружении своих приятелей из третьей котельной на солнышке у кормовой трубы и негромко пел, подыгрывая себе на мандолине:

Среди поля ржаного родился
От рабыни тиранов-господ,
Много, много для сердца младого
Уготовано было невзгод.

Игорь Иванович обратил внимание на продолговатое умное лицо кочегара, рослую фигуру и неплохой слух, и облик его как-то не вязался с сиротски обличительными словами популярной песни.

Наблюдение Игоря Ивановича, хотя и мимолетное, было верным, но откуда ему было знать, что певец родился действительно не среди поля ржаного, а в нормальной семье железнодорожника и тонкий слух унаследовал от матери, женщины неграмотной, но помнившей множество песен и попевок. Зато Игорь Иванович знал твердо, что квадратный метр колосников в котлах системы Ярроу, установленных на линкоре, съедает в час двести килограммов угля, и поэтому смотрел на кочегаров всегда с сочувствием.

Словно подслушав мысли Игоря Ивановича о сиротской песне, чубатый оборвал ее на полуслове и заиграл что-то пронзительно нежное, видимо импровизируя на ходу.

Синицей, случайно влетевшей в заводской элинг, метался над палубой среди громоздящихся в небо надстроек, среди шитых ребрами наружу огромных дымовых труб и орудийных башен тоненький, вибрирующий звук мандолины.

Кочегар, с важностью поджав губы, то поводил головой, не замечая никого рядом, то пригибал ухо, словно ему не было слышно струн, доверчиво и обнаженно звеневших под его изъеденной углем клешней. И тоненький, беззащитный звук наполнял сердце жалостью к самому себе, тоской по женщине и ребенку, по лесу, по полю, по земле, где подобает человеку жить, а не ютиться заточенным в душной железной утробе плавучей крепости.

1 марта на Якорной площади, переименованной к тому времени в площадь Революции, Игорь Иванович и этот, из третьей котельной, оказались рядом.

1 марта стал самым шумным днем в истории Кронштадта. На площадь перед собором шли толпами и в одиночку рабочие пароходного завода, электростанции и мастерских, женщины шли и подростки, собралось чуть не десять тысяч человек, половина города и гарнизона.

В отличие от большинства частей и экипажей, команды «Петропавловска» и «Севастополя» вышли на митинг организованно, строем, с музыкой, правда, без флагов. Толпившаяся у трибуны разномастная публика уступила место четким колоннам моряков с линкоров. Именно эта четкость и верно занятая позиция и помогли повернуть митинг в задуманном направлении.

Ротные колонны команды «Севастополя» перестроились, и артиллеристы и кочегары оказались рядом; Игорь Иванович еще скользнул глазом по чубатому, припоминая его лицо, но без мандолины, без татуировки, покрывавшей тело на спине, он его не узнал, да особенно и не напрягался, привыкнув к тому, что встреченные вне корабля лица из команды все кажутся хорошо знакомыми, а кто и откуда, припомнить бывает трудно и даже невозможно.

На трибуне появился председатель ВЦИКа товарищ Калинин. Прямо от подъезда политотдела 187-й отдельной стрелковой бригады в Ораниенбауме через залив по льду, на легких саночках, без охраны и проводников он прибыл на площадь.

Приехавшего поговорить с братвой всероссийского старосту встретили аплодисментами, ждали, куда повернет, но, когда пошли старые большевистские песни, говорить не дали. Петриченко, грудь нараспашку, взмахнул бескозыркой и перебил Калинина, дескать, послушаем лучше делегатов, ездивших в Петроград для ознакомления с причинами волнений на фабриках и заводах. Дал слово анархисту Шустову, матросу с «Петропавловска». У того получалось, что в Петрограде только и ждут выступления Кронштадта и вся на него надежда.

Петриченко под это дело вылез с резолюцией: свобода для левых социалистических партий, выборы тайным голосованием «новых Советов», договорился до освобождения арестованных за контрреволюционную деятельность и снятия заградотрядов, ведущих борьбу со спекуляцией и мешочничеством.

Линкоры и здесь сказали решающее слово.

Тогда Калинин не выдержал и сказал резкую речь и предупредил, что история не забудет и не простит этого позорного поступка, что будущие поколения будут проклинять кронштадтцев. Сказал еще, что Петроградский СТО с сегодняшнего дня снимает заградотряды по всей территории губернии и открывает свободный подвоз продовольствия в город... Но было поздно, ему уже не верили.

Чубатый потер зачем-то пальцы о бушлат, не торопясь, не обращая внимания на то, что толпа уже редела, вложил четыре пальца в рот, закатив глаза, подыскал им соответствующее место и издал звук, хлесткий, как свист бича.

Доброе здоровье, впитанное от матери, и крепкие предрассудки относительно образования, впитанные от отца, привели рослого чубатого парня по мобилизации на флот, в кочегарку при третьем котельном отделении линкора «Севастополь». Рассчитывая сразу, закусив ленточку бескозырки, пройтись по улицам и проспектам Петрограда «красой и гордостью революции», в твердой надежде на ближайшие голодные годы переложить заботы о собственном пропитании и обмундировании на плечи интендантских служб, замороженный рассказами о Балтфлоте и романтическим образом клешников, чуть валкой и грозной походкой ступающих в фарватере всемирной истории, парень из подмосковного Сергиева Посада, с 1919 года ставшего городом, и не предполагал, что окажется в окружении диковатой деревенщины, переодетой в поношенную морскую форму второго срока. Бесконечные разговоры и в кочегарке, и в жилой палубе, и на толчищах о земле, да продрозверстке, да о крутых новых порядках никак не вязались для новобранца с тем, что он ожидал увидеть и услышать на кораблях революционной Балтики. Поэтому, когда грянула буза, когда пошли митинги, резолюции, протесты, чубатый будто проснулся. Он не пропускал ни одного шумного собрания и с изумительной силой свистал в четыре пальца.

По приказу штаба бригады линейных кораблей ежедневно в Петроград на разгрузку дров и очистку путей от снега на Николаевский вокзал посылалось сто человек. Охотников не находилось, и штаб бригады предупредил всех командиров, что за неисполнение приказа «будут преданы суду ревтрибунала», а чубатый как раз был не прочь

лишний раз побывать в городе и даже рвался. По мере того как остывали котлы «Севастополя» и нарастала зимняя стужа, в душе кочегара разгорался пламенный огонь любви к старшей дочери парикмахера.

Отработав на вокзале, он не спешил с братвой в Рамбов, а, переодевшись в голландку первого срока и украсившись разутюженным гюйсом, направлялся к своей невесте слегка загадочный и возбужденный. Он всегда прихватывал с собой вязанку дров, карманы, как правило, приятно оттягивал фунт-другой пшена, и потому в доме будущего тестя он чувствовал себя уверенно. Он ронял слова, по которым можно было понять, что лично он с этой вот жизнью мириться не желает и довольно скоро предпримет решительные шаги. Для большей важности он спрашивал папашу, стоят ли еще на Неве линкоры их бригады «Полтава» и «Гангут». Парикмахер терялся и только покачивал стрелками усов, умная его жена, всегда верившая в лучшее, утешала будущего зятя: «Да куда они до весны теперь денутся... стоят себе, надо думать». А невеста смеялась так, что у чубатого заходило сердце, как тогда, когда он в первый раз увидел ее за огромной, хрустальной чистоты витриной парикмахерского заведения. Подчеркнув, что половина отряда линейных кораблей стоит в городе, а другая половина под парами в Кронштадте, будущий зять давал понять, что эта расстановка сил отвечает каким-то его, зятя, важным замыслам. Повисала тишина.

Разговор значительно оживлялся, когда речь заходила о новой жизни, о том, как город обезлюдел, о том, что трудармейцы только проедают хлеб да крутят волюнку.

Ольга Алексеевна с бесстрашием светского человека, как о новостях с другого полушария, сообщала о том, что фунт хлеба в сентябре стоил всего триста семьдесят рублей, а нынче уже тысячу пятьсот пятнадцать. И действительно, предмет был отвлеченным, поскольку платить такие деньги семья не имела возможности. В марте за фунт брали уже две тысячи шестьсот двадцать пять рублей, но и это могло питать только любознательность. Чубатый указывал на значительность заработков, но умевший считать копейку Петр Павлович после несложных выкладок многотысячные оклады пролетариев в 1920 году переводил на уровень 1913 года, и тогда суммы месячных заработков выглядели вполне скромно, где-то между шестнадцатью и двадцатью одной копейкой в месяц.

Тогда чубатый заявлял, что деньги — это пережиток, что смысл они уже свой утратили окончательно, и напирал на бесплатные выдачи, и здесь Петру Павловичу крыть было нечем: по карточкам продукты с 1920 года выдавались бесплатно, в конце 1920-го городской транспорт, коммунальные услуги, бани стали тоже бесплатными, а теперь еще и квартплату отменили. Хоть и военный, а коммунизм!

Петр Павлович соглашался и рассудительно отмечал, что прикрепление населения к общественным столовым — мера правильная и, зная наш народец, мудрая, потому что если выдавать все мизерные пайки разом, то товарищи их разом и съедят, а на работу могут все равно не выйти, а так более-менее регулярное питание, по сведениям Петрокоммуны, получают шестьсот тысяч человек, почти все население города.

Настя рассказывала, что в целях экономии топлива расширяются празднества, и поскольку 19 и 22 января красные дни, то будет принято решение с 19 по 23 января, всю пятидневку, объявить выходной.

Настя, как активная участница агитколлектива при отделе Сангигиены, знала программу празднеств, расписанную на все пять дней. Тут же она припомнила, как товарищу Агулянскому, секретарю комитета по организации праздника в честь третьей годовщины февральской революции, Совпроф выписал одну пару обуви, четыре пары носков и двенадцать пуговиц, пуговицы были выписаны вместо просимых пальто и шапки. Настя со смехом рассказывала, сколько подписей — и каких! — пришлось товарищу Агулянскому собрать и как в каждой инстанции, в каждом кабинете пальто и шапка претерпевали волшебные превращения, соединившись сначала в бекешу, потом распавшись на костюм-тройку, костюм затем ужался до жилета, жилет обернулся парой белья, но белья в наличии не оказалось, и пришлось получить двенадцать пуговиц.

Чубатый смотрел на Настю во все глаза и только слышал смех и видел ровные белые зубы и локон, пружинисто плясавший у самого уха. Будущий тесть и теща отнеслись к чубатому внимательно и серьезно, насмотревшись уж, как народ, ранее темный и незаметный, вдруг становился «головой». Что можно сказать об этом? Да ничего. Ужасно он был нетерпелив, влюбленный кочегар, смешивший невесту своей серьезностью, ему хотелось самым кратким образом проделать путь, начертанный на многих транспарантах. Поскольку он был «никем», то жил все последнее время в волнуемом предчувствии того, как станет «всем». Неплохой пример в этом смысле давали большевики. Были «никем», а гляди-ка, раз-два — и в дамки. Покомандовали, покомиссарили, баста, дай теперь и другим...

Вот и сейчас душа его парила над клокочущей толпой, хмелевшей то ли от собственной силы, то ли от чувства безнаказанности.

Комиссар Балтфлота Кузьмин, еще накануне чувствовавший резкие настроения, никак не мог поверить, что дело повернется к восстанию, он попробовал рвануть речь о боевых традициях Кронштадта, но говорить не дали. «Забыл, как на Северном фронте через десятого расстреливал?!» — орали из толпы. Впоследствии было доказано, что в «децимациях» Кузьмин не участвовал, только сам он от этих упреков отбивался своеобразно, крича обвинителям, что изменников делу трудящихся расстреливал и будет расстреливать и что на его месте другой бы не десятого, а пятого распылил.

Чубатый, не задумываясь, заорал «Долой!», а для убедительности сунул в рот сдвинутые колечком пальцы и выдал пронзительный, как игла, свист. Игорь Иванович, напротив, задумался, ему всегда делалось не по себе, когда он слышал, как похваляются убийством по убеждению. Он видел, как длинный худой Кузьмин в долгой кавалерийской шинели жег толпу мрачным взглядом глубоко посаженных глаз, как вытягивались его впалые щеки, как открывался и закрывался его прямой рот, казалось, никогда не знавший улыбки, как махал он рукой с широченными обшлагами, видел все, но не слышал и не понимал ни слова.

— Помните,— кричал бесстрашный Кузьмин многотысячной толпе,— помните, что можно говорить о своих нуждах, о том, что там-то нужно исправить, но исправлять — не значит идти на восстание! Помните, что Кронштадт со всеми своими кораблями и орудиями, как бы грозен он ни был, только точка на карте Советской России!

«Постреляли, хватит!...», «Нечего нам грозить, не то видали!...», «Гони, гони его!», «Долой!...»

На трибуну поперла уже всякая шваль вроде коменданта тюрьмы с истерическими речами против коммунистов.

Игорь Иванович совершенно не обращал внимания на чубатого из третьей котельной, а тот хватался ладонями за подмерзающие уши, скалился, что-то выкрикивал, свистел так, что звенело в ушах у стоявших рядом. Скалившихся, свистевших и орущих кругом было полно...

Да, здесь бы им и приглядеться друг к другу, может, и познакомиться как-то получше, пока не повязаны еще общей бедой, пока души-то были открыты, у чубатого вся нараспашку, да и у Игоря Ивановича приоткрыта в большей степени, чем в другие моменты его короткой жизни; хоть бы на ногу друг другу наступить, толкнуть, хоть и ненароком, в глаза друг другу взглянуть, запомнить... Только нет глупее занятия, чем подсказывать истории возможные пути ее развития в далеком прошлом, особенно в то время, когда и на сегодняшние ее пути великое множество людей, не только читающих, но и пишущих, не имеют ровным счетом никакого влияния.

Здесь самое время указать на то, что, хотя чубатый был в отличие от Игоря Ивановича и статным и рослым, и усы у него, не в пример жиденькой поросли хранителя боезапаса, росли густо, тем не менее сходства в них было больше, чем могло показаться на первый взгляд.

Сходство состояло в том, что этот, с мандолиной, ничего не понимал, хотя и думал, что понимает все, и был переполнен энтузиазмом. А Игорь Иванович просто ничего не понимал, хотя и чувствовал полутехническим своим умом, что за видимой стороной событий есть какой-то скрытый от него механизм, ход действия которого он никак не мог ни рассчитать, ни вычислить, а потому и был, как всегда, далек от бурных эмоций.

И вообще, в третьей кочегарке царила полная ясность относительно дальнейших путей истории под водительством только что образованного кронштадтского «ревкома», выбравшего для прочности местом своего базирования «Севастополь». Такая близость к власти лишала сознание сомнений, а сердце колебаний.

Кронштадт интересовался положением на «Гангуте» и «Полтаве», зимовавших в Петрограде, но и на линкорах интересовались Кронштадтом. 1 марта на Котлин с «Полтавы» ушли два делегата, один так и не вернулся, сгинув неведомо где, а второй событий, потрясших в этот день остров, не заметил, а обиду в сердце принес: «К чертовой матери их собрания, даже не покормили, дьяволы!..»

То, что не удалось узнать от обиженного делегата, стало известно от агитаторов, двинувшихся в Питер. Собственно, двинулось не так уж и много, человек двести, крепость сберегала свои силы, тем более что

никто из агитаторов не вернулся, патрули отрядов особого назначения ловили матросов, пытавшихся пронести в Петроград тысячи листовок с «резолуцией» мятежной крепости. Сами же мятежники, демонстрируя свой демократизм, бесстрашие перед лицом идейно разгромленного противника и полную веру в свою правоту, без всяких комментариев опубликовали в своих «Известиях» текст листовок, высыпанных в количестве 20 тысяч с аэропланов на остров, где мятежникам гарантировалась жизнь и прощение лишь при условии немедленной и безоговорочной сдачи.

Петроград всерьез готовился к решительным событиям.

Циркуляр политотдела требовал от всех более или менее «выдающихся недоразумениях, возникающих в команде», сообщать в осведомительную часть политотдела.

Донесения в основном сообщали о среднем отношении к советской власти и плохом к РКП(б). С «Победителя» донесли: «Среди команды есть брожение по поводу событий, но не выливается ни в ту, ни в другую сторону». Чтобы шаткие настроения моряков не повернули в другую сторону, на кораблях, зимовавших в Петрограде, взяли оружие под контроль, отменили коммунистам отпуска и увольнения, коммунистов вооружили, на многих кораблях объявили военное положение. Эти решения были нервно встречены на судне «Самоед» и эсминце «Капитан Изыльметьев». Правильно понимали события эсминец «Уссуриец», 1-й дивизион тральщиков, ледокол «Аванс», спокойно было и на портовом судне «Водолей-2», где разговоры, судя по донесениям, велись главным образом о засилье евреев в учреждениях. Интересный лозунг выкинули на посыльном судне «Кречет»: «Да здравствует только власть Советов!» Каждому было понятно, что за этим коротеньким словечком «только» стоит отмена диктатуры пролетариата и руководящей роли коммунистов, то есть главные пункты кронштадтской программы.

В ледокольно-спасательном отряде, стоявшем в Петрограде, бурную деятельность развил матрос Тан-Фабиан, участник знаменитого митинга 1 марта в Кронштадте. На однотипных ледоколах «Трувор» и «Огонь» ему удалось провести «резолуцию» при подавляющей поддержке коммунистов, правда, на «Огне» трое коммунистов проголосовали против, а четверо беспартийных воздержались. Чтобы сломить колебания, Тан-Фабиан (как он потом показал на допросе) говорил, что 10 марта «Севастополь» и «Петропавловск» будут громить Смольный из главного калибра. На экипажи ледокола «Аванс» и спасательного судна «Эреи» это не подействовало, и они даже отказались ставить «резолуцию» на голосование.

Как выяснилось позже, из многочисленных экипажей Петроградской морской базы только два ледокола и одно вспомогательное судно и приняли «кронштадтскую резолюцию». Правда, после успешного отражения первого штурма кронштадтцам удалось почти склонить на свою сторону экипаж «Ермака», в надежде обломать лед вокруг острова и сделать крепость неприступной для пехоты. Экипаж с «Ермака» был снят, котлы погашены, а на борт был выставлен караул надежных партийцев и моряков.

В тот же день, сразу после победного митинга на линкорах отстранили от руководства военных комиссаров.

Начались аресты.

В ночь на 2 марта телефонист Кронштадтского района службы связи, член мятежного «ревкома» и заместитель Петриченки, именуемый по старинке «товарищ председателя», разослал во все части и учреждения телефонограмму: «Копия, по линии постов Кронштадта... В Кронштадте в настоящее время партия коммунистов удалена от власти и управляет Временно-революционный комитет. Товарищи беспартийные! Просим вас временно взять управление в свои руки и зорко наблюдать за коммунистами и их действиями, проверять разговоры, чтобы нигде не делались какие-нибудь заговоры... Выборный представитель от команды Кронштадтского района Яковенко». Впоследствии Яковенко был комиссаром «ревкома» при Штабе обороны Кронштадта, где наблюдал за дружной работой инженеров и офицеров.

Только вот многие попытки «ревкома» обуздать анархистов и уголовников не давали успеха, те оказывали даже вооруженное сопротивление, и в крепости не раз возникали беспорядки. Всяческие подонки, размахивая лозунгом свободы, все откровеннее вступали на путь самоутверждения и полной анархии.

Власть, захваченная с такой легкостью несколько дней назад, тут же мало-помалу стала утекать сквозь пальцы «ревкома».

В заметке с ироническим заголовком «На коммунистических началах» «Известия» Кронштадтского ревкома сообщали: «Ввиду того что временно арестованные коммунисты сейчас в обуви не нуждаются, такая вот всех их отобрана в количестве 280 пар и передана частям войск, защищающих подступы к Кронштадту, для распределения. Коммунистам взамен выдали лапти. Так и должно быть».

Действительно, вместо отобранных сапог заключенным пообещали выдать рваные шинели, чтобы они сами сшили себе лапти, но на самом деле шинелей не дали. Хорошо, что у кого-то одного оказались галоши, так в этих галошах и путешествовали по очереди по каменным полам тюрьмы.

На 26 687 человек некомандного и командно-политического состава кронштадтской базы приходилось 1650 членов и кандидатов в члены партии да в гражданской партийной организации Кронштадта еще человек 600. Цифры, конечно, большие, только со стажем до 1917 года — единицы, а больше половины — крестьянская масса, вступившая в партию в сентябре 1920-го, во время «партийной недели», после того как в сентябре же вычистили из военной парторганизации Кронштадта 27,6 процента. Новые партийцы стали с недовольством говорить про партийные «верхи» и «низы». Чтобы разговоры прекратить, Побалт от 11 декабря 1920 года издал приказ всем начальникам политотделов провести немедленную единовременную смену 25 процентов комиссаров, направив их в «низы» и заменив выдвиженцами из партколлективов. Это называлось «перетряхиванием» состава.

Накануне событий начальник политотдела флота Батис телеграфировал в центр: «Особого недовольства среди военморов нет. Влияние правых эсеров и меньшевиков ничтожное».

Между тем выход из партии и падение партийной дисциплины в январе и феврале достигли высшего уровня. Наблюдались случаи нежелания матросов говорить с политработниками, на все вопросы один ответ: «А тебе какое дело?!» — и весь разговор. Партбилеты вышедших из партии моряков в политотдел приносили даже не ответственные секретари, а рядовые члены партии пачками, и никто никого не вызывал в партийную комиссию, да и политотдел не задавал вопросов о положении в партячейках. Завураспредотдела с трудом успевал подавать суточные сводки в Побалт. И, что совершенно удивительно, все заявления о выходе из партии были с одной мотивировкой — «по религиозным убеждениям»: то ли благодать снизошла на военно-морскую базу, то ли непосредственно просматривалось с линкорных КДП второе пришествие Иоанна Кронштадтского.

С точки зрения современного развития прогресса и науки такой аргумент может показаться лишь наивной уловкой, шитой, причем, белыми нитками, но стоит на ситуацию бросить исторический взгляд, и картина предстанет несколько иная.

Сочиненные рассказы о чудесах, совершенных о. Иоанном Сергиевым, были настолько многочисленны и убедительны, что не только серый люд, но и подвижники веры пришли к необходимости признать в прославленном пастыре божественные свойства, а Порфирия Ивановна Киселева, положившая душу и всю себя к славе Иоанна и иоаннитов, возвысилась и была чествуема как пресвятая Богородица. И хотя по смерти Иоанна Кронштадтского в 1908 году синод постановил учение иоаннитов считать ересью и богохульством, вспомните-ка, сколько еще лет и после той войны и этой ходили отбивать поклоны и целовать камни последователи его секты к подвальному окошечку Научно-мелиоративного института, разместившегося в бывшем женском монастыре во имя Иоанна Сурского, на Карповке, напротив улицы Текстильщиков, бывшей Милосердия, где находился склеп с могилой Кронштадтского чудотворца, особо почитаемого в семье государя Александра III.

В первую очередь мятеж ударил по большевикам, начался террор и репрессии. Активные участники и пособники мятежа захватили особый отдел и ревтрибунал.

В трюм «Петропавловска» бросили 150 арестованных, на «Севастополе» — 60, 300 партийцев было отправлено в кронштадтскую следственную тюрьму.

Как показала перерегистрация Кронштадтской организации РКП (б) после мятежа, 135 человек ушли на нелегальное положение и вели подпольную работу. Не удалось сломить и брошенных в следственную тюрьму, в одной из общих камер узники организовали выпуск газеты, которая энергично разъясняла смысл кронштадтских событий. Несмотря на жестокие угрозы, репрессии, коммунисты, рискуя жизнью, общались с обманутыми моряками, а позднее, уже во время штурма, была сделана попытка установить связь с партийной организацией наступавшей на Кронштадт 7-й армии.

В ответ на арест коммунистов в Кронштадте «Известия ВЦИК» 5 марта сообщили об аресте в Петрограде в качестве заложников взрослых членов семей генералов и офицеров, активно участвовавших в восстании, заложниками объявлялись и арестованные подзрительные личности.

Под покровом ночи 2 марта многие активные работники во главе с комиссаром Кронкрепости товарищем Громовым и даже вся партийная школа в составе ста человек, с винтовками, пулеметами, решили покинуть крепость. Вышли организованно, готовые к бою. У 2-го артдивизиона увидели, как ездовые закладывают лошадей, чтобы куда-то ехать. Решение было принято мгновенно: погружены пулеметы, патроны, и все 165 человек через Цитадельные ворота выехали на лед в сторону Ораниенбаума.

Кстати сказать, никаких массовых расстрелов в Ораниенбауме, как хотелось бы мятежникам и о чем они сообщали в своих «Известиях», не было. Например, в 1-м Морском воздушном дивизионе, проголосовавшем за кронштадтскую «резолюцию», было арестовано всего 115 человек, около половины личного состава, а ликвидировано из них строго по приговору ревтрибунала только пятеро, во главе с командиром дивизиона Колесовым, а 110 вскоре вернулись обратно в свою часть и хорошо еще потом дрались в составе 7-й армии, громя мятежников с воздуха.

Покачнувшиеся коммунисты, те, что остались в крепости, образовали «временное бюро Кронштадтской организации РКП», выпустившее воззвание, поддерживающее «ревком» и все его мероприятия.

Последними в следственную тюрьму были брошены матросы с буксира «Тосно», обламывавшего лед вокруг линкоров. Оба дредноута стояли близко, мешая друг другу стрелять, да еще и стенка мешала обоим. Но вывести корабли на свободный рейд не удалось: буксир ломал лед, а лед ломал ему винты, ну а когда лопнул главный вал машины, «ревком» посчитал всю эту демонстрацию чистейшим саботажем, моряков бросили в тюрьму, а линкоры остались на приколе.

Чтобы не уронить себя в глазах страны, в надежде на поддержку, мятежники по радио объяснили «пролетариату всех стран», что белогвардейские офицеры ими не командуют и что никаких связей с границей восставшие не поддерживают. Но уже в ближайшие дни «пролетариат всех стран» мог увидеть, как все больше и больше забирал власть генерал Козловский, а отсутствие в крепости запасов продовольствия вынудило начать переговоры с американцами о возможности поставок. На американских складах Красного Креста в Финляндии лежало сто тысяч пудов муки, многие тысячи пудов сгущенного молока, сала, сахара, сушеных овощей и даже 150 пудов яичного порошка. Только Финляндия, дорожа своей независимостью, от посредничества воздержалась, и продуктов на остров попало лишь 400 пудов; за два дня до подавления мятежа солдаты, матросы и рабочие Кронштадта по литере «А» получали по четверти фунта хлеба или полфунта галет и по одной банке мясных консервов на четверых, остальным жителям вместо хлеба и галет выдавали один фунт овса в день.

7 марта, после того как последнее предупреждение правительства было отклонено, Красная Горка, еще недавно усмиренная пушками «Петропавловска», «Андрея Первозванного» и крейсера «Олег», открыла огонь по мятежникам.

Артиллерийский обстрел Кронштадта фактически никакого результата не дал, так как артиллерия была как-то «вообще», не имея плана города и фортов, хотя в штабе армии они имелись.

В ответ ударил «Севастополь».

Кому открывать огонь, решилось как-то само собой, образцовое содержание боезапаса во второй башне первого артдивизиона, то есть главного калибра, было общеизвестно. От оглушающих выстрелов лопались стекла в примыкавших к гавани зданиях, порождая житейскую досаду и вселяя уверенность в правоту и несокрушимость крепости.

Игорь Иванович был убежден, что открытие огня, главная работа линкора, начинается именно у него, в нижнем снарядном погребе. Поэтому после объявления боевой тревоги, когда все, разбежавшись по боевым постам и проверив механизмы, сыпали командиру башни «К стрельбе готов!», Игорь Иванович всегда замыкал доклад последним, не оставляя и секундной паузы для упрека в задержке доклада.

Кто служил в армии, тот знает цену таким, с гражданской точки зрения, мелочам, как чуть-чуть суженные или расширенные против нормы клеши, чуть укороченный или опять же удлиненный бушлат или доведение края бескозырки до бритвенной остроты. В этих движениях своей воли, своей инициативы и вкуса, строго ограниченная уставом и взглядом начальства, трепещет жаждущая своей отдельной, особой, ни на кого не похожей судьбы личность, ставшая номером боевого расчета, приведенная ко всеобщему знаменателю присягой, уставом и формой. Но что там бушлаты, что бескозырки — люди, завоевавшие себе право иметь собственный голос в боевых докладах, со временем становились легендарными в полках, батареях и на кораблях. Игорь Иванович уже был близок к тому, чтобы стать легендой, ему уже почти позволялась не то чтобы вовсе не уставная, но своя интонация в докладе о готовности погреба к боевой работе. От горизонтального наводчика до замочного (на кораблях именно замочные, это на берегу замковые) докладывали: «К стрельбе готов!» Только Игорь Иванович — или в переговорную трубу так, что слышала вся башня, или по телефону, лишь для командира — неизменно докладывал: «Снарядный погреб к открытию огня готов!» После стрельбы или тренировок командир башни, как правило, принародно дружески замечал Дикштейну: «Любите вы, Дикштейн, длинные разговоры при докладе... Что это опять — „к откры-ы-тию огня-я-я...“ Целая речь, понимаете ли!» Игорь Иванович чуть улыбался и четко бросал: «Винюват!» Но посмей он в следующий раз доложить по-уставному: «К стрельбе готов!», как неминуемо огорчил бы и командира и всю башню, эти «длинные речи» из бомбового погреба были как бы особенностью второй башни, ее отличительной красочкой, ее почерком и даже — талисманом. Однажды на стрельбах под надзором представителей штаба флота Игорь Иванович, чтобы не подвести начальство, доложил как положено. И вторая башня в этот день стреляла хуже

всех: три осечки подряд, отказ в гальванической цепи, замены гальванических зарядных трубок на ударные — словом, хуже некуда. И все до одного были в башне убеждены, что все это оттого, что не прозвучало перед стрельбой неуставное петушиное слово Игоря Ивановича, поэтому ни на гальванеров, ни на замочных никто косо не смотрел, не лаял и не материл, а с Игорем Ивановичем неделю общались сухо, решив, что он просто струсил.

Собственно, и задача самого Игоря Ивановича по службе сводилась к тому, чтобы ни один снаряд в его заведовании ни видом, ни сутью не отличался от того идеального, существующего в инструкции и воображении начальства снаряда, не имеющего никаких своих личных примет и особенностей: ни штрихов, ни царапинок, ни крапинок или на металле, или на краске. И все-таки Игорь Иванович даже в интересах службы не только разделял и отличал однотипные снаряды, но некоторым из них присваивал имена, не отличавшиеся, правда, особенным разнообразием: Чушка, Кабанчик, Хрюшка, Свинка и тому подобные, — в чем он никому никогда не признавался.

Путь снаряда на глазах Игоря Ивановича был недолгим: схваченная храповым приспособлением, на секунду качнувшись в металлическом захвате, полутонная, чуть не в рост человека машина укладывалась на тележку, чтобы встать в питатели нижних зарядников, расположенных в подачной трубе. Работу верхних зарядников Игорь Иванович видеть уже не мог, но мысленно провожал снаряд и в перегрузочное отделение, а оттуда и непосредственно в башню на зарядный лоток перед распахнутым зевом орудия.

Когда стрельба шла одиночными выстрелами, да еще и одним стволом, когда работы внизу было мало, Игорь Иванович позволял себе, услышав ревун, уноситься под заданным углом возвышения вместе со снарядом к условной или безусловной цели. При полном заряде снаряд главного калибра пребывает в полете до восьмидесяти секунд, это больше минуты, в эти длительные мгновения Игорь Иванович внутренним воображаемым зрением видел и мельчайшие, одному ему известные штрихи на разгоряченном теле снаряда, и одновременно с двухсот-, а то и трехсотметровой высоты (в зависимости от угла возвышения) обозревал море, берега, облака, землю — все, что мог бы увидеть и сам снаряд, будь у него глаза и способность восхищаться полетом.

Сейчас, когда из-за невозможности стрелять третьей и четвертой башней вторая била тремя стволами, Игорь Иванович не имел ни секунды времени для совершения своих воздушных прогулок, хотя дорога до Красной Горки была и недалей и знакомой. Вместо воображаемого парения над заливом он в три ручья обливался потом в нижнем зарядном погребе.

С наступлением темноты огонь с обеих сторон прекратился.

В ночь на 8-е, в метель, силами красных курсантов пытались атаковать крепость по льду. Два батальона полка особого назначения даже ворвались в город, главным образом благодаря скрытности и внезапности, но были сметены мятежниками, а разящая картечь фортов не дала подойти резервам. Курсантов поглекло много и на льду, и подо льдом, и в городе.

Провал первой попытки штурмом взять крепость многие объясняют недостаточной политической подготовленностью атаки, будто с винтовками наперевес и осколочными гранатами Лемона курсанты шли на дискуссию. «Дискуссии» предшествовала двухдневная артиллерийская подготовка.

Прибывший в Петроград с началом мятежа Троцкий нетерпеливо требовал наступления, убежденный в том, что мятежники «выкинут белый флаг», стоит только открыть огонь по крепости. 7 марта Северной группой войск было выпущено по крепости и фортам 2435 снарядов, но и выпущенные 8 марта еще 2724 снаряда также никого ни в чем не убедили. Шестидюймовых снарядов было маловато, только 85, остальные — трехдюймовые... Как показала авиаразведка, снаряды ложились с недолетом, и обнаружить разрушения ни в городе, ни на кораблях не удалось.

Артиллерия в условиях плохой видимости работала действительно слабо, лишь раскрывая замысел командования и предупреждая мятежников о возможной атаке.

Конечно, политработу нельзя было отнести к разряду идеальной, но что ж уповать на моральный дух и политическую твердость, если пополнение того же 501-го Рогожского полка, полученное накануне, было совершенно не обучено, и непосредственно перед штурмом им пришлось показывать простейшие приемы владения винтовкой и обучать стрельбе.

Командование довольно туманно представляло себе силу и слабость противостоящей стороны, впрочем, как и своего воинства, ведь, кроме красных курсантских батальонов, готовых драться беззаветно и до конца, были и такие нестойкие полки, как, к примеру, 561-й из 187-й бригады, состоявшие чуть ли не поголовно из разложившихся элементов, пленных деникинцев да бывших махновцев. О слабой боеспособности полка трибунал Петроградского военного округа предупредил заранее. Вот и получилось, что в начале операции 2-й батальон отказался идти в наступление. Коммунистическая прослойка, конечно, стала уговаривать бойцов и кое-как уговорила выйти на лед Финзалива. Участок атаки был нарезан полку серьезный: южные номерные батареи, форт «Милютин» и удар по Кронштадту с запада. А связь между батальонами практически отсутствовала, так что 3-й батальон шел по направлению к южным батареям № 1 и № 2 сам по себе. Для надежности управления неустойчивой солдатской массой батальон вели по льду колонной, и только когда были обстреляны с фортов артиллерийским огнем, рассыпались в цепь, подождали сильно приотставшую 2-ю роту и пошли левее батарей на форт «Милютин», откуда им махали красными флагами. В сорока шагах от форта увидели выставленные мятежниками пулеметы и слышали предложение сдать. Сдались все, за исключением комиссара батальона и 4-х красноармейцев, которые решили вернуться и по дороге еще силой завернули 7-ю роту, которая тоже шла сдаваться.

Были случаи отказа идти в наступление и среди курсантских частей.

Освещая положение на Северном боевом участке, комиссар Угланов сообщал в Петрогубком РКП(б) о настроениях гибельности и безнадёжности, о том, что колебания продолжались и утром 8 марта, в день атаки, так что сначала в атаку пошли только коммунисты и отчаянная часть беспартийных.

Личное руководство и подбадривание атакующих ответственными политработниками и высшими военными работниками помогло увлечь курсантов в атаку.

Заняли седьмой форт, ближайший от Лисьего Носа, но вскоре вынуждены были его оставить из-за подавленного настроения в результате сосредоточенного по седьмому форту огня 12-дюймовой артиллерии с фортов и кораблей. Седьмой форт к тому времени был безоружен, и отвечать было нечем.

Угланов честно доложил Троцкому, Лашевичу и Аврову о том, что «вторичное поднятие войск на атаку фортов неосуществимо».

Если не было порядка в полку особого назначения, где, вместо четкого исполнения боевого приказа, два часа потратили на вдохновенное сочинение воззвания, из-за чего сорвали срок выхода на лед, так чего же было ждать от того же 3-го сводного батальона 12-го стрелкового запасного полка, отказавшегося вовсе выступить в атаку в ночь с 7 на 8 марта. Вместо того чтобы дружно подчиниться приказу, красноармейцы стали хором кричать: «Дайте пищи, хлеба и шинелей!» Оказывается, им 6 марта не привезли ужин, 7-го они просидели целый день голодными, тогда помощник комиссара полка дал твердое обещание доставить продукты к утру 8 марта. Шинелей не было ровно у половины бойцов. В общем, после длительного митингования и уговоров батальон пошел в атаку.

Продукты поступили только 9 марта.

В Маргышкино не подчинилась приказу бригадная школа младшего командного состава 93-й стрелковой бригады 11-й дивизии. Когда школа прибыла на боевой участок 95-го полка и к ним вышел командир, красноармейцы стали выкрикивать: «Зачем нас сюда пригнали?» Поданная команда «смирно» не внесла успокоения. Пришлось применить карательные меры воздействия и удалить особо выделяющихся красноармейцев. Только после этих мер и широко развернутой партийно-воспитательной работы в массах школа была приведена в порядок. И уже при вторичном наступлении на Кронштадт многие красноармейцы вели себя героически и получили боевые награды.

Большое воспитательное воздействие на красноармейцев оказывала работа революционных военных трибуналов. Трибуналы живо реагировали на все нездоровые явления. Злостным смутьянам и провокаторам они воздавали по заслугам. Приговоры быстро доводились до сведения красноармейской массы. Наиболее важные приговоры печатались в типографиях. Политработники собирали красноармейцев, зачитывали вслух приговор и тут же его разбирали по косточкам, разъясняя, что трибунал делит нарушителей на злостных, обманутых и тупых. Красноармейцы обычно с одобрением относились к мерам наказания, которые накладывал трибунал.

Женщины, узнав, что на льду после первого штурма остались раненые красноармейцы, умоляли ревтройку дать им возможность убрать раненых из-под стен Кронштадта; продолжавшая греметь артиллерийская стрельба их не остановила...

Единственным «трофеем» первого штурма стал захваченный на льду Вершинин, член «ревкома», матрос с «Севастополя», 1916 года призыва.

О трагических боях 8 марта не было сообщений ни в центральной печати, ни в петроградской прессе, лишь 9 марта президиум X съезда РКП(б) счел возможным и нужным дать соответствующее разъяснение для делегатов съезда. Конкретную обстановку узнали только от Троцкого, прибывшего 10 марта в Москву.

«Кусаются куропатки», — пошучивали хмельные от успеха кронштадтцы, припоминая воззвание председателя Петроградского комитета обороны Зиновьева, обещавшего перестрелять кронштадтцев, «как куропаток».

Уставший от тяжелой работы, Игорь Иванович радоваться не спешил и даже уклонился от благодарности «ревкома». Он хорошо помнил, что в конце лета 1919-го, когда даже ему казалось, что у Ленина не осталось никаких шансов удержаться, события вдруг повернули вспять. И теперь в размышлениях о будущем Игорь Иванович вводил поправку на непонятную, необъяснимую, но совершенно реальную, берущуюся вроде бы и ниоткуда силу большевиков. Но если система Гейслера, существующая для управления огнем, учитывает и движение цели за время полета снаряда, и колебания корпуса при качке, и ветер, и температуру, а стало быть, и плотность воздуха на разной высоте и позволяет с точностью предвидеть результат, то поправка на необъяснимое лишала Игоря Ивановича какой бы то ни было уверенности в конечных результатах своих дальних расчетов.

Когда на «Севастополь» прибыл из Финляндии бывший командир линкора Вилькен (как доказано было историками — английский шпион) и стал, как Суворов после Измаила, награждать нижних чинов серебряными рублями, Игорь Иванович из подбашенной шахты не поднялся, отговорившись необходимостью безотлагательных работ после проведенной стрельбы. Он отослал всех матросов наверх, а сам остался один и, разложив журналы по боепитанию, ничего не делал.

Личный состав построили поротно. Вилькен обходил строй и с деликатной подсказки старшего артиллериста и командиров рот жал награжденному руку и вручал рубль. Чубатого из третьей котельной никто к награде не представлял, поскольку энергетику линкора в ту пору обеспечивали только первая и четвертая кочегарки. Но бравый вид и дерзкий взгляд чубатого Вилькену понравились, и в неотмытую руку кочегара легла белая тяжелая монета.

Для полноты картины заметим, что в это самое время мобилизованный из петроградского уголовного розыска Вася Шальдо, оставив на произвол судьбы питерских конокрадов, болтался в Военной гавани, уточняя места стоянки линкоров. «Севастополь» был ошвартован кор-

мой у пирса Усть-Рогатка, а «Петропавловск» на корпус был выдвинут вперед. Вася прикидывал возможные углы обстрела.

Игорь Иванович сидел, уставившись в круглые, как шляпки молоденьких боровиков, заклепки на стойках стеллажей, внутренний взор его не охватывал событий, сотрясавших остров Котлин и прилегающие к нему форты, а уж тем более не простирался до Петрограда, однако для сомнений и неуверенности поводов было достаточно и в пределах своего корабля.

Природу этих сомнений можно было объяснить тем, что Игорь Иванович постоянно находил сходство в приемах и средствах, к которым прибегали противостоящие стороны. Именно в этом духе события развивались до последнего дня.

Оставшиеся после 3 марта на линкоре большевики и коммунисты, еще не лишенные полностью свободы действий в отличие от арестованного комиссара корабля товарища Турки, тут же решили подготовить линкор к взрыву. Игорь Иванович одному ему известными путями узнал, что сильно хлопочут по этой части трюмные специалисты Майданов Аркадий, Яночкин Павел, Иван Осокин и Туро Андрей. Хотели они пристроить подрывные шашки и в его хозяйстве, разумно решив, что линкор лучше всего ликвидировать через погреба главного калибра. Игорь Иванович стал убедительно разъяснять товарищам, что линкор лучше все-таки потопить, отведя куда поглубже и открыв кингстоны, а если взрывать его у стенки, непременно пострадает огромное множество народа, и для примера рассказал о взрыве линкора «Императрица Мария» на севастопольском рейде. Куда, например, отлетит башня и на кого упадет, рассчитать практически невозможно, а что улетит, и улетит далеко — факт. Рассуждения эти показались Майданову подозрительными, да и сам Игорь Иванович с его упорной политической глухотой — подозрительным, и трюмные специалисты отправились искать более надежных союзников своему делу.

17-го днем, когда крепость грохотала, отбивая второй штурм, опять всплыла идея насчет того, чтобы взорвать «Севастополь», на этот раз, чтобы не достался большевикам. Теперь за дело взялись офицеры. Минный офицер Былин-Колосовский тоже решил приладить взрывные шашки в образцовых погребах второй башни еще и потому, что в то время, когда линкор содрогался от стрельбы по наступавшим, во второй башне вдруг стало обнаруживаться множество неполадок: то вылетела гальваническая цепь, едва ее наладили, заклинило поворот башни, потом сгорел тридцатисильный мотор горизонтальной наводки, пришлось специальными размахами, наваливаясь по десять человек, двигать башню с черепашей скоростью, в элеваторе что-то заклинило, — словом, снаряды не подавались и расхода почти не было.

Неполадок в артиллерийском хозяйстве ко дню второго штурма было больше, чем когда бы то ни было; на пятом, седьмом и девятом плутонгах противоминного калибра выходили из строя одно орудие за другим, разумеется, не без помощи комендора девятой роты Алексева Степана. Трюмной команде во время второго штурма был дан приказ сделать кран в семь градусов, чтобы эффективней можно было бить по наступающему по льду Троцкому, но почему-то именно семь градусов,

уже заложенные в автомат стрельбы, никак было не дать, получалось либо больше, либо меньше.

На поверку крена ринулся сам старший артиллерист Гайцук со старшим механиком Козловым.

Все помнят, что Гайцук кончил плохо.

Установив свои семь градусов, изматерив трюмных последними словами, он полетел на мостик боевой рубки к своему шестиметровому дальномеру командовать огнем, где его и достал из винтовки кто-то из военморов: мостик у дальномеров со всех сторон открытый.

Первым выстрелом ему прострелили ногу, сделав как бы предупреждение, но, несмотря на рану, Гайцук мостика не покинул и продолжал командовать, убежденный, что и его судьба и судьба России решается сейчас там, где рвутся снаряды «Севастополя». Тогда вторым выстрелом его все-таки убили. Кстати, пуля попала в рот. Команду принял артиллерист Мазуров. Спрятавшись в бронированном коконе боевой рубки, оставив на мостике только дальномерщика и гальванера, он стрелял до самого вечера, до восемнадцати часов, то есть пока командование крепости не убедилось, что артиллерией натиска не сдержать и надо, вооружив команды винтовками, сводить матросов на лед.

Игорь Иванович видел, слышал и главным образом ощущал, что едва ли не каждая команда, едва ли не каждый приказ и распоряжение или не выполняются вовсе, или выполняются как-то двусмысленно. Хотя бы тот же арест комиссара линкора Турки. Что ж это за арест, если стоило командиру Карпинскому дать приказ сходить на берег, как товарищ Турка, сидевший под арестом, выбежал на верхнюю палубу и стал объяснять команде, что они делают и куда идут, и вместе с другими агитаторами удержал матросов на корабле и сделал раскол среди команды. А уже к двадцати двум часам сам товарищ Турка организовал два отряда для подавления мятежников, занятия города и наведения порядка.

Особенно успешно действовал второй отряд под командованием товарища Петрова. Оставшийся на корабле Турка регулярно получал доклады: обстреляны неизвестно кем на стенке, пробрались на Ленинский проспект, обстреляны у Инженерного моста из пулемета, заняли Дом народа, где помещался «революционный комитет», обезоружили рабочие и милицейские караулы, выставленные от «ревкома». В половине двенадцатого ночи была уже создана временная власть и выпущено соответствующее воззвание.

Для полноты описания событий необходимо вернуться на три с половиной часа назад на борт «Севастополя», где от неизвестных причин в третьей коцегарке вспыхнул пожар. Комиссар товарищ Турка сразу же принял энергичные меры, и в первую очередь выпустил из-под ареста старшего механика Козлова для руководства тушением пожара. Отличалась своей энергичной работой трюмная часть, которая и ликвидировала весь пожар, длившийся не более получаса.

Образование, полученное Игорем Ивановичем, позволяло ему обнаружить бьющее в глаза сходство между событиями 9 термидора

1794 года в городе Париже с событиями начала марта в Кронштадте. В заговоре против якобинцев, как более-менее ясно помнил Игорь Иванович, соединились и правые и левые. Забыв Колло д'Эрбуа, он помнил Билье-Варенна, оба, как известно, представляли левых якобинцев, к ним присоединились и правые дантонисты, и жирондисты, и шометисты, и чебертисты, и, что характерно, вся эта пестрая коалиция опиралась на беспартийных, то есть на «болото». Именно в беспартийном облике выступили в кронштадтских событиях эсеры и меньшевики (правые), кадеты и максималисты (левые), монархисты (крайне правые) и анархисты (крайне левые). Одни объединились, чтобы свергнуть диктатуру якобинцев, другие — для низвержения диктатуры коммунистов.

На другой день после 9 термидора правые взяли верх над левыми, и началась ликвидация революции. Нечто похожее началось и в Кронштадте, когда выяснилось, что «ревкому» (левые) отведена роль ширмы и придатка при «штабе обороны» (правые).

Впрочем, жалеть о том, что Игорю Ивановичу не пришлось на ум сравнивать эти два события, не приходится, ведь термидорианцы достигли полного успеха, раздавили якобинцев, их коалиция оказалась несокрушимой. А даже иллюзорная вера в победу мятежников могла бы увести Игоря Ивановича ох как далеко, сначала в Финляндию, а потом и еще дальше.

Чубатый из третьей котельной, дважды слушавший в кают-компании кондукторов лекции проголодавшихся историков, теоретически тоже мог бы провести параллель, если бы запомнил названия партий или хотя бы их политическую ориентацию. Но в продолжение и первой и второй лекций по истории Великой французской революции он больше думал об изысканной простоте гильотины. Как человек, в сущности, незлобивый он думал о том, как повезло в конечном счете Николаю II и его семье, что их расстреляли, а не обезглавили. Дивился дикости французов, услышав, что изобретение сердобольного доктора Гильотена и по сегодняшний день вершит средневековые казни.

Краткие сведения из истории французских революционных потрясений сообщаются здесь не для того, чтобы публика узнала в авторе внимательного читателя старых журналов. Эти отступления необходимы для разъяснения последовавшего после мартовских событий переименования линкора «Петропавловск» в «Марат». В то же время переименование «Севастополя» в «Парижскую коммуну» в пояснениях не нуждается, поскольку штурм мятежной крепости, как всем известно, происходил в дни пятидесятилетия Парижской коммуны, полувековую годовщину которой кронштадтский «ревком» отмечать отказался, о чем и было сообщено в газете. Подавление мятежа пришлось именно на 18 марта, а потому разумно и назидательно было назвать украшенный линкор именно «Парижской коммуной», а не как-нибудь иначе.

В сущности же, исторические аналогии мало что проясняют в окружающей нас жизни, служат по большей части для развлечения *жаждущих просвещения красавиц* и являются свидетельством не

столько образованности историка, сколько умения себя преподнести; для простых же смертных исторические аналогии не более чем утешение, дескать, не мы первые... Чтобы не брать на себя ответственность за сказанное полностью, можно сослаться на объективнейшего идеалиста Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, умевшего буквально во всем найти что-нибудь разумное; так даже он, изучив всю историю насквозь и с печалью перевернув последнюю страницу, написал: «Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее». И объясняется это тревожное положение тем, что при желании всегда без труда можно найти какую-нибудь причину или обстоятельство, которые якобы мешают в сегодняшней действительности воспользоваться умным примером или хорошим уроком истории.

Со времен Иисуса Навина, штурмовавшего надменные башни Иерихона, непреклонно веками возвышавшиеся у входа в Ханаан, известно, что на крепость стен полагаются лишь слабые духом.

С тех же библейских времен известно, что ополчение, идущее в бой под водительством двенадцати разноплеменных шейхов, — лишь зыбкая масса, подверженная анархистским настроениям, и никакой реальной военной силы не представляет.

И три тысячи лет назад и ныне шансы на победу были только у регулярной армии, подчиняющейся приказам одного вождя; в истории не исчерпать примеров того, как авторитет полководца становился источником сплочения нации.

У засевших в Кронштадте не было и не могло быть вождя, способного остановить солнце на небе, а тьма была единственной броней, способной прикрывать солдат, готовых идти по зыбким ледяным полям на штурм фортов, на штурм неприступной крепости.

Впрочем, беспрецедентный штурм морской крепости пехотой со льда был предпринят и шведским генералом Майделем в январе 1705 года. Шли на штурм в стужу и пургу, но заблудились и в метели свой Рыцерт, Риссерт, Ретусари, или, как он именовался на немецких картах, Кетлингген, так и не нашли, иначе, кто знает, сколько бы еще крови впитала в себя земля пустынного и мрачного острова, поименованного Котлином.

Куда с большим успехом предпринял штурм со льда первый адмирал в истории России Федор Матвеевич Апраксин. Шесть дней, вот так же в середине марта, он вел осадный корпус в 13 тысяч человек по льду от Кронштадта на Выборг, прошел 130 километров и крепость, великолепную по тем временам, блокировал и взял, прирезав «с божьей помощью» к топким ижорским землям «наших дедич и отчич», отданным в свое время слабосильным Михаилом Романовым «за себя и за потомство», важнейший приграничный кусок...

Но что за смысл разбирать историю по косточкам, если не найти в ней ответ на самый простой вопрос: почему одним людям или, к примеру, городам выпадает судьба фантастическая, а другим — никакая?

...Решающими в судьбе мятежников стали 16 и 17 марта.

Утро 16-го выдалось ярким, солнечным. Снег мокрел и оседал в безветрии под теплым дневным солнцем. Воздух был по-весеннему пахучим, легким, пропитанным озоном, казалось, если поглубже вдохнуть и задержать дыхание, можно оторваться от земли и чуть-чуть повисеть, не касаясь ногами снега.

В такую погоду не верится, что беспредельное небо, обволакивающее землю, пустынно и мертво, а верующему человеку и вовсе кажется, что, будь глаза позорче да знай, куда смотреть, и увидишь врата царства небесного, ангелов и апостола с ключами.

На самом краю искрящейся снежной равнины, подштрихованной ровными полосками впаянных в лед фортов, призрачно и нереально проступал Котлин с крутым куполом Морского собора, заводскими трубами, портовыми кранами, казармами и мачтами кораблей.

И небо, и необозримые снежные поля, окружающие форты и крепость, были чисты и безлюдны.

Штурм начался с неба.

Самолеты, неуклюжие и трескучие, до этого лишь безобидно засыпавшие Котлин листовками, с утра 16 марта бомбили корабли и гавань.

Бомбовые удары по крепости и кораблям носили скорее демонстрационный характер, так как несколько десятков пудов бомб не могли нанести заметного урона осажденным.

Сверху были отлично видны забитые эшелонами ближайшие станции.

Ораниенбаум, Старый Петергоф, Новый Петергоф, Лигово, Марьышкино были заполнены непрерывно прибывающими войсками, снаряжением и артиллерией.

В укрытиях ждали выхода на боевые позиции уже повернувшие жерла своих орудий к морю пять бронепоездов и бронелетучки.

Занимали исходные позиции полки и батальоны. На нешироких улицах Ораниенбаума сталкивались движущиеся в разных направлениях колонны войск, люди бранились так, будто им и не предстояло идти через несколько часов плечом к плечу на смерть.

Шла заготовка и доставка к берегу, к местам, обозначенным для схода войск на лед, штурмового снаряжения: свозили шесты, доски, деревянные лестницы для преодоления трещин и разводьев.

Вновь прибывающим войскам уже некуда было втиснуться на узкой полоске побережья, и доставленную в Гатчину 81-ю бригаду задержали с разгрузкой и вскоре завернули вовсе, направив в низовья Волги на подавление мятежных банд.

Как нельзя было с аэропланов, непрестанно круживших над кораблями и островом, увидеть низовья Волги, так же не видны были и лица истощенных хроническим недоеданием бойцов, не видно было ни оборванного обмундирования, ни расквашенной, непригодной совершенно обуви. Не видно было сверху и того, как бойцы, забывшие, когда сполна имели продуктивное довольствие, к собственному удивлению, получали по два фунта хлеба при полном приварке и жирах, а в

результате неразберихи и сутолоки, передвигаясь от одной станции к другой, ухитрились получить суточный рацион и два, и три раза.

Двадцать пять аэропланов, презрев беспорядочную пальбу, испятнавшую ровное белесо-голубое небо белыми бутонами разрывов, поливали корабли и причалы из пулеметов и сбросили триста бомб. Одна угодила прямо в палубу «Петропавловска».

В два часа пополудни отходную мятежникам грянула артиллерия.

Кронштадт яростно огрызался. От каждого залпа линкоров, казалось, вздрагивал весь остров разом.

К вечеру потеплело, и глухие двойные удары трехсот орудийных стволов, сотрясавшие весь день небо и землю, постепенно стали затихать, словно утопая в поплывшем надо льдом тумане.

Лед парил, поднимаясь легким белесым дымком в прохладное светлое небо.

Туман стоял невысокий, и с командного пункта на южном берегу были видны торчавшие островками над зыбкой, сонно клубящейся пеленой, верхушки фортов и шлем Морского собора в Кронштадте.

Еще пустовали приготовленные для приема раненых обширные помещения в самых больших зданиях по обоим берегам залива.

Детские учреждения из фронтовой зоны были эвакуированы, а больницу на станции Разлив перевели в подвальное помещение.

Крепкий характером командующий Западным фронтом, ровно два месяца назад отметивший свое двадцативосьмилетие, щуря левый глаз, разглядывал в медную подзорную трубу форты, крепость и очаги пожаров в местах удачных попаданий: труба была получена в 1919-м после взятия Омска в дар от астронома-большевика Павла Карловича Штернберга, преподававшего курс астрономии в Московском университете. Сейчас, лично возглавив заново сформированную 7-ю армию и получив в подчинение «во всех отношениях» все войска Петроградского округа и Балтийский флот, командующий Западным фронтом держал в руках все нити боевых действий против мятежников.

Командарм негодовал: стреляли плохо, эффективность огня оказалась ниже всяких ожиданий, хотя всю артиллерию собрали в один кулак на узком участке Мартышкино — Малая Ижора. Шесть часов кряду пять тяжелых дивизионов и литеры «Е», «С» и «М» из дивизионов ТАОН¹ резерва главного командования при поддержке ста орудий средних калибров бесплодно молотили Кронштадт, израсходовав половину боезапасов, имевшихся на батареях, а запасы, надо сказать, были огромные. Крепость отвечала сильно и метко.

В Петрограде дребезжали стекла.

К ночи небо подернулось высокими быстрыми облаками, в безветрии набежавшими откуда-то из-за края небес то ли для того, чтобы дополнить собой величественные, но уж очень простые декорации, то ли для того, чтобы скрыть от нежных весенних звезд готовую разыгаться кровавую трагедию.

¹ ТАОН — тяжелая артиллерия особого назначения.

В полночь пехотные полки стали сходить на преющий, дышащий под ногами лед.

Пышным костром полыхала спасательная станция, зажженная метким огнем мятежников; обозначенные вешками места спуска на лед 237-го Минского и 235-го Невельского полков славной 27-й Омской дивизии были ярко освещены высоким пламенем жарко и с треском горевшего сухого дерева... Изменить демаскированный участок было уже невозможно в связи со скученностью войск и только что проведенной передислокацией 80-й бригады. Ровно в 4 часа 15 минут, с задержкой всего на 15 минут от установленного боевым приказом времени, оба полка начали сходить на лед.

Живая, колышущаяся щетина штыков над спинами солдат отражала красные всполохи догорающей станции и казалась уже обогрелой кровью.

Ото льда тянуло могильным холодом, ступать на него в хлюпающую под снегом воду было жутковато, но и откладывать было нельзя никак: 12-го, на Василия-Капельника, прошел вешняк, обрызгав лед первым дождичком, а впереди был Алексей Теплый, этот уже — с-гор-вода.

На лед сходили колоннами, рискуя перед противником и перед фактором ненадежности льда, но, учитывая неуверенность в настроении солдатской массы, пришлось считаться с тем, что в колонне боец чувствует себя более спокойно, чем в цепи, да и управлять и маневрировать колонной проще, чем цепью.

В «Красной летописи» будет сказано о том, что «никогда в годы гражданской войны красноармеец не был так хорошо обмундирован и так хорошо не питался, как под Кронштадтом». Это справедливо в отношении питания и обмундирования, а вот с обувью решить вопрос до конца так и не удалось, часть красноармейцев шла по мокрому льду и снегу в набухших валенках, попадались бойцы и в лаптях. Зато у каждого красноармейца на этот раз было по 100—150 патронов, в то время как на первый штурм бойцы шли, имея по 3—4 обоймы патронов да по нескольку гранат Лемона.

Треть делегатов шедшего в эти самые дни в Москве X съезда РКП(б), покинув зал заседаний, прибыла в Петроград для участия в подавлении мятежа.

Коллеблющаяся стихия кронштадтского мятежа в своем пестром многолюдстве несла в себе мало определенности, ясности и оформленности.

Ей противостояла сравнительно малочисленная, но монолитная и несокрушимая организация. Самые стойкие и негибкие бойцы, цвет партии, ее авангард и вожаки, секретари ЦК и ЦКК, члены Реввоенсовета, секретари губкомов, председатели исполкомов, командиры и комиссары дивизий и полков, журналисты, писатели рядовыми солдатами сошли на лед Финзалива, став проводниками единой и негибкой воли.

Эта крайняя, невероятная, отчаянная мера могла быть понята лишь теми, кто сознавал всю опасность мелкобуржуазной контрреволюции в стране, где пролетариат составляет меньшинство.

На зыбком, тающем льду, окружавшем небольшой низменный остров, замыкающий горло мелководного залива, решалась судьба революции.

Утопая в ночном мраке, колонны все дальше и дальше уходили от берега. Неразличимые в рядах бойцов, шли 300 делегатов партийного съезда, вселяя в наступающую армию решимость и твердость примером личного мужества и самопожертвования.

Голубовато-белые спицы корабельных и крепостных прожекторов, метнувшись по высоким облакам, падали вниз и шарили по ледяной поверхности залива, словно руки слепого, отыскивая жертву для еще молчавших орудий и пулеметов.

В затаившейся крепости ждали атаки.

За облаками скользил ослепительный, бегущий против ветра, ледяной глаз луны, густое, непроницаемое небо в сумятице летящих облаков было бесстрастным и молчаливым.

Передние шеренги колонн хрустели подтаявшим и успевшим заledenеть настом, а сзади слышался чавкающий звук сотен ног в жидком месиве снега.

За каждой колонной тянулись лишь нитки телефонного кабеля, ни одной из них не суждено уцелеть, как не уцелеют и телефонисты, брошенные на поиски обрывов и восстановление.

Пехота падала на лед, подкошенная мутным лучом прожектора, но едва он уходил в сторону, бойцы без команды поднимались и шли в мокрых, липнущих к ногам белых маскировочных халатах, растворяясь в тумане на расстоянии шестисот шагов.

Можно было не падать в мокрый снег, можно было не падать в воду, проступавшую надо льдом, если бы знать, что для защитников крепости прожектора не могли высветить ничего дальше двухсот — трехсот шагов, потому что ослепительный, отливающий синевой, как сталь хорошего клинка, луч упирался в туман, как в стену.

Лишь под утро атака шестого форта на севере и второго на юге обнаружили наступавших под крепостными стенами.

Уцелевшие свидетели скажут о глубоком впечатлении, которое производил рев орудий, грохот разрывов, горы вздыбленной воды со льдом, сыпавшиеся с неба камни, поднятые взрывами тяжелых снарядов со дна на мелководье; скажут, как становилось во рту кисло и долго звенело в ушах от режущего воя снарядов полегче, тех, что ударялись о лед и рикошетом улетали дальше — искать свою кровавую добычу...

Лед вздрагивал, трескался, образуя разводья и полыньи.

Колонны развернулись в цепи, и уже ничто не могло сдержать яростный натиск пехоты, знавшей, что выжить если и удастся, то только там, на острове.

Ни крепостные стены, ни колючая проволока с электрическим током, ни фугасы, вздымавшие атакующих вместе со льдом в воздух, ни испепеляющий огонь двенадцатидюймовых орудий, способных сокращать дредноуты и города, не смогли удержать пеших бойцов в окровавленных халатах, с черными лицами, оглохших от орудийного

грохота и винтовочной пальбы, шедших с примкнутыми штыками прямо в ад.

Поначалу раненых было мало — после орудийных разрывов уходили под лед вместе с живыми и убитыми; воздушные разрывы «шимозы» поражали в голову и укладывали убитых почти правильными концентрическими кругами. Наткнувшись на ружейно-пулеметный огонь, войска стали нести потери и убитыми и ранеными.

В десять утра бой громыхал во всех гаванях и на улицах Кронштадта.

Противника, загнанного в каменные казематы, добить не удавалось, ручные гранаты в большинстве своем не рвались, артиллерия, запутавшись в сигнализации из-за нехватки ракет нужных цветов, начинала бить по уже захваченным фортам; штурмовавшие спешно с потерями отходили, чтобы через три часа начать все сначала.

Минцы стремительной атакой выбили противника и овладели фортом «Павел». Невельцы, несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь, особенно с правого фланга, со стен Каботажной гавани, прорвали проволочные заграждения у кромки берега, неся потери, овладели городским валом, ворвались в город и ввязались в затяжной бой на Цитадельной и Сайдашной. Минцы устремились по Александровской улице и Северному бульвару..

Когда в обоих полках убитыми и ранеными вышло 90% командного состава, управление боем было практически утрачено.

Израненные, в окровавленных халатах, полки начали отход.

На прикрытие правого фланга отходивших невелиццев были брошены остатки бригадной школы.

Школа дралась великолепно и погибла полностью.

Навстречу отступавшим попадались санные упряжки с продовольствием, боеприпасами и пустые, за ранеными; лошади, спрятанные в огромные балахоны, сшитые из казенных простыней с несмываемыми штампами госпиталей, больниц и полковых хозяйств, казалось, приделались для участия в каком-то карнавале.

Уцелевших, добравшихся до южного берега невелиццев и минцев удалось собрать у дымящихся развалин спасательной станции в два батальона неполного состава и вывести в оперативный резерв командующего Южной группой. Через три часа, еще не пришедших в себя, не успевших понять, на каком они свете, их снова бросят в бой — спасти от разгрома прижатую контратакой мятежников к Петроградской гавани разбитую Сводную дивизию.

Эхо артиллерийских раскатов кувыркалось между стенами домов, полыхали пожары; очищенные от мятежников здания, словно воскреснув, били в спины наступающим кинжальным пулеметным огнем, и уцелевшая пехота разворачивалась, чтобы снова штурмовать разбитый, продырявленный со всех сторон дом.

Положение частей, ворвавшихся в город, было неустойчивое. Командиры видели, как части из-за убыли людей иссякают и не могут не только развивать успех, но и удерживать занятое.

Громадную услугу наступающим сослужили пулеметы, особенно в уличных боях, то же самое можно сказать и о пулеметах противника, наносивших наступающим огромный урон. Удобные для продольного обстрела улиц позиции мятежники без труда устраивали на балконах. Ликвидировать такие огневые точки при отсутствии у наступающих полевой артиллерии было затруднительно. Недаром впоследствии, теоретически осмысливая большой практический опыт, командарм-7 укажет на артиллерию и бронесилы как на главные средства при подавлении мятежей в городах.

Здесь же уличные бои велись еще неумело, войска расплылись на мелкие группы, управлять которыми при нехватке младших командиров было практически невозможно; уничтожались такие группы с легкостью. Рассеянные по незнакомому городу красноармейцы, увидев командира, хватались за кобур: «Ты, командир, командуй нами!..» Большие потери несли войска от неразберихи, перепутанности частей и, самое главное, невозможности наладить командование. Потери в командном составе доходили до 50 и более процентов, в отдельных частях до 90.

Под натиском контратакующих мятежников части Сводной дивизии стали беспорядочно откатываться к Петроградской пристани, здесь и наткнулся начдив Сводной тов. Дыбенко на прибывший неведомо по чьему приказу, находившийся в резерве взвод из 5-й роты овыкузаповцев, слушателей Объединенной высшей военной школы Западного фронта. Каждый из бойцов тут же получил приказание пробиваться от пристани в город и брать под командование группы красноармейцев, оставшиеся без командиров. После этого счастливо-го случая начдив уже сам подходил к каждому бойцу, похожему на командира, с вопросом: не овыкузаповец ли он?..

Телефонная связь, прежде чем прерваться, успевала донести требование командования действовать энергично, занятое удерживать во что бы то ни стало, невзирая на потери. Восстанавливать связь было некому, телефонистов не стало из-за ранений, а резервы и без того были брошены на зыбкий, содрогающийся под ногами атакующих лед.

Мятежники на автомобилях перебрасывали отряды матросов, косивших из пулеметов прорвавшиеся в город группы.

К южному берегу в сторону Мартышкина и Кронштадтской колонии потянулись остатки обескровленных, разбитых частей.

К пяти часам вечера мятежники выбили атакующих из города, те зацепились за укрепления в гаванях, прижались к кромке льда.

Начдив Сводной дивизии, главной атакующей силы Южной группы, доложил командованию о своей неуверенности в успехе и о возможности оставления города. Командование немедленно бросило в огонь два собранные в неполные батальоны полка 79-й бригады и боевым предписанием № 541 отозвало начдива тов. Дыбенко и военкома тов. Ворошилова на отдых в Ораниенбаум. Выполнить предписание оказалось невозможным, так как штаб дивизии находился непосредственно в зоне огня, почти окруженный большой организованной группой мятежни-

ков. Товарищ Ворошилов, выбежав из штаба, под свист пуль лично собирал бойцов и организовывал оборону штаба...

Это был час отчаяния и предельного напряжения сил с обеих сторон. И снова, как дружина из-за Вороньего камня на Чудском льду, как Засечный полк на Куликовом поле, на помощь выбитой из крепости пехоте от Мартышкина по льду пошла конница рубить и полосовать клинками охьяненных призраком победы матросов.

Силы наступавших были истощены, некому было брать пленных, занимать заявившие о сдаче линкоры, минную и машинную школы, не было сил и для преследования бежавших мятежников.

Веселый золотой круг уже не слепил, а медленно валился к горизонту, где и увяз одним краем в густой серой пелене отгремевшего побоища.

К концу дня 17-го, узнав, что «вожди» ушли в Финляндию, мятежники начали сдаваться.

Победителей к этому времени на острове было меньше, чем побежденных.

После того как с линкоров дали радио о готовности сложить оружие, на «Севастополе» наступило тягостное и непонятное время, время первой и второй вахты с нуля часов до утра. В городе еще гремел бой, отчаянно сопротивлялся форт «Риф», прикрывавший бегство «вождей», обещавших настоящую свободу, настоящие Советы, амнистии, демобилизации и прочные пайки, а серые громады скованных льдом дредноутов казались уснувшими, безучастными, покинутыми людьми.

Кто чувствовал себя виноватым, двинул в Финляндию, другие на пороге новой судьбы пошли в баню, надевали свежее белье, у кого оно было, кто-то даже попытался чистить палубу, не мытую десять дней.

Поразительное дело, но многим не только оставшимся, но и сбежавшим в Финляндию все происшедшее представлялось делом домашним, семейным, ссорой между своими, если даже главарь мятежа Степан Петриченко после недолгого пребывания в Чехословакии раскаялся и в середине двадцатых годов вернулся в Советскую Россию.

На следующий день в одиннадцать утра по адмиральскому трапу у кормового среза мимо иллюминатора командирского салона на борт линкора «Севастополь» стали подниматься изможденные штурмом курсанты.

Все часовые у помещений с арестованными офицерами были заменены курсантами, курсанты встали у боевой рубки, на мостике, в ходовой, у главной машины и закрытых на замок башен главного калибра.

— Ну что, герои!.. — пытаюсь сохранить достоинство, хорохорились военморы, встречая курсантов.

— Герои на льду остались, у фортов лежат.— Победители были сдержанны и суровы.

Жалкие, виноватые, голодные, еще вчера хмелевшие от лесты — «краса и гордость революции», «надежда свободы» — а сёгодня клеш-

ники, жоржики, иванморы, матросы пытались заговаривать, но курсанты, еще не очнувшиеся от ужаса ночного штурма, еще не пережившие смерть товарищей, еще не знавшие толком, кто из друзей уцелел, а кто нет, на разговоры не шли. Странно было видеть солдатские шинели на борту линкора, на палубе и у трапов рядом с сонными и безучастными матросами, слонявшимися кто где в ожидании своей участи, ставшими вдруг пассажирами на собственном корабле. Если еще две недели назад эти же люди, шагавшие стройными колоннами на площадь Революции, казались монолитной, несокрушимой силой, то теперь это были хаотически рассыпанные части переставшего существовать механизма, и лишь по инерции каждая из частиц еще продолжала свое бессмысленное кружение, еще продолжала двигаться в пространстве, ограниченном бронированными бортами корабля.

Вскоре после обеда неподалеку от кормы на льду остановился обоз из двух десятков заложённых в дровни тощих крестьянских лошадок, мобилизованных по указанию начальника штаба тыла Южной группы товарища Штыкгольда. От красноармейцев, сопровождавших обоз, отбежал командир в суконном островерхом шлеме и валенках с галошами. Командир велел часовому у трапа позвать какого-то Распопова. Распопов появился из недр корабля довольно быстро. Командир сделал десяток шагов к борту по расквашенному оттепелью снегу и прокричал Распопову просьбу дать ему человек с полста, чтобы поработали на льду.

Прямо у четвертой башни стали строить первых подвернувшихся под руку.

— Артиллеристов давай, пусть на работу свою посмотрят! — видя старания Распопова, прокричал командир.

Особисты переписали построившихся, и отряд сошел на лед.

В колонне по четыре в сопровождении конвоиров, кативших рядом на дровнях, матросы двинулись по большой дуге в сторону Петроградских ворот.

Тяжелые флотские башмаки через сто шагов стали насквозь мокрыми, санные полозья оставляли за собой колеи, быстро набухавшие водой. Лошади скользили, обоз двигался медленно. Шагавшие по воде матросы с завистью поглядывали на дровни с одним ездовым и одним солдатом с винтовкой и продолжали месить рыхлый и влажный снег.

Сначала объехали несколько огромных черных дыр, в первой же дыре матросы увидели, как медленно кружит, раскинув рукава, белый маскировочный халат, потерявший своего хозяина и теперь будто бы высматривающий его в непроглядной тьме подо льдом. Кое-где над широкими трещинами и полыньями остались лежать доски и дощатые лестницы, с которыми наступавшие шли на штурм; в полыньях плавал битый лед, местами окрашенный бурими пятнами, сено со сгинувших подо льдом саней, какие-то обломки, сор...

В снежной каше, истоптанной тысячей ног, валялось оружие, одежда — шинели, какие-то куртки, рваные окровавленные маскировочные халаты, снова доски, газеты, подсумки, пулеметные ленты с остатками патронов. Кое-где были видны люди, неторопливо соби-

равшие и складывавшие в одно место оружие, но даже с прибывшими моряками и обозными живых на этом огромном снежном пространстве от проволочных заграждений у берега и до фортов, призрачно висевших в зыбком влажном воздухе, живых было меньше, чем мертвых. Севернее Петроградских ворот, как раз на рубеже наступления 32-й бригады 11-й дивизии, старший конвоя скомандовал остановиться.

— Ваша задача, — без обращения сказал старший в буденовке, — собрать наших товарищей, сложивших головы в бою с гидрой контрреволюции! Перенести их в сани — вот ваша задача. Оружие павших бойцов — не ваша задача. В каждого, кто возьмет в руки оружие, конвой стреляет без предупреждения.

Когда стали расходиться по льду, кто-то из матросов, увидев под ногами винтовку, поднял ее. Тут же прогремел выстрел. Матрос даже не понял, что это промахнулись по нему. Он стоял, держа винтовку со скособоченным от удара в лед штыком за ремень, и недоуменно смотрел на выстрелившего солдата. Тот передернул затвор и готов был стрелять снова, но медлил.

— Брось ее на ..., ведь застрелит с испугу! — крикнул кто-то из своих.

Матрос смачно плюнул и откинул винтовку в сторону.

Во время двух штурмов побито было так много народу, что хоронить каждого в отдельном гробу не было никакой возможности. Только на улицах Кронштадта подобрали пятьсот мертвяков. Весь день по мастерским крепости стучали молотки и топоры, сколачивали вместительные двухметровые в поперечнике гробы.

Матросы разбились по двое, поскольку в одиночку и поднимать и тащить было не с руки.

Игорь Иванович и чубатый из третьей котельной в паре не работали и даже не замечали друг друга, как, впрочем, и все остальные, занимались своим печальным делом как бы сами по себе, молча. Молчание более всего подходило к этой работе, даже конвойные переговаривались вполголоса.

Снег и лед, словно хрупкая, непрочная бумага, еще хранили запись недавних событий.

Вот этот лежит один, в откинутой руке шапка с ватным султанчиком, вырванным шальной пулей.

А этих уложила удачная очередь пулемета, лежат четверо, срезанные, как косой, только и разницы — один еще пытался ползти и полз немного, а эти затихли где упали.

Здесь удачно жажнула картечь, а вот здесь фугас, видно, не зря проломил лед, если края пятиметровой полыньи так щедро измазаны бурой краской.

У проволочных заграждений, что почти у кромки берега, особенно много убитых: лежат не только на снегу, но и на кольях, на гамаках из колючей проволоки, на камнях и за камнями...

Те, кто хлюпал сейчас по тяжелому мокрому снегу, складывая на дровни оледеневшие в последнем движении жизни, негнущиеся, топорщащиеся друг от друга трупы, те, кто озабочен сейчас был лишь тем, как побольше нагрузить в одни сани (саней было мало, а подбирать

вон сколько), всего несколько часов назад, в пору первой и второй вахты, когда линкор был вне войны и плена, слонялись по всем его палубам, томились в кубриках и на постах, непрерывно и главным образом в одиночку выстраивая оплот своей личной невинности или самой малой вины в предвидении необходимости в скором времени отвечать на вопросы не стозевым ревом толпы, а каждому в отдельности и за себя.

Никогда люди, даже самые различные, не бывают так похожи друг на друга, как в ту минуту, когда, отъединившись ото всех, от всего мира, они погружаются мысленно, в воображении своем в строительство крепости своей правоты или благополучия. Здесь все законы, управляющие человеческими судьбами, отступают куда-то, теряют свою силу и право, и вперед выходят, соединившись, помогая друг другу, лишь Милосердие, Справедливость и Удача. Так уж устроена душа человеческая: когда надежда не находит опоры и помощи нигде и ни в чем, когда последняя беда, какую и про себя даже поименовать страшно, надвигается, лишая воли и сил, последним прибежищем души остается вера в чудо. Цена на чудеса на публичных торгах сильно упала, и потому каждый о чуде думает лишь про себя, словно боится, что на всех этой редкой благостыни все равно не хватит.

Игорь Иванович Дикштейн на чудо не надеялся и, зная наверняка, что мятежный экипаж на линкоре не оставят, загодя оделся потеплей, распахнул по карманам самое необходимое и надел добротные сапоги, ждавшие своего часа.

После того как работа на льду была закончена, командир в островерхом шлеме начал метаться по начальству, не зная, куда ему сдать своих. Ворчали и хозяйева тощих лошадеенок, трудившихся из последних сил, шатаясь и скользя, весь долгий мартовский день дотемна. Наконец командиру удалось пристроить своих на допрос как бы без очереди, соблазнив начальство возможностью скорой отправки этой команды на берег, в Мартышкино, откуда мобилизовали лошадей по гужевой повинности. Командир заботился о своих до предела измученных бойцах и думал, что одно дело плестись конвоем десять верст по льду вместе с арестованными, другое — ехать рядом в дровенках.

На вопросы Игорь Иванович отвечал толково, без суеты: «Со своего боевого поста не ушел, потому что мог на нем принести пользу революции. Да, стреляла башня. Только взрыватель донный Радутовского с предохранителя не снимали, ни на первое, ни на второе замедление не ставили. Так что урона от такой стрельбы никакого. Кто подтвердит? Вся башня». Сказал с уверенностью, понимая, что всей башне кидает спасательный конец.

Последний вопрос показался странным: «Деньги есть? Покажи». Показал. Наскоро ошупали, велели деньги забрать, и — «следующий!».

Очередь дошла до чубатого; услышав, что из третьей котельной, переглянулись, первый и последний вопрос: «Деньги есть? Покажи». Показал. Среди бумажек и мелочи сверкнул серебром тяжелый кругляш вилькеновского рубля.

Рубль забрали, и — «следующий!».

И ни одного вопроса больше, а у чубатого, как, впрочем, и у каждого, была наготове история, которую интересно было бы послушать, про то, как, если бы не он... Впрочем, слушать-то не стали...

Промерзшие за день на льду матросы едва отогрелись на недолгом допросе и снова месили рыхлый снег в сопровождении караула на дровнях. Короче было бы прямо, на Ораниенбаум, но взяли левой, на Мартышкино, видимо, к тому было указание.

В Мартышкино прибыли в середине ночи. Отвели в высокий дощатый сарай неподалеку от станции и сдали под охрану местной комендантуре, а может, какого-нибудь армейского начальства, собственно, пока это никого и не интересовало. Сарай был прочный, сухой, с дощатым полом, стены, стропила и пол были покрыты мучным инеем, видимо, здесь раньше были отруби, может, еще какой фураж, а сейчас помещение пустовало и хранило только сухой сытный запах муки. Сначала показалось, что в нем даже тепло, но это только после улицы, через полчаса уже было понятно, что температура в сарае почти не отличается от уличной.

У кого еще были силы, снимали башмаки и сапоги, отжимали портянки, растирали обмерзшие ноги, матерились для сугрева. Влажные от дневной работы бушлаты за время перехода из Кронштадта на ветерке схватились коркой, не грели. Стали приваливаться по углам, к стенам, друг к дружке, сморенные усталостью, голодом и морозом.

Кто-то, невидимый в темноте, громко объявил:

— Братва, спать нельзя, ни один утром не разогнется, все на ... померзнем! Кто уснет — крышка! Братва, до утра продержаться... больше терпели...

Трудно было представить, откуда у этого невидимки и силы, и здравый смысл, и способность думать за братву. Он ходил, уговаривал, матерился, пинал ногами разлегшихся на полу... Отругивались лениво, каждый понимал, что, уснув, можно и не проснуться, но почему-то казалось, что именно с ним этого произойти не может.

Потом вдруг додумался, затыкнул: «Ревела буря, дождь шумел...» Те, что догадались, зачем песня, что она поможет сломить смертельную дрему, стали подтягивать.

Часовой насторожился, пение среди ночи было подозрительным. С покатою крыши сарая, шурша, слетел вниз и глухо ударился тяжелый пласт подтаявшего за день снега. В то же мгновение ударил выстрел: часовой бухнул с перепугу. Пение оборвалось, выстрел разбудил даже задремавших.

Прибежал разводящий, размахивая маузером, с ним еще человек пять курсантов с винтовками.

Часовой про снег говорить не стал, а сказал, что поют.

— Раньше петь надо было, — поразмышляв, сказал разводящий, оставил еще одного курсанта и, покурив, ушел.

Около пяти утра свет стал просачиваться в щели у дверей сарая.

Угомонившийся было запевала проснулся первым. Глухо матерясь, пошел встряхивать спящих. Те, кого ему удалось разбудить,

узнавали в нем комендора с четвертого плутонга, члена судкома. Он будто и здесь чувствовал себя за старшего, обязанностей не сложил. Двоих так и не добудился, те уснули навсегда, согрешившись в воображении последним теплом, что приходит к замерзающему насмерть человеку.

Чубатый сидел, подтянув колени, вжавшись в себя, спрятав руки в сдвинутые рукава куцего бушлата.

В сарае было так холодно, что казалось: выйди на улицу, на снег — и согреешься.

Холод прогрыз все тело. Да и тела, казалось, уже не было, остался только легкий висящий мороз, в котором растворилось все, он уже не чувствовал себя, не мог ни вспоминать, ни думать, ни ждать. Всю ночь и полдня он раскачивался между сном и явью, на секунду, иногда на минуты впадая в забытие, потом снова пробуждаясь от ледяного ожога. Боль в ногах сменилась тупой зудящей тяжестью, руки уже было не разнять, и только острая боль в сердце, словно туда, за бушлат, попал и не тает острый кусочек льда, заставляла чувствовать в себе жизнь. Как только сердце отпускало, иных чувств уже не было, и он ускользал куда-то, словно в нем самом уже ничего, кроме морозного воздуха, не осталось. Он уже не мог бы даже в точности сказать — лежит он, сидит или подвешен.

Если с утра еще пробовали бужить, у кого оставались силы, еще колотили в дверь, требуя хлеба и махорки, то сейчас в сарае стало тихо, будто все в нем уже умерли.

За стенами клочкотала жизнь победителей. Распевая «Ермака», прошла рота курсантов, скрипели полозья, кричали возницы, раздавались команды, смех, перекликались, спрашивая о судьбе друзей и знакомых, случайные встречные. Со станции, что была не так далеко, раздавались паровозные гудки и лязг буферов трогавшихся составов.

Стали выкликать. Народ кое-как разгибался и тащился к выходу, где поджидал конвой.

Когда выкрикивали вторую партию из пяти человек, какого-то Семиденко, то ли Семиренко выкликали раз шесть.

— Спит он, — сказал запевала.

— Разбуди! — скомандовал курсант от двери.

— Сам буди, вон он, — показал запевала.

Курсант оставил винтовку с внешней стороны у входа и шагнул в сарай. Подошел, схватил за бушлат лежащего на полу этого Семиденко или Семиденко и дернул. От пола приподнялось тело, сохранявшее форму свернувшегося калачиком, уснувшего человека. Он отпустил, голова ударилась о деревянный пол с мягким стуком. Тогда схватил за плечо запевалу и подтолкнул к выходу. Тот не сопротивлялся.

В конце дня дали смерзшегося хлеба и тепловатой воды. Еда пробудила надежду, что больше вызывать не будут, с полчаса чубатый пребывал в таком чувстве, будто увидел свет и освобождение, потом снова растворился в морозе.

Утром открыли дверь, назвали пять фамилий.

Он отчетливо слышал свою фамилию, имя, отчество. Эти слова, эти три слова были произнесены, как ему показалось, громче всех,

громче, чем прозвучал вчера ночной выстрел. Он вздрогнул, сделал движение, чтобы подняться. Тело не двинулось. Он еще раз напрягся, чтобы преодолеть эту леденящую невесомость, попытался совершить то непонятное усилие души, благодаря которому иногда удавалось оборвать дурной сон, проснуться и, повернувшись на другой бок и покрепче сбив подушку, окунуться в новую явь сновидения. Фамилия прогремела еще и еще раз. Проснувшимся сознанием он понимал, что это последнее, что от него требуется, и даже испугался, что не сумеет это последнее выполнить, заторопился, дыхание провалилось. Ледяной воздух был непреодолимо плотен. Он еще раз попробовал подняться, хотел крикнуть, чтобы его обождали, но только повел головой с полуоткрытым ртом под заиндевевшими усами.

— А-а-а!.. — сказал курсант у входа, шагнул в сарай, не выпуская винтовки из рук, огляделся, увидел изрядные сапоги на ногах Игоря Ивановича Дикштейна и дернул его к выходу.

Остаток жизни, те последние часы, что достались из-за какой-то неведомой задержки, Игорь Иванович Дикштейн прожил в невероятном, никогда ранее не изведенном огромном и лихорадочном ощущении жизни. Его сознание, лишенное времени на выстраивание привычных обстоятельных рассуждений, охватывало разом и случившееся, и увиденное, и прожитое. И разом приходил к последнему суждению, к последней сути, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни к случившемуся, ни к прожитому, ни к увиденному вокруг.

Тот, кому приглянулись сапоги Игоря Ивановича, куда-то исчез, их долго переводили с места на место, то с кем-то соединяли, то опять отделяли, продажали еще в каком-то сарае, наполовину забитом дровами, и передали наконец новым людям, новому караулу.

Первая мысль, заставившая сразу же сознание Игоря Ивановича пробудиться и заработать на максимальном напряжении, едва рука солдата схватила его за плечо, была — почему?.. откуда?.. кто?.. Ответ выпал мгновенно, как вываливается чек из кассового аппарата «Националь», едва кассир повернет рукоятку и аппарат отзовется веселым перезвоном.

Журнал! Журнал... Журнал!!! Он увидел журнал подбашенного отделения, журнал, содержащийся в идеальном порядке, быть может, образцовый не только в бригаде линкоров, но и на всем флоте... журнал, куда своей рукой, испытывая знакомое чувство удовлетворения от хорошо исполненной работы, Игорь Иванович Дикштейн сам вписывал целые две недели свой приговор и скреплял своей подписью.

Он тут же выкинул журнал из своего сознания, не способного жить, упершись в непоправимое. Но жизнь, по которой он скользнул лихорадочным внутренним взором, так же предстала сплошной чередой роковых, непоправимых ошибок... Ошибкой было все — и то, что не перешел на «Полтаву», не дал себя арестовать тем, которые собирались взрывать линкор, ошибкой казалось и то, что не ушел в Финляндию, а Колосовский предлагал, но самой большой ошибкой вдруг стал сам приход на флот и даже техническое образование, следствием чего стала служба при боезапасе. Какая бы подробность ни вставала в памяти, она тут же обретала обличье страшной и непоправимой ошибки.

Но самым ужасным было сознание того, что вся жизнь, вся, была, оказывается, дана Игорю Ивановичу для того, чтобы он сделал всего лишь один шаг в сторону, только один шаг, и не было бы ничего этого...

Он ступал по заледеневшей дороге в последней партии обреченных, вокруг клокотала и кипела удачей многоголосая и многолюдная жизнь победителей; дома, колонны войск, деревья парка, вдруг мелькнувший у горизонта Кронштадт он видел и ощущал как знакомое и чуждое, там все шло своим чередом, там не было места ни его присутствию, ни участию. Он шел как человек, покидающий наконец чужой город, чужую планету, где все привычно, знакомо до мельчайших подробностей и все бессмысленно и чуждо. Нужно было уходить, уезжать куда-то к себе, в забытые, стершиеся в памяти места, о которых известно... Он пытался взглядеться, вспомнить эту забытую даль, но мешал холод. От холода тело, казалось, стало твердым, жестким, непробиваемым... Конвоиры сначала велели взять руки за спину, но потом уже не обращали внимания на то, как сгорбившиеся от холода и печали морячки совали руки в рукава бушлатов и подмышки.

Игорь Иванович поскользнулся. В одну секунду он разъял сцепленные в рукавах ладони, одной рукой по привычке схватил готовые слететь очки, другой, смешно размахивая, старался ухватиться за сырой по-весеннему воздух, чтобы устоять на выскользнувшей из-под ног земле.

— Осторожней, очки разобьешь,— участливо сказал один из провожающих, шагавший рядом.

Это были последние человеческие слова, обращенные в этой жизни непосредственно к Игорю Ивановичу; он не ответил.

Провожавшие отгораживали винтовками с опущенными к земле штыками Игоря Ивановича от всей остальной жизни, отгораживали от всей земли, от огромного, бездонной голубизны неба, золотившегося вокруг нежаркого солнца, от жизни, соединенной и движущейся по правилам и законам, так и не открывшимся ему. Эта непонятная жизнь уносила теперь в свои бесконечные весны и зимы уже одна, без Игоря Ивановича.

...Три пули разом воткнулись в мягкое тело мятежного кондуктора, одна зачем-то пробила руку, вторая застряла в животе, и только третья сбила влет сердце, трепещущее жадной чуда, жадной невозможного. Боли Игорь Иванович не почувствовал и падал на снег уже мертвым.

К Игорю Ивановичу Дикштейну у советской власти претензий, в сущности, не было, и чубатый, отшагав по весне в архангельские края пешком, теперь катил на поезде, поражая летних пассажиров многообразием голубых рисунков на сильно исхудавшем теле, к сожалению, рисунки смотрелись плохо, как на мятых листах бумаги. Катил чубатый не в Петроград, не к Анастасии Петровне, невенчанной своей жене, а на всякий случай к матери в Москву, куда она переехала после смерти отца из Сергиева, продав дом и поселившись на Шаболовке; работать удалось устроиться неподалеку, на фабрике заготовления государственных бумаг (Гознак), что по тем временам

считалось немалой удачей. Туда же была вызвана и Настя, приехавшая с родившейся в первых числах июля Валентиной.

Настя рассудила трезво: в революции многие берут себе разные новые имена и фамилии, сейчас, когда вся жизнь кругом переименовывается, когда Царевококшайск, например, стал Краснококшайском, а Невский в Петрограде проспектом 25 Октября, когда отменили паспорта, этот «гнусный пережиток полицейского режима, инструмент слежки и преследования», многие граждане, хотя бы и у них в Коломенской части, решили начать новую жизнь под новой вывеской. Она привела множество примеров, целых четыре только из агитколлектива «Красный чайник» при городском отделе Сангигиены, где Настя до самого рождения Вальки выступала с младшей сестрой, поливая кипятком сатиры грязь во всех ее видах и проявлениях. Кстати, Саша Смолянчиков из агитколлектива стал официально Фердинандом Лассалем. Петька Говорухин постеснялся именовать себя непосредственно Троцким и скромно переименовался в Льва Бронштейна. Ведерников Константин имя оставил, а фамилию придумал своеобразную — Кларацеткин, и ничего, поудивлялись недели две-три и привыкли. Таким образом, получалось, что появление на Старопетергофском неведомого ранее Игоря Ивановича Дикштейна не могло привлечь внимания не только властей, но и немногих знакомых и соседей, знавших о пунктирном романе Насти с морячком с «Севастополя». Для тех же, кто помнил изначальное имя и фамилию Настиного мужа, была предложена совсем не оригинальная и потому очень убедительная версия: сменил наименование для увековечения памяти незабвенного героя, так рано сгоревшего в огне революции, — не уточняя подробностей.

За долгий пеший путь в архангельские края чубатый из третьей кочегарки неплохо сошелся с бывшим писарем из девятой роты противоминного калибра. Тот в свою очередь, замещая иногда писарей из первой роты, то есть главного калибра, хранил в памяти ценные сведения, которыми не без пользы и для себя и для других делился во время утомительной дороги. За хлеб, махорку, сахар, сухой угол в протекающем сарае и прочие жизненно важные блага писарь помогал людям, и не только с «Севастополя», подготовиться к серьезным беседам в пункте назначения.

Чубатый усвоил главное: отвечать на все вопросы как можно короче, по возможности односложно, никаких подробностей, напирать на то, что все знают или можно проверить, и призывать в свидетели покойников. Из того немногого, что писарь помнил о старшине боезапаса второй башни, была выстроена простая красивая судьба: родом из эстонских обрусевших немцев, что, кстати, было удивительно верной догадкой, родился и жил на острове Эзель, поди проверь: Эзель после войны уже не Россия; отец — коммерсант, занимался биржевыми сделками, по политическим соображениям с семьей порвал и после Брестского мира даже не переписывался. В башне главного калибра чубатый бывал не раз во время авралов по приему и выгрузке боеприпасов, так что труда вытвердить основные узлы «своего» заведования не составляло.

За три или четыре перехода до Каргополя удалось достать самогона, хорошо принявший писарь, видя, каким почетом и уважением он окружен, как забота и любовь шагающих с ним рядом растет прямо на глазах, так расхрабрился, что сдуру и прихвастнул: крестников-то, говорит, у меня уже человек сорок, большая награда от начальства может быть... Шутка его и погубила. Игорь Иванович был при своем спасителе неотлучно, но однажды после дневки, вернувшись с кухонного наряда с маленьким гостинцем, увидел своего «крестного» прикрытым с головой, уже мертвым. Придурившие его «крестники» были тут же и смотрели, как поведет себя Игорь Иванович.

Игорь Иванович от упрека не удержался. «Шуток не понимаете...» — сказал он, обедев взглядом крестников, но дальше повел себя правильно.

Об усопшем сказали на вечерней поверке. Случай был не единственный, и конвой никакого особого смысла разгадывать в нем не стал. Все было записано и закопано в соответствии с установленным порядком.

Самое опасное, к чему готовился кочегар из третьей котельной — разговор на месте назначения, — оказалось делом простым и безболезненным.

Собеседователей было трое. Тот, что сидел посередине и больше всех спрашивал, производил впечатление злоеющее. Голова, голая, как облупленное вареное яйцо, была неестественно белой и даже мягкой, густые русые брови и черная щеточка усов под носом, видимо, крашенных, узкий безгубый рот-щель и грубый голос при этом не предвещали ничего хорошего. Сидевший слева от него был будто нарочно в гражданском пиджаке и всячески старался показать, что его участие в этих разговорах почти случайность, поскольку не по его чину, званию, весу и положению. Он был ироничен и снисходителен не столько к сменявшимся собеседникам, сколько к своим же коллегам, чем подчеркивал разницу положений. Для этого с вопросами обращался больше к тому, с голым черепом, обращаясь на «ты»: «А если враг?», «А как проверишь?», «Слушай, давай следующего, я уже есть хочу?» — и все в таком роде.

Третий потел над протоколом и от вопросов воздерживался, так как любой вопрос увеличивал количество писанины.

Беседе предшествовали разные формальности, в том числе и фотографирование, в процессе которого Игорь Иванович Дикштейн приобрел новое лицо. В тощей папочке под названием «Дело №...» судьба Игоря Ивановича была отражена в романной версии писаря девятой роты, в самом лаконичном изложении.

Но самым фантастическим в описываемых событиях было то, что, отделившись от своего подлинного носителя, имя и фамилия не перешли революционным псевдонимом к новому владельцу, а, напротив, как бы оторвали его от себя. В соединении нового лица с новым именем возникли черты и характер нового человека, мало похожего и на кочегара из третьей котельной, и на старшину боезапаса второй башни главного калибра.

Подобные истории бытуют с библейских времен. Савл, поименовавший себя Павлом, как известно, стал разительно другим человеком,

в сущности, как и все схимники, пустынники, послушники и монахи, оставлявшие вместе с прежним своим именем и прежнюю свою жизнь.

Для чубатого изначально лишь мысль о самосохранении дала толчок к раздумьям о соответствии новому своему наименованию, потом он все больше и больше думал о прежнем хозяине своего имени и фамилии, а поскольку единственного человека, с которым он без опасений мог говорить об Игоре Ивановиче, писаря девятой роты уже не было в живых, ему приходилось довольствоваться собственными фантазиями. Товарищи по бараку вдруг заметили, что Игорь Иванович, столь охотно раньше распевавший злые частушки и жалостливые песни, пользовавшиеся особым успехом у военморов, вдруг стал менять репертуар. Он все реже и реже стал брать в руки мандолину, и все чаще видели его берущим уроки на гитаре у мичмана Вербицкого. Он стал строже к себе и, что самое поразительное, не раз уже делал замечания именно кондукторам и мичманам, позволяющим себе опуститься в предчувствии обреченности.

Он с легкостью откидывался от привычек, казалось бы, въевшихся в него с прочностью татуировки. Например, опрокинув стопку, он умел так затейливо, трех-четырёхступенчато, с криком выдохнуть, что товарищи легко представляли себе, как мечется, обжигая нутро, бодрящий пламень в поисках единственного предназначенного для него места. Манеру эту чубатый взял у старшины четвертой коцегарки, на которого даже ходили смотреть, когда он «принимал». Уже на поминках «крестного» Игорь Иванович почувствовал, что веселить эту публику нечего, а после и вовсе решил, что человеку из приличных не резон вот этак себя выставлять. Зато теперь он смог строго оборвать дневального: «Чаишко-то у тебя, Баркалов, псиной пахнет...» — «Надо было кофю заказать», — меланхолично ронял Баркалов, другие отмалчивались или беззлобно огрызались, но никто не решался послать подальше, чувствуя в Игоре Ивановиче постоянно готовую вырваться наружу взрывчатую силу.

Когда Игорю Ивановичу приходилось слышать свою фамилию, вернее, фамилию Дикштейна, он отзывался почти мгновенно, словно боялся, что кто-нибудь отзовется на нее раньше его.

Нельзя сказать, чтобы компанейский нрав чубатого сильно изменился. Как и всякий человек, владеющий мандолиной, гитарой, гармонью или балалайкой, он привлекал к себе людей, да и вообще мало в народе малахольных, кто музицирует в одиночку, для себя. И вместе с тем общение его стало не таким открытым, не таким шумным и задиристым, как раньше. В суждениях стал резок, даже категоричен, а оглядывался настороженно.

В первый месяц по прибытии на место он имел изрядный досуг и, взвинчивая свое воображение, производил себя в старшины башенного боезапаса и даже пытался сочинить себе манеры строптивного отпрыска биржевого предпринимателя с острова Эзель. Представления о стиле и манерах такого рода людей были у него настолько неопределенны, что порой он чувствовал себя человеком, которому неожиданно сообщили о его высокородном происхождении, и в меру своего воображения он начинал соответствовать своему высокому значению.

Впрочем, сначала Игорь Иванович был убежден, что взятую на себя роль он долго не протянет, что это вроде как игра, вроде как отсрочка... Он отчетливо помнил свою природную фамилию, имя и отчество и знал, что прозвучат они для него как приговор. Он не только ждал провала, но и готов был к нему, понимая, что игра эта не может быть слишком долгой...

Но, приглядываясь к мичманской и кондукторской публике, разделившей общую участь, он пришел к неожиданному для себя выводу, с которым, уверен, могли бы поспорить психологи и социологи, если бы к тому времени оказались рядом. Наблюдая, как по пути к месту назначения растерялись признаки, по которым различались люди на кораблях и в крепости, как утратили смысл звания и должности, еще недавно определявшие вес и силу каждого, Игорь Иванович решил, что разными людей делает свобода и одинаковыми — гнет, будь это гнет страха, голода, холода или насилия.

Однажды теплым лучом надежды коснулась сердца Игоря Ивановича весть о том, что разом, шумно и показательно полетели головы тех, кто возглавлял штурм Кронштадта, кто вел полки и дивизии, расставлял орудия и зажигал сердца полуразутых и полураздетых бойцов. Читая в газетах о конце Путны, Дыбенко, Тухачевского, Рухимовича, Бубнова, Кузьмина, да и не только их, Игорь Иванович вдруг снова начинал чувствовать себя «красой и гордостью...», раздувал грудь и готов был сказать все, что думал и слышал о них раньше. Только слово «Кронштадт» почему-то нигде не проскальзывало, и мудрая Анастасия Петровна, уже ставшая привыкать к новому Игорю Ивановичу, просто и доходчиво сдерживала порывистого коচেга: «Мало тебя таскали, еще хочешь?» Игорь Иванович вспоминал всякий раз почему-то именно голову, мягкую и голую, как облупленное крутое яйцо, и стихал.

И чем непримиримей и беспощадней шла борьба с контрреволюцией, год за годом обретавшей личины то анархо-синдикализма, то правого оппортунизма, то левого, то троцкизма, то рабочей оппозиции, то обнаруживавшейся «процессом промпартии» или шахтинским делом и еще несчетным множеством вредительских личин и обличий, тем в сознании отчетливей складывалось понимание того, что единственный способ уцелеть самому, выжить, спасти своих близких, семью — это быть неотличимо похожим на Игоря Ивановича Дикштейна, к которому у советской власти, как известно, претензий не было.

Ах, Игорь Иванович! Если бы он мог заподозрить, сколько муки и тяжести берет он в свою жизнь вместе с новым именем и отчеством, вместе с новой звучной фамилией, может быть, он не принял бы и саму жизнь с этим вечно давящим сердце довеском.

Сам того не предполагая, он обрел на всю жизнь непрерывное дело — играть роль человека, которого, в сущности, даже не знал. Воображение рисовало его по-разному, но неизменным оставалось только одно — тот неведомый ему Игорь Иванович, может быть, благодаря воспоминаниям о его очках в тонкой оправе всегда был умнее, строже, благороднее и честней чубатого коচেгара из третьей котельной.

Испытывая искреннее чувство вины перед доверившимся читателем, следует признаться, что история не сохранила всех, надо полагать, интереснейших подробностей длительного и многотрудного пути создания заново живого образа Игоря Ивановича Дикштейна. Довольно и так перегружать многострадальную историю вымыслами и фантазиями.

Обреченный искать все силы человеческие в себе самом, чубатый творил спасительный для себя образ в одиночку; ну что ж, ничто так не возвышает душу, как способность к одиночеству.

...Известно, что уже года через два-три все почувствовали, что отвращение ко лжи стало высокой страстью Игоря Ивановича, именно этот порок он начал считать самым гнусным и непростительным. Видимо, чувствуя, как туго приходится правде в этой жизни, и не забывая о своей вине перед нею, он наделил Игоря Ивановича неколебимой верностью новой присяге и неуклонно следовал ей, только дело ему приходилось иметь с правдой маленькой, и сердце, готовое служить чести, работало, можно сказать, на холостом ходу.

Замечание Игоря Ивановича насчет «хорош морозец» не осталось незамеченным и послужило началом новой волне беседы в очереди.

— Трусые не забыла? — поинтересовался ничем не примечательный дядечка, оглядывавший все время снег, дома и дорогу с таким видом, будто ожидал увидеть что-нибудь смешное; спрошено было с таким простодушием, что заподозрить человека в двусмысленности было бы бестактно.

— Оде-ела, — равнодушно протянула женщина у крыльца, давая понять, что против мороза все ухищрения человеческие — мера лишь относительная.

— А то, гляди, опять дверка к духовке примерзнет! — И победно повел взглядом.

В очереди деликатно заулыбались.

— Ишь, все знает! — похвалила женщина с тремя бутылками.

— Нет такого человека, чтобы все знал, — с достоинством подлинной скромности сказал дядечка.

— Морозик-то давит!

— Двадцать два, передавали, а ночью и все тридцать будут.

— В финскую и сорок, и пятьдесят четыре было.

— Не было пятьдесят четыре.

— Было. На заливе было. Лично я участвовал. Мы как раз танки на Куоккалу переправляли, так потом половину в госпиталь — у кого нос, у кого пальцы, у кого ухо, а больше всего ноги...

— Анна Прокофьевна идет!

К очереди приближалась женщина в валенках и драном белом халате вроде маскировочного с желтыми застиранными пятнами. Халат, как и полагается, был надет поверх ватника, а ватник, пожалуй, и поверх пальто, что придавало фигуре монументальность и внушало определенный авторитет.

— Ты последний? — спросила Анна Прокофьевна. — Скажи, чтобы больше не занимали. У меня денег нет, может, еще и на тебя не хватит.

Первая половина очереди тут же про себя отметила счастливый поворот фортуны в их сторону.

— Банки не принимаю,— подходя к крыльцу, бросила Анна Прокофьевна не так чтобы пожилому обладателю двух больших сумок, из которых торчали сверкавшие хрустальной чистотой банки.

— А где?

— Где хочешь, там и сдавай,— твердо сказала Анна Прокофьевна, открывая дверь.

Пострадавшего хотели было утешить, предлагая разные адреса, где, кажется, принимают или принимали раньше.

— Это ничего, у меня под банками еще и бутылки есты! — весело крикнул устоявший под ударом судьбы человек.

Навряд ли кто-нибудь в очереди не пережил теплую радость удачи. Пострадавший — потому, что у него и бутылки были, а остальные оттого, что успели занять очередь до строгого предупреждения больше не занимать. И невелико, кажется, право сдать посуду и получить свои двенадцать или девять копеек, а стоит лишить кого-нибудь этого все-таки права или осложнить его осуществление, как тут же к радостному вкушению жизни примешается привкус горечи и досады. Только пресквернейшим образом устроен человек: радость его от ловко сданной посуды, как и многие другие радости, скоропреходяща, не запечатлевается, не освещает другой раз даже час жизни, а вот трудности и тяготы повседневности способны отравить целый день. И вот эта непрестанная игра с судьбой втемную порождает в одних азарт, в других — восхищения достойную предприимчивость, в третьих — тупую покорность и глухую, невысказанную озлобленность.

Разбирая, считая и расставляя бутылки, Анна Прокофьевна не замолкала ни на минуту, продолжая речь, начало которой слышал первый в очереди, а конец, очевидно, предназначался для тех, кто подойдет после возобновления Анной Прокофьевной ее золотого запаса, который сейчас, как она искренне призналась, был на исходе.

— Витька из школы пришел, из класса выгнали. Говорит, больше не пустят, пока мать не придет. Ну как тут быть?

Деньги — бряк, и — следующий.

— Вы бы не пошли? Надо идти. Все-таки о ребенке дело... Венгерская, не берем... Хочешь не хочешь, а пойдешь...

Деньги — бряк, и — следующий.

— Какому-то там Ивлиеву циркуль в нос стал пихать. На уроке то ли математики, то ли ботаники... Вот память, уже не помню. Сидит он с этим Ивлиевым вместе, что ли. Это до чего же надо ребенка довести, если он циркулем стал в нос пихать! Значит, учителя сами виноваты, так уроки ведут, если детям неинтересно.

Каждый получал свою порцию истории Витьки, страдающего от безотцовщины, материнской занятости жизнеустройством и работой, недобрых учителей, дурных приятелей и собственной тупости.

— Еще и родителей вызывают, уж постыдились бы лучше.

Игорь Иванович ожидал, пока приемщица составит предыдущие бутылки в ящики.

— А вы его накажите,— сказал Игорь Иванович, выставляя свою олифовую тару.

— Тебя не спросила! — высказалась Анна Прокофьевна, с подозрением приглядываясь к бутылкам.

Игорь Иванович изготовился и напрягся.

На стол брякнула мелочь. Пока он собирал медяки и серебро, пока прятал в карман и отходил, услышал:

— Наказать-наказать... А что он у меня видит? Ничего он у меня не видит.

На улице Игорь Иванович почувствовал себя победителем.

Да, что ни говори, а уже если бы можно было к бутылочкам придраться, если бы подкопаться к ним можно было, Анька бы завернула, как пить дать завернула. А тут чистая работа, тут ни к чему не прицепишься, ничего не скажешь, сделано как надо. Не менее важной была и еще одна причина для победительного чувства: те бутылочки, что бойкие ребята оставили, «бомбочки» по семнадцать копеек, те, что шустрый мужичок прямо из-под ног у Игоря Ивановича выхватил, Анька не приняла. Так и сказала: «„Бомбы“ не принимаю...» Пусть побегают. Игорь Иванович даже улыбался, хотя улыбка его была обращена не наружу, а скорее внутрь. Вот так-то!

Твердым шагом чуть отогревших ног Игорь Иванович направился в гастроном, хотя можно было маленькую купить и поближе, но гастроном есть гастроном.

Людам, внимательно читавшим Шарля Луи Монтескье, выдающегося деятеля Франции, легко было бы заметить характерные черты, сопутствовавшие Игорю Ивановичу на протяжении большей части прожитых лет, не оставлявшие его и во время бутылочного похода, стояния в очереди на морозе, да, пожалуй, и шагания к гастроному.

Человек чести, согласился,— это звание, это высший знак человеческой доблести, которую можно добыть лишь в готовности поступиться даже самой жизнью, а не только ее благами.

Живя как бы одолженной, не принадлежавшей ему в полной мере жизнью, пребывая в готовности даже вернуть ее по известному требованию, Игорь Иванович был лишен того главного препятствия, которое большинству мешает быть людьми чести, то есть ставить положенные самим себе правила выше правил, которые предписывает ему деспотизм жизни.

Понятное чувство вины перед тем растворившимся в последних мартовских морозах старшиной боезапаса заставляло Игоря Ивановича даже неосознанно, следуя правилам чести, никогда не опускаться до поступков, под которыми не подписался бы с легкостью благородный отпрыск удачливых коммерсантов с острова Эзель.

В кассе гастронома произошла заминка. Резво заказав маленькую водки, пачку «Севера», Игорь Иванович обнаружил, что, кроме рубля и двадцати четырех копеек медяками, в кармане нет ни гроша. Те тридцать семь копеек, на которые он очень рассчитывал, должно быть, остались в керосиновой куртке. Пришлось твердо объяснить с касиршей и перебить чек на пиво.

Вышло ни то ни се.

«Жигулевского» не было, а на «московское» только на две и хватило. Но отступить было некуда, не шагать же домой за теми, что в керо-синовой куртке.

Происшествие изрядно огорчило Игоря Ивановича. Он с утра сжился с мыслью о том, как все будет хорошо, и теперь его уже раздражало и это «московское» пиво, и пачка «Севера». Дело в том, что, не будь этого Настиного заказа, который, в сущности, он мог бы и не расслышать, вышло бы все-таки три бутылки. В конце концов, можно было бы взять в ларьке у бани и рассыпных папирос, но об этом следовало подумать чуть раньше, а застигнутый необходимостью принимать новое решение прямо у кассы, он инстинктивно оградил себя от всего, что мог бы услышать, потребовав в кассе деньги назад. Домой идти не хотелось.

Вот и опять все мелкие недоразумения, каждое из которых, в сущности, недостойно даже воспоминания, заставили Игоря Ивановича почувствовать рубеж, отделяющий его жизнь от жизни, почитаемой им за настоящую.

В той, настоящей жизни все правильностью своей, простотой, удобством, а главным образом отсутствием великого множества неожиданных и повсеместно досаждающих подробностей напоминало строгую ясность детской книжки.

Ясная, простая жизнь, она была где-то рядом, иногда ее можно было наблюдать.

Когда в булочной он размышлял над покупкой дорогого батона, который очень любил, вместо двух французских булок при буханке хлеба, рядом, в кондитерском отделе, можно было слышать: «Нет, нет, буше не кладите, это тяжело. Два заварных, пожалуйста, парочку беже и пару александринских, остальные на свой вкус...» Это была глава из той жизни, где человек приходит на вокзал за полчаса до отправления поезда, идет к кассе, просит билет: «В мягкий вагон, пожалуйста. Если можно, нижнее место. Благодарю». Потом он пьет горячий крепкий чай прямо в вагоне, с сухариками или парой бутербродов, купленных здесь же у разносчицы, засыпает на пахучем хрустящем белье, постланном улыбающимся проводником. Днем он обедает в вагоне-ресторане, а на вокзале в пункте назначения его нетяжелый чемодан и удобную дорожную сумку до такси несет носильщик в белом фартуке и форменной фуражке. По всей вероятности, этот счастливый пассажир мягкого вагона добирался до гостиницы, где тут же получал номер с ванной, но и в мечтах своих Игорь Иванович расставался с этим баловнем жизни на вокзале, оставаясь с носильщиками в белых фартуках, которые уже не в грезах, а в самой что ни на есть реальной исторической действительности били Игоря Ивановича смертным боем. Били по делу, на всех трех вокзалах — на Московском, Витебском и Варшавском, куда в тяжких сорок девятом и пятидесятом годах выезжал из Гатчины Игорь Иванович для при- работка. В этом почти интеллигентном с виду, рослом и крайне художавом человеке носильщики довольно быстро, в течение двух, самое большое трех дней распознали конкурента. Игорь Иванович знал, что

на их стороне сила коллектива и что такие, как он, обречены, менял вокзалы, работал один-два вечера, но и это не помогало. Единственное, что он мог сделать, ограждая себя от дополнительных унижений, это не пользоваться на вокзалах общественными туалетами, где, как правило, и приводили в исполнение свой приговор носильщики над такими, как Игорь Иванович. Всякий раз его били на свежем воздухе. Пару раз пытались отобрать деньги, но прятать свое на себе он, слава богу, за две сидки научился. Но даже не экзекуции, устраивавшиеся ревнивыми профессионалами, были самым примечательным в этих вокзальных похождениях Дикштейна. Частенько случалось едва ли не худшее — он нес вещи, его благодарили и... не платили, и попросить плату он ни разу так и не смог. Самое безопасное было брать клиента на трамвайной остановке. Игорь Иванович сначала ориентировался на людей попрличней, на пожилых людей интеллигентного вида, на женщин с ребятишками. «Вам на поезд? — подходил Игорь Иванович к выгрузившимся из трамвая путешественникам. — Давайте я вам помогу». — «А вы тоже на вокзал? Ах, спасибо!» И, принимая его просто за доброго попутчика, стеснялись предлагать деньги. После нескольких таких эпизодов Игорь Иванович стал ориентироваться на людей попроще, здесь ошибок, как правило, не было. И все-таки приличный вид Игоря Ивановича нет-нет и вводил народ в заблуждение.

Немало забот доставлял Игорю Ивановичу наряд, в котором он отправлялся на вокзальный промысел. Любая из его рубашек, надетая под пиджак, могла, мягко говоря, оттолкнуть клиента, диссоциируя с образом интеллигентного и беспечного путешественника без багажа, поэтому, идучи на вокзал, Игорь Иванович надевал под пиджак белоснежное трикотажное кашне, великолепно скрывавшее отсутствие рубашки. Но для того чтобы этот маленький изъян в гардеробе не обнаруживался, Игорю Ивановичу приходилось быть предельно внимательным: тяжелая и скользкая материя с трудом удерживалась в заданном положении и нет-нет да и обнародовала скрывавшуюся под ней нижнюю рубашку, впрочем, всегда свежую и при всех пуговичках.

Именно там, на вокзалах, он видел, как люди оставляли недопитые рюмки коньяка, оставляли в тарелках по полбутерброда с семгой и даже целых полкурицы: видите ли, жестковата. Но даже готовый упасть от голода, даже один среди неубранной посуды в ночном буфете, он никогда не позволял себе этого последнего шага.

Среди самых неподъемных вещей, которые приходилось таскать Игорю Ивановичу, больше всего он боялся чемоданов с мясом. С виду, как правило, совсем небольшие, чаще всего обыкновенные деревянные чемоданы, перехваченные для страховки веревкой, были свинцово тяжелы. Вот так, подхватив у трамвая один такой чемодан, в ту же секунду почувствовал, как острый крючок вцепился ему прямо в сердце. Он тут же достал припрятанный широкий ремень, закинул чемодан за спину, поступившись обликом приличного человека, а крючок в сердце так и остался и при разных обстоятельствах и неловких движениях напоминал о себе, когда почаще, иногда и с большими промежутками.

Даже чемоданы с книгами не были так тяжелы, как эти мясные

транспорты, вывозившиеся из хорошо снабжавшегося Ленинграда в ненасытные дали.

И надо сказать, что устремленность Игоря Ивановича к жизни лучшей, достойной его звучной фамилии, почти произвольно проявлялась в педантичной требовательности к мелочам, в способности в простых житейских обстоятельствах видеть строгую иерархию качеств, всегда отдавая предпочтение лучшему. Вот и сейчас, сообразив, что одиннадцать копеек у него все-таки осталось, даже больше, покинув гастронорм, он не свернул сразу же направо, хотя и мог видеть прямо с крыльца, что у ближайшего пивного ларька очереди почти не было, тем не менее он направился в сторону рынка, в «Утюг».

Приют жаждающих был так затейливо поименован не благодаря изысканной фантазии посетителей, а скорее уж благодаря неисповедимым движениям перманентной архитектуры, придавшей сооружению вид, в точности запечатленный в метко брошенном слове.

Большинство людей, как ни крути, пьют пиво довольно бестолково...

Немец? А что немец?.. Ну, сидит он, караулит целый вечер свою бутылку и сам себя награждает за прилежание и аккуратность крохотными глоточками, между которыми такое расстояние, что можно подумать, как раз в этом расстоянии, как раз в этом непитье и есть смысл и удовольствие от сидения с бутылкой. Для немца пиво — то ли средство убить время, то ли форма времяпрепровождения... Игорю Ивановичу все это было чуждо.

Не отличаясь ни алчностью, ни любовью к роскоши, Игорь Иванович был способен превратить питье пива в тонкое и глубокое наслаждение.

Едва ли не каждый из нас видел в своей жизни людей, пьющих пиво, но далеко не каждому выпало счастье видеть человека, умеющего пить пиво, и те, кому повезло лично знать Игоря Ивановича, с твердой душой могут сказать: они знали такого человека!..

Кто еще пил пиво так красиво! так умно! так легко, искренне, непринужденно, почти не замечая ни кружки в своей руке, ни медленно убывающего живительного напитка...

Постойте-ка час-другой у пивного ларька, приглядитесь, прислушайтесь... Редко кто умеет сохранить между собой и пивом ту естественную, ненаигранную дистанцию, которая не позволяет превратить поглощение пива в заурядное утоление жажды или, напротив, в какое-то прямо-таки событие; сколько их, заглядывающих непрерывно то сверху, то сбоку в свою кружку, наблюдающих за ниспадающим уровнем, да еще с такой рожей, будто это вовсе не они отглатывают и отглатывают, а отглатывает дядя; о, сколько таких, кто, оставив кружку вовсе или чуть ли не прижав ее локтем, копошится над какой-то папирусного цвета рыбешкой, состоящей по преимуществу из шелухи да пересохших ломких костей, успевая при этом, выгнув шею, еще что-то и читать в разосланной старой газете и, лишь отковырнув какой-то более-менее плотный кусочек рыбьего праха, спешит запить глотком пива, как запивают лекарство; а сколько таких, кто способен выдуть кружку в три глотка и броситься, расталкивая граждан, к окошечку, утверждая свои права на внеочередное счастье

не почетными редкостными наградами, не мандатом инвалида, а понятным каждому паролным возгласом: «Повторяю!»

Не многим случалось видеть, как пьют пиво аристократы, нет уверенности в том, что и Игорь Иванович видел такого рода картины... Так где же! откуда же, черт возьми! образовалась в нем эта изящная, непринужденная, легкая манера в обращении с пивом?! О, были времена, когда судьба улыбалась Игорю Ивановичу щедрым своим лицом и он мог позволить себе без страха перед будущим выпить и три, и пять, и сколько душе угодно кружек пива. И откуда он только знал, что пиво не водка и напиваться им не следует, что шесть кружек можно позволить только при содержательной беседе, да еще не во всяком обществе, с Шамилом, например, человеком близким по летам и понятиям, или, пожалуй, с Ермолаем Павловичем, а с кем еще, так и сказать затруднительно...

Искусство человека, умеющего пить пиво, обнаруживается по первому глотку.

Если человек припал к кружке губами, а широко открытые глаза поводят окрест и он успевает при этом еще и моргать, уверяю вас, он ничего не понимает в пиве!.. Взгляните в эту минуту на Игоря Ивановича: выдержав подобающий срок кружку у подбородка, как бы даже забыв о ней, он коротким, едва заметным движением подносит ее край к губам, касается этого края, как касается мундштука кларнетист или мастер игры на фаготе, прежде чем замысленные им звуки будут извлечены из поднятого к губам инструмента, и лишь после того, как инструмент готов окончательно... Вы полагаете, можно приступить к исполнению? Нет, конечно, еще надо подготовить себя! Игорь Иванович делает крохотный, мельчайший глоток, это как бы жест знакомства, взаимное приветствие и разведка... И вот пересохшая было в пору стояния в очереди гортань омыта, прохладной свежести вдох заполнил легкие, всем чувствам сообщены необходимые сведения о явных достоинствах и остроте напитка, готов инструмент, готов исполнитель — можно начинать...

Игорь Иванович делал первый глоток на полкружки сразу.

...Это как первый поцелуй, глубокий и длительный, от него оттаивается дыхание, от него новый ритм обретает сердце, он кружит голову, он делает мир вокруг чуть-чуть иным, нежели он был до этого, и кажется, что все еще впереди, ведь после первого большого глотка начинается новый отсчет, переворачивается страница исписанная и открывается новая, чистая, на которой не будет помарок и порядок нанесенных знаков будет строг и исполнен высокого смысла; этот первый глоток всегда смывал с души Игоря Ивановича какие-то житейские мелкие досады, и, быть может, оттого, что их всегда было предостаточно, и глоток был таким основательным.

С каким милым бессилием опускал Игорь Иванович руку с полупустой кружкой вниз, совсем вниз, как опускает руку дуэльный боец после выстрела. Многим, видевшим этот жест впервые, даже становилось страшно при мысли, что Игорь Иванович решил вылить оставшиеся полкружки наземь, но так только казалось, Игорь Иванович не позволял кружке накрениться, он смотрел на соседа, смотрел на

собеседника, на мир душой, исполненной легкости и свободы, душой, возвышенной утоленным желанием, и вот уже рука, обретя силу, медленно поднималась вверх и замирала у груди, рядом с душой, если та действительно расположена между легкими и диафрагмой...

Жизнь Игоря Ивановича, лиши ее глотка пива, была бы намного тусклее и в смысле красок, и в смысле оттенков душевного состояния.

За последние пять-шесть лет особенно в Игоре Ивановиче со всей определенностью обнаруживали себя щепетильность, взыскательная требовательность и даже способность мгновенно утрачивать интерес к предмету, если он не был отмечен каким-либо знаком превосходства над подобными же ему предметами.

В частности, Игорь Иванович был решительным противником тех, кто пьет пиво зимой, хотя бы и подогретое, прямо на улице у ларька. Он был убежден, что только бескультурье и дурацкая спешка заставляют людей прибегать к такой крайности, в «Утюге» же хотя столиков и не было, но перед буфетной стойкой было метров четырнадцать квадратного пространства с досочкой шириной в две ладони вдоль стены.

Не может быть упущено и еще одно обстоятельство, подтверждающее неукоснительное отвращение Игоря Ивановича ко лжи. Его раздражали своим лицемерием вывески «Пиво — воды» на уличных ларьках, где «воды» были только для мытья кружек. В отличие от них, «Утюг» именовался с завидной прямоотой — «Пиво — пиво».

Первым, кого заметил Игорь Иванович, был Шамиль; двое шоферов в дышащих мазутом ватниках, запивающие пивом разложенную на газете пищу, в счет не шли.

На неширокой, крашенной зеленой краской доске, прибитой вдоль стены на уровне груди Шамиля, стояла чуть начатая большая кружка пива. Сам Шамиль имел вид человека, который забыл о кружке, стоящей рядом, и определенно решал, куда бы ему сейчас двинуться. Не переставая мыслить о главном, Шамиль похлопал себя по карманам, достал пачку «Звездочки». Нина, разливавшая пиво с таким видом, будто зашла сюда на минутку и задержалась здесь лишь потому, что у посетителей не хватает такта заметить, как ей все это надоело, как ей необходимо именно сейчас заниматься чем-то иным, более для нее важным, погрозила Шамилю пальцем.

Шамиль тут же спохватился, кивнул на табличку «У нас не курят», усмехнулся виновато, для наглядности раскаяния хлопнул себя ладонью по лбу, хотел изобразить еще что-то, но на него уже никто не смотрел.

С курением в «Утюге» дело обстояло особо. До половины пятого, пока не появлялись в заведении люди, идущие со смены, Нина строго следила за соблюдением изреченного правила, но начиная с половины пятого уже не Нина, а сами посетители следили за соблюдением этикета при курении; курить нужно было, пряча папиросу в горсть, аккуратно разгоняя выпущенный дым ладонью, и хотя к половине восьмого табачный дым ровной густой ватой зависал от пола до потолка, заполняя все помещение, в разных его углах можно было видеть человека, ритуально помахивающего ладонью на уровне головы.

Игорь Иванович получил свою маленькую кружечку пива и отошел к дальней от Шамиля стене.

— В Тулу со своим самоваром? — крикнул Шамиль, кивнув на бутылки с пивом в сетке Игоря Ивановича.

Игорь Иванович сделал вид, что только заметил Шамиля, улыбнулся и подошел к нему.

— Я очень спешу, — сказал Игорь Иванович. — День сегодня такой. Дай, думаю, на бегу пивка проглочу.

Шамиль протянул руку, но руки Игоря Ивановича были заняты: в одной сетка, в другой кружка, — ему ничего не оставалось делать, как жестом хирурга, изготовившегося к операции, протянуть для приветствия локоть. Шамиль сдавил локоть пятерней.

Хотя оба приятеля были скорее всего ровесниками, как-то так установилось, что Игоря Ивановича признавали за старшего, может быть, просто потому, что он возвышался сантиметра на три над кроличьей папахой Шамиля.

— Все собираюсь к тебе зайти, — сказал Шамиль, — пора папаху менять.

Нужно оценить это высказывание, ведь Шамиль был истинным татаринном и в душе, конечно, мечтал о мерлушковой.

Папаха Шамиля была в известной степени гордостью Игоря Ивановича. Пять лет назад Игорь Иванович построил ее из собственных кролей. Когда Игорю Ивановичу случалось продавать кролика или шкурку, он непременно напоминал, что особенно хороши они на папаху и он может дать адрес человека, который шьет папахи исключительно у него, у Игоря Ивановича.

— У меня есть один, с ухом такой, уверен, тебе понравится, можно даже не красить. — Игорь Иванович сделал маленький глоток и в благодарность за приятное начало разговора добавил: — Только не сегодня, я очень тороплюсь. Племянник из Ленинграда приезжает. Вот пива взял.

Стуча деревянной ногой, в «Утюг» вошел Мишка Бандалетов, величайший плут и пройдоха, способный для вашего удовольствия и за ваш, разумеется, счет выпить маленькую водки через ноздрю. Понимая свое особое положение в городе, он сам первый никогда никого не узнавал и первым не здоровался. И если бы сами обитатели Гатчины его не признавали и не здоровались с ним, он так бы и жил, как транзитный путешественник, впервые попавший в незнакомое место. Эта личина, исполненная гордости и достоинства, позволяла ему к одним и тем же лицам обращаться со словами, то ли вычитанными в какой-нибудь древней книге, а скорее всего услышанными в кино: «Не дайте пропасть благородному человеку...» Не навязываясь в дружбу и даже не напоминая о знакомстве, он демонстрировал благородство души, ограждая собеседника от унижающего равенства, и потому Мишка редкий день не был пьян уже до обеда. Три удара деревяшкой в пол, и Бандалетов стоял перед закусывающими шоферами. Услышав предложение спасти благородного человека, шоферы, не от жалости, а из чувства безопасности, от нежелания участвовать в каком-то непонятном представлении сочли за лучшее просителя обматерить.

Бандалетов резко пригнул подбородок и в следующую секунду вскинул голову, как исполнительнейший флигель-адъютант, получивший ясное указание о дальнейших действиях. Он тут же развернулся и четко, ловко, в два шага предстал перед приятелями. Благородная душа Бандалетова не стала открещиваться от знакомства с Игорем Ивановичем и Шамилем.

— Не смею мешать беседе умнейших граждан Гатчины,— четко доложил Мишка.

Игорь Иванович был рад, что семь копеек у него все-таки осталось, и он тут же кинул их в подставленную ладонь. Шамиль дал копеек восемнадцать. Поблагодарив дарителей все тем же флигель-адъютантским поклоном, Мишка развернулся на своей деревянной оси и покинул «Утюг».

— Племянник любит «московское» пиво? — кивнув на сетку, поинтересовался Шамиль.

— А что ты думал? Пол-утра потерял, пока нашел.

— Это хорошее пиво, я его пил. Мы его с тобой пили. На майские, помнишь, с машины продавали? С машин всегда продают дорогое пиво.

— Смотри, что у меня с руками.— Игорь Иванович поставил кружку и протянул ладонь.— Во, видишь? Не разгибается до конца, и все тут.

Безмянный палец бурой, в трещинах и царапинах клешни действительно пребывал в оригинальной позе.

— А ты попробуй календулой.

— Я гомеопатию не признаю. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, только это...— Игорь Иванович придвинулся и доверительно сообщил: — Это буряты выдумали, им она и помогает.

Шамиль подумал, что-то вспоминая, улыбнулся и сказал:

— Академик Павлов не был, по-моему, бурят, но лечился только у гомеопатов.

— Вот и залечили своими шариками.

— Шарика здесь ни при чем, это жена...

— Жена? Да он свечки по ней ставил!

— Кстати, наука отрицает, что академик Павлов верил в Бога.

— А где была твоя наука, когда он в Знаменской церкви на площади Восстания поклоны бил?! Знаменскую-то не сносили, пока был жив академик Павлов.

— Я по радио слышал, «Уголок атеиста» называется...

— Мне не надо радио, если я сам... в общем, не сам, а Настя... ее младшая сестра на Гончарной жила и ходила в Знаменскую... Так что слушай радио...— Убежденность в своей правоте мешала найти нужные слова.

— Марко Поло, венецианский путешественник, вообще считал Россию китайской провинцией... и называл Татарией. Это же заблуждение!..

— Так и нечего глупости повторять... Марко Поло!

— Я просто хотел сказать, что у великих людей есть великие заблуждения.

— Правильно. Потому что вокруг каждого подпевал полно, и любую глупость тут же подхватят и ну звонить!..

Игорь Иванович значительно замолчал и со вкусом отхлебнул пива, разглядывая лицо Шамиля, будто оно было предметом неодушевленным.

Лицо у Шамиля было бы вовсе круглое, если бы не сдавленность в районе висков, и, поскольку полного круга не получалось, оставалось впечатление незавершенности или какой-то неправильности, именно от этого брови взметнулись однажды вверх да так и остались, запечатлев гримасу удивления. Впечатление это подтверждалось и узким изгибом губ, и наклоном головы вправо, будто Шамиль прислушивался к какому-то звуку, исходившим из правого плеча. Крючковатый узкий нос на почти плоской поверхности лица являл собой нечто даже воинственное, клюв не клюв, но что-то в этом роде. Строго говоря, вид Шамиля можно было бы считать высокомерным, насмешливым и агрессивным, если бы не легкое облачко улыбки, которое, казалось, все время бродит около его лица, случайно касаясь то глаз, то губ; есть такая улыбочка у человека, готового всегда признать себя побежденным, но с такой оговоркой, что победителю самому было бы резонней отказаться от своей победы.

— Безобразие, льют одну пену.— Игорь Иванович поднял кружечку на уровень глаз.

— Пиво без пены не бывает,— сказал Шамиль.— Странно другое: оказывается, Земля совершенно не изучена.

— В каком смысле?

— В самом прямом. Ты помнишь Ракию? Это дочка Ашраф, жены Хакима от первого брака.— Шамиль неторопливо отхлебнул пива.— У Ракии тоже девочка, Нурия, ей три года. Махуза собрала кой-какую одежду, из обуви от наших осталось, я повез в Ленинград Ракие. Она на Кропоткина живет.

— У Евгеньевской больницы? — уточнил Игорь Иванович.

— У Евгеньевской — там Бакунина, а это Кропоткина, у Сытного рынка. Я приехал, дома ее нет, ждать часа два, а то и три. В кино с вещами не пойдешь. В зоопарк, там рядом, холодно. Пошел в планетарий. Очень интересно. Вот видишь яйца? — Шамиль показал на горку крутых яиц на буфетной витрине.— Так если сравнить Землю с яйцом, то более-менее изучена только скорлупа.

— А дальше и изучать нечего, жига там расплавленная. Магма!

Игорь Иванович осушил последние капли и решительно оставил кружку. Шамиль, не глядя на приятеля, отлил немного пива в его оставленную кружку. Игорь Иванович снова взял ее в руки.

— Им, оказывается, еще неизвестно, где эта магма размещается. Только там, где желток, или и там, где белок.

— Где белок, там вода и минералы, а где желток — магма,— с убежденностью очевидца сказал Игорь Иванович.

— Вот говорят — путь к лучшему... Каких-нибудь пять-шесть миллиардов лет, и Солнечная система превратится в еще один необитаемый остров во Вселенной...

— Почему остров? — не поднимая глаз на Шамиля, строго спросил Игорь Иванович.

— Так сказал лектор, он что-то имел в виду. Вопросы потом были, но про остров не спрашивали.

Игорь Иванович, удовлетворенный ответом, кивнул.

— Я к чему веду мысль? Если Солнце рано или поздно погаснет, то какой же это путь к лучшему?

— Ты хочешь, чтобы жизнь остановилась?

— Это невозможно.— Шамиль улыбнулся, как большой начальник, отказывая беззлобно в маленькой просьбе.— Моя мысль совсем простая, мне даже неловко тебе ее говорить. Если у всего есть начало и есть конец, то, значит, есть и середина?

— Предположим,— осторожно допустил Игорь Иванович, опасаясь попасть в ловушку.

— Стало быть, есть движение вверх и, хотим мы или не хотим, вниз. Так устроена жизнь.

— Я тебя понимаю.— Игорь Иванович на секунду пожалел, что шоферы, бурно костерившие тупое начальство, не слышат их разговора.

— Если есть движение вверх, а потом вниз, есть и это место...— Шамиль изобразил рукой взлет и падение, и жест его был предельно понятен.— Мы говорим: вершина, вершина... Правильно, но стоит ли стремиться к вершине, если оттуда путь только вниз? Я не против вершины,— стараясь удержать разговор в лояльном русле, пояснил Шамиль.— Не подумай, что я против вершины... Я — за вершины.

— Ты видишь выход? — голос Игоря Ивановича был по-прежнему строг, но внимательное ухо непременно усмотрело бы промелькнувшую тень неуверенности.

— Представь себе — да.

— Что считать вершиной?

— Вот именно! Я знал, что ты поймешь сразу.— Шамиль рассмеялся счастливым смехом, как смеются третьеклассники, решившие «нерешаемую» задачу.— Что считать вершиной? Для дерева — это одно, для солнца — это другое, а для человека?..

— Ты хочешь сказать о детях? — обретя уверенность и глубоко подумав, спросил Игорь Иванович.

— Нет. Если нет детей, разве жизнь человека уже бессмысленна и нет вершины? Человек состоит не из одних детей... Можно очень любить своих детей и под видом любви к детям быть большой сволочью.

— То есть ты считаешь, что вершина расположена не здесь?

— А я что говорю? Мы знакомы двенадцать лет, срок большой. Куда ты продвинулся за двенадцать лет в смысле вершины? Кровельщиком был? Или переехал два раза: один раз менялся и один раз по капремонту дом освобождал? Что ж, выходит, и смысла в твоей жизни нет? Так не бывает! Это неправильно. Я не знаю в Гатчине ни одного человека, кто бы о тебе худое слово сказал, а наших ты знаешь. Я не помню, чтобы ты кого взял и обидел; никто не видел, как твоя Анастасия Петровна плакала.

— А когда Сталин умер? — напомнил Игорь Иванович.

— Сбил ты меня своим Сталиным. Я нить потерял.— Шамиль приподнял кружку и пригляделся так, будто собирался увидеть в прозрачной золотистой жидкости рыбок. Ничего не увидел и отхлебнул.— Тогда почти все плакали, и ты здесь ни при чем. Куда, к какой вершине должен идти человек, если совесть у него чистая, если он подлости не делал, людей не стравливал, не мучил, не обижал?..

— Это кто же тебе сказал? — осторожно спросил Игорь Иванович.

Шамиль снова расхохотался и с удивлением взглянул на невозмутимую Нину, почему та не смеется.

— Ты тоже никого не мучил,— сказал Игорь Иванович.

— Ну, Махуза так не считает,— горько усмехнулся Шамиль,— а ты добро делал.

— Кому? — встрепенулся Игорь Иванович, будто услышал о потерянном кошельке. «Добро» в русском языке слово двусмысленное, и одними и теми же буквами обозначаются как предметы, представляющие исключительно материальную ценность, которыми в одиночку Игорь Иванович не мог распоряжаться, так и нечто положительное в поступках, не имеющих материального эквивалента.

— А Марсельезе?

Игорь Иванович признал напоминание убедительным, хотя улыбка и кивок головы ясно обозначали незначительность усилий героя, потраченных на доброе дело.

Вот и появилась героиня повествования, встреча с которой была обещана давным-давно, первая из соседок, познакомившаяся с Игорем Ивановичем, едва он переехал в дом на углу Чкалова и Социалистической.

В тот памятный вечер, оставив женщин раскладывать вещи по расставленной на свои места мебели, Игорь Иванович вышел во двор покурить и оглядеться. Он не услышал шагов подошедшей сзади Марсельезы Никоновны, голос ее прозвучал с томительной нежностью, заставлявшей сжиматься не одно мужское сердце, она пропела доверительно и страстно: «Ну как можно жить с такими короткими ресницами?» Игорь Иванович тут же обернулся и встал, увидев перед собой женщину, решительно во всем, как потом выяснилось, отличавшуюся от жены Ермолая Павловича, с которой он тоже еще не был знаком. Марсельеза Никоновна, почему-то стеснявшаяся своего роскошного имени, приучала современников называть ее Марой, а официально — Маргаритой. И действительно, ее ресницы были не в пример белесым перьям жены Ермолая Павловича, пушистыми, долгими и легкой тенью укрощали роковой блеск серых глаз, тощая рослая фигура на сухих жилистых ногах почти без икр располагала грудью великолепной пышности... Нет, надо остановиться, иначе даже простое описание всех чар и совершенств Марсельезы Никоновны уведет нас ох как далеко. Странное дело, за глаза, даже с каким-то непонятным ироническим оттенком, Мару постоянно величали ее полным красивым именем. Же-

на Ермолая Павловича, в общем-то завидовавшая успехам Марсельезы Никоновны среди мужского населения Ленинграда и пригородов, постоянно ставила ей в укор ее незамужнее положение, саркастически замечая при этом, что, ставь она, как все порядочные женщины, штамп в паспорте, ей пришлось бы выписать документ толщиной со справочник гатчинской АТС. Вечно холостое положение не помешало Марсельезе Никоновне родить дочку до войны и мальчика Леню во время войны, в сорок втором. Щедрая на любовь женщина никак не могла понять, почему все ее желания и немалые усилия в направлении Игоря Ивановича пропадали втуне. Не раз, тесно сталкиваясь в ходе празднования, особенно весенних и летних праздников на открытом воздухе, в частности на майский и на троицу, Марсельеза подъезжала с томительно-призывными вопросами. В один из таких праздников, в пору, когда еще не прошло самое ароматное время ее жизни, она жарко говорила ему непосредственно в ухо: «Го-о-оша... Ну почему-у? Почему я приношу людям несчастье?! Мне трудно, Го-о-оша...» Вот так, глядя в себя и к себе прислушиваясь, даже собеседника видя лишь внутренним взором воображения, она обычно и шла к краю бездны, и редкий мужчина не бросался тут же ее спасать... Тогда она, как правило, начинала пихать спасателя в грудь, но недолго. Игорь Иванович, хотя и был по случаю праздника нетрезв, сказал с отрезвляющей отчетливостью: «А чтоб не было трудно, Мара, зовите меня Игорем Ивановичем». Ответ так поразил Марсельезу Никоновну, что она тут же пошла по кладбищу — дело было на троицу — и стала всем рассказывать, как ей ответил Игорь Иванович. Так и перепархивала она от одной пьющей компании к другой, пока новое чувство и новая страсть не закуружили ее и не помогли забыться.

Помнится, государыня ставила в укор гатчинцам незнание греческого и латыни, только позволительно спросить: зачем ломать язык симилиа симилибусом, если можно коротко и просто сказать — клин клином. Именно к этому средству, хорошо известному как говорящим по-латыни, так и не владеющим иностранными языками, прибегла очередной раз Марсельеза Никоновна.

Игорь Иванович, конечно, не знал, насколько это незначительное происшествие, у которого даже не было свидетелей, подняло его в глазах знакомых и малознакомых граждан. Именно после этого события присутствие Игоря Ивановича или даже упоминание о нем позволяло Марсельезе Никоновне чувствовать себя дамой достойной, защищенной при надобности и даже в известном смысле недоступной. Только слова Шамиля о добром деле напомнили Игорю Ивановичу совсем другую историю.

Второе, скажем так, происшествие, связанное даже не столько с Марсельезой Никоновной, а с ее сыном Леником, подняло уважение к Игорю Ивановичу еще выше. Дело было в том, что Леник, с шестнадцати лет работавший в красильном цехе гатчинской мебельной фабрики, был парень нервный и часто закатывал матери сцены, особенно в нетрезвом состоянии. Все многообразие поводов для буйных сцен сво-

дилось в конечном счете к самому сильному и трудно опровержимому обвинению: «Ты меня от немца отблядовала!..» Для тех, кто наблюдал такую сцену впервые, он всегда пояснял: «Родился в сорок втором. Факт? И отца нет. Факт!» Марсельеза Никоновна плакала и старалась приласкаться к грозному сыну. Когда очередной скандал выплеснулся из третьего номера в первом этаже непосредственно во двор, выплеснулся с криками, шумом, слезами, резкими высказываниями во все горло, с разнимающими соседями и поминаниями милиции, Игорь Иванович, закончив давать кролям свежую траву и сменив как ни в чем не бывало воду, подошел к распалившемуся балбесу и встал около него молча. Парень затих, затихли и соседи, заплаканная, но все еще красивая Марсельеза Никоновна тихо шмыгала носом и придерживала полуоторванный рукав блузки. «Если б ты был немец, — в наступившей тишине негромко, но так, что все слышали, сказал Игорь Иванович, — ты бы был умный, а ты — дурак». Сказал и спокойно ушел к себе на второй этаж. Буйный обличитель моральной, а главным образом политической нестойкости своей матери хотел что-то сказать резкое, но, тут же сообразив, что любое продолжение скандала лишь подтвердит правоту странного соседа, по-тихому смотался в дом, и больше его выступлений «на немецкой волне», как это называлось в доме, никто не помнит.

— Ты пиво к обеду купил или так?

— Я же сказал: Николая жду, племянника из Ленинграда.

— Здесь хорошо. В Гатчине хорошо, а никто к нам не едет. Я своих зову из Ленинграда, и Ракию, и Махинуру, и Ганея, и Керима, — никто не едет. Разве в Ленинграде можно дышать? Там же дышать нечем.

— Зато театры...

— Лично ты много бываешь в театрах?

— Мало. Очень редко. Я театры за что не люблю — одевайся, раздевайся. Одна вольнка.

Игорь Иванович поставил пустую кружку на полочку, и, когда Шамиль сделал движение, чтобы подлить еще, накрыл кружку ладонью.

— Земля, говоришь, — Игорь Иванович стал застегиваться и выгибать клыки лацканов. — Нас теперь земля должна на два метра интересовать...

— Ну что ты! Теперь так глубоко не закапывают, полтора метра — и будьте довольны.

— В Гатчине мне нравится, место хорошее, сухое... А правда, что татар сидя хоронят?

— Всех хоронят по закону, татар тоже по закону... Разве наш труп принадлежит нам?

Игорь Иванович заторопился:

— Будь здоров, Шамиль. Спасибо, как говорится, за компанию. Надо спешить.

Шамиль приподнял кружку с остатками пива.

Прятели расстались навсегда.

Поскольку отношения Игоря Ивановича и Шамиля не будут более

продолжены и дополнены ни единым словом, жестом или событием, можно со всей определенностью подвести первый итог и сделать окончательное определение этой многолетней непримиримой дружбе.

«Непримиримость» употреблена здесь не для того, чтобы затмить, увести в тень истории великое множество жестов дружбы и приязни, симпатии и поддержки, участия и внимания по отношению друг к другу, сопровождавших их приятельство все двенадцать лет. Быть может, потому они так дорожили обществом друг друга, что в общении этом каждый находил всякий раз подтверждение именно своей правоты, именно своего взгляда на вещи и предметы окружающей жизни. Все, кто был свидетелем или участником их споров, дискуссий, просто разговоров, а таких было в Гатчине большинство, всегда удивлялись той легкости и неожиданности, с какой то Шамиль, то Игорь Иванович в разгар, в самый жар непримиримого разговора вдруг соглашались в чем-то важном, но не самом главном, и это признание правоты другого было той высокой точкой, где соединялись устремленные вывьсы души. Спор как бы отступал, и оба приятеля, оказавшись на плоту дружбы, вдруг переставали замечать пенившееся и дыбившееся вокруг них море непримиримых противоречий. Будь среди наблюдавших эти мгновения свидетели встречи царственных персон на плоту в Тильзите, кто знает, быть может, этому счастливцу удалось бы найти черты и черточки, роднящие людей, исполненных великодушия, благородства и справедливости.

Игорь Иванович вышел на плоское низенькое крылечко и оглядел открывшееся пространство. Двухэтажный ряд домов повел его взор в конец улицы, где сам по себе, никому не нужный, стоял сорокаметровой глыбой красной кирпичной громадный собор.

Среди домов и домишек рядом с бывшей базарной площадью, ставшей еще одним городским пустырем, он возвышался этакой крепостью, видом своим утверждая непричастность к жизни, суетливо и полусонно протекавшей рядом.

Игорь Иванович решительно отправился в суд.

Взгляд его привычно скользнул по огромным, как барабан, уличным часам «Терек», вот уже несколько лет обвислыми своими стрелками свидетельствовавшим бессмысленность наблюдения за временем в таком месте, как Гатчина.

Помыслы Игоря Ивановича о том, чтобы зайти в суд да узнать точнее, на когда назначено слушание дела да приехал ли Николай, не перенесли ли дело на другой день — и так бывает, — помыслы эти были вполне основательны и обещали небольшое, но, в сущности, необходимое дело. Но было бы крайней близорукостью не заметить того, что Игорь Иванович просто не мог отказать себе в удовольствии зайти в серьезное официальное учреждение по делу и вместе с тем совершенно безбоязненно.

Судьба Игоря Ивановича образовалась как-то так, что к служебным поползновениям он оказался непричастен.

Само слово «служба», так хорошо подходившее к Настинной работе в торге или к работе сестры Игоря Ивановича по бухгалтерской части,

да и вообще ко многим работам, никак не подходило к многоликой деятельности самого Игоря Ивановича. Хотя про флот и армию, где он во время войны по пороку сердца служил в летучем банно-прачечном отряде, можно было, конечно, сказать — служба, но не в том совершенном, как ему казалось, смысле, который только и может содержаться в службе добровольной, избранной для себя, то есть в службе гражданской. После войны, ранения и пяти лет свирских лагерей за пребывание в плену, куда он попал со своими прачками по забывчивости командира полка, не предупредившего развернувшуюся в лесу вошебойку о тактической смене позиций, — так вот после войны он служил в Борисоглебске в колбасном цехе, но для всей «этой кухни», как называл цех Игорь Иванович, с тощими морожеными тушами, костями, сукровицей и почти жидкой от обилия крахмала колбасой название «служба» было бы слишком возвышенным. Не годилось это название и для работы в столярном цехе горторга, и на складе нефтесбыта, и еще в разных подобных же неказистых заведениях. Служба, состоящая из должностной деятельности, очень не походила на роли, в которых выступал Игорь Иванович.

Например, служба подразумевает строгий порядок, начиная с необходимости явиться в точное время и уйти не раньше положенного. Даже в самое строгое время, когда за опоздание на работу давали срок, Игорь Иванович всегда располагал личным временем от нескольких минут до нескольких часов, что никак не сказывалось на поступательном движении государственного механизма в сторону дальнейшего развития.

За всю свою жизнь Игорь Иванович не был в позиции, которая могла бы позволить ему сказать: «Вас много, а я один...», «Сегодня я больше принимать (выдавать, разрешать, рассматривать, слушать) не буду», «Вы видите, у меня человек, вот кончу, тогда зайдете», «Что это вы мне здесь суετε?!», «С этим — не ко мне» и тому подобное, все то, что он слышал всю жизнь, когда приходилось ему вращаться в *сферах служебных*. Он никогда не мог ощутить себя тем элементом, или, как тогда говорили, винтиком огромной, многосложной, прекрасной, разумной, охватывающей всю жизнь во всех ее подробностях машины, которая разом включается (для этого и приходят вовремя люди на работу) и разом выключается, потому что нет смысла какому-то винтику еще вертеться, если вся машина уже отдыхает и набирает сил к завтрашнему вращению.

И еще. На службе, насколько знал Игорь Иванович, каждый должен как-то доказать себя, то есть постоянно всем и каждому доказывать, что ты места своего достоин, а может быть, достоин и большего, так винтики превращались в шурупчики, шурупчики становились рычагами, рычаги вырастали до приводных ремней, и уже приводные ремни незаметно, но очень тесно сливались с главным маховиком...

Но там, где случалось работать Игорю Ивановичу, от него никто не ждал и не требовал никаких доказательств, работаешь — работай.

Когда время подошло к пенсии, и вовсе конфуз получился. С величайшим трудом были собраны почти все неизбежные справки, а если сказать, что, кроме справки о заключении и ссылке, все остальные

собрать было ох как хлопотно, тут весь напрасный труд наружу и вылез, потому что напоследок в собесе потребовали метрическое свидетельство, или выписку из церковной книги, или, на худой конец, заменяющие их поручительства. А где был рожден Игорь Иванович, в каком году, в каком месяце, в каких книгах и на каком языке значились соответствующие записи, он и сам поручиться не мог, не только что искать каких-то там поручителей.

Так и вышло, что мечты о безбедных тридцати шести рублях, так славно гревшие Игоря Ивановича и Настю в последние перед пенсией годы, рухнули окончательно и бесповоротно.

И, может быть, от неучастия своего в службе осталось у Игоря Ивановича почтительное уважение к конторским тайнствам, делопроизводству, ко всему, где работа выполнялась с помощью чернил, карандашей, счетов и бумаги. Даже наблюдение такого рода работы производило на него сильное впечатление, и он видел единственный способ выказать свое уважение и понимание сложности и важности наблюдаемого дела лишь своим желанием как можно меньше мешать и не отвлекать людей, занятых службой.

Стены здания, куда направил свои шаги Игорь Иванович Дикштейн, были знамениты тем, что именно на них был произведен первый опыт мемориализации новейшей истории. Первый мраморный блин, если так можно высказаться, оказался не совсем удачным. В здании, мало чем отличавшемся от других городских сооружений, воздвигнутых под наблюдением архитекторов Шперера, Харламова или Дмитриева, в 1917 году разместился Гатчинский горсовет. В память об этом событии в 1927 году установили и открыли с музыкой и речами мемориальную доску, сообщавшую гражданам: «Здесь 10 лет назад находился первый Гатчинский горсовет...» Ровно через год начертанное на века устарело, встал вопрос: то ли каждый год подновлять надпись, или сразу забить злополучные «10 лет назад...».

После войны на втором этаже здания разместился народный суд.

Есть места, не поддающиеся описанию. Говорят, что есть такие, но согласиться с этим трудно. Иное дело, что существует несколько мест, невозможных для описания, и можно настаивать, что к ним принадлежит коридор гатчинского суда в том виде, в каком его застал Игорь Иванович.

Невозможен коридор в силу крайней своей нетипичности, и, пускаясь в рассказ о нем, легко впасть в историческую ошибку, поскольку нельзя утверждать, что невозможное это место и по сей день пребывает в полной своей невозможности.

Кто знает, может быть, он стал шире и решительной рукой из него выкорчеван кислый настой табака и сырых валенок, пахнущих солярой кой полшубков, сладковатый аромат кормящих грудей, неизбежные запахи мужского туалета, поскольку дверь при памятных событиях была сорвана и в ту пору стояла здесь же, в коридоре, прислоненная к стене, так что при желании ею еще можно было воспользоваться и заслонить дверной проем.

Кто знает, может быть, гатчинская Фемида уже покинула эти стены и переехала в собственный особняк в духе укрощенного Корбюзье, в здание из стекла и бетона, умножающее разнообразие архитектурных форм и стилей маленького городка.

А пока две тусклые лампочки не могли высветить, а три плакатика (о спасении утопающих, взимании налогов и какой-то праздничный) не могли прикрыть всего обширного безобразия довольно-таки длинного коридора с неглубокими уступами для печей; печи главной своей массой находились в комнатах и двух залах. Сваленные тут же с некоторой небрежностью дрова не привлекали посетителей, размещившихся на лавках и просто вдоль стен. Дрова были сырыми, но всякое вмешательство в процесс топки даже с намерением поубавить дым, в коридор все-таки проникающих, встречало самое строгое и ревнивое возражение человека, по службе наблюдавшего печи.

Сказать, что в коридоре этом не было слышно смеха или озорных детских голосов, было бы так же несправедливо, как не сказать, что частьенько в коридоре этом и плакали.

Слезы были редким явлением на глазах людей, приходивших сюда группами или компаниями или прямо здесь же образующих небольшие партии от двух до двадцати человек. Иное дело одиночки, захватывавшие удобный край на скамейке со стороны уцелевшего подлокотника или выступа печей, образующих довольно-таки уютные закоулки, здесь наедине с собой можно было предаваться глубокому огорчению, сопровождавшемуся, как правило, у женщин коротким движением руки со скомканным платком и громким сморканием у мужчин.

Есть места, невозможные для описания!

Но что стоит весь этот густой наглядный срам в сравнении со стыдом и болью, надеждой и страхом, грязью и гордостью, в сравнении с тоской и верой в чудо, с жадной правды и боязнью этой же самой правды, с тем, что приносят сюда люди, недосыгаемо спрятав в себе, а еще чаще и от самих себя, всю эту путаницу острых жизненных сплетений, еще вчера бывших твоим личным делом, а теперь вдруг отторгнутых от тебя, как пьеса, написанная тобой, но вот уже листаемая зевающим режиссером, знающим, что играть ее все равно придется... кусок твоей жизни в руках ленивой и бездарной труппы.

Почему этот парень с головой новобранца стоит за невысоким барьерчиком и старается разглядеть что-то там за окном, ничего не слышит, и только особая бледность на щеках выдает его причастность к приговору?

Простую и беспощадную правду, произносимую прокурором, не могут умалить даже его косноязычие, сбивчивость и неправильные ударения в словах заграничного происхождения.

Почему эта мать, убитая горем, не слышит слов приговора, а думает, что все смотрят на нее, ее князят, что не решилась в последнюю минуту продать телевизор и дать адвокату больше?

И только легким и бескорыстным, возвышающим в собственных глазах сочувствием полны души тех, кто набился в зал, чтобы скоротать время до слушания своего дела.

Игорь Иванович легко нашел Николая в коридоре и шумно расцеловался с племянником.

Николай ростом был чуть выше Игоря Ивановича, теплое китайское пальто с поясом и мутоновым воротником делало его фигуру солидной, развернутая газета в широко раскинутых руках выдавала в нем человека независимого и бед от судьбы не ждущего, скорее всего свидетеля... Он и в действительности был свидетелем того, как пьяненький гатчинский шоферик в Ленинграде на улице Боровой, неподалеку от Обводного, спеша проскочить на зеленый, задавил перебегавшую улицу женщину в возрасте двадцати семи лет.

Племянник проглядывал развернутую газету и грубовато, по-мужски капризничал, оснащая свою речь такими словами, как «волынка», «черт меня дернул», «сами не знают, чего хотят»; выглядел он, с точки зрения Игоря Ивановича, великолепно. Расположившись рядом на скамье, он тоже громко, но все-таки сдержанно бранил порядки, неумение беречь чужое время, дерганье и очень искренне напирал на то, что дело-то предельно ясное и два месяца его мусолить просто смешно, памятью бессознательно, как дважды в жизни его «дела», куда более сложные, решались быстро и без всякой канители.

В коридоре притихли, исподволь поглядывая на шумного Игоря Ивановича и его солидного собеседника в китайском пальто.

Игорь Иванович даже немножко разволновался, он уже готов был куда-то пойти, кому-то сказать, если надо, и указать, и напомнить... Только племянник его остановил, снисходительно и мудро заметив, что «ним спешить некуда», вот работали бы сдельно, тогда б шевелились, и хохотнул... У Игоря Ивановича мелькнула вдруг безумная мысль: а может, тогда сдельно работали?

— Вы уж, дядя Гоша, не ждите... Чего вам здесь париться? А я, как развяжусь, сразу к вам...

— Не вздумай только нигде есть! Мы тебя к обеду ждем. Как ты к «московскому» пиву? — Игорь Иванович двумя пальцами приподнял сетку. Племянник изобразил восхищение, да такое, будто увидел монгольскую водку.— Без тебя не сядем, слышишь?

На том и расстались.

Жизнь, направлявшая немалые свои силы на усмирение чувств, желаний и потребностей Игоря Ивановича с молодых лет, не только не притупила в нем жажды жизни, но, напротив, обострила ее до такой степени, что Игорь Иванович уже не мог позволить себе пренебречь и малейшей возможностью удовлетворения и каждую такую возможность стремился испытать до конца, затрачивая усилия без расчета. Потому вместо кратчайшего пути к дому он выбрал путь окольный, то есть мимо собора.

Направляясь к дому, Игорь Иванович вновь стал созерцать искуснейшее изобретение, равных которому хоть пруд пруди,— знаменитый гатчинский Покровский собор, причудливое окаменение христианского духа, внешне являвшее собой строгую смесь кирхи с казармой. Нет, это не плод любви художника, тот плод, где за чертежами и выкладками звенит сокровенное чаяние мастера соединить землю и небо, помочь сердцем узреть свет и гармонию, таящиеся в непостижимом и вечном.

Забитые окна и глухо закрытые двери придавали собору вид тюрьмы строгого режима, где окна, как известно, не только традиционно за решечиваются, но и прикрываются металлическими «намордниками» вроде оттопыренных карманов, в которые дневной свет проникает только сверху.

Игорь Иванович не раз ловил себя на мысли о том, что, проходя мимо собора, прислушивается. Слух его действительно сам собой обострился, но не потому, что Игорь Иванович надеялся уловить зов таинственный, неведомый другим, а просто не верилось, что такое огромное помещение с мощными стенами и прочными запорами не содержит в себе ни единой живой души. Может быть, это пульсировал в его душе древний инстинкт, не позволявший человеку мириться с необитаемостью гор, безлюдьем лесов, морских пучин и даже прозрачной пустотой неба, населяя весь этот запредельный для глаз мир существами таинственными, душами добрыми и злыми, причудливыми управителями человеческих судеб.

Но не было души в этом кирпичном бастионе, замысленном как обитель духа. Начиная с 1904 года, когда заложили собор и начали строить, Гатчина жила в горделивом ожидании, в надежде и уверенности, будто через высокие двери нового храма все войдут в жизнь обновленную, очищенную от душевной скверны и даже от бедности. Не верилось, что столько труда, сил и денег не прибавит в жизни добра и благодати. Кирпичная кладка была великолепной, теперь так и кафель не кладут, строили не спеша, десять лет, но, еще не закончив наружные работы, все силы бросили на внутреннюю отделку, поспешно освятили собор, словно в предвидении его короткого века, и открыли для прихожан в октябре 1914-го: началась война, и рассчитывать на скорое завершение всех работ уже не приходилось.

На пятьдесят метров взметнулась ввысь шатровая колокольня, словно надставленная на вершине часоушкой, на сорокаметровой высоте пузырились шлемовидные купола канонического пятиглавия.

И что за нужда была Вохоновскому женскому монастырю, небогатым подворьем лепившемуся к подножию соборной громады, заводить этакую храмину, если здания подворья так и остались неоштукатуренными до самого закрытия монастыря в начале тридцатых годов. Родившийся не ко времени, не простояв и тридцати лет, собор начал ветшать, будто только для того он и был воздвигнут, чтобы удивлять то ли безрассудным тщеславием, то ли беспредельностью человеческого легковерия, а может, лишь для того, чтобы стать еще одним примером бренности оставленного душой тела.

Так и стоял он уже пятьдесят почти лет, мертвый для неба, мертвый для земли и для надежд.

Еще в прошлом году Игорь Иванович немало удивился, увидев у покосившихся куполов, сохранивших лишь металлический каркас и напоявивших огромные клетки для огромных птиц, перевязанных страховочными веревками рабочих. Когда из четырех куполов на малых барабанах осталось только два, все объяснилось: состояние двух других было признано угрожающим, а сил и средств хватило только на то, чтобы остеречься от лишней беды.

Игоря Ивановича нет, и никто не скажет, чем же притягивал его этот угрюмый, красного кирпича колосс с пробитыми на просвет куполами, с крутыми неприступными стенами, с умолкшими колоколами на открытой ветрам звоннице.

А может быть, это самое внушительное здание на гражданской территории Гатчины среди приземистых двухэтажных домишек напоминало тебе громаду линкора, делавшего разом тесной даже просторную военную гавань Усть-Рогатки?..

А может быть, в минуту душевной слабости, когда хотелось, чтобы был, был в этом мире Бог, разумный и справедливый, ты помещал его именно здесь, в пустынных и холодных стенах, ограждая его скорбную мудрость от языческой суеты и невнятного многословья, от заискивания и задабривания зыбким светом свечей, блеском позолоты на дорогах окладах икон, от поповской важности и людского соперничества в смиренном унижении?..

Может быть, широкий, из крепких досок сколоченный настил, закрывающий просторную лестницу главного входа, напоминал тебе один из крохотных кронштадтских причалов, где швартовались паровые катера, вывозившие военморов в увольнение полоскать клешами мостовые Питера и Гатчины, Стрельны и Ораниенбаума, звавшегося для краткости Рамбов? Причал этот был устроен для удобства закатывания в храм бочек, затаскивания ящиков и мешков в горторговский склад, оккупировавший давно пустующее помещение.

Остается лишь предположить, что собор притягивал к себе фантастическим сочетанием житейских черт и подробностей, напоминавших Игорю Ивановичу всякий раз самые различные стороны его быстро промелькнувшей жизни: и крепость, и линкор, и узилище, и склад, и женский монастырь, не оставленный в свое время вниманием военморов, и снесенные главы, еще недавно возвышавшиеся над людьми. Остается лишь утешиться тем, что и сам Игорь Иванович был скорее человеком фантастическим, и потому, сколько не бейся, никогда не догадаешься, чем же притягивало его к себе это мрачное, состарившееся, еще и не начав жить, сооружение.

Ах, Игорь Иванович, Игорь Иванович, бездна моя... мой омут!.. Тех слез, что жизнь из тебя выжала, никто не сосчитает, да и слова, не сказанные тобой, кому услышать?.. Родины — твоё начало, и смерть — твой конец. Родился уже отторгнутый и в жизни так ни к чему и не прилепился. То не нужен был, то сам не считал возможным лепиться черт знает куда, ни злости, ни зависти, ни отчаяния... Зыбь под тобой, но строгость — твоя опора, все, к чему ты касался, забирало тебя полностью, ибо не было у тебя иной жизни, чем вот в эту минуту... Ты как первый человек, почувствовавший необходимость понять смысл и значение каждого слова, каждого своего поступка и действия, тут же понимание свое обращал в правило, в закон и не позволял себе отступать от закона, и ждал того же от других, ждал и требовал им же во благо. И всякую несправедливость и даже безобразие ты относил за счет незнания строгих правил и распорядка, всякий раз недоумевая, почему люди живут по наскоро состряпанному, временным положениям, которые, уж и слепому ясно, отменить пришли сроки, так нет же, не торо-

пятся. И что за сила и удача у тех, кто все эти временные положения сочиняет к собственной выгоде, а другие подхватывают и внедряют как должное?

Перед Игорем Ивановичем, поскольку, в сущности, его как бы и не было, никаких задач никем не ставилось, никаких свершений от него не ожидалось, и потому главную свою задачу, как он ее в жизни понимал, он с полным основанием мог считать выполненной. Что может быть важней, чем подготовить себя к такой жизни, где уже не нужны будут изменения и усовершенствования, где все обретет свои названия и свое место, где не нужно будет стоять на страже справедливости и чести, поскольку никто на них покушаться не будет. Так уж случилось, что мысли Игоря Ивановича и советы относительно правил и законов о справедливом и строгом устройстве жизни никому не понадобились и пошли почти целиком на строительство и подготовку к лучшей жизни единственного частично подвластного ему человека, вот уже сорок с лишним лет носившего имя Игоря Ивановича Дикштейна.

Ах, Игорь Иванович, Игорь Иванович!.. И кому же еще так повезет, чтобы знать человека, о котором в любой инстанции скажут, что не было такого человека да и не могло быть! Нет тебя, у кого хочешь спроси! И как ни скрипи ты своими башмаками по снегу, сколько ни греми бутылками в сетке, сколько ни хлопай дверями и ни возвышай голос на Настю, нет тебя, и сам ты знаешь это лучше других. Да и какой же ты Игорь Иванович, если даже Настя ловила себя на мысли два раза, что не может вспомнить твое крестное имя, вспоминала, конечно, только не сразу.

Игорь Иванович, наверное, удивился бы, узнав, что его душа, преисполненная строгости к себе и готовности встретить иную, лучшую жизнь, потому что в этой не было для него места, быть может, и была той бездной, в которую канули десятки государств, сотни правительств, тысячи божков и царей,— бездной, растворившей в себе век за веком, спасая от забвения только тех, кто был строг к себе и яро жаждал иной жизни.

Побрякивая бутылками, Игорь Иванович миновал собор в состоянии равенства и независимости, свободный в эту минуту от бремени понятий и телесной чувствительности. И если бы не излишнее напряжение, неизбежно присутствовавшее в Игоре Ивановиче, он легко бы мог полной мерой испытать состояние, удобное для блаженства. Повернув налево, он скрылся за каменной стеной, словно ушел в нее. И тем немногим в этот час проходим, что шли следом за ним по бывшей Съезжинской, не было видно, как высокая тощая фигура вдруг покачулась, не то споткнувшись, не то растерявшись, словно человек вдруг очнулся и понял, что заблудился, и потому неузнающим взором поводит вокруг себя, еще пытаюсь найти знакомые предметы, пытаюсь понять, как же это случилось и где же искать выход... Сетка с бутылками выскользнула из рук и брякнулась об утоптаный снег... Здесь, в ста четырех шагах от крыльца его дома, ждал его последний милосердный дар судьбы — легкая смерть от разрыва сердца.

Игорь Иванович качнулся и во весь рост рухнул на снег. Пал он уже мертвый.

Последнее, что нуждается в пояснении, это звание капитан, при- ставленное к имени Игоря Ивановича в самом начале.

Скрыть свое военно-морское прошлое Игорю Ивановичу, разри- сованному голубой татуировкой, как средневековая карта звездного не- ба, с девами, лирами и водолеями, было невозможно, хотя всю жизнь в общественные бани ходил только с утра, в самое безлюдье, на свежий пар. Все попытки друзей и знакомых узнать подробности его морской службы встречали самый решительный отпор, что послужило сначала поводом для сочинения легенд, а потом, уже неведомо как, вдруг обернулось прозвищем — Капитан. То внутреннее напряжение, стро- гость и категоричность, что постоянно сопутствовали Игорю Ивано- вичу, как нельзя больше подтверждали меткость и справедливость при- своенного звания.

Правда, Капитаном звали Игоря Ивановича только за глаза, уважая его серьезность и вспыльчивость, поэтому и умер он, не подо- зревая о своем третьем имени, придуманном его друзьями и знакомыми, бок о бок с которыми прожил свои пятнадцать последних лет жизни.

Вскрикнула женщина, увидев упавшего старика.

Юноша бросился останавливать машину. Скрипнули тормоза. Хлопнула дверка. Кто-то закричал, узнав в упавшем Игоря Ивановича.

Шум города гулками перекатами входил в полое тело собора, но не оседал, не оставался там, а растворялся, так и не став сопричастным особой жизни этого окаменевшего крика надежды. Он стоял, покину- тый людьми и верой, несбывшийся порог в царство вечного блаженства и воздаяния, обитель духа, оставленная духом и обреченная на пре- бывание.

1977 — 1987

В библиотеке русской фантастики — «Гробовщик» Пушкина, «Странник» Вельтмана, «Нос» Гоголя, сочинения Достоевского, сочинения Салтыкова-Щедрина, Платонова, Булгакова... Не сопутствуй нам эти имена, мне никогда бы не разглядеть едва заметного жителя, спрятавшегося в одном из самых загадочных пригородов Ленинграда. Непредсказуема и удивительна жизнь частного человека, песчинки на арене, где разыгрываются величайшие социальные и политические бури, подлинная судьба становится зеркалом, отражающим жестокие фантазии истории. Это о «Дикштейне».

Моя же биография, о которой редакция просит уведомить читателей, в отличие от биографии моего героя, фантастически благополучна: родиться успел до войны, в блокаду спасли, школу закончил, в институт поступил, двадцать семь лет отработал в сценарном отделе «Ленфильма» всего с одним выговором... Не был, не участвовал, не состоял, не привлекался, не выбирался, не выезжал... После первой публикации прозы, случившейся в преддверии своего пятидеся- тилетия, узнал от друзей, что «всю жизнь занимался не своим делом». Может быть, действительно, мое дело — рассказывать о тех, кто сам о себе никогда не расскажет и не напишет?..



С. КАЛЕДИН

Смирненное кладбище

*...смирненное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей.*
А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»

I

— **В**роде здесь... Да, здесь. Окно открой и под вяз уходи. Топор возьми, корней много. Успеешь к одиннадцати? У них без отпевания. Смотри. Копай глубже: специально прошили. Не морщись. Не обидят...

Петрович показал Воробью чуть заметный холмик, заросший, без ограды. В холмике торчал погнутый ржавый трафарет. Фамилии на нем не было — сошла со временем.

«Бесхоз толкнули. Ясненько...— Воробей проводил взглядом заведующего, воткнул официалку в холм.— Пахоты хватит, подбой под вяз ковырять».

— Воробей! У них колода, не забудь! — крикнул издалека Петрович. Вспомнив, что Воробей не слышит, вернулся: — Колода у них. Широ бери.

— Мать учи. Воробей ученый,— с поддельным раздражением отмахнулся Лешка.

— Ну давай,— заторопился заведующий.— Кончишь — в контору скажи. А где твой-то, Мишка?

Воробей не расслышал, присматривался к месту. Не очень-то развернешься: сзади — два памятника; спереди — вяз чуть не из холма растет здоровый... Землю кидать — только в стороны. Потом за досками надо к часовне идти. И Мишка еще запропастился, сучий потрох.

Вчера вечером, правда, договорились, что Мишка с утра задержится: поедет на Ваганьково за мраморной крошкой — цветники заливать. Воробей знал, что быстро Мишка не обернется: пока купит, пока машину найдет, дай бог к обеду успеть. И все-таки психота закипала. И до больницы-то заводился с пол-оборота, ну а теперь до смешного доходило: спичка с первого раза не чиркалась, или молоток где позабудет, или свет в сарае потух — глаза сырели и начинала трясти ярость. И знал, что потом стыдно будет вспомнить, но поделать с собой ничего не мог.

Воробей прикурил новую сигарету от первой, высосанной чуть не до фильтра, языком привычно кинул ее в угол рта; взялся за блестящий полированный черенок лопаты. Взглянул на часы: полдевятого. Будет к одиннадцати яма, на то он и Воробей.

Он разметил будущую могилу: четыре лопаты — в головах, три — в ногах, и так, чтобы в длину метра полтора, не более. Это окно, чтоб

копать меньше. На всю длину гроба потом подбоям выбирать надо. А раз гроб — колода — выше и шире обычного, варшавского, то и подбой, чуть не с самой поверхности, вглубь удлинняя, выбирать придется. И стенки отвесно вести: заузишь, не дай бог, колода застрянет в распор — назад не вытянешь. Летом, правда, еще полбеда: подтесать лопатами землю с боков — и залезет как миленький. А зимой — пиши пропало: земля каменная — лопатой не подтешешь. На крышку гроба приходится прыгать, ломая шерудить. Какое уж тут, на хрен, благоговение к ритуалу. Родичи выражаются, и на вознаграждении сказывается.

А попозже и по башке огрести можно. От товарищей.

Воробей с самого начала учил Мишку: когда колода — бери шире, делай лучше — плохо само выйдет. Без Воробья дорого бы стоила Мишке вся кладбищенская премудрость. Еще научил копать; не гляди, что ребята до нормы недобирают, с них спрос один, а с тебя другой: ты временный.

Сезон пойдет — друг друга жрать будут, хрящи захрустят.

Не бойсь — провремся. Воробья держись — не пропадешь!

Воробей выплюнул окуроч, поправил беретку. Ну, давай, инвалид! Залупи им яму, чтоб навек Воробья запомнили! Жалко, одна могилка на сегодня задана: когда работы мало, и психуешь больше, и сон дурной. Ладно, решил Воробей, раз одна — я ее, голубушку, без ноги заделаю. Точно! Эх, не видит никто! Воробей даже распрямился на секунду, посмотрел по сторонам. Вроде никого, а может, не видит он, зрение-то... А, черт с ним! Погнались!

Воробей поплевал на левую, желтую от сплошной мозоли ладонь, охватил ковылок лопаты, покрутил вокруг оси. Правой рукой цапнул черенок у самой железки и со свистом всадило лопату в грунт. И пошел. Редко так копал, только когда время в обрез, когда уже гроб — из церкви, а могила не начата.

Ноги стоят на месте, не дергаются, вся работа руками и корпусом. Вбил лопату в землю — и отдирай к чертовой матери! Вбил, оторвал — и наверх все единым махом, одним поворотом, только руками. Без ноги. Вот так вот!

И на других кладбищах никто так — без ноги — не может. Воробей всяких видел, но чтоб за сорок минут яма готова, нету таких больше. И не будет. Только он один. Воробей!

Это начало; потом вот корни, доски гробные да кости мешать начнут. По бокам ямы были навалены кучи красно-бурой глины; копать дальше без досок нельзя — осыпается земля внутрь, а кидать далеко — закапывать потом трудно: холм ровнять надо, а землю-то и не собрать.

Воробей вылез наверх. Время — девять. Успеет и без Мишки. Все же Мишка не ля-ля разводит, крошку везет. Он положил лопату на край могилы и припорошил выработанной землей: свои не свои, а уведут, — с Молчком, бригадиром, рассоришься. Где он лопаты эти — официалки — заказывает — одному богу известно. Но и верно — хороши лопатки: корень, доски, да и камень в другой раз — все рубят. Штык до полуметра длиной выгнут по сечению чуть не вполкруга; на черенок на-

сажен через резиновые кольца стальными обхватами, блестит — зеркалом.

Мишка, как увидел, губы раскатал: потерять захотел — на дачу. Опять Воробью спасибо: «Молчок тебя за нее потеряет. И не удумай».

Возле древней красного кирпича часовни в центре кладбища лежали доски. Воробей выбрал несколько самых длинных, уложил на плечо, одна на другую, и поспешил обратно.

В часовне давал прокат инвентаря ветхий, беззубый дядя Жора, хулиганящий в пьяном виде и тихий так. На втором этаже переодевались, ели, пили, спали — жили землекопы. Впрочем, оформлены подсобными. Штатным землекопом был один Молчок, бригадир. На него то и писались наряды. Сам же он копал редко, в сложных случаях или при запарке. Копали ребята — часовня, да изредка — желающие с хоздвора. За яму Молчок платил по сезону: летом пятерка, зимой — вдвое. Если сам не захоранивал, весь сбор все равно кроил он. Без комментариев. С этим было строго. Жук — тот еще: самому под пятьдесят, а с покойниками лет двадцать трется. Последние десять — как вычелся — капли в рот не брал. Знал, кому побольше дать, а кто и так хорош. Воробей выделял. «Копнешь две, Воробей?» — «Ну, Володя». Воробей откладывал все дела и шел за маленьким кривоногим Молчком. И потом его не искал, знал, что за Молчком не пропадет.

Воробей протянул доски ребром вдоль по краям ямы. В головах вставил доски между прутьев неснятой ограды — пригодилась, в ногах обхватил доски ствол вяза, привалив снаружи комья покрупнее.

Теперь свободно можно снизу кидать на самые края — доски держат осыпь. Корни пошли. На то топор есть. Обкромсал их заподлицо со стенкой, как нечего делать.

А с глубиной ковырялся подольше; если б не наказ заведующего, давно б дно притаптывал. Незнающий взглянет — яму чуть не в рост увидит, ну, а на внимательного нарвешься — пеняй на себя: сверху-то сантиметров на тридцать от земли грунт простой по контуру ямы выложен и прибит умело; грунт рыхлый, а не глубина.

А раз приказ: глубже брать, значит, на все положенные метр пятьдесят заглубляться надо.

Воробей выбирал дальше: пошли и черные, трухлявые гробы. Их было два, один на другом, они легко распадались, доски наверх. Доски и корни на самом краю могилы укладывай, а то потом как закапывать, лопату тормозить будет. Раз гробы, то и без костей не обойтись. Кости наверх — упаси бог! Родственники увидят — валидолу не напасешься...

Кости Воробей сложил в ногах, в головах подкопал, потом в голову их передвинул. А уж как до глубины добрался — в ямку посредине, где земля податливей, уложил кости, землей прикрыл и утоптал — готова могила.

Летом копать — дурак вскопает. А вот зимой, да если еще могила уборочная, без снега, простужена на метр, — это да. Гаврилой почти всю дорогу, лопата не берет. Вдвоем в могиле пашут: один гаврилой долбит, другой крошево отгребает и наверх. Работа потная, ничего не скажешь. А летом — детский сад.

Рыжих — зубов золотых — он не искал. В бесхозе какие рыжие? Если родственники лет двадцать, тридцать на могилку не навешивают, забыли или сами перемерли, то и покойник у них соответствующий — без золота. Рыжие — те в ухоженных, с памятниками.

Года два назад, зимой, на пятнадцатом участке Воробей одиннадцать рыжих взял, прямо в кучке, как по заказу. Торгаша одного яма, он тогда сестру к брату захоранивал; Воробей и родственников, навещавших могилу, знал хорошо: цветник им гранитный делал и доску мраморную в кронштейн заливал. Ободрал их тогда лихо.

Воробей потоптался в могиле, ширкнул лопатой выбившийся с боку недорубленный корешок, выкинул вверх инструмент и вылез сам. Обошел могилу — огрехов не увидел: копано по-воробьевски, без халтуры.

«Петрович, змей, знал где бесхоз долбить». Справа свежую могилу от дороги заслоняли «декабристы» — широкие памятники двум декабристам, слева — толстый вяз. Бесхоз расковыранный ниоткуда не приметен.

Странно только: не часовне Петрович копать поручил. Значит, не хотел с Молчком делиться. Со вчера еще предупреждал: приди, мол, Воробей, раньше — дело есть. И сам не забыл, к семи приехал. Морда шершавая с похмелья, а приполз, не поленился. Да, поднаглед Петрович малость за последнее время. Все бабки все равно не собьешь, а нарваться можно... Тем более с бесхозами. Бесхоз толкануть — тюряга.

Воробей дошел до своего сарая, поставил лопату и топор в угол, взглянул на часы. Время почти не двигалось — одиннадцать, в прокуратуру еще не скоро, в повестке сказано в три...

— Чего ты в темноте сидишь? — В сарай влез Мишка, подручный Воробья, включил свет. — Пожевать у нас есть? — зашарил на харчевой полке.

— Котлеты вон в целлофане... Крошку привез?

— Полтора мешка, красивая, мелкая...

— Ме-е-елкая, — передразнил Воробей. — Толку-то, мелкая: промывать труднее... А чего поздно? В музее своем дежурил?

— В музей вечером.

Мишка выдал на котлету майонез из пакетика.

— В прокуратуру скоро поедем?..

— К трем. Один поеду, ты здесь сиди; погода путная, клиент будет.

— Ты же не услышишь один.

— Услышу. А не услышу, переспрошу.

— Как хочешь, могу и здесь.

— При чем здесь «хочешь»? Бабки ловить надо; суд судом, а деньги своим чередом. Давай пока вот чего: мрамор глянем еще разок. — Воробей полез на карачках в угол сарая, под верстак, где в тряпье хранились полированные мраморные доски. — Чего стоишь? Принимай...

Доски были давно перемерены и переписаны Мишкой в блокнот. Воробей сел на ведро с цементом, закрытое фанеркой. Закурил.

— Каждая доска свою цену имеет. Самые ходовые — colega. Вот эта, белая. Летят, как мухи. Только доставать успевай. Да их и доставать особо не надо: ворованные возить будут, прямо к сараям. В случае

привезут, доска — бутылка. Больше не давай, не сбивай цену. А толкать начнем — ноль приписывай... Сечешь, как монета делается?.. Не возьмут? Еще как возьмут! И еще спросят! — Воробей вытянул из угла еще одну доску. — Газган вот — эти не покупай. С виду хороши, красивые — а крепче гранита: скарпели победитовые садятся, три буквы вырубил — и аут. Искра прям лупит... Гарик, ты его застал еще, когда я в больнице лежал... Вот здоров был клиентам мозги пудрить, без передыха... Я его и в пару за это взял, за язык. Гарик этот мрамор — газган — эфиопским выдумал. Клиента клеит, лучший товар, говорит, из Эфиопии, для правительственных заказов. Клиенты-то все больше — о-о-о! — Воробей постучал себя по уху, — олухи. Им чего ни скажи — всему верят. Раз эфиопский — все. Давятся, полудурки. — Воробей сунулся было снова под верстак, но вдруг раздумал и вылез. — Там еще доски есть, да лазить далеко... Потуши-ка свет, на глаза давит.

Мишка щелкнул выключателем.

— Теперь размеры. Самый лучший: сорок на шестьдесят. Можно: сорок на пятьдесят. Уже не бери — дешевка, шире — тоже плохо: в кронштейн заливать станешь — с боков мало крошки уместится. Шире шестидесяти — гони сразу. В высоту до восьмидесяти брать можно. Бывает, требуется.. На много фамилий. Не глядится, правда: цветник сам — метр двадцать длиной, и эта дура, кронштейн, чуть не такой же... Еще... — Воробей потряс пальцем. — Одно запомни и другое: выпить не отказывайся никогда. Ты че? У людей горе, а тебе выпить с ними лень... Сам вот не проси, некрасиво, а помянуть нальют — не отказывайся. Это нам можно. Ни Петрович, ни кто еще ругать не будут. Горе разделил, по-русски...

Летом одного захоранивали, нам наливают. А тут Носенко идет, из треста, заместитель управляющего. Мы стаканы прятать... Раевский сунул в штаны, а у него там дыра... Стакан пролетел, а он стоит, как обсосанный. И стакан котится...

Чего, думаем, Носенко скажет. Ни слова не сказал. А в обед всем велел в контору. Когда, говорит, официально предлагают помянуть, это не возбраняется, только не слишком.

Воробей открыл портфель, достал бутылку «Буратино». Глянул на Мишку, тот уже приготовился смотреть фокус. Воробей взял горлышко бутылки в кулак, ногтем большого пальца (специально один ноготь оставил — не грыз) поддел крышечку и легко ее сколупнул. Бутылка зашипела.

— Это ж надо — «Буратино» хаваю. Кому сказать, не поверят. — Понюхал бутылочку: не скисло ли — после больницы градусов боялся даже в газировке. Сунул бутылку Мишке: — Нюхни. Ничего?

Выпил, пустую бутылку сунул в портфель.

— А если, говорит, кого увижу — по углам распивают, пеняйте на себя... Его слова, Носенки.

А ты раз не пьешь — отпей для вида, а остальное, скажи, в бутылочке мне оставьте. Понял? Воробей всему научит.

Лешка не спеша переодевался в чистое.

— Ну, это, держи на всякий случай. — Он протянул руку Мишке. — Не люблю за руку, но мало ль...

— Что «мало ль»? — отвел его руку Мишка. — Ты ж не в суд, а к про-ку-ро-ру!

— Короче, Валька позвонит вечером, если что,— упрямо сказал Воробей. — Пошел я.. Не бойсь, прорвемся!

Воробей подошел к конторе, заглянул в окно. Петрович был в кабинете, сидел за столом и ничего не делал.

Воробей вошел без стука, ему можно и без стука.

— Вскопал я...

— Пойдем выйдем,— Петрович вылез из-за стола. Они отошли от конторы. — Леша, слушай... Слышишь?

— Ну?

— Такое дело: забудь, что бесхоз копал. Понял? Нормальная родственная могила, понял?

— Кому говоришь, Петрович! — Воробей скривился.

— Ладно. С этим все.— Петрович достал иностранную пачку.— Закуришь?

— Давай... Черные?.. Это какие ж такие, не наши?..

— Американские, попробуй...

— Они без этой, без дури? Сам знаешь, мне теперь анашу ни-ни.

— Да нормальные они, кури. Когда тебе?

— К трем.

— Ну, ни пуха. Чего мог, сделал, «бригадир Воробьев»,— Петрович улыбнулся.— Главное, молчи побольше — глухой, и весь разговор. Валька, смотри, чтоб не напилась.

— Да она не придет...— Воробей потупил глаза.— Я ей утром бубен выписал. Трояк на похмелку клянчила.— Воробей усмехнулся и посмотрел на Петровича, как тот отреагирует.

Но Петрович уже глядел в сторону и нетерпеливо крутил на пальце ключи с брелоком в виде голой бабы.

— Ну, тогда будь здоров, Воробей, ни пуха!

— К черту! — Воробей повернулся.

— погоди! Чуть не забыл, за работу...— Петрович сунул деньги Воробью в карман.

Лешка заметил: зеленая.

— Не много? — он с удивлением посмотрел на заведующего.

— В самый раз. Ну, дуй,— Петрович махнул Воробью рукой и зашел в контору.

«За яму полста!.. Залетит Петрович, точняк залетит. Жалко. А что б я без него тогда!.. Сдох бы!»

...Тогда, полгода назад, в октябре, с забинтованной головой, полуглухой, накачанный вместо крови холостой жижей, со справкой инвалида второй группы без права работы, предупрежденный о лежачем режиме, в сандалетах и грязном пиджаке Воробей сидел в кабинете Петровича.

— Ну, чего, Леш? Я тебя бригадиром провел задним числом...

— Громче говори,— буркнул Воробей.

— Пенсия, говорю, больше будет! — крикнул заведующий.

— Ты мне, Петрович, мозги не пыли. Я работать буду. Если возьмешь. Возьмешь — не забуду. Воробей трепаться не любит. А?

Петрович встал из-за стола, прошелся по кабинету. Заметил заляпанные грязные сандалеты на зябко поджатых ногах. Достал со шкафа рефлектор и, поставив его у ног Воробья, включил.

— Ага,— сказал Воробей.

— Денег-то нет? — спросил заведующий.

— Да Валька все...— Воробей щелкнул себя по горлу.— Пока в больнице лежал.

— Ладно. Котел топить будешь, а то вон холод уже, там поглядим. Про инвалидность — никому. Справку спрячь. Понял? И оденься хоть как... Смогри, синий весь.

— Да, в больнице крови пожалели, думали аут.

Воробей входил в должность. Да и то сказать — входил... Он и прошлые зимы котлом заведовал, без приказа. Как холода начинались в конце октября, перебирался из сарая в котельную. Ни Петрович, ни до него заведующие — никто с котлом забот не знал. Обо всем хлопотал Воробей. У звонаря, дяди Лени, — он же и завхоз церковный — брал в складе уголь, набивал угольный ящик доверху, нарезал поленицу на дворе из спиленных по просьбе клиентов деревьев и всю зиму безукоризненно командовал котлом. Пьяный ли, похмельный — в семь утра заводил тяжелую, с матом, хрипом, возню в трафаретной — запаливал котел.

Контора — Петрович, смотритель, Раечка — приходила к положенным девяти в благостную теплынь.

Несколько раз Воробья не было — контора чуть не вымерзала. Котел никому не давался: все делали вроде по-воробьевски, а он — вдруг — гас ни с того ни с сего. Выгребай из него всю вонь и — по новой заводи. «У Воробья секрет есть». Уголь Воробью давали в церкви безропотно. И деньги займы — когда ни приходи — староста Марья Ивановна, тяжелая хваткая старуха, а нет ее — заместительница Анна Никитична, худенькая, в черном. После больницы Никитична сто дала, «до лета». Давать-то давали, но, ясное дело, не за здорово живешь...

Хоронили когда-то давно батюшку отца Василия. Душевный был старик. Чуть не до самой смерти, уже за восемьдесят, службы служил и отпевать ходил на самые дальние участки, не ленился. Да и так просто нравился всем: и как здороваётся, шляпы чуть касаясь, и как с попами подчиненными говорит ласково, не то что нынешний отец Петр — этот гавкает на своих, как пес цепной. Еще вот тоже: со старьем — нищими на паперти — всегда здоровался. И голубей кормил каждое утро возле церкви. Стоит, бывало, посреди голубей — крошки им накидывает, а они чуть не под рясу к нему заходят.

Так вот, помер он. Воробей сам назвался копать. Могилу отвели за церковью почти вплотную, как положено по сану. А там земля — сплошняком камни, кирпичи, железки, со старых времен от стройки еще осталось. Марья Ивановна подходила, видела, как Воробей мокрый, как крыса, в хламе этом уродовался; ни ломом толком не возьмешь, ни лопатой. И костей было — чуть не на полметра; сколько тут их, попов, похоронено. Воробей, как дьявол какой, по пояс в бульон-

как стоял: и наверх не вытащишь — у церкви народу прорва,— и в яме не развернешься. Так и корячился до темноты, а начал рано.

— Земля тяжелая, Лешенька? — тяжело наклонялась над запаренным Воробьем Марья Ивановна.

— Пустое, Марь Ивановна, для батюшки конфетку сделаем.

И действительно сделал. Два метра глубиной, ровненькая, дно еловыми ветками выложил. Не могилка — загляденье.

...Воробей подошел к церкви, погулял вокруг — тянул свободное время. Все ж к прокурору зовут, не в кино. Поднялся на паперть. Нищие разом заныли, запричитали, но, разглядев местного, смолкли. Воробей снял шляпу и толкнул тяжелую дверь.

В прохладном полумраке церкви у левого Никольского алтаря стояли четыре гроба на специальных для того скамейках. Возле гробов, подомашнему, спокойно, хлопотали родственники: прихорашивали, поправляли покойниц. Все четверо были старушки.

Иногда здесь и крестили, если не было гробов, а если были, то крестили в крестильной. Там же Батя полгода назад крестил и Витьку, сына Воробья. Крестным был Кутя, а крестной матерью Валькина подруга с Лобни Ирка.

Воробей подошел к стойке, за которой Марья Ивановна оформляла усопших. Тяжелый шаг Воробья оторвал Марью Ивановну от дел:

— У вас отпевание?

— Это я, Марья Ивановна, Лешка Воробей...

— Лешенька, а я тебя и не узнала. Ты что, выходной сегодня? Наряженный...

— Да нет,— Воробей замылся,— к следователю мне скоро... В прокуратуру... Шел вот — зашел...

— Чего ж ты опять натворил? Господи! — она искренне всплеснула руками.

— Да за старое, еще до больницы, когда пил... Адвокат сказал, простят, не посадят. А там кто его знает... Значит, вот, на всякий случай... до свидания... Батя-то где?

— Батюшка? Обедает. Посмотри в крестильной. Ну, дай бог тебе, Лешенька.— Она мелко перекрестила его.

— К чер...— Воробей подавился.— Спасибо, Марья Ивановна.

Воробей дошел до главного алтаря, поздоровался с Анатолием Николаевичем, горбатым стареньким монахом, прохромавшим через церковь насквозь.

Обычно попы обедали в церковной сторожке. Там была и плита, и холодильник, все чин чинарем. Но сейчас сторожку ремонтировали — и попам тайком накрывали в крестильной, хотя и не положено по религии...

Попов в кладбищенской церкви было два: старший — отец Петр и отец Павел, Батя.

За столом сидел один Батя.

— Садись, Леш. Здорово. Как Виктор?

— Нормально... Косит вот только...

— Пройдет,— сквозь борщ невнимательно буркнул Батя.

Поп был невеселый. Воробей знал, в чем дело. Прикрылась лавочка.

При старом настоятеле, земля ему пухом, Бате вольготно жилось. Ну, подпил, прогулял службу... Что за беда, вера-то у нас, русских, православная, испокон на Руси к вину уважение, а священник, что ж он — не человек? Настоятель послужит вне очереди, Пантелеймон Иванович, дьякон, тоже поспешествует, а уж Батя потом две, а то и все три не в очередь отпоет.

А теперь! Новый-то отец, Петр, чуть запах услышит — от службы отстраняет и объяснительную велит писать да благочинному настучит, а тот — в епархию, а там у них разговор короткий. За Можай загонят...

А уж, не дай бог, на работу, тьфу, на службу не выйти, сожрет с дерьмом: бюллетень давай. Священник, да чтоб бюллетени!.. Тьфу, пропади он пропадом!..

— Ну, идешь? — очнулся Батя. — Не боишься?

— Адвокат сказал: нормально будет...

Батя вытер носовым платком бороду.

— Встань-ка, благословить надо.

— Да-а... — Воробей замялся, — я ж вроде неверующий...

— Все неверующие, — Батя поднялся из-за стола, — а благословить не мешает. Шляпу положи, стой смирно.

Он медленно перекрестил Воробья и, закатывая глаза, что-то тихо пробормотал, подал руку для лобызания. Воробей не понял, пожал ее.

— Целуй, — поправил его Батя.

Воробей покраснел и ткнулся губами в его руку.

— Ну, вот. Теперь иди спокойно. С деньгами твоими как договорились: кладу на свою книжку и по сто рублей каждый месяц Валентине высылаю, без обратного адреса, так?

— Ага.

— Иди, не бойся, бог даст, обойдется, Алексей. Ступай.

Бабки, пригревшись на паперти, опять заворковали, привычно протягивая скрюченные ладони.

— Чего-о? — Воробей, сморщившись, поглядел на лавку, плотно забитую старушками. Они сидели туго друг к другу, встать без риска потерять место не могли, потому и клянчили сидя. Некоторые с закрытыми глазами, сквозь дрему.

— На вот, на всех, — Воробей сунул в ближайшую руку всю мелочь из кармана. — На всех! — еще раз хрипло пригрозил он. — Знаю я вас.

II

Солнце сквозь лазейку в листе ударило в могилу и разбудило Кутю. Он со скрипом поднялся — голова наружу — ухватился за торчавший из земли корень вяза и неуклюже выкарабкался наверх. Корявыми ладонями поерзал по складчатой, с избытком кожи морде, выскреб негнувшимся пальцем ссохшуюся дрянь в уголках глаз. Потом осмотрел себя, поколотил по штанинам, больше для порядка, выкинуть портки пора, а не пыль трясти.

Он закашлялся: наверное, простыл за ночь. Цапнул себя за сердце. Рука укололась. Слава богу, орден на месте, не потерял. Кутя прихва-

тил в горсть рукав и потер орден Славы. Старенький уже орден. Эмаль пооблупилась. Да и как ей не пооббиться... Кутя посмотрел в могилу, где ночевал. Хорошо еще шею себе не свернул. И как только угораздило. Это ж надо!

Вчера — День Победы — Кутя на правах хозяина принимал на кладбище гостей. Припылила пехота, кто смог. Лет пятнадцать они уж на кладбище встречаются. Сначала Сеню Малышева приходили навещать. Вторым Петька из мехзвода сюда переселился, а уж совсем недавно Ося Лифшиц. Так и топают Девятого мая одним маршрутом: на Красную площадь, на кладбище, а за стол уж — к полковнику на улице Алабяна. Семена-то и Петю по закону здесь схоронили, у них тут родители, а вот Осю сюда уж Кутя по благу устроил. У Оси здесь только тетка, а тетка для захоронения не годится — нужны прямые родственники. Но Петрович, золотая душа, разрешил Осю по Кутиной просьбе к тетке закопать. И даже удостоверение на Осю выписал. Теперь и к Оське можно ложить. Пока урны, а через пятнадцать лет и гроба. Да у него, у Оськи, слава богу, никто пока умирать не намеряется. Жена, дети в здравии, и внуков полон дом.

Вот они, пехтура, и бродили от одного дружка к другому. И там и сям выпивали помалу, только для памяти. Как уж он, Кутя, за меру свою перебрался вчера, поди знай.

Раньше ребят в родительский день навещали. Пока Ося был жив. А уж Ося помер — решили на День Победы встречу перевести. Тем более что и Сеня, и Петя, и Ося — члены партии.

С кладбища должны были поехать к полковнику, да вот могила подвела. Кутя с огорчением оглянулся на могилу. Ребята, наверное, искали по всему кладбищу, да разве вино перекричишь.

Кутя ковырнул присохшую к ордену грязь. Глина. И эмаль отколупнулась. А Оська-то чего выделял под конец войны! В Судетах вроде? Или не в Судетах?.. А-а, когда пленных веди. Точно. Коров бесхозных насобирает и за телегой привяжет. Как какого-нибудь немчонку заметит замызганного, одну скотину отвяжет и немчонку веревку сунет. Гей нах мутер. Веди, мол, корову домой к матери. Так и дарил коров. А ведь еврей. И в семье у него все евреи.

Хорошо, хоть после войны вы, ребята, перемерли... Хоть пожили чуток... Спи спокойно, Осенька. И ты, Сеня. И ты, Петя. Светлая вам память, земля пухом. Кутя помахал перед грудью рукой, вроде крестится. Так, чтобы и не очень, и в то же время...

У свеженасыпанного холмика возле лавочки стояли двое мужчин: старик и парень лет под сорок. Они разглядывали его с удивлением.

— Ваша, что ль? — Кутя кивнул на могилу, из которой только что вылез. — Хозяева?

— Наша. Вот решили пораньше прийти, вдруг техник-смотритель забыл распорядиться или место спутал.

— Техник — это дома, в жэке вашей, а здесь — смотритель, смотритель кладбища. А чего вам беспокоиться? Раз договорились, могилку показали, значит, все. У нас в заводе такого нет, чтоб забыть. Нам за это зарплату ложат. Когда хороните?

— Сегодня, в двенадцать, после отпевания.

— Ну да, в двенадцать!.. Хорошо — к обеду отпоют, а то и до трех заканителям. Смотря кто отпевать будет. У них тоже специалисты по своей специальности, неодинаково... Сколько сейчас?

— Часов семь,— пожилой запутался в рукаве над часами,— четверть восьмого.

— Ну вот, а ты говоришь. Шли бы домой... Погоревали бы еще, а уж часикам к двум, ну, к часу, пришли бы. И на помин хорошо бы... ребятакам...

— А может, сейчас?.. Я тут взял немного на всякий случай,— молодой раскрыл портфель и достал оттуда коньячную фляжку с прозрачной жидкостью.— Спирт вот, яблоки... Стакана нет...

— Это найдем.— Кутя пошарил взглядом по веткам — стаканы часто на сучки вешают после употребления,— но не обнаружил.— Придумаем сейчас, айн момент!

Кутя перегнулся через соседнюю ограду, чуть не завалив деревянный заборчик, прогнивший у вкопанных столбиков; дотянулся до поллитровой банки с увядшими нарциссами и, крякнув, распрямился с банкой в руках. Затем вынул из банки цветы — кинул на могилу.

— Самый аккурат! Минуточку обгодите — водички наберу. Я мигом!

Быстрым ходом он добежал до водопроводного крана на углу седьмого участка и пустил воду. Постоял, пока сойдет теплая, подставил под несильную струю банку, сполоснул для гигиены, набрал воды. В самый раз — на четверть, до зеленой кромки от цветочной мути.

Так же, прытью, вернулся назад. Неуверенной, подпрыгивающей рукой взял фляжку, долил в банку до половины и прикрыл ладонью:

— Для реакции — лучше...

Спирт слоился гибкими прозрачными волнами, перемешиваясь с водой.

Наконец решив, что хватит, Кутя резко выдохнул, крутанул банку и опрокинул ее в распахнутую пасть. Потряс пустую банку, судорожно вздрогнул, поморгал немного и, блаженно зажмурившись, выдохнул:

— Прямо в организм. Как врачи велят. Где, говоришь, яблочко-то?

Кутя догрыз яблоко, два оставшихся положил в карман. Перегнулся снова к соседней могиле, вдавил пустую банку в холм, собрал в нее раскиданные нарциссы, попрощался и направился наверх к часовне.

— А не коротковата?.. У нас гроб-то длинный, метр девяносто! — крикнул ему вслед пожилой.

Кутя обернулся и пошел обратно: специалисты!

— Короткая? — Он усмехнулся.— Да сюда двоих запихать — и еще останется. Подбой-то видели?.. Посмотри, посмотри!.. На! — передразнил он молодого, заглянувшего в подбой.— Тут все по науке. Место широкое, открытое... В другой раз велят копать, а копать-то некуда: ограды со всех сторон или дерево мешает. Бывает и вовсе завал. Вы, положим, ходите редко, а с боков — попрониристей народ, понаглее: для своих могилоч больше места оттяпать хотят. Они на вашу могилку втихую влезут, ограду поставят, а там, глядишь, и памятник. А вот вы своего упрятать, ну, захоронить в смысле, хотите, а хоронить места нет.

Хорошо — ограда, ее и снять недолго, а если памятник, да ростом с тебя?.. У него фундамент один... Считай, на метр раствором залит, поколоти-ка его, я посмотрю!.. А хоронить надо, куда его денешь, покойника. Получается: право — есть, а места нет. Тогда чего делают? Колом опускают. Окно только метр на метр открывают и, как колодец, копают, и подбой больше выбираешь. Гроб перевязывают в головах; врастяжку по два с каждой стороны держат, а ноги только слегка в яму заправляешь; и так, отвесом, почти вот встоячку, засовываешь.

Пожилой заморщился.

— А ты не жмурься, работа такая, не в конторе бумажки ворошишь. Своя механика. А чего делать, не на другое же кладбище. Семью разбивать... Здесь вместе и лежат пускай, рядышком. И навещать всех разом, и недалеко, все ж центр... Такие дела.

...У часовни было пусто. Да и кого в такую рань принесет — восьми нет. Кутя посидел чуток на гранитном оковалке, невесть как оказавшемся у часовни. Кому он только понадобился: без полировки и формы никакой... А ведь кто-то пер приспособить куда-нибудь. Кутя полез за куревом, наткнулся на яблоки и подумал, что неплохо бы сейчас пивка.

Он, покряхтывая, поднялся с холодного камня и двинул к воротам.

У трафаретной пригревалась на солнышке неистребленная псиная братия. Завидев Кутю, псы оживились. У них с Кутей был особый контакт. Перед пасхой, когда кошкодавы из дезинфекции понаехали и проволочными петлями в момент всех выловили, он вымолил у них двоих, самых любимых: Блоху и Драного.

Бутылку отдал (у Молчка выклянчил) и пятерку, что за яму получил. Все денное наработанное.

С того раза месяц прошел, а уж песья опять набежало — откуда только! Опять посетители жалобы пишут. Опять кошкодавы пригудят. Паразиты!

Кутя зашел в трафаретную, порыскал глазами, сгреб в газету кильки и черствый хлеб. Кинул собакам. Те завозились. Дранный, конечно, к себе все стянуть норовит. Ясное дело, посильнее других и попровористей. А сбёку так и не зарос.

Это Воробей с Дранным зимой пошутил. Сам потом рассказывал.

Глядит, утром трясется пес у дверей в котельную.

Воробей котел завел слегка и посадил кобеля внутрь на колосники. Дранный прям как прижился. Воробей дверку прикрыл и ногой держит. А сам в поддувале ворошит. Занялось в котле покрепче, пес завозился, не нравится. Воробей еще... Пес заорал и забился в дверку. Пес орет, а Воробью хохотно. Потом выпустил.

Бедолага как припустил из котельной да в снег... Зашипел в снегу и потух. Теперь — Дранный.

Кутя слова тогда не сказал Воробью, но от самогона воробьевского отказался. Правда, раз. Потом пил, уж больно хорошо гнал Воробей: через уголь и с марганцовкой.

...Псы подлизывали пустой асфальт. Кутя отдыхал глазом на собачье.

— Чего, дармоглоты?.. Постричь вас, что ли?.. Под полубокс... Чего-нибудь вам надо, для красоты... Погодь, погодь...

Он сунул руку за прислоненный к стене огромный треснувший кронштейн и вытянул оттуда охапку пожухлых венков.

Венками торговали и в тупике перед входом на кладбище.

На проволочное кольцо прицепляются бумажные цветы и окунаются в расплавленный стеарин. Подсох — готово.

Милиция гоняла веночниц, но справиться не могла, все равно торговали.

Воробей с Мишкой при случае обрывали старые венки с крестов. Без лишних глаз старались — заметят посетители, пойдут в контору вонять. А у Петровича закон один: жалуются — по делу, не по делу — прокол; а раз прокол — месяц без халтуры. А не дай бог заметит — хитришь, халтуришь, враз заявление твое подпишет. Это он с полгода как придумал, когда ему в тресте по мозгам за грязь на кладбище дали. Так чего придумал? Велел всем написать заявление об увольнении по собственному желанию, с подписью, но без даты. Теперь, говорит, чуть что — сам дату ставлю и вали с кладбища. На завод или там еще куда. Это ведь надо, чего придумал. И Носенке хвастался: у меня, мол, на кладбище по струнке.

Вот и старались венки обдирать потихоньку. Обдерут и в печь. Лучшей растопки не придумаешь.

Кутя разобрал венки, разнял, выправил их, шагнул к псам.

— Дранный, давай башку! Марафет наведу.

Пес затряс головой.

— Стоять!

Пес замер. Кутя примерил венки. Великоват. Снял, положил на камень и разобрал проволоку топором. Свел концы и закрутил, стало поуже. Снова примерил. Другое дело!

Так же обрядил и Блоху. Псы порычали, покрутили головами и ничего — смирились.

Мимо прошла Райка. Заметила разряженных псов, прыснула.

— Раиса Сергеевна! Парад, скажи?

— Влетит тебе от Петровича за этот парад!

— А я чего, в кабинет к нему поведу? Я на Тухлянку сейчас. Соньку позабавлю — пивка даст. Как вышло-то, а? — Кутя с умилением пялился на свою работу. — Райка, а ты чего рано? Муж не греет?

— Заказы не оформила. Петрович вчера ругался. А ты уж подзалил, гляжу, Куть?

— Дура ты, Раиса Сергеевна. Красоту навел животным, а ты «подзалил». Не понимаешь ни хрена... Балерины, за мной!

По ту сторону проспекта, у железнодорожной линии, много лет возвращала с того — похмельного — света спасительная Тухлянка: стеклянная пивная с длинноногими круглыми, тесно расставленными столами.

Кутя не пошел к подземному переходу. Переход для пешеходов-бездельников, а у него — дело: поправиться внахлестку к спиртяшке

утренней и — за работу. Захоронений сегодня мало, всего пять, зато мусора после праздника опять на его участке, возить — не перевозить.

Петрович последний раз сердито предупредил: «Всем мусор возить. Халтурить — только когда участок под метлу». Комиссия из треста все мерещится. Вот и петушится. И главное дело, жечь запретил. Обычно то как: кучу нагреб да подпалил. А недавно Кутя не заметил с похмела да и поджег мусор возле «лебеда» — памятника из белого мрамора, — закоптил его напрочь. Ни мылом, ни шкуркой не взялось. Родственники хай подняли. Теперь жечь нельзя — на свалку возить. А на свалку хрен проедешь — тележка по уши увязнет.

Худого слова не говоря, по злобе ему Петрович такой участок назначил. За прогулы. И на том спасибо — не выгнал. Молодой еще Петрович, и тридцати нет, а человек. По Головинке его Кутя еще помнил, совсем пацаном Петрович был, а могилы колотил, что твой дятел. С гаврилой не хуже Воробья управлялся.

...Кутя брел, руки в карманы, через проспект, не слыша машин, бог даст, не раздавят. Тормоза только и визжат, да шоферня матерится одинаково.

На том тротуаре Кутю спокойно ждал затянутый в белый ремень, солидный (на проспекте сямку не поставят) лейтенант.

— Гуляем? — Милиционер приложил руку к фуражке. — Документы.

— Какие документы, милоч? До пивка бы добратсья. — Кутя махнул рукой в сторону заманчивой Тухлянки. — А ты «документы»...

— Так... Штраф будем платить? Или сразу в сто двадцатое?

— Сезон разойдется, я тебе сто штрафов заплачу, а сейчас на похмелку нет. Вот, думаю, может, ребят кого встречу, угостят.

— А маскарад зачем? — Милиционер ткнул пальцем в притихших возле Кути псов.

— Животные!.. Чего с них взять?

— Я не про животных... Гирляндов-то кто навесил? Ты?

— С похмела чего не учудишь? Да и повеселее.

— Повеселее... — милиционер фыркнул. — Ладно, иди... Еще увидь, в отделении поговорим... И банты с них снять.

— Ага, все путем сделаем. Чего выпялились? Собачье... В легавку захотели? — Кутя скомандовал, и компания двинулась дальше, к пиву.

Соньку удалось уломать: две кружки дала в кредит. Мало того, псам швырнула колбасных обрезков — развеселилась баба.

Кутя обтер ладонью рот, спустился с насыпи и прилег под кустиком — кепку на глаза. Собаки повозились малость и улеглись неподалеку, на солнышке.

Кепка сползла — закрыла воздух. Кутя заворочался и проснулся.

— Эй! Мил человек! — крикнул он путевому рабочему. — Время скажи, будь любезен!

— Полчетвертого!

Кутя присвистнул. Собаки удивленно подняли головы.

— Трудодень проспал. А все из-за вас, паразитов. Пивка им, пивка. Вот тебе и пивко.

Теперь уж и на службу поздно. Теперь только к Воробью узнать, какой будет приговор.

Кутя встряхнулся и с насыпи побежал под мост к станции. Возле кладбища остановился, отогнал камнями собак. Подходила электричка.

В воробьевской комнате хлопотала Ирка, Валькина подруга. Стол был накрыт, в центре стоял графин с самогоном и «Буратино».

— А Воробей?..— Ирка выжидательно уставилась на Кутю.

— Не шебушисьь...— заспешил тот.— Я с ним не ходил. На службе я был. Пивка выпил, вздремнул. Время-то который?

— Пять.

— Ну что ж... Там разговоры долгие. То-се, пятое-десятое... Самогон с Лобни? Плеснула бы пока... Валентина-то где?

— Ишь ты, плесни ему! — Ирка отодвинула самогон на дальний угол стола.— Валька встречать его пошла, к автобусу.

Кутя вздохнул — выпить не обломится — и отсел на диван, подалше от желтого графина.

— Васька-то пишет, не знаешь? — спросил он для разговора.

— Пишет...— Ирка вздохнула.— Долго ему еще писать...

— Да-а-а,— согласился Кутя,— помиловки ему не видать, от звонка до звонка... Воробья-то он все ж почти до смерти достал, хорошо, башка крепкая. Другой бы враз отчалил...

— А хоть бы и совсем его пришиб, сволочь глухую! — Ирка выкрикнула и вся сжалась, косанула глазом на Кутю: не заложит?

— Да не жмись ты! Мне это не касается...— Кутя махнул рукой и добавил: — Налила бы, а?

Ирка поджала губы, но графин взяла, налила полстакана.

— Ирка, а чего ты на него такая злая? На Воробья?

— А то, что Васька со мной расписаться хотел! Заявление уже подали!

— Э-э...— понимающе протянул Кутя,— тогда другой расклад. Тогда конечно...

Он прошелся по комнате, подошел к детской кроватке, где в грязных мятых пеленках сидел сын Воробья Витя. Ребенок молча сосал ногу плюшевого слоника. Кутя помахал пальцем перед ним.

— Не обращает...

— Чего?

— Не обращает, говорю. Я ему козу, а он и не смотрит.

Ирка махнула рукой:

— Недоделанный он у них: и орать не орет, и глаза косые... Недотыканный.

Ирка ушла на кухню.

— От сивухи, может? — вслух подумал Кутя, оглянулся на дверь: мигом приложился к графину и сел на диван.— Васька-то пишет? — спросил он и ковырнул мозоль.

— Ты уж спрашивал. Пишет. Мне...

— Еще б он Воробью писал!.. Сперва топором, а потом письма писать?..

— Знаешь, Куть,— Ирка присела рядом.— Только никому! —

Она доверительно погрозила пальцем.— Никому, слышь! Алешка ему три посылки отправил: к Новому году, на день рождения и на майские недавно.

— Ну, дают! — Кутя бросил мозоль.— Хлестались, как вражье зачатое, один другому чердак развалил! Дают, братовья!.. А с другой стороны... — Кутя пожал плечами и оглядел комнату в чистых обоях, шкаф с посудой, высокий холодильник.— С другой стороны, Васька ему топором жизнь выправил. Что Воробей до больницы знал? Водяру рукавом занюхивал. Да эту, Валентину свою, поил. Ты дома у него была тогда? А-а... А я часто, с бабой своей как поругаюсь — и к нему. Кровать у него тогда стояла, не такая, железная, стол да две табуретки. А ты говоришь. Без водки человеком стал, только что глухой. Может, и к лучшему: психовать меньше будет.

— Чего ж он не едет?

III

Воробей вышел из прокуратуры. Дрожащими руками сунул сигарету в рот, затянулся... И еще, еще... И только когда все нутро заполнилось ядовитым, режущим дымом, опомнился: не тем концом сигарету закурил — фильтром. Он отдышался, вытер глаза. Пройдет!.. В шесть секунд!.. Главное,— там обошлось. И характеристику прочел, и ходатайство из треста. В суд передали, но обещали, что обойдется или дадут условно. Только чтоб документы все на суде были. Хорошо, если не сидеть. С такой башкой много не насидишь — до первой драки.

Воробей с удивлением смотрел по сторонам: район вроде тот же, а что-то не так. Он щурил глаза и озирался, как приезжий. Потом пошел... Теперь пахать и пахать, и все будет путем. Через год пластинку вставлю, может, слух проявится, а и не проявится — обойдусь. Воробей шел и шел, не думая, куда идет. Очнулся он в магазине, в винном отделе. Тупо уставившись в бутылки на прилавке, он засосал носом воздух и, сдавленно зарывчав, одним прыжком вылетел из магазина. Еще чуток, и хлестнул бы он из горла. От подступившей вдруг боли Воробей закусил губу и, потрясываясь, заныл. Только бы не началось, только бы не началось...

Он стоял у троллейбусной остановки, упершись головой в стеклянную панель. Ждал, когда отпустит. Подошел троллейбус. Пустой. Воробей плюхнулся на свободное место. Так и ехал — голова на спинке переднего сиденья. На конечной Воробей чувствовал себя уже вполне. Ладно, главное — не посадят!.. Домой вот неохота... Утром Вальке нос разбил. Чудной у него все-таки характер, бестолковый: тройка просила на опохмелку, не дал, да еще бубен выписал, а потом сам Ирке сказал — у них ночевала,— где самогон спрятан, чтоб налила ей чуток... Да... Может, к Мишке поехать?.. Говорил, стережет сегодня свой музей. Переулок еще смешной. Вшивый Вражек?.. Сивый Вражек?..

Переулок оказался рядом с метро. Сивцев Вражек. И музей рядом. Здание, правда, не бог весть. Воробей представлял себе музей — вроде дворца. Как Музей Красной Армии. А этот — невидный, двухэтажный...

Чугунные ворота были раскрыты. Воробей вошел во двор и, в нерешительности потоптавшись у двери, нажал кнопку.

— Здорово, могильщик хренов! — гаркнул он при виде Мишкиного изумления. — Дай, думаю, сюрприз устрой.

— Ну как?

— Обещались не посадить. А там кто знает...

Он вошел в вестибюль и оробел: наборный паркет, картины... Больше всего Воробья поразил рояль. Роялей живых он не видел, только у Петровича — пианино.

— Работает? — он кивнул на рояль. Подошел, осторожно ступая по паркету, поднял крышку, потрогал клавиши...

Над роялем висела панорама старого города.

— Это чего?

— Москва, не узнаешь?

Воробей прищурился.

— Очки, зараза, надо... А-а... точно! Москва-река! А Лианозово где?

— Какое еще Лианозово! Это же двести лет назад.

— Точно! — кивнул Воробей. — Кольцевой-то еще не было... А там что? — он кивнул на опечатанную дверь.

— Экспозиция, — ответил Мишка.

— Чего?

— Комнаты его!

— Кого?

— Как кого, Герцена.

Воробей с уважением посмотрел на дверь, подергал за бронзовую ручку:

— А ключа нету? Взглянуть бы...

Мишка полез в стол за ключом.

— Слышь, Миш, он сам-то нерусский, фамилие чудное?

— Русский. Там какая-то история вышла с родителями, я подробности забыл, — сказал Мишка, открывая дверь.

— Да какого ж ты!.. — возмутился Воробей. — Стережешь, а кого стережешь — без понятия!

Особо Воробья ничего не заинтересовало, только вот канapéи гусиные перья. На канapéе он попытался примастыриться, но потом сообразил, что не для лежки оно — для красоты, а может, на него ноги клали.

— Квартира хорошая, — сказал он, пройдя по всем комнатам. — Своей семьей жили? И дети с ним?

— Наверное, — неопределенно пожал плечами Мишка. — А где им еще?

— А я думаю — поодаль где. С нянькой. Здесь-то всю мебель попортят.

Воробей встал и еще раз прошелся по вестибюлю, рассматривая картины на стенах. Особенно долго — похороны Герцена во Франции. Ночью. С факелами.

— Слышь, — обернулся он к Мишке. — Вот эту — с захоронением — сразу рисовали или после по памяти?

— Ночью красок не видно. А потом: они же двигаются, не позируют специально.

— Если уж такой знаменитый, могли бы чуток и постоять. Пока он их намечет для затравки... Карандашиком.

Сел к столу, притянул к себе книгу отзывов.

— Слышь, Миш, нам тоже такую надо у себя. Выражаем благодарность научному сотруднику кладбища Воробейу Алексею Сергеевичу за добросовестное захоронение нашей... тещи, а?

Мишка заржал, Воробей тоже было намерился похохотать, но вовремя вспомнил, что нельзя из-за головы. Он встал, взял портфель;

— Двигать надо. Валька небось уж бесится.

IV

Воробей стряхнул с табуретки мусор, вытер ладони о робу и присел к столу. Взял высохший трафарет. Очиненным черенком кисточки разбил на три полосы: для фамилии — пошире, для имя-отчества — ниже, поуже, а внизу — для когда родился, умер.

Фамилия попалась как специально: Жмур, Михаил Терентьевич. Воробей хмыкнул. На кладбище чего-чего, а этого добра — посмеяться — хватает: Пильдон, Улезло, Молокосус, Бабах...

Воробей клюнул кисточкой в баночку с краской, выжал лишнее о горлышко банки, opravил волоски.

Писать начал, как всегда, с середины — для симметрии: «ЖМ» в одну сторону, «УР» — в другую. «ЖМУР» хорошо лег на сухой, теплый от котла трафарет. Буквы получились широкие, разлапистые. Короткая фамилия всегда лучше: не жмешься, что писать некуда, — хоть на другую сторону залезай. Один раз так и сделал: на обороте дописывал — не рассчитал, а переделывать настроения не было. Тетка-заказчица все удивлялась: понятно ли будет. Будет, еще как будет — и всучил ей хитрый трафарет. Обычно трафаретов на складе не было, а в бюро за ними — машину гонять — целая история. Обходились.

Собирали старые трафареты из мусора, на худой конец с бесхозов дергали. Бесфамильные от дождя, снега и времени. Сваливали их за котлом — пусть сохнут. Ребята с часовни заносили, подберут где — и занесут. Знали, что дефицит.

Высохшие трафареты Воробей с Мишкой жирно красили тусклой серебрянкой и снова клали сушить — теперь уж на котел. Через день-два трафарет шел в работу.

Положено: захоронили — и трафаретник готовый в холмик: фамилия, имя, отчество, года, чтоб не путались родственники без привычки и не прихорашивали чужую могилу, — и такое бывало. А плата за него, за трафарет, в оплату могильную входит. Там все учтено. Да толку-то, что учтено. Отродясь никто не писал их загодя. На других кладбищах — открытых, серьезных — писали, а здесь нет. Загодя писать — на окладе сидеть будешь, на пиво не заработаешь, не то что...

Хитрили: вылавливали возвращавшихся после захоронения заплаканных родственников и безразлично напоминали про трафарет... Родственники покорно плелись в трафаретную.

Один из них — Воробей или Мишка — показывал на другого: «Вот, с художником говорите». Художник нехотя — «уж так и быть» — соглашался сделать к завтраму. «Что ж вовремя не заказали, сейчас даже и не знаю, смогу ли: работы много».

Благодарили по-разному: от полтинника до червонца. Однажды золотозубая, в каракуле, ассирийка дала Мишке четвертак: «Выпей, парень... Помяни... Какой айсор был!..» Воробей, восемь лет лопативший могилы, глазам не поверил.

Этой зимой он попытался усовершенствовать систему: вылавливать клиентов у кладбищенских ворот или у церкви до захоронения. Задумать-то задумал, да против кладбищенских правил, что и дало вскорости себя знать. Часовня скопом приперлась в трафаретную выяснять отношения. Выяснили по-хорошему: до захоронения — атас, сначала мы клиентов трясем, потом вы трафареты ловите. И чтоб в последний раз. Ребята обижаются. Ссориться нам, Воробей, с тобой ни к чему. И своему... студенту скажи, чтоб больше не лез...

Воробей окрысился, но больше для вида — бесстрашие заявить. А какое там, к матери, бесстрашие, когда над правым ухом впадина кожаная, без кости, в два пальца... И слуха нет. Подойди сзади и пальчиком щелкни... Спереди, правда, не стоит...

...— С ним рассчитывайся, он бригадир.— Воробей показал на Мишку.

Женщина протянула трешку:

— Хватит?

— Вполне,— ответил Мишка и сунул бумажку в карман.

— До свидания,— женщина взяла свежий трафарет и вышла из котельной.

Мишка вышел следом — ловить клиентов.

Никого не было. Сытые голуби у церкви лениво поклевывали пшено и теребили хлебные крошки.

Яковлевна прихорашивала могилу молодого подполковника милиции, улыбавшегося с полированного высокого черного памятника.

— Анна Яковлевна, чего с ним случилось? Молодой...— Мишка вычел рождение из смерти.— Тридцать восемь, совсем молодой. Ребята говорят: застрелили...

— А то они знают! Выступал на собрании, поговорил, сел и помер. Сердце... Так, сижа, и помер.

— А вам сколько лет, Анна Яковлевна?

— Мне, Мишенька, восемьдесят два в июне будет, если доживу. Уж больно на ноги тяжело ходить стала. Пять могил своих даже Розке отдала, на девятнадцатом у забора. Далеко ходить.

— Да хватит вам работать, поотдыхайте...

— Это что ж, на пенсию? Дома сидеть? Да я скорее помру без работы. А здесь благодать: природа...

Яковлевна вздохнула, веником обила памятник сверху, смела сор с полированного цветника, посыпала песком у оградной калитки. Она собрала инструмент — лопату, веник, метлу, ведро с песком — и двинулась дальше по своему многолетнему маршруту, к уборочным могилам.

К воротам кладбища подкатил катафалк. Из него вышла группа пожилых людей. Высокий старик крикнул:

— Молодой человек! Не поможете?!

Мишка подошел. Вдвоем с шофером они вытянули из машины гроб и занесли в церковь. Старик сунул Мишке два рубля.

В церковь занести можно, если хозяева просят, а вот из церкви ни-ни: тут уж часовня управляется. И хозяева хоть оборись — никто с хоздвора за гроб не возьмется. Все по закону.

Мишка постоял, обошел от безделья церковь, заглянул в контору. Клиентуры не было. У батареи томился Ваня — дежурный милиционер, на боку у него висела пустая сплюснутая кобура, а в окошке позевывала косая Райка, приемщица. Увидев Мишку, она подалась вперед и, глядя не на Мишку, а на Ваню, попросила:

— Миш, все равно без дела, груши околачиваешь. Сбегал бы в «самбери». Яковлевна говорит, колбасу ливерную выбросили. Взял бы кило... Сбегаешь?

— И мне что-нибудь пожевать, — отлип от окна Ваня. — Утром стакан чаю выпил. А жрать — не лезет. Бултыхается, как в помойной яме. Вчера сестра с мужем приезжала...

— Денежку гоните, дорогие граждане! У меня голяк.

— Знаем мы твой «голяк», — засмеялась Райка. — С Воробьем небось лучше всех живете.

— Живет — клиентура, — с расстановкой серьезным голосом сказал Мишка. — А мы с товарищем Воробьевым — работаем.

— Погода хорошая, вот она и живет, — с некоторым опозданием отреагировал на «клиентуру» Ваня и полез за деньгами.

До обеда Воробей развез все цветники, распустил очередь. Мишку отловил Петрович, послал мусор грузить на центральную аллею.

Воробей сидел в сарае, заложив дверь на крючок, пересчитывал деньги, раскладывая их по старшинству. Потом разделил: себе и Мишке. Сам ли работал, оба — раскрой один: мелочевка — в котел — на обустройство (гранит, мрамор, цемент, инструмент), остальные на три части. Две себе, одну Мишке. Пускай он теперь и не «негр» (Петрович на той неделе его в штат взял), а все равно до могильщика настоящего ему сто лет дерьмом плыть. Тем более: и мрамор, и гранит, который они сейчас работают, его, Воробья. Значит, и бабки не поровну.

Воробей сунул Мишкину долю под кронштейн, как заведено. Сунул и провел ладонью по прохладной сливочной поверхности мрамора, по гравированной «брусом», внутри, надписи, выложенной щедро, без экономии, сусальным золотом:

ВОРОБЬЕВА ЕВДОКИЯ АНТОНОВНА

5.2.21—26.8.59

СПИ СПОКОЙНО, МИЛАЯ МАМА

от родных и сыновей

Обвел пальцем окно под керамическую фотографию, веточку, крестик... «Сука гребанная» — об отце, избившем доходящую от рака

мать так, что перед соседками, обмывавшими через неделю тело, стыдно до сих пор: сплошняком синяки...

Воробей всхлипнул то ли от воспоминаний, то ли от непроходящего еще со Средней Азии насморка.

Была б жива, в золото одел бы, кормил бы из рук... Эх, мама! Умерла ты, какую же гадину он приволок! Фотку твою снять заставила... Нас с Васьком травила... Васька посмирней, терпел, а я деру дал... Сперва по садам околачивался — садов-то тогда полно было... Поймали раз, поймали два... Отец, сука, сам просил, чтоб в колонию. Она, тварь, присоветовала. Кому сказать, не поверят: варенье со стеклом слала — гостинчик!..

Воробей сопанул носом.

...Говорят, приметы не сбываются. Мишка, вон, болтает, бога нет. Знает он много, соплесос образованный... А Татарин, выходит, само собой убрался. Два года назад.

...Тогда в домино заспорили, Татарин бутылкой сзади его, Воробья, и вырубил в часовне и топтал со своими, всей хеврой навалились, сколько их тогда с Мазутки пришло? Человек пять...

В больницу Воробей себя везти не дал — домой велел, неделю лежал, до уборной дойти не мог: в банку все... И портрет мамин молодой над кроватью просил мокрыми глазами; помоги, мамочка, сделай Татарину...

Через три недели — а то ишь, бога нет! — тетя Маруся, что у церкви подметает, мать Татарина, хоронила забитый гроб с измятой головой сына, — остального не было, разобрали Татарина товарищи по лагерю: зацепился с ними когда-то. Вспомнили. А все — мама...

На поминках — тетя Маруся хорошо выставила — Воробей вдруг испугался своей нечаянной веры в несуществующего бога, Татарину потом почти за бесплатно памятник маленький из лабрадора сделал. Маленький не маленький, а рублей двести тете Марусе сберег.

Или вот еще.

В прошлом августе после Гарикова дня рождения Васька-братан убивал его ночью, пьяного, топориком рубил ржавым. До смерти хотел — три раза.

В больнице — сосед по койке потом рассказывал — врачи даже кровь добавлять не стали — жижу одну, плазма называется, лили: чего литры зря переводить? Ждали, помрет.

Хрен-то! Живой! Хоть и дышит кожа пустая над ухом... И горло еще потом проткнули прямо в койке. Рубленное-то еще путем не залечив, когда припадок случился после краснухи этой...

Так — живой же. О!

А то ишь специалисты: бога нет... Кому нет...

Воробей опять погладил мамин цветник. На днях Толик-рубила должен появиться, фотографию мамину керамическую принесет. Съездим тогда с Мишкой в Лианозово к маме, цветник фигурный отвезем, кронштейн поставим. Ой, мама, мама... Только вот сейчас, в тридцать, дошли до тебя руки. С пятьдесят девятого так и лежишь. Могилка небрибранная... А все сивуха, сволочь!

Воробей высморкался, взглянул время, вышел из сарая.

— Сынок! — наскочила на него маленькая старушонка. — Ты здешний?

— Чего тебе? — рявкнул на бабушку Воробей. — Заикой сделаешь!

— Землицы бы мне чуток... Болела я, давно не была — вся могилка заглохла. Не привезешь? Я б тебе рублик дала на водочку...

— Слушай сюда, — Воробей доверительно склонился к старухе: — Нет земли, ясно.

— А я видела — возят...

— Да не земля это, дрянь. Наскребут где-нибудь и везут! Иди гуляй лучше.

— Нет, милоч, ты чего-то мудришь... Не хочешь помочь бабушке... — покачала она головой в платочке и поплелась с хоздвора.

— Не верит, зараза, — взвился Воробей. — А врешь им — верят! Сволочи!..

— Леш! — негромко сказал подошедший с вилами на плече Мишка. — Может, привезти ей от Шурика пару ведер, у него есть за сараем. Ну, дадим ему трояк. Мы и так сегодня заработали неплохо.

Воробей неожиданно успокоился:

— Хрен с ней! Давай вези. Гляди только, чтоб наши кто не увидел, — засмеют.

Мишка привез хорошей земли, opravил холмик, помог воткнуть цветочки — разуважил бабуку.

— Сынок! Погоди, милый, — денежку-то! — бабушка заковырялась, развязывая узелок на платке. — На-ка, — она ткнула ему сухой кулачок.

— У меня руки в земле, бабуль. Сама положи, вот сюда, в карман. — Мишка приподнял локоть.

— Отвез? — спросил его Воробей в сарае.

— Рублец.

— Кидай в казну.

Мишка стряхнул с ладони грязь, полез в карман — трешка.

— А говорил, рубель? — Воробей замер.

— Да я не смотрел... Сказала, рубль...

— Чего дуру гонишь? — вдруг заорал Воробей. — Что, она в карман тебе лазила?!

— Да. Я ж говорю: руки грязные были...

— Бабушке своей расскажи, Елизавете! Воробью мозги пудрить не хрена! Ловчить начал?!

Воробья понесло. Он припомнил бутылку коньяка — презент клиента-грузина, которую Мишка по недомыслию отнес домой, «завязавший» Воробей всегда сам совал «освежающее» ему в сумку. Лицо Воробья побелело, он тяжело дышал. Даже прикрыл глаза и сжал зубы так, что губы превратились в прорезь. Видно было: старается не запсиховать из последних сил. Стал ногой кусать, рванул так яростно, что на пальце выступила кровь, а сам он дернулся и затряс рукой в воздухе.

— Чего орешь, Алеша? — раздался за дверью веселый голос Стасика.

Воробей ногой отпихнул дверь сарая:

— Притырить решил! Дали трояк, а брешет — рупы!

— Кто? Этот? — Стасик смерил Мишку нехорошим улыбающимся взглядом.— Говорил, не приваживай «негров».

— Так ведь думаешь, человек, а он — сука! Знает, что я глухой...

— А чего ты, собственно, шумишь, Алеша? — ласково и тихо сказал Стасик.— Дело-то простое: недодал «негр» монету — все! Разберемся...

Мишка почувствовал, как сразу похолодели ноги. Одно разбирательство он уже видел.

Прошлой осенью, когда неизвестный еще Мишке Воробей лежал в больнице с разрубленным черепом, кладбище разбиралось с его напарником Гариком.

Мишка тогда пахал на Гарика.

Раньше за главного был Воробей. При нем обязанности в бригаде были четко распределены. Гарик «проясняет» с клиентами и нарубает доски. Воробей руководит, ведает казной и отмазывает Гарика, если кто из кладбищенских поднимает против него хай. И при них еще один-два «негра» на подхвате: таскать цветники, мешать раствор, крошку мраморную промывать. Короче, ишачить.

Гарик навестил Воробья в больницу: увидел, не выживет, и уверенней взялся за дела. Без Воробья, а держится, как и раньше, как при Воробье: с часовой сквозь зубы цедит. А часовня и хоздвор — два разных профсоюза. Клиент ведь сразу на хоздвор сворачивает, до часовни полкладбища пилить; хоздвор всех клиентов и перехватывает. Часовне только и остается — во время захоронений прояснять. А много ль прояснишь, когда родственники не в себе. Вот и получается, что у часовни заработок меньше, чем на хоздворе.

И народ там, в часовне, наоборот, позабористее, чем на хоздворе, меньше дух раз никто и не сидел. А Гарик гребет и гребет, да еще, дурак, вслух хвалится. Да тут еще пьяная Валька притащилась у Гарика деньги требовать, Воробьеву, мол, долю. А Гарик ей: накрылся твой Воробей и доля его. А сам его кулаками прикрывался все это время: они, мол, и дохлого Воробья сто лет бояться будут. И, главное, громко изъяснял, так, чтоб слышали.

Не учел, что часовня не так Воробья боялась, как его, Гарика, не любила с его бородой, образованностью и ленивым нездешним разговором.

Накрылась его карьера. Через две недели после Воробья Гарик сам оказался у Склифосовского. И случилось это днем, в открытую, в рабочий день.

Мишка с Финном в тот день сидели в глубине хоздвора на штабеле длинных труб: Петрович менял водопровод по всему кладбищу. За свой счет, кстати, менял, иначе его б поменяли.

Финн, как обычно, был без работы, а Мишка ждал Гарика. Две мраморные доски — Гарик вчера велел — были залиты в кронштейн. Окрепший за три дня сушки цветник Мишка отшарошил прямо здесь, на хоздворе, еще до десяти, до оживления.

Гарик обещал подойти к двенадцати: полтора часа кури да Петровичу на глаза не показывайся: увидит — ткнет на мусор. А чужой мусор ворочать — хуже нет. Оттого и поглядывал Мишка на ворота

хоздвора: от Петровича прятался. Тем более Гарик давно в контору не посылал, все жметя: завтра, завтра... Из-за этого «завтра» с Борькой-йогом кипеж на весь базар подняли. Уж на что Борька с Гариком чуть не приятели, Борька тоже с хоздвора и тоже образованный, а вот сцепились. Борька его жидом обозвал: вцепился, говорит, в монету, сам жрешь, а в контору — хрен. Смотри — доиграешься...

Вот и поехал Гарик сегодня японский магнитофон Петровичу для машины доставать. Чтобы одним разом всю вину свою перед ним покрыть. Стереофонический, с колонками. На обратном пути хотел еще к Воробью в больницу заглянуть: может, помер уже.

...В полдвенадцатого со стороны железной дороги, не торопясь, на хоздвор вошел Игорь Мансурович Искандеров, Гарик. Не поворачивая головы, он кивнул Мишке с Финном, открыл сарай. Вышел оттуда переодетый, с чемоданчиком-«дипломатом». В «дипломате» он носил скарпели — инструмент для гравировки по граниту и мрамору. И молоток специальный. Под мышкой нес полированную доску белого мрамора. Нес в угол двора. Там, вместо граверной мастерской, на перевернутой вверх дном пустой бочке из-под бензина, он вырубал заказанный клиентами текст. Работа выгодная, цена за знак: на мраморе полтинник, на граните — рубль.

Крест, веточка, окно под фотографию — как 10 знаков. Залить доску в цементный кронштейн — 20 или 30 рублей, в зависимости от размеров доски.

Гарик был дотошный, рубить сам научился, обзавелся классным инструментом. Все заказы в воробьевской бригаде делал сам, на стороне ничего рубить не давал.

Гарик вдруг остановился и, не глядя на Мишку, сказал, не повышая голоса:

— Работы нет — у конторы клиентов лови. Устал, домой иди, здесь высиживать нечего.

Мишка мрачно поднялся. Финн злорадно улыбался.

Гарик расположился на бочке, надел очки, чтоб крошка в глаза не летела, и начал рубить короткими легкими очередями.

Но с хоздвора Мишка не ушел: в ворота зашло несколько незнакомых нарядных крупных парней. Впереди, в замызганной робе, весело вышагивал Шурик Раевский из часовни.

Шурик сунул Мишке жесткую куцепалую ладонь, кивнул Финну.

— Гарика не видели?

Мишка мотнул головой: там.

Компания сосредоточенно двинулась в глубь хоздвора в сторону Гарика. Через пролом в заборе на хоздвор просочилось еще несколько незнакомых парней. У этих впереди был Охапыч.

Обе компании сгрудились вокруг работающего Гарика. Отсюда, от Мишки с Финном, видно: стоят спокойно, беседуют, руками водят... Дела решают. Скорей всего, ребята эти нарядные — с проспекта; достали чего — толкать пришли, а Раевский им коммерцию клеит; показал кого побогаче.

На хоздвор зарулил Борька-йог на разбитом грузовом моторолле-

ре. В кузове на куче грязных листьев трясся Морда в бабьей искусственного меха желтой шапке. Мусорные вилы свешивались из кузова. Мотороллер проехал мимо шумящих и остановился метрах в пяти от них, возле свалки.

Чужие ребята вдруг резко задержались, замахали руками. И через несколько секунд стало ясно: Гарику выдают. Выдают серьезно и всем кагалом. Гарик что-то кричал. Типа угроз.

Борька-йог с Мордой, недоразгрузив мотороллер, спешно подались с хоздвора.

Странно, что Гарик пока держался на ногах: парням, наверное, мешала их многочисленность. Но потом они все-таки его сбили. Гарик упал и начал орать просто, без угроз. Становилось страшно даже отсюда...

— Убьют так...

— Могут... Позвать надо... — ответил Мишке Финн, не подымаясь с места.

— А-а-а!!! — тянул Гарик на одной ноте.

Один из нарядных подобрал с земли блестящую широкую железку и, нагнувшись, с длинного замаха стукнул Гарика по голове.

Гарик замолчал.

— Шпателем... — прошептал Мишка.

Нарядные успокоились и тихо стали расходиться, переговариваясь между собой.

Проходя мимо Мишки с Финном, Раевский кивнул и, добродушно улыбаясь, сказал:

— Привет, пацаны!

Над пустым двором повисла тишина.

Гарик зашевелился, тихо рыча, встал на корточки. И на корячках медленно пополз на них — на Мишку с Финном.

— «Скорую!» — неожиданно громко для своего положения взвизгнул он и ткнулся красной головой в утрамбованную щебенку (хоздвор готовили под асфальт). Из-под его головы по щебенке медленно расплзлось черное пятно...

V

...Мишка сидел в сарае на канистре с олифой. Открытая дверь поскрипывала на ветру. На грязном полу валялись скомканные деньги — трешки, пятерки: Воробей в лицо швырнул: «Бабки свои забирай, и чтобы ноги твоей!..»

Мишка, не вставая с канистры, нагнулся и подобрал с пола деньги, до которых дотянулся; встать не мог — дрожали ноги.

Затравленно оглядываясь, Мишка пошел к воротам. Навстречу шел Воробей.

— На, — Мишка протянул ему ключ от сарая.

— Чего «на»? — Воробей поморщился, отпихивая Мишкину руку. — Пошел ты!.. Ну попсиховал малость. Тем более — болезнь... И юбилей у меня завтра. За шашлыком поедешь, понял?

— Понял, — с тем же ударением пробормотал Мишка.

В среду Воробью исполнялось тридцать лет.

Во вторник Воробей со Стасиком сходили в гастроном, к Люське. Стасик Люське, директорисе, памятник для мужа делал из лабрадора, черного купеческого гранита. Директриса говорила про мужа: от сердца умер. Ясно, от сердца, да только сердце-то, наверное, от сивухи заклинило. Люська оскорбилась. Ну, не обижайся, это я так; сердце так сердце, всяко бывает. Простила директориса Стасику непочтительную версию. Потом, когда Люська познакомилась с ним поближе, вплотную, не раз признавалась вислоносому нахалосье Стасику, до чего осточертел ей бесполезный по супружеству муж-покойник. Раньше ни одну бабу не пропустит, а к сорока стало подходить — все, выдохся.

В магазине Стасик оставил Воробья возле кассы, а сам с двумя портфелями пошел, куда «Посторонним вход воспрещен», к Людмиле Филипповне, к Люське.

Через полчаса Стасик вышел. Портфели тянули к земле.

— Чего взял? — спросил Воробей на улице.

Стасик открыл портфель.

— «Посольская», — прочел Воробей. — Хорошая?

Стасик взглянул на него жалостным взглядом и не ответил. Воробей понял: хорошая.

С утра в среду Мишка поехал за шашлыком в центр и на рынок купить зелени.

Воробей в это время ставил цветники. Дождь не намечался, народу за цветниками собралось много.

Воробей брал квитанцию, отмечал на ней «Цветник установлен», расписывался и лез в сарай, где стояли плотно прижатые друг к другу цветники — бетонные рамы, внутри которых высаживались на могиле цветы.

Не так возить тяжело — он их накладывал для экономии времени сразу по три штуки на тележку, — как таскать тяжело одному среди разношерстных мешающих оград.

На открытых кладбищах, где по целине роют, установка оград вовсе запрещена, а тут все могилы в разнокалиберных оградах; некоторые еще и с пиками — для красоты. Мало кто не посидел на них. Особенно зимой, когда гроб по узкому на головах двое несут, чуть соскользнул — задом на пику. И терпи, упирайся, не товар же кидать.

За свои восемь лет при мертвых освоил Воробей цветники в одиночку ворочать и горбылей — нестандартных цветников, тяжелей обычных килограмм на тридцать, — тоже не пугался. Знал, где кантовать, где тащить волоком, а где и на шее, как хомут, пронести. После больницы, правда, на шею не вешал: попробовал как-то — сознание дернулось, чуть не грохнулся. А на голове гробы таскать, само собой, не пытался. Когда Мишка под рукой — легче, сочувствует, больше сам ворочает; а если один — приходится...

Установка цветников шла резво, заказы попадались все на близких участках — возить недалеко.

Потел Воробей, но скоростей не сбавлял, только клиентов перед собой подгонял: «Передом идите, показывайте!» — и пер перегружен-

ную тележку, по оси увязавшую в непросохших дорожках. «Мамаша, шустрой давай, потом отдышишься, очередь видала...» Клиенты поспешали. Домчавшись до нужной могилы, Воробей привычными ударами лопаты сносил до необходимого размера холм, шлепал сверху цветник, подбивал под него землю, шуровал лопатой внутрь — ровнял землю под цветы. «Готово!» Клиент стыдливо тыкал ему нагретые в кулаке деньги. Воробей, не глядя, совал их в карман: «Спасибо». И гнал дальше. Когда не давали ничего — сам не просил, чуть постояв, увозил свою таратайку без «спасибо».

Не забывал Воробей и о земле незначай напомнить: «Сюда черно-зему — неплохо, на глине-то что вырастет. Глина, да еще света от деревьев мало». Клиент беспокоивался: «Вы думаете, надо?» «Глядите, дело ваше, мне — что...»

Как правило, действовало. «А есть на кладбище земля?..» — «Найти можно, если поискать... Кому есть, кому нет. Мы для себя из Загорска возим, смесь огородная — навоз там... торф. Сюда ведер пять зайдет. Ведро — рубель».

«Огородная смесь» разила наповал.

Уловив согласие, Воробей скидывал с тележки неразвезенные цветники; очередникам бросал: «Ждите» и катил тележку за смесью. Брал в сарае корыто и, набитое доверху, доставлял заказчику: «Шесть ведер» — и высыпал землю в цветник.

«Смесь», как и «эфиопский» мрамор, придумал Гарик. «Смесь» была везде: на могилах, под деревьями, под ногами. Обычная по составу и цвету земля.

...Наконец Воробей заволок на хоздвор пустую тележку.

— Все! Обед!

Очередь загалдела.

Воробей примкнул тележку цепью к сараю и, стянув робу, пошел под кран мыться.

— Сказано, обед. После часа приходите.

Он вернулся в сарай и закрылся изнутри.

Народ потоптался у двери, потом стихло. Воробей достал из портфеля кефир и выпил из горлышка, наедаться не стал: через два часа праздничная жратва, чего зря харчи изводить. Закурил. Голова от возни с цветниками чуть гудела.

— Кого? — прорычал Воробей, скидывая крючок. — Ах, ты... Я думал, эти опять... Купил?

— Протекло все... — Мишка поставил тяжелую сумку на пол. — Шашлыка нигде нет, всю Москву изездил. Баранины взял... Зама-ринуюем, лучше покупного будет. Лук у нас есть, соль-перец есть.

— Сам сделаю, поди умойся, взопрел вон. Стасик знаешь чего у Люськи вчера взял? — Воробей вытащил из-под верстака «Посольскую».

— Ого! Лихо! Обалдеют мужики.

— Вот так. Пойду часок прошвырнусь, а, Миш? Тридцать лет — какого хрена!

Возле церкви звонарь дядя Леня размешивал палкой в ведре белила. Бурая олифа тяжелой струей тонула в краске.

Воробей подошел к нему, поздоровался.

— Сейчас красить придут, а белила встали,— ворчал дядя Лень.— Олиф кончился. У тебя нет?

— Пусти на колокольню, дам.

— Опять за рыбу деньги!.. Сколько раз говорено: забудь про колокольню... Без тебя олиф найду, ступай...— Старик махнул рукой.

— Ты погодь, дядя Лень. Смотри!— Воробей протянул звонарю раскрытый паспорт.— У меня сегодня тридцать лет. А олифы все равно, кроме меня, на кладбище нет.

Звонарь положил палку на ведро, взял паспорт:

— Точно, тридцать. На колокольню-то тебе зачем?

— Посмотреть. Глянуть разок сверху, а то внизу всю дорогу.

С покойниками.

— А за колокол заденешь? Или гробанешься сверху? Чего тогда?

— Да не пью я год уже! Дядя Лень!

— Пить-то не пьешь... А башка колотая... Вдруг чего сверху примерещится.

— Дя-а-а-а-дя Лень...

— Колокол не заденешь?

— Ну ты чего, дядь Лень!

— Ладно. Олиф с тебя. Пять литров.

...Вкручиваясь в колокольню, Воробей добрался до звонницы. Колокола висели у самых глаз, их было три: самый маленький в полметра. Черные болванки языков были зачалены за кольцо огромного рыма, заделанного в каменную кладку барабана.

Воробей облокотился о чугунное витиеватое ограждение в одном из проемов звонницы.

Внизу был город, кладбища не было.

По ту сторону проспекта опрокинутыми лестницами тянулись на запад железнодорожные пути, пролезая кое-где под одинокими, не собранными в составы вагонами. «Бесхозы»,— определил Воробей.

В той стороне, за телебашней, на Алтуфьевке его дом. Там и до колонии жил. Туда и после колонии вернулся. Как не хотел, а пришлось. Воспитатель в колонии Петр Сергеевич — такой старикан классный был — совсем собрался его усыновить перед самым освобождением и отцу написал по-хорошему. Но папана, сука, отказался. И чего ему, с мачехой уже не жил, привел бы другую бабу да терся с ней. Не-е-т, заупрямился, козел старый. И главное, только пришел, через неделю выселили отца, по тунеядке. А к Петру Сергеевичу назад в сыновья проситься неудобно. Остались они с Васькой, братом, вдвоем в комнате.

Воробей смотрел на нарядные от разноцветных машин улицы и вспоминал, как вернулся из колонии... Сколько ему было? Пятнадцать, шестнадцатый... Взяли с Васькой вермута, пошли в садик. Васька рассказывал, как отец с мачехой над ним эти годы мудровали. Напьются, дверь на ключ и давай хлестать... А за что? Да просто так, поглядел косо или не так ответил.

Выпили они с Васькой в садике, пошли домой.

Отец как раз макароны варил, концы из кастрюли торчали... Васька подошел и без разговоров отца в торец, а потом тубарь взял и двумя руками... Отец захрючил — вырубился. Сам-то Воробей тогда отца не бил, боялся опять загреметь. Потом, правда, делал его крепко... Когда тот с высылки из Собибки приезжал денег просить.

Сейчас-то хорошо, тридцать лет, жив, славу богу, и монета завелась. И Витька растет, так все ничего... А с Петром Сергеевичем точняк лучше было б. Мужик был!.. Как он их, шпану из колонии, на экскурсии возил!.. По Москве автобус наймет — и поехали. И чтоб хоть один сбег... А ему было бы, если б кто утек... Не по инструкции.

Воробей оглянулся и выглянул в проем напротив: ни памятников, ни крестов — сплошная шевелящаяся зелень. Обернулся назад. Машины без удержу неслись навстречу друг другу.

Телевизор куплю цветной, Вальке шубу... «Жигули» нельзя, был бы слух — другое дело... Может, дачу купить?.. А что?.. Подкопить год-другой — и можно. Валька на даче с Витькой, пить меньше будет... Яблонь посажу. Вот только бы с судом обошлось... Адвокат хоть и говорит... Да ему за разговор деньги платят.

Воробей посмотрел на часы: пора. Ребята к трем обещались всех засунуть: пять захоронений — недолго.

VI

Станислав Вербенко, Стасик, жил в раю.

Формально Стасик был такой же подсобный, как и Воробей, Борька-йог, как все, — со своим сараем на хоздворе, со своими простыми подсобными обязанностями. Соблюдавший, по мере возможности, слабую кладбищенскую дисциплину.

Но по существу Стасика на кладбище не было. Он устроил себе дугую географию.

К забору хоздвора примыкали ветхие сарайчики послевоенной постройки. Принадлежали они законным хозяевам, проживающим в недовыселенных двухэтажных, барачного типа, домах в кладбищенском тупике.

Стасик выбрал сарай покрепче — с окнами, электричеством — и пошел к хозяину договариваться. И договорился. За умеренное вознаграждение Стасик получил в пользование сухое, освещенное, теплое шестиметровое жилье с маленьким тамбуром и навесом сбоку.

Одной стеной сарай поддерживал догнивающий кладбищенский забор, в остальном же не имел с кладбищем ничего общего.

Стасик разыскал мощную, звенящую уставшими пружинами кровать, приволок ее в домик, напротив кровати соорудил топчан, раздобыл столик; навез из дома тряпья, электроплитку, утварь кухонную, приемник и с размахом зажил в рукотворном раю. Позднее он отгородился от мира глухим дощатым забором со стороны тупика и оборудовал в нем дверь.

Внешней демократичностью и гостеприимством он давно уже соз-

дал себе популярность и пресек зависть, а со временем добился, чего хотел: без серьезной нужды к нему не перлись.

В трезвом состоянии мозги его работали великолепно, не зря же он кончал мехмат и преподавал — недолго, правда, — математику в средней школе.

На кладбище он уже работал давно, беззубый частично, вислоносый, с жеванным от водки лицом. Стройный, правда, как пацан. Сидел Стасик когда-то долго, а за что, никто не знал. Сам он не трепался.

Сегодня Стасик принимал гостей. Где же еще, как не у Стасика. Воробью тридцать — не каждый день.

Воробей постучал...

Стасик открыл дверь, засмеялся, но, увидев за спиной Воробья Мишку, оборвал смех и, как всегда, лениво спросил:

— А этот здесь при чем?

— Ладно, ничего, — буркнул Воробей и полуобернулся к Мишке: — Заходи.

Стасик разводил пары. Он достал специальное, продырявленное во многих местах корыто, поставил его на кирпичи и сейчас прожигал в нем чурки: готовил угли для шашлыка.

Мишка поставил возле корыта ведро с шашлыком. Разложил на столе хлеб, зелень. Питье Воробей занес пока в домик — от соблазна.

Нагнувшись над корытом, Стасик жмурился от дыма, искоса поглядывая на Мишку.

— Алеша!.. Толкни его, Михаил! Воробей!!! Ну, как тебе тридцать, не жмет?.. Чего себе подарил?

— Телевизор цветной, — ответил Воробей. — Еще не купил, но куплю.

— Ну и правильно, — кивнул Стасик, — водяру не пьешь, баб не слышишь... Теперь только телевизор смотреть, в цветах.

...А я чего отмочил на свое тридцатилетие. — Стасик нанизывал шашлык на шампуры. — Заказал стол в «Нарве». Гостей назвал — одних баб бывших, некоторых через справочное выловил. Ребят не приглашал, с ними после гудели... Девочек назвал, не соврать, штук семнадцать. Пришли парадные, в платьицах, брюк почти не носили еще. Я их знакомлю. Все солидно: они — «очень приятно», ну, трезвые все, да и не врубились еще, по какому принципу я их сгреб. Выпили шампуня по бокальчику. Одна учительница, со мной работала, речь сказала — ну... я вам доложу!.. А на столе рыбка, салатика, фрукты в вазах — по прописям, короче. Поддали еще, еще — девки заудивлялись: а что это ты, Станислав, или Стасик, я не помню сейчас, друзей не привел? Сколько красавиц, а кавалеров нет... Я рюмочку допил, встаю, сейчас, думаю, сообщу им...

«Сообщить» Стасику не дали: постучали в забор.

Мишка покрутил пупырчатую головку замка, отворил.

— Ого! — крикнул Стасик. — Гость попер!

Компактный дворик Стасика быстро заполнялся приглашенными.

Петрович, заведующий, невысокий простолицый блондин в синем пиджаке с металлическими пуговицами, подошел к Воробью и с ува-

жительной комичностью пожал его багровую, громадную, с изгрызенными ногтями руку. Маленькая, отвыкшая от инструментов директорская лапка скрылась без остатка в мосластой клешне Воробья.

— Поздравляю тебя с днем рождения, Воробей! Здоровья тебе желаю, успехов, ну, и чтоб все остальное было нормально. Подарок тебе не покупали, сам разберешься,— Петрович достал из кармана джинсов сложенную вдвое пачечку бумажек.

Воробей, не выдержав редкой для себя торжественности, потупился:

— Спасибо.

А вчера наоборот — Воробей «поздравлял» Петровича: раз в неделю они с Мишкой «посылали» в контору. Много не много, а червончик в неделю будь любезен. А зажмешь раз-другой, и Петрович тебя зажмет: хорошему клиенту не порекомендует, с халтурой шугать начнет.

Продавищицы из цветочного магазина, Зинка с Малявочкой, тоже, кстати, Стасиковы приятельницы,— возились с огромным подарочным букетом, не находя под него сосуд. Стасик нырнул под навес, где держал лопаты, ведра, банки, побренчал там и вылез с голубым эмалированным ведром:

— Давай сюда — в вазу.

Ведро с цветами поставили в центр специально для гуляний найденного стола с пузырящейся от времени фанеровкой. Привез его небрезгливый Стасик с помойки на тележке ножками вверх; катил две троллейбусных остановки под законный смех пешеходов. Стол был удобен и для долбежки — гравировки по мрамору и граниту. Это Стасик тоже умел.

Девки из «Цветов», Райка-приемщица и Петрович с Воробьем сели за прибранный стол. Остальные — кто где.

Стасик ворошил угли в корыте. Охापыч с Кутей покуривали на бревне у забора. Кутя, как всегда по торжественным случаям, прицепил орден. Борька-йог тихо, ни к кому не обращаясь, нес неинтересную ахиною: цитировал каких-то тибетских попов и старых китайцев. Поди проверь. Рядом с ними сидел Финн. Имени у него и то путем не было, все Финном звали. Вроде живал он там. Трудился в командировке, электромонтером, что ли. Клеклый он был какой-то, мокроватенький. И глаза бутылочные.

Может, Финн трепал про Финляндию, а может, и нет: во всяком случае в выходной иногда зайдет на кладбище подпить легонько — одет под иностранца: пальто замшевое, джинсовый костюм, часы на руке с тремя головками, на другой браслетик, как у хипаря натурального, кепочка кожаная.

У Мишки на его жизнь был свой взгляд.

Приблизительно такой. В Финляндии он был. Только не монтером. А оттуда его попросили за пьянку. Специальности никакой, учиться поздно, да и нечем: под белесой потной лысинкой мозжонки сивухой расплавлены. Прослышал где-нибудь, что на кладбище кормушка хорошая, подмазал кого надо, часики пообещал или рубашечку — и

пристал к покойничкам: А тут: не тут-то было. Ни силенки, ни хватки, ни умения — ничего нет. А из ничего — ничего и получается: оградку за пятерку покрасить да скамейку сколотить — вот и вся его халтура.

А он особо и не рвется. Ходит мутный да волосики на лысине поперек гладит. И потеет нехорошо от слабости и похмелья постоянно-го. Мордочка худенькая, подбородка мало, и с того капельки падают.

Кент Непутевый, тоже под стать Финну, семенил слабыми, размагниченными ногами по дворику, мусолил свой бесконечный огарок... Настреляет сигарет, курнет раз-другой, поплюет, пригасит — опять в карман; опять захочет покурить — дернет пару раз, снова поплюет... Вечно с оплевышами таскается.

А сейчас все ждал, томился: кто б скомандовал выпить. Кроме как на халяву и не пил вовсе. Редко, когда подхалтурить ему удавалось. Нигде он не работал и на кладбище так, по привычке ошивался. Никто его из кладбищенских не гонял — потому что не опасен: клиенты от него шарахались. Сам дохленький, а морда круглая, водянистая, почти без глаз.

— Еще пару минут — и порядок, — торжественно заявил Стасик. Охapyч, сидя на бревне, похлопал себя по плечам:

— Зябко. Наколки не греют. Принять бы. У вас далеко?

— Во-во, — с трудом провернул непослушным языком Кент.

— Тащи, — скомандовал Воробей.

И Мишка принес из сарая «Посольскую».

Охapyч даже с бревна привстал от удивления:

— Это где ж такую красулю надыбали?

— Места надо знать, Витек, — победительно проговорил колдующий над корытом Стасик.

— Кого ждем? — забеспокоился Охapyч и подался к столу. — Раевский с Кисляковым подойдут. К ним клиент прибыл.

Наливали по-кладбищенски: каждый себе. Испокон веков так: на кладбище сивуха рекой течет, особенно в сезон, ноздря в ноздю никто не гоняется, всем под самый жвак хватает.

— Вы как хотите, а я себе целёй налью, не ровен час, помру завтра по утраку — так хоть отпробую. — Охapyч налил себе целый стакан и махом выпил. — Ласковая, сука!.. Извиняюсь, девки. — Охapyч выдохнул. — Из чего ее гонят, Стась?

— Тебе, Витек, не понять.

— От ней и башка небось не трещит, сколь ни пей?

Кутя обреченно махнул рукой:

— От любой трещит!

Воробей пододвинулся к заведующему:

— Петрович, ты меня на пару недель не отпустишь? Хочу на озеро съездить с Валькой. Палатку поставить, рыбку поудить. Мишка без меня повертится. Знаю, что сезон, не хмурься, не попросил бы... Из-за суда все... Как дело повернется, хрен его знает... На всякий случай...

— А участок у тебя как?

— Ты что, Воробья не знаешь?.. Все чисто.

— Ладно, зайдешь завтра в контору, поговорим.

— На Мишку оставляешь? — задумчиво спросил Стасик. — Ну гляди.

Воробей налил себе «Буратино», понюхал.

— Слышь, Петрович, год не пью и не тянет. Ты б поверил — кто сказал?.. О! Вот и я б не поверил.

За забором послышались шаги, дверь задергалась.

— Чего вы позапирались, как эти?.. Орут на весь тупик...

Мишка открыл дверь. Шурик удивился, увидев его, но ничего не сказал, лишь вопросительно взглянул на Стасика.

— Нормально все, — миролюбиво ответил Стасик на вопросительный взгляд Шурика. — Проходи, пристраивайся. А Молчок?

— Он в конторе, — объяснил Петрович.

— Ага-а! — протянул Раевский, принимая у Стасика тяжелый от мяса капающий шампур. — Это баранина?

— Ты вопросы не задавай, ты лучше Воробья поздравь по всем правилам.

— Ага-а, — снова прогнусавил Раевский, решив все-таки сперва закончить с шашлыком. Он спешно дожевал, вытер руки о робу. — Воробей... Часовня, ну, мы, в смысле, значит, поздравляем тебя... Чтоб не болел. Ну, и остальное...

Охапыч хлопал первый. Хлопали все, кроме Борьки-його, который по-прежнему бесстрастно смотрел перед собой и время от времени что-то подборматывал. Можно было бы действительно принять его за чокнутого, за йога, за папу римского, если бы не знать, как он лихо теребил клиентуру и никогда не бывал в прогаре. Да и сейчас он хоть и гнал дуру под блаженного, шашлык кушал более чем и выпивать не забывал. «Посольская» — ноль семь — на его краю пустела быстро. Хоть никто к ней и не пристраивался, у девок своя ноль семь.

Охапыч хлопал дольше всех. Наконец и он устал и махнул рукой Шурику:

— Котлы давай!

Раевский вытащил из кармана часы на браслете.

— Ну-ка? — протянул руку Стасик, рассмотрел внимательно и присвистнул. — Ну, Алеша, теперь живи — не хочу: телевизор цветной, часы японские...

Все потянулись смотреть часы, даже Борька-йог.

Охапыч, не увлеченный часами, все порывался рассказать про то, как выиграл стакан в пивной на Самотеке. Он всегда про это рассказывал.

Стакан в пивной на Самотеке он действительно выиграл интересно. В молодые годы в зоне ему оторвало на бревнотаске указательный палец, остался обрубок. В пивной Охапыч заспорил, что засунет в ноздрю палец целиком. Компания заржала. Охапыч наклонил голову, приставил обрубок к ноздре и обернулся к притихшей публике...

Охапыч рассказывал про ноздрю, а Мишка с тоской поглядел на Воробья. «Хоть бы объяснил им, сволочь, что зря визжал. Рыбу удить едет, а мне тут с ними...» В марте в трафаретную Гарик заходил. После Склифосовского не тот это был Гарик. И не в том

дело, что похудел вполтину, не в том, что бороду обстриг,— у него даже голос стал другой, тихий такой, старушечий.

Кто бил, не знаю, сказал он следователю. Но зато сказал, кто видел. И назвал Мишку с Финном.

Ну, Финна, того Раевский сразу по-свойски предупредил: «Тут ведь кладбище, могилки. Так? Так. Могилку вскопал, гробик уложил. Так? Так. А можно на два штычка поглубже под гробик земельку выбрать... Так? Так. Все ясно? А гробик потом... сверху»...

Мишке Раевский не сказал ни слова. Знал, что Финн передаст. Передал.

...Раевский, стоя, дожевывал свой шампур и направился к бревнам покурить.

— Мужики, а кто знает, чего это у «декабристов» колготятся какие-то? Рожи вроде не родственные. Похоже, нюхают. А за «декабристами» свежак — венки еще сырые. Кто копал-то?

— Так! — вдруг сказал Петрович, вставая.— Чтоб все тихо было! Нормально, спокойно. Без эксцессов. Охалыч! Без раскрутки мне, уволю! И вы все! — Петрович погрозил пальцем, застегнул пиджак и ушел.

Воробей отыскал на столе среди «Посольской» «Буратино», сковырнул крышечку.

— Охалыч, Кутя, наливайте. Кент, пристраивайся! Да не сусоль ты огарок, пальцы обожгешь! Девки, вы-то что, как целки, ломаетесь? Раиса Сергеевна! Давай! За мое здоровье! За Лешку! За Воробушка! Воробушек все чик-чирик — и без башки лѣтает!

К девяти часам гости были уже хороши.

Охалыч плакал: «За Воробья жизнь отдам!» — и рвался поцеловать. Воробей, чтоб не обидеть Охалыча, подставлялся, но осторожно, левой стороной — оберегал пробоину. Охалыч колотил кулаком по столу. Стаканы прыгали.

Малявочка решила, что домой ей сегодня не обязательно:

— Стась, не хочу домой, не прогонишь?.. — и сладко потянулась.

Стасик подскочил к ней, кавалерски подставил руку крендельком:

— Прошу, мадам!

И увел в домик. Минут через пять он вышел.

— Мужики! Все, все, завязывай!.. В часовню давайте. Жратву берите и — в часовню... — Сунул покачивающемуся Раевскому недопитые бутылки и сгреб со стола что было.— Давай, мужики, давай, у нас мертвый час!

Переполненные гости тихо выбредали.

Воробей с Мишкой ускользнули от продолжения: у Воробья заболела голова и совсем отказал слух,— значит, устал.

VII

Мишка обогнул бензоколонку и шмыгнул в пролом.

— Молодой человек! — С соседней дорожки от «декабристов» ему махал незнакомый толстый мужчина.— Можно вас на минутку?

Мишка подошел.

— Какие трудности?

— Увидел, как вы уверенно проникли на кладбище, подумал, здешний.

— Ну-ну?..

— Да, собственно... Ничего не могу понять...— Мужчина пожал плечами.— Мистика какая-то... Откуда взялась эта могила? — он ткнул пальцем в свежий холмик, заваленный цветами.

Мишка нагнулся, раздвинул цветы. Ну да, вот трафарет, он его и писал. Воробей в тот день в прокуратуру ходил. Втроем и захоранивали после обеда: он, Стасик и Раевский.

— Здесь была бесхозная могила,— продолжал мужчина.— Где она?

— Бесхозная? — насторожился Мишка.

— Дело вот в чем: я из Управления культуры. Здесь должны быть...

— Михаил! — По соседней дорожке шли Стасик с Раевским.— Тебя клиент обискался.

— Извините,— пробормотал Мишка толстому,— я не в курсе.

Когда очередь за цветниками уже подходила к концу, появился Стасик. Он вошел в сарай и прикрыл дверь.

— Ну, с кем это ты толковал у «декабристов»?

Мишка похолодел.

— Не знаю... Спросил, откуда могила свежая?..

— Угу, могила...— тише обычного проговорил Стасик.— А ты?.. Мол, не знаю, дяденька?..

— А чего? Чего случилось-то? — спросил Мишка, прекрасно понимая, что случилось.

— Ничего,— Стасик улыбнулся.— Все прекрасно. Будь здоров, дружок.

VIII

— Чего-то у тебя звонок не фурьчит? — На пороге стоял Воробей с пузатым портфелем в руках.— Здорово, могильщик хренов!..

— Леша? — Мишка растерянно смотрел на гостя.— Как разыскал?

— Забыл? На день рождение моем сам записывал. Забы-ыл! — Воробей махнул рукой.— В квартиру-то пустишь?

Воробей поелозил ногами о половики, повертел головой:

— А чего? Ничего! Однокомнатная, сколько вас здесь?

— Я да бабка. Потише, спит она... Она с дачи приехала за пенсией.

— Ага. Пускай спит, мы на кухне. Я тут привез,— он протянул портфель.— Не разбей... Самопляс... А чего... Валька спит. Дай, думаю, к Михаилу сгоняю. Взял мотор... Кастрюля есть?

Воробей высыпал из целлофана в кастрюлю потрошенных окуней, подлещиков, лавруху, перец горошком:

— Уха сейчас будет. Я и соль взял. Может, думаю, нет.

— Соль есть, картошка кончилась.

...Воробей сидел за кухонным столиком спокойный, загорелый,

даже слышать стал лучше: говорили вполголоса, а он разбирал. Рассказывал, хорошо было: солнце, лес, рыбка... Озеро переплывал туда-сюда. Врачи? А пошли они...

По тарелкам Воробей разливал уху сам. Мишке брызнул в тарелку самогона.

— Не спорь, — заметил он удивленный взгляд Мишки. — Попробуешь — скажешь. В кастрюле чего осталось — бабке покушать. Скажешь, Лешка Воробей сготовил. Ну рубай, пока жаркая, остынет — не то...

Воробей доедал уху.

— Выходит, ты — с бабкой. А родичи?

— Они в Тушино, у них тоже однокомнатная.

— А-а-а... Так ты вот чего к бабке слинял. Понятно. Бабка-то старая?.. Помрет — хата твоя.

— Да она пока не собирается. Меняться хочет, на двухкомнатную. Тогда уж, говорит, и помирать, чтоб у тебя двухкомнатная была...

— Любит, значит... А в двухкомнатной уже и поджениться можно, дети, то-се... Чайку заведи.

— Бабуля у меня хорошая, — Мишка включил газ под чайником.

— Слышь, Миш, а чего ты на кладбище сунулся, за деньгой? Мишка пожал плечами.

— В общем-то да... Шел мимо, дай зайду, а тут Гарик... А у меня время днем как раз свободное.

— Правильно сделал, — согласился Воробей. — Главное дело, не зарываться. Гарик вон допрыгался. У Гарика долго в «неграх» ходил?

— Месяца три...

— Платил как? Поджимал?

— Иногда совсем не давал.

— Этот может. Покрепче завари. Слышь, Миша, а зеленого у тебя нет?

— Есть.

— О! — Воробей обрадовался. — Самый чай. Я его в Средней Азии пил-перепил... Не рассказывал про Азию? Расскажу... Пиал-то нету? Ну хрен с ними, чашки давай. Варенье поближе.

Как отца выселили, мы с Васькой жили. Ремеслуху кончил — меня в жэк дежурным сантехником. Без денег не сидел. С утрака по подвалам пробегу — магистраль посмотрю. Ее раз в неделю положено, а я — каждое утро. Где подкрутил, где подвернул — и весь день калым сшибаю.

Потом мне в армию подошло. А я из жэка уволился, денег получил, отпускные, и ходу. В Среднюю Азию. Там без семи дней три года промотался вместо армии. Два года в Бухаре жил. Про бухарских евреев не слышал? Я лучше этих евреев людей не встречал. У одного кирпича лепил для дома. Хорошо было.

Жарко, конечно. Да у меня-то мослы ж одни, плавиться нечему; толстый, тот другой расклад: сомнется мигом. И вот смотри: тело у меня сложеньем такое или натура?.. Ведь сколько водяру жрал, а

на работу — как штык. Да хоть наших спроси: как я пил до больницы? А кого Петрович просил, случись что? Воробушка!

Да... Потом на тростнике работал. Вроде комбайна идет машина, а ты перед ней стоишь. Тростник выше головы, ухватишь, и перекручиваешь, и концы — в барабан заправляешь. Работенка — я те дам. Больше недели, ну, десяти дней, никто не выстаивал. А я там сезон отмотал. Меньше четырех сотен не выходило. И с похмела всю дорогу... Организм такой, на работу выносливый.

...Вернулся, прогудели мы с Васькой, что было. На работу надо. Мне соседка из другого подъезда говорит: иди к нам на базу мороженым торговать. Ну вот, опять смеешься. Ты слушай лучше. Работаю на базе — те же три-четыре сотни. Как? Да вот так. На базу приезжаю за товаром, учетнице четвертак кину — она мне полную тележку рожков по пятнадцать копеек накидает. Рожки и так всегда хорошо идут, а летом за ними — давиловка, ломаются все... Да я еще ору в полную пасть... У Савеловского стоял. Поначалу неудобно: знакомые...

А вот еще!.. Интересный случай. Вечером как-то иду выручку сдавать, в халате, звеню весь. Остановился у ларька пивка попить. Пацаны приметили, савеловские... Я иду дальше по путям, они за мной, трое их... Думаю: побежать — дробь рассыплю — мелочь из карманов вывалится.

Ладно, думаю, я их здесь на путях повеселю.

Остановился. Они подходят и — с разных сторон. Я говорю: чего, ребята, нам ссориться, лучше поделимся, только у меня ведь одна мелочь. И в брюки лезу — с понтом, выгребу им сейчас все. А в брюках у меня медь одна, пятаки... Достая, сколько взял: нате, куда, мол, спать. Они, соплята, подставляются ближе. А я об одном думаю: самому б не скакать — выручку растеряю, как потом впотьмах, тем более у меня со зрением...

Берите, говорю, сейчас еще нагребу. Что гробить их буду — не догадываются. Одному, думаю, бабаху выпишу, а потом погляжу, с этими как...

Отоварил одного... Потом, веришь, полночи не спал, жалко было... А как отоварил?.. Меня Харис в Самарканде научил... Харя — тот вообще — уже рассказывал про него, — тот дня без драки не проживет спокойно. Ножа никогда не таскал с собой. С ложкой ходил, которой ботинки помогают надевать, правда, отточенная, зараза...

Ну вот, обоими руками сразу: по виску — костяшкой и по челюсти вздвиг. Только одновременно надо. Парень тот больше и не двигался. Я уж мелочь подобрал, а он все так же на боку лежит, отдыхает. А эти-то, другие, побежали, конечно.

Я думаю: чего он без толку лежит? Котлы с него сдернул. Потом в озере их утопил, когда купался. Хорошие. «Полет», с автоматическим подзаводом.

— Мишенька! — послышалось из комнаты.

— Бабка?.. Разбудили все-таки...

Мишка пошел в комнату и вернулся с банкой варенья.

— Бабка яблочного дала. Будешь?

— Яблочное люблю. Вообще — сладкое. Недожрал свое с ма-

чехой да в колонии. Теперь за прошлое добираю; а у Вальки наоборот: у нее ж на Лобне в мать бомба попала. Валька-то сорок второго, ее тетка взяла, потом в детдоме дорастала — сладкого в глаза не видела и сейчас не ест. Ужинаем с ней когда — детский сад, прям: мне торт, ей чекушка...

Так чего говорил-то. А-а... Стою как-то, мужик подходит в болонье — коробку с мелочью берет с ларька и не торопится... Я опешил, молчу... Тут он морду поднял и смеется... Марик!.. Дружок мой, до колонии мы с ним хулиганили. А потом, говорят, шпаней его в Лианозове не было.

Задразнил меня Марик вконец: и работа бабья, и халат, и вообще... Иди, говорит, ко мне на Долгопу — Долгопрудненское кладбище. Пошел...

Первую могилу копал — вся Долгопа ржала. Сказали, чтоб метр девяносто. А у меня ни метра, ничего. А я сам метр девяносто. Лег, примерился и еще с походом взял. А глубина?.. Думал как лучше, чуть не в полтора роста своих выковырнул и — вылезти не могу. И так и сяк — осклизуюсь, да еще дождь, как назло... Пришлось орать. Старуха мимо шла, чего ты, говорит, сынок, залез туда? Я ей: бабка, зарыть меня живьем собрались, помоги, Христа ради, вынь отсюда.

Всерьез поняла и в контору побежала. Ну, интересно?

— Пойдет! — Мишка засмеялся. — Ты вот что скажи, Леш: Ваську-то за что лупил? Говорят, здорово! Не зря ж он тебя топором? Брат родной?

— Таких братьев полетанью выводят!.. Я ж его с Томки стянул. Она потом мне знаешь чего выдала: работа, говорит, Васькина, а платить восемнадцать лет ты будешь... Вот тебе и за что...

А с Валькой это я недавно, полтора года без малого. На Ноябрьские познакомились.

Валька-то у меня сразу залетела. Я думаю: пускай, курва, рожает. Мне уж тридцать, ну, тогда чуток меньше, все равно к тридцати... Она так хозяйственная, пожрать если сготовить и прибрать путем может... Пьет только. Да тут моя вина... Она до меня мало пила, так если, красенького. А я-то тогда жрал — будь здоров, ребят спроси...

Уж потом, как родила, я ее в больницу клал — от выпивки полечить. Подержали неделю и выписали: почки у нее больные, лечить нельзя. Что теперь делать — черт его знает... При мне не пьет, а чуть меня нет, нажирается... Волохал ее за это, как мужика. Да бабе разве докажешь?.. У ней тело жидкое. Тусуешь, а толку хрен...

Да, Миш, это... Рану мне постриги чуток. Вальку боюсь просить: у ней руки трясутся. — Воробей сел поудобнее. — Подсыхает, а? Гной перестанет — пластину вставлю, хоть подрасться разок. А то замлел.

Мишка принес маникюрные кривые ножницы и аккуратнo стал выстригать Воробью кожаную, без кости, вмятину над ухом.

— Три раза он тебя?

— Ага. Сюда два раза и — сюда, — Воробей с готовностью показал в битые места. — Утром просыпаюсь — мокро, кровятина везде, по морде текет. Потом сосед зашел «скорую» вызвал. Часов шесть

с чердаком дырявым лежал, вся кровь спустилась... Тихо ты! — Воробей дернулся.— Ладно, хорошо! Слышь, Гарика, говорят, тоже крепко уделали?..

— Крепко,— Мишка прижег шрам зеленкой.

Воробей сидел задумчивый.

— Выходит, оборзел Гарик... Вконец. А Борька, значит, не сунулся... Правильно — под горячую руку тоже башку проломили бы... А ведь корешил с Гариком... А Стаська где был?

— Выходной взял.

— Гм, может, специально и взял...— Воробей усмехнулся.— Слышь, Миш, хочешь, я тебе фотку свою подарю? — Воробей полез в «портмоне» и достал небольшую карточку.— Дай ножницы!

Мишка достал ножницы.

— Сейчас мы его рубанем! — На карточке Воробей с Гариком стояли возле красивого памятника.— Та-а-ак, кыш! — Воробей отстриг Гарика.— Давай надпишу... Чего писать-то? — Он пососал пластмассовую ручку.— Ал.. «Мишке от Лехи Воробья». Нормально? Что у нас сегодня? Тридцатое? — Он взглянул на часы:— Уже тридцать первое. Суд сегодня.

— А ты не волнуйся, не посадят.

— Так а я и не психую. Сидим с тобой... Музыку бы еще. Только не эту, не дрыгаловку.

— Сейчас заведем.

Мишка принес маленький магнитофон, поставил на холодильник, включил...

Магнитофон густым басом негромко пел под гитару: «Гори, гори, моя звезда...» Воробей пододвинул ухо ближе.

— Из старых кто-нибудь?

— Нет, товарищ мой школьный...

— Хочешь, мы его в церковь определим? Чего смеешься? Я с Батей поговорю, с Женькой-регентом. Свои ж все... Подучится малость и пошел религию петь! Все лучше, чем в службе геморою насиживать... Давай приводи его... Бабок насшибает! Гори, гори-и-и...

— Кто это тут поет? — подергивая тронутой тиком головой, в кухню вплыла Мишкина бабушка, толстая уютная старуха.— А-а, у нас гости... Ну, здравствуйте... Как звать-величать?

— Воро... Леша,— Воробей осторожно, чтобы не сделать больно, помял пухлые старухины пальцы.

— Алексей, значит. А по отчеству?

Воробей чуть напрягся, вспоминая:

— Сергеевич.

— Очень приятно, будем знакомы, Елизавета Михайловна. Ну, давайте чай пить... Вы вместе с Мишей на стройке работаете?

Воробей взглянул на Мишку, тот моргнул одним глазом.

— Ага,— кивнул Воробей и поднялся с табуретки.— Домой пора.

— Ну, если пора... Заходите к нам...— Старушка улыбалась и подергивала головой.

Мишка проводил Воробья до лифта.

— Погоди, забыл! — Он метнулся назад, в квартиру:— Вот за отпуск, твои.— И виновато добавил:— Заказов мало было.

IX

«...На основании изложенного обвиняется: Воробьев Алексей Сергеевич, 20 июня 1948 г. р., ур. гор. Москвы, русский, б/п, гр-н СССР, образов. 7 классов, инвалид II группы, работающий бригадиром в бюро пох. обслуживания, прож.: Москва, Алтуфьевское шоссе, 18, кв. 161, не судимый,

в том, что он причинил умышленное телесное повреждение, не опасное для жизни, но вызвавшее длительное расстройство здоровья.

Он же совершил злостное хулиганство, т. е. умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию особой дерзостью и связанные с сопротивлением гражданам, пресекающим хулиганские действия.

Так, 5 августа 1975 года, в первом часу ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире 161, дома 18 по Алтуфьевскому шоссе гор. Москвы, учинил скандал со своей фактической женой Ивановой В. И., выражаясь в ее адрес нецензурными словами, повалил ее на диван и подверг избиению кулаками, по лицу, голове и другим частям тела, причинив ей побои. На требования своего соседа по квартире Лукьянова Валерия Петровича прекратить хулиганские действия Воробьев А. С. не реагировал, продолжал браниться нецензурно и произносить угрозы в адрес соседа, а когда последний с целью пресечения хулиганских действий стал подходить к нему, Воробьев А. С. оказал ему физическое сопротивление и подверг его избиению, причинив ему менее тяжкие телесные повреждения, требующие длительного лечения (более 4-х недель), в виде закрытого перелома челюсти справа, т. е. совершил преступление, предусмотренное ст. 109 ч. I УК РСФСР...»

Воробей смотрел в пол и грыз до мяса съеденный ноготь. Слышал он только в самом начале, когда судья говорил впустую: чего можно на суде, чего нельзя, права, обязанности, короче — то-се. Потом уши заложило, как залило, и над бровью, в проеме, стало с шумом бить. Все звуки в зале увязли в этом шуме.

Воробей посмотрел на Вальку — та спокойно слушала.

Сейчас он боялся только одного. Не машущего руками немого прокурора, не приговора — только одного: припадка, как тогда, в больнице, после стакана красного.

Тогда, в больнице, он испугался себя самого, себя, умирающего, без воздуха, без боли, в неуправляемых корчах.

Горло перехватило после второго или третьего глотка, но неожиданности не было — врачи предупреждали о спазмах. Потом вот, когда начало крочить и гнуть, вот тут он понял, что все.

Об этом врачи не предупреждали.

Потом его заморозили, прямо в койке, не везя в операционную, и проткнули горло, задев ушной нерв.

Когда заморозка отошла, врачи ушли, он сравнивал этот припадок с тем тухлым заражением. *

Позапрошлой весной он копал яму внизу, на пятнадцатом, и, стоя в грязи, не видя куда, саданул с размаху в заплывший прибывающей жижей подбой. Из гроба чуть брызнуло, и вонь, рванувшаяся из щели, выпихнула его из ямы.

Копал, как любил, без верхонок — брызги чиркнули по пальцам, по его навсегда дранным в кровь заусеницам.

Потом он болел. Врагу не пожелал бы. Болело все: глаза, руки, волосы, туловище, нутро — все болело беспрерывно, каменной, налитой болью.

Ребята говорили: заражение тухлым ядом. Врача не звал: боялся, подтвердит. Водка стояла в графине, как вода, все время. Томка, тогдашняя его, подливала в стакан день и ночь. Воробей оторвал ноготь ото рта, вытер мокрую ладонь о колено.

— Чего там?.. — прохрипел он Вальке.

— Ничего, ничего, дело читают.

— Заявление от ребят отдала адвокату?

— Тише.

«...В связи с тем, что Воробьев А. С. злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем состоял на учете в ПНД № 5 и после совершения преступления имел тяжелую черепно-мозговую травму, по вопросу которой длительное время находился на излечении в больнице и врачебной комиссией был признан инвалидом 2-й группы, ему была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению которой он как душевнобольной был признан вменяемым в инкриминируемом ему деянии...»

— Встань. — Валька толкнула Воробья в бок. — Не грызи.

Да, достал-таки Воробья суд. Адвокат сказал, что хоть экспертиза вальтом не признала, все равно повлияет и смягчит сегодняшнее... за Лерку. Все-таки инвалид, группа вторая. И к сивухе год не прикасался — с того припадка, как горло проткнули. И это зачтут, сказал. И с кладбища в характеристике Петрович специально написал не «подсобный рабочий», а «бригадир Воробьев». Петрович — человек!..

Мишка, правда, советовал еще в ноябре, после больницы, когда познакомились, полежать в дурдоме: чтоб вальтом признали. На всякий случай.

Отказался тогда: от монеты в дурдом не очень-то потянет...

Суд удалился на совещание.

— Чего там?.. Отпустят?

— Аркадий Ефимович! — Валька рванулась к адвокатскому столу. — Чего они решат?

Аркадий Ефимович укладывал отговоренные бумажки в портфель.

— Я думаю, условно года полтора-два...

Валька повернулась спиной к адвокату, лицом — к Воробью.

— Полтора — условно,— крикнула она и добавила тихо:— Не слышит...

Она подошла к первому ряду, села рядом и отчетливо, громко повторила в ухо Воробью: «Полтора — условно!..»

— В ухо не ори,— отдернулся Воробей,— болит. Не посадят, значит?

Суд возвратился на свое место. Председатель зачитывал приговор. Все стояли. Воробей смотрел в пол перед собой. Припадок то подкапывал к нему, то пропал.

Дерг, дерг — Валька дергала его за рукав. Показала два растопыренных пальца — средний и указательный:

— Условно...

— Два?

— Полтора! Условно! — радостно шепнула она и вскрикнула:— Лешка! Ты что?! Лешка!..

Воробей закатил глаза и еле заметно затрясся.

У Воробья началось.

Х

— Спишь все... Монету так проспишь,— добродушно прохрипел Воробей, входя в сарай.— Пожрать хочешь? На котлетку. Выпить желаешь? — Он по столу пододвинул Мишке термос.— За то, что не посадили. Много не пей, у нас сегодня дел под кадык. Не пора еще за оградой?

— Сейчас пойдем. Как голова?

— Нормально... Психанул на суде чуток, бывает. Валька говорит: еще лежи, а чего лежать-то без толку? Закрывай термос, поплыли.

— Опять он пришел,— Мишка покачал головой.

У сарая, опираясь на палочку, стоял старик. Остатки седых волос трепал ветер. Стоял он с трудом — отдыхивался. Кожаное стародавнее пальто его было заношено до серых шершавых плешей.

В руке старик держал перевязанную шпагатом картонную коробку из-под ботинок.

Воробей сразу просек: не клиент.

— Чего надо? — буркнул он.

— Стульчик бы мне, молодой человек.

— Громче говорите.

— Стул дайте, пожалуйста. Погода тяжелая, давит.

— Дома сидеть надо,— проворчал Воробей.— Дай табуретку, Михаил! Ну, чего у вас? Только громче и по-быстрому, спешу я...

Старик сел, коробку положил себе на колени.

— Позавчера в два часа ночи у меня умер кот. Треф. Было ему от роду восемнадцать лет. И все восемнадцать мы прожили с ним вдвоем. Так получилось — с детства котов люблю. Всю жизнь надо мной смеялись. С гимназии начиная, с приготовительного. Ну, да бог с ними. Может быть, и действительно смешно: ни семьи, ни детей никогда не имел. Работа да кошки. У меня, бывало, по пятнадцать жило. Вероятно, смешно. Да... Я тоже много над чем смеялся за свои восемьдесят лет. Смеялся... И думаю, не всегда был прав... И просьба моя может показаться вам странной. Прошу вас, отнесите

к ней, насколько возможно, внимательно. Я хочу похоронить Трефа. Я знаю, не положено, но поймите меня... Больше у меня никаких просьб... Вообще. Ни к кому... Кот здесь.

Он положил руку на коробку.

Воробей с лязгом захлопнул дверь сарая.

— Долго думал, дед!

Старик, казалось, не слышал его.

— Я уже приходил, но ваш помощник не решился... А моя могила, то есть моей матери, недалеко отсюда. Вот удостоверение. Я вас отблагодарю...

— В материну могилу кота?! Ну, ты, дед, даешь!

...Ограды ставить нельзя. Только взамен старой и — если она зарегистрирована. А люди желают отделить свою смерть от чужой. Им виднее. Дело хозяйское. За деньги чего не сделаешь. И склеп на три персоны из кирпича под землей выкладывают, и ограду клеткой, чтоб с неба кто не залетел на чужую территорию, и под гроб в могилу подставки ложут — от сырости. Чудят, кто, как может.

— А дураков бы не было — мы бы лапу сосали, — разглагольствовал Воробей. — Эта, к примеру, которой сегодня ставить будем. Стоит у ней нормальная ограда, не ржавая, крепкая, чего еще? Так нет: сделай ей, как у Гольцманов, с золотыми шарами. И двести колов дуре не жалко!.. И этот сейчас, с котом — десятку дал. Грех, конечно, с такого чирик дергать — копнул пару раз. А если засечет кто? Выходит, нормально: за страх чирик, за риск.

За разговором они дошли до пролома, куда Витька, сварщик из мастерской по соседству, уже доставил ограду.

Воробей осмотрел работу, ничего не сказал, значит, понравилась. Долго отсчитывал Витьке деньги, так долго, что тот даже стал за что-то оправдываться. Воробей не останавливал Витьку: пусть наперед чувствует вину, авансом. Потом мрачно без слов сунул деньги. Витьке ничего не оставалось, как выдать «спасибо». У Воробья эта процедура называлась — «сбивать понт».

Быстро поставили новую ограду. Ножки забутили, раствором пролили. И быстрее красить. А старую ограду обновить — за сотню уйдет, как милая.

Молчок сегодня просил помочь захоронить, значит, надо до двенадцати закончить.

На сегодня он отпустил часовню погулять, выходит, и завтра им хоронить втроем: Молчку, Воробью и Мишке. Часовня похмеляться будет.

В две кисти до двенадцати — должны управиться.

— Бесхоз толкнуть — самое то, — наставлял Воробей Мишку, он всегда наставлял его, когда красили. — Работа спокойная. Вот где бабки живые... У тебя, предположим, здесь родственники похоронены. Пятнадцать лет санитарных не прошло, а у тебя вчера новый покойник умер. Родственник близкий. Куда ты его денешь? Здесь хочешь. А здесь не выйдет — сроку мало прошло, а новые ямы копать нельзя: кладбище закрытое.

Ты к Петровичу: то-се. Он тебя пошлет для начала. А покойник-то тухнет... А если еще и лето вприбавок?..

Ты опять к нему. Он покрутит, повертит: а может, ты из треста или из Обахаэса. Ну, а потом заломит, ясное дело... И никуда не денешься, дашь как миленький. Договорились по-хорошему — он тебе бесхозик подберет поближе к твоей могилке...

Воробей посмотрел на часы и положил кисть в ведро:

— Потом докрасим, первый час, хоронить пора.

— Леш, а что с покойником потом делается, в земле?

— Как чего? Лежит себе, следующую ждет.

— А что с ним происходит, с покойником? С телом?..

— По-разному: от тела зависит и от земли. Суглинок если, так быстро его пучит; земля воду держит, как все равно в кастрюле. Если песок — еще полежит. Потом лопается. Брюхо лопнет — он течь начинает. Несколько лет текет. Быстро сохнет. В землю превращается. Одна кость остается. Лет за восемь целиком делается. Все чисто. В землю ушел...

— А зачем тогда пятнадцать лет ждать?

— На всякий случай, мало ли что... Бывает. Вода почвенная стоит — так он парится, а в землю не идет. Не видел? Увидишь. На той неделе перезахоронка будет. Баба мужика в Киев перевозит. Не обделаешься со страху-то?

— Не знаю...

— Перезахоронка, считай, самая муть. Вонь забирается, хоть мылом нос полощи, не отобьешь. И стоит, падла, до пяти ден... Раз положили — и пусть бы лежал себе, чего его ворошить? При царе-то точняк руки бы поотрывали за такие штучки. Гниет себе человек тихо-благородно... В рай едет или еще куда. Так ведь нет, нейметя: выковыривают! Другое дело, когда в него по медицинскому или судебному надо посмотреть...

Слышь, Михаил! Я тебе свой бесхоз не показывал? Покажу. Когда в больнице был, Петрович мне у заборчика отвел местечко... по закону, в трест ездил специально договариваться. Разрешили. А когда я вышел — смеется: вот, Воробей, твой бесхоз, не толкни по дурасти, бездомным будешь.

Ты, Миш, тоже запомни: ложить меня только туда. А чего смотришь? Дырка-то у меня все ж без кости, и гной не перестает... Смех-то смехом.

На центральной аллее показалась знакомая фигура. Воробей прищурился:

— Кутя, что ль? Ку-уты!

Кутя молча побрел на зов.

— Куда пилишь, могильщик хренов? — добродушно спросил Воробей. — Ты когда портки заменишь?

— Домой пойду, — невпопад ответил Кутя.

— Громче говори.

— Домой пойду! — крикнул Кутя. — Петрович отчислил. За прогулы.

— Куда домой?!.. Где он?! — заорал Воробей.

Петрович сидел в кабинете.

— Ты что, шакал, над дедом мудруешь? — прохрипел Воробей.— Ему до пенсии полгода, он сам отвалит!.. Нейдется! Руки чешутся?.. Могу почесать!..

Петрович побледнел: в конторе никого, а Воробей неполноценный. Отоварит, потом поди разбирайся.

Воробья трясло.

— Не обижай деда, Петрович...

— Воду пей! — завизжал заведующий, подталкивая к нему графин.

Воробей послушно припал к графину.

— Не обижай...

— Защитничек...— Петрович встал из-за стола.— Много вас...

Что ты здесь разорался?.. Прибежал-прилетел!.. Все вы за чужой счет добренькие. А сам, если что?.. Знаю я вас!..

— Спасибо, Петрович,— пробормотал Воробей.— Ему полгода, он сам отвалит...

— Пошел вон. Иди работай,— буркнул Петрович.

— Вы чего наглее? Полчаса гроб стынет. Оборзели вконец! — Молчок понес на них правильно.

Раскрытый гроб, окруженный немногочисленными родственниками, забыто прижался к массивной чужой ограде. Появление Воробья с Мишкой разбудило притерпевшихся к своему горю родных: кто-то всхлипнул, потом громче...

— Попрошались? — спросил Молчок у пожилой толстой женщины с заплаканным лицом, по-хозяйски стоящей в изголовье.— Крышку давай! — скомандовал он Мишке.

— Цветы из гроба уберите, покрывалом прикройте.

Молчок с Мишкой накрыли гроб крышкой, состыковали края. Молчок вынул из-за голенища сапога молоток с укороченной для удобства рукояткой и тук-тук-тук — гвозди изо рта — забил.

— Сейчас мы подыдем, а вы тележку из-под гроба на себя примете,— руководил Молчок.— Заходи, Воробей. Мишка, веди его.

«Веди»,— значит, бери Воробья, обхватившего тяжелое изголовье гроба, за бока и, пятясь сам, направляй его — тоже идущего задом — между мешающими оградами, по неровной почве, чтоб, не дай бог, не оступился. Ничем больше помочь нельзя: слишком узка дорога.

Так, не торопясь,— быстрят только кошки да блошки — дошли до свежеработанной кучи, поставили гроб на осевший под тяжестью рыхлый холм; веревки Молчок заранее разложил поперек могилы.

— С ломом давай,— буркнул Воробей,— неудобно.

— Давай. Ложи.

Мишка положил лом поперек могилы — подергал: не телепается ли. Молчок с Воробьем на веревках, зажатых в кулаках без намотки (упаси бог наматывать: полетишь за гробом вдогонку), установили гроб на лом. Потоптались, побили сапогами землю для крепости.

Молчок натянул веревки.

— Ну, готов?

Воробью и слух ни к чему, по натягу команды ловил. Натянул свои концы — гроб тяжело завис над могилой. Мишка вытянул лом.

— С богом! — негромко скомандовал Молчок и, вытравливая веревку, стал заводить гроб.

Воробей травил чуть медленнее: гроб быстро и без зацепки лег на дно, ногами уйдя в подбой.

Молчок приподнял свой конец уже лежащего на дне гроба — ноги, — чтоб Воробей смог вытянуть веревку из-под изголовья. Затем быстро выбрал свою.

— По горстке земли киньте... Монеты медные, если есть.

Родственники заплакали и, оскальзываясь, потянулись к могиле, завозились в карманах, подыскивая мелочь.

Воробей закурил. Мишка через локоть сматывал веревки в скрутку.

— Не мелко, сынок? — спросила старуха.

— Как положено, мамаша, по норме.

— Ну-ну, хорошо, милый, закапывайте.

Закапывать — своя наука. Первое: нельзя, чтоб штык на штык шел, — руку секануть можно. Да и ноги товарища в земле не заметишь — в кость засадишь. Второе: все в свое место кидают. Один подбой швыром заваливает, другой — как веслом на плоскодонке — гроб под себя делает, третий — свою землю с чужих холмов и с дорожки к могиле сгучивает.

— Живые цветы давайте. Корзины давайте... Венки потом. Тюльпаны сюда давайте! — Молчок взял тугой букет гладиолусов, положил на землю и, прижав сапогом, отхватил концы сантиметров на двадцать, чуть не до цветов.

— Зачем это? — ахнула бабка.

— А чтоб у них ноги не выросли... Пьянь с могил цветы собирает — да на базар. А кучье кому они нужны?.. Глядишь, и полежат. На девятый придете — приятно, спасибо скажете.

— Хорошо, хорошо, сынок. А я-то, дура старая, думаю, чего он цветы портит...

— Теперь венки давайте.

Венки Молчок составил шалашиком над холмом. Осмотрел все по-хозяйски, отошел в сторону.

Главная женщина подо двинулась к Мишке, стоявшему к ней ближе всех, и сунула ему свернутые трубочкой деньги.

— Бригадиру, мамаша. Вот ему... — Мишка указал на невозмутимого Молчка. Женщина подошла к Молчку.

Следующий был военный. Вояк хоронить не любили: трескотни много, а толку чуть — не раскошеляются. И при жизни халява сплошняком: одежда бесплатно и харч, и здесь то же самое... Их не родственники, а армия хоронит. Родственники по команде слушаются распорядителя — с повязкой и тоже военного. И плачут по команде, и прощаются. И не дай бог, сомнут порядок, черед нарушат: который с повязкой — рычит, как некормленный.

Сегодня хоронили капитана. Он и по армии капитан, и капитан команды. Хоккеист из ЦСКА.

Молчок его фамилию помнил по тем временам. Смотрел его на «Динамо». Не Майоров, конечно, но тоже дай бог играл. И жена у него молодая.

Впереди фотографию понесли, в уголке черной лентой перехваченную. Потом — на красных подушечках — медали, немного правда, капитан-то молодой был. Крышку с приколоченной сверху через козырек фуры.

Потом капитана товарищи понесли. Жenu его под руки вели, родственники, еще народ, военные, в основном, оркестр сзади тоже из солдатиков. Здешних не берут, платить надо, они опять на халюву. Солдатакам — им чего не играть?.. Правда, играют они плохо. До лабухов-то им далеко. Те — хоть и тепленькие, а музыку ведут плавно, без дерготни. Понятно почему: солдатики сегодня на похоронах — а завтра на танцах дуют, а эти, краснорожие, всю дорогу жмуrow работают. Наблатыкались.

Процессия медленно текла на девятый участок. У женщин началось медленно, а мужики — видно было — тормозили себя, и скорбный шаг у них смешно выходил.

На девятом участке, метрах в десяти от могилы, давно уже перетапывались автоматчики из комендатуры — стрелять холостыми. После гимна.

— Воробей! — крикнул Стасик, остановившись неподалеку.

Мишка остановился. Воробей, раздраженно прищурясь, как всегда, когда недослышивал, рявкнул:

— Чего?!

— Тебя зовет.

— Чего там? — крикнул Воробей Молчку и обернулся к Мишке: — Иди докрашивай, я сейчас.

Воробья не было долго.

Мишка докрасил ограду, сбегал в сарай за шарами — забить в стойки, когда показался Воробей.

Воробей шел медленно, палец во рту — драл ноготь.

— Тебя сейчас уреть? — прохрипел он, входя в ограду. — Или завтра? Когда ребята сойдутся?

Мишка шагнул назад, опрокинул ведро с краской.

— Смотри под ноги, сука! — заорал Воробей. — Ты сколько, сука, мне за отпуск «прислал», а? Полтинник!.. А Стас говорит, клиент пер с утра до ночи!.. Смеется, говорит, Воробей, над тобой твой студент... А?!.. Над Воробьем хочешь?!..

Желтые зубы Воробья скрипели, глаза шарили по земле. Мишка увидел на земле кувалду — осаживать ограду. «Все», — пронеслось в голове. Вцепился в липкую от краски решетку.

Воробей шагнул вбок, нагнулся... Мишка скачками вылетел за ограду и в сапогах, неподъемных от налипшей на краску грязи, понесся к церкви, к выходу...

XI

— Хоздвор, часовня... В контору! Всех собрать! Через пять минут кого нет — уволю!

Петрович носился по кладбищу, собирая попрятавшийся по сараям

штат. Кинутый на плечи, как бурка, плащ не поспевал за его бегающими ногами, косо свистел сзади.

Но уволить он уже никого не мог. Припух Петрович.

Вышло вот что.

Месяц назад в кабинет заведующего зашел солидный южного типа мужчина со свидетельством о смерти брата. Он просил захоронить брата в родственную могилу и выложил перед Петровичем заявление, заполненное по всей форме. Удостоверения на могилу у него не было. Стали искать по регистрационной книге: тоже пусто. Однако южанин уговорил Петровича «своими глазами смотреть могилу». Петрович согласился.

Южанин привел его к «декабристам» и ткнул пальцем в стертый холмик: «Суда хочу!» Петрович удивленно посмотрел на мужчину: в своем ли уме?

Южанин оказался вполне.

Они вернулись в контору и заперлись в кабинете. Петрович согласился «в порядке исключения» и велел Воробью быть в семь без опоздания.

Воробей перед прокуратурой раскрыл бесхоз, могила получилась лучше новой. Захоронили, как положено по-южному: до глубокой темноты над кладбищем носились стоны, играли гортанные незнакомые инструменты, бил длинный, непохожий на обыкновенный барабан...

Все бы ничего, да бесхоз этот три года назад — в юбилей декабристов — Управление культуры наметило к сносу. А на месте бесхоза — ступеньки к «декабристам» проложить как часть мемориала. Да беда-то в том, что Петрович тогда здесь еще не работал. Другой работал, которого посадили. И знать ничего Петрович не знал насчет ступенек.

И теперь закрутилась вся эта катавасия.

Петрович бросился уламывать верха. Уломал: дело кончилось увольнением «без права работы в системе похоронного обслуживания». Без суда.

Заслушивать сообщение замуправляющего трестом он и созывал свой бывший штат.

— Тебя что — не касается? — Петрович рванул дверь сарая. — В контору живо!..

— Чего орешь?.. — Воробей сидел в глубине сарая, не зажигая света. — Разорался...

— Иди, Леш... Носенко приехал.

— Ладно, приду.

Воробей ждал Мишку. Понимал, что тот больше не придет, а все-таки ждал.

Он прикрыл дверь сарая: успеется. Закурил. Посидел минут двадцать.

За дверью послышались шаги.

«Пришел». Воробей дернулся открыть дверь, но заставил себя сесть. Дверь распахнулась. На пороге стоял запыхавшийся Кутя.

— Ты чего не идешь? Петрович за тобой послал.

— Пошел он!.. Скажи: голова болит...

— Ну, смотри, Леш. Болит — не ходи, не война... А чего тебя утром не было?

— На электричку опоздал.

— Тут студент твой был...

Воробей подался вперед.

— Ключ занес от сарая. Ты чего, Леш? А, Леш? Башка?.. Ну сиди, сиди! Я побег...

— Погодь, Кутя.— Воробей тяжело поднялся с табуретки.— Вместе пойдем.

...Штат расселся кто где: на подоконниках, на стульях. Финн затиснулся в уголке на пол.

— Контору на ключ! Никого не пускать! — Носенко, замуправляющего, перебирал взглядом притихшую бригаду.— С ним ясно,— он мотнул головой в сторону Петровича,— а вот с вами? Кто бесхоз долбал?!

— Какой бесхоз? — невинно всунулся Охапыч в надежде обернуть разговор в болтовню.

— Молчать! Думаете, я с выговором, а вы спокойно жрать будете? На кошлах моих...— Носенко постучал себя по плечам,— проедете! Хрен в сумку! Кто бесхоз расковырял?! Ну?! Заявления сюда! — не оборачиваясь, рывкнул он поникшему сзади Петровичу.— Не понял? Те, по собственному. Ну?

Петрович нырнул в кабинет.

— Минуту даю. Не скажете, половицу увольняю!

Он засек время. В стекло билась муха, других звуков не было.

— Так, минута...— Носенко надел очки и протянул руку назад, не оборачиваясь, к Петровичу:— Первое давай сверху.

Тот протянул листик с неровным обрывом.

— Охапов,— прочел Носенко и поставил на заявлении сегодняшнее число.— Та-а-ак, уволен.

— Чего я! — взвился Охапыч,— бесхоз не мой...

— Молчать! Следующего! Новиков...

— Меня-то за что? — задергался на полу Финн.— За Гарика таскали. Теперь за бесхоз чужой отдуваться, я жаловаться буду...

— Кому, финнам? — Охапыч глядел на него с брезгливой тоской.— Тихо будь. Сопли жуй!

— Раевский.

— Ну, суки, узнаю, кто бесхоз сломал!..— Раевский отомкнул замок и вышел, хлопнув дверью.

Носенко взял следующее заявление. Воробей следил за его губами.

— Ве-ли-канов.— Носенко разбирал Кутину фамилию.

Кутя беспомощно тыркнулся в углу на табуретке, открыл рот, но ничего не сказал. Воробей шагнул вперед.

— Это... Он ветеран...

— Тебя забыть спросили! — рывкнул Носенко.— Это еще что за чмо?

— Тут у нас один...— промямлил Петрович.— Куда лезешь? —

обернулся он к Воробью.— Заступник! Сидишь — сиди, пока не спрашивают. Знаю я вас, герои...

Воробей посмотрел на него:

— Я бесхоз копал.

Носенко обернулся к нему, потом к Петровичу:

— Заявление!

— Он в больнице был, не писал...

— Сейчас пусть пишет! — рывкнул Носенко.

— В кабинете бумага, Леш,— тихо, глядя в пол, сказал Петрович.

— Громче говори.

Петрович принес из кабинета лист бумаги. Протянул Воробью.

— Чего писать?

— Неграмотный?! — заорал Носенко.— Диктуй ему! — приказал он Петровичу.

Петрович в ухо Воробью начал диктовать.

— Не с пятнадцатого, а с сегодняшнего дня! — перебил его Носенко.

Кутя, Воробей и Валька сидели за столом. Одна «Старка» стояла пустая. Воробей пил «Буратино».

— Леш, а ты-то полез куда? Ведь вторая группа...— ковыряя вилкой в тарелке, тихо проговорил Кутя.

— Не тронь его,— заволновалась Валька.— Он и так, погляди, не в себе. Леш, как голова?

— А-а,— отмахнулся Воробей.

— Тебе, может, «скорую» позвать? — вскинулся Кутя.

— Ладно, Куть... Ты это... Ты вот что... Ты сарай себе бери, заказы какие недоделанные, напишу — доделаешь. За работу возьми сам знаешь сколько, остальное привезешь. Под полом три доски гранитные, габро, для памятников. Нарубить, золотом выложить — по полтыщи уйдут не глядя. А пасхи дождешь — и дороже. Бабки — пополам. Ясно?

— Само собой...

Воробей взял «Старку», открыл, налил по стакану Куте и Вальке.

— Ни то ни се...— Он покрутил бутылку.— На троих надо.

— Ты что?! Ты не удумай! — забеспокоился Кутя.— Бога бойся! Сироту оставишь?!.. Лешка, не озоруй!

— Не ной,— оборвал его Воробей.— Авось не подохну. Чекнем.

— Воробе-е-ей! — заверещал Кутя.

Валька вцепилась в бутылку.

У Воробья стали закатываться глаза. Кожаная вмятина над бровью задышала в такт пульсу. Воробей поймал Вальку за руку.

— А-а!..— приседая от боли, заорала Валька и отпустила бутылку.

Воробей, промахиваясь, лил «Старку» в стакан. Желтое пятно расплзлось по скатерти. Валька скулила где-то внизу, у ножки стола. Кутя вытаращил глаза, не двигался. Воробей поднес стакан ко рту.

Родился сорок лет назад в Москве. В девятом классе почему-то остался на второй год, а заодно был исключен из школы. Ей-богу, для такого крутого виража оснований у школьной администрации не было. Теперь можно и даже модно этим похвастаться, а тогда хотелось удивиться.

Аттестат получил экстерном. Было такое заведение типа ежевечерней платной школы. Сейчас его, кажется, прикрыли.

Зачем-то полтора года учился в заочном институте связи. Потом решил сходить в армию. В нормальную идти не хотелось, тянул с призывом, угодил в стройбат.

Демобилизовавшись, поступил учиться в Литинститут, на переводчика с татарского, доучивался на заочного критика. Защищался по «Смиренному кладбищу».

На кладбище работал полтора года.

Недавно, вещая по радио, погрешил против истины: сказал, что, мол, сам устроился на престижную должность могильщика. Не сам устроился, друг устроил. Вернее, собака друга. Но это долгий рассказ.

На кладбище познакомился с Воробьем. Воробей, кажется, и по сей день работает могильщиком.

Вот так и начиналась литературная деятельность — с кладбища, с территории, где всякая деятельность прекращается.

Или приостанавливается.



Е. ПОПОВ

Тетя Муся и дядя Лева

*Медитация в универсаме
Теплого Стана*

БОРМОТАНИЕ ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Теплый Стан и прилегающие к нему окрестности — это есть очень замечательный сектор столицы. Тут можно встретить знаменитых московских людей: они запросто гуляют по асфальтовым его тротуарам и тенистым просекам. Я лично сам видел из окна автобуса № 552 философа Ваткина, неоднократно пил чай у своего друга Корифеева Вик., исключенного по не зависящим ни от кого обстоятельствам, гостил у концептуалиста Дмитрия Александровича Пирогова, и тот сообщил, что неподалеку прописан поэт Леничамский, не печатающийся за границей, ехал в метро с комиком Шёвченко. Шёвченко расхвастался: у него, дескать, недавно ночевал на полу сам Андрон Фитов, ленинградский интеллектуал, ныне осевший в Москве... Поэт Курбчевский, историк культуры Ханчев, эрудит Каверинцев, уезжающий Гробс — все здесь живут, так уж получилось, в кооперативных девятиэтажках, почему, не знаю...

И знать не хочу. Человек бедный. Функция — бормотать. Выводов, обобщений — не надо. Баба в чистом белом халате с багровым шрамом через всю щеку, очень милая, наступающий День Советской Армии, югославский магазин «Ядран», пьяная морда на углу — вдруг акценты расставишь неточно, и опять скандал. Уж и ругали, стыдили, а кто поверит, что таил нервное измученное сознание, упорно боролся с психастенией отчуждения, творил мир более высокого энергетического уровня, сам будучи робким до идиотизма, малоконтактательным. Но в тридцать три года, когда слез с печи, как Илья Муромец, зачем, допустим, описывать плохое, хоть и в целях наилучшего устройства, когда опять скажут, что развел порнографию духа, зло воспеваает, являясь цветком его... Мне это надо?..

и ОКРЕСТ ГЛЯДЕЛ, и взору предстало изобилие, от коего зарябило в зрачках. Надписи синеньким по белой пластмассе, соответствующие содержанию: «Мясные товары», «Молочные товары», «Бакалейные товары», «Рыбные товары», «Овощи», «Фрукты», «Прохладительные напитки». Автобусы с инообластными номерами: тверскими, калужскими. Есть? Есть. Правильно? Правильно. Рассказ без вранья, но и без обобщений, ибо кто множит познание, множит скорбь. Как объясняли недавно в одном учреждении, куда залетел по не зависящим ни от кого обстоятельствам. А товару хватит всем.

И окрест глядел, и задумался, стоя в небольшой очереди перед большой кассой. Тетя Муся, жена дяди Левы, крематорий № 2, где

сожгли тетку сырой осенью 1977 года,— громадное железобетонное здание, построенное по последнему слову немецкой науки и техники, напряженная дорога по кольцевому шоссе из Химок Московской области, где супруги проживали в однокомнатной квартире на улице Маяковского, дом 28, непосредственно перед кончиной одного из них, то есть тети Муси... Вспомнил, вспоминал, но при отсутствии суммарной совокупности знаний и ясной идеологии мысли путались, рвались, тем более что дядя Лева после смерти тети Муси куда-то начисто исчез, а номер его телефона тоже был утрачен и тоже по не зависящим ни от кого обстоятельствам, как ни грустно в этом признаваться.

Путались, рвались, однако фрагментарно медитировалось, как дядя Лева, перепив за ужином в 1976 году, велел тете Мусе достать с верхотуры зеркального шкафа пыльный баян, и заиграл, и запел какую-то щемящую сердце советскую песню, после чего вдруг страшно закрипел зубами и принялся озлобленно ругать «бериевских бандитов», из-за которых он, как это следовало из ругани, оказался на Дальнем Востоке. Параллельно дядя Лева излагал свою концепцию известных событий новейшей истории: во всем виноваты троцкисты, руководимые Троцким, настоящая фамилия которого ни больше ни меньше, как Бронштейн, что учение Бронштейна — страшная опасность для всего прогрессивного человечества, ибо связано с китайским гегемонизмом, корни же свои ведет от международного сионизма и тайных масонов, которые нынче вознамерились захватить весь мир. Тетя Муся напряженно улыбалась и прислушивалась к болям в желудке. На стене висел фотографический портрет тети Муси в военной форме, и это было непонятно тогда, осталось загадкой и до сих пор — тетя Муся, по ее словам, служила экономистом, чего-то там в бухгалтерии всю жизнь подсчитывала... Может, она служила экономистом по какому-нибудь военизированному ведомству и именно таким образом познакомилась в 1949 году с дядей Левой, который был на Севере вольнонаемным (?). Он утверждал, что не сидел, а был вольнонаемным, это тогда, при уточнении генезиса его крайне радикального высказывания про «бандитов», тогда, непосредственно после баянной игры и лекции о Бронштейне, тогда, в 1976 году...

из ОЧЕРЕДИ.— Ах, непременно скучны все эти мышинные подробности бытия, и свидетельствуют они лишь об окончательной утере мною ориентиров и полном неумении сшить чего-либо из богатого материала. Но что поделаешь — материал хоть и богатый, да гнилой, расплзается по швам... Ерунда какая-то, возвращающая к отчаянию.

КОНСТРУКТОРОМ... Вообще-то дядя Лева служил конструктором в проектно бюро, и они до 1970 года проживали в различных коммуналах. Во время войны у дяди Левы имелся пистолет «ТТ», дядя Лева говорил, что «был связан с авиацией и ездил на фронт»,— он и тогда жил в коммуналке, будучи родом из города Харькова, и уже развелся со своей первой женой, платя ей алименты на сына Витю, которого никто никогда не видел. Дядя Лева приезжал с фронта в нетопленную комнату, где, выпив спирту, ложился спать один, укрываясь поверх одеяла шинелью и разложив на столе паек. И в этой военной комнате у него завелась крыса. «У меня была одна знакомая крыса в

1942 году», — начал однажды, хитровато улыбаясь, дядя Лева, и студент невольно подумал: да уж не умен ли дядя Лева безгранично? Может, он все знает — о мире, об этой жизни? Знает, но таит свои знания, совершенствуя и шлифуя их в сложном быту коммуналки, где и несчастные выпивающие соседи, и больная жена, и шесть штук электросчетчиков на кухне вертятся... Уйдя, удалившись от мирской суеты в свою таинственную проектную работу, за которую, судя по всему, ему неплохо платили: в зеркальном шкафу у него торчали изысканные вина по 6—7 рублей бутылка, не переводились шоколадные конфетки, икорка случалась, телевизоры дядя Лева менял по мере их модернизации, студенту всегда ссужал пятерочку — десяточку «взаимы». Дядя Лева и тетя Муся считались у нас в семье «богатыми», хотя тут вкрадывается в медитацию неточность: не были они «у нас в семье». Они — ну как это сказать? — американские родственники были они для нас, сибирских обитателей: присылали к праздникам посылки — чудные конфеты «Мишка на Севере», московскую карамель, орехи фундук. Они были бездетные.

И вот дядя Лева-то и говорит (в 1967 году): «У меня была одна знакомая крыса в 1942 году. Она меня очень раздражала, поскольку лишь стоило мне заснуть, выпив спирту и укрывшись поверх одеяла шинелью, она сразу же начинала ходить, цокая крысиными когтями, и шуровала на столе в целях попытки прокусить консервное железо, потому что крысы умные. Я приезжал с фронта и, не выдержав, резко включал свет, засыпая, а она сначала тут же убегала, мелькая серой отвратительной шкурой, а потом, и вовсе обнаглев, стала у стенки вставать нахально и внимательно глядела на меня отвратительными крысиными глазами. Я, не выдержав, однажды выхватил из-под подушки пистолет и трижды в нее выстрелил, не попав. Крыса пришла в испугавшую меня ярость. Она прыгнула ко мне в постель, трижды обежала вокруг моей головы, лежавшей на подушке, касаясь моей кожи своим отвратительным нечистым хвостом. Я, не выдержав, как был босой, в кальсонах, прыгнул с пистолетом на холодный пол и снова в нее выстрелил, и опять не попал. А крыса, расставив ноги, с шипением помочилась прямо мне на подушку и исчезла навсегда, я ее больше никогда не видел...»

Так рассказывал дядя Лева, после чего велел тогда еще практически здоровой тете Мусе достать с верхотуры зеркального шкафа пыльный баян и заиграл, и запел какую-то щемящую сердце советскую песню ностальгического содержания. Воспевающую нашу Родину с таким подъемом и рыданием, как будто бы ее, нашей милой Родины, уже давным-давно у нас нет, хотя всякий знает, что наша милая Родина была, есть и будет на горе и зависть всем ее хитромудрым врагам!.. 1967 год.

ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Что касается насчет ностальгичности целого ряда современных советских песен, то обобщение принадлежит не мне, а моему приятелю Сашке Клецу, с него пускай и будет спрос, хотя ничего идейно ущербного или клеветнического в этом его наблюдении на мой взгляд нет, о чем и свидетельствую, пока не поздно.

ЗАЧЕМ ЖИТЬ? — Этот вопрос задал недавно в телевизионном фильме для глухих (с субтитрами) один пионерский вожатый, но ответа от

его подопечных не последовало, увлеклись саженцами и сусликами. Я же скажу, что разгадка тут простая, потому что жить — это не ЗАЧЕМ, а ПОЧЕМУ. И вяло зашепчу, пугливо озираясь по сторонам: «Жить нужно. Продолжать жить нужно, раз начал. Хоть и потерявши крах, крушение, ломку ценностей... Ведь жизнь прекрасна, ее дал нам наш отец небесный, и каждый вопрос умен, каждый вопрос божий, это ответы могут быть глупыми, глупых вопросов не существует. А лично я толкую о том, что это счастье — вообще жить и что желавший жить, да еще и ХОРОШО ЖИТЬ, испытывает терпение его... Хоть и с язвой в печенке, но не бездушным же минералом? Но, может, и у минерала душа есть, а с язвой в печенке — это уже и не жизнь вовсе, а натуральная смерть? Кто знает? Я не знаю.

И ЭКО ЖЕ ЗАНОСИТ!.. Из добродушной этой, плоской болтовни явствует, пожалуй, одно: не следует человеку мнить себя выше других, живя на цыпочках, а должно ему оставаться самим собой. Осел так осел, мудрец так мудрец. Однако сознающий свое ословство является мудрецом, а тип, думающий, что он всех научит, непременно окажется идиотом, о чем и братья Карамазовы предупреждали. Таков угрюмый смысл бессмыслицы, и медитирующему лучше бы не ловить рыбу в мутной воде псевдотеологических и ложнофилософических умозаключений, а лучше бы взять и описать свой первый визит к тете Мусе и дяде Леве, состоявшийся в 1955 году.

Но можно и его понять: возьмется он про 1955 год толковать и опять кому-нибудь не угодит. Опять скажут, что СРАВНИВАЕТ времена, ВОЗВЕЛИЧИВАЕТ одних за счет других, а суммарно опять ГЛУМИТСЯ и ЗУБОСКАЛИТ. А он, помилуй бог, никогда не зубоскалил, ну разве в совсем еще юном возрасте, когда писал «юмористические» рассказы, печатавшиеся на 16-й полосе газеты «Наша литература» у Никодима Чайковского и Ильи Цузлова, первый из которых стал сейчас большим начальником и ездит на машине, а второй тоже ездит на машине, но держит в Кливленде аптеку. Да и тогда хотелось многомерности, желалось объемности, инвариантности, реалистичности. Ну и ладно, поехали дальше, ибо нет в мире невиноватых.

А в 1955 году ему было 9 лет, и он учился во втором классе начальной школы № 1 имени В. И. Сурикова. Папа-покойник привез его в Москву, и они там видели Царей — пушку и колокол, и ели эдакое замечательное мороженое: парочка вафельек кругленьких, а между ними вкуснейшее в мире советское эскимо. Остановились у тети Муси с дядей Левой, столичных жителей, прописанных в Химках Московской области по Ленинградской железной дороге, справа от железнодорожного полотна, если ехать из Москвы.

И вот до сих пор не ясен и еще один вопрос. А что, правда раньше мороженое было вкуснее или это только сейчас так кажется? И шумная площадь у трех вокзалов за два года до Всемирного фестиваля молодежи и студентов, добродушная милиция в белых кителях — вкуснее это было, чем сейчас, или опять — заблуждение, абберация? Не могу, не могу понять, не могу, и такая тоска от этого берет! Боже ты мой, такая тоска, что хочется сжаться, ужаться, пригнуться, возвратиться, покушать мороженого и остаться там навсегда. Ударили б в 1955 году

кирпичом по башке, стал бы кретином и навеки поселился в 1955 году, бойкий, веселый, в вельветовых штанишках, пионерском галстуке: А был бы счастлив-то? Неизвестно. И снова вопрос, и снова ничего непонятно... А на сердце — тоска. И уж извините, начальники, не подумайте чего дурного: не клевету, выводов, обобщений не делаю, но не могу же писать «веселье», когда на сердце тоска. ЛИЧНО НА МОЕМ СЕРДЦЕ — ТОСКА. Я ГОВОРЮ ЛИЧНО ПРО СЕБЯ, а не про кого-нибудь другого, и это мое дело — тосковать мне или веселиться!

РЕПЛИКА ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Я хочу печататься в СССР.

СОРОКАЛЕТНИЕ БЕЗДЕТНЫЕ РУССКИЕ, тетя Муся и дядя Лева. У дяди Левы в Харькове воспитывался сын Витя от первого брака. Дядя Лева утверждал, что сам он по национальности русский, русак, так сказать, родом из Харькова, а первая жена у него была еврейка, потому что «жидов в этом южном городе великое множество и всегда можно ошибиться...»

ГОЛОС ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Это дяди-Левины проблемы, паши он их конем, старый хрен! Я в Харькове был проездом на пути в Крым майской ночью 1979 года. Болел, лежа пластом на заднем сиденье зеленой «Волги», номера не помню. Так что не видел «в этом южном городе» ни русских, ни евреев, за исключением двух своих дорогих товарищей. Повеселились, а? «Витек — отек, Васек — засек». Ремембе? Ночевали на Байдарах, купались в Ласпи, танцевали в Ялте, выпивали в Коктебеле. Усталые, но довольные. А то, что выперли по не зависящим ни от кого обстоятельствам, так что же делать, если за все нужно платить, и разве это беда, коли мелких нету и лакей получает червонец вместо полтинника? И объясните вы мне, наконец, дорогие соотечественники, кто в нашей стране русский, а кто еврей. По мне русский ты, еврей, плевать я хотел, ты мне текст подай хороший, а кто его написал, чуваш, китаец, англичанин или принц Нородом Сианук, мне все равно. Я все путаю. Я русский интернационалист. По мне слово «жид», если и имеет право на существование, то отнюдь не как уничижающее определение семитской национальности. Поясняю примером. ТЕЗИС: некто — русский, АНТИТЕЗИС: сам по-русски писать не умеет и другим не дает; СИНТЕЗ: некто — русский жид. Что же касается дяди Левы, то я недавно читал советскую книжку, как эсэсовец застрелился, узнав, что он не ариец. Этим я тихонько намекаю, что и сам дядя Лева, возможно, был...

СОРОКАЛЕТНИЕ БЕЗДЕТНЫЕ РУССКИЕ: тетя Муся и дядя Лева, повторим мы, терпеливо дождавшись конца авантюрной тирады медитирующего. Богатые русские — за два года до начала Всемирного фестиваля у них имелся приличный холодильник, кресла «модерновые», спали они на деревянной кровати, выделив гостям раскладушку и раздвижное кресло, тетя Муся носила шелковый халат (с птицами), угощала мальчика вишней, сливой, арбузом, дыней. Папа-покойник тоже не чурался радостной жизни, зайдет в шалман, стаканчик портвейна спросит, пивком запьет, конфетой закусит и ходу в Кремль, смотреть Царей. В зоопарк также ходили. Мальчик сделал бумажный пропеллер на палочке и бегал по химкинскому двору, отчего пропеллер весело кружился. Его остановили столичные дети обоюго пола. Они

сказали: «Давай играть. Ты откуда?» — «Из Сибири. Я хочу с вами играть...» — «Только — чур, чур, трусов с меня не сымать», — деловито договаривалась девочка. Ее товарищи грубо расхохотались, а приезжий был сладостно изумлен: как это можно? посметь?! снимать трусы?!?!! Дети очень долго играли вместе — и бегали с пропеллером, и прятались, и скакали, и кричали: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе голить...» Трусов не сымали.

БОРМОТАНИЕ ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Неужели годы учебы в Московском геологоразведочном институте имени С. Орджоникидзе (1963—1968) являются лучшими годами моей жизни? Я жил тогда в общежитии на улице Студенческой, играл на гитаре, пел песни Б. Ш. Окуджавы, пил водку, вино, пиво, читал в Ленинской библиотеке роман Дж. Джойса «Улисс», потому что все редкие книги выдавались тогда кому попало, то есть и мне тоже. Занимался науками — геодезией, картографией, кристаллографией, минералогией, математикой, физикой, теорией научного коммунизма и другими. Боже мой! Да я ведь получаю довольно образованный человек! Напротив моего дома строит Палеонтологический музей, красный, кирпичный, очень красивый! Как только его достроят, наймусь туда сторожем. Мне к тому времени, если господь даст, будет около сорока, так что самый возраст настанет идти мне в сторожа, если, конечно, не выпрут меня с моей нынешней работы раньше, чем я думаю, и мне тогда раньше придется идти в сторожа, не дожидаясь завершения палеонтологической стройки... Если со мной и еще что-нибудь не случится, связанное скорее с дьяволом, чем с господом... Не уверен, что «дьявол» пишется с большой буквы, не знаю, в каких отношениях находятся дьявол и господь, знаю, что умру, и на могиле будет расти лопух, а что станет с душой, не знаю...

Не знаю. Не знаю. Не знаю.

Не знаю. И знать не хочу.

(Стихи сибирского поэта А. Т.)

СТУДЕНТ. Платили стипендию в размере 45 руб. в месяц, и следует подчеркнуть для реализма, что, кабы не пьянствовал, то денег хватало бы вполне, несмотря на то что отец умер в 1961 году, а мать получала пенсию то 36 руб. 75 коп., то 42 руб. 50 коп. (в зависимости от группы инвалидности). Но осуждать нельзя: пьянствуя, много повидал разных людей и еще больше наслушался от них разных историй. И жизнь была вполне сносная — носил «техасы» за 5 руб., башмаки на микропорке (12 руб.), демисезонное пальто из перелицованного габардина, за общежитие брали 3 руб., комплексный обед из трех блюд стоил 35 коп., каждое лето зарабатывал на практике по 300—500 руб. (высокооплачиваемые геологические работы в условиях Крайнего Севера), руководимый и вдохновляемый лучшим другом и компаньоном жизни Борисом Е. овладел серией денежных шуток (спорим на бутылку, что встанем оба на расстеленную газету и ты меня рукой не достанешь?). То есть средний прожиточный доход молодого человека приближался к 70 ежемесячным руб., что совсем недурно для его лет,

учитывая, что предел низкой оплачиваемости составлял тогда в нашей стране 60 руб., а самая дорогая водка стоила 3 руб. 07 коп. Совсем недурно, и нечего ему прибедняться, нечего корчить из себя сироту.

И все же наступал тот день, когда им понималось (не «он понимал», а «им понималось») — пора...

Пора ехать к тете Мусе и дяде Лева. Во-первых, навестить родственников, во-вторых, пообедать, в-третьих, денег занять, потому что их опять нету. Нумерация причин важности визита произвольная.

Он денюги всегда занимал с дрожанием сердца, будто в воду холодную бросаясь. Готовился на кухне, когда тетя Муся котлетки жарила, а он ей докладывал о своих успехах в учебе, с дядей Левою телевизор глядя, уже подбирая слова, которые окончательно оформлялись во время обеда, когда он сфларсился есть, а не жрать. И все же страшно потом, почти на пороге, вдруг им выпаливалось:

— Да, тетя Муся, я совсем забыл. Вы не могли бы мне одолжить до стипендии рублей десять?

Честные, правильные люди! Ни насмешки, ни порицания, ни излишней важности...

— Мария, дай! — ровно и достойно говорил дядя Лева, не отрываясь от телевизора.

Тетя Муся, исхудавшая, бледная, но все еще практически здоровая, ковляла в шелковом халате (с птицами), открывала створку зеркального шкафа и, покопавшись, доставала из его глубин красную бумажку.

— Возьми, племянник, — спокойно говорила она.

Студенту становилось жарко и весело. Он чуть ли не хохотал. А денег он не отдавал никогда. Дядя Лева угощал его на дорожку коньяком.

— Мария, налей племяннику, он молодой, пускай выпьет, — говорил дядя Лева, не отрываясь от телевизора.

ПОРА ПРО ТЕТКИНУ ПОДРУГУ. Сцена разворачивается тоже в Химках, тоже в коммуналке, но совсем другой — на улице Московской, близ аптеки, слева от железнодорожного полотна, если ехать из Москвы. Там в соседях Анька жила, которая была «техничка», то есть уборщица. А муж ее по циническому русскому выражению «объелся груш», пьяница, значит, был изгнан, вместе не жили. Мальчонка подрастал, бледный, голодный, талантливый. Дядя Лева его любил и гордился его успехами в учебе. Дядя Лева был хороший человек: по Анькиному заказу он мальчонку порол ремнем, потому что тут нужна была «мужская рука». (Чего-то там этот мальчонка вечно бедокурил, невзирая на талантливость, и драли его как сидорову козу.)

Но Анна Евграфовна отнюдь не была теткиной подругой. Она была тоже «бедная», и ее угощали калиновым пирогом. (Вранье! Тетка сама ничего не пекла и сладкий модерн тех лет, вафельный торт, например, с орехами покупала в магазине. Это Анька скорее могла бы ей пирожка поднести — пышного, капустного, демократического, с румяной коркой...)

А дяди Лёвы в тот день не было дома, и вечером он тоже не пришел.

Значило ли это, что он был в командировке? Не значило. Вполне возможно, что он возвратился домой ночью, но студент к тому времени уже уехал на электричке в Москву, вдосталь нашатавшись по химкинской платформе, снедаемый романтическими пьяными планами захвата подруги с целью любви. И дальнейшей совместной поездки с нею на станцию Сходня, где она проживала в собственном домике, будучи вдовой.

Чушь и глупость! Если тете Мусе было тогда лет 50, то и подруге соответственно было года 52. Студент помнит седые прядки ее черной прически и твердо знает, что ему в то время только что исполнилось 19.

Его накормили, ему поднесли коньячку, несмотря на отсутствие дяди Левы, и он с голодухи сильно опьянел, так что едва-едва успел занять денег. Окружающий мир плавал в глазах, и ему стало чудиться, что с подругой у него все сегодня же и получится. Он, покраснев, нечто бормотал, пересел к подруге, тянулся целоваться, лез рукой и приговаривал громким шепотом:

— Давай скорей сейчас отсюда уедем и поедем к тебе. Ты понимаешь меня? Тихо, а то нас услышат.

Наутро он валялся на общежитской тюфячной койке и обмирал со стыда и с похмелья. «Боже мой! — пугался и пугался он. — Ведь они все видели и слышали. Слышали, как шептал, видели, как за пазуху потной лапой лез... Боже мой!» Но ведь если фактически разбираться, то ОНИ — это тетя Муся и ОНА, то есть собственно предмет страсти, ее подруга... Почему же эти две, прямо скажем, пожилые женщины не остановили распоясавшегося юношу? Почему тетка не сделала племяннику резкого выговора, замечания? Не предложила в конце концов покинуть ее хлебосольный дом, превращаемый им в вертеп? Подруга зачем не вспыхнула, обозлившись, не прикрикнула, не поднялась, роняя стул?.. Тайна?

Да, тайна, с чем приходится согласиться и ныне, по прошествии почти 20 лет после описываемого случая. Несомненно, что там наличествовала какая-то тайна! Поведение юноши вполне объяснимо: он в то время пробавлялся связями, про которые пишут на плакатах в вендиспансере, то есть редкими и случайными, имел в Сибири «невесту», которая дожидалась, когда он закончит институт, — с ним все понятно. Но почему столь сонно восприняли его безнравственный поступок обе подруги? И тени неловкости не испытывали они — тетка продолжала угощать-потчевать, денег дала. Подруга не чуралась поцелуев и объятий. Почему? Кто ответит? Кто? Тетка комсомолка была, потом — беспартийная большевичка, в военной форме висела на стене и часто поднимала тост за родное правительство, три четверти желудка у нее вырезали... Подруга — солидная дама, не иначе вместе служили, тоже должна была нравственность блюсти и утверждать мораль. Почему?

Тайна.

И все варианты ее решения — серая чушь, не имеющая отношения ни к жизни, ни к искусству. Робкая надежда — может, были бабы частично глуповаты, частично развратны, частично он все перепутал

(наврал по пьянке Борису Е., так потом и в голове отложилось) — робкая эта надежда опровергается совершенно. Студент помнит, что лез к 52-летней молодой старухе, и та его не отталкивала, и что тетка (на стене — в военной форме, в жизни — шелковый халат) его за это не порицала. И что потом все как-то незаметно расстроилось, несмотря на удачный дебют. То ли любовь должна была следом выйти, но не вышла, и он напрасно ждал ее в подъезде и метался по серой платформе, встречая и проваякая чужие электрички... Или даже вроде бы снова поднялся он в квартиру, и дверь ему открыла Анна Евграфовна, а потом вышла тетя Муся и сказала, что подруга давно ушла, и сильно удивлялась, глядя на взволнованный студенческий вид...

ЗАВЫЛ ИЗ ОЧЕРЕДИ. — Боже мой! Боже мой! Я на 100 процентов знаю, что я ТОЧНО поднимался в квартиру и тетка ТОЧНО удивлялась, глядя на меня. Ответьте же тогда, что значит вся эта дьявольщина? Ангелы ль они были? Суки ль? Иль просто животные, растения, минералы? Корифеев? Скажи, ответь, разве тебя зря выперли по не зависящим ни от кого обстоятельствам? Дмитрий Александрович, дай концепцию! Ваткин, отзовись Ренессансом! Комик Шёвченко, развеи мою печаль! Фитов, приведи пример из собственной жизни, ведь ты старше и умнее меня, кто мне теперь будет опорой? Поэт Курбчевский, историк Ханчев, Каверинцев, Гробс уезжающий, да помогите же вы мне!.. Сводня и Сходня? Ангел? Херувим в военной форме и шелковом халате? Дура? Не смей оскорблять! Руки прочь от тети Муси!..

МОЛЧАТ ВЕЛИКИЕ ТЕНИ. Жаль, что дяди Левы дома не было. При нем студент вряд ли посмел пускаться на подобные штуки, а тогда и тайны никакой не было бы. С другой стороны, есть что вспоминать, стоя в очереди, в расцвете, тьфу-тьфу-тьфу, так сказать, сил, когда тошно и «чем случайней, тем вернее...». У тебя есть тайна, следовательно, ты существуешь. Мышинные серые мелочи жизни! О, как прекрасны вы! Разум не способен понять, что же все-таки произошло тогда, летним ли, осенним вечером, почти что 20 лет назад, когда он бегал по туманному перрону станции Химки Октябрьской железной дороги, и уже сгушалась окончательно тьма, плотная, как туман, и зажигались ночные фонари, высвечивающие воздушную и земную слякоть, мертво ухала приближающаяся электричка, разрезая световым ножом плотное кисельно-туманно-дождливое перронное варево!.. Тайна, и все тут!

А ТЕТКИНА ЖИЗНЬ ШЛА К КОНЦУ. Она лежала в больнице, шаркала шлепанцами, размахивала немеющей рукой и в 1971 году решила съездить на родину, в сибирский город К.

К тому времени студент закончил учебу и возвратился в город К. Мама его умерла в 1970 году, о чем он неоднократно упоминал во многих своих произведениях, которые были, а теперь сплыли, потому что он их нес в редакцию печатать, да по дороге и утратил, как Хемингуэй, по не зависящим ни от кого обстоятельствам. Невесту сначала он бросил, а потом и она его. Жил он тогда совершенно один, то есть в постель пускал, в душу — никого, возможно, и сам не понимая, что это означает, душа. Излишне говорить, что по обширной его квартире шатались девки, катались пустые бутылки, по утрам пьяницы чай пили в простынях за большим овальным столом, крытым скатертью в ме-

ленький горошек. Ведя разгульную молодую жизнь, он неплохо зарабатывал и практически ничего не боялся, не то что сейчас, когда стал он теоретическим трусом, бормочущим по очередям.

Но в то утро, когда пришла тетка, у него, к счастью, оказался дома полный порядок.

Он только что выгнал пьяниц и вымыл полы, и дул ветер с реки Е., наклоня балконную штору, и лето, и жарко, а тут тетя Муся пришла, и с ней тетушка Ирина с внучком, и еще кто-то, а у него, как на грех, ничего нет в доме покушать. Он страшно смутился, полетел в гастроном, купил хлеба, колбаски, рыбных консервов, варенья. Тетя Муся была важная, в крепдешиновом платье, она была из Москвы и сильно гордилась перед своими сибирскими родственниками. Он подумал, не дать ли ей денег, рублей 100—150 и не дал, потому что такой суммы у него в наличии не имелось.

Да ей и не надо было! Да и что там говорить — все это давным-давно прошло, все прошло, проходит и пройдет, и бог знает, зачем только и жили люди на земле, если они занимались такими мелочами.

И вот он переезжает на постоянное жительство в окрестности города Москвы, столицы нашей Родины. Наносит визит химкинским родственникам и становится свидетелем неприятного инцидента, разыгравшегося во время обильного обеда в их однокомнатной квартире на улице Маяковского, дом 28, за кольцевым шоссе, если ехать из Москвы.

Неприятный инцидент. Дело в том, что дядя Лева, выйдя на пенсию, то ли выпивать стал чаще, то ли пьянеть больше. Наполняя рюмочки и стаканчики, он вдруг сплел целую речь, тезис которой заключался в том, что в процессе разрушения телесной оболочки человека духовная любовь к нему исчезает, вернее, замещается. Замещается жалостью, каковая вовсе не является синонимом любви...

Что и вызвало немедленную вспышку гнева у тети Муси. (Нахолившийся больной воробей прыгает косовато по асфальту, а на следующий день серая тушка валяется, и ты брезгливо отворачиваешься, спеша на работу...)

— Значит, ты теперь меня не любишь? — все твердила и твердила тетя Муся.

— Мария! Не пори горячку! Поддай-ка мне лучше баян! — приказал дядя Лева и, широко разведя мехи, запел:

Это русские картины,

Это — Родина моя...

А тетя Муся вскоре умерла.

СМЕРТЬ. Мы ехали среди русских картин по кольцевому шоссе из Химок в крематорий № 2. Светлая память тете Мусе и вечный покой: автобус комбина та ритуального обслуживания, лента напряженного шоссе, огибающего столицу, в разных концах которой торчат толстые серые конусы теплоцентрали. Молчание. Дядя Лева — вдовец. Кто-то закурил, погасил. Закурили.

Мне непонятен обряд кремации, и я утверждаю, что это похороны без катарсиса. Дьявольские штучки — органист во фраке, высокие

потолки, здание светлое, просторное, в центре — плита, куда ставят гроб, и он медленно уходит в пустоту под траурную музыку, по последнему слову немецкой науки и техники. И хочется броситься вслед, но металлические створки смыкаются, смыкаются, смыкаются. Сомкнулись. Конец? Нет, что вы... На кладбище хорошо, там земля шуршит и комки осыпаются, а в земле живет червь могильный, но человек умирает один раз, а хоронят его дважды. И — урна вместо гроба. За что?..

Поминки. Русские поминки. Женщины хлопочут и возятся на кухне, мужчины постепенно напиваются. Ладно, мы так устроены, и некому нас за это судить.

А только дядя Лева на поминках сильно струсил. Как тут же выяснилось, он трусил будущего праха тети Муси, который следовало получить через неделю. Дядя Лева отвел меня в сторону и начал издали. Он сказал, что всегда относился ко мне как к родному, что он уже окончательно стал стар, что у него расстроены нервы, что он многое видел в жизни и жизнь обошлась с ним неласково. Далее он попросил меня забрать урну с прахом покойной и «пока подержать у себя дома». До okazji. До того времени, когда я или еще кто-нибудь не поедет на родину, в наш город К., и не свезем туда урну, ибо это и было основное желание покойной — «лежать в родной земле». Пьяньский дядя Лева врал и не глядел мне в глаза, но сообщил, что все расходы по кремации уже оплачены, и что я человек молодой, а он стар, болеет, нервы у него изношены, и что он просит об этом как о личном одолжении.

Через неделю я отправился в крематорий № 2, где за столом, под табличкой «ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ НИШ», сидел рыжий малый в черном сатиновом халате и каракулевой шапке пирожком. Он бессмысленно глядел в стекло, что лежало на столе, прикрывая табель-календарь, вырезанный из какого-то западного журнала. Рядом стояла небольшая очередь, но не к нему, а к окошку с надписью «ВЫДАЧА ПРАХА». Там орудовала, и точнее слова не подберешь, миловидная дама, вся в золоте, красивая, пухлая, в модных одеждах. У окошка внезапно разыгрался скандал. Одна шумела, что ей дали «не тот прах». Выдавальщица сначала закричала, чтобы не мололи ерунду, «поскольку это исключается автоматически». Но потом, увидев действительное несовпадение номеров в квитанции и выданной урне, слегка смутилась и ушла искать настоящий прах. Рыжий малый внезапно распахнул уличные двери и, напустив холоду, стал что-то быстро мести веником. Я уверен, что он заметал зеленых чертей. Потом он обратился к очереди:

— Ну, у вас, значит, все в порядке?

— Где же в порядке, если вы прах перепутали, мерзавцы?! — завизжала близкая к истерике женщина.

— Ну и хорошо, что все в порядке,— резюмировал малый. Вернулся на свое рабочее место и открыл дверцу стенового шкафчика, где углядел у него початую и заканчивающуюся поллитру водки. Он и выпил из стакана. Я разинул рот от удивления. Пришла толстуха, сказала, что все действительно в порядке и прах перепутала не она, а ее сменщица, которая «сильно пьет». Дала адрес, куда посоветовала обратиться немедленно, потому что перепутанный прах увезли лишь сегодня утром, «вот-вот перед вами», и, наверное, не успели еще захоронить.

Без каких бы то ни было скандалов я получил урну с прахом тети Муси и, сличив номера, убедился, что действительно получил урну с прахом тети Муси. Уходя, я вновь залюбовался рыжим смотрителем, который разложил на столе большой лист ватмана с фотографиями, где веселые девчата в джинсах, а также мужики и богато одетые бабы сгребали граблями мусор, жгли его, подметали асфальт и мыли окна. И прилежно выводил поверх фотографий красной тушью плакатного пера «МЫ НА СУББОТНИКЕ». Я от души пожелал ему успеха. Он мне не ответил. С этого дня я решил ходить в церковь. Я думал, что если мне сначала будет совестно креститься и подпевать, то я буду хотя бы стоять в стороне, слушая, как трещат догорающие свечи, бормочет служитель культа и вздыхают граждане, верящие в православные обряды. Урну я сvez в город К., а дядю Леву с тех пор не видел.

— Алена! Алена! Дрянь ты эдакая! — услышал вдруг медитирующий чей-то страшный голос. Он обернулся. Какая-то растрепанная женщина в дубленке искала свою дочку, которая, играя, пряталась меж высоких штабелей минеральной воды, в залежах капусты, среди ровно уходящих вдаль мириад консервных банок.

— Гражданка, не надо так кричать. Вы испугаете девочку. Таким своим криком вы можете испугать не только детей, но и взрослых, — мягко обратился я.

Женщина, прищурившись, ничего мне не ответила, а девочка приблизилась и, враждебно на меня посмотрев, высунула маленький красный язык.

Тут и моя очередь подошла. Я отдал за товары 17 руб. 54 коп. и остался этим весьма доволен. Ведь теперь у нас с женой будет в доме изрядный запас еды и нам не нужно будет завтра снова стоять в очереди. В доме воцарится мир, согласие, покой и начнется новая, светлая жизнь, близкая к наилучшему устройству.

«Господи, дай силы жить и не уставать к вечеру!» — прошептал я и направился к выходу.

Немного о личности автора. Он родился в Сибири (1946), в семье отца, который не дослужился до чаемых чинов по не зависящим ни от кого обстоятельствам. От матери автор унаследовал любовь к художественной литературе и СССР. В детстве слушал сказки. Где живет и работает старшая сестра автора, он не скажет, потому что она скромный человек и это может огорчить ее. У автора много друзей. У него есть жена. Он любит ее, и они дружат друг с другом. Автор образован. Он закончил красноярскую среднюю школу и Московский геологоразведочный институт.

В 1956 году автор написал письмо в одно из издательств, что для детей выпускают мало высокохудожественной литературы, и с тех пор имел от указанной литературы многие практические печали, изредка перемежаемые яркими вспышками прекрасности. У него есть литературные учителя. Почти все они умерли, но некоторые здравствуют, и автор желает им крепкого здоровья, творческих успехов, счастья в личной жизни.

Евгений Тонков

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

Свой круг

Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей, все приходит как один, а кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише, сама же Мариша или все разъяренное общество: как не пускали долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас неприкосновенность, он наша гордость и величина, он, например, давно вычислил принцип полета летающих тарелок. Вычислил тут же, на обороте тетради для рисования, в которой рисует его гениальная дочь. Я видела эти вычисления, потом посмотрела совершенно нахально, на глазах у всех. Ничего не поняла, белиберда какая-то, искусственные построения, формально взятая мировая точка. Не для моего, короче говоря, понимания, а я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще. Стало быть, ошибся Серж со своей искусственно взятой мировой точкой, причем он же давно не читает литературу, надеется на интуицию, а литературу читать надо. Открыл тут новый принцип работы паровоза с КПД в 70 процентов, опять небывалые вещи. С этим принципом начали его вывозить в свет, туда — сюда, на капичник, к академику Фраму, академику Ливановичу. Ливанович первый опомнился, указал первоисточник, принцип открыт сто лет назад и популярно описан в учебнике на такой-то странице мелким шрифтом для высших заведений, КПД тут же оказался снижен до 36%, результат фук. Тут все равно ажиотаж, образовали отдел у Ливановича, нашего Сержа ставят завом, причем без степени. В наших кругах понимающее ликование, Серж серьезно задумался над своею жизнью, те ли ему ценности нужны, решил, что не те. Решил, что лучше останется у себя в Мировом океане, все опять в шоке: бросил карьеру ради воли и свободы, в Мировом океане он просто рядовой младший научный сотрудник, ему там полная свобода и атлантическая экспедиция вот-вот, давно намечающаяся, с заходами в Ванкувер, Бостон, Гонконг и Монреаль. Полгода моря и солнца. Хорошо, выбрал свободу, там, в его кровном детище с КПД 36% отделе уже набрали штат, взяли заведующим бездаря кандидата наук, все забито, они начали трудиться не спеша и вразвалочку, то в буфет, то в камандировку, то курят. За Сержем ездят консультироваться, вернее, сначала ездили, два раза, Мариша смеялась, что в Мировом океане не знают уже, кого за кого принимать, какого-то Сержа, мэнэсса, все время у них из-под носа утаскивают на консультации. Но потом это быстро прекратилось, те вошли в колею, дело ведь не простое, дело не в принципе, а в иной технологии, ради которой ломать существующее производство,

не нужно электричество, все возвращается в век пара, все псу под хвост. Таким образом, вначале вместо прогресса летит к черту вообще все, как всегда. А все это пробивает один отдельчик в пять душ, там у нас устроилась лаборанткой одна знакомая, Ленка Марчукайте, приходит, приносит утешительные новости, что кандидат наук вот-вот рождает ребенка на стороне, на него готовится письмо тех родителей, на работе он в полной отключке, орет по телефону, а комната одна, и ни о какой энергетике нет слов. Пока готовят проект решения по передаче им опытно-испытательного верстака в подвале института на три часа ночного времени. Но Сержу эта воля и свобода обернулись гораздо хуже, пришло время оформляться с анкетами в экспедицию, он в анкете написал, что беспартийный, а в год поступления в Мировой океан написал в анкете же, что член ВЛКСМ. Обе записи сравнили, выяснилось, что он самостоятельно выбыл из рядов комсомола, даже не встал в Мировом океане на учет в комсомольскую организацию, итого не заплатил членских взносов за много лет, и выяснилось, что это не поправишь ни взносами, ничем, и в океан его не пропустила комиссия. Все это, придя, рассказал тот же Андрей-отщепенец, и его оставили со всеми пить водку, и он в порыве сказал, что чтобы ему никто ничего не говорил, он за включение в экспедицию стал стукачом, но стучать обязан только на корабле, на суше он не нанимался. И действительно, Андрей ушел в океан, а пришел оттуда — привез из Японии маленький пластиковый мужской член. Почему же такой маленький, а потому, что не хватило долларов. А я сказала, что это Андрей привез для дочери. А Серж сидел печальный, хоть ему и дана была полная свобода, весь институт ходил в океан, а он с небольшим составом лаборанток осуществлял отправку, переписку и прием экспедиции в Ленинграде. Однако это было давно и неправда, кончились те дни, когда Серж и Мариша совместно тосковали о Серже и стойко держались, кончились все дни понимания, а наступило черт знает что, но каждую пятницу мы регулярно приходим, как намагниченные, в домик на улице Стулиной и пьем всю ночь. Мы — это Серж с Маришей, хозяйка дома, две комнаты, за стеной под звуки магнитофона и взрывы хохота спит стойко воспитанное дитя, дочь Соня, талантливая, своеобразная девочка-красавица, теперь она моя родственница, можете себе представить, но об этом впереди. Моя родственница теперь также и Мариша, и сам Серж, хоть это смешной результат нашей жизни и простое кровосмешение, как выразилась Таня, когда присутствовала на бракосочетании моего мужа Коли с женой Сержа Маришей, — но об этом после.

Значит, вначале было так: Серж с Маришей, их дочь за стеной, я тут сбоку припеку, мой муж Коля — верный, преданный друг Сержа; Андрей-стукач сначала с женой, Анютой, потом с разными другими женщинами, потом с постоянной Надей; дальше Жора — еврей наполовину, по матери, о чем никто никогда не заикался, как о каком-то его пороке, кроме меня. Однажды Мариша, наше божество, решила похвалить невзрачного Жору и сказала, что у Жоры большие глаза — какого же цвета? Все говорили, кто желтые, кто светло-карие, а я сказала еврейские, и все почему-то смутились, и Андрей, мой вечный враг, крякнул. А Коля похлопал Жору по плечу. А чего, собственно, я ска-

зала? Я сказала правду. Дальше: с нами всегда была Таня, валькирия метр восемьдесят росту, с длинными белокурыми волосами, очень белыми зубами, которые она маниакально чистила три раза в день по двадцать минут (час — и ваши зубы будут белоснежными), а также с очень большими серо-голубыми глазами, красавица, любимица Сержа, который ее иногда гладил по волосам, очень сильно напившись пьяным, и никто ничего не понимал; а тут же сидела Мариша как ни в чем не бывало, а я сидела тут же и говорила Ленке Марчукайте: «Почему ты не танцуешь, потанцуй с моим мужем Колей», — на что в ответ все грубо хохотали, но это уже был самый закат нашей общей жизни.

Тут же была Ленка Марчукайте, девка очень красивая, бюст пятого размера, волосы длинные русые, экспортный вариант, двадцать лет. Ленка вначале вела себя как аферистка, каковой она и была, работая в магазине грампластинок. Она втерлась Марише в доверие, рассказав ей о своей тяжелой жизни, потом хапнула у нее двадцать рублей и ходила с этим долгом как ни в чем не бывало, потом исчезла, вернулась без четырех передних зубов, отдала двадцать рублей (вот видите? — победно сказала Мариша) и сказала, что лежала в больнице, где ее приговорили, что у нее не может быть детей. Мариша еще более ее полюбила, Ленка у нее только что не ночевала, но без зубов это уже было другое, не экспортное исполнение. Ленка с помощью Сержа устроилась лаборанткой в его 36-процентном отделе, вставила себе зубы, вышла замуж за еврейского мальчика-диссидента Олега, который оказался сыном известной косметички Мэри Лазаревны, и в этой богатейшей семье Ленка была некоторое время как бы нашим лазутчиком, со смехом рассказывала, какая у Мэри спальня, какие шкафы, за каждый из которых можно прожить жизнь в долларах, и что Мэри подарила ей еще. Мэри баловала Ленку и говорила, что ее кожа — это естественное богатство. Кожа у Ленки была действительно редкой природной тонкости, белый жир и красная кровь давали небывалое сочетание даже в разное время дня, все равно как закат или восход, а губы у нее вообще были красные как кровь. Такая же кожа бывает сплошь у всех детей, у моего Алешки, например. Но Ленка обращалась с собою пренебрежительно, бегала по разным притонам как вертикастка, себя не ценила и наконец объявила, что ее Олег уезжает со всеми своими через Вену в Америку, а она не поедет — и не поехала, разошлась с Олегом, стала отличаться тем, что, придя в дом, тут же садилась к кому-нибудь из мужчин на колени и прекрасно себя чувствовала, а бедные наши мальчики, хоть мой Коля, хоть стукач Андрей, коть Жора — криво при этом ухмылялись. Только Сержу она не рисковала садиться на колени, Серж был неприкосновенным, да еще тут же находилась Мариша, обожаемая Ленкой, и над Маришей смеяться Ленка не могла, как она смеялась над всеми нами и над молодой женой Андрея-стукача, которая вспыхнула и ушла на кухню, когда Ленка плюхнулась на колени к Андрею, ничего при этом не подразумеваемая. Эта жена Надя была еще моложе Ленки, ей вообще было восемнадцать лет, а дать ей можно было пятнадцать, худая, тонкая, рыжая, испорченная по виду школьница, на это только и мог клюнуть Андрей, который давно был известен благодаря болтливости своей казенной

жены Анюты как полный импотент, которому ничего не нужно. Испорченная-то Надя испорченная, но вышла замуж и стала баба бабой, откроет пасть эта нимфетка и поет: то-то она сварила, так-то Андрей пил, и она его не пускала больше пить, то-то они купили. Единственное, что при ней осталось от ее испорченности и извращенности,— это выпадающий глаз, который при каких-то неловких движениях выскальзывал из орбиты и вываливался на щеку, как яйцо всмятку. Страшное, должно быть, зрелище, но Андрей с этим носился, возил Надю, держащую глаз на ладони, в больницу, там им этот глаз вправляли, и вот в эту ночь Андрей, я думаю, бывал на высоте. И с предыдущей, Анютой, Андрей жил ради волнующих моментов ее припадков, когда он возил ее, закутанную в одеяло, в «скорых помощах» из больницы в больницу, пока не выяснилось, что у нее так называемая ядовитая матка. Эта ядовитость Анютиной матки имела хождение в нашем кругу, и на Анюте и Андрее лежала печать обреченности. У всех у нас уже были дети, у Жоры трое, у меня Алеша, и стоило мне не появиться в доме Сержа и Мариши недели две, как по рядам проходила весть, что я рожаю в роддоме: так они шутили над моим телосложением. У Тани был сын, известный тем, что во младенчестве ползал по матери и сосал то одну грудь, то другую, и так они и развлекались. У Андрея же и у Нади детей быть не могло, и их было жалко, поскольку без детей как-то нелепо жить и не принято было жить, самый-то эффект заключается в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувствовать себя людьми и загулять на полную мощность, даже вплоть до вызова милиции той, другой стороной улицы Стулиной. У Анюты же и у Андрея была обреченность, пока однажды Анюта вдруг не родила дочь ни с того ни с сего, почти не изменившись! Ликование было полным, Андрей в ночь родов принес Сержу две бутылки водки, вызвали моего Колю и всю ночь пили, и Андрей сказал, что назовет свою дочь Маришей в честь Мариши, и Мариша была неприятно задета этой честью. Но делать нечего, не запретить, и прихлебала Андрей назвал дочь Маришей. Но на этом праздник, а также семейная романтика закончились, и Андрей, надо думать, надолго забросил свои супружеские обязанности, а Анюта, наоборот, почувствовала свою обыкновенность, стала как все женщины безо всяких припадков, и в связи с этим стала приглашать в течение года продолжавшегося декретного отпуска все новых и новых друзей, и тут Андрей ушел на ролях стукача в плавание, а вернувшись, нашел у себя дома целый рой знакомых, привлеченных, по-видимому, холостым состоянием Анютиной прежде ядовитой матки. Андрей нашел новую романтику в своем положении брошенного мужа, стал романтически приводить к Сержу и Марише отборных девушек, а Ленка Марчукайте нагло садилась ему на колени, как бы припечатывая его уже истощившиеся, сделавшие свое дело детородные органы. Это у нее была такая шутка и издевательство.

Она села как-то на колени и к моему Коле. Коля, худой и добрый, был буквально раздавлен весом Ленки и физически и морально, он не ожидал такого поворота событий и только держал руки подальше и бросал взоры на Маришу, но Мариша резко отвернулась и занялась

разговором с Жорой, и вот тут я начала что-то понимать. Я тут начала понимать, что Ленка дала маху, и сказала:

— Лена, ты дала маху. Мариша ревнует тебя к моему мужу.

Ленка же беззаботно скрючила рожу и осталась сидеть на Коле, который совершенно завял, как сорванный стебелек. Тут, я думаю, началось охлаждение Мариши к Лене, которое и привело к постепенному исчезновению Ленки Марчукайте, особенно когда та в конце концов родила мертвого ребенка, но это уже было потом. А в тот момент все в ответ как-то преувеличенно захопотали: Таня чокнулась с Сержем, Жора наливал, подал навьюченному Коле и холодной Марише, Андрей галантно заговорил со своей душой Надюшей, которая победоносно смотрела на меня, жену придавленного мужа.

К Жоре Ленка Марчукайте, однако, садиться не рисковала никогда, это было небезопасно, поскольку Жора демонстрировал, как многие маленькие мужчины, постоянное сексуальное возбуждение и любил всех — Маришу, Таню и даже Ленку, и Ленка, существо совершенно холодное, рисковала вызвать у Жоры покушение на изнасилование при всех, как это уже было с одной дамой Андриюши, притворявшейся в танце с Жорой жутко темпераментной, а с Жорой этого допускать было нельзя, и Жора, когда кончилась музыка, прямо схватил свою рослую даму за подмышки и поволок в соседнюю комнату как бы в беспомощности, а в соседней комнате, это было хорошо известно, в эту ночь никто не спал, дочь Мариши и Сержа находилась у бабушки. Жора успел свалить ополоумевшую даму на маленькую кровать Сонечки, но пришли невольно усмехающиеся Серж и Андрей и оттащили Жору, и переполошенная дама одернула задравшееся в ходе борьбы платье. Событие вызвало жуткий смех на всю ночь, но, кроме того, все, кроме посторонней дамы, знали, что тут есть игра, что Жора все играет со студенческих лет в бонвивана и распутника, а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим трем детям, и только по пятницам он набрасывает на себя львиную шкуру и ухаживает за дамами, пока ночь.

Но осторожная Ленка Марчукайте, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызвать Жору на его привычную роль, это уже было бы слишком, два спектакля, это обязывало к какому-то завершению: Ленка сядет, Жора немедленно начнет лапать и так далее, а этого Ленка не любила, как, в сущности, не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчукайте была и прошла, как того захотела Мариша, была и исчезла, и когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит как очередная бестактность.

* * *

У меня все как-то перепуталось в памяти в связи с последними событиями в моей жизни, а именно в связи с тем, что я начала слепнуть. Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто

собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях, — все это пролетело мимо. Иногда залетали залетные пташки из других, смежных областей человеческой деятельности, как-то повадился ходить на пятницы участковый милиционер Валера, человек, знающий самбо, заносчивый и упрямый. Дверь в квартиру не закрывалась по пятницам, прямо с тротуара три ступеньки и дверь; он пришел в первый раз, спросил у всех документы в связи с жалобой жильцов противоположного дома на улице Стулиной на превышение шума после одиннадцати часов вечера и вплоть до пяти утра. Валера тщательно проверил у всех документы, вернее, проверил их наличие, потому что ни у кого из мальчиков паспортов не оказалось. У девочек он не проверял, это в дальнейшем навело на мысль, что Валера кого-то искал, всю последующую неделю все оживленно и нервно перезванивались, все были жутко смущены, испуганы и горели огнем. Действительно, в нашу тихую обитель, в которой шумел только магнитофон, ворвалась какая-то опасность, мы оказались в центре событий из-за Валеры и проверки документов. К следующей пятнице все уже точно предполагали, что Валера ищет американского русского Левку, который уже год живет с закончившейся визой, скитаясь по частным квартирам и притонам, причем живет не из желания не возвращаться в Штаты, а просто прогулял срок, за что, ему сказали, по нашим законам полагается отсидка, и тогда он стал скрываться, и его все привечали с шумом и смехом, а у Мариши я его ни разу не видела, у соседей же Маришиных по дому, подозрительной компании, состоящей из двух вечных студенток без постоянной московской прописки и их разноплеменные сожители, Левка-американец иногда ночевал на полу и один раз по случайности, как рассказывали студентки, придя за рублем, сломал целку дочери министра Римке со второго курса факультета журналистики, так что Римка проснулась вся в крови и потащилась в панике отстирывать матрац на кухню, поскольку ванны в квартире не имелось. Левки же американца простыл и след, а Римма не имела претензий и теперь, говорят, в свою очередь скиталась по всем притонам в поисках Левки, которому она отдала все, по русскому понятию. С тех пор, говорят, Левка не ночевал на улице Стулиной, и, таким образом, Валера даром приходил.

Однако Валера пришел опять в пять минут двенадцатого, пришел, чтобы выключить магнитофон, магнитофон выключили и сидели, пили в тишине, и Валера сидел с непонятными намерениями, то ли он решил все-таки дождаться Левку, то ли ему просто нужно было известить под корень нашу безобидную компанию, и он просто сидел и не уходил. Мариша, горячо убедившая всех, что все люди интересны, — у нее вечно ночевали какие-то подобранные с вокзалов, месяц жила женщина с годовалой парализованной девочкой, приехавшая в институт педиатрии на консультацию без права госпитализации, — Мариша первой нашла ключ и стала вести себя так, что Валера — это несчастный и одинокий человек, в этом доме ведь никому незнакомому не отказывали в приеме, только редко кто решался навязываться. Мариша, а за ней и Серж стали возбужденно разговаривать с Валерой на разные темы, дали ему стакан сухого вина, пододвинули черный хлеб и сыр, единственное, что было на столе, и Валера не увильнул ни от одного

вопроса и ни разу не почувствовал никаких уколов самолюбия. Так, например, Серж спросил:

— Ты что, ради прописки в милицию пошел?

— У меня прописка еще раньше,— ответил Валера.

— Ну, а чего ты служишь?

— Трудный участок,— ответил Валера,— я знаю самбо, самбист, но из-за травмы плеча не получил второго разряда еще в армии. В самбо, если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал.

— Какой звуковой? — спросила я.

— Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или пернуть, чтобы не сломали руку.

Я тут же спросила, как это можно пернуть по заказу.

Валера ответил, что он не успел подать звуковой сигнал и что ему вынесли руку из предплечья, а так он имеет полный третий разряд. Потом, не переводя дыхания, Валера изложил свою точку зрения на существующий порядок вещей и на то, что скоро все изменится и все будет как при Сталине и при Сталине вот был порядок.

Короче говоря, весь вечер у нас прошел в социологических исследованиях образа Валеры, и в конце концов то ли он все-таки оказался находчивей, то ли наша общая роль была пассивной, но вместо обычного анкетирования, как это у нас уже не раз бывало с залетными пташками, типа проституток, приводимых Андреем, или с теми, кто, заинтересовавшись музыкой, останавливались под окном на тихой улице Стулиной и завязывали с нами через подоконник разговор и в конце концов влезали в комнату тем же путем и были затем вынуждены отвечать на целый ряд вопросов — на сей раз дело повернулось иначе, и Валера, конкретно не касаясь своих служебных обязанностей, битый час громко поучал нас, как было при Сталине, и никто особенно ему не противоречил, все боялись, видимо, провокации, боялись высказать перед представителем власти свои взгляды, да и вообще это было у нас не принято — выражать свои взгляды, какое-то мальчишество, орать о своих взглядах, а тем более перед идиотом Валерой, ускользающим, непознанным, с неизвестными намерениями пришедшим и сидящим за бедным круглым столом в бедняцкой комнате Мариши и Сержа.

В двенадцать все, как оплеванные, поднялись и пошли, но не Валера. Валере то ли было негде провести ночь дежурства, то ли у него было четкое задание, но он сидел у Мариши и Сержа до утра, и Серж высказался, и это было потом передано массам через Маришу по телефону, что это самый интересный человек, какого он встречал за последние четыре года, но это у него была защитная формулировка и не более того. Серж целиком принял на себя Валеру, так как Мариша ушла спать на пол в комнату Сонечки, а вот Серж остался, как мужчина, и пил с Валерой чай из зверобоя, целый чайник мочегонного, причем Валера ни разу не отошел в сортир и убрался, только когда кончилось его дежурство по участку. Валера, видимо, не хотел оставить свой НП ни на секунду и совершил мочезадержательный подвиг. Со своей стороны, Серж тоже не отходил, опасаясь в свое отсутствие обыска.

Как бы там ни было, та пятница была пятницей пыток, и мы все

сидели не в своей тарелке. Ни Ленка Марчукайте ни разу не уселась на колени ни к кому, тем более к Валере, ни Жора ни разу не крикнул в форточку прохожим школьницам «девственницы», только я все спрашивала, как это самбисты научаются пердеть, усилием воли или специально питаюсь. Мне хватило этой темы на целый вечер, поскольку Валера единственного чего избегал — это именно этой темы пердения. Он как-то морщился, уклонялся от темы, ни разу больше не произнес слова «пернуть» и невзлюбил меня, как все, с первого взгляда и навеки. Но крыть ему было нечем, слово «пердеть», видимо, не значится в неопубликованном списке тех слов, за произнесение которых в публичном месте сажают на пятнадцать суток, тем более что Валера сам первый произнес слово «пернуть»! И я одна встревала в тот умственный разговор, который с помощью наводящих вопросов затеял Серж, надеясь все-таки вознестись на позиции насмешливого наблюдателя жизненных явлений, за какое-то жизненное явление мог бы сойти Валера, но Валера плевать хотел на отеческие вопросы Сержа, а пер napромлом и говорил опасные для своего служебного положения вещи насчет того, что в армии многие понимают и недолго всем вам тут гулять и что хозяин придет.

— Но все-таки,— встревала я,— это в армии учат пердеть? Но вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя пернуть и не получили разряда.

— В армии такие ребята, такой техсостав,— продолжал Валера.— У них в руках техника, у них в руках все, знающие ребята, и у них есть в голове.

Серж же спрашивал, к примеру, часто ли приходится дежурить ночью и где дали комнатку. Мариша спрашивала, женат ли Валера и есть ли дети, тоном своей обычной доброты и участливости. Таня, наша валькирия и красавица, только тихо ржала и комментировала вполголоса, нагнувшись над стаканом, особенно яркие реплики Валеры и адресовалась все время к Жоре, как бы поддерживая его в этой трудной ситуации, где он, полуеврей, но чистый еврей по виду, предъявил Валере паспорт (у него единственного был паспорт на этот раз), который Валера вслух зачитал: Георгий Александрович Перевощиков, русский!

Да, в этот свой второй визит Валера опять спрашивал паспорта и опять проверил паспорт у Сержа и опять не получил паспорт ни у Андрея, ни у моего Коли, ни у случайно забредшего на эту опасную вечеринку постороннего — редко бывающего в Москве христианина Зильбермана, который был жутко напуган и предъявил вместо паспорта свой старый студенческий билет, по каковому студенческому он вечно получал железнодорожные билеты со скидкой. Валера отобрал у Зильбермана билет, просто положил в карман, и Зильберман смылся, спросив громко, где тут туалет. Валера, хоть и угрожал вначале отвести Зильбермана вплоть до выяснения личности, не сделал вслед ни шагу, а мы все стояли и мучились, как же теперь бедный Зильберман будет бояться и трястись, и к его положению прибавится еще положение находящегося на крючке. Но, видимо, Зильберман не был нужен Валере.

Мне было интересно, как поведет себя стукач Андрей, но Андрей

тоже повел себя осторожно и сдержанно. Как только выключили магнитофон, Андрей потерял возможность танцевать с кем ему хотелось, а танцевал он капризно, иногда вообще не танцевал, а его жена Надя, обабившаяся до последней степени, несмотря на свой вид испорченного подростка, сидела в это время тоже как истукан и задним числом ревновала, так вот, Андрей сел со своей Надей. А у Нади отец был полковник на взлете, и все речи Валеры, как младшего состава, Надя воспринимала только сквозь призму того, что на вопрос Сержа, какой ему присвоили все-таки чин, Валера ответил, что многие бы хотели, чтобы не присвоили, а ему присвоили сразу лейтенанта. Надя сразу освоилась одна среди всех, стала ходить взад-вперед, повела Андрея звонить какой-то Ирочке и потом вообще увела Андрея, и Валера никак не отреагировал. Возможно, если бы мы все ушли, он бы все равно остался, здесь была его «точка» — а возможно, и нет.

Мы с Колей на сей раз не потратились на такси, а успели после метро на автобус и приехали домой как люди, и обнаружили, что Алешка не спит в полвторого ночи, а сидит осоловевший перед телевизором, экран которого горит впустую. Это было наше первое ночное возвращение с пятницы — не утреннее — и мы увидели, что Алешка тоже по-своему празднует эту ночь, а он, когда его я укладывала, сказал, что боится спать один и боится гасить свет. Действительно, свет горел везде, а ведь раньше Алешка не боялся, но раньше ведь был дед, а недавно дед умер, мой отец, а моя мать умерла три месяца перед тем, за одну зиму я потеряла родителей, причем мать умерла от той болезни почек, какая с некоторых пор намечалась и у меня и Алешка начинается со слепоты. Как бы там ни было, я обнаружила, что Алешка боится спать, когда никого нет дома. Видимо, тени бабушки и дедушки вставали перед ним, мой отец с матерью воспитывали его, баловали его и вообще растили, а теперь Алешка остается один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре умереть, а мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал или неприлично начинал орать на Алешку, когда тот ел вместе с нами, — Коля, видимо, собирался уйти от меня, причем уйти он собирался не к кому другому, как к Марише.

Я уже говорила, что над нашим мирным пятничным гнездом пролетели многие годы, Андрей из златоволосого юного Париса успел стать отцом, брошенным мужем, стукачом на экспедиционном корабле, опять законным мужем и обладателем хорошей кооперативной квартиры, купленной полковником для Надюши, и, наконец, алкоголиком; он все еще любил одну Маришу всю свою жизнь, начиная со студенческих лет, и Мариша это знала и ценила, а все другие дамы на его жизненном пути были просто замещением. И коронным номером Андреевой программы были танцы с Маришей, один-два священных танца в год.

Жора также вырос из охальника-студента в скромного, нищего старшего научного сотрудника в самой дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих детей, этакое будущего академика и лауреата без притязаний, но в нем всегда было и сидело в самом его нутре одно: любовь к Марише, которая любила всегда только Сержа и больше никого.

Далее, мой Коля тоже боготворил и любил Маришу, они все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши, и эта игра все длилась до сих пор, пока не дошла до того, что Серж, которому досталась прекрасная Мариша, жил-жил с ней и вдруг нашел себе любимую женщину, еще со школьной скамьи, и однажды в праздник Нового года, когда все напились и играли в шарады, он сказал: «Пойду позвоню любимой женщине», — и все как громом были поражены, ибо если мужчины любили Маришу и считали Сержа единственным человеком, то мы все любили Маришу и Сержа в первую голову, Серж всегда был у всех на устах, хотя сам мало говорил, это его так вознесла Мариша, которая любила его коленопреклоненно, то ли как мать, то ли как сподвижница, благоговела перед каждым его словом и жестом, потому что когда-то в свое время, еще на первом курсе, когда Серж ее полюбил в числе прочих и предлагал ей жениться и спал с ней, она ушла от него, сняла комнату с неким Жаном, поддалась эротическому влечению, отказалась от первой и чистой любви Сержа, а потом Жан ее бросил, и она сама, своей властью пришла к Сержу, теперь уже навеки отказалась от идеи эротической любви на стороне, сама предложила ему жениться, они женились, и Мариша иногда со священным восторгом проговаривалась, что Серж это хрустальный стакан. Я бы сказала ей теперь, чтобы она не спала с хрустальным стаканом, все равно не выйдет, а выйдет, так порежешься. Но тогда мы все жили какими-то походами, кострами, пили сухое вино, очень иронизировали надо всем и не касались сферы пола, так как были слишком молоды и не знали, что нас ждет впереди; из сферы пола весь народ волновало только то, что у меня был белый купальник, сквозь который все просвечивало, и народ потешался надо мной как мог; это происходило, когда мы все жили в палатках где-нибудь на берегу моря, и сфера пола проступала также и в том, что Жора жаловался, что нет уборной и что в море с этим делом трудно, дерьмо никак не отплывает, в остальном тот же Жора кричал про отдыхающих женского пола, что им нужен хороший абортарий, а Андрей романтически ходил на танцы за шесть километров в город Симеиз к туберкулезным девушкам, а Серж упорно ловил рыбу с помощью подводной охоты и так осуществлял свою мужественность, а ночами я все слышала, как из их палатки несется мерное постукивание, но Мариша была всю свою жизнь беспокойным существом с огнем в глазах, а это не говорило ничего хорошего о способностях Сержа, а мальчики все были на стреме по поводу Мариши и, казалось, хотели бы коллективно возместить пробел, да не могли пробиться. В сущности, этот сексуальный огонь, который пожирал Маришу, жрицу любви, в сочетании с ее же недоступностью позволял столь долгое время держаться общей компании, поскольку чужая любовь заразительна, это уже проверено. Мы, девочки, любили Сержа и любили вместе с тем и Маришу, переживали за нее и так же, как она, раздираемы были на части, но по-своему — с одной стороны, любить Сержа и мечтать заменить Маришу, с другой стороны, не мочь этого сделать из-за сочувствия Марише, из-за любви и жалости к ней. Короче говоря, все было полно неразделимой любовью Мариши и Сержа, неосуществимостью их любви, и на это клевали все, а Серж

бесился, единственный, у кого были все права. Однажды эта язва провалась, хоть и не совсем, когда среди безобидных сексуальных разговоров за столом — это были разговоры чистых людей, способных поэтому говорить о чем угодно, — когда речь зашла о книге польского автора «Сексопатология». Это было нечто новое для всего нашего общества, в котором до сих пор каждый жил так, как будто его случай единственный, ни самому посмотреть, ни другим показать. Новая волна просвещения коснулась, однако, и нашего кружка, и я сказала:

— Мне рассказывали про книжку «Сексопатология», и там половой акт разделяется на стадии, супруги возбуждают друг друга. Серж, надо сначала, оказывается, гладить мочку уха партнера! Это эrogenная зона, оказывается!

Все замерли, а Серж сказал тут же, что относится ко мне резко отрицательно, начал брызгать слюной и кричать, а мне что, я сидела как каменная, попавши в точку.

Но это было еще до того как Серж нашел себе любимую женщину на своей же улице детства, встретил свою юношескую эротическую мечту, теперь полную брюнетку, как донесли некоторые осведомленные лица, и до того как в квартиру на улице Стулиной стал регулярно приходить милиционер Валера и так бороться за тишину после одиннадцати часов вплоть до семи утра, и также это произошло до того как я стала постепенно обнаруживать, что слепну, и уже тем более до того как я нашла, что Мариша ревнует моего Колю к Ленке Марчукайте.

Значит, во мгновение ока развязались все узлы: Серж перестал ночевать дома, отпали все пятницы и начались такие же пятницы в безопасном месте, в комнате валькирии Тани, хотя и при участии ее сына подростка, ревновавшего мать абсолютно ко всем. Далее подростка изолировали, отправляя его по пятницам вместе с девочкой Сонечкой на улицу Стулиной, по поводу чего я заметила, что детям полезно спать друг с другом, но на меня не обратили внимания, как всегда, а я говорила правду.

Вообще накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами; у Мариши погиб отец, как-то посетивший ее на улице Стулиной и на этой же улице в тот же вечер попавший под автомобиль в неполюженном месте, да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержем перед уходом домой. Все сплелось в этом страшном несчастном случае, то, что отец Мариши хотел по-мужски побеседовать с Сержем, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот происходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома, Серж нежно укладывал Сонечку спать и тогда только уходил к другой, а утром так и так Соня всегда просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы, с шести до девяти, Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки, и вот в этот-то елейный промежуток и внедрил расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой семьей, имел большой печальный опыт и имел нового сына двадцати лет. Маришин отец выпил, безрезультатно на-

говорил бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной тут же, у порога дочернего дома на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в полдесятого.

У меня в тот же период тихо догорела мать, растаяла с восьмидесяти килограммов до двадцати семи, причем умирала она мужественно, всех подбадривала, и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришли кишки к брюшине и оставили умирать с незакрывающейся язвой величиной в кулак, и когда нам ее выкатили умершую, вспоротую и кое-как зашитую до подбородка и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что это не моя мама, а моя-то мама где-то в другом месте. Коля не принимал участия во всех этих процедурах, мы ведь были с ним формально разведены уже лет пять назад, только оба не платили за развод, помирившись на простом совместном проживании как у мужа и жены и без претензий, жили вместе, как живут все, а тут он, оказывается, взял и заплатил за развод и после похорон так трезво мне предложил, чтобы и я заплатила, и я заплатила. Потом скончался мой насмерть убитый горем отец, скончался от инфаркта, легко и счастливо, во сне, так что я ночью, встав к Алешке прикрыть его одеялом, увидела, что папа не дышит. Я легла снова, долежала до утра, проводила Алешу в школу, а потом папу в больничный морг.

Но все это было между пятницами, и несколько пятниц я пропустила, а через месяц была пасха, и я пригласила всех приехать снова, как каждый год, к нам с Колей. Раз в год на пасху мы все собирались у нас с Колей, я готовила вместе с мамой и папой много еды, потом мама и папа брали Алешку и отправлялись к нам на садовый участок за полтора часа езды, чтобы сжечь палую листву, прибраться в домике и что-то посадить,— и там, в неотопляемом домике, они и ночевали, давая моим гостям возможность всю ночь есть, пить и гулять. И на этот раз все было так же, и чтобы все было так же, я сказала Алешке, что он поедет один на все тот же садовый участок и переночует там, другого выхода не было, он был уже взрослый, семь лет, дорогу знал прекрасно, и я еще предупредила его, чтобы он ни в коем случае не возвращался и не звонил в дверь. И он отправился, одинокий странник, а мы как раз утром в это воскресенье были с ним на могиле дедушки с бабушкой, он впервые был на кладбище и таскал воду мне в ведре, мы посадили на могилах маргаритки. Он должен был начинать с этих пор новую жизнь, мы пообедали наскоро хлебом с колбасой, сыром и чаем — из того, что предполагалось на праздничный стол, и Алеша отправился без отдыха дальше, на садовый участок, а я стала делать тесто для пирогов с капустой, больших средств у меня теперь не было. Пирог с капустой, пирог с малиновым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла тертая с майонезом, немного сыра и колбасы — сожрут и так. И бутылка водки. В сущности, я зарабатывала немного, от Коли ждать не приходилось, он чуть ли не вообще переехал жить к своим родителям, а в редкие моменты посещения кричал на Алешу, что тот не так ест, не так икает, не так сидит и роняет крошки на пол, и в заключение орал, что тот все время смотрит телевизор и вырастет

черт-те чем, не читает ничего, сам не рисует, ничего. Этот бессильный крик был криком зависти в адрес Сонечки, которая пела, сочиняла музыку, была в гнесинской музыкальной школе, куда конкурс один к тремстам, много читала с двух лет и сама писала стихи и сказки. В конечном итоге Коля любил Алешу, но он бы его любил гораздо больше, если бы ребенок был талантливый и красивый, блестящий в учёбе и сильный в отношениях с товарищами. Тогда бы Коля любил его гораздо больше, а так он видел в нем себя самого и бесился, особенно бесился, когда Алеша ел. У Алеши были плоховатые зубы, в семь лет еще не выросшие как следует впереди, Алеша еще не освоился со своим сиротством после дедушки с бабушкой и ел рассеянно, большими кусками и не жуя, роняя на штаны капли и крошки, беспрестанно все проливал и в довершение начал мочиться в постель. Коля, я думаю, вылетел как пробка из нашего семейного гнезда, чтобы не видеть своего облитого мочой сына, на тонких ногах дрожащего в мокрых трусах. Когда Коля в первый раз застал, проснувшись от Алешиного плача, это безобразия, он саданул Алешу прямо по щеке ладонью, и Алеша легко покатился обратно на свою мокрую, кислую постель, но он не очень плакал, поскольку чувствовал даже облегчение, что вот его наказали. Я только усмехнулась и вышла вон и пошла на работу, оставив их расхлебывать. В этот день у меня было исследование глазного дна, которое показало начинающуюся наследственную болезнь, от которой умерла мама. Вернее, доктор не сказала окончательного диагноза, но капли прописала те самые, мамины, и назначила те же самые анализы. Все началось теперь у меня, такие были дела, до того ли мне было, что Алеша мочится в постель и что Коля его ударил? Предо мной открылись новые горизонты, не скажу какие, и я начала принимать свои меры. Коля ушел, я вернулась домой и не застала Колиных носильных вещей, остальное все он благородно оставил, надо ему отдать справедливость, и вот наступила пасха, я испекла пироги, раздвинула стол, застелила его скатертью, расставила тарелки, рюмки, салаты, колбасу и сыр, хлеб, было даже немного яблок, мать моя подруга подарила, принесла кулек редких по весеннему времени яблок и крашенных яиц, и я отнесла часть на кладбище, покрошила птицам на дощечку, и мы с Алешей тоже поели. Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали, у нас еще сохранились эти традиции пасхальных пикников на кладбищах, когда кажется, что все обошлось в конце концов хорошо, покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки, воздух свежий, птицы, никто не забыт и ничто не забыто, и у всех так же будет, все пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашеными яйцами прямо в земле. Алеша, мне кажется, поборол свой страх, сажал со мной рассадку маргариток все смелей и смелей в этой земле, почва у нас в Люблине чистая и песчаная, родителей я сожгла, только кубки с пеплом стояли в глубине, ничего страшного, все позади, и Алеша бегал и поливал, а потом мы сходили помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки, а остатки разложили и покрошили, как это делали на других, соседних могилах многочисленные посетители. И когда мы ехали домой, в автобусе и

метро все хоть и были под банкой, но какие-то дружные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело.

Так что вечером этого дня, одна и свободная, я дождалась слегка смущенных своих ежегодных гостей, которые явились все как один, потому что Мариша не могла не прийти, она очень смелая женщина и благородных кровей, а остальные пришли благодаря ей, и Серж был тут же, и мой бывший теперь уже муж Коля точно с такими же, как у Алеши, разрушенными зубами, Коля пришел и отправился на кухню разгружать все, что они принесли, а принесли они уже сваренную картошку с укропом и огурцом, а также много вина с перспективой на всю ночь. А почему бы им было и не погулять, когда пустая чужая квартира и есть еще щекотливое обстоятельство, то есть как я восприму приход моих новобрачных родственников Коли и Мариши, поскольку они только что вчера расписались, так все и было, и тут же был Серж, немножко более нетерпеливый, чем обычно, к выпивке, они с Жорой тут же пошли обмывать все происшедшее, Ленки Марчукайте теплым платком грудью, кто-то ее видел в метро после рождения мертвого ребенка, она не жаловалась, только пожаловалась, что молоко пришло. Так вот, Андрей-стукач поставил пластинку, Надя, его малолетняя, стала изображать из себя опять семейную бабу и рассказала мне, сколько алиментов платит Андрей и что ему бесполезно даже писать диссертацию, так все и уйдет на алименты, а когда они кончатся? Через четырнадцать лет, когда Наде стукнет тридцать три года, и только тогда можно будет родить ребенка уже своего. Вошла Таня-валькирия, радостно сверкая зубами и глазами, и я ее спросила, вместе ли положили Сонечку и ее мальчика, вместе им будет удобнее, а Таня в ответ на это, как всегда, тихо заржала, показав еще больше свои большие-пребольшие зубы, а Мариша, наоборот, не в пример прошлым годам обозлилась, когда я спросила:

— А чем они там занимаются?

— Вот тем и занимаются,— ответила радостная Таня.

— Тебе хорошо, у тебя мальчик, а Марише хуже, Мариша, ты уже научила Сонечку предохраняться?

— Не беспокойся, научила,— ответила Мариша и присоединилась к тихому ржанию Тани, хотя я, по своему обыкновению, сказала истинную правду.

— А что такое? — спросила Надя, у которой один глаз вот-вот готов был выскочить из орбиты.

— Надя,— сказала я,— это правда, что у тебя один глаз вставной?

— Она всегда такая,— сказала сияющая Таня бедной Наде, а тут вставил свое слово Андрей-стукач:

— Я к тебе отношусь резко отрицательно! — заявил он, вспомнив формулировку Сержа, но я не обратила внимания на Андрея-стукача.

Пришли из кухни Серж с Жорой, уже податые, а мой Коля явился из бывшей нашей спальни, не знаю, что уж он там делал.

— Коля, ты уже отобрал себе простыни получше? — спросила я и поняла, что попала в самую точку. Коля покачал головой и

покрутил пальцем у виска, благодаря чему в это свое посещение он не взял ни одной штуки постельного белья, спасибо моей проницательности.

— Мариша, тебе есть на чем спать с моим мужем? Ты ведь часть простынь выделила Сержу, я понимаю. А у меня все простыни застиранные, прошлый раз Коля первый раз в жизни собрался стирать белье и бросил его в кипяток, и все пятна на простынях, весь белок заварил, теперь все его поллюции проступают в виде облаков.

Тут все они засмеялись дружным, довольным смехом и сели за стол. Моя роль была сыграна, дальше сыграл свою роль Серж, который косноязычно, туманно и гнусаво стал спорить с Жорой об общей теории поля некоего Рябикина, причем Серж яростно нападал на Рябикина, а Жора его снисходительно защищал, а потом якобы неохотно сдался и согласился, и в Серже впервые проступил неудачливый, непроявившийся ученый, а в затырканном Жоре впервые проявилось восходящее светило науки, ибо ничто так не выдает личного успеха, как снисходительность к собратям.

— Ты, Жора, когда докторскую защищаешь? — спросила я его наугад, а Жора клюнул и немедленно ответил, что во вторник предзащита, а защита когда подойдет очередь.

Все на мгновенье приумолкли, а потом стали пить. Пили все до полного затмения, Андрей-стукач вдруг стал жаловаться на райисполком, который не разрешает им трехкомнатную на двоих, а Надин папа стал генералом и бушует, валит Наде подарок за подарком, и машина ей уже на мази, и трехкомнатный кооператив, только бы Наде поступить учиться, а не рожать ребенка.

— А я хочу рожать,— сказала Надя упрямо, но никто не подержал темы.

Короче говоря, разговор за столом не клеился, Коля с Маришей тихо переговаривались, я знаю о чем, о том, чтобы он забрал прямо сейчас свои остальные вещи и куда надо будет эти вещи сложить, пока идет обмен Маришиной квартиры на комнату для Сержа и малогабаритную двухкомнатную квартиру, чтобы Сонечке было где отдельно заниматься музыкой на скрипке, а Сержу было бы где жить с брюнеткой, а моему мужу было бы где жить с Маришей. А может быть, они шептались о том, что лучше отдать мне их двухкомнатную, а самим поселиться в моей трехкомнатной квартире и начать размен.

— Мариш, тебе понравилось в моей квартире? — спросила я.— Может быть, вы поселитесь здесь, а мы с Алешей будем жить где скажете? Нам с Алешей много не нужно, и вещи берите.

— Дура,— сказал Андрей громко,— набитая дура! Мариша только и думает, чтобы ничего у нее не забирать, дура!

— Но почему же, берите,— сказала я.— Мне одной много не надо, а Алеша ведь идет в детский дом, я уже устраиваю и хлопочу. В город Боровск.

— Прям,— сказал Коля,— еще чего.

— Пошли-ка отсюда, этот спектакль выдерживать,— сказал Андрей-стукач и даже стал решительно подниматься вкупе со своей На-

дей, но остальные не шелохнулись, им важно было довершить суд до конца.

— Я устраиваю в детдом, вот анкета,— сказала я и, не вставая, достала из-за стекла книжной полки анкету и заполненные бланки.

Коля их взял посмотреть и порвал.

— Наглая же дура,— сказал Андрей.

Я откинулась на стуле:

— Пейте, ешьте, сейчас принесу пироги с вареньем и капустой.

— Ладно,— сказал Серж, подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать. Мариша вспыхнула, как приятно было видеть ее вороватый взгляд, направленный в мою сторону, почему-то именно в мою! Вот я уже и стала мерилом совести, бормотала я, ставя на стол пирог с капустой.

Тут все завертелось, осуществился праздник их любви, все дружно орали, пели, как им было весело, а Коля, оставшись не у дел, подошел ко мне и спросил: а где Алеша?

— Не знаю, гуляет,— сказала я.

— Так уже первый час ночи! — сказал Коля и пошел в прихожую.

Я ему не мешала, но он не стал одеваться, а по дороге завернул в уборную и там надолго затих, а в это время Марише стало плохо, она перепила и не нашла ничего лучшего, как вывеситься в окно кухни и сблевать свеклой прямо на стену, как это выяснилось на следующий же день из слов пришедшего техника-смотрителя дома.

Пироги, окурки, разграбленные салаты, огрызки и половинки яблок, бутылки под диваном, Надя, которая навзрыд плакала и держалась за глаза, и Андрей, который держал на руках Маришу и танцевал с ней,— это был тот самый знаменитый один акт в год, который они совершали после того, как Мариша выдала меню на мой дом, а Надя видела это первый раз в жизни и была этим делом испугана до потери глаза.

Потом Андрей собрался и строго собрал Надю, дело шло к закрытию метро, Серж и Жора дружно одевались, Коля вышел из уборной и, плохо соображая, лег на диван, но его поднял Жора и повел, сзади шествовала радостная Таня, и я наконец открыла дверь им всем, и они все увидели Алешу, который спал, сидя на ступеньках.

Я выскочила, подняла его и с диким криком «ты что, ты где?!» ударила по лицу его, так что у ребенка полилась кровь, и он, еще не проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его по чему попало, на меня набросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули, и кто-то еще долго держал дверь, пока я колотилась, и были слышны чьи-то рыдания и крик Нади:

— Да я ее своими руками! Господи! Гадина!

И кричал, спускаясь по лестнице, Коля:

— Алешка! Алешка! Все! Я забираю! Все! К такой матери, куда угодно! Только не здесь! Мразь такая!

Я заперлась на засов. Мой расчет был верным. Они все как один не могли видеть детской крови, они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребенок, дети для них святое дело.

Я прокралась на кухню и выглянула в окно, поверх полузатертой

Маришиной свеклы. Мне недолго было ждать. Вся компания вывалилась из парадного. Коля нес Алешу! Это было триумфальное всеобщее шествие. Все возбужденно переговаривались и ждали еще кого-то. Последним вышел Андрей, стало быть, это он держал дверь. Когда он вышел, последний прикрывавший фланги, Надя выкрикнула ему навстречу: «Лишение материнства, вот что!» Все были в ударе. Мариша хлопотала с носовым платком над Алешей. Пьяные голоса разносились далеко по округе. Они даже поймали такси! Коля с Алешей и поддерживающая их Мариша, спотыкаясь, влезли на заднее сиденье, спереди сел Жора. Жора, видимо, будет платить, подумала я, как всегда, точно, и Жоре это по дороге, он так и так всегда ездит на такси. Ничего, доберутся.

В суд они не подадут, не такие люди. Алешку будут прятать от меня. Его окружают вниманием. Дольше всех романтически будут любить Алешку Андрей-стукач и его бездетная жена. Таня будет брать Алешку. На лето к морю. Коля, взявший Алешу на руки, уже не тот Коля, который ударил семилетнего ребенка плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького, гнилозубого Алешу, не проявляющего талантов даже в малой степени. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот и средств и, глядишь, устроит Алешу в институт. Другое дело Серж, человек в целом мало романтический, человек сухой, циничный и недоверчивый — но этот кончит сожительством с единственным про-настоящему любимым им существом, с Сонечкой, сумасшедшая любовь к которой ведет его по жизни углами, закоулками и темными подвалами, пока он не осознает ее полностью, не бросит всех женщин и не будет жить ради одной-единственной, которую сам породил. Такие случаи также бывали и бывают. Вот это будет закавыка и занятие для маленькой толпы моих друзей, но это будет не скоро, через восемь лет, а Алеша за эти годы успеет набрать сил, ума и всего, что необходимо. Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. Но я просто, отправив его на садовый участок, не дала ему ключ от садового домика, и он вынужден был вернуться, а стучать в дверь я ему запретила, я его уже научила в его годы понимать запреты. И вот вся дешево доставшаяся сцена с избением младенцев дала толчок длинной новой романтической традиции в жизни моего сироты Алеши, с его благородными новыми приемными родителями, которые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так я все рассчитала, и так оно и будет. И еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Алеши в квартире, у него в доме, а не он у них, это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправлюсь по дороге предков. Алеша, я думаю, придет ко мне в первый день пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сообразительный мальчик, и там, среди крашенных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше — для всех. Я умная, я понимаю.

Петрушевская Людмила Стефановна родилась в семье студентов ИФЛИ, отец из крестьян Николаевской губернии, мать из семьи профессора-лингвиста Н. Ф. Яковлева.

Закончила МГУ, факультет журналистики, работала на радио корреспондентом, затем в отделе рецензирования телевидения. С 1973 года перешла на литературную работу, писала рецензии, сказки, рассказы, пьесы, сценарии мультфильмов, делала переводы с польского, сочиняла стихи и статьи в газеты. Много лет все это оставалось неопубликованным. Первый сборник рассказов кочевал по издательствам с 1971 года и вышел в 1986 году («Бессмертная любовь». М.: Московский рабочий). В этом же году вышла книга пьес «Песни XX века» (М., Союз театральных деятелей РСФСР).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Л. Петрушевская'. The signature is stylized with a large, sweeping flourish at the top and a smaller, more defined signature below it.

Г. ГОЛОВИН

День рождения покойника

Горько осознавать, но начиналось-то все, как почти что все,— обыкновеннейшим образом! Будто бы даже невзначай.

Тихо-мирно, в точном соответствии с графиком грузоперевозок, числа, то есть, этак шестнадцатого-семнадцатого августа текущего тогда года, прибыла самоходная баржа «Красный партизан Теодор Лифшиц» в порт назначения Бугаевск. За торфобрикетами.

Все было учтено в распорядке движения передовой баржи: когда отчалить, куда причалить, где и сколько посидеть на мели, ежели ударят вдруг жуткие погодные условия. И все, не сомневаюсь, было бы именно так, хорошо, в полном соответствии с графиком нашей равномерно милой жизни, если бы учла та умная, но бездушная АСУ, которая сочиняла график, одно небольшое, маловажное житейское обстоятельство. А именно, что в торфяной артели «Свобода воли» аккurate в эти дни творится престольный праздник, святое дело. Всена родное, то есть, традиционное гуляние до полного упаду. И уж могла бы, кажется, сообразить эта самая АСУ, дура железная, что в такой-то период времени «Лифшиц» может ждать своих торфобрикетов сколь угодно долго, хоть до пришествия холодов,— покуда, точнее, все винные суеки в окрестности верст на сорок не опустеют окончательно!

Вот с этого-то пустякового обстоятельства все и началось.

Вот почему и получилось, что вместо означенного народнохозяйственного груза получил «Красный партизан Теодор Лифшиц» куку с макой, приткнулся ноздрей к причалу и стал обиженно ждать рассвета, чтобы отправиться в свои родные свояси, в город, то есть, Чертовец. А Вася Пепеляев, заметим, на палубе спал.

Впрочем, не заметить Васю, когда он спал, было трудно. Очень он умел и любил это занятие.

На неопикуемой рванине какой-то, вместо подушки — замасленный телогрей, а так хорошо, так трепетно, так истово спал, каналья, что видно было: даже шевельнуться ему жаль, паразиту, неосторожно вздохнуть! Воспаряет, видно было, Василий не иначе как в самые поднебесные эмпиреи, и что-то невозможно прекрасное показывают ему там: может, пиво с раками, а может, молодецкий мордобой на толкучке в Великом Бабашкине... Но в тот вечер, думается, ему скорее всего неопределенные бабы какие-то снились. Потому что, нечаянно вдруг проснувшись, очень уж он с досады захрахтел.

Захрахтел Пепеляев и, обомлев, почувал некое вдруг сладостное томление духа, какое-то воспарение организма невозможно-дивное, какое-то поползновение куда-то ужасно дерзостное... то есть, как бы

проще сказать, внезапный жар кобелиный почувал вдруг Вася в чумазой своей душе и теле.

Его, довольно-таки молодого, чего же не понять? Он хоть и спал до этого, а всё вокруг, поэтически выражаясь, «так и шептало...»

Чарующе, вот уж точно, лепетали листочки на бережку в садочках, так чем-то пахло... А главное — так бессовестно-нежно (будто тесно зажатая в угол) сипела в потемках певица на танцверанде тубсанатория: «А я тебя найду! И на земле найду! И под землей найду! Ай-дули-дули!»

Где уж тут было улежать молодому-холостому-разведенному — хоть и на укладистой рванинке, хоть и после утомительной трудовой вахты? «Ай-дули-ду!» — и весь разговор.

Василий сел и стал ласково слушать себя.

Разлюли-молодецкое пламечко по-приятельски весело и тепло возгоралось в нем помаленьку. Этакие предчувствия мохнатенькие щеко-тали душу... А затем — по-шампанскому вспенилось вдруг, зашипело и вовсе праздничное — а иди все на хрен! — настроение, и он вскочил: «Ай-дули-дули!»

Все стало ясно — как вред алкоголя, как коварный происк империализма, как важность всемерного совершенствования! Нужно сию же минуту, стало ясно, бежать ухватить Елизарыча-шкипера за мохнатый кадык, закатить на басовых коровьих нотах молниеносный скандал-эпилептик и вырвать, кровь из носу, свои законные отгулы, накопленные за лето! И — ай-дули-ду! — на твердь желанную! Прямо тут, в Бугаевске, не дожидаясь, пока дошлепает родимая его баржа до дому, до порта семи морей, до твердокаменного городишки Чертовец!

Ну, прямо не в себе сделался человек. Совсем невтерпеж стало ему на «Лифшице»!

(— Должно, братцы, голос мне это был... — грустно рассказывал потом Вася. — Перст-фатум, проще сказать. Будто чокнулся я в ту минуту!)

...В каюту Елизарыча ворвался, чуть дверь с петель не сорвал. Заорал впопыхах: так и так, десятое-пятое, в Чертовце все едино десять дней груши околачивать, а у меня в Бугаевске важнейшее дело! А я, ежели отгулы не дашь, хоть щас заявлением об стол! Я жениться решил, понял?

Елизарыч все понял.

— С сучка сорвался, — понял Елизарыч и, горько морщась, аккуратно поставил опустелый стакан. — Бывает...

Но Василия было не сбить:

— Иль я не человек? В Чертовце все едино движок перебирать, так? Так. А у меня в Бугаевске дело, так? Так. А я, ежели бюрократизм, пожалуйста, хоть щас заявлением об стол! Я, может, жениться решил, понял?

Елизарыч опять все понял:

— Ты мне, Вася, скажи, кто против? Человек-дурак жениться хочет. Все — за! Горько! Но чтоб к седьмому числу был! Иди... — пе-

чально завершил Елизарыч и прикрыл вежды.— Глаза бы мои на идиотов не глядели!

И Пепеляев пошел.

Жениться в Бугаевске, честно говоря, Васе было не на ком. Он в Бугаевске, вообще-то говоря, и бывал всего раза полтора. Даже где магазин, не помнил.

Едва сбежал на берег — ухнула на него людоедская лютая тьма! Он даже пригнулся, как в шахте.

«Может, вернуться? — подумал.— Куда уж тут, господи, ийти? Да и зачем, если честно сказать, ийти?..»

Все же пошел, стоеросовый человек.

Ну а ехидные мракобесы местные вовсю, конечно, потешаться принялись над Васяткой-бедолагой. То забором об морду звезданут. То колдобиною по бокам! То в канаву помойную толканут. То вверх тор-машками по крапиве припустят!

Не ходьба, право слово, а товарищеский суд Линча. В полной к тому же безответной темноте.

Можно подумать, и не Бугаевск это вовсе, а какая-то земля необычайно обетованная, невероятное какое-то светлое будущее — пока, то есть, вконец не изуродуешься, пока об ландшафт последние ноги не обломаешь, ни за что не пустят!

Но Пепеляев, конечно, тоже не из толстовцев происходил.

Вскоре уже и не матюкался даже, а по-змеиному только шипел во все стороны мрака, окончательно стервенея в борьбе с превосходящим противником.

Треск от них стоял буреломный.

Собаки в округе уже не лаяли — они самоубийственно сипели, давась в ошейниках.

Даже в тубсанатории танцы на минутку приостановили — при-слушаться, а не опасно ли для здоровья больных это стихийное бедствие, производящее столько шума.

Если бы Вася при свете дня увидел путь, на который отважился, то он, конечно, крупно бы заколебался. Но, слава богу, ничегошеньки он не видел, чуял только, что земля вроде бы к небесам поднимается,— ну, и пер напролом, отважный единоборец! По каким-то зловонным хлябям, чрез завалы ржавелого утильдерьма, сквозь чертополошные заросли, крапиву, лопух и всякие прочие злобные тернии — пер беззаветно вперед и выше!

И — выкарабкался-таки! К всеобщему своему удивлению. Силы мрака одолев. Но очень утомившись.

Тут Василий наконец огляделся и приятно убедился, что Бугаевск — очень даже культурный райцентр.

Два-три фонаря горели не очень вдали. Казенный дом виднелся там в два этажа, памятник кому-то... Непременно и магазин обязан там быть, решил Василий, в торговых рядах!

И, натурально, поплелся Вася туда. А куда же еще? Не на танцы же? Хотя, конечно, чистейшей воды утопизмом было ожидать, что кто-то в торговых рядах еще торгует.

И ужасно тут взгрустнулось почему-то Василию.

Свой подвиг восхождения свершив, брел в незнакомой тьме, как сиротка ненужный, — ободранный, весь в грязи, с исхлестанными в кровь мордасами. А за-ради чего, милые-дорогие граждане судьи, уродовался?!.. Не было на этот вопрос удовлетворяющего ответа.

Сколько ни напрягался, ничего путного не мог в свое оправдание припомнить! Одно какое-то непонятное ай-дули-ду... жеребчий пережиток организма...

И уж совсем беспросветным — как ночь бугаевская — представлялось ему грядущее.

А что дальше делать? На баржу возвратиться — рабочая гордость не позволит. (Да, пожалуй, и не найти его сейчас, «Теодорешку»-то, во тьме этой первобытной...) Самогонки в незнакомом месте не дадут. Переспать не пустят. В общем, куда ни кинь, везде одни буби! Так что, Вася, сказал себе Вася, свалял ты большого глупого ваньку, пойдя у себя на поводу.

...Между тем вечер, столь чудесно начавшийся, столь же чудесно продолжался.

Пепеляев брел себе потихоньку — уже вполне малодушный, уже разуверившийся во всем хорошем — и вдруг! И вдруг — словно бы в поучение маловерному и слабодушному — воссияло тут из-за угла магазинное окошко!

И даже покупательское шевеление было в окошке том!

Пепеляев, конечно, глазам своим не поверил, но все же пошел.

(Трудно, да и невозможно, объяснить феномен того, чего это они упирались в тот день до такого черного поздна. Может, чересчур уж большую недостачу считали?!.. Может, у продавщицы в семье было не совсем благополучно: муж-пьяница, например, к ханыге-экспедитору приревновал, из дому выгнал, да еще и синяк напоследок поставил?.. Затруднительно, конечно, с точностью угадать, что у них там случилось. Но главное, как вы сами понимаете, не в этом, а в том, что Пепеляев в магазин все-таки зашел!)

Он зашел и вместо «здрасте» озадаченно свистнул. Было отчего свистеть.

Прямо напротив Василия, вошедшего и в изумлении застывшего, в зеркале трехстворчатого гардероба «ЧСБ-1»¹ — как на императорском портрете с ногами — был изображен некто дивный.

Волосы в репьях и дыбом.

Физиономия вся в волдырях от крапивы, обхлестанная, в наждачных ссадинах. К тому же словно бы набок и вниз съехавшая.

О костюме одежды — что уж и говорить. Сплошные вопиющие прорехи, лоскуты скандальные, рвань расхристанная!

Такой уж антипод беглокаторжный ввалился в магазин из тьмы проклятого прошлого, такой бич дикообразный, такой химик-цифирятник подзаборный, что тут не токмо свистнуть — караул кричать впору! Бабы, правда, бывшие в магазине — продавщица с синяком под глазом да полторы старушки, — даже и бровью не повели при виде Пепеляева.

¹ ЧСБ-1 — Черговецкая сплавбаза, модель № 1.

Должно, и не таких купцов-молодцов видали темными бугаевскими вечерами...

Однако не будем кривить — не вовсе таков был Василий. Если миновать вниманием досадные мелочи в костюме и морде, приобретенные за время штурма бугра Бугаевский, то он и внешне был вполне ничего. В нем, может, и привлекательного много чего было. Например, ростом хорошо удался. Умел поговорить — обходительно и без мата. Ну, а если что-нибудь умственное начинал вещать, тут уж уши на гвоздь вешай! — болты болтать мог хоть час, хоть два!

Но вообще-то не сказать, что он яркий был. Не каштан, не брюнет, но и не рыжий. Овалом лица походил, к сожалению, на лошадь, и зубы, соответственно, похоже росли...

В общем — особенно если шляпу с галстуком наденет и слегка выпимши, — обыкновенный чертовецкий нескладеха-обалдуй конца двадцатых — начала тридцатых от своего рождения годов.

...Какому-нибудь проезжему бонвивану или гурману командировочному могло, конечно, показаться, что после налета торфобрикетчиков в бугаевском торговом центре ассортимент отсутствует вовсе: ни портувейного вина не было, ни даже печального ликера «Последний листопад» (сах. — 60 процентов).

Пепеляев, однако, был все ж таки чертовецкий житель (почти, считай, столичный) — его так просто в панику было не ударить. «Был бы магазин, а выпить завсегда найдем!» — такого он придерживался кредо.

После долгого в муках хождения между отделами одеколонным и москательным он свою нежность и предпочтение все же отдал последнему. И вполне, надо сказать, справедливо: небесного цвета стеклоочиститель «Блик-2», конечно же, по всем кондициям превосходил духовитый, но для почек, сказывали, не очень полезный одеколон «Горнорудный».

К двум пузырькам «Блика» он взял еще, конечно, вафли, нечаянно где-то облитые олифой. Там же, не отходя, и стакан обрел — 18 коп. с опилками.

Продавица с синяком вежливо и культурно оторвалась от разговора, сдачу выдала тютелька в тютельку, но никаким другим вниманием Пепеляева не удостоила. А зря, дуреха.

Сейчас-то, двумя пузырьками заряженный, он был парень хоть куда! И никакая ночь ему не была страшна, и любые лохмотья — к лицу, и любой подвиг жизни — по плечу. Может, даже и ниже.

Но где уж ей было последним, неподбитым глазом в пепеляевскую душу глядеть? Они, жалкие, какую-то Феньку без устали полоскали, которая, видите ли, с грузином-шабашником спуталась и, несмотря на воспитательные отцовские побои, упрямая, забеременела!

От магазина, как культурного центра, он решил далеко не удаляться. Сел в клумбу (он любил, чтоб интеллигентно), спиной к памятнику (не любил, когда в рот глядят), сам себе сказал тост: «Поехали!» — и поехал.

Чем замечателен «Блик», этот лазурный напиток богов и героев,

знает, конечно, каждый образованный человек нашего времени. Тем, что исключительно хорошо очищает все, в том числе и душу человеческую, от всяческой скверны, приземленности и вообще бытовой грязи. Становится человек, принявши его внутрь, ясен, как пасхальное стеклышко, пронзителен мыслию, дерзок, сияющ и светел!

(Некоторые несознательные язвенники, надо заметить, «Блик» фильтруют, центрифугируют с солью, сыплут в него разные гадости-коагулянты, не ведая в слепом рвении своем, что тем лишают, безумцы, напиток едва ли не главной его прелести и достоинства — способности делать алконавта чище, вышеустремленное, лучше, чем даже прежде...)

Пепеляев употреблял напиток строго по науке, и уже минут через пятнадцать после первого глотка синяя птица кайфа вознесла его, бережно ухватив за шкурку, в какой-то неопишимо поразительный, маленький, уютно населенный пункт.

Нетрудно было догадаться, что это — Бугаевск. Стоило только взглянуть, как привольно раскинулся он по берегам полноводной красавицы Шепеньги в окружении заповедных трухлявых лесов-красавцев и нехоженых изумрудных болот-трясин, тоже красавиц.

Пепеляев возлежал в самом центре Бугаевска на специально для этого возделанной клумбе. Ему было хорошо. Он был спокоен и дьявольски красив.

Период всяких там перегрузок-перевозок он перенес удовлетворительно. Адаптация шла успешно. Вообще, все было пока путем. В магазин — успел. После изнурительной жары с хрустальным звоном посыпал дождик. (Впрочем, могло и просто звенеть в ушах: «Блик» иной раз давал и не такие побочные эффекты...) Ветер преобладал юго-западный, слабый до умеренного, ширилась гневная волна ипатовского метода в странах третьего, четвертого и пятого мира, а с новостями спорта сегодня всех знакомил Василий Пепеляев.

Ему было хорошо. Замечательные предчувствия одолевали душу, нашептывали нежные непристойности, куда-то властно манили.

Пепеляев был не против, если манят. Поэтому выкарабкался из клумбы, одобрительно зачем-то заржал и пошел.

...Конечно, кому-то, может, и темновато было в Бугаевске в этот час, хоть глаз, может, выколи. Однако Вася — и в этом еще одно замечательнейшее свойство очистителя «Блик!» — все видел насквозь. И даже временами глуже.

Легко и уверенно, в ритме ай-дули-ду, шел он по просторным бульварам, проспектам и садам гостеприимного Бугаевска. Красивые и современные, из стекла и напряженного железобетона были выстроены в почетном карауле для встречи почетного гостя радующие глаз коттеджи и филармонии, ларьки с пивом и киноконцертные залы, дома быта, дискотеки, пельменные, два цирка, три шашлычных, четыре Дома политического просвещения, пять парикмахерских, шесть стадионов на шестьдесят шесть тысяч каждый, семь пимокатных заводов и двадцать восемь, кажется, здравниц всемирного значения с подачей минеральной воды и лечебных макарон по-флотски...

Что-то там было выстроено еще, но Пепеляев не стал и смотреть. Ему мешали испытывать законную гордость.

Сделано, конечно, немало, размышлял он. Можно сказать, что

неплохо, с огоньком потрудились бугаевцы. В считанные десятилетия преобразили некогда безлюдные берега красавицы Шепеньги! Но вот о главном-то, товарищи, забыли! Понастроили, понимаете, кемпингов, вертепов, турусов на колесах! Канав на каждом шагу накопили! Крапиву насажали! Это хорошо. Но в погоне за кубометрами забыли ведь, сволочи, о Феньке!! Не увидели за деревьями человека! Не задумались, не задалась вопросом: «А женится ли на ней тот самый грузин-шабашник?» Не задалась вопросом, не задумались: «А не чесанет ли он, получив свой длинный нетрудовой кровный рубль, за Главный Кавказский хребет? А не оставит ли он доверчивую Феньку с прибытком на руках?» А ведь чесанет, товарищи! А ведь — оставит! «Не-е-ет, дорогие товарищи, так дело не пойдет!!» — рассердился тут не на шутку Василий и, завидев вдруг за деревьями чье-то освещенное оконце, с воплем:

— Ф е н я ! Э т о — я ! ! — рванул что было силы туда.

Тут же, конечно, ухнул чуть не по грудь в бурьянную топь, все же стилем брасс прорвался к забору.

— Фенька! Отворяй, мать твою!! — заорал он еще пуще.

Свет в окошке быстренько погас. Щелкнули шпингалеты — как винтовочные затворы. Затаились за окном...

Пепеляев обиделся: это от него-то прячутся?!

Многотрудно пыхтя, выворотил из забора кол и стал колошматить им по штакету.

— Гады! Дешевки! Смерть сухумским оккупантам! А ну, выходи!! — так орал он до тех пор, пока кол не переломился.

Кол переломился, он утерся и пошел далее.

...Своим непониманием люди огорчали его. Вот Фенька, к примеру... Заперлась от него, на все замки оборонилась, а того, дура, не поняла, что он ведь к ней п о - х о р о ш е м у шел! Может, руку дружбы протянуть. Может, веру вернуть в недоброкачественных людей... Он ведь, ежели чего, так ведь, ей-богу, — вплоть до свадьбы!!

А что? И детеныша, чего уж, не обидел бы. Они, когда маленькие, очень смешные бывают: под себя серют... И ее, Феньку, не упрекал бы слишком уж. Поколотил бы, понятно, разок другой для педагогизма, ну и ладно... Но теперь-то уж все! Коли она этак, то и он — этак! Сиди, дура, под своими шпингалетами!

Главное, того ведь, темнотища, не понимает, что, пусть он, таракан донжуазный, даже возьмет ее, к примеру, замуж! Не пара он ей! Не даст он ей личного женского счастья! Как же он может дать, если на рынке встанет с помидорами — ни стыда, ни совести! — по восемь рублей кило, виданное ли дело? Опять же: почему не рбстят чай со слонами? А как бормотухой своей «Кавказом» страну до краев наполни — где они, которые в кепках?! Тут их нет... Ну и ладно, Фенька! Живи, как живешь. Хрен с тобой. Христос с тобой. Точка. Конец связи.

Но все же было малость обидно. Пришлось распочинать и другой пузырь.

Он за что себя больше всех уважал? За легкий характер души. За наплевательское отношение к трудностям жизни.

Чуть где-нибудь в жизни начинало скрипеть и коситься, Василий тут как тут принимался выступать:

— Ниче! Не бойсь, братцы! Ничего не будет, окромя всемирного тип-топа! Главное, не мандражить! Потому что, как уверяет наука, все на свете — печки-лавочки по сравнению с гранд-задачей мирового свершения... Проще? То есть, значит, поэтому выходит, что ежели пропорционально, то исключительно все — есть не что иное, как клизьма от катаклизьма! На кладбище, в общем, разберемся, кто неправ, а кто виноват.

Страшно подумать, в какого мыслителя мог превратиться Пепеляев, пойдя он дальше шестого класса! Рассуждения о бренности земной суеты («клизьма») в сравнении с беспредельностью и загадочностью мироздания («катаклизьма») он вынес после единственного и случайного посещения чертовецкого планетария. Оттуда же он унес и слово «парсек», которое долго употреблял как ругательное.

Вот и сейчас, через пяток всего лишь минут, он уже и думать забыл, легковесный человек, о какой-то там неблагодарной и неверной Феньке. И в душе его некий развеселый ксилофончик уже вызывал что-то в высшей степени жизнеподтверждающее, тамбурмажорное, громогремящее — что-то среднее между «Все выше, и выше, и выше...» и «Ай вы сени, мои сени...»

Два Пепеляева шествовали теперь в тьмушей тьме Бугаевска.

Один, вроде как проводник,— зело пьяный, а потому нахрапистый и неукротимый, и к падениям об землю уже нечувствительный. Как оцумелый дредноут, пер он в темени, на ошупь отыскивая проходимую дорогу, и бережно вел за собой второго Васю — тоже незрячего, но пребывающего словно бы в золотом сновидении. Мысли у него не витали — они, как возвышенный туман, клубились. И в нежно-розовое были окрашены те клубы...

В нюансах не передать, что за бред собачий, что за белибердень изысканная представляли его воображению!

Тут тебе и рондо каприччиозо после баньки на балалайке в холодке, и всеобщее народное ликование по поводу спуска на воду атомной самоходной баржи «Василий Пепеляев (Лифшиц)», и бутерброды с твердокопченной колбасой, и иллюминация на выставке фонтанов достижений народного хозяйства, и поучительная картина неизвестного художника, очень в свое время полюбившаяся Васе: «Боярыня Морозова убивает блудную красавицу дочь», и гастроль какой-то агитстриптизбригады под идейным Васиным управлением, и белой черемухи гроздь душистые, и «Молдавское розовое» в розлив, и возлюбленная песня «Сегодня мы не на параде» в исполнении оркестра Поля Мориа... и — главное — неограниченная возможность глядеть на все это с высокой колокольни птичьего полета, имея две недели на вдохновенное битье звонких пепеляевских баклуш...

Но — чу!

Вдруг оба-два Василия, как по команде, замерли.

— Чу! Слышишь?

— Да не-е... показалось...

— Мамке твоей показалось, когда она тебя рóдила! Слышишь?

— Федор? Ты, что ли? — женский голос звал из темноты.

Пепеляев, ни да ни нет, кашлянул.

— Погоды! Вместе пойдем...— Женщина производила шум где-то почти поблизости.— На свадьбе я у Верки Черемисиной была. Там еще догуливают, а мне-то на дежурство с утра, так я вот и пошла пораньше... у-у, леший тебя!..— Раздался вдруг шум-треск сокрушительного падения.— Каблук сломила! Федор, ты тут ли еще? Не уходи уж, ради Христа! Без каблука-то и вовсе не дохромать мне. Ты чего молчишь?

Василий опять произвел некий звук, похожий на недоверчивое хмыканье. И в самом деле, чересчур уж все складно получалось: и в магазин успел, а тут еще и спутница жизни.

— ...Ты уж не уходи, миленький...— наговаривала женщина, уже уверенно продираясь к Пепеляеву.— Вот дуреха! Спрямить дорогу решила! Тут-то ее, девушку, леший и попутал... Ой! Да ты ж не Федор! — разгоряченная мягкая женщина ткнулась в темноте в Пепеляева и тотчас же отпрянула.

— Ну, — согласился Василий.

— Вроде и незнакомый даже... В гости, что ли, к кому?

— Спецзадание, — туманно сказал Вася.— Кувыркаться тут по вашим канавам. В целях обобщения и внедрения.

— Непонятное говоришь. Точно — не бугаевский!

— Бугаевский, не бугаевский, заладила... Цепляйся, что ли, дохромаю я тебя. Только дорогу говори, а то я ни хрена у вас не вижу.

— Не ругайся.

— А я разве ругаюсь? — изумился Вася.— Иль таких слов не слышала: хрен, редька?

— Все равно не ругайся. А то я никуда с тобой не пойду. С детства не люблю.

Василий не нашел что ответить. Она отыскала его руку, он сделал руку калачиком, и они пошли.

Через несколько шагов она рассмеялась:

— Э-э, парень! Да ты, видать, тоже со свадьбы!

Василий обиженно не ответил. Ему ли было не знать, что идет он как по ниточке? Потом буркнул:

— А чего туфлѐ-то не сымешь?

Она даже возмутилась его непониманию:

— А колготки? Немецкие? Семь семьдесят! Не хочешь?

Он не хотел. К тому же он смутно помнил, что это такое — колготки. Да и вообще, запрет на слова подействовал на него удручающе. Он старался все больше молчать, дабы не вляпаться ненароком не в то слово и тем не огорчить спутницу вплоть, может быть, до разрыва отношений.

Она тоже была не из стрекотух. Но все ж дознание вела как следует. Уже к первому фонарю он и биографию, и обстоятельства своего появления в Бугаевске доложил.

Пользуясь фонарем, Василий, будто между прочим, оглядел ее. Она, словно бы невзначай, тоже его срисовала.

Неизвестно, как он ей, а она ему глянулась. Ничего себе. Крепенькая. В брульянтовом переливчатом платье, и прическа на голове.

— Идем-идем,— сказала Васина спутница,— а как звать-то, не познакомились.

— Василий,— с готовностью представился Василий и для точности добавил: — Меня.

— А меня — Алина. Ты, Василий, стой-отдохни маленько. А то мы что-то чересчур уж кренделями вышагиваем. Немного уже до дому.

Василию стало от этих слов скучно — как на осеннем ветру. «До дому, да только не до моего...»

...Они стояли где-то в глубине темноты молча. Алина держала его бдительно и бережно — как медсестра держит сердечно-сосудистого больного. Василий подумал, о чем бы спросить, и спросил:

— Свадьба-то хороша была? На сколько ящиков?

Она тотчас, с большой готовностью рассказала: и сколько ящиков было, и где покупали, и что дарили, и кто гармонист был...

— Морду кому-нибудь били? — деловито поинтересовался Пепеляев.

— А как же! Жениховы с Веркиными схлестнулись маленько, ну да ненадолго... Вообще все ладом было. Кто и захочет, а не похает.

— Завидно небось?

Она ответила легко и просто:

— Ну а как же? Кому ж не завидно, когда все по-человечески?

По тому, как она это сказала, Пепеляев определил: холостячка. Прибодрился, однако мордой об стол биться не шибко-то хотелось, поэтому иллюзию эту он тешить особо не стал.

Еще один фонарь показался. Что-то такое пустышное освещал он, невообразимо скучное. Две двухэтажки белого кирпича стояли тут — на отшибе, ни к селу ни к городу.

— Ну вот, матросик, и доплыли! — заговорила Алина. — Здесь я и живу. Спасибо, что проводили девушку. Никому в обиду не дали. От серых волков оберegli.

Говорила она это бойкенько, а ведь сама-то была растеряна, Василий слышал, даже загрузивши.

— Куда ж вы теперь? — перешла она ни с того ни с сего на «вы».

Он прокряхтел что-то про автостанцию, про баржу, на которую, может быть, вернется. Не пропадет, в общем, Пепеляев.

— «Не пропадет...» — повторила она иронически и вдруг судорожно, как после плача, вздохнула: — А то, может, зайдете? До автобуса посидите? Чайку попьем?

Он воодушевленно загундел что-то чрезвычайно согласное. Чай, дескать, это бы в самый раз! Забыл уже с этой работой чертовой, когда и пил чай-то!

— Только это...— сказала она возле подъезда. — Только без этого... А то, может, вы не знаю чего подумали?

Как можно, помилуй бог, чего-то этакое подумать, возмущенно забубнил Пепеляев. Да он что, из Кемпендяя, что ли, чтобы думать?! Только чай! И ничего больше! До автобуса посидеть!

...Большие, видать, умельцы строили этот дом. И, ясное дело, не

обошлось здесь без Фенькиного грузина-шабашника. Ступеньки на лестнице были набок и вповалку, а лестничные марши чуть ли не на живую нитку присобачивал Фенькин хахаль! Они зыбким ходуном тряслись под шагами, перила вольготно раскачивались, и злорадный мелкий дребезг, едва нога человека ступала на это сооружение, начинал звучать со всех сторон как обещание жуткого краха.

Не покладали рук умельцы и на внутренней отделке. Веселенькой, синенькой, как изжога, краской они накатали стены прямоком по бетону. Вид был — точно как в КПЗ.

Голая лампочка висела на шнуре. Стол стоял. Кровать, два стула, шкаф.

— Ты че, вербованная, что ли? — с ходу брякнул Пепеляев.

— Э-э... — она непонятно и недовольно поморщилась. — Второй год уже здесь. Чай пить будешь?

— А на хрена? — спросил Василий и прикусил язык — вляпался! Да ведь как не вовремя!

Но она не заметила. А может — сделала великодушный вид.

— ...Тогда раскладушку вон оттуда доставай, ставь. Я сейчас.

Когда она вышла, Василий полез не за раскладушкой, а за пазуху, где преданно грелся голубенький эликсир. И уже через минуту предчувствие, что все будет тип-топ, приобрело железобетонные черты.

И правда, дальше все было словно в волшебной сказке.

Алина ворвалась с улицы, хмурая, решительная, чуть ли не злая.

Унтер-офицерскими, краткими, раздраженными жестами мигом постелила ему хурду-мурду на раскладушке. Что-то вместо подушки бросила. Ать-два!

Василий взирал на подругу виновато и кротко — как на рассви-репевшую неизвестно с чего службу быта.

Не предупреждая, вырубил свет, сказала в темноте:

— Мне с семи на дежурство. Давай спать!

Так же бурно разделась. Легла. Враждебно смолкла.

Василий деликатной ощупью определился в темноте, тоже улегся.

Все за всех решила раскладушка. С большим человеческим пониманием она оказалась. После первой же пепеляевской попытки повернуться на бок она вдруг на разные предсмертные голоса заголосоила — раздался треск рвущейся парусины, трезвон оборванных пружин и — бац! — Василий вдруг обнаружил себя на полу.

Занятый катастрофой и руинами, он не сразу и услышал: Алина неудержимо хохочет в подушку.

— Ох ты ж, господи! Ох ты ж, боженька мой!

А потом — через приличное девушке время:

— ...Так и будешь, что ли, на полу валяться? Иди уж с краешку, горе луковое!

Горе луковое победно ухмыльнулось во мраке и, натурально, полезло.

Проснулся Василий наутро в благолепной санаторной тишине, премного всем довольный. Правда, очень скоро обнаружилась пропажа штанов. И хоть обстоятельство это было, безусловно, досадное,

но даже и оно не могло омрачить его равномерно-поступательного победного настроения.

В самом деле, Пепеляева ли' можно было смутить тем, что на поиски сортира он идет хоть и с пением «Ай-дули-ду!», но в чьих-то заляпанных краской галифе и домашних дамских тапочках с помпонами? (Его неподдельно английские колеса фирмы «Кларк» тоже, оказывается, увели...)

Удобства — должно быть, для пущего удобства — были, как полагается, во дворе. Здесь же он обнаружил и приветственно развевающиеся на веревке чисто выстиранные, но шибко уж почему-то рваные брюки свои. Сперли их, оказывается, с гуманной целью — выстирать, и, как справедливый человек, Пепеляев не мог уважительно не подумать об Алине: «Это ж во сколько же она, индюшкина кошка, поднялась?»

Приятно было сачковать. И для здоровья — наверняка полезно. Все — на работе. А ты — нет.

Тишина.

Какие-то смирные, слегка отечески пристукнутые мальчишки-сопляки воспитанно ковыряются в помойке возле сараев.

Окаменелые бабуси цепенеют в окошках — каждая намертво прикованная родней к своему подоконнику.

Философический козел стоит, застывши, посреди двора — зрит в землю, будто вдохновением пораженный...

Никто тебя никуда не погоняет. Никто и никуда.

Счастья — в высоком, чересчур уж научном значении этого слова — может быть, и нет. Но зато есть покой и воля. Есть первобытное разгильдяйство во всех членах тела. Есть чуть слышное, дремотное позвякивание баклуш, там и сям развешанных на ласковом утреннем сквознячке в предвкушении бития...

Из карманов она все аккуратно ковынула и на столе сложила.

Хорошо, хоть я паспорт догадался на барже забыть, обрадовался Василий. (Там у него позорный штемпель о свадьбе с Лидкой-стервой все еще не был изничтожен.)

В пиджачном кармане преданно ждал своего часа «Блик-2».

Однако — загадка природы! — самочувствие у Василия было с этого утра на удивление нормальное. То ли бугаевский «Блик» гнали из какой-нибудь очень уж благородной древесины, то ли климат здесь был лечебный, но факт: маковка-тыковка у Васи ничуть даже не потрескивала, никакого дрожжента в коленях и ненужного дирижерства в руках не наблюдалось. Жить, товарищи, совсем не тошно было, а — наоборот!

Вася даже растерялся. Он даже сгоряча подумал что-то этакое: «Может, ну ее к черту? И так вроде хорошо?..» Но тут же сам себя строго окоротил.

«Отгулы есть? — спросил он начальственным голосом. — Есть. А чем должен заниматься сознательный человек в отгульное время? Ну вот... Тем и занимайся. И нечего придуряться! А то, что на душе сейчас якобы хорошо, — так ты, Василий Степанович, не сомневайся: еще лучше будет!»

И, убедившись в собственной правоте, Пепеляев наскоро сполоснул организм очистителем и двинул на прогулку.

...Двухэтажный урод, в котором проживала Алина, был выстроен на самом выгоне из райцентра. Дальше уже ничего не было.

Ничего не было и вокруг. словно бы зона заразного карантина, брезгливой опаски окружала этот дом-чужак.

Ни кустика не росло здесь, ни деревца. Лишь заколевшая до каменной твердости грязь и пыль, на вид вполне цементная.

Пепеляев шествовал по Бугаевску с сытым ревизорским видом: руки в брюки, нос в табаке, в глазах — строгость.

Заблудиться теперь он не боялся. Во-первых, конечно, день. А во-вторых: по какой бы улице ни идти, он знал, все едино, хочешь не хочешь, волей-неволей прибредешь к магазину... Это удивительное явление природы Пепеляев наблюдал над собой и в гораздо более, чем Бугаевск, населенных пунктах. Попади он в каменные джунгли какого-нибудь Сингапура или Вологды, будьте уверены, происходило бы то же самое.

Справно жили в Бугаевске. Воровать, может, и не все воровали (на всех-то где напасешься?), но дома были добрые. Попадались и многотысячные, лет этак пять не особо строгого режима. И отчетливо было заметно, что творческий дух состязания вседневно язвит душу каждого бугаевца-домовладельца.

Выпендривались друг перед другом, ничуть того не скрывая. Один, к примеру, на конек статую-бюст мыслителя древности присобачит, а другой — тут как тут — уже канареечно-черными полосами фасад себе измордовал! У одного — вместо летней кухни кузов автобуса с самоварной трубой приспособлен, зато у другого — забор из новехоньких кроватных панцирей изготовлен! Если у кого-то на окнах решетка в виде картины «Переход Суворова через Альпы», то, будьте уверены, у его соседа напротив — дворняга под королевского пуделя стрижена, не считая, что и жена семи пудов веса, дети — отличники, а на фронте надпись: «Дом образцового содержания скота»...

Но в целом с архитектурным обликом в Бугаевске было плоховато. Не чувствовал придиричивый Пепеляев единого замысла, а главное, что синтез плоскости, кубометра и пространства отсутствовал. Зодчим в Бугаевске (складывалось у Пепеляева такое мнение) чужды были не только традиции, но также даже и новаторство. Впрочем, вероятнее-то всего зодчие в Бугаевске никогда даже и проездом не бывали, потому и дома здесь — нет, чтоб им в порядочек выстроиться, заборчик к заборчику, строевой, так сказать, ансамбль-шеренгой — вели себя стихийно. Так и норовили расползтись, как разругавшиеся тараканы, — то боком друг к другу, а то и задом повернуться.

Очень тут еще уважали по буеракам уединяться, по овражкам костоломным, по скособоченным кручам. Смотришь, угнездился где-нибудь над промоиной, висит на невидимых миру соплях и честном слове — сплошные подпорочки, крыша набекрень! — и доволен... А о том не думает, что вот, к примеру, помрет, а как его оттуда в гробе тащить? Или — того хуже — вдруг на гардероб «ЧСБ-1» денег накопит, а как такую драгоценную вещь в дом доставить?.. Что уж говорить про нетрезвое возвращение в лоно семьи, да еще к тому же в потемках, например?

Невелик был град. На стакан бензина его раза три можно было бы автомобилем объехать.

И десяти минут не погулял Василий по бугаевским улицам, а уже опять оказался на знакомой площади.

Здесь, спору нет, было культурно: магазин влиял, Доска почета да еще, конечно, алюминиевым серебром крашенная скульптура.

Васе даже маленько неловко сделалось за свои неподобающие галифе и босой вид. Мимо него тут один гражданин прошел, так он в галстук был и в полном, о двух бортах, суконном костюме! Начальник, должно, местный. А может, городской дурачок: солнце к этому времени уже кочегарило нормально, градусов на тридцать шесть и шесть.

Развешены, наклеены, приколочены, присобачены были тут многочисленные слова — в виде афиш, ультиматов, транспарантов, стрелок, объявлений, указаний, приказаний и сообщений:

«Тубсанаторий „Свежий воздух“ — 250 м».

«Тубсанаторию „Свежий воздух“ требуются сантехник, лаборант, подсобник на флюорустановку, личный конюх».

«Стоянка транспорта только сан. „Свежий воздух“!»

«Сегодня в Зеленом театре сан. „Свежий воздух“ к/ф цв. Индия „Рыдание большой любви“. Дети после 16».

«Самодетельный ансамбль песни и танца тубсанатория „Свежий воздух“ объявляет прием в „Ай-люли“. Приглашаются желающие».

«Тубсанаторий „Свежий воздух“ — 1,5 км» и т. д.

Что и говорить, грамотному человеку было чего почитать здесь, в центре Бугаевска. Это — не считая фамилий передовиков на Доске почета и изнуренно-желтой, за январь месяца, газеты «Чертовецкое знамя» на печально покренившемся щите.

Василий, впрочем, не большой был охотник до чтения. Вот в магазин он зашел с удовольствием, как в дом родной.

Все здесь было как и вчера. Разве что у продавщицы прибавился под новым глазом синяк да старушек накопилось поболее.

Впрочем, стоп! Пепеляев вдруг взволновался. Новшества были! И они весьма Василию неприятно понравились.

Вечерние пепеляевские покупки, оказывается, не прошли мимо продащицкого внимания: «Блик» из москательного отдела уже перекочевал в угол продуктового, где и красовался теперь на равных и рядом с укусом и квасным концентратом. Очереди, правда, за ним еще не было. Но ведь и мужиков-то еще не было!

«Вот и неси после этого культуру в массы,— с грустью подумал Василий.— Сидели до моего приезда бугаевские лопухи, тихо хлопали ушами, ни горя, ни достижений современной бытовой химии не знали... А теперь-то, распознавши что к чему, враз ведь вопьются, вампиры!»

И пришлось Васе взять ровно вдвое больше, чем просила душа,— семь пузырьков.

Продащица нынче глядела ласковее. Должно быть, в результате синяка. Василий, однако, был тоже не вчерашний — вид сделал труднодоступный. Во-первых, конечно, обиделся за перестановки в мага-

зине. А во-вторых, вообще — не одобрял он всякие там адюльтеры-бюстгалтеры. Алине в этом смысле повезло, что и говорить.

...Вышел Вася на крылечко — счастливый, отоваренный! Глянул окрест — душа аж зашлась от свечой взмывшего в небеса восторга!

Гаркнул Вася: «И-эх! Ура, товарищи! Ай-дули-ду!» Хотел было и цыганочку сбацать, но пузырьки в карманах не позволили... И пошел он в свои временные свояси увесистой глинобитной походкой владыки земли бугаевской, этакой хозяйской раскорякой былинного штангиста-тяжеловеса. И заулыбался Вася светло и счастливо всем без исключения во все стороны света на все свои тридцать два с лишним зуба.

И уже казалось ему, космополиту безродному, что он — веки вечные в Бугаевскé. И родился, и крестился, и женился-разводился, и «Бликом» отравлялся — все здесь. И здесь же помрет, даст бог. И сюда, на бугаевский погост, будет приходить к нему в выходные Алина...

Короче, решил он пожить здесь вечно. Легковесный же, как сказано, был человек! И про Чертовец, и про маму родную, и даже про «Красный партизан Теодор Лифшиц» с его повышенными обязательствами напрочь забыл!

Он потом любил вспоминать эти славные денечки.

— И-эх, братцы! — говаривал он своим дружкам-приятелям. — Что вы знаете об жизни как об существовании двух белковых, любящих друг друга тел?.. Но даже и я (смейтесь!) не смогу как следует рассказать! Ибо — нет слов, братцы!

Во-первых, конечно, уход и ласка.

Штаны она ему, кроме того что постирала, еще и зашила где надо. Нагладила — хоть брейся! — на стульчик повесила.

Шкары, говорите, сперли? Так это она же их к Нюркину свояку и снесла! Набойки там сделать, подошву приклеить, глянec навести...

Одним словом, набросилась Алина на Василия хоть и молча, но с большим волчьим аппетитом.

Рубаху мало что выстирала, но и накрахмалила до такого жестяного состояния, что надевать ее во избежание ненужного травматизма Пепеляев стал избегать, только глядел издали да искоса.

Во-вторых, в воспоминаниях о том золотом времечке само собой упоминались кормеж и постельный режим. «По этой части,— сладко жмурясь, формулировал Вася,— все было как в санатории „Свежий воздух“. Но — без туберкулеза».

Ну, и в-третьих, как сами понимаете, с утра до вечера — сплошная свобода воли! Хоть на Алининой пуховой трясине, помрачительно-ласковой, хоть на балкончике — на благостном сквознячке, хоть кверху пузом на грязноватом берегу красавицы Шепеньги под сенью тенистого санаторского парка, куда пускали, несмотря на мощную, хотя местами и поваленную ограду, всех подряд — безо всяких на то рентгеновских снимков и справок о нездоровье.

Как пламенному чертовчанину ему, конечно, стыдно было в этом признаваться, но факт: бугаевские прелести частично безусловно околдовали его.

Ему нравились эти кривоватенькие, трогательные в своей рахитичности улочки, так и смяк расползшиеся по облыселем от зноя буграм; ему нравилась эта въедливая, нежная, как пудра, пыль, которая, единожды (утром, к примеру) поднявшись, могла висеть в воздухе почти недвижимо хоть до самого вечера, лишь слегка величаво меняя свои очертания; ему нравилось таинственное изобилие древней позеленелой воды, встречавшейся в Бугаевске на каждом шагу, несмотря на лютую, неслыханно африканскую жару того лета: то в виде поэтически укромного страхолюдного болотца, полузаваленного зазубренными консервными банками и проржавелыми ведрами, то в виде гиблого, дочерна загнившего пруда, сплошь заросшего пышной какой-то травкой, пепельно-пакостной от усеявших ее комаров, то просто в виде тихого сточного ручья, густо влекущего нечистоты свои в Шепеньгу; и Шепеньга ему нравилась, эта мелеющая с каждым часом водная красавица артерия, все дальше отступающая от берегов и поневоле обнажающая гнилостные, жгуче всем интересные тайны: сардонически ощеренные трупы кошек и собак с камешьями, аккуратно подвизанными к шее, битые бутылки, опасно торчащую, непонятного происхождения железную рвань, чью-то одежду (наверняка когда-то окровавленную), обрывки тросов, бочки из-под солярки, тележные оси, чернокаменные осклизлые бревна, рыжие бунты колючей проволоки, зловещий, корявым проводом замотанный джутовый мешок (не иначе как с расчлененкой), сапоги, не очень-то даже драные, галоши к ним, что-то почти поглощенное илом и весьма похожее на поваленный подъемный кран, телефонную будку с уцелевшими буквами загадочной надписи «...асса», почти целехонкий с мешками цемента автоприцеп, бесследно пропавший, как сказывали, позапрошлым летом — все это и еще очень многое, обильно покрытое мертвенно-серым каменеющим илом, в радужных соплях мазута, вперемежку с омутцами упорно не высыхающей, дикой, дегтярно-черной грязи чрезвычайно нравилось созерцать Пепеляеву в редкие минуты досуга; ему нравились дивные бугаевские вечера: эта жизнь в душных потьмах, это шуршание шагов по щиколотку в пыли, это воодушевленное агрессорское гундение во тьме неисчислимых комариных банд, это изобилие первобытного мрака, опрокинутого на землю, и жалостные огонечки, зажигаемые людьми, при виде которых становилось так пронзительно-неприятно-сладко, что одного только и хотелось: «Пусть погаснут они поскорее, к чертовой матери, огонечки эти! Пусть уж ежели мрак, так мрак!»

И уж совершенно пленен был Пепеляев бугаевскими днями-полуднями — с их слепяще-белым, ошарашивающим солнцем, грозно обрушенным на землю, с их обольстительной ленью, которая дружески вкрадывалась в каждый ничтожный суставчик, в каждую косточку-жилочку, рождая ни с чем не сравнимый, сладчайший паралич в членах организма, от которого, в свою очередь, однотонное, успокоительное возникало жужжание в опустело-пыльной голове и этакая люмпен-разгильдяйская появлялась походочка, которой и бродил всласть Василий Пепеляев по Бугаевску, плетя в его пыли задумчивые синусоиды, плавные петли и затейливые загогулины, нелепые, если со стороны глядеть, и больше всего напоминающие те загогулины, петли и

синусоиды, которые плетет одуревшая от зноя муха, с утра до вечера облетывая свисающую с потолка лампочку и все не решаясь почему-то присесть на нее...

Все, все это несказанно чаровало Василия! Для такой-то вот жизни был он, оказывается, рожден (знать бы раньше!) — и ни для какой другой!

Плюс, не забывайте — «Блик-2».

Уже через день-другой стали попадаться Василию, числом все обильнее, бугаевцы мужского пола, то лбом приткнувшиеся к забору, то дерзкие кренделя выписывающие ногами и с песней, простой как мычание, пробирающиеся домой, то одурело вопиющие что-то, в корне неверное, из бурьянных невылазных трясин, то просто с вескостью и непререкаемостью камней возлежащие на пешеходных тропках и транспортных капиллярах Бугаевска.

С каждым днем их становилось все больше. Было ясно: пепеляевский почин подхвачен дееспособными товарищами из местного актива. Он растет, ширится, зараза, и лазурный очиститель уже становится весомой, привычной и, можно сказать, излюбленной добавкой к ежесуточному рациону многих бугаевцев.

Несмотря на это, запасы «Блика» не иссякали и, судя по щедрости, с которой Липа-продащица ежеутренне уснащала им витрину, иссякнуть должны были не скоро...

Да, поэтически выражаясь, балдел Василий в Бугаевске. Перламутровой мутью туманилась день ото дня головенка его.

«Вот он, край! Вот он, предел обетованный! — нашептывал кто-то ему, нежный и ласковый. — Дальше — некуда! Дальше — незачем! Дальше — преступно, если ты не враг своему душевному равно-весию!»

И не без успеха, заметим, нашептывал... Вот вам ярко-красочный пример.

Был у Василия до Бугаевска возлюбленный предмет для размышлений, некий дерзновенный проект-программа того, как в один прекрасный день он харкнет с небывалым дотоле чувством на родной порог Чертовецкого речного пароходства, повернется и пойдет-пойдет, никуда не заворачивая, ни с кем до поры не заговаривая, куда глаза глядят! Прямоком к югу.

Ни до свиданья никому не сказавши, ни чемодана не собравши, ни денег не накопивши, ни долгов не отдавши. Прямо так, как есть. И главное, что никуда не сворачивая — по прямой линии — к югу.

Все у него было на этот случай обдуманно. Ночлег? Так в любой деревне в избу пустят, или он не в России?.. Пожрать? Так в любом колхозе, в любой шарашкиной конторе встретят Пепеляева с распростертой душой! Милиция? А че милиция? Не преступник вроде. И документ в порядке. И вообще по Конституции, сказывали, каждый может куда хочет. В случае чего и соврать недолго.

В превеликое наслаждение впадал всегда Пепеляев, воображая, как идет Пепеляев по милой ему России — по пыльным дороженькам ее — молодой, свободный, налегке! Как выпивает где-нибудь с

мужиками, неспешно беседуя о чем-то шибко государственном, как спит у костерка или в поле, в копешке сена, как привечает его на лесном каком-нибудь кордоне красно-прекрасная тихая вдовушка, глухонемая, как цепляет его ласково за плечи (удерживает, значит...), а он, хоть и сам до ужаса не прочь остаться, все же уходит, непреклонный зимогор, ранним утречком, когда солнышко только-только еще подымается, кругом туман, роса блестит...

В несказанное волнение приводили его раньше эти мечтания. Он начинал вопросительно взглядывать вокруг, вставать-садиться, свет включать-выключать, мелочь по карманам пересчитывать. И словно бы глож в эти моменты. На все вопросы отвечал как дурачок: «Ага. В общем, не упрекай меня, Прасковья...» и смотрел как из-под воды.

Кончались, конечно, эти святые беспокойства довольно быстро и всегда единообразно — бормотухой внутриутробно.

...Так вот, в бугаевском целебном климате эта излюбленная мечта его разительно изменилась: словно бы от жары скукожилась, светленькой замшевой пылью как бы подернулась... Полета вдохновения хватало теперь ровно настолько, чтобы вообразить: вот он гордо плюет, вот он поворачивается, вот он бредет прочь... и — прибредает в Бугаевск. (Его нипочем было не миновать — от Чертовца он строго на юг находился.) И на этом все заканчивалось. Ибо начинался здесь «Блик», начиналась Алина, несравненная перина, золотое обомление души. Тишайший, в общем, угомон всех дерзновенных поползновенный. Всех и всяческих претензий светлейший упокой.

Очаровал Бугаевск Васю, в этом надо признаться. Нигде, понял он, не будет столь вольготно ему телесами, столь раскидисто душою, столь безмятежно мыслию — как здесь, в райцентре (от слова, несомненно, «рай») Бугаевск!

Этот золотушный, тихо больной городишко принял его как полузабытого родного. Так полудремлющая на ходу, отупевшая от сонма забот многодетная мать с равнодушной ласковостью отворяет дверь блудному сыну своему, то ли двенадцатому, дай бог памяти, то ли девятому по счету, а может, и вовсе чужому («Одним больше, одним меньше, пусть живет...») — так вот пустил его к себе этот город.

И точно так же — без всяких восторгов, ласково и безрадостно — приняла его Алина.

После дежурства на следующее утро объявившись, она, кажется, и бровью не повела, обнаружив в своей перине разнокалиберные, рыжим волосом поросшие мослы и прочие детали пепеляевской корпуленции. И, даже обнаружив под одной из пяти подушек адски задыхающуюся, каторжно небритую рожу его, свистящую нефтяным перегаром, не удивилась ничуть. Просто легла рядышком, скинув все с себя по случаю жары, в бок толкнула, сказав устало:

— Подвинься, что ли. Спать хочу, смерть.

Спросонья это даже обидно было услышать Василию.

Будто каждый день в ее перинах Пепеляевы валяются!

Он принялся доказывать, что это не так, что он, не исключено, довольно редкостный подарок судьбы — тот самый, может, принц бес-

портошный, о котором грезить полагается всем девушкам в бугаевской глуши, фильма насмотревшись «Рыдание большой любви» в двух сериях на ночь глядя.

Но — тщетны оказались его усилия.

Не было в Алине: ни изумления игрой судьбы, повалившей под одно одеяло двух замечательных мокренских человечков, ни спасибочка фортуне-индейке, столь дивно перехлестнувшей их жизненные пути-дороги, ни даже законного смущения-возмущения фактом столь нахального пепеляевского вторжения... Будто все было именно так, как и должно быть. И уже давным-давно началось и давным-давно продолжается.

Василий что ж: если не настаивали, не возражал... Все же надо признать, мужское самочувствие его было задето. Грустно-понятно стало Василию: ежели, проснувшись, вдруг не обнаружит его рядом — белы ручки заламывать, ой, не станет, серой горлицей на городской стене стонать, ой, не будет, на босу ногу к автостанции догонять, ой, не побегит!

Чайник поставит. Будет с блюбочка кипяток хлюпать и в окошко зырить: кто, куда, с кем и зачем пошел и что бы это могло бы значить...

Размышляя впоследствии о статусе своего пребывания в Алининой перине, Пепеляев чаще всего формулировал себя в виде такого кота. (Он очень уважал котов, особенно помоечных — за независимость повадки и презрительную к миру гордость.)

В самом деле, жила-поживала, скучные пряники жевала одинокая дева Алина. И вот приبلудился к ней серый, дальше некуда, кот Василий. На автобус якобы опоздавший. Тоже одинокий. Алина, конечно, православная душа, животную не выгнала. По шерстке погладила. В блюбочко молока налила. Живи, сказала, серый кот Василий Степанович, покуда живется! Ну, а время придет, что ж — иди в свои кошачьи свояси! Где ж видано, чтоб кота, бездомного, вольнонаемного, силой можно было удержать?

Вот он и живет.

...Она и разговаривала-то с ним, считай, как с кошкой. Ответов не ожидая.

Сидят, они, к примеру, вечером у открытого окна в надежде на ветерок, а она вдруг — ни с того ни с сего — в кисленький смех:

— Ну-у, Аннушка!.. Правду старики говорят: «В тихом омуте грязи больше». Этого-то, который с каверной, из второго отделения, поди ж ты — охомутала! Сегодня межгород заказывал. Людмила, говорит, жене... За квартиру, говорит, не плати! На дочку, как договорились, с пенсии буду присылать, а за квартиру не плати! Не надо!.. Я-то сразу уж с линии отключилась, больно смешно стало, забоялась, что не удержусь. Не плати, говорит. Не надо... Вот-те и Аннушка!

Васькино дело котовское: слушай да ешь. А поесть она приносила. Иной раз даже с мясом. У ней подружка Лизка при столовой работала. Вот Алина и приспособилась.

Она и по гостям-то его водила тоже напоказ — как диковинного говорящего кота.

Приближение светской жизни Василий без ошибки определял по

беспокойству, которое сквозить начинало вдруг во взглядах, исподтишка на него Алиной бросаемых.

Смешно говорить, но ведь это она и з - за него, дуреха, беспокоилась! Как будто он когда-нибудь мог позволить себе в гостях что-нибудь слишком уж этакое: не к месту, например, матерное ляпнуть или хозяйку не за то место ухватить, или, того хуже, нежное какое-нибудь блеманже приняться ножиком резать, вместо того чтоб плоскогубцами его, как принято.

Начепурившись, переливчатое свое платьице надевши, Алина — этак по касательной, невзначай — говорила, будто бы даже и с зевотцей:

— Машутка чтой-то звала нынче... И чего ей надо? Пойдем, может, посидим?

Василий отвечал: ага. Сделать Алине удовольствие было для него одно удовольствие. Ну, а насчет того, чтобы бонтон держать, ослепительное впечатление произвести — это не Пепеляева было учить! Иные-много и позавидовать могли бы.

Конечно, учитывая уровень, он о катаклизмах или безразмерности пространства не распространялся. Золотой латынью тоже не слишком старался брэнчать. Философов не касался. Изящную словесность, равно как и науку (в смысле перпетуум-мобиле), балет, целлюлозно-бумажную промышленность, падение нравственности и проблемы рисосеяния за Полярным кругом — не трогал. Все же остальное — годилось вполне в тех задушевных застольных фэйф-оклоках с сушками, которым предавался Василий, ведя рассеянную светскую жизнь в Бугаевске.

Ну, вот вам первый попавшийся, с краю валявшийся пример пепеляевского красноречия на тех журфиксах...

— Вот вы, я вижу, думаете! — вдруг вскрикивал он посреди томительного сидения у какой-нибудь очередной Машутки-Дашутки и пронзал ее перстом.

Дашутка тотчас начинала разоблаченно краснеть, потому что в тот момент действительно думала: «И за что же, господи, — думала, — этой дуре Алине такое несправедливое в женихах везение?!»

А Пепеляев не отступал:

— Точно! Думаете! Думаете, что проблемы интенсификации социологического спроса — это... где-то там... вас, в общем, не касается! Сознаетесь! Хотите пример? Не-е, честно! Хотите пример? И я вам докажу, как апельсин, что — эфемерность! Не больше. Но — и не меньше...

Так вот. Слушайте. Года три назад. Идем спецсекретным рейсом: Донецк — Чертовец — Остров Зеленого Мыса. Я тогда в ракетно-десантных войсках служил... Идем. И вот я замечаю на экране аэробуса-осциллографа некий подозрительный континиум. «Континиум» — это, в общем, слово такое... Адмирала подзываю. Тот ничего не может понять. Моторист вглядывается — только головой крутит. Тут же, заметьте, собачка крутится. Почечуй ее звали. В море к нам прибудилась. Почечуй на экран глянул да ка-ак вдруг завоет! Адмирал, смотрю, с лица сбледнул, ручку на плечико мне кладет, еле-еле говорит:

«Сполный, Пепеляев... Как сумеешь...» — а сам по стеночке, по стеночке — в кают-компанию коньяк пить.

Мы — кому страшно, держитесь за стулья! — в Бермудский треугольник вляпались! А вы говорите...

Ну, о летающих тарелках, надеюсь, вы в курсе? Кто не знает, тому поясню: тарелки эти аккурат в том треугольнике и ночуют. В общем, не упрекай меня, Прасковья...

А теперь — от конца возвращаясь к началу — хочу спросить: в старину тарелки летающие были? Бермудские эти треугольники были? Нет. И еще два раза — нет! А по-о-очему?

Тут следовала пауза, от которой сомлел бы и сам основатель системы Станиславского.

— Не можете ответить... Ничего удивительного. Тогда попробуйте на другой вопрос: «Почему вы в бугаевской церкви трикотажные кальсоны вяжете?» Ну?! Жду ответа! Не кальсоны? Это не важно. Вот и получается, милые-дорогие граждане судьи, что бабка какая-нибудь старая, или мужичок с похмелья, или пионер перед ответственным диктантом — они, может, и хотели бы — на пару минут, не больше! — в культурное местечко забежать, на картинки-иконки полюбоваться, вообще в холодке постоять! Ан нет! В этом культурном месте вы, — пронзительный перст в Дашутку, — голубые трико вяжете! Не трико? Это не важно.

Клизьмы у вас нет? Не-е, честно! Клизьмы в доме нет? Жаль, а то показал бы я вам наглядно, как в планетарии, что такое есть вакуум. Ва-ку-ум! Из-за него бабка ваша бугаевская, темная, глядишь, уже и на летающую тарелку молится. А не летит летающая — так на простую крестится! Потом начнется, как видим, поклонение сервизам, а потом — гарнитурам, телевизорам, прочим идолам и волхвам. И мы имеем тогда что? Не-е, честно! Мы имеем — что? Разгул обывательского мещанства! Правильно. А почему? А потому что вот вы, — палец в Машутку, — думали, что интенсификация социологического спроса вас не касается. (Ну и так далее.)

Вешая на уши благодарных слушательниц вдохновенную лапшу своих импровизаций, замечал Пепеляев, что смотрят они на него — словно бы даже коченя от уважительности. И Алина, между прочим, тоже. И чуял Василий в такие звездные моменты, что, возможно быть, не совсем кошачье место отведено Пепеляеву в сумеречной Алининой душе. Вот только хорошо ли это, плохо ли — никак не мог сообразить. Все-таки надо признаться честно: жениться в Бугаевске он не шибко торопился.

Водили его и на танцы. Тоже, понятно, напоказ.

Тут какая-то совсем уж загадочная деятельность затевалась вокруг Пепеляева.

Алина прислоняла Васю к ограде в месте, не чересчур светлом, но и не вовсе темном, говорила:

— Пстой маленько-то... без меня-то не уходи, — и пропадала на время.

Амплуа свое Пепеляев нашел быстро. Амплуа называлось: «Столичный штучка Пепеляев проездом в Бугаевске».

Морда, то есть, слегка от скуки прокисшая, ножки сикось-накось, а взгляд — надменный, как у тухлого хариуса.

Гремела музыка. Вовсю, покуда сами с собой, веселились барышни.

Угрюмой стенкой, как в оцеплении, теснились по периметру топтушки бугаевские кавалеры. Все, как один, в белых рубашках. (Своя униформа была и у хозяев танцплощадки: синенькие с беленьким спортивные костюмы, — так что когда туберкулезники собирались в кучу, они вполне ходили в темноте на какую-нибудь олимпийскую сборную.)

До третьей пластинки царили вокруг Пепеляева сплошное хихиканье и скука стеснения. Потом, вира помалу, настроение подымалось. Бугаевские приподымали его в окрестных кустах с помощью, судя по запаху, все того же славного очистителя. Олимпийцы же раскочегаривались сами собой, от взаимного трения.

И вот врубали, наконец, любимое Васино «Ай-дули-ду» (потом его заводили через раз) — и развеселые туберкулезники, распоясавшись, принимались беззастенчиво казать селу, как нынче пляшет город.

Поселяне, себе на уме, одобрительно погогатывали и согласно перенимали опыт, норовя заполучить учительшу пошустрее. Трикотажная половина пляшущего Бугаевска вела, натурально, свои изошренные боевые каверзы против мужской олимпийской сборной...

Танцевала Алина или не танцевала, Пепеляев не видел. Но возникла она из окружающей тьмы рук, ног, веселящихся голов всегда словно бы даже запыхавшаяся. Непременно волоча за собой какую-нибудь из подружек.

— А это — Вася! Василий Степанович. Я говорила тебе...

Василий Степанович напускал на себя еще пуший вид. Начинал барственно побряхтывать, бубнить нечто невнятное:

— Мда... Рад... Очень мило... Приятственно...

Постояв этак возле него с минутку, Алина щебетала подружке:

— Ну что? Побежали? — и они убежали.

...А то подводила каких-то полунемых обалдуев, которые, непонятно-дружески, прямо-таки родственно улыбаясь, руку принимались жать со значением, спрашивая всегда одно и то же и всегда с одной и той же усмешкой:

— Ну, как тебе тут у нас?

Василий скучающе морщился, а отвечал многосмысленно:

— Что ты! Мечта бильярдиста! — после чего обалдуи окончательно уже не знали, что говорить.

Распростившись, кое-кто из них возвращался, клал руку на плечо, по-мужски скупко ронял:

— Молодец. Понимаю. Алина — баба во!

Васе и здесь было замечательно.

«Ай-дули-ду» заводили. Долгожданная смычка города с деревней успешно свершалась — иной раз в близлежащих кустах, любо-дорого было смотреть.

Любо-дорого было и вот так просто стоять, изображая перед благодарной бугаевской аудиторией невесту что: то ли графа Монте-Кристо, до срока чесанувшего с лесоповала, то ли зажиточного плантатора-расиста на невольничьем предпраздничном базаре, то ли самого себя — то есть чайльд-гарольда Васю, слегка утомленного светской мишурой и очистительным «Бликом».

Алина, словно дите малое, радовалась танцевальной жизни. Порхала — прямо Наташа Ростова — вперед-взад! Медное колечко (в потемках совсем как золотое) то появлялось, то исчезало на безымянном пальчике правой ее руки.

Пепеляев, понятно, понимал, что имеет кое-какое касательство к этому празднику ее души. И удовольствие от этого получал, чего уж скрывать.

С танцев они уходили всегда раньше, нежели остальные разбрелись по окрестным буеракам. И, право слово, душа радовалась смотреть им вслед: уж больно хороша была парочка!

Василий... ну, о Василии и говорить нечего... И Алина — как сияющая девочка-толстущечка, с обручальным колечком на пальчике, в свеженьком перманентике, вся такая наскрозь счастливая — воплощение, можно сказать, тихой и нежной покорности судьбе, которую она взяла за рога...

Вообще надо сказать, что Василий жил в Бугаевске довольно активной культурно-массовой жизнью. За время своего пребывания здесь он четырежды посмотрел с Алиной «Рыдание большой любви» (неумолимо засыпая на середине первой серии); дважды посетил Зеленый театр: один раз — заблудившись, а второй раз — чтобы показать сагамам из «Ай-люли», как надо бацать цыганочку; прочел околомагазинному люду пяток лекций-воспоминаний о том о сем; заглянул в книжный ларек, где в предвиденье принципиально новой жизни спер по случаю книгу-пособие по паркетному делу; купил Алине мешок картошки, но — главное! — отпустил бороду и обрился наголо.

Поскольку из всего перечисленного именно последние деяния имели для Василия довольно катастрофические последствия, мы расскажем об этом подробнее...

Однажды утром Василий, по обыкновению, проснулся. Проснулся и, по обыкновению, пошел в город. Ничего не предвещало.

Там, возле магазина, у Василия, конечно, завелись кое-какие знакомцы, но компании, честно сказать, в высоком значении этого слова, увы, не складывалось... Во-первых, конечно, потому, что бугаевцы оказались чересчур уж тугодумное и на разговор угрюмое племя, а во-вторых, очиститель лазерный был настолько чудесно дешев, что никакого финансового смысла сбиваться в коллектив люди не видели: каждый отравлялся в одиночку, хотя и поблизости друг от друга.

И все же каждое утро около магазина Васю Пепеляева с нетерпением и горячей любовью ждали.

Местные собаки ежеутреннюю встречу с чужестранцем Васей уже почитали, судя по всему, за непременно пункт своей программы

жизни. Часам к десяти они уже чинно сидели возле магазина — фронтом к улице, на которой Пепеляев должен был появиться, — и, блюдя верность ему, ни в какие сношения с посторонними не вступали.

Он кормил их вафлями. Теми, которые в олифе. Собаки были довольны. Премного благодарна оставалась и Липа-продавщица, списавшая два ящика этой отравы еще месяц назад.

Собак было пятеро: Агдам, Вермут, Рубин, Кавказ и предводительница их — Елизарыч — тоже сука с усам.

От вафель они с непривычки изумленно икали. Но, закончив трапезу, благодарно и дружно провожали кормильца до спуска к причалу, куда после магазина всенепременно направлялся Василий. С преданной слезой во взоре смотрели ему вслед, мотая хвостами, а потом вдруг, как по команде, враз куда-то пропадали по неотложным своим быстротекущим делам.

На причале было безлюдно. Да и мудрено ли: Шепеньга, будто где-то в верховьях перекрыли вентиль, мелела с каждым днем все стремительнее и бесстыднее.

«Теодор Лифшиц», по всем расчетам Пепеляева, уже давно сидел на мели где-нибудь в двадцати морских верстах ниже по течению.

Незачем кривить: Василий никак не переживал за свою родную самоходную баржу и за свой не менее родной коллектив. И уж конечно же никаких нехороших предчувствий в душе не имел... Но, странное дело, каждый раз, когда сидел он на опустелом причале, что-то э т а к о е посещало его. Чувство вины не вины, тоски не тоски... черт знает, хандры какой-то, в общем приятной, одолевало его тут.

Он, можно подозревать, за ней-то, за хандрой-меланхолией, и являлся сюда ежеутренне. Этаким грустный, как на вокзале, о чем-то возвышенном размышляющий, он, без сомнения, был странен себе. Но не без приятности...

Вот и в то утро, когда ничего, казалось, не предвещало, посидел с полчаса на кнехте, поплеывая в гудронно-черную жижу у причала, поразмышлял маленько о том о сем и обо всем вообще... Ну, может, чуть подольше посидел. Ну, может, чуть побольше поразмышлял. Ну, может, чуть более кучерявый протуберанец возрос в тот момент на солнце — и потому чуть язвительнее припекло тыковку его маковку...

Короче — врубился Василий черт-те через сколько времени и черт-те где! И это — в Бугаевске, который он уже на второй день знал, как собственную ширинку!

...Лежит под забором — ей-богу, даже перед бугаевцами совестно! — прямо-таки персонаж с агитплаката великобабашкинского общества трезвости: «Алкоголик? Каленым коленом — вон!»

Одна ноздря в песке дышит, из другой — аленький цветочек торчит. То ли сам возрос от мерзкого пьянства, то ли детишки украсили.

В одном кармане, слава богу, пузырек не разбитый. Зато в другом — пригоршня ржавых гвоздей.

В волосах — репы, коровий навоз, ну это ладно... Так ведь на голове и еще кое-что, совсем уж несуразное, веночек из колючей проволоки!

И — полнейший мрак позади! Что вытворял? Где концертировал?

Если веночек, то вполне возможно, что по Шепеньге, как посуху, гулял. Или возле магазина на потребу алконавтов воду в портвейн обращал. (Но это вряд ли, морда вроде бы не бита...)

Еще, может, цианистый калий на спор ложками жрал. (Жульнический, конечно, номер. Никто же не проверяет, цианистый калий у тебя в банке или просто негашеная известь.)

А то, вполне возможно, его после причала опять в «Свежий воздух» носило? Может, опять там колобродил? Чудесные исцеления... магнетические превращения палочек Коха в витамин ВВ₁ с помощью флюорографии и очковтирания... изгнание чахоточного беса-вируса из грудей молодых туберкулезниц методом рукоположения... Черт знает, какие постыдные, а может, и преступные дрова наломал он за период своей черной отключки!

И, по обыкновению, очень стыдно ему сделалось.

Аленький цветок с отвращением из ноздри вырвал и, понюхав, отшвырнул прочь.

Пригоршней гвоздей (к тому же еще и гнутых) в прохожего петуха запустил.

Терновый ржавый свой венец близидящему мальчику-сопляку кинул, сказав строго:

— Носи! И даже в бане не сымай!

Мальчик сидел в луже — то есть в бывшей луже — и старательно, хоть и машинально, посыпал себя по плечам пылью, зачарованно глядя на Пепеляева многодумными анилиново-синими очами.

Венок он проворно подобрал, на белесую голову нахлобучил, снова принялся обсыпать себя пылью, наблюдая, как Василий извлекает из кармана синий пузырек, как осторожно, словно взрыватель, отвинчивает пробку...

— Цветок — это ты мне в ноздрю удумал? — спросил Пепеляев, на глазах веселея.

— Не-а... — громко прошептал мальчик, — это — Колька.

— А тебя как звать?

— Колька.

— Цветок мне в нос засунул Колька... — раздумчиво проговорил Василий. — Тебя звать Колька. Следоват, что?

— Это другой Колька! — торопливо уточнил мальчик.

— Ага. Другой. Какой такой другой? Проверим. Как твоего отца зовут?

— Колька, — удрученно сказал мальчик.

— Ага. Ты, стало быть, Николай Николаевич. А у того Кольки как отца зовут?

— Колька.

— Ага. Стало быть, тоже Николай Николаевич. И что же выходит, граждане судьи? Цветок мне в нос засунул Николай Николаевич. Тебя звать Николай Николаевич. Следоват, что?

— Это другой Николай Николаевич, — прошептал мальчик, и слеза засветилась в его глазу.

— Ага. Какой такой другой? Проверим. Как твою мать зовут?

— Пилять.

Пепеляев поперхнулся.

— Это кто ж ее так называет?

— Батя.

— Ну, а у того Кольки как мать называют?

— Тоже Пилять,— убито признался мальчик и заплакал под давлением неопровержимых улик.

Пепеляев зевнул.

— Устал я с тобой разбираться, батя. Это — Бугаевск?

— Бугаевск,— все еще плача, горько ответил мальчик.

— Ты не реви. Я тебя, считай, простил. И заодно всех остальных Николаев Николаевичей. Когда вырастешь, кем будешь?

— Туберкулезником,— застенчиво прошептал мальчик.

— Башка варит,— одобрительно сказал Василий.— «Свежий воздух», процедуры, танцы. Молодец! Я сосну тут маленько, а ты меня через сорок восемь минут разбуди. Мне еще на пленуме этих... паркетчиков выступать...— Василий неудержимо зевнул.— Доклад, правда, опять не написан... Ну, да уж я как-нибудь так, без бумажки...

— Друзья мои! Прекрасен наш союз! — заорал Пепеляев что было силы и позвонил в рынду.— «Теодор Лифшиц» — флагман нашего речного пароходства, держащий ныне путь в Чертовец, светлый символ и надежду всего развивающегося человечества, уполномочил меня. Ура, товарищи! И я безмерно счастлив. Ибо... И поелику возможно... И не случайно... С самого раннего своего трудового босоногого детства, с младых его когтей, едва вымолвив «агу-агу-гусеньки», я уже принадлежал — душой, телом, всем, чем хотите! — нашему славному сласловию. Ведь если вдуматься, если перестать жрать в рабочее время политуру, паркетный лак, а заодно и клей «БФ», — на какой ответственный участок швырнула нас историческая необходимость! Чего — ура, товарищи! — ждут от нас бесчисленные народы нашего угнетенного земного шара?! Паркет, товарищи, нужно драить с подобающим моменту времени, требующим от нас. Не для тех, кто готов цельными вечерами в вихрях жутко американских буги-вуги, тружусь вот я — простой советский скромный, не шибко грамотный и вовсе ничем не замечательный... Зря выступавшие до меня товарищи так уж, чересчур уж, слишком уж возносили хваленые мои достоинства и недостатки... Нет! Не для этого! Безжалостно, раз навсегда циклевать еще встречающиеся на нашем паркете усыпанные розами недостатки! Свинощетиными щетками, недавно поступившими в продажу изделиями из синтетического волокна, суконками, бархотками — вот наша задача, товарищи, на текущий момент! Задача — нелегкая, но очень благодарная. И не нужны нам, честно заявляю, презренные, как говорится, барашки в кармашке! Не нужны унижающие достоинство подношения в виде стаканов вина, бутылки (противно и слово-то произнести!) водки, ведер самогона, цистерн спирта, океанских танкеров с брагой! Я, честно признаюсь, недавно ходил в кино. (Одобрительный смех в заде.) Так вы тоже, наверное, помните. Белогвардейская морда. Руки — по локоть в трудовой крови! Бородища! Сначала — смешно, правда? — с такой бандитской рожей и танцует. Но не танцует он, нет! Он натирает паркет! А полковник, босая голова, в это время на

пианино сонную сонату играет. А потом, как вы помните, берет наш брат паркетчик пресс-папье-промокашку и лысому тому гаду, колчаковской той гниде заокеанской по затылку — хрясь! Ура, товарищи! А сам — шасть! — и к Василию Ивановичу Чапаеву...

Вот такая, друзья мои, профессия наша — благородная, опасная, трудная, но и неплохо, чего уж скрывать, оплачиваемая. И я с высокой колокольни этого пленума уполномочен заявить: хоть режьте меня, хоть ешьте меня, но после окончания неполной средней школы на веки вечные ухожу в паркетчики! Ничего мне больше не надо. Закончу же я по традиции пением любимой нашенской песни: «Не нужен мне берег турецкий, товарищи! И Африка мне не нужна!» Ура, товарищи! До скорых встреч в эфире...

И тут он, не дождавшись даже оваций, пробудился, поскольку недалеко грянула музыка.

Мальчик по-прежнему сидел в пыли и плакал.

— Опять ревет... — удивился Пепеляев. — Это где хулиганят?

— В доме проезжих. Только это не хулиганят. Это музыка такая.

— Не учи ученого, — строго сказал Василий. — А то я будто бы в филармонии не состоял. Почему плачешь?

— Да... Сказали, через сорок сколько-то минут разбудить, а я только до девяти считать умею!

Перед ним в пыли действительно начертаны были какие-то черточки.

— Ладно, счетовод. Пойдем проверим, по какому такому праву в курортном Бугаевске нарушают тишину. И горе им, если нет у них специального на то мандата!

— Не надо! — вдруг снова заревел счетовод. — Они хорошо играют!

— Тьфу! У тебя что, трудное детство, что ли, что ты плачешь каждую минуту? У меня тоже трудное, но я, как видишь, терплю.

Музыка доносилась из кособокого, в шелудивой побелке барака, нелепым углом выпершегося чуть не на середину улицы.

Вид у барака был нежилой и запустелый — несмотря на развратно накорябанную по стенке надпись — «ДОМ ПРИЕЗЖИХ» — и рваную занавеску в горошек, нервно трепещущую в одном из окошек.

Музыка орала о себе оттуда.

О, что это была за музыка! Вопль обиженной души, гармонические стенания перееханного железной жизнью человека!

...Она родилась, эта музыка, в какой-то слепой, одурело-желтый от жары, пыльный бугаевский полудень. В зауспокойной душной тиши мертвецки-уютного металлоломного кладбища — много там было наворочено, до небес, изуродованного, коверканного, мстительно-вывихнутого, сплюсненного, измордованного железа! И какой-то жеванный жизнью человек — плохо выбритый, впавший в отчаяние, отовсюду сбежавший — торопливым тайком пробрался сюда, волоча за собой жидконогий стульчик и положромыхающую, нелепую здесь виолончель. Уселся и стремглав принялся елозить смычком по горько вдруг

возопившим струнам — гримасничая и страдальчески скалясь в певучих местах и, наоборот, нежно улыбаясь, когда звуки принимались стервенеть... Эта музыка... эта музыка была как издевка над всем этим, как сладкое измывательство над собой, вздумавшим, видите ли, музцировать в этом мире — в ржавом запустении этом, в окаянной этой глуши, неизвестно кому, неизвестно зачем!

...Если бы арестантам, смеха ради, вздумали выдавать виолончели, то единственный обитатель «дома приезжих» был бы вылитый арестант. Камера у него была соответствующая, да и внешний вид (если обойти вниманием прическу) будил ассоциации каторжные. Полосатая пижама была на нем, нос преступным баклажаном, а мебели и имущества — койка да табурет, на котором он сидел и очень потел, тщетно перепиливая смычком инструмент. Прилагал он к этому такие усилия и так пыхтел, что Василий, глянув на него в окошко, одобрительно сказал:

— Годится! Этот на лесоповале не пропадет...

Пепеляев (как мы, кажется, отмечали) любил, чтоб культурно. Поэтому он не стал торопиться со знакомством, а сел под окошком в пыль и с меломанским видом затворил очи.

Музыка ему нравилась.

Что надо, качественная была музыка!.. Про Васькину жисть-жестянку никудышную. Про кислую судьбу-нескладеху, про Лидку-стерву. Про прекрасную девушку Грушу, задумчиво стоящую в очереди за ливером. Про тучу пыли над бугаевскими улицами, когда на закате гонят коров, а где-то пиликает гармоника и кто-то уже врубил на полную мощность «Ленинский университет миллионов» по телевизору. Про вкус ананасных вафель с олифой, про трясущихся бичей у магазина на рассвете, про бедный блеск Алининого медного колечка в толчее танцулек, — про все это и еще про многое другое играла музыка, и Василий, вспомнив, что не отдал бабе Нюсе-сторожихе рубль сорок, встал с залитым слезами лицом.

— Кореш! — только и мог вымолвить он. — Покажи! Падлой буду, научусь! — и полез через подоконник в комнату. — Я им, гадам, такую капричиозу про Пепеляева сбздаю! А цыганочку — можешь?

Музыкант смотрел на него, слегка окоченев, двумя руками обнимал-прижимал к себе виолончель. То ли защищал, то ли защищался.

— За что тебя? — сочувственно поинтересовался Пепеляев. — Ладно. Если не хочешь, не говори. — Пробежал по комнатенке, постучал по стенке (с нее тут же снялся здоровенный пласт побелки), сел на пол, но тут же вскочил и протянул руку: — Пепеляев! Меня. Вижу: хочешь выпить!

Музыкант откликнулся с запозданием:

— Христарадис. Леонид.

— Ленька?! — не поверил своим ушам Василий. — То-то, я смотрю, рожа знакомая! Это ж про тебя расклеено: «Разыскивает милиция»?.. Да шучу я, шучу. Ишь ты, уже обиделся... Я тебя тоже давно разыскиваю. Все спросить хотел: плötют вам как? Повременно? Или с каждого билета отчисляют?

— Если бы с билета,— усмехнулся Христарадис,— то я бы давно без штанов, извините, остался.

— Извиняю... Но ты и сейчас, считай, в одних кальсонах. Человек по десять посещают?

— Три. Вчера было три.

— Не бэзай, Ленька! — вдохновился вдруг Пепеляев.— Мы сегодня с тобой в «Свежий воздух» пойдем! На танцы! Там народу — навалом! Сыграешь им, что сейчас мне играл,— тебя оттуда на руках унесут, не то что на носилках! Заметано?

Ленька с горечью усмехнулся, отчего его баклажанный нос свесился еще унылее.

— Понимаю,— нахмурился Пепеляев.— Простой народ презираешь, понимаю. Цыганочку для меня сбачать не хочешь. Выпить со мной тоже отказываешься. Так?

— Совсем не так! — всполошился Христарадис.

— А анонимку от лица общественности не хочешь? Чтобы тебя быстренько на лесоповал определили в порядке шефской помощи, а?

— Я на картошку уже ездил.

— Картошка не в счет. Сейчас в повестке дня самое главное — лесозаготовки. Поедешь?

— Не поеду,— сказал Христарадис и побледнел.

— Поедешь,— ласково улыбнулся Пепеляев.— Если только мне цыганочку не сбачаешь...

— Не буду играть цыганочку! — нервно заорал Христарадис.— Не поеду на лесоповал! Я — музыкант. Я уже был на картошке! Хватит! Кто вы такой? В тельняшке, босиком забираетесь ко мне через окно и хотите, чтобы я вас слушал!

— Загордился... — грустно сказал Пепеляев.— К нему теперь босиком уж и не зайти... Вознесся! И поэтому выпить я тебе не дам! Вот здесь в ногах будешь валяться, контрабас свой предлагать, а я не дам ни глоточка! Потому что Пепеляев — человек из принципа!

Христарадис неуверенно улыбнулся. Он только сейчас подумал, что этот босоногий в галифе уголовник, может быть, пожалуй, шутит.

Пепеляев опять уселся на пол. Потрогал батарею, недовольно отметил: «Опять не топят». Извлек пузырек. Глотнул, затем снова не поленился — поднялся.

— Эх, Ленька! Губит меня доброта! На, глотни пару раз! — и ткнул пузырек ко рту виолончелиста.

Тот не посмел отказаться. Да если бы и посмел, не сумел бы вернуться.

Лишь через полминуты он сумел возопить в ужасе, хватая воздух распахнутым обожженным ртом:

— О-о! Что это? Какая гадость!

Пепеляев гордо показал этикетку.

— Но ведь это же не пьют?!

— Пьем все, что горит... Не-е, Ленька! Я серьезно. Пойдем сегодня на танцы! Народ измучился! Ждет тебя, Ленька! Не поверишь, целными вечерами одну «Ай-дули-ду» заводят! А тут — представляешь? —

выходишь ты! Молодой — что ты! Красивый — ах-ах! В пижаме, во фраке!

— Хорошо,— хитро сказал Христарадис.— Но мне нужно сначала порепетировать, подготовиться...

— Понимаю...— мрачней, сказал Пепеляев.— Мешаю. Я его поил-кормил... Он на мои трудовые кровные денежки в кружках занимался, в филармониях, в дворцах культуры. И вот он, эффект отдачи! Я, оказывается, ему уже мешаю!.. Хорошо! Как фамилия твоего начальника? Я ему — живо! — заявление от лица народа, шестьдесят четыре подписи! Он тебя враз в балалаечники понизит! Так и будет. Учти это, Ленин...— закончил он, спокойно вылезая в окно,— если в двадцать нуль-нуль по Фаренгейту ты не придешь на танцы. Ура, товарищи! — и прыгнул с глаз Христарадиса долой, как мимолетное жуткое видение.

— Николай Николаевич! — завопил он, приземляясь на четвереньки.

Мальчик возник.

— Беда! Стыковка произошла ненормально! Горючее на исходе! Где я, Коля?

— В Бугаевске...— готовясь заплакать от жалости, ответил мальчик.

— Где магазин? О, почему я не вижу магазина?! Дай руку, Николай Николаевич! Буксы горят! В иллюминаторах темно! Я заблудился в просторах вселенной, Коля! Один-одинешенек, без капли горючего! Куда ты меня ведешь?

— В магазин, вы сказали.

— Правильно! Он — единственный ориентир в этой безвоздушной темноте! Где мы идем, мальчик Коля? Темны иллюминаторы мои...

— Здесь дядя Слава живет.

— Припоминаю. Это тот самый, у которого крыша из оцинкованного серебра и дочь-красавица-посудомойка?

— У них тараканы дрессированные,— сказал Коля,— с потолка в молоко сигают. А в квас — нет.

— Молодцы тараканы! — одобрил Пепеляев.— А это чей дом? Плохо видно на экране осциллографа...

— Дед Кондрат.

— Ну конечно же! Как же я забыл?! Я ведь ему полтинник по старым деньгам должен — перед полетом занимал. Ну, ладно. На родную голубую прилечу, получку получу, отдам... Он все такой же — без ноги?

— У него две ноги,— покосился мальчик на Пепеляева.— Вы забыли.

— Значит, выросла. Я долго отсутствовал, мальчик Коля, и, наверное, за это время медицина сделала в Бугаевске семимильный шаг. У нас там, в галактиках, кто хорошо работает, тому год за три идет. Да я еще маленько заблудился в этих... в коридорах мирового здания... в лабиринтах, проще сказать. Так что, пожалуй, и не узнает меня дед Калистрат, как думаешь?

— Его дед Кондрат звать,— напомнил мальчик.

— Ну вот... Он не только, оказывается, ногу отрастил, но еще и имя

успел поменять! Течет время! Ой, неравномерно течет, брат Коля! А небо-то, погляди, над Бугаевском, в алмазах?

— Не знаю,— не зная, что ответить, ответил мальчик.

— Ба! А это никак мой молочный брат Джузеппе Спиртуозо идет! Или мне опять неправильные выписали пенсне?

— Да Ванюшка-грузин это! — с досадой воскликнул Коля. — Они баню у нас шарашкой строят.

Впереди, подняв воротник телогрейки, уныло загребая пыль кирзовыми сапогами, глаза опустив долу, брел очень печальный человек.

— Вот он-то мне и нужен! — обрадовался Пепеляев. — Вот его-то я и ищу по всему Бугаевску!

Они быстро догнали телогрейку. Человек был худенький, маленький, но с пожилыми усами.

Пепеляев оскорбительно-вежливый предпринял разговор:

— Будьте любезны, скажите, пожалуйста, если вас не затруднит, как мне в магазин пройтись?

Мальчик испугался таких жутких слов и заплакал:

— Не надо, дяденька! Я сам покажу!

Усатый мальчик посмотрел на Пепеляева скорбно. Зауспокойным голосом ответил:

— Пойдем вместе, дорогой. Я тоже туда иду. — И вздохнул: — Вах!

— А скажите, пожалуйста,— продолжал Вася,— если, конечно, это не секрет... Не шибко ли вам тепло в телогрейке?

Усатый посмотрел еще печальнее:

— Что жара, дорогой? Тьфу! — хотел в подтверждение плюнуть, но передумал и вздохнул снова: — Вах!

Пепеляев не унимался:

— А еще мне скажите, пожалуйста. Пряма страсть как интересуется общественность: как нынче Фенька поживать изволют?

— Плохо Фенька изволит. Плохо, дорогой. На, прочитай! Вслух поймешь. Как я, вздыхать будешь... — И он протянул Василию смятую синюю телеграмму.

Там рукой телеграфистки было написано: «Чертовецкая область, Бугаевский район, строитель-шабашка Ваню Дурдомишвили слушай что родители говорят последний раз отец мать предупреждают не будь ишак не позорь отца убьешь мать никто руки не протянет».

— А ты говоришь «жарко», дорогой! Тут — жарко! — Ванюшка ударил себя в грудь. — Тут — горячо! Как огонь горит! — Он стукнул себя по голове. — Сейчас вина выпью, храбрый стану, пойду в речку топиться. Сразу прохладно станет.

Он забрал телеграмму, опять сжал в комок, сунул в карман.

— Ты, парень, не это... — забеспокоился Пепеляев. — Не достанешь ведь вина. Даже и за грузинские деньги...

Ванюшка небрежно махнул рукой:

— А-а! Ребята рассказали. Хороший человек приезжал — совсем как ты, тельняшка,— народ научил... Этот... чистим-блистим покупай в магазине, пей на здоровье, голова как у барана будет!

— Господи! — вскричал тут Вася с неподдельным возмущением. — Да знаю я этого «хорошего человека»! Вредитель он! Он соседскую со-

баку и жену родную Лидку очистителем этим в одну могилу загнал! Он Антантой подкуплен, я знаю, по России ездить и дураков к «Блику» приучать!

— «Блик»! Правильно говоришь! Лучше, чем коньяк. Голова как у барана становится.

Пепеляев продолжал орать:

— Да ты знаешь, Ванька, что этим самым «Бликом», когда чистить нечего, поля опрыскивают?! Сорок три года земля не родит после этого — ни травиночки, ни букашечки! Ты (уж если решил) во как делай: напиши записку, шваркни пару пузырей этой гадости гербицидной и просто так помирай, в страшных муках, без всякого утопления!

Тот необыкновенно обрадовался:

— Спасибо, дорогой! Хорошо научил! Никому не скажу, а тебе скажу: боюсь топиться. Плавать не умею... Так и сделаю. Записку только писать не буду (плохо грамотный, смеяться будут). Телеграмму прочитают и так поймут. Два пузырька (нет, четыре!) выпью, глаза закрою, Феньку вспоминать буду, умирать буду. Спасибо, дорогой!

Пепеляев сразу повеселел. Не любил он, признаться, когда в его родной красавице Шепеньге посторонние люди топятяся.

Николай Николаевич, забытый мальчик, брел за ними, отставая на пяток шагов — в жгучей надежде, что они все-таки заблудятся и полосатый дядя снова призовет его на помощь.

Не сказать словами, как нравился ему этот поднебесно-длинный, с пузатыми ногами, с лицом, как у доброй, немножко пьяной небритой лошади — весь в костях и болтающийся на ветру, как чучело на огороде. У него даже в скулах кисло стонало, так нравился он ему!

Куда там отцу, который кроме: «Ну что, сволочь? Вверх растешь?» — ничего и не знал.

Однако они не заблудились. В магазин вошли, вышли и пошли в «Свежий воздух». За ними поплелся и мальчик. За мальчиком неспешной бандитской походочкой двинулись и пятеро собак, которые слутились в это время возле магазина и видели, как их кормилец Вася Пепеляев в магазин вошел, вышел и куда-то опять пошел, конечно же неся в карманах несравненные ананасные вафли с олифой.

Ванюшка-грузин и Пепеляев сели в тенечке, под деревцем, к которому было приколочено: «А ты не забыл плёвку?», и молча начали пир.

Собакам раздали вафли. Дали и мальчику. Он съел одну, его с непривычки вырвало, он тут же вспотел и заснул.

Псы, крохоборствуя, услаждались вафлями. Взрослые ахали, кричали и содрогались в борении с «Бликом». А мальчик уже спал.

...Он спал благодарно и легко, весь подавшись лицом в предвкушении снов, и полупрозрачная тень листьев осторожно пошевеливалась на его щеке. У него были светлые, почти добела вытравленные солнцем волосы — жесткие, коротким торчком, как щетинка, — хранившие гнусные следы от неумелых, тупых, пренебрежительных бабьих ножниц, придававшие его голове какой-то очень уж вшивый, беспризорный вид; у него был нос уже вполне определившейся бульбочкой, носопырками бодро вперед, весь засыпанный конопушками и, должно

быть, так нещадно сжигаемый изо дня в день солнцем, что слупившаяся кожа не успевала нарастать и от этого имела вид малиново-воспаленной, болезненной на посторонний взгляд ссадины; под носом, как полагают, нежно-салатовая подсыхала сопелька; губы — поскольку он ими почти неслышно, но натужно попыхивал — были отклячены и будто бы сказать кому-то хотели «бу»; толстоватые, никакой формы, с янтарной корочкой заеда в уголке, они хранили, казалось, всегдашнюю готовность к обиде, к горьким слезам, которых немало, видно, проливал за день этот человек, если судить по черным потекам на щеках, шее и даже за ушами.

Он был облит загаром, как глазурью. Будто его, осторожно держа за пятки, к примеру, аккуратно обмакнули в шоколад, подержали, дав шоколаду стечь, и, не вполне обсохшего, снова пустили играть в пыльные, соломенные детские игры. Он был одет в голубую когда-то, а теперь до грязного бела выгоревшую маечку, аккуратно заштопанную на боку (что казалось странным, учитывая его захолустный, беспризорный вид), и черные, видимо, отцовские сатиновые трусы, которые выглядели на нем как коротковатые штаны. Ноги его были обуты в круглоносые кожмитные сандалии, верх которых, как водится, был мелко, клеенчато растрескан, мысы нещадно облуплены, подошвы же казались сделанными из гладко полированного, неимоверно скользкого дерева. На одной ноге был надет носок.

Он лежал на боку, вытянув вдоль головы руку — в позе стартующего бегуна, — вокруг него бережно, взволнованно трепетала полупрозрачная зеленватая дробная тень листы, и, странно, он казался почему-то тихим костерком, вокруг которого присели, притомившись, собаки и люди и к которому, отдыхая, невольно обращались их взоры, становившиеся вдруг задумчивыми.

Ему было пять с чем-то лет, но он умел уже считать до девяти.

...Ему снилось, что он мальчик из мультфильма и его усыновила стая. Он, маленький, устал и спит, а старая добрая собака лижет ему лицо и говорит: «Спи, маленький...» Она лижет ему лицо и рассказывает, что лучшая жизнь — это собачья жизнь. И в подтверждение этого в золотой пыли улицы появляется велосипед дяди Славы, сам по себе. Крутит плавные восьмерки, круги и зигзаги, катит на заднем колесе — на седле у него серебристый колокольчик играет музыку, и велосипед сам под свою музыку танцует, никто ему не нужен... Потом музыка кончается, колокольчик кашляет и утробным голосом говорит: «Раз-два-три-четыре-пять. Вышел зайчик погулять. Проверка...» А потом голосом Ванюшки-грузина начинает вскрикивать:

— Правильно говоришь! К дяде Самсонию поеду! Все расскажу! Какая Фенька замечательный, расскажу!

...Мальчик открыл глаза. Старая добрая собака спала вместе с ним, дышала в лицо.

Взрослые сидели уже обнявшись, драться не собирались. «Скоро, наверно, будут песни петь», — успокоенно подумал мальчик.

— Самсон, точно, поможет! Самсон — эт-то с большой буквы! — раскачивался, как на ветру, Пепеляев.

— На русской тоже женат,— подсказал Ванюшка и клюнул носом.

— На русской,— согласился Пепеляев.— С большой буквы. И поэтому! Чтобы у тебя, Ваня, все было тип-топ! Я делаю тебе царский подарок! Как русский человек... Сейчас, Ванька, я иду и (только без паники!) — сам, безо всякой милиции, бреюсь на-го-ло! Чтобы у тебя с Феней все было в полном порядке. Обычай такой. Испокон веков. Понял?

Ванюшка понял, кивнул, но после этого головы поднять не сумел. Пепеляев ему помог.

— Пей посошок, Ванюшка, и пойдем! Посошок — это тоже такой обычай. Чтоб короче к могиле был путь.

И вдруг запел на пронзительной ноте: «Быстры, как волны, дни нашей жизни!»

От посошка (но, может, и от песни) Ванюшка упал, но Пепеляев этого не заметил.

— Теперь требуется — что? — продолжал он.— Теперь — стремянная. Это когда тебя, Ванюшка, демобилизуют из общественной жизни на бой с кровавой гидрой, а Фенька тебя, к примеру, провожает... Ты, конечно, на лихом коне, свежевывымытый в бане, с огнестрельным ружьем. И тут Фенька должна тебе поднести стремянную, понял? А без этого и война не война.

Однако приятель Василия уже окончательно выпал из седла. Пришлось Пепеляеву все проделывать самому. Глотнул, тронул шпорами ретивого коня, потихоньку поехал воевать кровавую гидру...

Отъехав, однако, не шибко много, он лошадь вдруг притормозил:

— А теперь — забугорная! Это, Ванька, когда за бугром тебя неучтенная жена дожидается, тоже со стаканом. Ты молодожен, я тебе не позволю адюльтерами заниматься, ну а мне можно. Мне сам бог велел. Велю, говорит, раб божий Вася, во веки веков пить забугорную! Я говорю: слушаюсь! Но только местность у нас шибко бугристая, как бы не надорваться? А он: ничего, Вася, не будет, окромя всемирного типтопа. Бугры сровняем, леса раскорчем, пустыни деревьями засадим! Не жизнь будет, а рай в шалаше! Ура, товарищи! Так и сказал...— Тут Вася вдруг тоже покосился и упал наповал.

Мальчик очень надеялся, что Пепеляев, проснувшись, не вспомнит о своем решении. Он даже молился,— правда, без слов,— чтоб, когда они проснутся, все оставалось как было. Что-то страшное, непоправимое, вроде усекновения главы, мерещилось ему в акте пострижения, который спяну задумал его кумир.

Но неумолим был Пепеляев, беспощаден и жестокосерд, ежели дело касалось епитимий, принародно на себя возложивших. Полчасика отдохнувши, он к жизни воспрял еще более энергичен и весел.

— Кончай ночевать! — заорал он.— Начинаем утреннюю гимнастику для детей и инвалидов! Правый глаз — о-открыли! Снова закрыли. Левый глаз — о-открыли! Снова закрыли. Начали под музыку! «Сегодня мы не на параде!»...

Мальчик счастливо засмеялся.

— Следующее упражнение — потряхивание ушами. Нервные мо-

гут отвернуться. Делая круговые движения ушами, слегка потрясываем ими, товарищи! И — раз-два-три! И — раз-два-три!

Тот и вовсе опрокинулся в смех.

Смеялся он, бедняга, неумело, со взвизгами, с басовитыми не к месту прихрюкиваниями, некрасиво, словно бы насильственно, щеря рот. Однако было от чего этак-то заливаться: у Пепеляева и в самом деле уши буйно шевелились.

Грузин Ванюшка, Фенькин хахаль, под предлогом вечного сна идти в парикмахерскую отказался. Мальчик возликовал, но ненадолго — принципиален был Василий Степанович.

— Пойдешь со мной,— сказал он Николаю Николаевичу.— Будешь свидетель, как русский богатырь Василий Пепеляев за ради российско-грузинской дружбы кудрей своих не пожалел. Внукам своим рассказывать будешь. Внуки есть?

Внуков не было. Они пошли.

Пепеляев — с горделивой повадкой Николая Коперника — впереди. Чуть отставая, терзаемый самыми страшными предчувствиями, мальчик Коля. А позади еще не вполне пробудившаяся от послеобеденного сна собачья свита.

В парикмахерскую — фанерную ядовито-синюю будку — Коля зайти побоялся. Сел неподалеку в пыли и с поминутно обмирающим сердцем стал ждать.

Сначала из будки доносилось только гунденье пепеляевского бархатного баритона и наждачные дамские взвизги. Затем что-то принялось жужжать, стихло, зашипело. Снова взвизгнуло. Банно побрякивая, зазвучал совсем близко обновленный голос Пепеляева, и — дверь распахнулась.

О боги!

Собаки с испуганным лаем шарахнулись в рассыпную!

Коля глянул, зажмурился и уронил голову в колени. Разве мог он своим крохотным воображением представить, что это будет столь ужасно?..

Идолице поганое с костяной головой, в тельняшке и галифе! Идолице поганое из самой страшной сказки стояло на пороге и сладко жмурилось на солнце!

Облако тройного одеколона, испаряясь, шевелилось над головой, как сизый нимб. От этого было еще страшнее.

Не в силах еще раз поднять голову, страхась ненароком открыть глаза и снова увидеть это, мальчик Коля толчками развернулся на попке в пыли, вскочил и с горестным скорбным воплем бросился наутек! Прочь! Навсегда!

Новая голова — новые мысли.

«А не приобрести ли для Алины за всю ее доброту драгоценный какой-нибудь подарочек?» — подумал Пепеляев. Тут же очень себе удивился, но потом согласился — приобрести!

Духи покупать не стал. «Что за дикий обычай дамам алкоголь дарить?»

На телевизор шестисот с чем-то рублей не хватило. «Да и нельзя ей

телевизор! Совсем от общественной жизни отобьется, на танцы ходить перестанет, замуж не выйдет...»

Отрез на платье? «Вообще-то можно отрез на платье. Да вот только беда: есть у нее уже платье!»

Раскладушку, может?.. Взамен поломанной? «Хрен два! Чтоб хахалей на постой пускала?!»

Может, тачку? «А что? Зарплату домой возить...»

А может, сачок? «Тоже неплохо: пусть гербарии собирает».

Диван-кровать, мотопомпу, унитаз и кадку для солений, маникюрный лак, резиновые бродни, панцирную сетку для кровати и хомут, канделябр без свечей, значок «Сорок лет комсомолу», электробритву, керогаз и лыжи — все пересмотрел Пепеляев в качестве предполагаемого подарка и все с присущим ему тонким вкусом отверг.

Купил он деревянную резную скульптуру из жизни, на которой два лопоухих медведя уродовались, здоровенную плаху перепиливая. Пепеляев аж матюкнулся, до того прелестна вещь оказалась! Даже полотно у пилы было совсем как настоящее — из нержавеющей стали. А во рту у одного медведя — самокрутка!

Дожидаюсь, когда Алина придет с работы, ни минуты покоя не позволил себе Вася. То к зеркалу подходил, новой личностью любясь. То игрушкой баловался, восхищаясь работой неизвестных мастеров. То к окошку вскакивал, выглядывая подругу свою.

Наконец углядел и — застрял у окошка.

...Разнесчастной деревянной ковчег-походочкой пылила бедолага его... Нет, чтоб босиком, как люди, — на каблуки влезла! А и ходить-то, дурочка, толком не умеет... Другая фря идет — что ты! — здесь шевелится, там трясется! Спешит в булочную какую-нибудь, а кажется, что на веселейший праздник торопится: морду ли коту своему бить за измену или, наоборот, в конкурсе плясать «А ну-ка, девки, кто кого?».

Алинка же, перепелочка, каторжаночка серая, идет — будто груженую тележку пузом толкает. Будто не ждет ее в доме мил друг Пепеляев с объятиями, как у Христа на кресте распростертыми, с нежностями, как в индийском кино!

Живет Алина — как с поклажей в гору идет. Глаза в землю, и мысли — водовозные. Оно, конечно, чего ж не понять?.. Ни родни, ни семьи, ни огорода. Да зарплата-то — смех говорить! А для воскресения души отпуск-то, господи, всего восемнадцать ден! И конца горке этой никак не видать...

И только во тьме крошечной, когда Пепеляева и в упор не видно, она словно бы просыпается. Так дышит весело! И слова-то тогда у нее — библиотечные, дивные! Завидно слушать. «Завидно» — потому что, конечно, не здешнему Васе говорит она этикие слова и с другим каким-то, потусторонним Пепеляевым неземную ту любовь пылко работает, а жаль... Вчера, к примеру, в его ухо — но, конечно, т о м у — прошептала: «Эдельвейс ты мой проклятый!» А он, выходит, что же, будто бы уже и не эдельвейс?

...В комнату вошла, как входила всегда, — будто в место, до рвоты

обрыдлое. И на Пепеляева глянула соответственно — как на мебель в месте том.

— Денег накопил — медведёй купил! — эстрадным голосом объявил Вася и сунул ей подарок.— Носи на здоровье.

Она игрушку взяла странно — сразу же словно бы закоченев от страха,— ничего не понимая, но страшась. Вася глядел триумфально. Одно туфлю скинувши, на свободную ногу припадая, она доковыляла до табуретки. Села, глаз не поднимая.

Медведи весело пилили свою чурку у нее на коленях.

Ой, милка моя!
У меня каверна.
Через года полтора
Я помру, наверно! —

грянули вдруг в «Свежем воздухе». Должно быть, «Ай-люли» репетировал.

Она поглядела на Пепеляева. Жалоба, страх и ничегонепонимание были во взгляде том.

«Что ей, никогда ничего не дарили, что ли?» — испуганно подумал Василий.

Медведи пиликали свои кубометры. Один из них всю пыхтел самокруткой. Алина почесала пальцем у него за ухом и вдруг взорвалась — заголосила, лоб в столешницу ударивши!

Завопила без слов — одно сплошное «ой-ей-ешеньки!» да «ой ты, господи!»

Чтобы удобнее было кричать, переметнулась с табуретки на постель. Тут-то уж, на мяконецком, в пуховых подушках колотьясь, всю разошлась девка!

Кричала, гудела, ногтями с ненавистью простыни скубала, кулачками колотила в мягкое, будто до чего-то достучаться хотела! И дергало ее, и возило беспрестанно — словно под напряжение ненароком попала подруга его!

Не скоро она успокоилась. Большой, видать, запас был в ней этой черной, как деготь, тоски-тощищи. И давно, видать, нарывало...

— Господи! — взвывла вдруг с таким горем, что холодные мураши зашевелились у Васи между лопаток.— Кто таков, сказал бы! Дурак не дурак! Умный не умный!

Пепеляев тотчас призадумался. Вопрос был, если вникнуть, не из простых... Когда оказалось, что произнести,— Алина уже намертво спала, вздыхая время от времени легко и горестно, как обиженный и все противший ребенок.

...Вот так, большими слезами завершилось пострижение Пепеляева. Но кто же мог предположить, что слезы — несравненно более проливные — еще впереди?..

...И вот наконец наступил день, когда Пепеляев вспомнил ненароком о гражданском своем застарелом долге.

— А какое нынче число, интересно? — спросил он как-то утром.

Алина не ответила, потому как была еще на работе. Он, понятно, тут же об этом своем интересе забыл.

Но и на следующее утро тот же отравный вопрос посетил его. И на следующее...

Так что ничего удивительного, что через какое-то время Василий неназойливо принялся пытаться оказавшихся рядом соратников:

— А любопытно вообще-то... Какое бы нынче могло быть число?..

Очень не хотелось ему знать ответа. Но ответы посыпались.

Один сказал, что поскольку у него бюллетень до восемнадцатого, а соседка ездила вчера в Чертовец за комбикормом, то сегодня или воскресенье, или вторник, то есть двадцать второе августа — День торфобрикетчика, а поэтому не грех и выпить.

Другой сказал, ерунда. В этом месяце — сколько? Если тридцать, то сегодня, точно, шестнадцатое. Виталька послебвчера брал рубль, обещал отдать шестнадцатого, так? А получка у них сегодня: сам видел, что Виталькина жена в бурьяне у гаража караулит.

Третий всех успокоил, сказав, что до Нового года дня два-три еще есть и не надо бояться: план все равно выполним, несмотря ни на какие злодейские условия.

Четвертый молчал, но улыбался так тонко и иронически, что было ясно: ни плана никому не выполнить, ни рубля от Витальки не дожидаться, а число нынче никак не меньше чем двадцать девятое, но вот какого месяца — пока неизвестно...

И только проходящая старушка календарь бугаевской жизни привела в полный порядок. Нынче пятое, охотно доложила она. Потому что акkurat завтра — преображенье. Уж ей ли не знать свой престольный праздник!

— Какое может быть преображенье?! — возорал тут нетерпимый к исторической неправде Василий. — День победы над Японией я уже две недели как справил! На этом вот самом месте! Ты еще, старая, целый день об меня спотыкалась. Иль уже не помнишь?!

— Ты мене склерозом не грози! — обиделась ясная старушка. — И день Японии, может, был. И с собаками ты акkurat в этом месте спал, все правда. А вот лучше отгадай, босая голова, загадку: почему Октябрьские праздники вы в ноябре месяце справляете?.. — И, торжествуя хихикая, удалилась, старая, батарейки к транзистору покупать.

Начал считать Василий, и оказалось, что никак не меньше десяти дней нарушает трудовую дисциплину рулевой матрос с «Теодора Лифшица» Василий Степанович Пепеляев.

В ужас он, конечно, не пришел. Окромья всемирного тип-топа, как известно, ничего произойти не могло, а безработицы он тем более не боялся... Но — грустно ему сделалось и очень нехорошо.

Когда Алина пришла с работы, Пепеляев сидел за столом и что-то писал, поминутно грызя карандаш и грозно взглядывая на лампочку. Наконец, поставил точку. Перечитал. Удовлетворенно хмыкнул. Не без торжественности протянул подруге голубоватый клочок бумаги:

— На добрую память!

Алина тихо взяла подарок. Это была квитанция КВО на пять фотографий 3×4.

— Уплочено,— сказал Вася.— Послезавтра получишь.
На обороте квитанции красовался стих:

АЛАЯ РОЗА УПАЛА НА ГРУДЬ
АЛИНА МЕНЯ НЕ ЗАБУДЬ

Вася

Она растерянно держала бумажку и смотрела на Василия, не поймешь, то ли понимая, то ли не понимая.

— Деша из пароходства,— объяснил Пепеляев.— «Срочно умоляем!» Зашиваются они там без меня. Завтра еду. Восстанавливать разрушенное моим отсутствием хозяйство.

Алина глядела сонно. Потом сказала в никуда:

— Галинка на холодец звала. Значит, не пойдем?

Села на табурет и стала, как встарь, глядеть в окно.

Наутро в деловитой бестолочи автовокзала он увидел ее случайно, копая пирожок.

Алина стояла возле дымящей мусорной урны. Никого не искала, никуда не торопилась. Была будто сонная. Рассеянно-каменная.

— Они жили долго и счастливо,— заорал Пепеляев, подходя,— и умерли в один день, скушав пирожок! Хочешь откусить?

Она поглядела на него без удивления, покачала головой.

— Ты че? — забеспокоился Василий.— Может, встречаешь кого?

Она опять поглядела на него так, будто старалась вспомнить, кто он.

Тут Пепеляев заметил, что в руках она держит медведей, подарок-игрушку. Вернуть, что ли, решила? (Очень было бы нехорошо, если б она вернула...)

— Ну тебя к лещему, девка! — сказал Пепеляев, отводя глаза.— Прямо как на гражданскую войну провожаешь! Еще шестьдесят четыре раза приеду, гадом быть!

Она усмехнулась медленной горькой усмешкой из какого-то кино, которое они тут глядели. Потом что-то сказала. Пепеляев не расслышал. Она повторила — с трудом, присохшим голосом: «Автобус...» — и вдруг глаза ее вмиг намокли.

Пепеляев испугался.

— Ты... это! — сказал он, торопясь.— В общем, адрес...

И тут случилось с ним позорное: он забыл свой адрес! Напрочь! Город Чертовец — помнил. А вот имя этого зверски замученного то ли африканца, то ли австралийца напрочь забыл!

— В общем, напишу чего-нибудь! Не кашляй! — и прыгнул в автобус, стрекозел коварный, донжуан столичный.

Глаза бы Алинины на него не глядели, на верххвоста этого лукавого, надругателя надменного, водогреба полосатого!

Уехал, в общем, ягодиночка, только пыль на колесе. Алину горькую оставил, паразит, как полынь на полосе.

На работу она больше не пошла в тот день: заранее отпросилась попить маленько.

Прибрела домой. Пала грудью на кровать, на мягкую периночку.

Попробовала: «Как теперь буду жить?! Уехал, ягодиночка!»

Только что-то неладно у нее в тот день кричалось. Будто заскорузло все в грудях.

* * *

А ягодиночку ее тем временем безжалостно трясли и взбалтывали в предсмертно дребезжащем чудо-автобусе рейса Бугаевск — Чертовец.

Он припадочно колотился в исполосованном любознательной молодежью дерматиновом кресле под табличкой «Для детей и инвалидов» (которую юморная молодежь, конечно же, переделала: «Для делей и инвадидов») и от нечего делать крепко спал, не менее крепко зажав под мышками — во избежание мало ли чего — ссохшиеся от долгого забвения ботинки.

Сон ему снился скучный: какой-то скандал, устроенный гуманоидами в очереди за конской колбасой. Но он по привычке светло улыбался и сладко царапал слоновьими ногтями ног черный от машинного масла и грязи пол.

Не будем криводушны: без большого энтузиазма возвращался в свой родимый Чертовец наш Василий Степанович Пепеляев.

Как рыжий, густейший, сладчайший обморок души вспоминалось ему времечко, прожитое в Бугаевске.

Словно одно-единое, величаво-ленивое, медленным медом златотекущее, упоительно-лоботрясное Воскресенье были эти незабвенные двадцать с чем-то денечков.

Ну, а теперь — как вполне законное возмездие — надвигался П о н е д е л ь н и к .

Разве мог он предполагать, что и в будний понедельник не оставит его своими слепоусердными забавами рукодельница-судьба? Разве мог он представить, даже в самом кучерявом из своих снов, что в то время, когда он бестрепетной рукой срывал в Бугаевске пыльные эдельвейсы удовольствий — он тогда... его тогда?.. Нет! Страшно и слово-то вымолвить!!

Впрочем, куда ж нам торопиться? Вперед автобуса не приедешь. Скоро все само собой узнается.

Пусть себе почивает пока наш герой-горемыка, подзуживает смеха ради колбасную очередь: «Пра-ально! Пусть на Альфу Центавру ездют! Ишь! Не ндравится им здесь у нас!» Отдыхайте покудова, Василий Степанович!

...Гуманоиды, не дождавшись-таки жалобной книги (больше того — облаянные с ног до головы так, как их нигде еще, ни в одной галактике не облаивали), залезли в свою летательную тарелку и отчалили, раздосадованные, без колбасы.

Василий, веселый, открыл глаза и через некоторое время проснулся. Автобус уже дребезжал по улицам Чертовца. «Может, пока меня тут не было, пиво завезли?» — подумал он спросонья и взволновался.

— Стой! — заорал он шоферу таким блажным голосом, что тот вмиг ударил по тормозам.— Люльку с ребенком потерял! Открой!

И автобус ошалело распахнул ему двери аккурат возле пивного зала «Юность».

Пивом здесь по-прежнему не пахло.

Три богатыря, давясь, давили в углу шестую бутылку «Агдама».

Один из отдыхающих, вроде знакомый, как увидел Пепеляева, так и закоченел со стаканом в руке, скрытно следя каждое движение Василия. Вид у него был не то чтоб испуганный, а несколько озадаченный и обалделый.

Люська-продащица тоже воззрилась странно. Взгляд ее мечтательно затуманился, а на губах заиграла порочная улыбочка, будто ей неважпавду показывали по хорошему знакомству что-то страшенькое.

«Эк их моя новая личность поражает...» — удовлетворенно подумал Василий и, выйдя из пивной, не удержался — остановился еще разок полюбоваться.

С той стороны витрины опять возник давешний полузнакомец. С буйным любопытством во взоре прилип он к стеклу выглядывать уходящего Пепеляева. (Не ожидал, дурак, что Пепеляев никуда еще не ушел, а вот он, тучочки, смотрит на него!) Ткнулся взглядом, и — предсмертная, право слово, паника нарисовалась на глупой его роже!

В руке он все еще держал неотпитый стакан. Вася сделал приветный жест: выпей, мол, чего уж... Тот разинул слюнявую варежку еще шире и стакан выронил.

Пепеляев удивился, но даже и тогда еще не почувал ничего неладного.

Правда, следующая встреча уже могла бы и насторожить.

Митька Китаец — стокиловый, потный, пыхтящий, страшно торопливый и вечно куда-то опаздывающий слесарь-домушник — вылетел на него, как грузовик, из-за угла Инессы Арманд.

Пепеляев распахнул объятия:

— Митька! Отдавай рупь, собака!

Не тут-то было. Китаец, вместо того чтобы отдать рубль, одолженный еще в прошлой пятилетке, сиганул вдруг в сторону, как шилом в задницу ужаленный, и тихим загробным голосом недоверчиво просмеялся: — Га-га-га.

— Во-о китаец! — удивился Пепеляев. — Он же еще надо мной и смеется! Отдашь или нет?

— У-у-уйди! — припадочно загудел Митька, отмахнулся от кого-то гаечным ключом и носорожьим галопом припустил дальше, затравлено оглядываясь.

«Да... — решил Вася, — ослепительно-белая горячка вырвала из наших рядов еще одного...»

Вообще — производил явное впечатление.

Бабы, завидев его, такого красивого, жадно распахивали глаза, включали дальний свет. И наверняка в спину глядели — судя по зуду вдоль позвоночного столба.

Мужики тушевались, норовили не замечать, посрамленно отводили взоры.

Вася купался в прижизненном восхищении, как Фернандель на бугаевском пляжу. С ложной скромностью тихонько помахивал полубо-

тинками, не выпячивал своего «я», упаси боже! Напротив — всем своим видом говорил: «Да чего уж... Я же совсем такой же, как даже вы. Видите? Простой-простой, обычный-демократичный. Даже вот босиком иду...»

Если бы он оглянулся, то увидел, что вслед за ним на расстоянии, продиктованном и страхом и любопытством одновременно, пылит небольшая толпа. Каждый в этом сбродном коллективе вел себя странно: не глядел на рядом пылящих (да и на Пепеляева будто бы не глядел), всей своей повадкой назойливо кому-то показывал: «Ну и что ж?.. Я вышел ножкам проминаж сделать. Никаким-таким Васькой вовсе даже и не интересуюсь. Я вообще, может быть, даже к соседу иду — о прочитанной книжке поболтать по душам, а заодно и пассатижи забрать...»

На крыльце мамаша его, ветхая, как гнилушка, вся по-нищенски в черном, творила в чугуне пойло для поросенка.

Что-то ласковое собрался он ей было сказать: «Совсем ты у меня, маманя, как шкилет стала...» — но она как раз с многосложной болью в спине разогнулась от чугуна и малоудивленно стала смотреть на него, идущего от калитки.

Печать послушания и старой печали лежала на лице ее, морщинистом, как старая кожа.

Глаза светились еще голубенько, но уже блекло, и были они словно бы подернуты сумеречной водой: свет их шел уже не вовне, а больше внутрь себя...

Однако и некая остренькая, укоризненная ирония понапрасну обижаемого и уже привыкшего к этому человека слегка воспалена была где-то в уголках ее беззубо пришлепнутого рта. И чуть приметная ехидинка эта казалась неуместной и не по чину задорной на этом в общем-то робеньком и всепокорнейшем личике.

Она спокойно глядела на Василия, и вдруг — словно бы чем-то многокрасочно, разом, мазнули по лицу матери!

К примеру, жирно-черным — страх, а тут же, на той же мазилке — ясно-синяя радость.

Тут тебе и: «Господи, неужели?!» — а рядышком: «Господи, почто мучаешь?» Тут и: «Не может того быть, господи!», и: «Я же говорила!!», и «Иззуди, не мучай, нечистая сила!»...

Василий, понятно, слегка удивился этакой встрече.

Хотел, было, как всегда, прошагнуть мимо, но она легонько цапнула куриной своей лапкой лацкан его пиджака, боднула головкой ему в бок и затряслась в непонятном Василию бесслезном плаче.

Он стоял, нелепо разогнувшись, как у врача на обследовании, дышал вбок и корягами своими задубелыми боязливо, боясь попортить, придерживал сухонький стручок материнского тела, слабо приткнувшийся к нему.

Она все норовила сползти куда-нибудь вниз, к ногам, чуть не на колени ли встать.

— Грех-то какой! Грех... — шелестела старушка, на ощупь ошипывая, торопливо и робко, складки его одежды. — Мы ведь тебя, Вася... —

Она подняла светло кипящие слезами жалко-отважные глаза на него, но тут же при виде полузнакомой, одичалой рожи сыночка в панике зажмурилась, снова упряталась в пиджаке и договорила: — Мы ведь тебя похоронили, Вася... Прости!

— Во дают! — гоготнул Вася, вмиг повеселевши. — И че? Поминки были?

— А как же... — с достоинством подтвердила мать, оторвавшись, но глядя теперь куда-то мимо. — Не хуже других. Иль нехристи?

— И гроб был? — продолжал весело изумляться Пепеляев.

— Да ты что? — нахмурилась старушка и хотела было строго глянуть на сына, но, едва коснувшись, шарахнулась взором куда попало, еле сумела досказать: — На поминках какой-такой гроб?

— Не-е, не на поминках. На похоронах. Гроб-то был? — не отставал Вася.

— Ну а как же? — ослабевшим голосом, совсем, видно, заплутавшись и мучаясь в создавшейся сумятице, ответила мать. — Штофный... богатый гроб. Пароходство бесплатно выдало. И веночек бесплатно...

— Пароходство, значит? — вдруг начал сердиться Василий. — А в гробё кто был?

— Да Васятка же! Сыночек мой единственный! В огне сгоревший! — Она с облегчением было запричитала, но тут же, не почуяв должного толку от привычных слов, пораженно сникла, умолкла.

— Ну и где же он теперь, сыночек твой единственный? — сварливо и без жалости продолжал допрос Василий.

Она пошатнулась вдруг, задумчиво взялась ручкой за голову, повернулась идти в дом. Другой ручкой слабо пошевелила что-то в воздухе.

— Сгорел он, единственный мой. И все товарищи его — тоже. Ай не слышали? Возле Синельникова баржа его с другой стукнулась. Та керосин везла...

— Та-ак! — не очень-то весело хохотнул Василий. Что-то он уже начал соображать, и какая-то мутность воцарялась в душе его.

Когда он вслед за матерью зашел в дом, та молилась на полу, на коленях — молилась, видать, бестолково: то благодарственное бубнила что-то, то небесную канцелярию корила за какие-то недоработки, то вдруг тихонечко взывала в безутешной муке...

Отмолившись, все еще стоя на коленях перед иконами, она боязливо, но и с надеждой, исподтишка оглянулась назад: Василий сидел за столом, нога на ногу, пошевеливал босыми пальцами.

— Тута я! — живо перехватил он ее взгляд. — Никуда не подевался, не надейся, старая!.. Может, по старой памяти пожрать дашь? Все ж таки как-никак сыном тебе приходился...

Мать охнула, всхлипнула, перекрестилась, но все же пошла греметь посудой за печку.

На улице, возле заборчика, смиренно кипела любопытствующая толпа. Среди непонятно чего ждущих граждан ходил туда-сюда участковый Загрязнянц, поддерживал общественную тишину и порядок, сам то и дело с опаской поглядывая на дом Пепеляевых.

Мать накрывала на стол.

— Девять дней вчера справили,— боязливо объяснила она.— Вон сколько всего еще наоставалось...

— И чем помянуть найдется?

— А как же? — не без гордости откликнулась старуха и с готовностью пошла к шкафчику. Початую бутылку неся, как грудного младенца, вдруг посреди дороги остановилась, пораженная внезапной мыслью.— А кого ж ты поминать-то будешь? — с суеверным ужасом спросила она.

— Не бойсь, мать! Ташши! Кого похоронили, того и помянем! Набуровал стакан, звякнул им об бутылку:

— Будь здоров, Василий Степанович!

Мать перекрестилась.

— Это, что ли, тоже? — он повел вилкой по столу.— Из пароходства бесплатно?

— Из пароходства, из пароходства...— как больному, объяснила мать.— За деньги только. И колбаски отпустили, и маслица, и консерву... Как сороковой день справлять, сказывали, еще выдадут. Только... как же теперь сороковой день?

— Да-а...— гоготнул Василий.— Не повезло тебе! Другим будут выдавать — колбаски, маслица,— а тебе-то, пожалуй, хрен без маслица? Кого на поминки-то звала?

Мать перечислила. Василий, вновь наливая, заметил:

— Сереньку — зря. Этому только бы нажраться на халяву. Ему что поминки, что день рождения Моцарта — один праздник.

...Разговаривая с Василием, мать боялась лишний раз взглянуть на него — так ее тут же всю и о х в а т ы в а л о! Будто с быстрой горки на салазках слетала.

И верилось ей, и не верилось, что сын живой объявился. Больше — не верилось, что такой-то лысый, со страхолюдной такой бородой (похожим, правда, голосом говорящий) действительно сын ее, Вася... Но уж больно по-хозяйски вел-то себя!

И конечно же, господи, не чуяло материнское нутро никакой подмены — он это был, он! Но не хотела этого чуда душа! Ломало, коверкало ее всю в сомнениях...

«Так ведь и народ-то,— рассуждала старуха,— что уж, много глупее меня? Похороны зря ли устраивали? И музыка, и начальство, вон какое большое, речи говорило, и пенсию сулились платить... Да ведь вот еще главное! ОН-то, всемогущий, всеведущий, кому молитвы обращала, чтобы душу Васькину как следует успокоил,— ОН-то неужели не дал бы знака никакого?! Неужели допустил бы, чтобы живого отпели?! Да ведь и мне самой — когда над могилкой убивалась — разве не сказала бы сердце, что над пустым местом кричу?!»

Грех сказать, не чересчур уж обожала Васятку своего, когда он даже еще и жив был.

Шестерых рожала. Никто до возраста не дожил. Один только Васяка — угрюмый, нелюбый — украдкой какой-то вырос. Ни тебе ласки от него, ни куска сладкого на старости лет! Одни насмешки пьяные да бестолочь в доме. Иной раз и раньше сомнение брало — когда заявлялся поутру с опухшей рожей, сивухой за версту разит,— брало и рань-

ше сомнение: «Неужели я этакое страшило рожала?» Вот и сейчас — и похоронили вроде, и помянули как следует, а и сейчас покою не дает! Явился, расселся, морда каторжная, зенки налил (он, господи, Васька это!) — все порушил, идол окаянный!

И, опять вспомнив, как все жалели ее; как начальник габардиновый под локоточек держал; как богато музыка играла; как сладко на виду у народа плакалось; как полноправно богу жалилась, милости прося; как ладно, по чину, поминали; как смиренно и хорошо на могилке все эти дни было — убирать, прихорашивать (а на могилке той цветочки, словно молитвы ее услышав, так живо, так славно принялись), — вспомнив все это, она вновь зарыдала с мучительной горловой слезой.

Слушая плач этот, Василий серчал. То и дело бутылку заставлял кланяться. Не нравилась ему этакая встреча.

На комод в обрамлении розового и голубого ковыля, парафиновых розочек и бумажных, чересчур синеньких незабудочек красовалась большая, как небольшая картина, фотка с черной лентой набекрень.

На картине той изображен был до того бравый, до того глазастый, бровастый и ушастый парнишка, что Вася даже не совсем сразу признал в нем себя.

Фотографию увеличили раз в двадцать с удостоверки, так что ретушеру было где разгуляться. На том месте, где у фотки полагался белый уголок, нарисовали кусок штурвала, а за плечом вроде бы и пальму. И выходило, что это, значит, несет Пепеляев несгибаемую трудовую вахту наперекор всем и всяческим ураганам, циклонам и вообще прогнозам погоды, да видно, что не на глупой ленивой Шепеньге, а по меньшей мере в штормогремящем Баб-эль-Мандебском проливе или, того пуще, в коварных волнах какого-нибудь вероломного озера Рица...

— И-ишь, красавец! — сварливо сказал Пепеляев и кинул в него куском огурца.

Потом не поленился — встал, сдернул черную тряпку с картины. Сам портрет тронуть — рука не поднялась. Да и хорош он был, портрет, со вкусом-смаком, чего уж говорить.

— Гробá, конечно, уже заколочены были? — спросил он, не сомневаясь в ответе.

— Ага.

Старуха мгновенно кончила плакать, живо и шумно высморкалась, ловко, одним всеобъемлющим жестом, утерлась.

—...Потому как все они как есть пожарились. Шепеньга, сказывали, от берега до берега горела. Вот, чтобы народ-то не пугать, их в заколоченные-то и поклали. И только фуражечки одни сверху, беленькие.

Тут Пепеляев чуть не взвыл от возмущения:

— И фуражки тоже... тоже закопали?

— Должно так... Не видела я, плакала очень... Выходит, закопали, однако, вместе с имя́.

— «С имя́!» — брюзгливо передразнил Василий, прямо-таки смертельно раненный этой новостью.

Белая мичманочка набекрень — с лаковым, в палец козыречком,

да не с речным невзрачным якорьком, а с золотым свирепым океанским крабом — это была надрывная мечта его. Может, из-за нее, из-за мечты этой, он и завербовался на баржу...

— Эх ты... — сказал он горько. — Другие-то, небось, не растерялись. Трудно ли дотумкать было? На память, дескать! Об сыночке единственном. Отдай, не грехи!.. У-у, старуха бестолковая!

И он надолго замолк, страдая чуть ли не до слез.

Сердитый, пугливо подумала мать. Может, нервно-психический? Ишь, кричал-то как, аж в животе заглодело... Даже Васька такого себе не позволял... А ведь похож-то! Где они только такого сыскали? И сидит эвон как, по-хозяйски — ни дать ни взять Васька...

И тут ее вдруг вновь о х в а т и л о, окатило черным, пугающим, как на качелях, мороком:

«Грех! Вот он и есть, грех! Сына ить родного не признаю! Это все нечистый путает. Все он, черный, с толку сбивает! Вижу ведь: о н сидит, Васька проклятуший!»

Но в этот момент, словно нарочно, Васька вдруг так сатанински-визгливо хохотнул: «Х-х-ха!», такую ухмылочку соорил мерзопакостную, что бедную старуху вновь качнуло в сомнение.

Неуместно веселясь, с превеликим любопытством полез в душу, бесстыжий...

— Похоронила, значит? Ну-ну... И веночек — бесплатно? Х-ха! Ну, а я тогда кто, к примеру? От-твечай!

— Господи,— вскричала тут мать совсем уж с припадочными колокольцами в голосе.— Оставь! Не мучь меня, мил человек! Не знаю я, господи! Старая я! Попуталось все в башке моей дурной! — И снова бросилась в душеспасительные слезы, но на удивление мало плакала.

Внезапно вдруг смолкла. Строго успокоилась. Утерлась и произнесла что-то, глядя себе под ноги.

Василий не расслышал.

— Че? Погромче давай!

Она вновь повторила — и вновь невнятно.

Тогда сын вместе с табуреткой подъехал к ней поближе.

— Ну? Так кто же я тебе, старая? От-твечай! — все еще веселился он.

— Облик принял... — сказала старушка тихо, стыдливо и убежденно.

Пепеляев чуть со стула не упал, так огорчился.

— Опиум ты неочищенный для народа, вот кто...

— Облик принял,— повторила мать и, обретя опору, глянула на него теперь уже бесстрашными и словно бы даже любопытствующими глазами.

Вася, разоблаченный, сник и умолк.

На улице, за забором, все еще толклись кучками глупые граждане. Василий, выйдя до ветру, сжалился над ними.

— Угу-гу-у-у!! — загудел что было силы загробным, как ему казалось, голосом, сиганул по-козлиному с крыльца и плавно поплыл, семе-

ня, в сортир, делая руками, как Одетта-Одиллия из недавнего телеспектакля «Лебединое озеро».

...Ночью сквозь сон ему то ли слышалось, то ли мерещилось, что мать, швырякая носом, щупает ему голову, копошится в бороде — словно бы ищет что-то...

Хотел было Василий шутки ради гаркнуть что-нибудь этакое сатанинское, но, слава богу, ума хватило — молча перевернулся на другой бок.

А наутро его, можно сказать, обидели, фигурально плюнули в его честные трудовые глаза — не пустили на любимую работу!

Раньше, бывало, сами по утрам под окнами ходили, зывали сладкими голосами: «Василь Степанович! Будь человеком, выйди на смену!» Страхделегатов с четвертинками подсылали, один раз даже ведро лечебного рассола принесли, а сейчас...

Страшно вспомнить...

Вахтер на проходной Матфей Давидович — по кличке, а может, и по фамилии Сороконожка, — завидев бодро бредущего на работу Пепеляева, вдруг с необыкновенной суетливостью выкарабкался из своей одноместной будки, где вседневно сладко почивал в две смены (за себя и за жену), визжа протезом, выхромал в середину распахнутых ворот, никогда не закрывавшихся, потому как три года назад одну половину из них, когда горел план по утилю, свезли на городскую свалку, — так вот, одноногая Сороконожка эта выскочил на дорогу и, распяв руки, закричал ликующим предсмертным голосом:

— Не пушу!

Впервые увидев Матфея при исполнении служебных обязанностей, Василий, честно говоря, испугался. Потом попытался было обойти стража стороной, но тот побелел вдруг, задрожал-задрезжал от ужаса и смелости и стал делать вид, что расстегивает огромную, как портфель, дерматиновую кобуру, привязанную на животе. В кобуре той, кроме бутерброда, конечно без масла, ничего и не было, но Василий уважил столь шуструю старость и столь беззаветное рвение по службе. Сказал, поднимая руки:

— Сдаюсь, Матфей! Уговорил. Не пущаешь? Не пойду.

После чего обогнул Сороконожкину будку и вошел на территорию через трехметровую дыру в заборе, заколоченную двумя трухлявыми штакетинками.

Матфей Давидович проследил его взглядом, облегченно вздохнул и похромал на свою огневую точку, где уже закипал чайник. Задание, данное Спиридоном Савельичем, он с честью выполнил: лысого, с бородкой, похожего на кого-то из парходских, он через вверенные ему ворота, рискуя жизнью, не пропустил.

...Между тем Пепеляев стоял шагах в десяти от проходной и предавался чтению.

На фанерном — метр на метр — в красное крашенном ящике было написано: «Здесь будет сооружен бюст-памятник о героическом экипаже „Красный партизан Теодор Лифшиц“».

За ящиком коротким рядком были натыканы в землю хворые, уже

начавшие загибаться саженцы. Чтобы их Василий ни с чем другим не перепутал, в землю был вколочен капитальный кол с дощечкой: «А л е я г е р о е в».

Чуть сбоку, рядом с пароходской Доской трудовой славы; затмевая ее изобилием позолоты и новизной не успевшего еще вылинять кумача, красовалась другая доска — «Героический экипаж „Теодор Лифшиц“», с портретами и стихом, сколоченным из фанерных буквочек.

Портреты делали, видать, в одной артели: у каждого на фото был и штурвал, и пальма. Только для Валерки-моториста сделали почему-то скидку — пририсовали на переднем плане кусок токарного станка.

Стихи были тоже качественные:

В звонкую бронзу отлившись,
Плывет через года
Самоходка «Красный Лифшиц»!
Не забудем никогда!

— Парень, подмогни! — раздался вдруг за спиной Василия погибающий голос.

Человек погибал на полусогнутых под тяжестью еще одного раззолоченного сооружения из фанеры и кумача. Пепеляев подмогнул.

— Подержи! А я сейчас живо ямку оформлю! — и человек быстро, на четвереньках, не жалея утюженных брюк и довольно чистых рук, стал откапывать осьпавшуюся яму для столба.

Человечек был незнакомый, но известный. Сколько Василий его ни видел, он всегда шустрил где-то вокруг начальства, и никогда — без галстuka, чем вызывал у Пепеляева неподдельный интерес и даже уважение. С виду совсем пацанчик, он напоминал до последнего гвоздика точную модельку человека: все у него было раза в полтора меньше, чем у людей, за исключением огромной, заскорузлой от помады волны волос, вознесенной над его блеклым личиком порочного младенца.

Всегда в костюмчике, всегда, как сказано, в галстучке, в начищенных штиблетиках, он с утра до вечера сновал туда-сюда по непонятным своим делишкам — напоминал какого-то неопасного зверька, кормящегося при людях.

...Василий от нечего делать читал, чего держал. Было чего почитать.

«...Развернуть среди экипажей пароходства всенародное движение-поход за звание экипажа имени экипажа „Теодора Лифшица“ ... Навеки зачислить героический экипаж в личный состав, отчислять часть заработанных средств... Работать так, как будто „Красный партизан Теодор Лифшиц“ и сегодня в нашем кильватерном строю борцов за выполнение плана гордо бороздит волны Шепеньги под флагом медали „Трудовое отличие“ III степени Чертовецкого пароходства...» (Единогласно. Из протокола, принятого на общем собрании представителей трудящихся.)

— Кипит, как погляжу, работа-то? — заметил Пепеляев.

— Не то слово! — копавший повернул к Василию счастливое лицо. — Это мы еще только разворачиваемся!

— Ну, а про тех, которые с другой баржи сторевши, чего про них-то ни полслова? — поинтересовался Василий.

— Те — не наши, — просто объяснил человек. — Тех в Бабашки не подымают. Ну, давай... остороженько... взяли... опустили... Сейчас земелькой забросаю и — гора с плеч? А то придет не сегодня-завтра комиссия по проверке...

— По проверке чего?

— ...по проверке развертывания... А у меня трудовая инициатива наглядно не отражена. По головке-то ведь не погладят?

— Это точно, — согласился Василий, — не погладят. Погоды! Я там видел кирпич битый! Вокруг столба сыпануть надо, чтоб не качался. Щас принесу!

Он сделал все как надо. Столб с инициативой встал как вкопанный. Навеки, проще сказать. И, премного довольный, побрел Пепеляев потихонечку дальше.

В порту лениво кипела жизнь. На втором причале сгружали карибскую картошку — в ожидании, когда развяжется очередной мешок, сидели поодаль мальчишки и старухи с ведрами. На третьем и четвертом — ввиду поломки крана, случившейся полгода назад, — уродовались вручную: взламывали контейнеры с валенками, и продукцию прославленной чертовецкой пимокатной фабрики ссыпали в трюмы варварским навалом.

Первый причал был пуст, хотя в ожидании погрузки-разгрузки болтались на якорях посреди реки еще две посудины.

Кнехты на первом причале были покрашены красно-пожарной краской, а сам причал обнесен веревочкой. Была и надпись. Василий, уже без всякого удивления, прочитал:

«Здесь швартовался прославленный сухогруз „Красный партизан Теодор Лифшиц“. Место швартовки только для судов, удостоенных звания „Экипаж имени экипажа „Теодора Лифшица“!»

— Ура, товарищи! — сказал Вася и сплюнул. Жарко ему было и скучно.

Возле конторы, в тенечке, как всегда с утра, обедали.

Опоздал нынче Пепеляев, занимаясь наглядной агитацией. Закусывали, правда, арбузами.

Василий выбрал себе обломок побольше, тоже занялся делом.

Ни тебе криков ликования, ни подбрасывания тела в воздух, ни радостных хлопаний по плечу, объятий, лобызаний и предложений выпить по такому поводу... Н и к а к не встретили возвращение Василия Пепеляева в родной трудовой коллектив!!

Он не то чтобы обиделся. Он злобно заскучал.

Среди амбалов шел деловой заинтересованный разговор о том, сколько получают за выступление в телевизоре наши фигуристы.

— И не два шестьдесят, а рупь восемьдесят, — недолго послушав, раздраженно заметил Василий. — И не за каждый прыжок, а только за тройной ёксель-моксель.

На него оглянулись как на встрявшего в чужой разговор. Тут же торопливо переключили внимание на нового оратора, который в развитие предыдущей темы стал рассказывать о каком-то малахольном из Кемпендяя, который хариуса прикармливает на халву и удочкой таскает во-о-от таких рыбин!

— И не в Кемпендяевом это, а в Бугаевске, — с унылой сварливостью снова вмешался Пепеляев. — И не удочкой, а граблями. И не на халву, а динамитом!

— Ну что, орелики? Пошабашили и — будя! — Бригадир грузчиков дядя Кузя поднялся, собрал инструмент: рукавицы заткнул за пояс, стакан сунул в карман.

Пепеляева они будто и не видели, и не слышали. Двинулись потихоньку к причалу, разговаривая на сугубо производственные темы. Пепеляев осерчал.

— Кузя! — крикнул он грубо.

Тот остановился. Остальные пошли дальше — слегка даже вприпрыжку.

— Ты, смотрю, червонец-то и не собираешься отдавать? А, Кузя?

Кузя осмотрел Пепеляева спокойным расчетливым взглядом. Был он мужик тертый, битый и жадный. Червонец взял месяц назад на п я т ь м и н у т — разойтись в сдаче с покупателем, которому он пригнал из порта грузовик асбестовых плит.

— Вася! — сказал наконец Кузя и улынулся нагло, чисто. — Как же я могу отдать тот червонец, если я тебя не узнаю, а т о г о Васю, — тут он горько вздохнул, — похоронили мы... похоронили бедолагу... Ясно? И не шурши, покойник!

Куда уж яснее... Прощай, червонец, навеки!

Одним только и осталось утешаться, что, кроме Китайца и Кузи, никто ему вроде бы не был должен, а вот он — многим. В случае чего, решил он весело, я их буду прямиком на кладбище адресовать к т о м у Пепеляеву!

Но все же — не будем кривить — расстроили Василия Степановича люди. И, понятно, не в презренном червонце дело (о нем он и вспомнил-то, только увидев Кузьму...), совсем в другом было дело, товарищи, совсем в другом...

«Мать родная не признала, ну это ладно... — обиженно размышлял Пепеляев, направляясь к начальству. — Для этого ей и склероз, и религиозный дурман, и общая темнота... Но вот когда родной производственный коллектив отворачивается, как от чужого, когда он выпихивает тебя, как пустяковую пробку из воды, — вот тогда действительно незаслуженно обидно на душе становится...»

Секретарша Люся починала колготки, приспособив для этого телефонную трубку.

— Ну ты даешь! — восхитился Василий. — Я битый час до Спиридона дозваниваюсь, у него жена тройню родила, а это ты, оказывается, трубку не кладешь!

— Ври больше, — спокойно посоветовала Люська. — По телефону-то небось ни разу в жизни не звонил...

Это, между прочим, была неправда. Один раз Вася звонил: шутки ради вызывал пожарную команду к соседу.

— Зря торопишься...

— Это почему же?

— Про тебя уже было с утра заседание. — Люська перекусила нитку, поглядела колготки на свет и наконец положила трубку на место.

Телефон тотчас зазвонил.— Аферист ты и самозванец, если чего не похуже, понял? — процитировала она резолюцию и с отвращением взяла телефон: — Кого?

— Ты это... все ж таки пропусти к нему... — растерянно попросил Пепеляев.

...Спиридон Метастазис, большое начальство, больше некуда, встретил его с развеселым любопытством. С удовольствием отодвинул в сторону бумаги, даже уселся поудобнее.

— Ну-ка, ну-ка... — заговорил он, доброжелательно улыбаясь.— Уже доложили. Ходит, дескать, такой. Дай-ка и мне поглядеть...

С минуту разглядывал Пепеляева дотошно, как неодушевленный предмет, от лысой головы до рваных штиблет и обратно. Наконец вынес суждение одобрительное: — Молодец! Похож! Но только вот здесь... — показал около головы, — что-то не очень... А вообще-то похож! Ну, а что врать будешь? — с искренним любопытством спросил он, готовясь слушать.

— Зачем врать? — с неохотой спросил Пепеляев, почувствовав вдруг, что все, что бы он ни сказал, ни в чем никого не убедит.— В Бугаевске на берег отпросился... отгулы у меня были, Елизарыч и отпустил.

— Ишь ты! — удивился Метастазис.— И Елизарыча даже знает. Ну-ка, давай дальше!

— А чего «дальше»? Спросите в Бугаевске, каждый скажет, что я там месяц почти окопачивался.

— Спрашивал! — согласно воскликнул начальник.— Вот сию минуту, вот по этому самому телефону... спрашивал! И мне ответили, что никакого такого Пепеляева у них не было. Ни в этом месяце, ни в прошлом месяце, ни в позапрошлом. Что ж делать?

Он был само издевательское участие, эта моложавая, гладко выбритая, бодрая сволочь. Телефон-то не меньше часа Люська в колготках держала...

— Документиками запасся? — спросил Метастазис.

— Так сгорело же, наверно, все... — лениво объяснил Василий.— Все на «Лифшице» осталось.

— Вот! — возликовал неведомо отчего начальник и перстом в Пепеляева уперся.— Вот именно! Документов у тебя нет. Никто тебя не знает. Но ты являешься и заявляешь: «Здрасьте!» — а я должен тебе верить? Кто знает, а может, ты чем-нибудь воспользоваться хочешь?

— Чем это? — тупо спросил Василий.— Воспользоваться?

— Не знаю чем, а хочешь! Обязательно хочешь! Иначе не заявился бы! — вдохновившись, продолжал глаголить начальник.

— Так на работу куда-то надо... — сказал Пепеляев.— «Лифшиц»-то, говорят, сгорел.

— «Говорят!» — сардонически засмеялся тот.— Вся область, вся, без преувеличения, страна говорит о подвиге «Теодора Лифшица», а он говорит «говорят»!.. Стыдно! — И тут начальственный перст опять уперся в Пепеляева: — Преступно! Примазываться к подвигу...

— Чего-то я не пойму,— понесло вдруг и Васю.— Ну, сгорели и сгорели, а откуда «подвиг»? И чем я виноват?

— Сгорели, спасая! И тем более преступно, гражданин не-знаю-как-звать, примазываясь, пытаться умалить светлую память... — и он начал перечислять со слезой во взоре: — ...Епифана Елизаровича Акиньшина, Валерия Ивановича Жукова, Василия Степановича Пепеляева...

— Так Пепеляев Василий Степанович — это я и есть! Разуй глаза, Спиридон Савельич!

Метастазис на глазах угас. Пошевелил бумажки на столе, поднял утомленные очи.

— Да...— будто бы с усилием вспомнил.— По поводу работы... Есть, дорогой товарищ, единые правила, нарушать которые никому не дозволено: без документов мы вас никуда принять не можем. Все! Вы свободны.

Пепеляев вышел из кабинета, словно промокашки объевшись.

— Ну что, покойничек? — посочувствовала ему Люська.— Говорила тебе, не ходи.

Василий ошалело помотал головой.

— Я — кто? — деревянным голосом спросил он.— Ты хоть удостоверь, Люськ... Ниче не соображаю!

Та весело расхохоталась:

— Маленько на Ваську похож. Был у нас тут такой.

— «Был»...— нервно хохотнул и Пепеляев.— С печек вы тут попали, что ли? Если я «маленько» только похож на того Ваську, то откуда, скажи, мне знать, что у тебя на правой титьке, аккурат вот это место, вроде как бородавка черная?

— А вот и нет! Никакой бородавки! — еще пуще развеселилась Люська.— Приходи вечерком, сам увидишь. Тетка Платонида, Сереньки Андреичева мать, бормотанием в один вечер свела! Где живу-то, не позабыл еще на том своем свете?

Пепеляева передернуло.

— «Маленько» помню. Приду как ни то, бесов из тебя изгонять буду.

Вышел на крыльцо. Оступившись, чуть не посыпался со ступенек. Ну, тут уж, конечно, разверзлись хляби словесные!

Всем тут досталось. Даже империализму. Но в особенности пострадали Метастазисы. Вне всякого сомнения, вся многочисленная родня Спиридона, где бы она ни находилась, дружно билась в ту минуту в судорожной икоте, а те, кому по уважительным причинам не икалось, припадочно колотились и переворачивались в истлевших своих гробах.

...Старичок в пионерской панамке, с черным бантиком на глотке, в белом жеваном пиджаке и сандалях на босу ногу — очень похожий почему-то на запятую — в продолжении всего пепеляевского монолога тихонько сидел на ступеньке и, млея, слушал.

Долго все же не выдержал молчать, соскочил на землю и забегал вперед-взад, делая руками суматошные семафорные движения.

— Нет! Вы только полюбуйтесь! Какой темперамент! Какой жест! Какая искренность переживаний! Вот именно таким, молодой человек, я и вижу Елизарыча — страстоборца! нетерпимца! На сцену!! — И старичок простер руку в направлении двух деревянных будочек «М» и «Ж», нежно склонивших друг к другу обветшалые крыши свои.— Ваше место на сцене, молодой человек! Ни о чем не беспокойтесь. У меня от начальства карт-бланш.— Он вынул из кармана грязный платок и показал: — Мобилизовывать в самодеятельность любого, кого захочу! Первая репетиция завтра! Восемнадцать ноль-ноль. Народная трагедия: «„Лифшиц“ уходит в бессмертие!» Через две недели — премьера. С блеском. Двадцать шестого — смотр в Великом Бабашкине. Триумф. А там — чем черт не шутит? — и Череповец, и Кемпендй, и — ого-го! — заграница!.. Вы где, как это говорится, трудитесь?

— В комиссии по разворачиванию,— сказал Пепеляев.— Так что несогласный я. И без вас дел по горло: разворачивай, свертывай, перевортывай. А Елизарыч, между нами, был во-от такого росточка,— он показал себе на пуп,— хромой на обе ноги, с детства поддатый и к тому же то ли баптист, то ли адвентист вчерашнего дня. Так что несогласный я. Вот Пепеляева бы...

Старичок быстренько подбежал на своих полусогнутых, ласково погладил Васю по спинке.

— Голубчик! — нежно проговорил он.— Каждый хотел бы сыграть Пепеляева. Но, поверьте старому актеру, Пепеляева вам не потянуть. Вот здесь...— он показал Васе на живот,— мно-огое накопить надо, чтобы сыграть Пепеляева! Да и внешние данные у вас — того... Василий Пепеляев — это, в моем понимании, воплощение, можно сказать, русской былинной силы. Размахнись, как это говорится, рука, раззудись, плечо! Ты пахни в лицо, ветер с полудня!.. Вот каков Пепеляев! Этакый современный Васька Буслаев...

— ...Из мастерских, что ль, Буслаев? — привередливо поморщился Пепеляев.— Тоже мне воплощение. Он мать родную живьем в приют отдал. Ну, в общем, договорились, отец! Ваську Пепеляева я согласен воплотить (и то, учти, только для тебя скидку делаю), а сейчас, извини, на открытие триумфального столба тороплюсь! — И он пошел в бухгалтерию.

Там у него прогрессивка на депоненте лежала да еще за последний месяц получка неполученная. Но вот только было у него тухлое предчувствие, что большую куку с макой получит он в бухгалтерии, а не деньги. Тем не менее пошел.

Какая-то ехидная услада была уже в том, что вот сейчас его еще раз, вопреки смыслу, вдарят фэйсом об тэйбл и, глядя прямо в глаза, будут талдычить ему, что он — это вовсе не он, а он — тот самый, который на самом деле он, героически спасаясь, сгорел вместе с баржой, которую Елизарыч, наверняка спьяну, врезал возле Синельникова во встречную нефтеналивку...

— Здорово, Маняша! — Пепеляев сунул в окошко кассы каторжную свою рожу и улыбнулся, как мог улыбаться только он, на тридцать четыре с лишним зуба.

— Здравствуйте...— застенчиво сказала Маняша-кассир и брякнулась со стула в обморок.

Василий поскреб лысину.

— Однако витамина Пе-Пе-один не хватает...— поставил он диагноз.— Да и какой тут поможет витамин, если загнали здоровенную девку нерожалую в шкафчик — поневоле падать начнешь!

И он пошел в комнату, где сидели арифмометры поглавнее.

— Здорово, бабоньки! — тем же манером гаркнул он и оскалился, невольно ожидая, что и эти сейчас начнут осыпаться со стульев.

Но тут народ собрался поядренее. Глазки спрятали, дышать, правда, перестали, затаились, но каждая на своем шесточке усидела. Только одна, за шкафчиком, вдруг принялась хихикать шепотом — будто ей под юбку какой озорник мохнатый забрался...

— Тебе чего? Тебе чего надо, черт окаянный?!

Это, конечно, Ариадна Зуевна встала на всеобщую защиту. Руки в боки, пузо вперед — такую и бронепоезд, пожалуй, не устрасит.

— Деньги надо. Неужто не видно?

— Де-еньги?! — Зуевна драматически задохнулась от возмущения.— А милицию вызову, не хочешь? Пош-шел отсюда, фармазон ленивый, не пугай народ! — И она двинулась врукопашную.

— Ариадна, не бузи! Где Цифирь Наумовна?

Цифирь Наумовна не замедлила отворить дверь своего чуланчика.

— В чем дело? Почему не работаете, товарищи?

Главный бухгалтер вид имела жирного хищного индюка. Во всеулышание врала, что по отцу происходит из цыган, и потому ходила раззолоченная, как народная артистка цирка. Золото у ней блестело везде: и во рту, и в ушах, и на шее, и в грудях, не говоря уж о пальцах, которые от колец и перстней торчали враслопырку. Таких, говорил Василий, сажать надо с первого взгляда, без всякой ревизии, нипочем не ошибешься.

Телеграф тут у них работал справно. Цифирь первым делом протянула ладошку.

— Документ!

Василий заулыбался:

— Зачем тебе документ, дуся? Неужели на мне не написано, что я — Василий Степанович Пепеляев — пришел получить свою кровную прогрессивку и еще жалованье за протекший месяц.

Цифирь Наумовна необидчиво улыбнулась:

— Ничем не могу...— и двинулась восвояси. Уже в дверях повернулась: — Кстати, прогрессивка и зарплата за месяц вперед выплачены матери погибшего Пепеляева. По личному распоряжению Спиридона Савельича. Любочка, покажи товарищу, если он интересуется.

Товарищ, конечно, заинтересовался, но не настолько, чтобы копаться в бухгалтерских промокашках. И так всё было ясно: сплошное вредительство и широко разветвленный заговор.

— Запиши, Любочка,— сказал он гордо.— Деньги эти я жертвую на осушение града Китежа, из них пять — прописью: пять — на строительство наклонной Пизанской башни в городе Бугаевске... Да,

кстати, там у вас кассиршу застрелили, так вы побеспокойтесь, что ли... Все ж таки девушка.

И он ушел интеллигентно, даже дверью не шарахнув.

Теперь надо было все не торопясь, под хорошую закуску, в хорошем месте обдумать.

И уже часа через два его, многодумного, видели на окраине Чертовца, на улице с романтическим названием Улица Второй линии Рыбинско-Бологоевской железной дороги, громогласно пьяного, победоносно вещающего на все стороны света:

— Я есть — кто? Я — Воплощение смсы! Ибо поелику возможно во веки веков — ду-ду!! Расступись, народ! «Красный партизан Теодор Пепеляев» в землю обетованную плывет!

Плыл он на кладбище, посетить могилку свою.

— Во-о устроился, паразит! — не сдержал восхищения Пепеляев, когда отыскал наконец место своего успокоения.

Местечко и в самом деле было хоть куда. Как на даче.

Молоденькая, но уже плакучая березка застенчиво шелестела листвою. Ее, видать, привезли из леса вместе с дерном, и она славненько принялась, только на одной ветке листья слегка пожухли.

Вообще все было сработано без халтуры: цементом аккуратно обделанный цветничок, песочком вокруг посыпано, оградка из хорошего штакетничка (правда, не крашенная), цветочки... Да и на место, надо сказать, не поспешили. Хорошее выделили место: и просторное, и на приглядном взгорочке, с которого и речку видно, и лес за рекой, а если захочешь, то и городом можно полюбоваться.

Главное, что тихо было, безлюдно и ветерком обдувало. Скамеечку очень кстати поставили — можно было посидеть, подумать что-нибудь, закусить.

Василий даже вздремнул маленько, утомленный событиями прошедшего дня.

Нельзя сказать, что его очень уж обеспокоило новое его положение. Денег, конечно, жалковато было, а в остальном: «Клизьма все это от катаклизьма... — определил Василий. — Балуется начальство...»

У них-то положение — тоже не позавидуешь. Только было обрадовались, что «Лифшиц» сгорел, можно, стало быть, кучерявую клюкву устроить на зависть другим пароходствам, а тут вот он, явился не запыхавшись, герой-погорелец! — всю спектаклю им попортил. Одно ведь дело, когда все сгорели, дружным коллективом, воодушевленные пятилетним планом, с пением «Ай-дули-ду!», и совсем, конечно, другой дерматин, когда, оказывается, один из героев в это время с Алиной в перинке кувырчался. А там, глядишь, еще кто-нибудь объявится, скажет, что в Котельникове в очереди за маргарином стоял... Да, начальству тоже нелегко, ничего не скажешь, с них ведь тоже, бывает, спрашивают.

Главное, однако, что вот он, Василий Степанович Пепеляев — руки, ноги и пупок, — сидит себе на скамеечке, животрепещущий, как проблема борьбы с окружающей средой, внутри три стакана гулькают-перекликаются, лысинку ветерочек обдувает, по спине муравей ползет-щекотит... И в общем. можно сказать, наплевать ему на человеческое

глупство, которое объявило его как бы несуществующим на этом белом свете.

Х-ха! Это он-то не существует?!

Тут его, нечаянно толкнув, разбудили.

— Чего расселся? — ревниво заворчала маманя. — Другого места не нашел? Иди-иди, черт пьяный... нечего тебе тут.

— Грубишь, мать! — недовольно отозвался Василий. — Смотри, лопнет пузырь моего терпения...

— Иди, мил человек, — уже тоном ниже заговорила та, любовно раскладывая на скамейке свой огородный инвентарь. — Прибраться мне нужно ай нет? А то, вишь, и листочков уж сколь много нападало... и земелька, гляди, почерствела...

Все у нее было словно игрушечное — и грабельки, и лопаточка, и щеточка, и леечка. Да и сама она — совсем уже усохшая, величиной с пальчик, в опрятненьком светлом балахончике, в черном платочке, когда хлопотала над могилкой, что-то грабельками разравнивая, что-то, ей одной видимое, выщипывая и обирая, из леечки по капельке поливая, — больше всего маленькую девочку напоминала, которая увлеченно и с наслаждением играет во взрослую какую-то игру.

И когда она, закончив охорашивать цветничок на могилке, протерла лоскутком Васькину физиономию, упрятанную под начавшим уже мутнеть оргстеклом, и села на скамейку, ручки сложив на коленях, — смешно отчего-то, но и по-осеннему грустно стало Василию. Такая она сидела, донельзя довольная, со всем миром примиренная, тихая, скромно-важная...

— Стекло на фотке другое надо, — сказал он. — Это за зиму-то потрескается, ничего не увидишь. Да и оградку покрасить надо. У меня в сарае хорошая эмаль где-то валяется, голубенькая, так я тебе покашу.

— Вот и славно... — все еще пребывая в каких-то нездешних сферах, размягченно откликнулась мать. — Вот и сделай, чем ругаться-то. А я тебе бутылку куплю. Вот и славно будет.

На следующее утро он, к собственному удивлению, опять побрел на работу, и на следующее — тоже, и даже в выходной день пошел, сам на себя плюясь от презрения.

Ладно бы там друзья-приятели ждали с рублем в кармане или разговоры какие душевные — ничего похожего!

Друзья-приятели если и не шарахались теперь от него, то сторонились, уж это точно. Жертвы атеизма, они, конечно, не верили в потустороннее происхождение сегодняшнего Пепеляева. Но, с другой стороны, чем объяснять им было этот удивительный феномен появления в обществе принародно закопанного человека?

В общем, чепуха и недопонимание воцарились в отношениях Васи Пепеляева с окружающим обществом.

Правда, отдельные, наиболее отважные граждане все ж таки вступали с ним иной раз в разговоры. Но делали это, так неприлично ужасаясь собственного нахальства, такую белибердень с перепугу несли,

что Василию сначала смешно, а потом, довольно скоро, раздражительно-скучно стало.

Неприменно двух вопросов не могли избежать его собеседники. Первый: «Как тебе удалось?»

— Чего «удалось»?

— Ну... это... Опять сюда?

— А-а! Там, брат, то же самое. Ты — мене, я — тебе. А у меня как раз новые кирзовые сапоги были. Ну, я кому надо и сунул... Сам теперь видишь, в чем жожу? — и для убедительности шевелил сквозь дырку в сандалете пальцами ног.

Второй вопрос проистекал из первого. Задавали его тоже словно бы и шутейно, но ответа почему-то ожидая с напряженностью.

— Ну и как там? — И пальцем в небо.

— Отлично! Знал бы, что так встречать будете, ни за что бы не ушел. Там — что ты! — каждый день на пятнадцать минут по водопроводу пиво пускают! Верить?

Кто их знает... Может, и верили, обалдуи.

Но, как сказано, очень скоро надоела Василию эта темнота, эта неразвитость, кемпендяйство это дремучее. У него даже характер — он заметил — портиться начал.

Шутки стал себе позволять иной раз очень невыдержанные. Кузе, например, брякнул ни с того ни с сего: «Скоро помрешь! Вижу! Сарделькой подавишься!» И сам себе огорчился: при виде вмиг окоченевшего от страха Кузмы очень уж сладкое удовольствие в себе почувал.

Ну, конечно, один раз и отметить его попробовали, не без этого. Возле паггауза три каких-то бича набросились. Все норовили сначала мешок на голову нахлобучить, а потом уже бить. Должно быть, или Кузей, или начальством были подсланные. Один успел пригрозить: «Еще раз в порту появишься!» — но не договорил, сердечный, потому как Вася не вполне корректным приемом, ногой по требухе, его угомонил. А остальные и так, от простого загробного улюлюканья, чесанули, как чечеточники.

Вообще какая-то сварливость в душе у Васи завелась. Особенно стал донимать лилипутика, который с наглядной агитацией хлопотал. И карточки, видите ли, криво висят, и на позолоту поскупились, и вообще — неграмотно.

— Что значит «отлившись»? Бутылка может стоять «отлившись»! Ты, к примеру, из нее стакан отлил, вот она и «отлившись». Другой надо стих. Переделай:

В том пожаре отличившись,
Вдруг поплыл через года,
Самоходка «Красный Лифшиц».
Не забудем никогда!

Ну а когда он однажды в музей проник, то чуть ли не до слез довел карапуза-активиста! Мелкая правда факта была ему, малообразованному, куда важнее, нежели крупная Правда-истина.

Орал:

— Подумай, куриная голова! Ежели все сгорели, то как патефон

мог в живых остаться, да еще с пластинкой «Сегодня мы не на параде»?! Тебя же засмеют!

— А они, может, в ремонт его как раз отдали!

— Тебя, вместе с начальством твоим, в ремонт надо! А это что? «Любил в редкую минуту отдыха надеть Епифан Елизарович Акиншин валенки с галошами чертовецкой пимокатной фабрики „Борец“...» Во-первых, размер не его — у Елизарыча тридцать восьмой был, на портянку. А во-вторых, где это видано, обалдуй, чтобы пимокатная фабрика галоши выпускала? Все переделать к чертовой матери!

— Кто вы такой? — попытался было протестовать человек. — Почему вы экспонат в карман лóжите?

— Я те покажу экспонат! — совсем тут взъерепенился Пепеляев. — Это моя собственноручная расческа. Под суд отдам! Грабите мать-старушку, а я из-за вас нечесаный ходи? Ж-жулье! Все переделать! Не конструировал в период отпуска Валерка-моторист эту бандуру! Он в отпуске самогонный аппарат сварганил. Он — золотые руки был! А ты про него что написал? «...не-ежный отец!» Он — не нежный отец, он — герой! Он по трем исполнительным листам платил! И не думал Василий Пепеляев в последнюю минуту о том, как спасти ценный груз: «Лифшиц» порожняком шел!.. А вот в эту последнюю страшную минуту я, Пепеляев, вот что думаю... — Тут он заговорил тихо и доходчиво: — Схожу-ка я сейчас за своим любимым огнеметом и пожгу тут у вас все к чертовой матери! Чтоб вы людям головы не дурили!

При этих словах человек жалобно пискнул, пригнулся и выбежал прочь — наверняка жаловаться.

Очень осерчал Пепеляев. Кто знает, действительно, окажись у него в ту минуту под рукой огнемет, пожар бы закатил похлестче, чем на «Лифшице». Но поскольку огнемета не было, а висел на стене, наоборот, огнетушитель, он прибором тем жажнул по полу, струи, конечно, не дождался, плюнул с чувством и ушел просто так.

Возле ворот его ждали двое. Стояли, подпирая будку Матфея, и беседовали с вахтером.

Увидав Пепеляева, Матфей Давидович сказал:

— Вот он! — для точности ткнул пальцем и быстренько на всякий случай ухромал к себе.

«Похоже, опять драться...» — вмиг заскучав, подумал Василий и деловито огляделся. Но ни кирпича качественного, ни дрына сучковатого, приличного случаю, не обнаружил.

Впрочем, друзья-соперники были так себе. Один — в клеенчатой, но вроде как кожаной, курточке, совсем еще щеночек, хоть и в беретке.

Другой — с виду никакой. И одет — никак — морда — никакая. Разве вот только усики рыжеватенькие... И росту какого-то совсем среднего. И вроде бы даже тень не отбрасывал. Такой вот он был весь из себя скромный.

— Добрый день! — вежливо и культурно сказал щеночек, когда Пепеляев поправился с ними. — А мы вас ждем.

— Жди дальше. Это не я.

— Нет-нет. Я серьезно...— Тот пристроился к Пепеляеву и пошел рядом.— Понимаете, какое дело... Я из молодежной газеты «Чертовецкое племя», мы готовим очерк об экипаже «Теодор Лифшиц». Мне сказали, что никто, кроме вас, лучше не расскажет.

— Документ! — строго сказал Пепеляев и вдруг остановился. Тот торопливо добыл корочки, показал. Все было в порядке: и печать, и «действительно до...».

Столь же вахтерски Пепеляев протянул руку и к серенькому:

— Ваш документ!

Тот развел руками. Дескать, якобы забыл.

— Это — просто так, мой знакомый...— поторопился объяснить щеночек в береточке.

— Ничем не могу,— сухо сказал Пепеляев.— Документа нет, а он говорит: «Здрасьте!» Я должен верить? А может, он чем-нибудь воспользоваться хочет?

— Чем воспользоваться? — не поняла береточка.

— Не знаю чем, а хочет! Есть, дорогой товарищ, единые правила, нарушать которые никому не дозволено.

Серенький улыбался как глухонемой. Дружелюбно, ясно, ничего будто бы не понимая. От него, к тому же, пахло тройным одеколоном — не изнутри, а снаружи,— что окончательно уж не понравилось Василию.

— Пусть он отвалит отседова,— сказал он,— а мы с вами побеседуем на интересующие нас темы.

Все так же продолжая улыбаться, серенький послушно отстал.

Мальчонка оказался шустрый. С ходу вывалил на Василия десятка полтора вопросов и даже карандашик наострил. Пепеляев не замедлил.

— В бытность мою матросом на прославленном «Красном партизане Теодор Лифшиц»,— начал он плавно,— любил я в редкую минуту отдыха посещать планетарии...

Щеночек торопливо шпарил в книжечку прямо на ходу.

— И вот именно там, в одной из лекций, довелось мне услышать, что даром только отдельные птички отряда воробьиных поют, понял?

Мальчонка дописал и поднял на Василия умненькие глаза:

— Понял. Гонорар меня не волнует, меня волнует публикация, поскольку я на практике.

— Поскольку я не на практике, а в теории, то меня, наоборот, волнует этот самый... который гонорар. Делаем так! Тебя как звать-то? Забыл... Так вот, Мишка, гони бумагу, карандаш давай, и я сам тебе все в лучшем виде опишу. Может, даже в стихах. Ты там мягкие знаки где надо расставишь. Слава — тебе, деньги — мне. Но если Государственную премию дадут, премию тоже мне! Согласный?

— Согласный. Только в стихах не надо, ладно?

Василий ухмыльнулся:

— Сомневается... Думает, что я стихами не могу. Вот послушай, чудак, что недавно вышло из-под моего автоматического пера...

Он остановился, принял позу и — вдруг пионерским звонким голосом продекламировал:

«Закончили сенокос!» —
Приветливо объяснил
Иисус Христос...

Ну, как?

— Очень! — искренне сказал пишущий мальчик.

— Тогда заметано! Через два дня. На этом самом месте. В три часа по Цельсию. Будешь плакать и рыдать — та-а-кое я тебе напишу!

С вечера, падая в кровать, Василий порешил железнее железного: завтра хоть под автоматом, хоть по велению души, но он в порт — ни ногой! Хватит! От этих экскурсий по местам трудовой славы одна только изжога нервов.

Однако и на следующее утро, часам к девяти, Пепеляев опять вдруг обнаружил себя бодро пылящим по той же дороге.

Хотел было повернуть вспять, но не тут-то было. Какая-то ласковая сила отечески взяла его за шиворот и повлекла дальше. Он дернулся пару раз, но вынужден был насилью опять подчиниться.

И если бы хоть какое-то подобие дела было у него в порту! Никого! Все там было ясно, как психофазотроне: не желал его до слез родной коллектив!

...Как и в самый первый день, навстречу Пепеляеву выскочил, повизгивая протезом, Матфей-охранитель. За кобуру на сей раз хвататься не стал, другим перепугал: встал в хромой фрунт, руку к воображаемому козырьку поднес, просипел почтительнейшим шепотом:

— Вас Спиридон Савельич к себе звали-с. В одиннадцать часиков ждут.

— Я сегодня не принимаю, — вельможно отмахнулся Василий. — Если что-то срочное, пусть обращается в письменной форме. Не то осерчаю.

Не иначе как музейный лилипут пожаловался, подумал Василий и к Метастазису, конечно, решил не ходить.

Однако около полудня его, загорающего в тенечке, разыскала Люська.

— Эй! — кликнула. — Васька! Или как тебя там... Иди. Спиридон Савельич зовет.

— Нужен он мне... — пренебрег Василий и перевернулся на другой бок. — У меня ответственное сновидение.

— Иди-иди, не бойся. Не обидят, совсем даже наоборот.

Василий сел.

— Покажи бородавку, тогда пойду.

— Вечером приходи, — торопила Люська, — часиков в десять. У меня маманя как раз в деревню уезжает гостить. Ну идем же, черт лысый!

— Не обманешь? Насчет вечера-то?

— Не обману, не обману. Пойдем скорее! Где живу-то, помнишь?

— Помню. А что за народ собрался? По какому случаю?

— Увидишь — узнаешь.

...На улице было солнышко, а эти сидели, как разбойная шайка в пещере: окна зашторены, на столе лампа горит. И Метастазис тут был, и Цифирь Наумовна, и наглядный гном-лилипут и еще то ли двое, то ли трое, не совсем известных Василию. Судя по носам, Спиридонова родня.

— Тэк-с! — со всегдашней своей улыбочкой сказал Спиридон и оживился. — Вот и наш герой. Прошу любить и жаловать. Ишь какой... — с нескрываемым любованием оглядел его Метастазис. — Прямо Васья Пепеляев, вылитый!

— Чего звали? — грубо сказал Василий.

— Ишь ты, ишь ты... — ласково усмехнулся Метастазис. — Характерец!

— А то ведь я и уйти могу! — продолжал свою линию Василий. — У меня дел вагон! — Он только сейчас понял, как с ними надо.

— Это каких же таких дел? — засмеялась Цифирь. — В музее безобразничать? Или зверски избивать людей, ни в чем не повинных?

— Да, — грустно подтвердил Спиридон. — Цифирь Наумовна права. Докладывают мне, понимаешь, что шатаешься, понимаешь, по территории порта, что безусловно запрещено посторонним... Какие-то пьяные драки устраиваешь, намеки какие-то... Ты, брат, это прекрати. Мы с тобой ведь по-хорошему пока. Парень ты молодой, зачем, скажи, биографию тебе портить каким-нибудь ЛТП или, того хуже, ИТК?

— Все? — нахально спросил Вася. — Тогда я пошел. На работе восстанавливать не хотите? Не хотите! Вам же хуже!

— Насчет работы — стой! — ты помнишь, мы обсуждали этот вопрос. Без документов, брат, при всем моем распрекрасном отношении, на работу мы взять тебя не можем. Как вы думаете, Анастасий Савельич?

— Непременно, — грустно согласился Спирькин брат.

— А я не согласен! — сказал другой брат. — Чего с ним возиться? Он народ колготит! Мои уже вторую неделю не работают — о загробной жизни рассуждают. Предлагаю: материалы на него — в общественную комиссию исполкома, и пусть они его в ЛТП, а лучше бы в ИТК годика на два!

— Ну, вы это, кхм, очень уж чересчур, Одиссей Савельич. Парень-то молодой...

— Экспонат украл, огнетушитель уронил! — плаксивым голосом сказал гном-лилипут.

Все у них было расписано как по нотам: один добрый, а все остальные — нехорошие, черствые люди.

— Я думаю, — сказал строго и даже недовольно Спиридон Савельич, — что торопиться не будем. Наказать недолго, а вот помочь человеку...

— Вникнуть, — подсказал Вася.

— ...Вникнуть... — повторил Метастазис, не расслышав, откуда идет подсказка, — в его, прямо скажем, бедственное положение... эт-то...

Метастазис в ту минуту представлял собой прямо-таки самую озабоченность судьбой ближнего, попавшего в беду, приятно было посмотреть.

Наконец решение созрело. Деловито, голосом совещательным, но исключаящим возражения, он произнес:

— Как вы полагаете, Цифирь Наумовна, сможем ли мы временно изыскать рублей сорок в месяц, учитывая, что у товарища такие, кхм, обстоятельства?

— Пятьдесят, — быстро сказал Вася. — Как инвалиду второй группы.

Цифирь Наумовна кисло поморщилась — такое у ней было ампула.

— О пятидесяти и речи быть не может. Хотя какую-то сумму, исключительно временно, изыскать мы, конечно, Спиридон Савельич, сможем, но...

— Сорок пять, — сказал Вася.

— Сорок пять, а? — просящим голосом повторил Метастазис. — Жалко ведь парня-то, Цифирь Наумовна!

— О-ох, Спиридон Савельич... — кокетливо поддалась бухгалтер. — Сорок пять, пропадай моя душа!

— Ну вот и ладушки! — втрое больше Пепеляева обрадовался начальник. И обратился к Василию: — Ну вот, видишь? Иди сейчас с нашим бухгалтером и получай свою, хе-хе, стипендию. Потом, когда все утрясется, как-нибудь задокументируем это дело.

— Премного вам благодарны! — с напугавшим всех воплем переломился вдруг в поклоне Василий. — Прямо слов нет, как благодарны мы вашей милости! — Тут он размазал по щекам предполагаемые слезы. — Внукам рассказывать буду!

— Да! — уже у дверей остановил его Метастазис. — Ты, конечно, можешь ходить сюда, никто не запрещает, но все же... Ты, брат, все же пореже. Лучше бы и вовсе дорогу сюда забыл. Не то можем и поссориться. Раз в месяц — к Цифирь Наумовне за стипендией, а больше — не надо, Вася, не советую, понял? — Тут у Спиридона Савельича присущий ему железный с заусенцами тембр прорезался. Кончилось кино.

Расписавшись у Цифири на пустом бланке: «Мерси! Шапиро» и трижды пересчитав деньги, Василий вышел на улицу.

Он все еще никак не мог понять, нравится ему все это или не нравится. То, что в кармане шуршит, безусловно, нравилось. А вот то, что вокруг пальца обвели, к явно нехорошему делу подшили, — это вызывало сложные чувства... которые, впрочем, путем алгебраических упрощений он быстренько свел к одной-единственной мысли, но мудрой: «А и хрен со всем этим! Потом разберемся...»

Тут повеяло откуда-то тройным одеколоном.

Пепеляев огляделся и обнаружил невдалеке от себя серенького, который стоял, индифферентно облокотившись об заборчик, и обдавал Василия взглядом, сияющим от неожиданной радости.

— Чего надо? — грубо спросил Василий.

— Да вот... Нечаянно, можно сказать, встретились... — хихик-

нул серенький. — А я сегодня и документик принес! Ей-богу! Можете проверить! — И протянул Пепеляеву картонные какие-то корки.

Фамилия у него оказалась точная — Серомышкин, и был он, оказывается, членом областного общества «Рыболов-спортсмен».

— Почему за сентябрь не уплочено? — строго спросил Василий.

— У них марок не было, честное слово! А вы чего в бухгалтерии подписывали?

— Ишь ты... — усмехнулся Пепеляев. — Мышкин-Шаромыжкин. Интересуешься?

Тот покорно пожал плечами.

— Бумагу я, брат, подписал. Совсекретную. Дескать, обязуюсь. В противном случае. Поверь, Мышкин, — вдруг заорал Пепеляев, — под пытками заставили!! Сюда — электрод, сюда — плоскогубцы, внутрь — химию. Безо всякой ведь закуски! Завербовали!! Должен я им теперь расписание автобусов сообщить Чертовец — Бугаевск. Не иначе как диверсию хочут организовать с человечьими жертвами. Кличку присвоили. Какую, сказать не могу, секрет... Ну и оклад жалования, как полагается. Сорок пять карбованцев в греческих долларах. Теперь понял, физкультурник-рыболов?

— Понял, — сказал Серомышкин, который правильно ничего не понял, кроме слова «сорок пять».

— Ну, если понял, тогда чеши отседава! Клев начался. А мне в филармонию уже пора, заждались.

...Насчет филармонии Пепеляев не соврал. Еще до посещения Бугаевска несказанно повезло Василию в жизни: выиграл он в «сику» немалую по чертовецким понятиям драгоценность — замурзанный листок из прошлогоднего календаря с волшебными клинописными каракулями на нем: «Алферов пропусти» — контрамарку, проще сказать, на право посещения одного, не больше, филармонического концерта.

...Не было в Чертовце учреждения более любимого народом, чем филармония. Она была любима не только народом, не только артистами, успешно или безуспешно выступавшими на ее сцене, но и, в особенности, начальством самого разнообразного калибра, которое на совещаниях самого различного профиля на самых разновысоких уровнях любило козырять Чертовецкой филармонией как примером истинно рентабельного подхода чертовчан к ведению хозяйства, как образцом творческого поиска внешних и внутренних резервов производства, как торжеством морально-материального стимула, как тонкого рычага-инструмента в деле успешного претворения в жизнь цифр плановых и сверхплановых заданий.

Вот уже третий год филармония захопленного Чертовца, которой по традиции полагалось с хрипом дышать на ладан и, на коленях елозя, вымаливать дотации, с треском перевыполняла все, даже самые бредовые планы сборов, которые спускало на нее республиканское начальство.

Аншлаг в вестибюле над окошечком кассы был уже до неприличия желт и изрядно засижен мухами, но по специальному распоряже-

нию директора его не меняли. Это была уже своего рода реликвия, иначе выражаясь, регалия, характерная, можно сказать, черта облика этого очень культурного заведения.

Не случайно на первомайских демонстрациях колонна филармонических работников всегда теперь шла, неся не только свой обязательно-любимый транспарант «Искусство принадлежит народу!», не только эмблему — березу в виде балалайки, но и этот знаменитый, всем чертовчанам знакомый текст: «Все билеты проданы!», что неизменно вызывало на трибунах добрые улыбки и ласковый смех.

А обязана была своим расцветом-ренессансом Чертовецкая филармония неказистому, скромненькому человеку по фамилии Тщетнов, своему администратору.

Он появился в Чертовце за три года до описываемых событий, в тот черный период в жизни города, когда было объявлено, что чертовецкий пивзавод ввиду своей маломощности и нерентабельности ставится на реконструкцию. И хотя средства массовой информации определенно заявляли, что через год-другой чертовецкий «Красный солод» станет одним из гигантов пивной индустрии страны, будет оснащён новейшим оборудованием на уровне мировых стандартов и выпускаемой им продукцией можно будет вскоре заливать, по меньшей мере раз в год, всю Прикаспийскую низменность — несмотря на это, уныние и пессимизм овладели чертовчанами. Поползли слухи, что из-за нехватки запчастей к бульдозеру срок ввода в эксплуатацию пивного гиганта перенесен ориентировочно на конец столетия; как нетрудно понять, это было равносильно сообщению о том, что «Красный солод» по причине ремонта закрывается навсегда...

И вот в этот самый момент в филармоническом буфете, который испокон веков если и торговал, то исключительно лишь теплыми ополосками с консервных банок «Кофе сгущенный с молоком» и бутербродами «Три сестры» (кильками, проще сказать, на ломтике черного хлеба), — так вот, в зачуханном том буфете, не поверите, появилось пиво!!

Через два часа весть эта облетела весь Чертовец. Через три часа был продан весь запас билетов на ближайшую неделю. На счастливицков, успевших рвануть абонемент на циклы лекций о Глюке или на фортепианные вечера для юношества, смотрели уважительно-враждебно, как на людей, незаслуженно выигравших в лотерею.

Какими путями и откуда умудрялся этот скромный, почти что бескорыстный хозяйственник завозить в Чертовец пиво (ближайший пивной ларек был от него на расстоянии полета ракеты «Минитмен»), это так и осталось тайной, которую в прошлом году Тщетнов благополучно унес с собой в глинозем великобашкинского погоста. Но факт, как говорится, был фактом: пиво в буфете наличествовало! Больше того, оно не кончалось, и отныне каждый чертовчанин, сумевший приобрести билет в филармонию, мог планировать свою личную жизнь с учетом этого отрадного, греющего душу явления.

Разумеется, обнаружились вскорости и ретрограды. В основном общепитовского толка. С пеной у рта попытались они повернуть пивное русло в направлении своих тихо прогорающих торговых точек. Выда-

вая себя за якобы ревнителей Искусства, они демагогически оперировали, сталкивая на самых различных совещаниях такие, к примеру, на первый взгляд действительно малосовместимые понятия, как «очаг культуры» и «распивочное заведение», «шедевры музыкальной классики» и «зеленый змий».

Но очень скоро и они вынуждены были умолкнуть, убедившись, что, во-первых, вход в филармонию строжайшим образом разрешен только в галстуках, что, согласитесь, уже само по себе не могло резко не повлиять на культурный уровень чертовчан; что, во-вторых, неукоснительно соблюдается правило, на котором особенно настаивал Тщетнов и которое во множестве было развешано на стенах в фойе филармонии: «Вход в зал с пивными кружками и закуской воспрещен», — и что, в-третьих, больше двадцати кружек одному лицу категорически не отпускается.

В-четвертых, и, может быть, в самых главных: комиссия, организованная по настоянию общепитовцев, не могла не засвидетельствовать и того, что, цитируем: «...в помещение буфета музыка доносится отчетливо и, напротив, в зале не ощущается никакого шума, производимого буфетом. Многие из посетителей буфета сознательно заходят в зрительный зал. Из десяти, опрошенных комиссией, лишь двое находились там в поисках туалета, остальные, как объяснили, пришли добровольно посидеть на мяконецком (двое), поглядеть на артисток (шестеро)». Иначе сказать, довольно отчетливо обрисовывалась и немалая культуртрегерская миссия тщетновского заведения.

Вот почему жадный до всякой культуры Вася Пепеляев был так неподдельно счастлив, выиграв в картишки эту бумажку с тщетновским повелением какому-то всемогущему Алферову пропустить еще одного поклонника прекрасного.

«Василий Пепеляев сидел, по обыкновению, в ложе бенуара и изо всех сил предавался...» — так с удовольствием подумал о себе Василий Пепеляев, усевшись в ложе бенуара после того, как он выпил десять кружек пива, ознакомился со славным творческим путем Чертовецкой филармонии, отраженным в диаграммах и фотографиях артистов, посидел на колченогих парчовых диванчиках в фойе, пострелял из духового ружья в тире, скушал зачем-то какую-то вафлю с кремом, которую продавал (должно быть, в обязательном порядке) какой-то мужик в зеленом форменном кафтане, заглянул в кабинет директора, туалет и за кулисы и купил с рук у вьедливо-вежливой старушонки тощую программку за 25 копеек.

Поскольку как следует Василий не знал, чему следует предаваться в филармониях, он изо всех сил предался сладкой дремоте, полной благодарных прислушиваний к собственному чреву, в котором обреталось, как сказано, пять литров довольно божественного напитка.

Ему нравилось в филармонии.

Здесь было прохладновато, сумеречно и никто не мешал.

Те человек двадцать, которые пришли сюда, видать, не только за пивом, сидели, тесно и тихо сгрудившись возле самой сцены, шуршали, как мышки, бумажками, а если и вдаряли в ладоши, то очень прилич-

но — не как в каком-нибудь кабаке, а как, вот уж правильно, в филармонии.

Слова «браво» и «изумительно» они кричали шепотом, а чувства, одолевавшие их, больше выражали улыбками, печально-восхищенными, обращенными друг к дружке, и безмолвными воздеваниями рук где-то на уровне груди. Судя по всему, это была какая-то тихая, безобидная для общества секта — вроде любителей канареечного пения.

Музыканты тоже вели себя прилично. Не шумели и не кричали на весь зал — чутко учитывали, что в зале не только их слушают, но и отдыхают после тяжелой пивной повинности.

Вообще — хорошо было.

Больше всего в новой своей жизни беспокоило Василия не то, что его не признают за живого человека или там, наоборот, признают, но не за Пепеляева. Больше всего его огорчало, что чересчур уж какая-то мятежная жизнь для него началась. Некогда, невозможно и негде стало что-нибудь хорошее подумать, как прежде, важное. Разбредись привольно мыслью по тупичкам и коридорчикам, по проулочкам и закоулочкам мирового здания, восхититься, даже напужаться огромностью всего сущего, смешной непостижимостью его! Пылинкой, сообщающей букашкой почувствовать себя и, жалея, поуважать...

Хорошая мысль, известно, в пустую голову приходит. А уж какая хорошая могла посетить Василия, если башка его изо дня в день все бестолковее зарастала изнутри, как бурьяном, досадными какими-то мыслишками о людской глупости, копеечности, трусоватости, о несправедливости, устроенной людьми среди людей!

Очень ему обидно, и чем дальше, тем обиднее, было за человек! Он, конечно, не позавчера родился — знал прекрасно, что трудновато им в этой жизни в ангелах удерживаться, быстро стерженеют, с каким-то аж сладострастным треском вырывают присущие им крылышки, а достигнув возраста, как по гнусавой какой-то команде, к звероподобию устремляются — то есть, алгебраически выражаясь, всесторонне и всемерно упрощают себя, иной раз вплоть до нуля.

Знал все это Василий Степанович и раньше, но как-то издали, что ли. В прошедшей жизни ему не до этого было, и не касалось его это никак. Он рос, внимательный сам к себе, мужал с бабами, отдыхал в раздумьях о мировой катаклизме и на работе, страдал — исключительно лишь с похмелья, премного был всем и всеми доволен, поскольку всё и все никак его не касались и духовному его произрастанию ничем не вредили. Но тут случился, как назло, этот никому не нужный пожар, и все переменялось.

Вася, будто и взаправду в огне побывавший, чувствителен стал к жизни — как облупленный. Как будто взамен сгоревшей, заскорузлой, выросла на нем кожица нежненькая, до того тонюсенькая и раздражительная, что каждое идиотское слово, каждый перепуганный взгляд в его сторону, каждый даже глупый помысел о нем отпечатывались теперь в душе Пепеляева, как розга на трепетной ягодице.

И еще потому чересчур уж прокурорски стал относиться Пепеляев к людским отдельным недостаткам, что носители этих темных родимых

пятен фактически Васю-то самого за Васю высокомерно не принимали. Отказывали ему в этом высоком заслуженном праве! И недвусмысленно получалось: живой Вася, вот этот, сидящий в ложе бенуара, со всеми его потрохами, достоинствами и превосходными недостатками, был людям, оказывается, как до задницы дверца! Плевать им было и на него, и на его существование! И сегодня плевать, и вчера! Им зачем-то другой, видите ли, оказался нужен — чтоб похоронен был непременно под казенный оркестр, на народные деньги, чтоб бодро штурвовал на фоне палым, чтоб обожал в минуту отдыха валенки надеть чертовецкой пимокатной фабрики, поставив предварительно на патефон пластинку «Сегодня мы не на параде»... (С этаким-то Васей, признаться, Пепеляев поостерегся бы не только в разведку идти, но и в пункт приема стеклопосуды.)

Однако, несмотря на все пепеляевское жалостное презрение, тот, похороненный, всю торжествовал сегодня, жил в почете и уважении, а Вася — самый что ни на есть неподдельный Вася, с уже прилепившейся к нему кличкой «Покойник» — вынужден был мыкаться среди людей, как пьяненькая сиротинушка, неизвестного и даже подозрительного происхождения, — черт-те кто, а не человек, — не имеющий права не только жить Василием Степановичем Пепеляевым, но и, если бы приспела нужда, умереть не мог бы под этими дорогими сердцу ФИО, поскольку и на кладбище, и в жизни место его капитально занял какой-то неведомый нахал-самозванец. Воплощение, прости господи!

В ложе бенуара повеяло тройным одеколоном. Не оборачиваясь, Пепеляев прошипел:

— Уйди, Серомышкин, убью!

И кто знает, мог бы убить, не исчезни тот сразу же, потому что очень уж великолепно-обидная мысль зашипела, забрызгала, как бенгальский огонь искрами, в его голове.

Он вдруг подумал: «А люди-то, может, и правы, ежели им высочайшим образом наплевать, жив ли я, помер ли?»

Кто он им? Никто. Пустое пространство, занятое телом. До четвертого десятка, считай, дожил, а если посмотреть, как дожил, то и сказать нечего. Придурялся всю жизнь да бормотуху глушил. Ни зла никому не натворил, ни добра особого.

Случись взаправду помереть, чем люди вспомянули бы?.. Тот хоть сгорел, хоть ужасными обстоятельствами своей гибели, а поразил до самого нутра людское воображение. Большущую радость доставил людям тем, что он вот сгоревший дотла, а они — ни в коем разе, даже не закоптевшись...

Они, люди то есть, каждый по отдельности ничем Пепеляева не лучше, если хуже не сказать, но когда они сплюсованы в кучу, тут уж какой-то другой дерьмантин начинается, удивлялся Василий. Тут они — м и р, общественность, по-научному выражаясь, перед которыми почему-то, будь любезен, держи ответы на вопросы. А ответов-то и нет...

Очень пригож взгляду Пепеляева был вот этот Пепеляев, культурно возлежащий в филармонии в очень укладистых креслах бенуарной ложи и вновь, как в былые времена, размышляющий о высоком!

В этом свободном парении духа он был настолько пронзителен мыслию, что, как мы видели, даже покусился на самокритику себя за плоховатое якобы исполнение им своего человеческого предназначения.

Больше того! Он в один из моментов до того допарился, что вдруг завоскличал, как девушка, с непомерно восторженной принципиальностью: «И правильно! И правильно, что паспорт выдавать решили погудить! Это еще заслужить надо. Шутка ли? Паспорт на имя Василия Степановича Пепеляева! Исключительно мудро поступили товарищи паспортисты! Ура товарищам паспортистам!» — нарочь забыв, увлекаящаяся натура, как еще позавчера чуть ли не до самого дна вычерпал всю свою сокровищницу матерных слов и неизящных выражений, расписывая паспортистов, отказавших ему в виде на существование.

...Первой на допрос вызвали тогда маманю его.

Она, бедная, от непривычки к казенным учреждениям и так уже вся трепетала, как свечечка на сквозняке, а когда увидела мундирного начальника (который, хоть и был похож на своего симпатичного двоюродника Спиридона Савельича, но жирен безобразно), то и вовсе сомлела. Ножки ее в пустых складках старушечьих чулок заметно заподгибались, она что-то, предсмертное видно, пришептывать стала. И, если бы табуретку не подставили, тут же и померла бы, как пить дать! Тут не то что любой протокол — царский манифест об отмене крепостного права подпишешь...

На все вопросы, сын ли ейный сидит напротив, она взглядывала на начальство жалобно, снизу вверх, с боязнью не иначе как побоев, и ответствовала внятно, но одно и то ж:

— Так уж как вам благовиднее, мил человек. Он-то, что ж... пришел, живет, пусть. Вы уж не трогайте его, а? — и все разглаживала негнушимися своими пальцами какую-то складочку на коленях.

Потом соседей вызывали. Здесь-то уж вредительством разило, как в колбасном цехе: самых идиотных подобрали.

Входили одинаковые, как лапти. Шапки в руках теребили. Прямо как в кино про времена царского прижима.

Взгляд у всех был одинаковый — косвенный, будто курей воровали. И бормотали они одно и то же, невнятно и уклончиво: «Да, вроде Васька. А там кто его знает?.. Да нет, Васька это, как вылитый. То есть сказать, очень вообще-то похожий. Тот, правда, будто бы повыше был...»

Пока их в протокол записывали, они переминались рядом с пепеляевским стулом, впрямую глядеть остерегались.

Василий назло не давал им покоя.

— Чего ж ты, Игнат? Иль взаправду не признаешь?

Тот мучительно потел, зря в сторону. Потом все же не выдержал:

— А-а,-иди ты! Может, ты — шпион какой заброшенный...

Другой на ехидный вопрос Пепеляева: «Да ты что, сдурел? Не видишь, что это я?» — ответил и вовсе неведомо:

— Да вижу! Только толку-то.

Особенно вывел Пепеляева из себя один, самый среди них дурной дурак, даром что учитель в младших классах.

— ...Но, вообще-то говорая, и двойники бывают! — начал вещать он

и даже заходил, как перед первоклашками.— Такие случаи в истории имеются. Взять, к примеру, Гитлера...

Тут Пепеляев окончательно не выдержал:

— Ко-ого? Я тебе «возьму»! Я тебя щас за одну ногу возьму, а на другую наступлю да и дерну! Чистописатель, трах-тарарах-тах!

После оскорбительного-то слова «чистописатель» Василия и вывели на крылечко. Велели, ежели он такой нервный, здесь дожидаться. Здесь, в течение получаса поливая окрестности высокохудожественным матом, он и дождался высокоумного решения, которым сейчас восхищался: паспорт выдавать решено погодить, до выяснения.

...В зале деликатно захлопали ладошками, и Вася отвлекся. Кто-то раскланивался, ручку к животу прижимая. Как официант. Разве что «премного благодарен» не говорил.

А за кулисой, за занавесочкой уже стоял с разнесчастным лицом наготове Ленька Христарadis в обнимку со своей бандурой. Во житуха, пожалел кореша Пепеляев, хочешь не хочешь, нравится не нравится, а будь любезен, выходи пилить... Может, мне к его балалайке колесики приделать? Чтобы ему удобнее таскать ее было?

Наконец и дружка объявили. Громыхая виолончелью, Христарadis вышел. Ох, не хочется бедолаге вкалывать, с пониманием подумал Пепеляев и, чтобы поддержать, заорал:

— Ленька! Бис! — чуть не вывалился из своего бенуара.

— Шарль Заразян. Прелюдия си-бемоль мажор,— строгим жестяным голосом объявила какая-то бабка, должно начальница. Потом помолчала и с отворачиванием добавила: — Произведение посвящается краснопартизанцу Василию Степановичу Пепеляеву.

Все хорошо, но зря она сказала «посвящается». Они сразу догадались, кто их посетил. Одна девица подкралась среди рядов и, как покойнику, положила букет. Пришлось понюхать, встать-поклониться.

Тем временем Христарadis наладил свою музыку и — вдарил по струнам!

Василий с ходу догадался, что лучше на него не глядеть. Чересчур уж сердечное сострадание возникало при виде того, как уродуется на работе человек, как выматывает из него все до единой жилы это пресловутое искусство, как мучается он, кряхтит и щерится в непосильном борении со струнами.

Зато в самомучительстве этом музыку он добывал качественную! Закрывай глаза — и, будьте любезны, добро пожаловать в красавец-райцентр Бугаевск! Слева — помойка, справа — магазин. Прямо по курсу — «Свежий воздух» для чахоточных, сзади — опять же — снова магазин... Ступай куда хочешь, Василий Степанович, хоть направо, хоть налево! Обмакни многомозольные стопы свои в пуховую пыль бугаевских улиц! Вновь стань тем безмятежно-ленивым Васей, полусонным счастливецом, который и ведать не ведает, что буйно отпылял уже «Красный партизан Теодор Лифшиц», а кропотливые люди уже копают для него могилку, норovia схоронить от людей навеки!..

Вот что слышал Василий Пепеляев в вопиющих звуках виолончели на этот раз.

Но больше всего там было про Алину. И чего там, господи боже, только не было про Алину! Василий даже начал не на шутку сердчать: чересчур уж нежные подробности знали про нее этот Заразян-зараза и Христарадис, тоже, друг называется!..

А когда на мохнатых басах представили они ему Алину спросонья, еще не напустившую на себя вид, — мягкую, квелую, сдобную, с руками, лениво норовящими снова обнять. — окончательно не выдержал Пепеляев! До того ему — хоть ногами топай! — захотелось в Бугаевск, к Алине, что он тут же твердо решил: сейчас — в буфет, еще пивка, сколько залезет, выпить, а к вечеру — к Люське! Обещал ведь девушке, а. девушек обманывать — нехороший грех.

И Василий Степанович, не дождавшись даже обещанного старухой си-бемоль мажора, покинул ложу бенуара.

Засады на него устраивали.

Возле самого родного забора вдруг выскочила с дитем под мышкой баба не баба, старуха не старуха, сразу под платками и не разглядишь. Встала поперек дороги на колени, сверток с дитем Пепеляеву протянула. Бери, дескать.

— На кой он мне? — удивился Пепеляев.

Баба незнакомая, и дите, значит, к нему касательства не имеет. А просто так взять — стипендия не позволяет.

— Голубчик, отец родной! — без всякий подготовки ударила в плач женщина. — Не откажи! Век буду за тебя молиться! В Бабашкин ездила, в Кемпендяевом была, всех профессоров, всех фершалов объездила, на тебя одна надежда! Один ты, говорят, и можешь помочь! Не откажи, отец родной! Измучалась я вся!

— Ты, баба, погоди! Расскажи толком.

— Заходится он у меня, родимый! Как титьку пожует, так весь и заходится. И пупок краснеет, и ручками вот этак делает... — Она показала.

— Пупок краснеет — это хорошо, — с ученым видом сказал Василий. — Значит, гемоглобин есть. А я-то при чем?

— Ну как же! — вдруг уважительно, как на икону, посмотрела на него баба. — Эвон где был-то... Не каждому так. На тебе благодать божья. На добрые дела вернул тебя господь.

Пепеляев закряхтел многосмысленно и почесал в арестантской голове.

— Мда. Кал на яйцеглист сдавала?

— Все сдавала! — обрадовалась баба. — Вот они все со мной, бумажки те! — и полезла за пазуху.

— Ладно, — отмахнулся от бумажек Пепеляев. — Верю. Э-эх, бабы! До чего же в вас атеизм непрочный! Значит, так. Титьку суй реже, больше на кефир нажимай: в нем градус есть. Давай сюда своего раба божьего. Как звать?

— Кирюшей, голубчик.

— Грешила?

— Ну как же, батюшка! Жизнь ить! Оберегаешься-оберегаешься...

— Больше не греши. Отойди к забору и спиной повернись. «Отче наш» знаешь? Читай наизусть.

Баба отошла к забору и встала спиной. Пепеляев отвернул одеяло. Игрушечный человечек с важным выражением распаренного скопческого лица посмотрел на него ничуть не удивленным сереньким взглядом.

— Ты что же это, симулянт? — сказал ему Пепеляев. — Ты это, брат, кончай. Припадочных тут и без тебя хватает. Тут и без тебя жизнь припадочная. Понял?

Тот, возможно, понял — вздохнул.

— Ну вот... А сейчас я тебя враз вылечу всеми новейшими достижениями науки и техники.

Тут Василий маленько задумался, а затем таинственным шепотом продекламировал человеку:

Тебя бог наказал,
К ж... палку привязал.
Ну, а я поворожу
И эту палку отвяжу...

Понял?

Тот наверняка понял — прикрыл глаза, заснул.

— На, баба, бери своего лыцаря. И помни про кефир.

Та вдруг засуетилась, одной рукой принимая сверток с младенцем, другой — суя Пепеляеву узелок:

— Вот уж спасибо! Вот уж облагодетельствовал, голубчик милый! Не побрезгуй уж, ради Христа! От чистого сердца иты!

— Не побрезгую. Ладно. Иди с богом.

В узелочке оказалась бутылка портвейна «Кавказ», пяток вареных яичек и мармеладу две штучки.

«Ну что ж!.. — взбодрился при виде даров Василий. — В минуту жизни трудную с голоду не сдохну. Опять же можно еще и с лекциями выступать: «Преисподняя. Правда и вымысел. Свидетельства очевидца».

Удивительное дело: после сеанса чудесного исцеления Кирюхи Пепеляев и сам себя почувствовал несколько херувимски — как из парной баньки вышедши. Легкость, благодать и умиление воцарились в его душе. Будто бы и не придурился он только что, а с полным умением и правом благое дело совершил — одно из тех, на которые, как совершенно справедливо заметила баба, вернул его господь на эту грешную обетованную землю.

В доме чуть слышно подванивало тройным одеколоном. Пепеляев поморщился.

— За каким чертом этот приходил? — спросил он у мамыши и обрисовал Серомышкина одним неопределенным, но почему-то очень похожим шевелением пальцев.

Маманя была нынче странная. Затаенно-торжественная, понапрасну старалась она спрятать ликующую улыбку. Очень напоминала выражением лица девочку-дурочку, которая пальчиком чертит по клеенке квадратики — перед тем как обрадовать маменьку новостью о том, что она — на четвертом месяце.

— Зачем, спрашиваю, Подмышкин приходил? — повторил Пепеляев.

— А про тебя спрашивал. Чего, дескать, делать собираешься. Ну и еще... — тут она сделала совсем смущенный вид, — ну и еще поздравила.

— С чем это «поздравил»? — невнимательно поинтересовался сын, вдруг задумавшийся о шпионском этом рыболове-спортсмене.

— А он-то аккурат здесь сидел, когда почтальонша пришла, Любки Куриловой дочь... — Тут она все притворство свое с эффектом отбросила, в открытую посмотрела на сына дивно голубеющими от радости глазами, аж расплылась вдруг всеми морщинками от счастья, чудесно, видать, ее посетившего, и легонечко выдохнула, выложила козырь свой бесценный: — П Е Н З И Ю принесла!

Пепеляев смотрел на нее, не узнавая.

«Ох ты ж, курица моя вареная, старая! — подумал он и вдруг позорно ослабел: на миг прикрылся ладонями, так уж нестерпимо заломило лицо. — Это же какая тебе радость, милая, что аж светишься вся, как лампадка ясная! И морщин, глянь, вроде как поубавилось... И какая, смотри, девка-то сквозь тебя глянула! К миру доверчивая, синеглазенькая, ласковая! Вон ты какая, оказывается, была, мать моя старуха! Прямо Джильда Лолобриджильда. Ох, небось и мордобою было из-за тебя, красавица! Ох, и повыдернуто кольев из плетней!.. Стрекотала ведь молодухой когда-то по тепленькой земле — махонькая, грудастенькая, ясными глазками помаргивала... И такая небось неопикуемая жизнь впереди тебе бластилась! И мужик-красавец, в рот не берет, и детки — умненькие, ласковые, и дом — полная чашка. А потом стала пенять тебя эта жизнь золотушная — этак скушно, без злости, нудно пенять — превращать, за какие такие грехи, в старуху сушеную! Бóшку к земле все пригнетала и пригнетала, спину работой в три погибели ломала, руки ревматизмом крутила. Это ж прямо вредительский какой-то интерес у жизни, — удивился Василий, — чтоб не девки веселенькие по земле перепархивали, а бабки-старухи больными ногами шаркали!.. Сколь помню тебя — все старуха уже была! Все под ноги зрила, будто потерянное искала. И это ж, оказывается, вон сколько мало радости видала ты в жизни своей, мыша моя кроткая, если в этакое-то, прямо слово, счастье повергла тебя эта «пензия» копейчатая! К тому же ведь, глупая ты старуха, по о ш и б к е выписанная...»

А ведь точно! Как мышка тихонькая, шебаршилась всю жизнь в сереньких своих потемках, тихонько, недосыта, и вдруг — вот те раз! почтальон пришел! — будто прогрызлась нечаянно из тесноты мышинной в огромную волю, в закрома пшеничные, светлые...» И еще, что-то такое же, нежно ноющее, нестерпимо жалостливое, невнятно слушал в себе Василий, глядя на бойко замолодевшую старушонку свою.

— ...И этого числа каждого месяца, — докладывала ему тем временем мать, — она, сказывала, будет сама приносить! А мне (всего и делов-то!) фамилии свое проставить. Иль, скажи, плохо?

«Чужие люди, — подумал он вдруг, — чужие люди радость тебе, старой, подстроили. А сын? А сын твой, паскудник позорный, он-то тебя хоть раз в жизни порадовал?! Куска сладкого к чаю принес? Да и обнял ли хоть раз? Нет ему, гаду ползучему, никакого прощес-

ния ни сегодня, ни завтра, ни в какой будущей пятилетке! Из-за него, антипода подзаборного, вся твоя жизнь в этот убогий перекосяк пошла! Только когда подох он, сгорел к чертовой матери, — только тогда ведь хоть малость разогнулась, старая, засветились огонечки хоть какие-то тепленькие! И на могилке повозиться, и в церковь сходить по делу, и со старухами повсхлипывать. А теперь, вишь, и «пенсия»... И поэтому вот что... — сказал себе Вася, и ему вдруг стало холодно и весело, — и поэтому постановляю. Считать Пепеляева действительно безвременно сдохшим. И ныне, и во веки веков. Амины! Точка! Принято единогласно. На общем собрании представителей трудящихся».

— За что пенсию-то дали? — спросил он невесело, хотя и ежу понятно было за что.

— Так за кормильца же! За Васятку, за сынка моего... — та даже удивилась.

Тут Пепеляев странным голосом спросил, полусуровым-полурастерянным:

— Ну а я, к примеру?.. — и тут же облаял себя за этот интерес.

Так уж жалко засуетилась вдруг маманя, так уж позорно забегали глазки ее, так уж беспомощно обмякла она вдруг вся, за миг до этого такая веселенькая...

— Ну а ты, что ж... — потухшим голосом сказала мать, опять старая. — Живи, сколько живется... — А потом, подумав о чем-то, маленько снова воспряла: — Живи, сколь живется. Да хоть всю жизнь! У меня теперь и угостить тебя есть чем. Вот сейчас пирогов поставлю! Ты-то знаешь аль нет: очень Васятка мой пироги обожал. С луком-яйцами. Небось тоже любишь, а?

— Я тебе не Васятка, — сказал Василий и поднялся уходить. — От лука с яйцами у меня радикулит. Иль забыла? — Уже в дверях добавил: — И еще вот что. Ты у меня, старая, в бороде по ночам не копайся. Не люблю я этого. Укушу спросонья.

На крыльце он столкнулся с бабой. В потемках не сразу и признал, что это — ненаглядная Лидка его, стерва рыжая, бывшая в употреблении жена.

— Здорово, любимая! — сказал он ехидно.

Та даже не дернулась.

— Вы не подскажите, — спросила она вежливо, как в кино. — Агриппина Тихоновна дома будут?

— Это кака така Агриппина Тихоновна? Заблудилась, что ль?

— Пепеляева Агриппина Тихоновна. Пустите, не то кричать начну.

Пепеляев поспешно дал дорогу. С одной стороны — от растерянности: «Действительно, вот урод уродился! Как мать зовут, напрочь забыл...» С другой стороны — из опаски. Лидка-стерва, если надо, не только заорать могла, но и рожу в кровь себе расцарапать, чтобы в милиции яркое вещественное доказательство предъявить.

Под дверью послушал.

Все ясно: «Как вдова вашего погибшего сына... давайте по-хороше-

му, по-человеческому... я не претендую... все ж таки по закону полагается и отказываться я не собираюсь, не надейтесь...»

«Во зараза!» — удивился Пепеляев и ворвался.

— Ты ее, Агриппина Тихоновна, не слушай! — объяснил он матери и осторожно, чтобы не повредить каких-нибудь членов, сгреб Лидку в охапку. — Гражданочка домом ошиблась!

— Какое вы имеете право! Вы — человек посторонний! — визжала стерва, норовя добраться когтями до задумчивых пепеляевских глаз. — Я в милицию пойду!

— Хоть в филармонию! — отвечивал Василий, вынося эту буйно шевелящуюся охапку дерьма на улицу.

Кое-как утвердил он ее на земле, прицелился в мягкое (чтоб без преступных следов) и — с превеликим удовольствием по этой мягкости засандалил!

С воплем улетела та во тьму.

Пепеляев посидел еще с пяток минут на ступеньках, отдыхая, затем грустно признал:

— Не-е... Пора с этим делом завязывать. Чересчур уж нервная стала моя система.

Но в общем-то, надо ведь признаться, все в Васиной жизни было равномерно-справедливо. Сначала, к примеру, кнутом по заднице. Зато затем — пряником по зубам.

Сначала устроили ему незаслуженно райскую жизнь в Бугаевске. Ну а потом, справедливости ради — будь любезен, попребывай заслуженным покойником в Чертовце! Все обязано быть как на детских качелях, такой закон: вверх — вниз, катаклизма — клизма, из огня — в прорубь, из плюса — в минус, из грязи — в князи.

За живого человека Васю не признают, это, конечно, минус, что и говорить. Зато стипендию дали. Как какому-нибудь члену корреспондентов. Плюс? Плюс.

Ему, к примеру сказать, невесело, зато мамане — что? Правильно, праздник. Пенсия поселкового значения.

Или вот этот вечер взят. Сначала Лидка-стерва огорчать приперлась. Решила, гиена огненная, у матери дома да огорода кусок оттяпать. Душе противно. Зато потом — Люся, милый человек, не дала в женском поле разочароваться, с большим тактом и умением опять равновесие навела в жизни...

— В общем,— вслух подвел черту своим размышлениям Пепеляев,— в общем, диалектизм жизни. Так бы я это назвал.

— Ты чего? — откликнулась Люська. — Не спишь? Или чаю хочешь?

— Ничего я не хочу. Даже спать. До большого равновесия довели меня. Вот спроси меня сейчас, хочу ли я увидеть небо в алмазах. Что я тебе отвечу?

— Знамо, «не хочу».

— Правильно! А почему? А потому, что ошибался великий товарищ писатель Чехов! Алмаз — это во-от такусенький дрянь-камешек, тьфу, а не камешек! Вроде серенького уголочка. А он, паразит, хотел нам все

небо такой гадостью оформить! А почему? А по кочану! Вредительство потому что и широко разветвленный заговор.

— Ишь,— усмехнулась Люська,— писатели ему поперек встали. Пусти-ка, я все же таки чай поставлю. Может, поболеешь?

— А что писатели? — Пепеляев устроился поудобнее на матраце.— Хе! Кинь мне штаны, и я тебе сейчас такого писателя прочту! Плакать будешь и рыдать.

Он извлек из штанов порядком замурзанные листочки, разгладил их об коленку, принялся с большим выражением читать:

«Трасса мужества. Рассказ-быль из серии походов легендарной баржи „Теодор Лифшиц“. Продолжение в следующем номере. Когда зашумел камыш и деревья загнулись под порывами свирепого мордодуя, стало ясно, что погода никуда не летная. Но, несмотря на эту трудность, связанную с погодными условиями, ровно часов около пяти нуль-нуль по Фаренгейту мы, то есть белокрылый, свежепокрашенный в краску цвета беж красавец лайнер „Красный партизан Теодор Лифшиц“, решили отчалить. Кто бы мог подумать, что это есть наш предпоследний рейс! Один только Почечуй, собака по этой кличке, отказался подняться на борт, ссылаясь на участие в собачьей свадьбе. У него было, конечно, предчувствие. Рейсом мира и дружбы мы бодро шли в Кемпендяев с грузом сельдь дальневосточная иваси, мыло хозяйственное пятипроцентное и консерва „Мясо китовое с горохом“. Везя такой жгучий дефицит, мы должны были, используя в основном темное время суток (вечер — ночь), втихаря пробраться в порт назначения и сдать там груз в целости по возможности. Большого отваги и мужества требовалось от этого задания. На случай наглого абортжа со стороны близлежащих жителей мы заранее приготовили дрыны и багры. „Стоять до последнего!“ — отечески напутствовал нас капитан Елизарыч, отправляясь в каюту на заслуженный отдых. Непредвидимые обстоятельства все ж таки заставили нас очень вскоре бросить якорь на траверзе села Нюксеницы, где проживала известная среди плавсостава тетя Даша. Подпольная кличка „Бормотуха“. Валерка-моторист сказал, что в бытность его в бане города Чертовца довелось ему слышать, что Бормотухе прислали из города Елабуга Татарской Автономной Социалистической Советской Республики три кило дрожжей. По старому суровому морскому обычаю кинули на пальцах, кому плыть к тете Даше. Жребий пал на любимца экипажа Васю Пепеляева, то есть меня...»

— Ну как? — весьма довольный своим сочинением, спросил Пепеляев.— Эта штука, мне кажется, посильнее «Дамы с каштанкой»?

— А дальше чего было?

— А дальше у тети Даши я упал слегка поспать. Ребята подождали маленько и часа через два, конечно, тоже подгрести. Так мы все вместе и заночевали. Она, Бормотуха-то, для сытности в самогонку суперфосфат, оказывается, добавляет! Вычитала, говорит, в журнале «Техника молодежи». А он, ядохимикат этот, по ногам шибко уж шибает... Ну, на следующий день прямо с борта торговлю устроили (все равно до Кемпендяя бы не дошлепали) и в результате с большим опережением графика вернулись домой. Заодно родили мировой рекорд скоро-

сти — о нем теперь в музее есть: «Чертовец — Кемпендй — Чертовец. Менее, чем за сутки!»

— Не напечатают,— сказала Люська.— Из вас героев-то, что ль, зазря понаделали?

— А и пусть не напечатают,— зевнул Пепеляев.— У меня от славы уже изжога.

— То-то и видно, что изжога!— неведомо отчего рассердилась Люська.— Давно бы уж бороду сбрил, придураться перестал — признали бы, даже если и не хотят, что ты и есть Васька Пепеляев! И жил бы по-человечески!

— А с чего это ты, любезная Люси, решила, что я и есть — как ты сказала?— Васка Пэпэлаэфф? Я не есть Пепеляев. Я есть грустный отшельник одинокий монах, который бредет по миру под дырявым зонтиком с початой бутылкой кефира в авоське. И никакого такого Ваську я знать не знаю и ведать не ведаю. Меня и звать-то, может быть, совсем по-другому! Джузеппе Спиртуозо, бенедиктин-монах.

— Вот так монах!— застенчиво рассмеялась Люська.

— Ну... возможно, согрешивший монах. А насчет бороды... У нас, дорогой товарищ Люся, слава богу, не петровские времена! Ни в одной энциклопедии не написано, чтоб человек, чтоб его человеком признали, должен бороду сбривать. Но, вообще-то говоря, я уже и так, без энциклопедии, постановил: сбрить! Во-первых, морда зудит невозможно. А во-вторых, боюсь, как бы гражданская война из-за меня не началась. Одни — за. Другие — не за. Одни орут: «Васька!» Другие: «Не Васька!» Ну ее к черту! Сбрею! Пусть каждый житель доброй воли скажет мне как один: «Руки прочь, кровавая гидра, от светлой памяти нашего Васи Пепеляева! Ударно ответим по морде каждому самозванцу, припершемуся в наш славный Чертовец!»

— Послушали бы люди, какие болты болтаешь, враз перестали бы сомневаться. У кого еще така молотилка во рту?

— Люськ! — вдруг оживился Василий.— Только честно! А ты-то сомневалась?

Та будто бы даже обиделась.

— Что я, лучше других, что ли? То смотришь, будто бы Васька... А то вроде бы и похож, да не он! Да вот даже и нынче-то, — она кивнула на постель, — ладно уж, скажу... Поплыла я маленько, да вдруг и спохватилась, как дура: «Кто же это?! Васька-то сгоревший!»

— Ну и что же, страшно стало?

— Все-то тебе расскажи... Пей вот чай лучше. Не страшно, а даже наоборот.

Она пересела к нему, по-матерински стала поскребывать ему в голове.

— Я те вот что скажу... Мы, то есть которые попроще, может, и сомневаемся. Но вот начальство — ни вот столечки! Я-то возле сижу, слышу-вижу. Х и м и ч а т они чтой-то! Когда ты заявился, у них такая беготня началась! Потом Одиссей в Бугаевск ездил про тебя узнавать. Три раза про тебя заседали! Очень ты им почему-то поперек горла встал.

— А то я не знаю,— грустно сказал Пепеляев.— Все ж таки не по-

завчера родился... Это только они думают, что вокруг них дураки: молчат — значит, ничего не понимают. Только не с этого бока они меня уели! Сразили они меня, товарищ Люся, пирожками с луком-яйцами! Против такого варварского оружия даже мне было не устоять.

— Непонятное что-то говоришь... — вздохнула Люська. — Только я тебя предупредила. Делай как знаешь.

— Э-эх, мать честная! — вдруг весело выдохнул Вася. — Чем дольше живу, тем непонятнее! Вот на вас, баб, не перестаю, например, удивляться. Вроде все одинаковые, так? И для одного рожалого дела приспособленные, и кудряшки на голове одинаковые, и титьки на одном месте, и между ног одинаково ничего нет, а до чего же вы, едрены-матрены, разные! Просто-таки диаметрально противоположные! Сегодня вечером Лидка-стерва к матери приходила. Знает распрекрасно, что я не помер, а зачем пришла? — дом и огород делить! Как вдова безвременно испепеленного Пепеляева... И — одновременно же! — ты, вроде как посторонний человек, страшные государственные тайны мне выдаешь...

— Э-э, парень... — жалеющим голосом сказала вдруг Люська, услышав в словах Василия что-то свое. — Крепко, видать, тебя жизнь обложила, — и нехарактерно поцеловала его — в голову.

— Ниче! — отвечивал Пепеляев, бодро залезая в штаны. — Ниче, девушка, не будет, окромя всемирного тип-топа! Прорвемся! Десять гранат не пустяк!

— Ты это... Приходи когда ни то... Деваться некуда будет, а ты — ко мне.

— Большое гран-мерси, Люси! — заорал вдруг Вася по-французски, подтянул штаны, сделал ручкой и — канул в ночь!

Оставил девушку одну-одинешеньку в разоренной постели. Всегда он вот так поступал, искуситель коварный...

На сей раз даже возле сортира разило тройным одеколоном.

— Ты бы дерьмом, что ли, мазался... Для маскировки-то, — сказал Пепеляев в темноту.

Темнота на грубость не ответила, а произнесла шепотом:

— Я тебя чего жду, Пепеляев? Зря н а д у м а л.

— Чего «зря»? И кто ты такой, чтобы мне указывать?

— Да Серомышкин я, знаешь. Из внутренних органов. Или опять документ будешь требовать? — Во мраке хихикнули.

— Темно, а то бы потребовал, — хмуро сказал Пепеляев. — И чего тебе, Мормышкин, надо?

— А поговорить мне с тобой велено, Пепеляев. Видишь, как называю? Не то что Метастазисы — Пепеляев!

— Говори, если дело есть, а не то пойду я.

— Вот именно, что д е л о есть. И по этому делу, Пепеляев, важным свидетелем ты будешь у нас проходить, поверь.

— Ишь ты. Без меня меня женили.

— Скажи, Пепеляев, за что они тебе стипендию определили в сорок пять целковых? Ты не задумывался?

— Да полюбился я им, Покрышкин! Не поверишь, прямо как сын

родной! Только увидят: «Сыночек! Сыночек!» — и все норвят на ручки взять!

— Плотют они тебе,— поучала меж тем темнота,— чтобы ты не мельтешил. Не мешал чтобы своим фактом им делишки преступные обделывать, понял?

— Да уж где мне?.. Глуп я, Кочерыжкин, так уж глуп, что иной раз даже сам на себя удивляюсь...

— Про почин, конечно, слышал? «„Лифшиц“ и ныне в строю!» Так вот, Пепеляев, он у них и на самом деле в строю! По всей отчетности плавает, как и допрежь того плавал. И грузы возит, и на ремонт встает, и план выполняет на 102 процента, и премии получает, и фонд заработной платы... Плохо ли, скажи, цельная баржа лично на них работает?

— Тьфу! — сказал Пепеляев и уже не смог остановиться.— Тьфу! Тьфу на вас, сволочи! Тьфу!

— Чего это с тобой? — обеспокоились из темноты.

— Пустяки. Бурбонная чума.

— Да? Так вот, начальство велело передать, что на тебя в этой игре возлагают большие надежды. Инструкции будешь получать через меня.

— Револьверт дадите? — оживился Пепеляев.— А то покушения боюсь. И еще интересуюсь насчет оклада жалования... в противном случае — не играю! Ишь, начальнички, чего придумали! Они бешеные деньги будут получать за свои игры, а бедный грустный Спиртуозо подставляй лоб под греческую пулю?! Доколе?

— Чего «доколе»?

— Доколе вы с ними играть будете?

— Пока материал накопим, пока что...

— Пока что, меня уже здесь не будет,— сказал про себя Пепеляев.

Однако чуткое тренированное ухо Серомышкина все услышало.

— Я и говорю: зря надумал. Далеко без документа не уйдешь, Пепеляев! Живо привлечешься за бродяжничество! Между прочим, я не хотел говорить, начальство предупредило: в случае чего, по делу пойдешь как сообщник. Деньги от Спиридона получаешь? Получаешь! То-то.

Пепеляев, ручки на груди сложив, во тьму обратился молитвенно:

— Простите великодушно! Слабость минутная! Я больше не буду, вот вам истинный крест! — и вдруг ужасно нагло переменял тон: — Но вообще-то, Худышкин, пора тебя, как бесполезный аппендицит, из внутренних органов уволить. Ты меня в темноте за кого-то другого принял, Никудышкин! Не Пепеляев я. И уже давно. Начальству кланяйся. Метастазиса в ж... поцелуй, не забудь. Передай ему, пусть не волнуется очень уж... Не пропаду я без его стипендии, не студент... До слез, ей-богу, до слез жаль мне с тобой расставаться, Отрыжкин, но ничего не поделаешь! Обещал, понимаешь, старушке тут одной оградку на могилке покрасить, святое дело! А она мне за это — у ней теперь, не шути, брат, пенсия! — бутылец портвейного вина купит, плохо ли?.. Так что — до новых встреч в эфире!

Спать ложиться было поздно, просыпаться — рано. Василий сел на ступеньку крыльца и стал сидеть просто так.

Вопреки ожиданиям, никакой торжественности не было в том, что он вот сидит на родном крыльце и прощается на веки вечные с окружающей его средой.

Темень вокруг была, хоть и серенькая, но плотная. В небесах тоже ни торжественно не было, ни чудно. Какая-то скучная переменная облачность.

Даже собаки не брехали — до того все спали.

Нет, конечно, какие-то чувства и ощущения были, не без этого. Жрать, например, не ко времени захотелось. И вообще грустно было. Не ожидал он, что такое всемирно-историческое событие в его жизни будет проходить столь скучно и скромно.

«Чертовец, может, поджечь?» — подумал он было, но тут же передумал. Не в его это привычках было. Да и за спичками пришлось бы в дом идти. Да и чем уж таким особенным провинился перед ним Чертовец?..

Возник из темноты кот Мурло, по-ночному надменный и таинственный. Сделал вид, что Пепеляев не узнал. Посидел с полминуты рядом, уклоняясь от поглаживания. Потом, так же неспешно и неслышно, исчез.

«Ну что? Пора собираться?» — подумал Пепеляев и, несколько подумав, ухмыльнулся. Кроме расчески, изъятой им из музея, брать-то вроде было и нечего.

...Добравшись до своей персональной могилки, он поставил на скамейку банку с краской и огляделся. Красивый отсюда открывался вид: ни хрена не было видно. И город, и река, и лес за рекой — все словно ушло под темно-серую туманную воду. Один только Пепеляев торчал над.

Вася нехотя вынул из-за пазухи початую бутылку — подарок Кирюхиной мамы — и кинул вниз. Она канула в тумане, даже не булькнув.

«Кавказ» подо мною.

Один в вышине... —

сказал он. Но дальше сочинять не стал, настроения не было. Взглянул за кисть.

Даже вблизи не было понятно, что за колером кроет он оградку — может, голубеньким, а может, красно-пожарным. Все было как сквозь серое пенсне. Но когда он уже заканчивал, стало видно: из-под пепла, которым будто бы все вокруг было присыпано, тоненько, как писк, засквозило голубеньким...

Красивая должна была получиться оградка, ничего не скажешь. Одно удовольствие, наверное, полежать за такой решеточкой. Но Пепеляев подавил в себе эту нездоровую зависть.

«Ладно. Отдыхай, — сказал он портрету, привинченному к могильной тумбе. — Хотя, конечно, не шибко-то и заслужил. Если разобраться».

Тоже ведь: гораздо ниже среднего ты человек! стыдно сказать, сколько людей бьются, чтобы что-то путное о твоей прошлой жизни сочинить, и все — без толку! Пустое место, видать, был. Пустое место и под тумбочкой зарыто. Все правильно.

Твое счастье, паразит, что от пожара не уберегся. А то бы и музыки на тебя пожалели, и хрен-два веночков от людей дождался, пусть и на казенный счет! Да и я бы — честно говорю! — такую эмаль импортную для тебя бы не пожертвовал. Нет, ни за что бы не пожертвовал...

Ну, уж коли так все случилось, лежи тут, счастливец, разбирайся, кто в чем не прав, а кто виноват. А я — пойду! Пора мне пожить маленько...»

Близилось солнце, и туманная вода, покрывавшая все окрест, быстро убывала. Стал виден лес, еще глухо, сумрачно зеленеющий, нелюдимый, недовольный.

Глянула сквозь белесую муть черным свинцом отливающая река. Нехотя зачернели городские домишки у подножия кладбищенского холма...

Отлив продолжался, и покойники-белые, мертвые и злые, вдруг обнажились на свалке ЖБИ искалеченные бетонные плиты, сваленные наплевательской грудой.

Осторожненько закричал на Рыбинско-Бологоевской железной дороге маневровый паровозик, требуя работу. Выглянуло солнце.

Пепеляев повернулся лицом к югу и — с левой ноги, марш! — взял да и пошел.

То ли фарс, то ли трагедия, то ли сатира, то ли комедия... Я никогда не чувствовал себя уверенным в определении жанра. В одном я уверен: если вы будете смеяться, читая эту повесть, вы наверняка вспомните те интонации, с какими мы смеялись в те самые совсем еще недавние годы (последняя точка в «Дне рождения покойника» была поставлена за две недели до смерти Брежнева). Помните, как мы смеялись?.. И позвольте вопрос, чем были для вас те годы: фарсом, трагедией, комедией? Может быть, просто это была наша жизнь?

Надеюсь, что и Васю Пепеляева вы вспомните. Каждый из нас был немножко Пепеляев. Иначе совершеннейшая загадка: как вы умудрились выжить?



Ф. ИСКАНДЕР

О, Марат!

Лучшим идиллическим временем наших взаимоотношений с Маратом я считаю тот ранний период, когда он работал фотографом на прибрежном бульваре напротив театра. Там красовался небольшой стенд с образцами его продукции, а сам он сидел на парапете, ограждающем берег, или похаживал поблизости, издали окидывая орлиным взором или тем, что должно было означать орлиный взор, встречаемых женщин или женщин, остановившихся у стенда, чтобы поглазеть на его работы.

Нередко он кидал орлиный взор вслед удаляющимся женщинам, и я всегда удивлялся их телепатической тупости, потому что не почувствовать его взгляд и не обернуться мне казалось невозможным, настолько этот взгляд был выразительным.

В те времена я ему нравился как хороший слушатель его любовных приключений. Этим приключениям не было ни конца ни края, а моему терпению слушателя не было границ.

Многие к его рассказам относились иронически, я же проявлял только внимание и удивление, и этого было достаточно, чтобы он мне доверял свои многочисленные сердечные тайны.

Впрочем, будем точны, свои сердечные тайны он доверял всем, но не все соглашались способствовать условиям их свободного излияния. Я же этим условиям способствовал, думаю, больше других.

Марат был человеком маленького роста, крепкого сложения, с густыми сросшимися бровями, которыми он владел, как лошадь своим хвостом. То есть он их то грозно сдвигал, то удивленно приподымал обе или саркастически одну из них, что, по-видимому, производило на женщин немалое впечатление в совокупности с остальными чертами лица, среди которых надо отметить, разумеется, сделать это надо достаточно деликатно, довольно крупный с горбинкой нос. Кроме всего, общее выражение романтической энергии, свойственное его лицу, способствовало в моих глазах правдоподобию его рассказов.

Иногда, чаще всего возвращаясь с рыбалки, я проходил мимо его владений, и, если он в это время не был занят клиентами, я останавливался, мы садились на скамейку или на парапет, и он мне рассказывал очередную историю.

Рассказывая, он не спускал глаз с женщин, проходивших по бульвару, одновременно прихватывая и тех, что проходили по прибрежной улице. Иногда, чтобы лучше разглядеть последних, ему приходилось нагибать голову или слегка оттопыриваться в сторону, чтобы найти проем в зарослях олеандра, сквозь которые он смотрел на улицу.

Если, когда я проходил, он был занят клиентами, то, глядя в мою

сторону, он вопросительно приподымал голову, что означало: нет ли у меня времени подождать, пока он отщелкает этих людей?

Иногда, увидев меня и будучи занят клиентами, он иронически отмахивался рукой; дескать, новых впечатлений масса, но сейчас не время и не место о них говорить.

Сами рассказы его сопровождалось схематическим изображением некоторых деталей любовной близости. Этот показ многообразных позций любви меня нередко смущал, тем более что он отводил мне роль манекена партнерши. Я чаще всего отстранялся от этих его попыток, стараясь ввести его рассказ в русло чистой словесности, в которой он и так достигал немалой выразительности.

В его рассказах поражало даже само многообразие мест свиданий: парки, ночные пляжи, окрестные рощи, каюты теплоходов, фотолаборатории, номера турецкой бани, далеко в море в камере машины, глубоко в земле в лабиринте сталактитовых пещер и, наконец, высоко над землей в кабине порталного крана, где у него было несколько головокружительных встреч с крановщицей.

Рассказы об успешных свиданиях всегда кончались одной и той же сакраментальной фразой:

— Ну, что тебе сказать... Она была так довольна, так довольна.

Иногда, подчеркивая, что ему удалось ускользнуть от угроз насильственной женитьбы, он так оканчивал свой рассказ:

— Ну, что тебе сказать... Паспорт остался чистым...

Иногда он ошарашивал меня неожиданным вопросом. Так, однажды он у меня спросил:

— Ты когда-нибудь пил гранатовый сок из груди любимой?

— Что, что?! — опешил я.

— Гранатовый сок из груди любимой, — повторил он и для наглядности, слегка откинувшись, выпятил собственную грудь, словно пытаюсь напомнить мне общепринятую позу поения возлюбленного гранатовым соком.

— Нет, конечно, — отвечал я ему, голосом показывая, что не только не знаком с таким способом удовлетворения жажды, но и сомневаюсь в самой его технологической возможности. Поняв это без слов, он без слов же объяснил мне, как это делается.

— Очень просто, — сказал он и, продолжая топырить грудь, свел возле нее свои ладони, словно закрыл створки плотины.

— Кто не пил гранатовый сок из груди любимой, — назидательно заметил он, — тот не знает, что такое настоящий кейф... Это даже лучше, чем тянуть коньяк из пупка любимой...

— Перестань трепаться, — сказал я ему на это, — много ли туда вместится коньяка?

— Дело не в количестве... пьяница, — перебил он меня, — дело в кейфе...

Иногда он приносил в редакцию «Красных субтропиков», где я работал, свои снимки. Они изображали живописные уголки нашего края, эстрадных певиц или сцены гастрольных спектаклей.

Порой, когда я рассматривал его фотографию живописного уголка нашего края, он показывал на какую-нибудь точку на этом снимке и говорил: «Вот здесь мы сначала с ней сидели... А потом спустились вот

сюда, в рожицу... Ну, что тебе сказать... Она была так довольна, так довольна...»

Снимки, которые он приносил, как правило, сопровождалась более или менее расширенными подписями, которые, как правило, приходилось начисто переписывать. Но я это делал ради его рассказов и наших дружеских отношений. Вернее, как только я начинал поворачивать, он вытаскивал одну из своих бесконечных историй, и я поневоле превращался в слушателя.

Подписи к снимкам, которые он давал мне, были не только неумелы, но и поражали своей чудовищной неряшливостью. Иногда они были начаты карандашом, во всяком случае, кусочком грифеля, а закончены чернилами. Иногда наоборот. Почерк был такой, что казалось, он составляет эти подписи в машине, мчащейся со скоростью сто километров в час.

Снимки, надо сказать, были выполнены всегда на самом высоком уровне, и если многие из них не проходили в газету, то только потому, что, снимая служительниц театральных подмостков, он довольно часто находил такой ракурс, словно отщелкивал их, предварительно спрыгнув в оркестровую яму.

Кстати, насчет снимков. Однажды Марат после поездки в Москву, кроме рассказов о своих победах над доверчивыми москвичками, привез оригинальное фото. В вагоне метро он случайно наткнулся и тут же заснял такую картину: с одной стороны вагона сидят пассажиры и все до одного читают книги и журналы, а с другой стороны, напротив них, все пассажиры дремлют или спят.

Это был действительно редкий снимок и выполнен очень четко, даже чувствовался подземный ветер метро. Во всяком случае, было видно, как одна девушка, читающая книгу (конечно, она оказалась на переднем плане), очень милым жестом, не глядя, рукой приглаживает растрепанные волосы.

В редакции снимок всем очень понравился, и его уже хотели давать в номер, как вдруг на летучке один из наших сотрудников сказал, что снимок могут неправильно понять. Его могут понять так, как будто у нас в стране половина людей спит, а вторая бодрствует и учится. Несмотря на абсурдность такого истолкования этой юмористической сценки, наш редактор Автандил Автандилович решил фотоснимок попридержать.

— Да, — сказал он, поглядывая на него, — получается, что половина населения у нас неграмотна, а другая половина грамотна, что не соответствует положению вещей... но момент схвачен интересный...

Марат несколько раз спрашивал насчет своего снимка, но ему каждый раз обещали, что он будет использован в свое время, но время это никак не приходило. Кстати, Автандил Автандилович повесил эту забавную фотографию у себя в кабинете.

В конце концов однажды на летучке один из наших сотрудников предложил разрезать снимок на две части и напечатать их рядом с такой подписью: «У нас в метро — и у них». Идея эта Автандилу Автандиловичу очень понравилась, и он уже благосклонно кивнул головой, но тут выступил все тот же скептик, который, кстати, в отличие от нас, был

в Париже. Он сказал, что конструкция вагонов парижского метро сильно отличается от нашей и нас могут уличить в обмане. И хотя кто-то пытался спасти положение, сказав, что метро есть не только в Париже, но и в других капиталистических странах, Автандил Автандилович согласился с замечанием скептика, и публикация снимка была опять отложена на неопределенное время.

Уже по судьбе этого снимка можно было догадаться, что рок заносит над Маратом свою неумолимую руку, но тогда никто так далеко не смотрел, да и сам Марат был мало озабочен судьбой своего фото.

Однажды вечером, когда мы с Маратом прогуливались по набережной (кстати, он всегда был модно одет), он издала кивнул мне на одну из старушек, торговавшую недалеко от порта семечками.

— Внимательно взглядишь в нее,— сказал он.

Когда мы поравнялись, я посмотрел на старушку и ничего особенного в ней не заметил. Правда, лицо ее мне показалось довольно благообразным.

— Ну, как? — спросил Марат.

— Старушенция как старушенция,— говорю.

— Пятнадцать лет назад,— сказал он,— она еще была дамой в соку. Из-за нее один таксист другого пырнул ножом. А у меня, тогда еще зеленого юнца, был с ней роман. Да, она работала официанткой в ресторане аэровокзала. После каждого свидания я находил у себя в кармане сотнягу, старыми конечно. И вот однажды прихожу в ресторан, и она мне говорит:

— Сегодня у нас последнее свидание.

— Почему? — говорю.

— Выхожу замуж за летуна,— говорит.

— А как же я? — говорю.

— Ну, ты еще молодецкий,— говорит,— у тебя будет много таких... Давай я тебе принесу бифштекс, а то на шашлык сегодня идет несвежее мясо...

— Ладно, принеси,— говорю, а сам горю от обиды.

Съел я этот бифштекс и ушел. У нас было излюбленное местечко в старом парке. Я пришел в этот парк, нашел заросли крапивы, осторожно вырвал один стебель, обернул его газетой, чтобы не жегся, и сунул его в кусты самшита возле места нашего свидания.

Прибегает, запыхавшись. Миловались, целовались, прощались, а потом я как достал этот стебель крапивы да как стал лупцевать ее поперек голого зада.

— Вот тебе твой летун! Вот тебе твой летун!

— Но ведь ты не собирался на ней жениться? — перебил я его.

— Нет, конечно... Но молодой был, горячий...

Я хотел у него спросить, нащупал ли он в тот вечер у себя в кармане сотнягу и если нащупал, то как с нею распорядился. Но все-таки не спросил. Да и что спрашивать. Марат, он такой и есть, и надо его или отвергать, или принимать таким, какой он есть.

Мы дошли до конца набережной и пошли обратно. Когда мы проходили мимо этой старушенции, я украдкой посмотрел на Марата, а потом на нее.

Марат, проходя мимо нее, как-то важно приосанился, подобрался, как бы сурово предупреждая ее попытку восстановить знакомство. Старушенция на нас даже не посмотрела.

Странное чувство испытал я, глядя на нее и вспоминая рассказ Марата. Бежала, запыхавшись, на свидание к юному любовнику, бывала бита крапивой, а вот теперь такая мирная старушка, продает семечки. Куда делся ее летун, бог его знает. Да, странное чувство я тогда испытал, словно заглянул в жестокий и бездонный колодезь жизни и увидел на дне его свое собственное постаревшее лицо. Марат шел рядом со мной как ни в чем не бывало.

— Ты бессмертен, Марат,— сказал я ему.

— Не надо мне мозги лечить,— ответил Марат и, властно озираясь, добавил:— Лучше пойдем по кофе выпьем.

Точно так же однажды на базаре он издали кивнул мне на одну дородную матрону, которая стояла за прилавком, грудью прикасаясь к целому стогу зелени: петрушки, киндзы, укропа, цицмата, тархуна, зеленого лука.

— Забавное приключение было у меня с ней лет десять назад,— сказал он, когда мы прошли ряд, где она торговала.

— ...Возвращался я с охоты и проходил через деревню. И тут меня застигла гроза такая, что за три шага ничего не видно. Я вбежал в первый попавшийся двор и вхожу на веранду дома. Дождь пополам с градом лупит такой, что хоть кричи — ничего не услышишь. Все-таки слышу, какой-то стон доносится из дому.

Дай, думаю, посмотрю, что там такое, и открываю дверь. Смотрю, лежит женщина в постели и зубами стучит. Говорю, так, мол, и так, с охоты возвращался, застала гроза, разрешите переждать.

Стонет, ничего не отвечает, а только черными глазищами смотрит на меня. Только глазищи и торчат из-под одеяла. Да еще слышу — зубами стучит.

— Что с вами? — говорю, и как-то странно мне делается: град стучит о крышу, женщина лежит под одеялом, а кругом никого.

— Лихорадка,— говорит,— возьми с той постели одеяло и накрой меня...

Приказывает прямо... Я беру с другой постели одеяло и набрасываю на нее. А она лежит, глазищами сверкает и, слышу, продолжает стучать зубами. А мне так странно, кругом гроза, а здесь одна женщина в доме лежит под одеялом и зыркает своими глазищами.

— Ну как,— говорю,— согрелись?

— Нет,— говорит и стучит зубами,— в другой комнате на кровати одеяло, принеси и накрой меня...

Я уже сам начинаю дрожать. Вхожу в другую комнату, стягиваю одеяло с постели, беру и накрываю ее.

А она все глазами зыркает и продолжает стучать зубами. А мне так странно — чужое село, чужой дом, и женщина одна в доме лежит под одеялом — глазищи так и зыркают, а кругом гроза и ни живой души. Думаю, может, ведьма какая. А сам дрожу, не знаю отчего, волнуясь.

— Ну как,— говорю,— согрелись?

— Нет,— отвечает мне резко и стучит зубами,— в той комнате на вешалке пальто висит, принеси и укрой меня...

Вхожу в другую комнату. В самом деле на вешалке висит пальто. Снимаю его дрожащими руками, несу и накрываю ее. А кругом гроза, крыша трещит, а в доме женщина стучит зубами и зыркает из-под одеяла.

— Ну, как,— говорю, а у самого голос осекается,— согрелись наконец?

— Нет,— говорит,— принеси еще чего-нибудь.

А сама глазищами так и зыркает из-под всего, что я набросал на нее. А кругом гроза, крыша гремит, а в доме я и эта женщина. Страшно.

— Хозяйка,— говорю, а у самого голос вибрирует,— больше вроде нечего нести...

— Ну, тогда,— грозно так произносит,— сам ложись сверху!

А у самой глазищи так и зыркают, а зубы так стучат, что сквозь грозу слышно. Не женщина, а ведьма. Другой на моем месте от мандража растерялся бы. Но я, хоть и мандражирую, вперед иду. На всякий случай прислоняю ружье к изголовью кровати и, была не была, ныряю в постель. Одним словом, что говорить, солдат свое дело знает. Через полчаса она откидывает все, что на нее навалено:

— Жа-а-а-рка... Принеси мне из кухни воды...

Я иду в кухню, нахожу воду и, черпанув кружкой, приношу. Пьет. Смотрю, опять своими глазищами на меня уставилась и хоть зубами не стучит, а все равно начинаю волноваться.

— Хозяюшка, напилась? — спрашиваю у нее.

— Нет,— говорит и дает мне кружку,— там, на кухне, в кувшине айран — принеси мне!

Ну нет, думаю, надо рвать когти, пока меня не застучали в этом доме. Беру кружку, потихоньку прихватываю ружье и как будто на кухню, а сам даю драпака. Слава богу, гроза кончилась, градины на земле так и сверкают, а я радуюсь жизни и иду.

Вот как иногда бывает. Лежит под одеялом, зыркает глазами, а зубы так и стучат. Попробуй пойми, чего ей надо. Я-то быстро ее раскусил. Шутка ли — кругом чужое село, град стучит о крышу, а тут женщина зыркает из-под одеяла, а у самой зуб на зуб не попадает...

* * *

Пока рок не занес над человеком свою карающую руку, человек может выйти невредимым из самых опасных приключений.

Вот несколько случаев из жизни Марата, подтверждающих эту древнюю аксиому. Первый случай произошел по воле самого Марата.

После окончания школы Марат поехал в Москву с твердой уверенностью, что он поступит в институт кинематографии на операторский факультет. Он уже тогда увлекался фотографированием, а для поступления на этот факультет надо было представить образцы своих снимков.

Марат был уверен, что его примут хотя бы для того, чтобы его снимки остались в институте. Настолько он был уверен в успехе своих фото-

графий. Но, увы, он не прошел по конкурсу, и ему с оскорбительным равнодушием вернули снимки вместе с документами.

Что было делать? Набранных баллов хватало для поступления в какой-то совершенно не интересовавший Марата, кажется, мясо-молочный институт. По инерции Марат туда поступил, но сильно страдал не только от профиля института, но и от самого его названия. Девушки улыбались, когда он называл свой институт, и легко прерывали очередной сеанс романтического гипноза, которым он обволакивал их сознание.

Через два года учебы в этом институте Марату пришла в голову простая и гениальная мысль. Он решил обратиться к товарищу Берия, как к земляку (Берия в самом деле был наш земляк), и попросить перевести Марата из мясо-молочного института в институт кинематографии. Марат правильно рассчитал, что у Берия на это хватит сил и авторитета.

Как человек действия, Марат не стал долго мусолить свою мечту. Он был уверен в успехе своего мероприятия, если, конечно, ему удастся увидеться с Берия. Встречу с всемогущим министром он приурочил к очередному сбору земляков в ресторане «Арагви». Чтобы не выглядеть в глазах Берия полным эгоистом, он решил не только попросить перевести его в институт кинематографии, но и пригласить его на дружеский ужин земляков.

Марату не раз показывали на особняк Берия возле Садового кольца. Туда он и ринулся. Ему повезло. Еще за полквартила он заметил, что Лаврентий Павлович прогуливается возле своего особняка, а два полковника с обеих сторон тротуара ограждают маршрут его прогулок.

Марат бесстрашно устремился к месту прогулки Берия.

— Вам что? — спросил полковник, останавливая Марата, когда тот подошел к охраняемому тротуару.

— У меня просьба к товарищу Берия, — сказал Марат и сам себя поправил, — вернее, две просьбы, как к земляку...

— Какие просьбы? — спросил полковник.

Марат видел, что Берия приближается к ним, но ждать было неудобно.

— Я земляк Лаврентия Павловича, — сказал Марат, — учусь в мясо-молочном институте и хотел бы попросить, чтобы меня перевели в институт кинематографии.

Кстати, снимки, которые он представлял в институт, лежали у него в кармане наготове. А вдруг товарищ Берия заинтересуется...

— Товарищ Берия такими пустяками не занимается, — отвечал полковник холодно, но не враждебно.

К этому времени к ним подошел Лаврентий Павлович.

— В чем дело? — спросил он.

Теперь Марату стало неудобно за свою первую просьбу, и он, не повторяя ее, приступил ко второй.

— Лаврентий Павлович, — сказал Марат, — мы, ваши земляки, закавказские студенты, хотим вас пригласить на дружеский ужин в «Арагви», который состоится завтра в восемь часов вечера.

Лаврентий Павлович и полковник переглянулись.

— Хорошо,— сказал Лаврентий Павлович,— я приеду, если охрана мне разрешит.

Окрыленный встречей и простотой обращения, Марат ушел в общежитие. Он решил, что завтра во время встречи в «Арагви» он найдет минутку и попросит Берия относительно перевода в институт кинематографии.

К сожалению, охрана не разрешила Берия приехать на следующий день в ресторан «Арагви», и Марату пришлось, оставив мясо-молочный институт, уехать к себе в Мухус.

Второй раз обращаться к Берия со своей просьбой он не решился, тем более что все, кому он рассказывал об этой встрече, говорили, что он должен благодарить бога, что встреча эта так благополучно для него кончилась.

...Марат уже работал на прибрежном бульваре, когда в один прекрасный осенний день заметил очаровательную молодую женщину, прогуливающуюся по набережной.

Марат был поражен, что никто из местных пижонов ее еще не подцепил или не пытается подцепить. Выбрав удобное мгновение, когда молодая женщина приблизилась к стенду, он, издали показав на него рукой, пригласил ее фотографироваться.

Она улыбнулась и, к его великому удивлению, подошла. Марат попросил попозировать ему и сделал с нее несколько снимков. Судя по всему, он произвел на нее впечатление, и она сказала, что придет за снимками, но чтобы он, если увидит ее с другими людьми, не обращал на нее внимания и не пытался с ней заговорить.

В следующие два дня Марат видел ее в обществе, как он говорил, двух высоких голубоглазых блондинов и честно никак не показывал, что он знаком с этой женщиной. Потом она неожиданно пришла сама, и Марат вручил ей снимки, которые ей очень понравились.

Он сделал с нее еще несколько снимков и стал просить ее попозировать ему на пляже. Она сказала, что это совершенно невозможно, потому что здесь у нее высокий покровитель и он ничего не должен знать об этих невинных встречах.

Марат сказал, что не боится высокого покровителя, лишь бы он, Марат, ей понравился. Она сказала, что Марат очень храбрый человек, но она не хочет им рисковать.

— Мадам,— сказал Марат, стараясь чаще показывать ей свой энергичный профиль,— в любви я Наполеон!

— О! — сказала очаровательная незнакомка и многозначительно улыбнулась.

Через несколько дней Марат уговорил ее покататься с ним на лодке. Она с большим трудом согласилась, но сказала, чтобы он один сел в лодку на причале, а потом в условленном месте подошел к берегу и забрал ее. Марат так и сделал.

Далеко в море она ожила и под нежно-могучим натиском Марата позволила ему гораздо больше, чем он ожидал. Но главное было впереди. Она сказала, что высокий покровитель вскоре должен уехать в Сочи и тогда у Марата будет с ней достаточно долгое свидание. Она дала ему адрес, взяв с него слово, что он без ее знака не попытается

с ней встретиться. Она сказала, что покровитель редко ее посещает, но окружил ее шпионами, которые ничего не должны знать об их встречах.

Марат, сам человек романтический, считал ее слова некоторым преувеличением. Он верил в существование высокого покровителя и думал, что это один из местных подпольных миллионеров. Марат знал, что они достаточно опасные люди, и при всех преувеличениях считал, что осторожность здесь не излишня.

Наконец наступил долгожданный день. Освободившись на несколько минут от своих высоких голубоглазых блондинов, молодая женщина подбежала к месту работы Марата и шепнула ему, чтобы он приходил к ней в десять часов вечера.

Весь день Марат не находил себе места. Ему казалось, что все городские часы остановились, чтобы он корчился в адских муках. Он сходил в ботанический сад и через знакомого агронома, работавшего там, достал великолепный букет из красных, пурпурных, желтых и белых роз, которые он отнес домой и поставил в ведро с водой.

На одной из старинных улиц в верхней части города в тот вечер Марат нашел особнячок, где жила эта женщина. Просунув руку сквозь железные прутья калитки, он открыл засов, вошел в маленький дворик и поднялся по лестнице, перила которой тонули в зарослях глициний. Еще одно усилие, и он с открытой веранды стучит в дверь.

Ему отворяет дверь его очаровательная незнакомка, и он вручает ей букет, в который она сейчас же окунает свою хорошенькую головку. Марат видит за ее спиной со вкусом накрытый стол с ужином на двоих, он чувствует необычайной силы любовный порыв и начинает обнимать и целовать свою таинственную незнакомку.

Она едва его уговорила взять себя в руки, напомним, что впереди у них целая ночь. Марат кое-как успокоился, букет был разделен на две части, одна из них украшала стол для ужина, а другая была поставлена в другой комнате возле кровати, достаточно просторной для самых изысканных любовных фантазий.

Дружеский ужин с «Хванчкарой» был в разгаре, когда вдруг лицо его прекрасной незнакомки побледнело, и она проговорила:

— Тише! Кажется, машина остановилась...

Тут они оба услышали скрип железной калитки.

— В ту комнату и не выходи оттуда,— шепнула ему хозяйка и решительно вытолкнула его в спальню.

Марат слышал, как кто-то постучал в дверь.

— Кто там?— спросила молодая хозяйка.

Ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа.

— Передайте ему, что я больна,— сказала молодая женщина.

Опять ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа. Ему страшно было интересно — что это за люди. Он подозревал, что в дверь стучится человек одного из подпольных миллионеров, но от кого именно — он не знал.

— Нет, доктора не надо,— отвечала хозяйка и, как бы слегка стесняясь, добавила: — Это обыкновенная болезнь, которая бывает у каждой женщины.

Марат больше не слушал. Он увидел дверь в другую комнату и, открыв ее, вошел туда. Оттуда он увидел еще одну дверь, открыл ее и вышел в конец веранды, которая имела здесь еще одну лестницу, ведущую в зеленый дворик.

Марат спустился вниз и стал под верандой, пол которой сейчас нависал над ним. Вдруг он услышал мужские шаги, топающие по веранде. Шаги остановились. Потом снова пошли. Снова остановились. Марат догадался, что человек останавливается, чтобы заглянуть в окна спальни, которая была освещена. Марат с волнением подумал, что его легко могли обнаружить, останься он в спальне, куда его толкнула молодая хозяйка.

Любопытство так и жгло Марата, и он под верандой обогнул дом и выглянул из-за зарослей глициний, буйно разросшихся возле главного входа.

Марат увидел легковую машину ЗИС и в жидковатом свете уличного фонаря разглядел энергичный, гораздо более энергичный, чем у него, профиль человека в пенсне, сидящего на переднем сиденье машины. Не узнать его Марат не мог, даже если бы не виделся с ним два года тому назад.

В это время над головой Марата раздались шаги человека, разговаривавшего с хозяйкой. Он спустился по лестнице, открыл калитку и, не забыв ее запереть на задвижку, подошел к машине и на миг заслонил Берия, по-видимому, что-то ему рассказывал. Через минуту он сел в машину, и она тихо скользнула мимо дома.

Через заднюю лестницу, едва живой от сковавшего его страха, Марат поднялся в дом. Вся эта история ему очень сильно не понравилась. Когда он вошел в комнату, где они ужинали с прекрасной незнакомкой, та бросилась ему на грудь и, давась от беззвучного хохота, пыталась что-то ему сказать, но Марат не понимал причины ее смеха и не разделял ее веселого настроения.

— Когда он пошел вдоль веранды,— наконец сказала она,— я решила, что все пропало... А потом захожу в ту комнату — тебя нет. Захожу в другую — тебя нет... Я уже решила, что он испепелил тебя своим взглядом, а тут являешься ты с кислой физиономией.

Но Марат был слишком напуган случившимся. Соперничать с местными подпольными миллионерами он еще кое-как мог себе позволить, но соперничать с самим Берия — это было страшно. Попытка продолжить ужин ни к чему не привела, но, что еще хуже, попытка приступить к любовным утехам кончилась еще более плачевно. Какая-то вялая меланхолия омертвила тело Марата. Профиль первого чекиста страны так и стоял перед его глазами.

Он пытался вернуть себе то настроение, с каким целовал ее в лодке, но у него ничего не получалось. Энергичный профиль человека в пенсне так и всплывал перед его глазами. Прекрасная незнакомка приготовила турецкий кофе, говоря, что обязательно приведет его в норму, но Марат, и выпив две чашки кофе, никак не приходил в себя. Блуждающая рассеянная улыбка не сходила с его лица, и его вялые искусственные порывы ни к чему не приводили.

— А еще говорил, что в любви Наполеон,— наконец упрекнула его прекрасная незнакомка.

— Мадам,— тихо ответил ей Марат, улыбаясь блуждающей улыбкой,— у всякого Наполеона есть свой Ватерлоо...

Поздно ночью, покинув дом любовницы Берия (бывшей незнакомки), Марат не стал выходить в калитку, а перелез через забор в самом глухом уголке сада и оказался на другой улице.

Марат сильно надвинул кепи на глаза и завернул на улицу, с которой он входил в калитку. Не глядя по сторонам, он прошел мимо ее дома в сторону центра города. Насколько мог заметить его косящий взгляд, на той стороне улицы стоял какой-то подозрительный человек, смахивающий на ее дневных провожатых. Хорошо, что я не вышел из калитки, подумал Марат, благодаря бога за собственную осторожность.

Через два дня незнакомка снова прогуливалась по набережной со своими высокими голубоглазыми блондинами. Потом она гуляла одна и, проходя мимо места работы Марата, бросила в его сторону взгляд, но, как сказал поэт, они не узнали друг друга.

Этот случай, по словам Марата, еще долго мешал ему в любви. В самые решительные часы чувственного восторга перед его глазами всплывал профиль человека в пенсне, и Марат впадал в вялую меланхолию, хотя иногда почему-то не впадал.

Он заметил такую закономерность. Чем более комфортабельным было место свидания, тем сильнее мешало ему видение страшного профиля человека в пенсне. И, наоборот, чем проще, грубее и неудобнее для любви была окружающая обстановка, тем свободней и независимей от профиля он чувствовал себя.

У меня брезжит смутная догадка, что его головокружительные свидания с крановщицей ночью в кабине порталного крана, или дневные свидания в глубине сталактитовой пещеры, или другие не менее рискованные встречи с возлюбленными, не объясняются ли они, может быть, неосознанной попыткой вытеснить видение проклятого профиля? Сам Марат мне этого никогда не говорил, и я не пытался у него об этом спрашивать. Правда, у меня есть косвенное подтверждение этой догадки. И что особенно ценно — сам Марат подтвердил ее. Он сказал, что видение зловещего профиля почти совсем перестало его посещать после его романа со знаменитой укротительницей удаво́в, приезжавшей к нам вместе с цирком шапито.

Это произошло через два года после его неудачного и вместе с тем счастливого (остался жив) свидания с любовницей Берия.

Роман этот, выражаясь современным языком, возник на фрейдистской почве, хотя мы можем воспользоваться и древнерусской поговоркой, ничуть не уступающей Фрейдю, а именно: клин клином вышибают.

Я думаю, сам того не подозревая, Марат потянулся к укротительнице, чтобы зримым видом живого удава вытеснить из сознания профиль метафизического удава. Так мне кажется, хотя сам Марат этого мне никогда не говорил.

Он сказал, что, когда увидел, как юную полуголую женщину под знаменитую в то время мелодию Дюка Элингтона «Караван» опоясывает своими смертельными витками удав, он почувствовал к ней неостановимое влечение.

Со свойственной ему энергией и прямоотой он решил покорить эту

женщину. На следующий день он пришел в цирк с букетом роз, которые, по-видимому, для него старательно выращивали работники ботанического сада. После окончания номера, когда цвет мухусчан рукоплескал отважной женщине, он выскочил на авансцену и, храбро пройдя мимо корзины, куда был водворен удав, подошел к укротительнице и вручил ей букет.

В этот же вечер, провожая ее в гостиницу, он втаскивал в машину и вытаскивал из нее тяжелый чемодан с удавом. По словам Марата, прекрасная Зейнаб, так звали укротительницу, быстро ответила любовью на его любовь. Потом уже, после близости, она сама ему объяснила, что мужчины, увлекавшиеся ею и знавшие о ее работе, все-таки не выдерживали и давали задний ход, узнав, что она живет с удавом в одном гостиничном номере.

Обычно удав располагался в углу комнаты, где была поставлена на пол и круглосуточно горела настольная лампа с сильной лампочкой. Это давало удаву дополнительное тепло, хотя в номере, по словам Марата, и без того всегда было душновато.

Иногда Зейнаб покрывала своего удава большой персидской шалью, и если он приподымал под нею голову, то становился похожим на злобную старуху из восточных сказок.

Во время любовной близости Марат, по его словам, старался смотреть в сторону удава, который, лежа возле настольной лампы, приподняв голову, тоже нередко смотрел в его сторону.

В первое время Марат из естественной бдительности следил за удавом, не зная, как тот будет реагировать на его, Марата, отношения с хозяйкой Султана. Так звали удава.

И только потом он заметил, что, когда он смотрит на удава, видение профиля страшного палача не возникает. Это открытие каждый раз так радовало Марата, что он каждый раз находил в себе силы для дополнительных любовных неистовств.

Марат был рад восстановлению своих былых сил, рад был славе, которая распространялась среди мухусчан, и дни его были счастливы. Во всяком случае, в первое время.

Но постепенно жизнь его осложнилась. Дней через десять Марат почувствовал, что удав его ненавидит. Если Марат проходил слишком близко от места, где возлегал Султан, он слышал злобное шипение. Даже когда Марат подымал чемодан с удавом, он изнутри слышал злобное шипение, показывающее, что Султан чувствует, кто держит чемодан. Несколько раз удав, шипя, дергался головой в его сторону, словно хотел его укусить.

Напрасно бедняжка Зейнаб пыталась их примирить. Они ненавидели друг друга и даже ревновали ее друг к другу. Марат, разумеется, не называл этого слова (надо полагать, что удав тоже), но когда Марат видел, что утро начинается с того, что Зейнаб протирает вымоченным в теплой воде полотенцем длинное тело удава, он чувствовал глухое раздражение.

Заходя в номер, где находился удав, по словам Марата, никогда нельзя было знать, где его застанешь. То он обвивал торшер и, положив голову возле лампы, дремал, то он забирался на вешалку, и стоило

щелкнуть выключателем, как можно было увидеть возле своей головы его брезгливо вытянутую морду. То он забирался на диван, то на их кровать, что было особенно противно, иногда он оказывался в шкафу с бельем, иногда обвивался вокруг трюмо и, свесив голову, неподвижно следил за изображением своего двойника. Иногда он залезал в ванну, иногда в раковину умывальника, и тогда, разумеется, Марату подойти и вымыть руки было невозможно.

Каждые два-три дня Зейнаб мыла удава в теплой ванной. Однажды она попросила Марата наполнить ванну водой и Марат, по его словам, случайно напустил туда слишком горячую воду. Когда Зейнаб вывалила своего удава в ванну, тот одним прыжком взвился и выпрыгнул из нее.

Именно после этого удав, по наблюдениям Марата, его возненавидел, хотя как он узнал, что ванну наполнял именно Марат, до сих пор для него остается тайной. Чувствуя, что удав его ненавидит, Марат на всякий случай принес из дому кинжал, подарок его знаменитых лыжных родственников. Он повесил его над диваном, якобы для украшения номера. Другая гораздо более скромная мера по собственной защите заключалась в том, что Марат, ложась спать с Зейнаб, теперь всегда устраивался у стенки.

Кстати, я как-то спросил у Марата, чем Зейнаб кормила своего удава, и если кроликами, то где она их брала.

— Насчет кроликов не знаю, — отвечал Марат, — но пару раз, когда я заходил днем, она выметала из комнаты какие-то перья... Так что скорее всего она его кормила живыми курицами.

В первое время мухусчане, радуясь успехам Марата, спрашивали у него:

— Марат, это правда, что ты живешь с укротительницей удава?

— А что тут такого, — отвечал Марат, — конечно, правда.

— Как только ты не боишься, Марат?! — восторженно удивлялись мухусчане.

— А чего бояться, — пожимал плечами Марат, — он в своем углу спит, мы — в своем.

Но так длилось недолго и долго длиться не могло, ибо черная зависть сгущается за спиной незаурядного человека и пытается оболгать его. Вскоре она изменяет ему со своим удавом. Говорили, ссылаясь на достоверные источники, что бывший муж Зейнаб, который и научил ее работать с удавом; был задушен последним на почве ревности.

Другие договаривались до того, что, в сущности, Зейнаб по-настоящему живет с удавом, а Марата держит при себе просто так, для блезира.

Слухи дошли до Марата, Марат был поражен глупостью и бессмысленностью этих слухов. Он только разводил руками и презрительно подымал брови. Он надеялся, что люди сами поймут нелепость этих слухов и сами от них отмахнутся. Но слухи упорно держались.

— Кому-то это интересно было, — говаривал Марат с многозначительным намеком, кивая головой куда-то вверх и в сторону.

У Марата появился, выражаясь псевдонаучным языком, оправдательный комплекс. Теперь, встречаясь с ребятами на набережной и в кофейнях, он заводил разговор о своей жизни с Зейнаб, обращая вни-

мание слушателей на роскошь и многообразии их любовных утех и одновременно мимоходом сообщая о жалком прозябании удава в углу комнаты под настольной лампой.

— Да-а? — говаривали некоторые, выслушав его рассказ с недоверчивой миной, — а нам рассказывали совсем по-другому.

Негодяи! Кому ж лучше Марата было знать, кто с кем живет! Но таков закон черни, людям хочется, чтобы другие люди, способные высидеться над общим уровнем, обязательно для равновесия имели бы унижающие их пороки.

В конце концов Марат почувствовал, что он часто испытывает порывы злости не только к удаву, но и к ни в чем не повинной Зейнаб.

Что касается удава, то его Марат возненавидел вдвойне. Однажды в кофейне до его слуха случайно долетел обрывок разговора об этом фантастическом любовном треугольнике, в котором якобы очутился Марат. Причем на этот раз рассказчик сплетни роль Марата свел до позорного минимума.

— Кто-то же должен был ей таскать чемодан с удавом, а тут Марат и подвернулся, — заключил рассказчик свой гнусный рассказ.

В тот день Марат крепко выпил и пришел в гостиницу. Зейнаб в номере не оказалось, но у него был свой ключ, и он вошел. Увидев Марата, да еще без Зейнаб, удав злобно зашипел в его сторону. Марат этого больше не мог вынести.

— Кто на кого должен шипеть! — воскликнул Марат и, сняв туфель, запустил его в удава. Туфель попал прямо в середину огромного лоснящегося мотка. Удав дернулся головой в сторону Марата и зашипел еще злобней. Тогда Марат снял второй туфель и кинул его в эту мерзкую лоснящуюся кучу. Удав еще более решительно дернулся головой и зашипел.

Марат сел на диван и, облокотившись рукой о стол, горестно задумался над своей нелегкой судьбой. То, что было предметом его гордости, становилось предметом его позора. Просидев так некоторое время, он опустил голову на стол и заснул.

Проснулся он от какой-то невероятной тяжести, которая давила ему на грудь. Он открыл глаза и с ужасом убедился, что удав обвился вокруг него и душит его. Марат попытался одной рукой (другая была прижата к туловищу) сдернуть с себя чудовищные витки удава, но сделать это было невозможно. Он почувствовал рукой, как дышат и переливаются внутри удава его невероятные мышцы.

Чувствуя, что еще мгновение и он потеряет сознание от сдавливающей силы удава, Марат вспомнил о своем кинжале и попытался до него дотянуться. Но дотянуться оказалось невозможным, надо было для этого встать на диван. К счастью, правая рука Марата была свободной. Марат с трудом перевалился на диван и, став на колени, уже теряя силы, выпрямился, но все равно не смог дотянуться до кинжала.

Марат собрал всю свою волю. Удав, как бы пульсируя своими мышцами, то страшно сдавливал его, то чуть-чуть отпускал, и Марат, пользуясь этими мгновениями, успевал вдохнуть воздух. Все-таки ему удалось встать трясущимися ногами на зыбкую поверхность дивана и достать свободной рукой до кинжала. Проклятье! Новое препятствие

встало на его пути: кинжал никак не выходил из ножен. Необходима была вторая рука. Тогда Марат несколько раз изо всех сил тряхнул кинжал, держа его за рукоятку, и наконец ножны со свистом соскочили и обнажили лезвие. Собрав последние силы, Марат сунул кинжал в звонко треснувшее, напряженное тело удава. Мгновенно объятия чудовища ослабели, а Марат резал и кромсал уже дрябло провисшие, опадающие кольца.

Бедная Зейнаб, придя с базара, застала картину ужасного конца ее Султана. Она молча опустилась на колени и, поглаживая мертвое, искромсанное тело удава, проплакала до самого вечера.

Она плакала, повторяя:

— Бедный Султан, где мой кусок хлеба? Бедный Султан, где мой кусок хлеба?

По словам Марата, он чуть с ума не сошел от этих ее однообразных причитаний. Марат надел свои туфли, погасил ненужную настольную лампу, которая все еще светила в опустевшем углу, и стал утешать Зейнаб.

Он отдал ей весь запас своих денег, примерно на полгода скромной жизни, пока она освоится с новым удавом, если будет продолжать заниматься этим делом позже. Марат окончательно утешил ее, смастерив из оставшихся кусков шкуры удава несколько прелестных сумочек. Не помню, говорил ли я, что у Марата были золотые руки. Кроме всего этого, Марат помог бедняжке Зейнаб оформить фиктивную справку о том, что удав умер от простуды.

Интересно, что подлые завистники Марата сам этот его античный подвиг попытались объяснить в духе своей старой сплетни о связи Зейнаб с удавом.

Они говорили, что Марат, якобы неожиданно придя в номер, застал Зейнаб возлежающей на диване в объятиях удава. Увидев такое, Марат якобы вскочил на диван и, выхватив свой кинжал из ножен, стал половать разнеженного, совершенно не подготовленного к борьбе удава.

* * *

Одно время, длилось это года два, Марат перестал работать на прибрежном бульваре, а устроился в научно-исследовательский институт, где получил фотолабораторию и даже был засекречен. Я уж не знаю, что он там за снимки делал, кажется, что-то связанное с плазмой или чем-то еще не менее загадочным.

Но факт остается фактом, его оттуда выперли. Вернее, он сам все сделал, чтобы его оттуда выперли. Судя по его словам, он там соблазнил одну женщину, которой показывал серию фотографий, переснятых из одного заграничного журнала.

Эти снимки, изображающие голых женщин, он выдал за плоды собственноручного труда. То есть он ей довольно прозрачно намекнул, что все эти женщины сами ему позировали и она, если захочет, найдет среди них достойное место. По его словам, это ее сломило.

Хотя многие мужчины в наш век стали болтливее женщин, женщины в целом все еще остаются достаточно болтливыми существами. Одним словом, эта женщина проболталась какой-то из своих подруг о

коллекции Марата, та проболталась еще кому-то, и через некоторое время кто-то донес начальству, что Марат, вместо того чтобы фотографировать, скажем, внутриатомные процессы, черт знает чем занимается у себя в фотолaborатории.

Внезапная профсоюзная ревизия обнаружила эти снимки, и разразился грандиозный скандал. Перед самым общеинститутским собранием, где решался его персональный вопрос, Марат зашел ко мне в редакцию и показал журнал:

— Вот смотри...

— Ну, конечно,— сказал я ему, перелистывая журнал,— ты им его покажи — и дело с концом.

— В том-то и дело, что не могу,— отвечал он.

— Почему?

— Какими глазами после этого я на нее посмотрю?

— Она сама виновата,— говорю,— нечего было твои секреты выбалтывать.

— Нет,— отвечал он подумав,— черт с ними, пусть выгоняют...

И он действительно ни слова не сказал про журнал, он только утверждал, что снимки были сделаны не в институтской лаборатории. В конце концов дело было передано в суд, но он и тут не признался, что фотографии были пересняты из иностранного журнала, хотя над ним висело довольно грозное обвинение.

Институт добивался от суда признания фотографий порнографическими, и в этом случае Марат мог получить срок. Но суд не признал их таковыми, хотя усомнился в их художественной ценности, на которую напирал Марат.

По словам Марата, пачка его фотографий, покамест ходила по рукам, начиная от институтского профкома и кончая судом, сильно уменьшилась. Он был уверен, что все, вплоть до народных заседателей, поживились за счет его снимков.

Я думаю, что во всей этой истории рыцарские соображения, по которым Марат не открывал источник своей фотоколлекции, сильно преувеличены. Эти соображения, безусловно, имели место, но они сильно преувеличены. Я думаю, во всей этой истории он сознательно шел на скандал, чтобы еще больше раздуть свою славу.

Правда, тут еще один момент имел место. А именно — этот злосчастный журнал был привезен из заграничной командировки одним из сотрудников института, и Марат, по его словам, отчасти боясь, что кто-нибудь узнает, каким образом ему в руки попал этот журнал, скрывал происхождение знаменитых фотографий. Все это, видимо, так, но все-таки главным было соображение престижа покорителя сердец.

Тем более что именно в это время среди мухусчан кто-то стал распространять слухи о том, что знаменитый роман Марата с лилипуткой Люсей Кинжаловой — плод его болезненной фантазии.

Тут я должен решительно вступить за Марата. Я сам неоднократно видел его в обществе Люси Кинжаловой. Он прогуливался с ней по набережной, бывал в ресторанах, а однажды причалил к лодочной пристани, и в лодке была Люся.

Грозно сомкнув брови и подняв Люсю на руки, он с видом Стеньки

Разина, кидающего в Волгу персидскую княжну, взмахнул своей драгоценной ношей, при этом у драгоценной ноши юбка отвеялась от ног, обнажив лягастые бедра перекормленного ребенка. Затем он благополучно ссадил ее на пристань и улыбкой подчеркнул шутливость своего жеста, абсурдность самого предположения, что вот так ни с того ни с сего он может бросить за борт ни в чем не повинную женщину.

Единственным козырем в руках людей, отрицавших роман Марата с Люсей, было правильное наблюдение, что Марат перестал с ней встречаться задолго до того, как ансамбль лилипутов, в который входила Люся, уехал в другой город.

Что верно, то верно. Тем не менее роман был, он был коротким, но бурным. Впервые Марат с нею познакомился в ресторане. Около дюжины лилипутов сидели за двумя сдвинутыми столиками и ужинали, попивая вино и болтая ногами.

Марат послал им две бутылки вина, издали выпил за их здоровье, лилипуты выпили за его здоровье, а потом, посоветовавшись между собой, прислали ему через официантку бутылку вина. Марат снова издали выпил за их здоровье, они тоже издали выпили за его здоровье, после чего Марат, подозревая свою официантку, послал им еще две бутылки вина и несколько плиток шоколада, по числу женщин.

Тут лилипуты, склонившись к столу, долго совещались и наконец, подозревая официантку, через нее пригласили Марата к своему столу. Они решили, что так он им дешевле обойдется, но здорово просчитались. Марат подсел к ним и за разговором дал знать, что, кроме своей прямой профессии, он еще числится нештатным корреспондентом местной газеты «Красные субтропики» и ряда других столичных газет. (Ряд других газет, вероятно, до сих пор не подозревает о существовании своего внештатного корреспондента в Мухусе.)

Именно во время этого застолья Марат обратил внимание на Люсю Кинжалову, совершенно не подозревая, что рядом с ней ее жених. Возможно, что он вообще не подозревал, что лилипуты могут иметь своих женихов и невест. Во всяком случае, он стал оказывать Люсе знаки внимания, и она охотно, и даже чересчур охотно, стала принимать их, не считаясь со своим женихом, который, оказывается, в это время сильно страдал.

Узнав, что Марат имеет отношение к прессе, лилипуты пришли в сильное возбуждение и, посоветовавшись между собой, пожаловались ему на своего администратора, который, оказывается, очень плохо с ними обращался. Оказывается, администратор, чтобы сэкономить командировочные деньги, холостых лилипутов загонял по пять человек в одиночный номер. Он заставлял их укладываться поперек кровати, что было и неудобно, и унижительно, тем более что женатые лилипуты получали полноценные номера. Администратор таким образом экономил командировочные деньги, доставал фиктивные гостиничные счета, а разницу в деньгах клал себе в карман.

Марат был в высшей степени возмущен таким бесчеловечным обращением с лилипутами, и они в тот же вечер пригласили его в гостиницу, чтобы он сам во всем убедился на месте.

В гостинице Марат предложил, не осложняя вопрос участием

прессы, просто-напросто набить морду администратору. К счастью для администратора, а может, и для Марата (я имею в виду последствия), того не оказалось в номере.

Марат зашел вместе с лилипутами в один из номеров, и они еще долго там застольничали и разговаривали о жизни. Многие лилипуты сильно опьянели, и Марат их разносил по номерам, а Люся, вопреки страданиям жениха, показывала, кого куда нести.

В конце концов Марат собственноручно уложил пятерку лилипутов в их номер и со всей очевидностью убедился в обоснованности их жалоб. Кстати, оказывается, в эту пятерку входил и жених Люси Кинжаловой, о чем Марат не знал.

А между тем жених не стал лежать в постели, как предполагала Люся, но, откинув одеяло, слез с нее и попытался повеситься на перилах гостиничного балкона. К счастью, его вовремя заметили и, задыхающегося, вытащили из петли.

Но к этому времени, по словам Марата, Люся Кинжалова по уши в него втрескалась. По словам Марата, можно было понять, что у них, у лилипутов, инкубационный период влюбленности вообще гораздо короче. Марат обещал сделать с нее несколько снимков, и она на следующий день подошла к месту его работы на бульваре.

Так они стали встречаться, и жених мирился с Маратом. Опять же, рассказывая об этом, Марат придавал своим словам такой оттенок, что у лилипутов период любовных страданий тоже укороченный.

Не успел Марат насладиться новизной необычного любовного приключения, как из деревни Лыхны к нему в дом приехала делегация родственников и выразила резкий протест по поводу якобы будущей женитьбы Марата на карлице, как они говорили.

Отец Марата, погибший во время войны, был по происхождению русским, но мать его была абхазкой и родом из Лыхны. Родственники Марата по материнской линии, оказывается, все время держали его в поле своего зрения, и, как только поведение его, как им казалось, начинало порочить их славный род, они каким-то образом оказывались рядом и с неслышанным упрямством заставляли его следовать представлениям о приличии, выработанным их славным древним родом. Они прямо объявили ему, что, если он сам не прекратит встречи с этой карлицей, они, выражаясь их языком, силой выволокут ее из-под него. Особенность абхазского языка состоит в том, что это действие, выраженное по-русски четырьмя словами, по-абхазски передается одним словом, и потому выразительность его в переводе несколько тускнеет.

Одним словом, они дали ему знать, что никогда не согласятся на то, чтобы он ввел в дом своей матери карлицу неизвестного племени. Кстати, они обещали ему полноценную абхазскую невесту, если он свяжется с карлицей из соображений собственного маленького роста. Марат был маленького роста, но, разумеется, не настолько, чтобы такого рода соображения приходили ему в голову.

— Бедный Марат, — изредка говорили они, подчеркивая, что вырос он без отца. Но чаще всего эти слова имели совершенно противоположный смысл.

— Бедный Марат, — говорили они, имея в виду, что он и не подо-

зревает, какие беды обрушатся на его голову, если он будет упорствовать в своих заблуждениях.

Когда родственники вмешались в его роман с Люсей, Марат сначала пытался им объяснить, что он не собирается ее вводить в дом. Тогда тем более, отвечали они ему, незачем позорить их род, появляясь с карлицей в людных местах.

Марат попытался послать их к черту, но из этого ничего не вышло. Родственники уехали в деревню, прикрепив к месту работы Марата двух дубиноподобных молодых людей, которые дежурили там. Глядя на этих верзил, поочередно патрулирующих на приморской улице, Марат не на шутку разнервничался.

Конечно, с Люсей Кинжаловой он продолжал встречаться, но это было сопряжено с немалыми трудностями, и нервы Марата стали пошаливать. Надо знать упрямство его лыхнинских родственников, а с другой стороны, самолюбивость Марата. Марат терялся в догадках, стараясь узнать степень полномочий этих двух деревенских верзил. То ли они должны просто препятствовать их встречам, то ли, увидев Марата с Люсей, они должны молча сунуть ее в мешок, увезти куда-нибудь в горы, выпустить ее там, как кошку, от которой хотят избавиться.

Именно находясь в состоянии этих мрачных раздумий, он во время одного из вечерних застолий с лилипутами задал, в сущности, невинный, но показавшийся всем бестактным вопрос:

— Слушайте,— спросил Марат,— а лилипуты голосуют?

Многие до сих пор не могут понять, с чего вдруг Марату пришла в голову эта мысль. Лично я думаю, что он в раздумьях о собственном бесправном положении, вызванном исключительной патриархальностью его деревенских родственников, случайно, не подумав о последствиях, перескочил на окружающих его лилипутов.

Лилипуты сильно обиделись на его вопрос и стали громко удивляться невежеству Марата, потому что, по их словам, всякий нормальный человек знает, что лилипуты такие же полноценные граждане страны, как и все остальные.

— Ты лучше посмотри на свой нос,— оказывается, сказала ему Люся.

— А что мой нос? — тревожно спросил Марат.

— Очень он у тебя большой,— отвечала Люся,— вот ты его и сунешь, куда тебя не просят.

— С точки зрения лилипутской нос у меня, может, и большой,— отвечал Марат, сдерживая гнев,— но, с точки зрения интеллигентных женщин Москвы и Ленинграда, у меня, к твоему сведению, римский нос.

Надо сказать, что Марат был весьма нетерпим ко всякого рода критике по отношению к его внешности. Сам он мог подшутить и над своим носом, и над своим небольшим ростом. Так, относительно женщины, не в меру привязавшейся к нему, он говорил: «Она решила, что я высокий голубоглазый блондин...» Такого рода шуточки, намеки он вполне допускал, но только когда они исходили от него самого.

Одним словом, застолье начинало сильно портиться, и лилипуты, учитывая, что всех угощал Марат, стали его уговаривать, чтобы он не обижался на Люсю. В конце концов сама Люся Кинжалова признала

грубость своего замечания и в доказательство полной сдачи своих позиций поцеловала Марата в нос. И хотя лилипутам удалось спасти застолье, раздражение Марата не проходило, и он, время от времени вспоминая замечание Люси, бормотал: «Ха, мой нос, видите ли, слишком большой...»

После этого вечера отношения Марата с Люсей, может быть, не сразу, но достаточно быстро охладели. Во всяком случае, дубиноподобные верзилы, командированные из деревни, через неделю сняли патруль и уехали к себе в Лыхны.

Между прочим, через год снова явилась в Мухус делегация лыхнинских родственников, исполненная мягкой, но неотразимой настойчивости. Дело в том, что Марат в это время завел себе парик, чтобы прикрыть сравнительно небольшую лысину на голове. Он давно и болезненно переживал начало своего облысения, и тем не менее парик в условиях Мухуса достаточно смелое нововведение. Но Марат всегда отличался смелостью и независимостью взглядов.

Парик так удачно сидел на голове Марата, что люди, не очень близко его знавшие, даже не понимали, что на голове Марата собственный несколько истощенный волосяной покров прикрыт париком. Тем не менее могу поклясться, что парик этот украшал его голову не более двадцати, двадцати пяти дней.

Лыхнинские родственники предложили ему не позорить их перед другими (по-видимому, злорадствующими) родами своей волосяной шапкой, а скромно пользоваться своими волосами. Они указали ему, что лысина не позорит мужчину, что она позорит только женщину.

Несколько дней Марат боролся за независимость покрова своей головы, потом не выдержал и сдался, не дожидаясь, пока родственники его выставят дежурить какого-нибудь верзилу с граблями в руках, чтобы тот стаскивал с него парик.

* * *

Осенью того же года по Мухусу пробежал слух, что Марат женился. Я его давно не видел, потому что после ухода из научно-исследовательского института он стал работать не на бульваре, там его место занял другой человек, а на краю города возле базара.

Учитывая все его рассказы, я жаждал увидеть женщину, которую он сам добровольно ввел в дом и при этом не вызвал никаких нареканий со стороны лыхнинских родственников.

Однажды вечером, когда я сидел на скамейке прибрежного бульвара, передо мной возник Марат со своей женой. Кажется, они сошли с прогулочного катера.

— Прощу любить и жаловать, мой маленький оруженосец!— сказал Марат и представил свою жену.

Я опешил, но, ничем не выдавая своих чувств, протянул ей руку и представился. Это была приземистая тумбочка с головой совенка. Покамест Марат плел свой романтический, а в сущности, милый вздор относительно того, что несокрушимая твердыня, то есть его холостяцкие убеждения, так вот эта несокрушимая твердыня пала под неотразимыми чарами этого неземного существа, я украдкой рассматривал ее.

Да, это была тумба с головой совенка, и я жалел, что лыхнинские родственники на этот раз проморгали Марата.

Я заметил, что, пока Марат все это выбалтывал, воодушевленный собственным красноречием, эта тумба с головой совенка наливалась ненавистью к Марату. Это была знакомая мещанская ненависть ко всякого рода чудачествам, отклонениям от нормы, преувеличениям.

Конечно, сказать, что я это заметил и принял к сведению, было бы неточно. Я в самом деле это заметил, но тогда подумал, что, может быть, это мне показалось. И только последующие события подтвердили, что я не ошибался.

— А как твои лыхнинские родственники? — спросил я тогда у Марата, имея в виду его женитьбу.

— Я у них никогда ни о чем не спрашивал и спрашивать не собираюсь, — самолюбиво ответил Марат.

Помнится, в конце этой встречи Марат сказал, что не успеет его возлюбленная разрешиться законным наследником, как к ее ногам будет брошена медвежья шкура, истинно мужской подарок молодой жене.

Марат давно увлекался охотой и мечтал убить медведя или воспитать медвежонка. Почему-то у него две эти мечты легко уживались, но ни одна из них пока не могла осуществиться.

Однажды он и меня увлек своим охотничьим азартом. Он сказал, что знает способ и место раздобыть медвежью шкуру. Он приспособил к стволам наших ружей электрические фонарики, чтобы, если во время ночной засады появится медведь, мы могли бы сначала ослепить его светом наших фонариков, а потом убить.

Мы приехали в одну горную деревушку, где у него оказался знакомый крестьянин, кажется, один из представителей его славного рода по материнской линии. И вот, поужинав у этого крестьянина и немного попив чачи, мы отправились на кукурузное поле, которое, по словам хозяина, время от времени посещал медведь.

Никаких признаков, что наши с медведем посещения кукурузного поля совпадут, не было, и я преспокойно вместе с Маратом отправился ночью подстерегать медведя. Мы дошли до края поля, упирающегося в лес, и Марат, притронувшись пальцем к губам, указал мне на необходимость полного молчания, а сам стал, низко нагнувшись, искать медвежьи следы.

После долгих поисков он опять же, прикрыв пальцем рот и указав мне этим, чтоб я от волнения не издал какого-нибудь восклицания, показал мне на нечто, что должно было означать наличие этих следов. Несколько раз присветив фонариком кусок вспаханного грунта, он показывал мне на что-то, что я обязан был принять за медвежьи следы. И хотя я ничего не видел, кроме куска вспаханного поля, я не мог ему возразить, потому что при малейшей моей попытке издать звук он страшно озирался и прикладывал палец к губам.

Наконец он знаками показал мне, что один из нас, а именно он, залезет на дерево, а другой из нас, а именно я, должен дожидаться медведя внизу. Мне это распределение ролей сильно не понравилось, но я не стал возражать, потому что мне все-таки казалось слишком невероятным, что медведь придет именно в эту ночь.

Марат залез на молодой бук, я сел у его подножия, прислонившись спиной к стволу. Сначала все было тихо, но потом наверху раздался какой-то шум и треск ветвей. Я уже не знал, что и подумать, и шепотом спросил у него, не напала ли на него рысь.

Он мне объяснил, что сова пыталась спикировать на его белую шапочку, но теперь все будет хорошо, потому что он снял шапку и спрятал ее в карман. Теперь-то я понимаю, что это было чудовищным предзнаменованием его женитьбы, но тогда об этом никто и помыслить не мог.

Снова установилась космическая тишина ночи, которую время от времени нарушал плач шакалов и лай далеких деревенских собак. Я сидел, прислонившись к стволу, прислушиваясь к тревожным шорохам леса, и все думал, как он со мной несправедливо поступил, оставив меня внизу, а сам взобравшись на дерево. Я, конечно, почти не верил в возможность появления медведя, но он ведь был в этом уверен и распорядился моей жизнью как менее полноценной.

Почему-то всегда бывает обидно, когда твоей жизнью распоряжаются как менее полноценной. Тут я вспомнил, что у меня хранится фляга с коньяком. Мы ее привезли из города, чтобы во время ночного бдения бороться при помощи этой бодрящей жидкости с прохладой и дремотой. Я снял флягу с ремня и сделал несколько хороших глотков.

Коньяк прогнал дремоту, и я с новой силой почувствовал, до чего некрасиво поступил со мной Марат, укрывшись в кроне молодого бука и оставив меня внизу один на один с голодным медведем. Ведь засаду мы устроили с таким расчетом, чтобы перехватить медведя, когда он захочет влезть на кукурузное поле. Если бы засада была устроена в таком месте, где медведь, уже нажравшись кукурузы, более благодушно настроенный, покидает кукурузное поле, было бы гораздо спокойней. Но на это уже поздно было рассчитывать.

Я несколько раз вскидывал ружье и зажигал фонарь, чтобы на всякий случай прорепетировать последовательность предстоящей операции. Я почему-то боялся, что, услышав подозрительный шум, я сначала спущу курок, а потом включу фонарик.

Несколько раз бодро вскидывая ружье и включая фонарик, я старался привыкнуть к этой последовательности, как вдруг вспомнил, что курок моего ружья стоит на предохранителе и если я впопыхах забуду об этом, то, сколько бы я ни нажимал спусковой крючок, выстрела не произойдет. Я отчетливо представил себе такую картину: медведь, слегка ослепленный светом моего фонаря, некоторое время крутит головой, а потом, встав на дыбы, идет на меня, а я, как дурак, жму на спусковой крючок и не могу понять, почему мое ружье не стреляет.

Сначала спустить предохранитель, потом зажечь фонарь, а потом уже нажимать на спусковой крючок, зубрил я про себя эту как будто бы простую последовательность действий, но в условиях этой дикой ночи можно было все перепутать.

Кстати, свет от фонарика оказался настолько слабым, что он не то что медведя, а и летучую мышь навряд ли мог ослепить. Стараясь быть готовым в любое мгновение зажечь фонарь, то есть спустить предохра-

нитель, я для бодрости и ясности головы несколько раз прикладывался к фляжке. Я около десяти раз проделал все эти операции, разумеется, кроме выстрела, и, довольный собой, уже оставил было винтовку, как вдруг почувствовал, что забыл, в каком положении должна находиться пластинка предохранителя, когда она предохраняет ружье от случайного выстрела. Я никак не мог припомнить, в каком положении она предохраняет от выстрела, эта проклятая пластинка: когда она сдвинута вниз или оттянута вверх.

Сначала я старался припомнить, как было до того, как я стал тренироваться. Но я ничего не мог припомнить. Тогда я решил логически или даже филологически дойти до истины. Говорят, рассуждал я про себя, надо спустить курок. Не означает ли это, что и предохранитель надо спустить, то есть сдвинуть пластинку вперед? Но, с другой стороны, не означает ли спустить курок — это оттянуть мешающий курку предохранитель и, значит, сдвинуть пластинку на себя?

Я чувствовал, что мне не хватает какого-то одного шага, одного усилия ума, чтобы решить эту кошмарную логическую задачу, и я несколько раз, чтобы прояснить свой мозг, прикладывался к фляжке и вдруг обнаружил, что она пуста.

Я решил больше не заниматься этой растреклятой логической задачей, осторожно отставил от себя ружье на такое расстояние, что я ни ногой, ни рукой не смогу его задеть, даже если усну под сенью молодого бука. Обезопасив себя таким образом, я несколько успокоился. Я решил, что, если медведь и в самом деле появится, я все сделаю, как отретировал, и если не послышится выстрел, надо сдвинуть пластинку предохранителя в другое положение.

Тут я вспомнил про коньяк, и мне стало стыдно, что я один, без Марата, выпил весь коньяк. Но потом, после зрелых раздумий, я решил, что я правильно сделал. Делиться коньяком с человеком, который собирается всю ночь провести на дереве, прежде всего опасно для его собственной жизни.

Именно это я ему сказал, когда он рано утром спустился с дерева и попросил сделать пару глотков. Марат на меня сильно обиделся и, не говоря ни слова, ушел под сень грецкого ореха искать орехи. Через некоторое время, вскинув голову на дерево, он закричал: «Белка!» — и выстрелил. Белка висела несколько мгновений на кончике качающейся ветки. Марат промазал. Я вскинул ружье, зачем-то включил фонарь, хотя было совсем светло, и выстрелил. Только тут я вспомнил про предохранитель, значит, все-таки мое ружье не стояло на предохранителе. «Ай да молодец!» — подумал я про себя.

Шумя листьями, белка полетела с дерева. Я подбежал и поднял ее легкое, теплое еще тело. Марат даже не взглянул в мою сторону. Нагнувшись, он искал под деревом грецкие орехи, уже начинавшие вылучиваться из кожуры и падать с дерева.

Вот какое охотничье приключение было у нас с Маратом, если не считать встречу с геологами на обратном пути. Мы остановились на несколько часов в их лагере, и Марат попытался ухаживать за пожилой геологиней, которая сначала никак не могла понять, что от нее хочет

Марат, а потом, поняв, выгнала его из своей палатки, куда он забрался во время всеобщего послеобеденного сна. Позже Марат свой неуспех у геологини объяснял тем, что был в плохой форме после бессонной ночи и действовал чересчур прямолинейно.

Но я отвлекся. Марат женился и решил бросить медвежью шкуру к ногам молодой жены в качестве награды за рождение славного наследника рода.

Чтобы действовать наверняка, он начал с того, что поехал на Урал покупать чистокровную сибирскую лайку. Он привез эту лайку и носился с ней, как хороший отец с первенцем. Жена его с первых же дней возненавидела это благородное животное. Насколько я знаю, лайка ей отвечала тем же.

Сведения о его семейной жизни этого периода очень скудны. Одно ясно, что в его доме не было большого благополучия. Тем не менее его жена родила дочку, и они так или иначе продолжали жить вместе.

Несколько позже, когда Марат неожиданно стал писать стихи и песни, у него появилось довольно известное в местных кругах стихотворение «Я ждал наследника». Стихотворение это можно рассматривать как грустный упрек в адрес судьбы, который, кстати говоря, легко переадресовать и на его жену.

Дочку свою он, конечно, любил, и я несколько раз видел его на бульваре, прогуливающего ее всю разодетую в полупрозрачный нейлон, и каждый раз эта сцена (гордо возвышающийся Марат и маленькая толстенькая девочка с телом, розовеющим сквозь нейлон) пародийно напоминала лучшие времена Марата, когда он по набережной прогуливался с Люсей Кинжаловой.

Кстати, сколько я ему ни говорил бросить эти пустые занятия, я имею в виду стихи, или в крайнем случае хотя бы бегло познакомиться с историей поэзии, или в самом крайнем случае хотя бы прочитать самых известных современных поэтов, Марат отмахивался от моих советов и продолжал писать с упорством, генетический код которого, безусловно, заложен в нем материнской линией.

И вот что всего удивительней для человека, который ни разу в жизни не раскрыл ни одного стихотворного сборника, он добился немалых успехов. Он стал печататься в нашей местной газете, а две его песни вышли и на всесоюзную арену, во всяком случае, их несколько раз передавали по радио. Никак не умаляя заслуг Марата, я все-таки должен отметить, что успех его песен — безусловное следствие очень низкого профессионального уровня этого жанра.

Тут я приступаю к самому щекотливому месту своего рассказа. Видно, писание стихов после приобретения сибирской лайки окончательно добило его жену. Во всяком случае, целомудрие ее пошатнулось. Во время одного из охотничьих походов Марата жена его изменила ему с монтером, приходившим починять электричество. Может, она это сделала, пользуясь отсутствием лайки, может, она и ненавидела лайку как потенциального свидетеля ее вероломных замыслов. Теперь это трудно установить.

Оказывается, этот пьяница-монтер сам же первый и рассказал о своей победе над женой Марата. Между прочим, несмотря на то, что

рассказывал он это в среде таких же полулюмпенов-пьяниц, они упрекнули его за то, что он посмел обесчестить нашего Марата.

— Да она сама первая,— говорят, оправдывался электрик,— да она мне даже стремянку не дала сложить...

Почему-то именно это последнее обстоятельство больше всего поразило воображение мухусчан.

— Даже стремянку не дала сложить,— говорили они, как о бесстыжем признаке окончательной порчи нравов. Получалось, что стремянка, во всяком случае в развернутом виде, как бы приравнивается к живому существу, и грехопадение в присутствии раздвинутой стремянки превращается в акт особого цинизма. Между прочим, она продолжала встречаться с этим электриком уже вне связи с починкой электричества и, само собой разумеется, без всякой стремянки.

Примерно через полгода она ушла от Марата к этому монтеру, чем несколько сгладила свой грех, но никак не сгладила боль и обиду Марата. Лично мне он показывал тот самый кинжал, которым он когда-то искромсал удава, а теперь собирался зарезать ее и его. Мне стоило многих слов заставить его отказаться от этой страшной и, главное, никчемной мести. Разумеется, я был не один из тех, которые уговаривали его не делать этого хотя бы ради его собственной матери и его собственного ребенка.

Так как Марат достаточно широко извещал о своем намерении, я ждал, что лыхнинские родственники не замедлят явиться и каким-то образом укротят его гневную мечту, но они почему-то притихли и в город не приезжали. Можно догадываться, что по их таинственному кодексу морали в намеренье Марата не было ничего плохого. Точно так же они не препятствовали Марату, когда он сблизился с укротительницей удава. Не только в убийстве удава, но и в самой связи с укротительницей они, по-видимому, ничего плохого не видели, кроме молодечества или, выражаясь их языком, проявления мужчинства.

После ухода жены нервы у Марата стали сильно пошаливать. Всякие ночные звуки не давали ему спать и выводили из себя. Собственный будильник он на ночь заворачивал в одеяло и уносил в ванную. Жужжание мухи или писк комара превращали ночь в адское испытание.

А тут еще как назло была весна, и в пруду недалеко от дома Марата всю ночь квакали лягушки. Они настолько ему мешали жить, что он каждый день стал охотиться на них с мелкокалиберной винтовкой, решив известить всех лягушек этого пруда.

С неделю он стрелял лягушек, но потом этот, можно сказать, сизифов труд был прерван делегацией лыхнинских родственников, которые подошли прямо к пруду, и старейший из них вежливо, но твердо взял из рук Марата его мелкокалиберку.

Настоящий мужчина, было сказано при этом Марату, охотится на оленя, на волка, на медведя и на другую дичь. В крайнем случае, если из-под него кто-то выволакивает жену (выражаясь их языком), он может стрелять в этого человека, но никак не в лягушек, что позорно для их рода и просто так по-человечески смехотворно.

Больше Марат этого не мог выдержать. Он собрал свои пожитки и, покинув наш край, уехал работать в Сибирь на родину своей лайки. Я сознательно (лыхнинские старцы) не даю более точного адреса.

Что касается его бывшей жены, она благополучно живет со своим монтером, насколько благополучно можно жить с человеком, который в пьяном виде поколачивает ее, не без основания утверждая, что она в свое время изменяла мужу. Во всяком случае, можно отдать голову на отсечение, что он ее не называет своим маленьким оруженосцем.

— Меня Марат содержал, как куколку,— жалуется она соседкам после очередных побоев своего монтера.

— Ах, тебя, эфиопка, Марат содержал, как куколку,— рассуждают между собой возмущенные мухусчанки,— а чем ты его отблагодарила? Тем, что отдалась монтеру, даже не дав ему сложить стремянку?!

Перед самым своим отъездом из Мухуса Марат показал мне ответ на письмо, которое он отправлял в Москву на всесоюзный конкурс фотографий, который проводил ТАСС. Он им посылал свой знаменитый снимок, сделанный когда-то в московском метро. Его кровоточащему самолюбию сейчас, как никогда, нужно было признание.

Я прочел ответ конкурсной комиссии. В нем говорилось, что присланный снимок очень интересен, но он не подходит по условиям конкурса, потому что их интересуют **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** фотоснимки, а не фотомонтаж, хотя и остроумно задуманный.

Они ему не поверили. Что я мог сказать Марату? Что рок никогда не останавливается на полпути, а всегда до конца доводит свой безжалостный замысел?!

И все-таки я верю, что Марат еще возродится во всем своем блеске. Но сейчас я хочу спросить у богов Олимпа во главе с громовержцем Зевсом, я хочу спросить у хитроумного Одиссея, у бесстрашного Ахиллеса, у шлемоблещущего Гектора, у всех у них, умудренных опытом естественной борьбы за обладание нежной, лепокудрой Еленой. Пусть они мне ответят, как? как? как?! эта приземистая тумба с головой совенка могла сломать нашего великого друга, чьи неисчислимые победы совершались почти на наших глазах. Или тайна сия нераскрытой пребудет в веках, и нам ничего не остается, как суеверно воскликнуть: «Прочь, богомерзкая тварь! Изыди, сатана!»

Для писателя забавность эпохи застоя состояла в том, что надо было проявить немало жульнической изворотливости, чтобы остаться честным.

Каждое направление порождает свои пороки.

Либерал: маленькая общественная честность, оправдывающая большое личное бесчестье. Консерватор: большое общественное бесчестье, делающее уже ненужной маленькую личную честность.

Государственник: личная и общественная честность полностью заменяется диалектическим и, соответственно, историческим материализмом.

Только не надо говорить, как говорил один мой герой, что трусость — это храбрость в девичестве. Природа юмора не вполне ясна, например, почему-то смешно звучит: человек аналогичной нации.

Т. ТОЛСТАЯ

Факир

Филин — как всегда неожиданно — возник в телефонной трубке и пригласил в гости: посмотреть на его новую пассию. Программа вечера была ясна: белая хрустящая скатерть, свет, тепло, особые слоеные пирожки по-тмутаракански, приятнейшая музыка откуда-то с потолка, захватывающие разговоры. Всюду синие шторы, витрины с коллекциями, по стенам развешаны бусы. Новые игрушки — табакерка ли с портретом дамы, упивающейся своей розовой голой напудренностью, бисерный кошелек, пасхальное, может быть, яйцо или же так что-нибудь — ненужное, но ценное.

Сам Филин тоже не оскорбит взгляда — чистый, небольшой, в домашнем бархатном пиджаке, маленькая рука отяжелена перстнем. Да не штампованным, жлобским, «за рупь пятьдесят с коробочкой», — зачем? — нет, прямо из раскопок, венецианским, если не врет, а то и монетой в оправе — какой-нибудь, прости господи, Антиох, а то поднимай выше... Таков Филин. Сядет в кресло, покачивая туфлей, пальцы сложит домиком, брови дегтярные, прекрасные анатолийские глаза — как сажа, борода сухая, серебряная, с шорохом, только у рта черно — словно уголь ел.

Есть, есть на что посмотреть.

Дамы у Филина тоже не какие-нибудь — коллекционные, редкие. То циркачка, допустим, — вьется на шесте, блистая чешуей, под гром барабанов, или просто девочка, мамина дочка, мажет акварельки — ума на пяточок, зато сама белизны необыкновенной, так что Филин, зовя на смотрины, даже предупреждает: непременно, мол, приходите в черных очках во избежание снежной слепоты.

Кое-кто Филина втихомолку не одобрял, со всеми этими его перстнями, пирожками, табакерками; хихикали насчет его малинового халата с кистями и каких-то будто бы серебряных янычарских тапок с загнутыми носами; и смешно было, что у него в ванной — специальная щетка для бороды и крем для рук — у холостяка-то... А все-таки позовет — и бежали, и втайне всегда холодели: пригласит ли еще? даст ли посидеть в тепле и свете, в неге и холе, да и вообще — что он в нас, обыкновенных, нашел, зачем мы ему нужны?..

—...Если вы сегодня ничем не заняты, прошу ко мне к восьми часам. Познакомьтесь с Алисой — преле-естное существо.

— Спасибо, спасибо, обязательно!

Ну как всегда, в последний момент! Юра потянулся к бритве, а Галя, змеей влезая в колготки, инструктировала дочь: каша в кастрюле, дверь никому не открывать, уроки — и спать! И не висни на мне, не висни, мы и так опаздываем! Галя напихала в сумку полиэти-

леновых пакетов: Филин живет в высотном доме, под ним гастроном, может быть, селедочное масло будут давать или еще что перепадет.

За домом обручем мрака лежала окружная дорога, где посвистывал мороз, холод безлюдных равнин проник под одежду, мир на миг показался кладбищенски страшным, и они не захотели ждать автобуса, тесниться в метро, а поймали такси и, развалясь, с комфортом, осторожно побранили Филина за бархатный пиджак, за страсть к коллекционированию, за незнакомую Алису: а где прежняя-то, Ниночка? — ищи свищи; погадали, будет ли в гостях Матвей Матвейч, и дружно Матвей Матвейча осудили.

Познакомились они с ним у Филина и так были стариком очарованы: эти его рассказы о царствовании Анны Иоанновны, и опять же пирожки, и дымок английского чая, и синие с золотом коллекционные чашки, и журчащий откуда-то сверху Моцарт, и Филин, ласкающий гостей своими мефистофельскими глазами, — фу-ты, голова одурела — напросились к Матвей Матвейчу в гости. Разбежались! Принял на кухне, пол дощатый, стены коричневые, голые, да и вообще район кошмарный, заборы и ямы, сам в тренировочных штанах, совершенно уже белесых, чай спитой, варенье засахаренное, да и то прямо в банке на стол брякнул, ложку сунул: выковыривайте, мол, гости дорогие. А курить — только на лестничной площадке: астма, не обессудьте. И с Анной Иоанновной прокол вышел: расположились — бог с ним, с чаем — послушать журчащую речь про дворцовые шуры-муры, всякие там перевороты, а старик все развязывал жуткие папки с тесемками, все что-то тыкал пальцем, крича о каких-то земельных наделах, и что вот Кузин, бездарь, чинуша, интриган, печататься не дает и весь сектор против Матвей Матвейча настраиивает, но ведь вот же, вот же: ценнейшие документы, всю жизнь собирал! Галя с Юрой хотели опять про злодеев, про пытки, про ледяной дом и свадьбу карликов, но не было рядом Филина и некому было направить разговор на интересное, а весь вечер только Ку-у-узин! Ку-у-узин! — и тыканье в папки, и валерьянка. Уложив старика, рано ушли, и Галя порвала колготки о старикову табуретку.

— А бард Власов? — вспомнил Юра.

— Молчи уж!

С тем все вышло вроде бы наоборот, но позор страшный: тоже подцепили у Филина, пригласили к себе, назвали приятелей — слушать, отстояли два часа за тортом «Полено». Заперли дочь в детской, собаку на кухне. Пришел бард Власов, хмурый, с гитарой, торт и пробовать не стал: крем смягчит голос, а ему нужно, чтоб было хрипло. Пропел пару песен: «Тетя Мотя, ваши плечи, ваши перси и ланиты, как у Нади Команечи, физкультурой развиты...» Юра позорился, вылезал со своим невежеством, громко шептал посреди пения: «Я забыл, перси — это какие места?» Галя волновалась, просила, чтобы непременно спеть «Друзья», прижимала руки к груди: это такая песня, такая песня! Он пел ее у Филина — мягко, грустно, заунывно — вот, мол, «за столом, клеенкой покрытым, за бутылкой пива собравшись» сидят старые друзья, лысые, неудачники. И у каждого что-то не так, у каждого своя грусть: «одному любовь не под силу, а другому

князь не по нраву» — и никто-то никому помочь не может, увы! — но ведь вот же они вместе, они друзья, они нужны друг другу, и разве это не самое важное на свете? Слушаешь — и кажется, что — да-да-да, у тебя тоже что-то такое примерно в жизни, да, вот именно! «Во — песня! Коронный номер!» — шептал и Юра. Бард Власов еще больше нахмурился, сделал далекий взгляд — туда, в ту воображаемую комнату, где любящие друг друга плешивыцы откупоривали далекое пиво; перебрал струны, начал печально: «За столом, клеенкой покрытым...» Запертая в кухне Джулька заскребла когтями по полу, завывла. «За бутылкой пива собравшись», — поднажал бард Власов. «Ы-ы-ы», — волновалась собака. Кто-то хрюкнул, бард оскорбленно зажал струны, взял папиросу. Юра пошел делать Джульке внушение. «Это у вас автобиографическое?» — почтительно спросил какой-то дурак. «Что? У меня все где-то автобиографическое». Юра вернулся, бард бросил окурок, сосредоточиваясь. «За столом, клеенкой покрыты-ым...» Мучительный вой пошел из кухни. «Музыкальная собачка», — со злобой сказал бард. Галя поволокла упирающуюся овчарку к соседям, бард поспешно допел — вой глухо проникал сквозь кооперативные стенки — скомкал программу, и в прихожей, дергая «молнию» куртки, с отвращением сообщил, что вообще-то он берет по два рубля с носа, но раз они не умеют организовать творческую атмосферу, то сойдет и по рублю. И Галя опять побежала к соседям — кошмар, одолжите червонец, — и те, тоже перед получкой, долго собирали мелочью и вытрясли даже детскую копилку под рев обобранных детей и лай рвущейся Джульки.

Да, вот Филин с людьми умеет, а мы — как-то нет. Ну, может быть, в другой раз получится.

Время до восьми еще было — как раз чтобы постоять за паштетом в гастрономе у Филинова подножия, ведь вот, тоже — на нашей-то окраине коровы среди бела дня шляются, а паштета что-то не видать. Без трех восемь вступить в лифт — Галя, как всегда, оглядится и скажет: «В таком лифте жить хочется», потом вощенный паркет безбрежной площадки, медная табличка: «И. И. Филин», звонок — и наконец он сам на пороге — просияет черными глазами, наклонит голову: «Точность — вежливость королей...» И как-то ужасно приятно это услышать, эти слова, — словно он, Филин, султан, а они и впрямь короли — Галя в недорогом пальто и Юра в куртке и вязаной шапочке.

И всплывут они, королевская чета, избранная на один вечер, в тепло и свет, в сладкие фортепьянные рулады, и прошествуют к столу, где разморенные розы знать не знают ни о каком морозе, ветре, тьме, что обступили неприступную Филинову башню, бессильные пробраться внутрь.

Что-то неудовимо новое в квартире... а, понятно: витрина с бирсерными безделушками сдвинута, бра переехало на другую стену, арка, ведущая в заднюю комнату, зашторена, и, отогнув эту штору, выходит и подает руку Алиса, прелестное якобы существо.

— Аллочка.

— Да, вообще-то она Аллочка, но мы с вами будем звать ее Али-

сой, не правда ли? Прошу к столу,— сказал Филин.— Ну-с! Рекомендую паштет. Редкостный! Таких паштетов, знаете ли...

— Внизу брали, вижу,— обрадовался Юра.— И спускаемся мы-ы. С пак-каренных вершин-н. Ведь когда-то и боги спуска-ались на землю. Верно?

Филин тонко улыбнулся, повел бровями — дескать, может, да, внизу брал, а может, и нет. Все-то вам надо знать. Галя мысленно пнула мужа за бестактность.

— Оцените тарталетки,— начал новый заход Филин.— Боюсь, что вы последние, кто их пробует на этой многогрешной земле.

Сегодня он почему-то называл пирожки тарталетками — должно быть, из-за Алисы.

— А что случилось — муку снимают с продажи? В мировом масштабе?— веселился Юра, потирая руки, костистый нос его покраснел в тепле. Забулькал чай.

— Ничуть не бывало. Что мука! — махнул бородкой Филин.— Галочка, сахару... Что мука! Утерян секрет, друзья мои. Умирает — мне сейчас позвонили — последний владелец старинного рецепта. Девяносто восемь лет, инсульт. Вы пробуйте. Алиса, можно, я налью вам в мою любимую чашку?

Филин затуманил взгляд, как бы намекая на возможность особой близости, могущей возникнуть от такого интимного контакта с его возлюбленной посудой. Прелестная Алиса улыбнулась. Да что в ней такого прелестного? Черные волосы блестят как смазанные, нос крючком, усики. Платье простое, вязаное, цвета соленого огурца. Подумаешь. Здесь и не такие сживали — где они теперь?

—...И вы подумайте,— говорил Филин,— еще два дня назад заказал я этому Игнатию Кириллычу тарталетки. Еще вчера он их пек. Еще сегодня утром я их получил — каждую в папиросной бумажке. И вот — инсульт. Из Склифосовского дали мне знать.— Филин куснул слоеную бомбошку, поднял красивые брови и вздохнул.— Когда Игнатий еще мальчиком служил у «Яра», старый кондитер Кузьма, умирая, передал ему секрет этих изделий. Вы пробуйте.— Филин вытер бородку.— А этот Кузьма в свое время служил в Петербурге у Вольфа и Беранже — знаменитые кондитеры. Говорят, перед роковой дуэлью Пушкин зашел к Вольфу и спросил тарталеток. А Кузьма в тот день валялся пьян и не испек. Ну, выходит управляющий, разводит руками. Нету, Александр Сергеич. Такой народ-с. Не угодно ли бушэ? Тру-убочку, может, со сливками? Пушкин расстроился, махнул шляпой и вышел. Ну-с, дальнейшее известно. Кузьма пропался — Пушкин в гробу.

— О боже мой...— испугалась Галя.

— Да-да. И вы знаете, это так на всех подействовало. Вольф застрелился, Беранже принял православие, управляющий пожертвовал тридцать тысяч на богоугодные заведения, а Кузьма — тот просто рехнулся. Все, говорят, повторял: «Э-эх, Лексан Серге-и-ич... Тарталеточек моих не поели... Пообождали бы чуток...» — Филин бросил еще пирожок в рот и захрустел.— Дожил, однако, этот Кузьма до начала века. Дряхлыми руками передал рецепт ученикам. Игнатию тесто, другому кому-то начинку. Ну, после — революция, гражданская война.

Тот, что начинку знал, в эсеры подался. Игнатий Кириллыч мой потерял его из виду. Проходит несколько лет, — а Игнатий все при ресторане, — вдруг что-то его дернуло, выходит он из кухни в зал, а там этот, с дамой. Монокль, усы отрастил — не узнать. «Пройдемте, товарищ». Тот заметался, а делать нечего. Идет, бледный, в кухню. «Говори, сволочь, мясную начинку». Куда денешься, прошлое-то подмочено. Сказал. «Говори капустную». Весь дрожит, но выдает. «Теперь саго». А саго у него было абсолютно-у-тно засекречено. Молчит. Игнатий: «Саго!!!» И скалку берет. Тот молчит. Потом вдруг: а-а-а-а! — и побежал. Этот, эсер-то. Бросились, связали, смотрят — а он в уме тронулся, глазами водит и пена изо рта. Так саго и не дознались. Да... А этот Игнатий Кириллыч интересный был старик, прихотливый. Как-к он слойку чувствовал, боже, как чувствовал!.. Пек на дому. Задерживал шторы, на два засова дверь закладывал. Я ему: «Игнатий Кириллыч, голу-убчик, поделитесь секретом, что вам?..» — ни в какую. Все достойного приемника ждал. Теперь вот инсульт... Да вы пробуйте.

— Ой, как жалко... — огорчилась престелная Алиса. — Как же их теперь есть? Мне всегда так жалко всего последнего... Вот у моей мамы до войны брошь была...

— Последний, случайный! — вздохнул Филин и взял еще пирожок.

— Последняя туча рассеянной бури, — поддержала Галя.

— Последний из могикан, — вспомнил Юра.

— Нет, вот у моей мамы жемчужная брошь была до войны...

— Все преходяще, милая Алиса, — жевал довольный Филин. — Все стареет — собаки, женщины, жемчуг. Вздохнем о мимолетности бытия и возблагодарим создателя за то, что дал нам вкусить того-сего на пиру жизни. Кушайте и вытрите слезки.

— Может быть, он еще придет в себя, Игнат этот?

— Не может, — заверил хозяин. — Забудьте об этом.

Жевали. Пела музыка над головами. Хорошо было.

— Чем новеньким побалуете? — поинтересовался Юра.

— А... Кстати напомнили. Веджвуд — чашки, блюдца. Молочник. Видите — синие на полочке. Да вот я сейчас... Вот...

— Ах... — Галя осторожно потрогала пальцем чашку — белые беззаботные танцы по синему туманному полю.

— А вам, Алиса, нравится?

— Хорошие... Вот у моей мамы до войны...

— А знаете, у кого я купил? Угадайте... У партизана.

— В каком смысле?

— Вот послушайте. Любопытная история. — Филин сложил пальцы домиком, с любовью глядя на полочку, где осторожно, боясь упасть, сидел пленный сервиз. — Бродил я осенью с ружьем по деревням. Захожу в избу. Мужик выносит мне парного молока. В чашке. Смотрю — настоящий Веджвуд! Что такое! Ну, разговорились, дядя Саша его зовут, где-то тут адрес у меня... ну, неважно. Что выяснилось. Во время войны партизанил он в лесу. Раннее утро. Летит немецкий самолет. Жу-жу-жу, — изобразил Филин. — Дядя Саша голову поднял, а летчик плюнул — и прямо в него попал. Случайно, конечно. В дяде Саше, естественно, характер ка-ак взыграл, он бабах из пистолета — и немца

наповал. Тоже случайно. Самолет свалился, осмотрели — пожалуйста, пять ящиков какао, шестой — вот, посуда. Видно, к завтраку вез. Я купил у него. Молочник с трещинкой, ну ничего. Раз такие обстоятельства.

— Врет ваш партизан! — восхитился Юра, озираясь и стуча кулаком по колену. — Ну как же врет! Фантастика!

— Ничего подобного. — Филин был недоволен. — Конечно, я не исключаю, что никакой он не партизан, а просто вульгарный воришка, но, знаете... как-то я предпочитаю верить.

Он насутился и забрал чашку.

— Конечно, людям надо верить. — Галя под столом потоптала Юрину ногу. — Со мной тоже удивительный случай был. Юра, помнишь? Купила кошелек, принесла домой, а в нем — три рубля. Никто не верит!

— Почему же, я верю. Бывает, — рассудила Алиса. — Вот у моей мамы...

Поговорили об удивительном, о предчувствиях и вещих снах. У Алисы была подруга, наперед предсказавшая всю свою жизнь — брак, двоих детей, развод, раздел квартиры и вещей. Юра обстоятельно, в деталях, рассказал, как у одного знакомого угнали машину и как милиция остроумно вычислила и поймала вора, но вот в чем была соль — он как-то сейчас точно не припомнит. Филин поведал о знакомой собаке, которая открывала дверь своим ключом и разогревала обед в ожидании хозяев.

— Нет, ну каким же образом? — ахали женщины.

— Как каким? У них плита французская, электрическая, с приводом. Кнопку нажмешь — все включается. Собака смотрит на часы: пора, идет на кухню, орудует там, ну, заодно и себе подогреет. Хозяйева придут с работы, а щи уже кипят, хлеб нарезан, вилки-ложки приготовлены. Удобно.

Филин говорил, улыбался, покачивал ногой, поглядывал на довольную Алису, музыка смолкла, и город словно проступил за окнами. Темный чай курился в чашках, вился сладкий сигаретный дымок, пахло розами, а за окном тихо визжало под колесами Садовое кольцо, валил веселый народ, город сиял вязанками золотых фонарей, радужными морозными кольцами, разноцветным скрипучим снегом, а столичное небо сеяло новый прелестный снежок, свежий, только что изготовленный. И подумать только, все это пиршество, все эти вечерние чудеса раскинуты ради вот этой, ничем не особенной Аллочки, пышно переименованной в Алису, — вон она сидит в своем овощном платье, раскрыла усатый рот и с восторгом глядит на всесильного господина, мановением руки, движением бровей преображающего мир до неузнаваемости.

Скоро Галя с Юрой уйдут, уползут на свою окраину, а она останется, ей можно... Галю взяла тоска. За что, ах, за что?

Посреди столицы угнездился дворец Филина, розовая гора, украшенная семо и овамо разнообразнейше — со всякими зодческими эдакостями, штукенциями и финтибрысами: на цоколях — башни, на башнях — зубцы, промеж зубцов ленты да венки, а из лавровых гирлянд лезет книга — источник знаний, или высовывает педагогическую ножку циркуль, а то, глядишь, посередке вспучился обелиск,

а на нем плотно стоит, обнявши сноп, плотная гипсовая жена, с пресветлым взглядом, отрицающим метели и ночь, с непорочными косами, с невинным подбородком... Так и чудится, что сейчас протрубят какие-то трубы, где-то ударят в тарелки, и барабаны сыграют что-нибудь государственное, героическое.

И вечернее небо над Филиным, над его кудрявым дворцом, играет светом — кирпичным, сиреневым, — настоящее московское, театрально-концертное небо.

А у них, на окружной... боже мой, какая там сейчас густая, малянисто-морозная тьма, как пусто в стылых провалах между домами, да и самих домов не видно, слились с ночным, отягощенным снежными тучами небом, только окна там и сям горят неровным узором; золотые, зеленые, красные квадратики силятся растолкать полярный мрак... Поздний час, магазины закрылись на засовы, последняя старушка выкатилась, прихватив с собой пачку маргарина и яйца-бой, никто не гуляет по улицам просто так, ничего не рассматривает, не глазет по сторонам, каждый порскнул в свою дверь, задернул занавески и тянет руку к кнопке телевизора. Глянешь из окна — окружная дорога, бездна тьмы, прочерчиваемая сдвоенными алыми огоньками, желтые жуки чьих-то фар... Вон проехало что-то большое, кивнуло огнями на колдобине... Вон приближается светлая палочка — огни во лбу автобуса, дрожащее ядрышко желтого света, живые икринки людей внутри... А за окружной, за последней слабой полосой жизни, по ту сторону заснеженной канавы, невидимое небо сползло и упирается тяжелым краем в свекольные поля — тут же, сразу за канавой. Ведь невозможно, немислимо думать о том, что эта глухая тьма тянется и дальше, над полями, сливающимися в белый гул, над кое-как сплетенными изгородями, над придавленными к холодной земле деревьями, где обреченно дрожит тоскливый огонек, словно зажатый в равнодушном кулаке... а дальше вновь — темно-белый холод, горбушка леса, где тьма еще плотней, где, может быть, вынужден жить несчастный волк, — он выходит на бугор в своем жестком шерстяном пальтишке, пахнет можжевельником и кровью, дикостью, бедой, хмуро, с отворачиванием смотрит в слепые ветреные дали, снежные катыши набились между желтых потрескавшихся ногтей, и зубы стиснуты в печали, и мерзлая слеза вонючей бусиной висит на шерстяной щеке, и всякий-то ему враг, и всякий-то убийца...

Напоследок ели ананасы. А потом надо было выметаться. А до дома-то — ого-го сколько... Проспекты, проспекты, проспекты, темные метельные площади, пустыри, мосты и леса, и снова пустыри, и внезапные, голубые изнутри неспящие заводы, и снова леса и летящий перед фарами снег. А дома — унылые зеленые обои, граненый стаканчик абажура в прихожей, тусклая теснота, и знакомый запах, и прикнопленная к стене цветная обложка женского журнала — для украшения. Румяные, противные супруги на лыжах. Она скалится, он греет ей руки. «Озябла?» — называется. «Озябла?» Сорвать бы проклятую, да Юра не дает — любит все спортивное, оптимистическое... Вот пусть и ловит такси!

Ночь вступила в глухие часы, закрылись все ворота, празднующиеся грузовики проносились мимо, звездная крыша окаменела от

стужи, и грубый воздух сваялся в комя. «Шеф, до окружной?..» — метался Юра. Галя скулила и поджимала ноги, попрыгивая на обочине, а за ее спиной, во дворце, догорало последнее окно, розы погружались в дремоту, Алиса лепетала про мамину брошь, а Филин, в халате с кистями, щекотал ее серебряной бородой: у-у, дорогая! Еще ананасов?

Этой зимой они были званы еще раз, и Аллочка уже болталась по квартире как своя, смело хватала дорогую посуду, пахла ландышем, пезевывала.

Филин демонстрировал гостям Валтасарова — дремучего борода-того мужика, замечательного своей способностью к чревовещанию. Валтасаров изображал стук в дверь, доение коровы, грохот телеги, далекий вой волков и как баба бьет тараканов. Звуки индустриальные ему не давались. Юра очень просил поднатужиться, изобразить хотя бы трамвай, но тот не соглашался ни в какую: «Грыжи боюсь». Гале было не по себе: в Валтасарове померещилась ей та степень одичания, до которой им с Юрой рукой подать — через окружную, за канаву, на ту сторону. Устала она, что ли, за последнее время... Еще полгода назад она кинулась бы звать Валтасарова к себе, назвала бы приятелей, подала бы колотого сахару, ржанных лепешек, редьки, допустим, — чем там привык питаться чудо-крестьянин? — и мужик брякал бы коровьим боталом или гремел колодезной цепью под общий изумленный гвалт. Теперь же как-то вдруг ясно стало: ничего не выйдет. Позвать его — что ж, гости посмеются и разойдутся, а Валтасаров останется, попросится, пожалуй, ночевать — освобождай комнату, а она проходная; спать он завалится часов с девяти, запахнет овцами, махоркой, сеновалом; ночью ощупью направится пить воду на кухню, свернет в темноте стул... Тихий мат, Джулька залает, дочь проснется... А может, он лунатик, войдет к ним в спальню в темноте — в белой рубашке, в валенках... Шарить будет... А утром, когда вообще никого видеть не хочется, когда спешить на работу, и голова всклокочена, и холодно, — старик будет сидеть на кухне, долго чаевничать, потом потащит из зипуна безграмотные бумажки: «Дочка, вот тут лекарство мне записали... От всего лечит... Как бы это достать...»

Нет, нет, нечего и думать с ним связываться!

Это только Филин, неутомимый, способен подбирать, кормить, развлекать кого попало — ну и нас, и нас, конечно! О, Филин! Щедрый владелец золотых плодов, он раздает их направо и налево, насыщает голодных и поит жаждущих, он махнет рукой — и расцветают сады, женщины хорошеют, зануды вдохновляются, а вороны поют соловьями.

Вот какой он! Вот он какой!

А какие у него замечательные знакомые... Игнатий Кириллыч, тестознаец. Или эта балерина, к которой он ходит, — Дольцева-Еланская...

— Это, конечно, сценический псевдоним, — качает ногой Филин, любясь потолком. — В девичестве — Собакина, Ольга Иеронимовна. По первому мужу — Кошкина, по второму — Мышкина. Так сказать, игра на понижение. Гремела, гремела в свое время. Великие князья в очереди стояли, топазы мешками волокли. Слабость у нее была — дымчатые топазы. Но очень простая, душевная, прогрессивная женщи-

на. После революции надумала отдать камушки народу. Сказано — сделано: снимает бусы, рвет нитку, сыпает на стол. Тут звонок в дверь: пришли уплотнять. Ну пока то да се, возвращается. — попугай склевал все подчистую. Птичкам, знаете, нужны камни для пищеварения. Нажрался миллионов на пять — и в форточку. Она за ним: «Кокоша, куда?! А народ?!» Он к югу. Она за ним. Добралась до Одессы, как — не спрашивайте. А тут пароход отчаливает, трубы дымят, крики, чемоданы — публика бежит в Константинополь. Попугай — на трубу и сидит. Тепло ему там. Так эта Олечка Собакина, что вы думаете, зацепила своей тренированной ногой за трап и пароход остановила! И пока ей попугая не изловили, не отпустила. Вытрясла из него все до копейки и пожертвовала на Красный Крест. Правда, ножку ей пришлось ампутировать, но она не унывала, с костылями танцевала в госпиталях. Сейчас-то ей куча лет, лежит плашмя, поползла. Хожу вот к ней, Стерна ей читаю. Да, Олечка Собакина, из купцов... Сколько же силы в нашем народе! Сколько силушки нерастраченной...

Галя смотрела на Филина с обожанием. Как-то вдруг сразу он перед ней раскрылся — красивый, бескорыстный, гостеприимный... Ах, везет этой Алке усатой! А она не ценит, глядит равнодушным, блестящим взглядом лемура на гостей, на Филина, на цветы и печенье, словно все это в порядке вещей, словно это так и надо! Словно далеко, на краю света, не томятся Галина дочь, собака, «Озябла» — заложники во мраке, на пороге осинового, дрожащего от злобы леса!

На десерт ели грейпфруты, начиненные креветками, а волшебный мужик пил чай с блюдечка.

И на сердце лежал камень.

Дома, лежа во тьме, слушая стеклянный звон осин на ветру, гудение бессонной окружной дороги, шорох волчьей шерсти в дальнем лесу, шевеление озябшей свекольной ботвы под снежным покровом, думала: никогда нам отсюда не выбраться. Кто-то безмянный, равнодушный, как судьба, распорядился: этот, этот и этот пусть живут во дворце. Пусть им будет хорошо. А вон те, и те, и еще вот эти, и Галя с Юрой — живите там. Да не там, а во-о-о-он там, да-да, правильно. У канавы, за пустырями. И не лезьте, нечего. Разговор окончен. Да за что же?! Позвольте?! Но судьба уже повернулась спиной, смеется с другими, и крепка ее железная спина, — не достучишься. Хочешь — бейся в истерике, катайся по полу, молоти ногами, хочешь — за-таись и тихо зверей, накапливая в зубах порции холодного яду.

Пробовали карабкаться, пробовали меняться, клеили объявления, до кружевных дыр резали и потрошили обменные бюллетени, униженно звонили по телефону: «У нас тут лес... чудный воздух... ребенку очень хорошо, и дачи не нужно... сама такая! От психа слышу!..» Заполняли тетради торопливыми пометками: «Зинаида Самойловна подумает...», «Ксана перезвонит...», «Петру Иванычу только с балконом...» Юра чудом нашел какую-то старуху, сидела одна в трехкомнатной квартире в бельэтаже на Патриарших прудах, капризничала. Пятнадцать семей завергались в обменной цепи, каждая со своими претензиями, инфарктами, сумасшедшими соседками, разбитыми сердцами, утерянными метриками. Капризную старуху возили на такси туда-сюда, доставали ей дорогие лекарства, теплую обувь, вет-

чину, сулили деньги. Вот-вот-вот уже все должно было свершиться, тридцать восемь человек дрожали и огрызались, рушились свадьбы, лопались летние отпуска, где-то в цепи пал некто Симаков, прободение язвы,— неважно, прочь! — ряды сомкнулись, еще усилие, старуха юлит, сопротивляется, под страшным нажимом подписывает документы, и в тот момент, когда где-то там, в заоблачных сферах, розовый ангел воздушным пером уже заполнял ордера — трах! она передумала. Вот так — взяла и передумала. И отстаньте все от нее.

Вопль пятнадцати семей потряс землю, отклонилась земная ось, изверглись вулканы, тайфун «Анна» смел молодое слаборазвитое государство, Гималаи стали еще выше, а Марианская впадина — еще глубже, но Галя и Юра остались там, где и были. И волки хохотали в лесу. Ибо сказано: кому велено чирикать, не мурлыкайте. Кому велено мурлыкать, не чирикайте.

«Донос, что ли, написать на старуху», — сказала Галя. «Да, но куда?» — осунувшийся Юра горел нехорошим пламенем, жалко было на него смотреть. Прикинули так и эдак — некуда. Разве апостола Петру, чтобы не пускал в рай поганку. Юра набрал в карьере камня и поехал ночью на Патриаршие пруды, чтобы выбить окна в бельэтаже, но вернулся с сообщением, что уже выбито — не они одни такие умные.

Потом поостыли, конечно.

Теперь она лежала и думала о Филине: как он складывает пальцы домиком, улыбается, покачивает ногой, как поднимает глаза к потолку, когда говорит... Ей так много нужно было бы ему сказать... Яркий свет, яркие цветы, яркая серебряная борода с черным пятном вокруг рта. Конечно, Алиса ему не пара, и страну чудес ей не оценить. Да и не заслужила. Тут должен быть кто-то понимающий...

— Бла-бла-бла,— зачмокал Юра во сне.

...Да, кто-то понимающий, чуткий... Малиновый халат ему отпаривать... Напускать ванну... Тапки что-нибудь...

Вещи поделить так: Юра пусть берет квартиру, собаку, мебель. Галя заберет дочь, что-нибудь из белья, утюг, стиральную машину. Гостер. Зеркало из коридора. Мамины хорошие вилки. Горшок с фиалкой. Вот и все, пожалуйте.

Да нет, глупости. Разве может он понять Галину жизнь, Галино третесортное бытие, унижения, тычки в душу? Разве расскажешь! Разве расскажешь — ну вот хотя бы, как Галя раздобыла — хитростью, подкупом, нужными звонками — билет в Большой театр — в партер!!! — один-единственный билет (правда, Юра искусством не заинтересовался), как мыла, парила и завивала себя, готовясь к большому событию, как вышла из дому на цыпочках, заранее лелея в себе золотую атмосферу возвышенного, — а была осень, грянул дождь, и такси не сыщешь, и Галя заметалась по слякоти, проклиная небеса, судьбу, градостроителей, а добравшись наконец до театра, увидела, что забыла дома туфли, а ноги-то — ой... Голенища в кляксах, на подошвах рыжие лепешки, а из них трава торчит клочьями — пырей вульгарный, сныть окраинная, гнусняк вездесущий. И даже подол в дрянце.

И Галя — ну что она такого сделала? — просто тихонько про-

кралась в туалет и носовым платочком мыла сапоги и застирывала позорный подол. И тут подвалила какая-то жаба — не из персонала, а тоже любитель прекрасного, — вся как лиловое желе, затрясла камнями: да как вы смэ-э-ете! в Большом тэа-тре! скоблить свои поганные но-оги! да вы не в ба-ане! — и понесла, и понесла, и люди стали оборачиваться, перешептываться и, не разобравшись, сурово глядеть.

И уже все было испорчено, погребло и пропало, и Гале уже было не до высокого волнения, и маленькие лебеди попусту наярывали медленной рысью прославленный свой танец, — вскипая злыми слезами, терзаясь неотмщенной обидой, Галя без всяких восторгов давила танцовщиц взглядом, различая в бинокль их желтоватые трудовые лица, рабочие шейные жилы, и сурово, безжалостно твердила себе, что никакие они не лебеди, а члены профсоюза, что все у них, как у простых людей — и вросшие ногти, и неверные мужья, что вот сейчас отпляшут они сколько велено, натянут теплые рейтузы — и по домам, по домам: в ледяное Зюзино, в жидкое Коровино, а то и на самую страшную окрестную дорогу, где по ночам молча воеет Галя, в ту непролазную жуть, где бы только хищной нелюди рыскать да каркать воронью. И вот пусть-ка такая вот белая беспечная трепетунья, вон хоть та, проделает ежедневный Галин путь, пусть провалится по брюхо в мучительную глину, в вязкий докембрий окраин, да повернется, выкарабкавшись, — вот это будет фуэтэ!

Да разве расскажешь!

В марте он их не позвал, и в апреле не позвал, и лето прошло впустую, и Галя изнервничалась: что случилось? надоели? недостойны? Устала мечтать, устала ждать телефонного звонка, стала забывать дорогие черты: теперь он представлялся ей гигантом, ифритом, с пугающе черным взглядом, огромными, искрящимися от перстней руками, с металлическим шорохом сухой восточной бороды.

И она не сразу узнала его, когда он прошел мимо нее в метро — маленький, торопливый, озабоченный, — миновал ее, не заметив, и идет себе, и уже не окликнуть!

Он идет, как обычный человек, маленькие ноги его, привыкшие к вощеным паркетам, избалованные бархатными тапками, ступают по зашарканному банному кафелю перехода, избегают на объеденные ступени; маленькие кулачки шарят в карманах, нашли носовой платок, пнули — буф, буф! — по носу — и снова в карман; вот он встряхнулся как собака, поправил шарф — и дальше, под арку с чахлой золотой мозаикой, мимо статуи партизанского патриарха, недоуменно растопырившего бронзовую длань с мучительной ошибкой в расположении пальцев.

Он идет сквозь толпу, и толпа, то сгущаясь, то редая, шуршит, толкаясь, ему навстречу, — веселая тучная дама, янтарный индус в белоснежных мусульманских кальсонах, воин с чирьями, горные старухи в калошах, оглушенные суетой.

Он идет, не оглядываясь, нет ему дела до Гали, до ее жадных глаз, вытянутой шеи — вот подпрыгнул, как школьник, скользнул на эскалатор — и прочь, и скрылся, и нет его, только теплый резиновый ветер от набежавшего поезда, шип и стук дверей и говор толпы, как говор вод многих.

И в тот же вечер позвонила Аллочка и с возмущением рассказала, что они с Филиным ходили подавать заявление в загс и там, заполняя документы, она обнаружила, что он — самозванец, что квартиру в высотном доме он снимает у какого-то полярника, и все вещишки-то скорее всего не его, а полярниковы, а сам он прописан в городе Домодедово! И что она гордо швырнула ему документы и ушла, не из-за Домодедова, конечно, а потому, что выходить замуж за человека, который вот так хоть настолечко соврал, ей не позволяет гордость. И чтобы они тоже знали, с кем имеют дело.

Вот оно как... А они-то с ним знали! Да он ничем не лучше их, он такой же, он просто притворялся, мимикрировал, жалкий карлик, клоун в халате падишаха! Да они с Юрой в тыщу раз честнее! Но он хоть понимает теперь, что виноват, разоблачен, попался?

Даже с площадки было слышно, что у кого-то сварена рыба. Галя позвонила, Филин открыл и изумился. Он был один и выглядел плохо, хуже Джульки. Все ему высказаты! Что церемониться? Он был один, и нагло ел треску под музыку Брамса, и на стол перед собой поставил вазу с белыми гвоздиками.

— Галочка, вот сюрприз! Не забыли... Прошу — судак орли, свежий.— Филин подвинул треску.

— Все знаю,— сказала Галя и села, как была, в пальто.— Алиса мне все сказала.

— Да, Алиса, Алиса, коварная женщина! Ну, рыбки?

— Нет, спасибо! И про Домодедово я знаю. И про полярника.

— Да, ужасная история,— огорчился Филин.— Три года просидел человек в Антарктиде, и еще бы сидел — это романтично — и вдруг такая беда. Но Илизаров поможет, я верю. У нас это делают.

— Что делают? — опешила Галя.

— Уши. Вы не знаете? Полярник-то мой уши отморозил. Сибиряк, широкая натура, справляли они там Восьмое марта с норвежцами, одному норвежцу его ушанка понравилась, он возьми да и поменяйся с ним. На кепку. А на улице мороз восемьдесят градусов, а в помещении плюс двадцать. Сто градусов перепад температуры — мыслимо ли? С улицы его зовут: «Леха!» — он голову наружу высунул, уши — раз! — и отвалились. Ну, конечно, паника, вlepили ему строгача, уши — в коробку и сейчас же самолетом в Курган, к Илизарову. Так что вот... Уезжаю.

Галя тщетно искала слова. Что-нибудь побольнее.

— И вообще,— вздохнул Филин.— Осень. Грустно. Все меня бросили. Алиса бросила... Матвей Матвееч носу не кажет... Может, умер? Одна вы, Галочка... Одна вы могли бы, если б захотели. Ну теперь я к вам поближе буду. Теперь поближе. Покушайте судачка. «Айнмаль ин дер вохе — фиш!» Что значит: раз в неделю — рыба! Кто сказал? Ну, кто из великих сказал?

— Гёте? — пробормотала Галя, невольно смягчаясь.

— Близо. Близо, но не совсем.— Филин оживился, помолодел.— Забываем историю литературы, ай-яй-яй... Напомню: когда Гёте — тут вы правы — глубоким стариком полюбил молодую, преле-естную Ульрику и имел неосторожность посвататься,— ему было грубо отказано. С порога. Вернее — из окна. Прелестница высунулась в форточку

и облаяла олимпийца — ну, вы же это знаете, не можете не знать. Старый, мол, а туда же. Фауст выискался. Рыбы больше есть надо — в ней фосфор, чтобы голова варила. Айнмаль ин дер вохе — фиш! И форточку захлопнула.

— Да нет! — сказала Галя. — Ну зачем... Я же читала...

— Все мы что-нибудь читали, дорогая, — расцвел Филин. — А я вам привожу голые факты. — Он уселся поудобнее, возвел глаза к потолку. — Ну, бредет старик домой, совершенно разбитый. Как говорить, прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя!.. Сгорбился, звезда на шее — бряк-бряк, бряк-бряк... А тут вечер, ужин. Подали дичь с горошком. Он дичь сильно уважал, с этим-то, надеюсь, вы спорить не будете? Свечи горят, на столе серебро, конечно, такое немецкое, — знаете, с шишками, — аромат... Так — дети сидят, так — внуки. В уголку секретарь его, Эккерман, примостился, строчит. Гёте крылышко поковырял — бросил. Не идет кусок. Горошек уж тем более. Внуки ему: деда, ты чего? Он так это встал, стулом шурнул и с горечью: раз в неделю, говорит, рыба! Заплакал и вышел. Немцы, они сентиментальные. Эккерман, конечно, тут же все это занес в свой кондуит. Вы почитайте, если не успели: «Разговоры с Гёте». Поучительная книга. Кстати, эту дичь — абсолютно уже окаменевшую, — до тридцать второго года показывали в Веймаре, в музее.

— А горошек куда же дели? — свирепея спросила Галя.

— Коту скормили.

— С каких это пор кот ест овощи?!

— У немцев попробуй не съешь. У них дисциплинка!

— Что, про кота тоже Эккерман пишет?..

— Да, это есть в примечаниях. Смотри, конечно, какое издание?

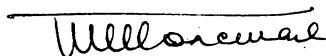
Галя встала, вышла прочь, вниз и на улицу. Прощай, розовый дворец, прощай, мечта! Лети на все четыре стороны, Филин! Мы стояли с протянутой рукой — перед кем? Чем ты нас одарил? Твое дерево с золотыми плодами засохло, и речи твои — лишь фейерверк в ночи, минутный бег цветного ветра, истерика огненных роз во тьме над нашими волосами.

Темнело. Осенний ветер играл бумажками, черпал из урн. Она заглянула напоследок в магазин, что подточил, как прозрачный червь, ногу дворца. Постояла у невеселых прилавков — говяжьи кости, пюре «Рассвет». Что ж, сотрем пальцем слезы, размажем по щекам, заплюем лампы: и бог наш мертв, и храм его пуст. Прощай!

А теперь — домой. Путь не близкий. Впереди — новая зима, новые надежды, новые песни. Что ж, воспоем окраины, дожди, посеревшие дома, долгие вечера на пороге тьмы. Воспоем пустыри, бурные травы, холод земляных пластов под боязливой ногой, воспоем медленную осеннюю зарю, собачий лай среди осиновых стволов, хрупкую золотую паутину и первый лед, первый синеватый лед в глубоком отпечатке чужого следа.

Писатель как личность не имеет ничего общего с автором своих книг. Автор может быть романтическим, бледным юношей, а писатель-то толстый, лысый, с одышкой и любит пирожки с ливером. Вся романтическая школа предполагает какие-то плащи, кудри, кинжалы... а стоит посмотреть на портреты писателей: кто в очках, кто с тремя подбородками. Евгений Шварц сказал об этом явлении лучше всех: «Скаковая лошадь хороша на ипподроме. Но пригласите ее к завтраку — и вы будете разочарованы».

А не надо обольщаться. Я тоже всегда разочаровываю своих читателей, имеющих несчастье со мной встретиться лицом к лицу. Одни — те, что полагали, что я семидесятилетний божий одуванчик с наивными голубыми глазенками, — обычно радуются своей ошибке. Другие, коварно обманутые моими фотографиями, обычно пугаются. Впрочем, я не считаю себя ответственной за иллюзии читателей, как и не считаю, что я им что-нибудь должна. У нас любят повторять: «Писатель всегда в долгу перед народом...» Это неправда. Вот два письма, полученные мной от народа. Один читатель — капитан дальнего плавания — хочет на мне жениться. Другой — ветеран и пенсионер республиканского значения — хочет посадить меня на электрический стул. Не могу же я идти навстречу всем пожеланиям трудящихся. Жениться еще ладно — это надо ехать в Норильск, а вот стул-то — это в Америке, а с визами сами знаете, как непросто. Подождем, пока наладят отечественные?



МЕТАМОРФОЗЫ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ТРАГЕДИЯ И ФАРС ОБЫДЕННОСТИ

Откуда берется мысль о маленьком человеке, почему она оживает?

Вроде бы и забыть пора: не те времена и нравы, да и литература не та.

Но, бывает, читаешь-читаешь что-нибудь вполне современное, вполне наше по набору бед и радостей, и вдруг вспомнишь пушкинского стационарного зрителя в передней у его высокоблагородия или бедного Акакия Акакиевича Башмачкина посреди холодного петербургского пространства: кричи — не докричишься...

Или достаточно почувствовать, что человек увиден писателем рядом с чем-то, что явно больше и сильнее человека и от чего невозможно освободиться? А может быть, не рядом, а внутри чего-то безмерно превосходящего, могущественного, ну, например, разросшейся, гигантской плоти государства?

Во всяком случае, как ни велика земля и как ни бескрайне небо, человек не подавлен ими. Затерянный в космосе и времени, подчиненный их бесконечной силе, он не унижен.

Мысль о маленьком человеке приходит в голову, когда художник свидетельствует о подавленном и униженном человеческом существовании, о тирании обстоятельств, о неравном, чаще одиноком сопротивлении им. Если же помнить, что обстоятельства, даже те, что освящены авторитетом так называемой исторической необходимости — рукотворны, то есть изобретены людьми, их страстями, умом и безумием, то неравная эта борьба в ее будничном обличье — ни грозного вмешательства богов, ни мерной поступи неумолимого рока! — откроется как трагедия повседневности, ее серой, печальной обыденности.

Отобрали шинель, увезли дочь, отняли сына...

Лидия Чуковская в феврале 1940 года закончила повесть о том, как у женщины по имени Софья Петровна, работавшей машинисткой в одном из ленинградских издательств, арестовали сына.

Это было написано под прямым воздействием окружающей жизни. Вокруг были примеры, много примеров. Собственная судьба тоже могла быть примером. Если не сына, то мужа, если не мужа, то сына или дочь, а то и всех вместе — под корень!

Лидия Чуковская рассказала о том, как у матери отняли единственного сына.

(В наши дни эта материнская трагедия выглядит иначе, но она не отыграна, и бесчеловечная ее сущность — та же.)

Недреманное кремлевское око озирало просторы страны в уверенности,

что все будет шито-крыто, что инженерия человеческих душ в умелых руках соответственно воспитанных инженеров, и никто, никакой кустарь-одиночка со своим слезливым вздором или — если не доглядеть! — с гнусным пасквилом не омрачит картины общенародного энтузиазма и ликования, призванной еще долго-долго вдохновлять восхищенных потомков и продолжателей.

Но кустари-одиночки, оказывается, продолжали кустарничать и в час, прошедший опасным для всякого свободного письма, по-прежнему вверялись дневнику, писали романы, повести, стихи, трактаты, чтобы потом годами прятать, перепрятывать и спасать.

И спасли.

Рано или поздно, но картина ликования и энтузиазма, оскорбительная для народа, для его памяти и здравомыслия, должна была рухнуть с парадной музейной стены. Ее место пристало занять всего лишь картине жизни, ни больше, ни меньше, только жизни, отменяющей в любом музее, даже самом патристическом, всякий парад, а тем более ложь и обман.

Если бы Софья Петровна знала, кто именно отнял ее сына, за что, по какому закону и праву, она бы, возможно, принялась бы искать управы на злоумышленника, ходила бы по передним и приемным значительных лиц, возмущалась бы, угрожала, проклинала...

Но она ровным счетом ничего не знает. На чью голову слать проклятия — не знает и того. Одно лишь она осознает ясно: те, что отняли у нее сына и нарушили мирное течение всей жизни, во много раз сильнее ее и всех других женщин, старых и молодых, коченеющих в тюремных очередях. У тех, кто прикрывает таинственных похитителей их сыновей, отцов, мужей, бесцветные, чиновные, непроницаемые лица, но нет, нигде нет лица, в котором была бы заключена причина и разгадка всего. Его нет нигде, свершившееся и продолжающееся свершаться — анонимно. Если ее сын виноват, то почему нет обвинителя, нет доказательств, нет судьи; если сын невиновен, то почему нет преступника, оболгавшего его, оскорбившего его и ее, всех их друзей?

Вот Софья Петровна, вот ее сын Коля, его друг Алики, вот славная девушка Наташа Фроленко, это понятно, вот они, вот! — а где же тот или те, кто изуродовал их честную, тихую, трудовую жизнь?

Его или их — нет. И в то же время они — повсюду. В результате их сговора или, может быть, заговора хватают одних, гонят с работы и опять же хватают других, и это выглядит, как повальная болезнь, как психическая зараза. Сослуживцы Софьи Петровны преображаются: нахлынувшее острейшее чувство самосохранения искажает лица; в одних проступают страх и стыд, в других — страх и хищничество, желание урвать у тех, кто слаб и гоним. Не случись беды с Колей, Софья Петровна сама бы, пожалуй, думала, что все идет страшновато, но правильно, и по поручению парткома-месткома, гордая их доверием, стыдясь и робея, обличала бы на собрании какого-нибудь очередного незадачливого пособника врагов. Уж на что нравился ей директор издательства, славный такой мужчина, добрый, умный, но допустила же она мысль, что и с ним что-то нечисто, раз его взяли... Что бы власть ни делала, власть права, власть знает! — и чем неотвратимее, чем таинственнее ее деяния, тем больше у нее авторитета и силы, тем больше ее присутствие в каждой жизни, в каждом доме, в каждой душе, и холодок тревоги неспроста пробегает по коже...

Лидия Чуковская писала, можно сказать, с натуры и без всяких иллюзий. Даже такое благодетельное, скромное существо, как Софья Петровна, не могло

бы расположиться столь незаметно в этой прекрасной жизни, чтобы упомянутая зараза массового безумия обогнула ее и помиловала. Только людское горе, разлившееся вокруг, освобождает ее от того, что можно назвать чарами государства. Ее уже не причислишь к числу очарованных граждан, отныне она страшится того, чему безоговорочно доверяла. Она сжигает письмо сына, бесценный для материнского сердца клочок бумаги! Она в ужасе перед новыми безднами несчастья, которые могут открыться и окончательно погубить ее Колю. Как похожа Софья Петровна на своих предшественников по русской литературе! И как невыносимо печальна ее хорошо знакомая, привычная глазу и уму беззащитность! И тем печальнее нам, что карается бесконечно огромными силами бесконечно малое в сравнении с ними существо. И силы эти не потому ли еще анонимны, чтобы ускользнуть в будущем, если не все будет «шито-крыто», от суда и ответственности?

Я был бы неправ, если б увидел в «Софье Петровне» изображение человека в беде и только. Беде предшествовало счастье, одно из лучших счастливых, какие существуют на свете: мать души не чает в сыне, а сын растет добрым и любящим. Очень простое счастье: овдовевшая женщина старательно зарабатывает на жизнь себе и сыну и самым аккуратным образом следует всем правилам государства. Лидия Чуковская сумела написать маленькие праздники своей героини: ее сделали старшей машинисткой, привлекают к общественной работе, ее ценит сам директор, ее выбрали квартуполномоченной, то есть старшей по коммунальной квартире... И сын под стать маме: его тоже замечают, поощряют, выдвигают... Жизнь, узнаваемая в каждой мелочи, в каждой психологической тонкости, во всей своей логике, которую мы охотно называли социалистической: достойный будет замечен, знающий — выдвинут, благородный — оценен...

Государство должно было бы радоваться, что у него такие граждане, такие матери и сыновья.

Скромные, почти аскетические потребности плюс добросовестная, безотказная служба плюс генетически укорененное обожествление власти плюс отрешенная от всего эгоистического, самоотверженная материнская любовь...

Это прямая линия жизни и, может быть, счастливая, но при условии, что обожествленная власть способна ответить на усердие и доверчивое послушание столь же ревностным уважением, благодарностью и надежной защитой от всех зол мира сего.

А если это условие растоптано?

Когда Софья Петровна сжигает письмо сына, то она как бы переступает невидимый порог: вся прежняя жизнь с ее логикой и ясными представлениями о хорошем, плохом и должном — позади, а впереди — терпение, одиночество, и снова терпение.

«Следователь Ершов бил меня», — эти Колины слова сгорели. Отныне Софья Петровна готова ко всему. Ты была тихой, стань еще тише, забейся в угол, ты не получала никакого письма, ни от какого сына, никто никого не бил — затаись, онемей! — и так теперь жди!

Оценим простоту и суховатую, интеллигентную сдержанность этой повести. Может показаться, что ее стиль принадлежит прошлому и наилучшим образом способствует старомодным персонажам вроде Софьи Петровны. Но это не так. Книга, лежащая перед вами, будучи достаточно современной и разнообразной по авторским вкусам и пристрастиям, свидетельствует о жизнеспособности

собности слога, восходящего к старым образцам, основанного на интересе и уважении к объективному миру и к другому человеку. Вчитаемся хотя бы в «Капитана Дикштейна» Михаила Кураева, почувствуем непрерывность литературного потока, в который ступили, силу традиции и волю смелого продолжения... Дальняя, не гоголевская ли волна плещет там по временам в гранит нового исторического берега, словно спрашивая, прочен ли гранит и так ли нов берег?

Я понимаю: почти что общее место, банальность про другого человека, про надоевший «объективный мир»... Но многие читатели, например, тянутся к документалистике. Почему? Не потому ли, что художественной литературе или тому, что ею иногда слывет, недостает просто жизни, ее человеческого и событийного богатства, ее жестко отрезвляющей реальности? Наверное, по-прежнему остается важным, чтобы писатель действительно стремился понять обступающий его мир и другого человека, то есть исходил из того, что у этой данности всегда есть свой собственный, пока неведомый ему смысл, и к этому смыслу надо пробиться. Открыть его надо! А как пробиться и открыть? Не надежнее ли всего — через точное и точнейшее описание избранного события, предмета или лица, через дарованную тебе зоркость и меткость художника Приблизительность, бойкие домыслы, напыщенное пустословие умеют, наловчившись, сходить за правду, за большое искусство, это верно, это мы все знаем, но зато, когда является сама правда с ее неотразимой художественной точностью, всякая приблизительность, как бы ни была она изукрашена, как бы ни декламировала о «вечном» и «духовном», неизбежно тушуетя и нехотя отправляется на свое подсобное место: оттенять правду.

Повести и рассказы, составившие эту книгу, не имели такого широкого читательского успеха, как «Белые одежды» В. Дудинцева, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского. Можно назвать и много другого, чем зачитываются люди в наши дни, открыв для себя поистине бесценные богатства русской художественной литературы и мемуаристики, доселе недоступные или неизвестные. В обычный круг чтения, например, вошли романы А. Платонова, Е. Замятина, В. Набокова, проза Б. Пильняка, В. Шаламова... И одновременно в том же кругу оказались первая повесть М. Кураева «Капитан Дикштейн», первая повесть С. Каледина «Смирненное кладбище» и все остальное, что вошло в эту книгу. Вошло хотя бы уже потому, что, несмотря на обилие литературных впечатлений и переживаний, было замечено и читателями и критикой. Однако есть довод и посильнее, чем «заметили — не заметили»: некоторые из этих повестей и рассказов вызвали к себе отдельный, самостоятельный интерес: в них как бы пересматриваются устоявшиеся возможности признанной прозы 70-х годов и представлена менее чинная, менее организованная, вызывающе заземленная и стихийная картина действительности. Словом, собранное здесь соединилось по признаку таланта или, точнее — художественной индивидуальности, способной воспринимать разные грани и уровни жизненной правды, ранее отторгнутые или незамечаемые. Лидия Чуковская, затем И. Грекова и Булат Окуджава, затем Фазиль Искандер и Николай Шмелев, затем Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, Михаил Кураев, Сергей Каледин, Геннадий Головин, Евгений Попов — дети разных исторических лет России: несхожи опыт, житейская философия, углы зрения и понимания вещей, художественная глубина и сила, но общее несомненно: интерес к человеку и боль за него, за его положение в семье,

обществе, государстве, за все его утраты, за все, что в нем не сбылось, за все, что осуществилось и выстояло. Бывают времена, когда литература принимает на себя защиту человека, возможно, потому, что видит и понимает его лучше, чем какая-либо наука или ведомство. Кажется, у нас такие времена никогда не кончаются, или литература слишком много на себя берет.

«Ах, Игорь Иванович, Игорь Иванович, бездна моя... мой омут!» — воскликнет автор «Капитана Дикштейна», уже прощаясь со своим героем, уже напоследок, наперед видя, как пошатнется он и рухнет на снег рядом со своим домом обычным мирным днем. — «Тех слез, что жизнь из тебя выжала, никто не сосчитает, да и слова, не сказанные тобой, кому услышать?»

Автор не скрывает, что любит и жалеет своего героя и странное испытывает чувство: все, кажется, описал, изобразил, рассказал, но чем больше рассказывал, чем тоньше догадывался, тем непостижимее оказывалось то, что можно, конечно, назвать «омутом» и «бездной», но было всего-навсего затаившейся, сжавшейся душой капитана Дикштейна. Если же подумать о том, что и душа — почти метафора чего-то такого, что всего лишь и есть зыбкое, живое дыхание человека, колебание его ума и чувства, волнение памяти и совести, то возникнет вопрос: где эти бездны и омута, пригрезившиеся писателю, какому фантастическому, неземному измерению они доступны? Ладно, был бы Игорь Иванович и в самом деле капитаном, хоть чин какой-то, а чем выше чин, как известно из газет, тем глубже душевные бездны и провалы, но капитанство дикштейновское — всего лишь прозвище, и надо добавить, прозвище бедного человека. В минуты читательского с ним знакомства он занят рублевыми и копеечными расчетами, а там, где рубли и копейки и каждая копейка в счет, не слишком ли прозрачны омута? Если же сказать, что герой повести не был не только капитаном, но и Дикштейном не был, да и вообще его как бы не было вовсе, а к началу повествования он пребывал уже едва ли не в последнем, исчезающем остатке, то только тут, пожалуй, и забрезжит некая даль. Даль в самом человеке и в его истории, вполне серьезной истории, восходящей к кронштадтскому мятежу. Мы отправимся с капитаном Дикштейном сдавать бутылки, а прикоснемся к этой спрятанной в человеческой глубине серьезности, к ее холоду. Мы приблизимся к бездне, и воображению будет трудно справиться с тем, что нам предложено: история прокатала этого человека, бывшего кочегара Балтфлота, своим катком, но человек неведомо как уцелевает, наперекор историческому уюту сохраняя объем души, форму личности... Тут и вправду есть какая-то бездна: выжить, выдержать, не распасться, жить дальше и долго под этим неустранимым давлением...

Поистине фантастикой и абсурдом веет от судьбы кураевского героя, спасшегося от расстрела единственно потому, что конвоиру приглянулись сапоги настоящего Дикштейна, но фантастикой и абсурдом — обыденности.

Может быть, думаю я, обыденность и есть сокровенный и сквозной сюжет этой книги, обыденность, в которой переплелись трагедия, абсурд, фантастика и фарс, а в итоге нам открывается человек, который ничему не удивляется, все терпит и сносит, плачет и забывает, что только что плакал, живет и догадывается, что не живет, а отыгрывает навязанную роль, и слезы его не сосчитаны, да и кому в самом-то деле считать?

Иногда такой человек словно спохватывается: ну хорошо, я мал и слаб, но не все же такие, не всех так жестоко припечатала жизнь, не всех переехала сталинская колесница, есть же где-то счастливики! Или, как спрашивает герой

рассказа И. Грековой «Хозяева жизни»: «Есть ли где-нибудь — настоящие хозяева жизни?» Спрашивающему, должно быть, не везло: каких-нибудь «псов жизни», мнимых ее хозяев, он видел, но настоящих — нет, не встречал. Однажды, было, позавидовали они с женой попутчику: молодой красивый военный, знает, куда едет, зачем, хозяин своей судьбы, а оказалось — такой же гонимый, только они с женой бегут из ссылки, а он — от доноса... А ведь он тоже завидовал: беззаботная веселая пара, живут же люди...

Не стоит, однако, сводить рассказ И. Грековой к одной, пусть и привлекательной, горькой и точной идее. Вот что писательнице интересно и дорого: вдруг пробившаяся, вспыхнувшая из-под покрова унылой, пошлой обыденности печальная, страдальческая красота человеческой индивидуальности, ее остаток. Ее чудом уцелевший остаток.

Еще долго нам всем вспоминать жестокие времена. Не мы сами, так наши предшественники надыхались за нас и для нас воздуха отмененной свободы. Вспоминает то время и Булат Окуджава в рассказе «Искусство кройки и житья», продолжающем его автобиографический цикл. Вспоминает тот самый призрак, которым равно дышали в столице и в сельских просторах, вспоминает странную настороженность и непрочность жизни. Молодой учитель решил сшить кожаное пальто, и что из этого вышло? Почти классический отечественный сюжет, и опять пустяки обыденности, горькие и горчайшие ее пустяки...

Но есть последний, верхний этаж обыденности, вместившей все несообразности, компромиссы, катастрофы и бестолочь жизни, — это край терпения, усталости, край обмана и самообмана, когда падает цена жизни, и герой рассказа Н. Шмелева «Последний этаж» способен сказать: «Надоело... Больше мне неинтересно...»

Этот старый человек, которому «надоело», начитавшийся мудрых книг и даже написавший свою (присвоенную другим), окутан словами, как табачным дымом. Если рассеять дым, останутся одиночество и разочарование. Ничто уже не привязывает этого старика к земле. Он — отвязанный, и даже находит некую усладу в том, что называет «надеждой». Вот-вот все надоевшее, неинтересное, нелюбимое оборвется — это и есть надежда.

Героя Шмелева эпоха тоже не баловала, он вкусил ее несвободы и ее страхов. Он принял ее написанную мудрость: «Повезло, остался жив по какой-то непонятной случайности — ну, и слава тебе, господи, дыши, радуйся, пока не пришел и твой черед...» Он так и жил, и дышал, и радовался, и молчал, даже когда отнимали его книгу, и вся-то его жизнь, как бы философически ни оправдывал он ее в своей исповеди, была жизнью в рамках дозволенного, безопасно, безболезненно («Я боюсь боли, боюсь мучений...»).

Что-то подобное можно сказать и о Дикштейне: те же рамки, но какая в них несопоставимая неизбежность: не поднять головы... Но почему при этом бедная, беднейшая жизнь Дикштейна написана как благо и счастье? И ее обыденность — отмывание бутылок от олифы, стояние в очереди, разговоры с женой — осмелюсь вымолвить, прекрасна? Прощаясь с героем, автор объяснил этот парадокс сполна: «Зыбь под тобой, но строгость — твоя опора; все, к чему ты прикасался, забирало тебя полностью, ибо не было у тебя иной жизни, чем вот в эту минуту...»

Помилуй бог, какая строгость? При чем тут строгость? Зыбь, незаконность существования — это понятно, бесценность каждой твоей не отнятой минуты — тоже понятно, но строгость?

И все-таки есть что-то знакомое в этой невесте откуда взявшейся строгости...

Станционный **смотритель** хотел, чтобы дочь была счастлива, и все было, как у всех, как **заведено**, прилично, нестыдно, по всей строгости порядка...

Софья Петровна, **рвѣнно** исполнявшая материнские и служебные обязанности, словно **постоянно** помнила о том, как надо правильно жить, и старалась жить именно так...

А капитан **Дикштейн** вообще был «как первый человек, почувствовавший необходимость **понять** смысл и значение каждого слова, каждого своего поступка и действия» и тут же понимание свое обращавший «в правило, в закон» и не позволявший **«себе отступать от закона»**...

Строгость **маленького** человека, поверившего, что законы и заповеди существуют для **исполнения**, чтобы облегчалась и верно направлялась общая жизнь...

Эти **маленькие люди** ведут себя так, словно кто-то повсюду неотлучно не сводит с них **взгляда**, **будто** кто-то когда-нибудь потом с них непременно спросит, а так ли жили?..

Герой рассказа **Шмелева** явно отделяет себя от «человека с улицы». Но находит, что кое-что в системе рассуждений стоиков («Человек может быть счастлив и на дыбе», например) могло бы быть «полезно и обычному, рядовому человеку со всеми его страстями и слабостями, могло бы уберечь его от ненужных страданий и несчастий, на которые он по большей части напрашивается сам, без всякого толчка извне...»

Что и говорить, **мысль** интересная: если малые мира сего не будут «напрашиваться», то это **позволит** им сохранить силы, если «не для счастья, то хотя бы для душевного **равновесия**» и некоей удовлетворенности собой и миром..

Трудно **поверить**, что герой **Шмелева** где-то в конце 40-х годов написал хороший роман, где его занимали не «гигантские исторические смещения», а судьба человека в **ее** **обычном**, естественном течении. Тем более, что роману сопутствовало **убеждение**, что гигантские смещения — «только рябь на поверхности огромной **толщи** жизни, а сама жизнь в действительности заключается не в них, а в чем-то **другом**, что происходит каждый день со мной и моим соседом, и даже не в этом, а в том, что происходит во мне, именно во мне и в миллионах таких, как я, **которым тоже** надо каждое утро вставать на работу, пить, есть, растить детей, думать о близких, тянуть свой воз, пока есть силы, и в конце концов умирать».

Когда-то **Юрий Трифонов** писал об исторических смещениях, как о сдвиге геологических **пластов**, потоках лавы, сползании ледников. От его героев мало что зависело, но **они-то** зависели, их-то несло и крутило в водовороте...

А сочинитель **романа у Шмелева** что-то толкует про «рябь на поверхности», про то, что люди, как **всегда**, растят детей и, как всегда, умирают... Он словно не понимает, что в том, как люди растят детей и как умирают, всегда есть новизна. Иногда — **трагическая новизна**, далекая от нормы чудовищно и требующая «исторических **смещений**» для возвращения к норме.

Может быть, **исповедью** своего старика Николай Шмелев напоминает нам о густых облаках **высокоинтеллигентных** слов, за которыми нередко скрывается нравственное **поражение** человека, его капитуляция перед требованиями времени, желающие **выглядеть** победой.

Жизнь «надоела», потому что ему некого и нечего любить. Любовь — это дополнительная боль (за другого, за другое), а боли он старался избегать.

Прочитав рассказ Шмелева, я лучше понял, кто такой Лешка Воробей из «Смиренного кладбища» С. Каледина, и почему он такой несчастный. Он из тех, кто «напрашивается сам» на страдания и несчастья, «без всякого толчка извне», и потому, надо полагать, Каледин напрасно его жалеет. Тот, кто напрашивается, как известно, получает свое, и благородное общество тут не виновато.

«Смиренное кладбище» — тяжелое чтение, и неудивительно: написана тяжелая работа. У могильщиков своя технология, и воспроизведена она профессионально, дотошно, почти с энциклопедической тщательностью и полнотой. Поначалу можно опешить, автор с читателем не церемонится. Что такое «перезахоронка» не знаете? Сейчас объясним. А что с телом покойника делается в суглинке, например, или в песке? И это объяснить можно... Но технология всего лишь технология, работа, и делают ее люди. А люди везде люди, и везде они интересны, если их разглядеть и понять, как сумел это сделать Каледин. И на смиренном кладбище, оказывается, жизнь, да еще какая — трудовая, кипучая, со страстями, сделками, коммерцией, подсидами — плоть от плоти остальной жизни, заградной. И люди там — алчные, жестокие, наглые, опустившиеся, безвольные — тоже не в ограде родились.

Что это? Новый физиологический очерк? Новый натурализм, беспощадный вровень веку? Реакция на прекраснодушные, благовоспитанные сочинения о гигантских стройках и министерских кабинетах? На респектабельное краснбайство, выдающее себя за пламень духовности?

Может быть, это просто энергичное заземление той казенной, «жизнеутверждающей» патетики, которой был полон наш государственный воздух до апреля восьмидесят пятого года? Может, у Геннадия Головина и Людмилы Петрушевской тоже что-то в этом роде? Если общество не устает себя хвалить, кто-то должен остудить эти восторги?

У Каледина все люди живые; возник, два слова сказал, исчез, а все равно живой, и какие бы они все ни были — пьянь, жулье, полуголовщина, — оттого, что живые, к каждому интерес: откуда взялся, почему такой, что с человеком случилось? И хоть нет ответов, нет совсем, что-то мы все-таки прозреваем, о чем-то догадываемся: о неблагоприятии семьи, всей сферы общественного воспитания — это понятно, но еще, может быть, о самом существенном: о недостающей, долгие годы убывавшей человечности.

Словом, не стало в душе человека упора: не за что зацепиться, упереться не во что, скользит совестливая мысль и проскальзывает, пролетает, не задержавшись, и свободен человек, и гуляет себе, как хочет...

Сколько накуролесил Лешка Воробей! Не биография у бригадира бюро похоронного обслуживания, а сборник приключений, а приключение первое, исходное, первотолчок всему прочему бешеный: бегство из дому от мачехи ненавистной, от отца, избившего «доходящую от рака мать»... А потом — скитания, колония, водка, грязь, водка, водка, сам бил, его били, до инвалидности, до глухоты брат родной череп раскроил... Отгородиться от таких или их огородить?.. Но откуда тогда свет, узкая, как любят писать, полоска в этой черноте? Или за черноту за кромешную принимаем ту же обыденность, но чужую, непривычную, где тот же Лешка — труженик безотказный, любимец церковных старушек и надежный товарищ, если ты — по-товарищески... Помните ли про строгость маленького человека? Казалось, невозможная, немислимая, она

оживает или рождается в Лешке в каких-то нетвердых еще очертаниях: он словно открывает для себя, что в этом мире без правил какие-то правила доброты и справедливости есть... Он подчиняется им, когда на собрании признается, что «бесхоз копал» он, а не Кутя, и, значит, увольнять Кутю, ветерана войны, горького пьяницу, не за что... И тогда уволят Лешку, и получится какой-то тупик: другого защитил, а себя, похоже, погубил... Нет, не встал начальник, не сказал: это я послал его копать бесхоз. Это даже вообразить нельзя, чтобы он сказал такое. Такое в повести не обсуждается. Лешка после больницы нельзя пить, но он, промахиваясь, льет водку в стакан.

И все-таки свет, свет в черноте, свет там, где, кажется, ничто светлое уже не могло воспринять. И классическая коллизия в конце: не достать до начальника, мал начальник, кладбищенская крыса, но не достать, не пронять. Доходное место у начальника, надо войти в положение человека, и причем тут какие-то ваши строгие правила, какая-то справедливость? Даже сам господь бог, на которого в минуту душевного смятения оглядывался Лешка Воробей, если подумать, тут совсем ни при чем... Доход выше бога...

Иногда говорят о богооставленности, имея в виду не обязательно отсутствующие идеи бога, но непременно чего-то высокого, нравственного, разумного, с чем желательно соотносить жизнь. Читая «Свой круг» Л. Петрушевской, я невольно думаю о богооставленности этого круга. Он, может быть, и не таков, но тогда героиня рассказа, описывающая круг своих друзей, награждает его своей собственной богооставленностью. Обыденность у Петрушевской полна драматизма, но он мелок и вздорен; глаза рассказчицы словно ищут что-нибудь грязное и низкое; очень долго кажется, что такому восприятию оправдания нет; разве что дурной, завистливый характер и грубость натуры. Но оправдание найдется: героиня-рассказчица смертельно больна, ее раздражительность и озлобленность должны быть понятны, а жестокое обращение с сыном во имя его будущего благополучного устройства призвано нас сначала возмутить, а потом разжалобить. Я думаю, почему скопившееся раздражение против этой женщины и ее круга, даже после получения информации о смертельной болезни, сильнее жалости, которая не спешит возникнуть. Эта бедная женщина, — вероятно, так нужно говорить, — отчаялась, и отчаяние, видимо, убило в ней всякое милосердие, доброту, любовь. Однако, сам тип женщины, изображенной в рассказе, для Петрушевской не нов: они попадались и прежде и без всякой смертельной болезни и умопомрачительной ревности смотрели вокруг теми же ненасытными скандальными глазами. Я бы сказал, что в них нет ничего от взгляда Софьи Петровны, разумеется, на чей-то тонкий вкус, узкого, убогого и ныне превзойденного...

Чистые линии жизни, простые и доверчивые, где вы? Что случилось? Или их нет и не было никогда? Или каждому таланту свое: свое зрение, своя мораль, своя храбрость, свой жизненный опыт, от которого танцуют, как от печки? Или — с грустью и ужасом спросим себя — так измельчала, так иссобачилась жизнь, и человек ныне таков? И скучные чистые линии — сюда сойти «грех», туда ступить «стыд» — позади?! И язык уже не держит слов, и в сладких приступах пробалтывания чудится прелесть новой современной свободы и всеобщей откровенности...

Люди у Петрушевской словно выпали из традиции, они существуют здесь и сейчас, и наполненные минуты Дикштейна — не их время. Они выведены за пределы культуры, хотя, кажется, думают, что принадлежат ей. Самое печальное, что они склонны образовывать новую традицию, и надо быть благодарными

Петрушевской, что она живописала реальность этого толка и обозначила ее перспективы. Перспективы распада.

Метаморфозы все того же маленького человека? Терпение и скромность, обернувшиеся агрессивностью, цинизмом и вседозволенностью? Нет, это истине новый круг, люди нового призыва, и любовь, или то, что от любви осталось, в центре круга. Маленькому старомодному человеку с его недоразвитыми любовными инстинктами тут делать нечего...

Но, может быть, сколько хороших писателей, столько и «новых кругов»? И в одну и ту же вроде бы всем известную жизнь ведут разные двери, и разные открываются картины одного и того же? Кто-то видит душераздирающую драму, а кто-то — напыщенную комедию, разыгранную в сто первый раз...

А что видит Татьяна Толстая в своем «Факире»? Что видит в людях и ситуациях, которые нетрудно истолковать «по Петрушевской»? Она видит другое: восполнение несбывшегося, неслучившегося, пусть смешное, жалкое, суетное, мелкое, но восполнение, праздник приобщенности к чему-то высокому, необычному, значительному... И — отрезвление, и разрушение того, что и так уже потрескивало под твердыми пальчиками иронии, и конец миражам, театральным восторгам, фальшивым ряженым и мнимым суженым, и попробуем еще раз восполнить недостающее жизнью: «Воспоем пустыри, бурные травы, холод земляных пластов под боязливой ногой...»

Жизнь сползала в фарс, это длилось годами, пространство подлинного и серьезного сокращалось, и литература не могла не почувствовать, как обесценивается здравый смысл, как нарастает контраст между помпезностью всеохватного политического театра и запущенностью прозаической действительности, между новыми вельможами и людьми с улицы. Бывают состояния, когда количество несообразного, глупого, лживого, фальшивого растет и растет, достая до абсурда, и тогда люди нередко спасаются тем, что смеются. Конечно, выходит смех странный, даже какой-то неловкий, потому что впору плакать и сострадать. Или негодовать, например, и возмущаться. А отдельные люди упрямо смеются и другим предлагают смеяться и насмешничать — во спасенье.

Сюжет в повести Геннадия Головина поначалу простейший: пьяные похождения русского богатыря Василия Пепеляева в заштатном, захудалом городке Бугаевске. И настолько они захватывающи, а подробности их столь увлекательны и даже как бы самоцельны от своей увлекательности, что поневоле забываешь про какой-то «день рождения покойника», обещанный и объявленный автором. Правда, подвиги Пепеляева, вдохновленные систематическим, почти научным употреблением стеклоочистителя «Блик-2», в какой-то момент могут показаться утомительно затянувшимися, но это на чей вкус.

Есть, есть обаяние в пепеляевском пьяном трепе, кураже, в замысловатых фантазиях широкой и вольной его натуры! И смешно нам, и весело, и грезится даже какое-то поэтическое или эстетическое оправдание лихого «алконавта» — свободно живет человек! — и вроде бы надобно крикнуть что-то острагующее, презрительное, гневное, да что-то не кричится. Автор видит: некому кричать, да и сам кричать, что гибнет человек, не станет. То ли гибнет, то ли отдыхает на просторах отечества...

Из-под талантливого иронического пера талантливый вышел «алконавт»! Но мало ли мы с теми талантами встречались? На линии Москва — Петушки, например. Или у Шукшина. В заслугу Головину надо поставить другое: кошмарное протрезвление его героя. Обстоятельства повернуты так, что он

сочтен погибшим, и уже похоронен. Он живой, но никто тому не рад. Мертвый, он лучше: он — член самоотверженного экипажа самоходной баржи, героически погибшего в борьбе с пожаром. Старушка мать окружена заботой, ходит на могилку и впервые за долгие годы живет в покое, по-людски...

О, чудовищное общество людей! Ты предпочитаешь мертвых — живым! С живыми надо возиться, их надо просвещать и воспитывать, в них нужно пробуждать гражданские и сыновние чувства. Это так негуманно отталкивать живого Пепеляева...

Но уйдем клокочущий гнев.

Ситуация абсурдна, Кульминация в развитии алконавтики. Возмездие, расплата. Что посеял, то и пожал...

Но отчего в этом абсурдистском взрыве тривиального сюжета нет и при- меси сухой моралистики? Или в разбитной веселой легкости повествования крылось и незаметно накапливалось что-то тяжелое и серьезное? И оно должно было когда-то сказаться и проявиться чем-то совсем далеким от снисходительного смеха — приливом горечи. На мгновение, на кратчайшее, вдруг открылось, прорезалось: чудо чудеснейшее, воскрешение сына из мертвых, «н о н е х о т е л а э т о г о ч у д а д у ш а!»

Душа матери не хотела. Этого чуда.

А была мать богатыря Пепеляева «ветхая, как гнилушка», «печать послушания и старой печали» лежала на ее лице, а глаза были словно подернуты «сумеречной водой»... И вспоминалось ей, «как все жалели ее; как начальник габардиновый под локоточек держал; как богато музыка играла; как сладко на виду у народа плакалось; как полноправно богу жалилась, милости прося; как ладно, по чину, поминали; как смирно и хорошо на могилке все эти дни было...»

Строгие, правдивые, завещанные берега... Только-только повернула туда ее жизнь, и уже назад пошла. Где явь, где сон? И для нее, и для нас? Где реальность, психологическая правда, и где вольные вольности беспощадного сатирического жанра? Или на последнем этаже человеческой усталости и терпения — по всей правде психологии! — он-то и может случиться: отказ от чуда.

Кто отнял у старухи единственного сына? На какие мировые и государственные силы кивать?

Настал день рождения покойника. Вслед за автором оставим вопрос, что называется, открытым: возродится или не возродится богатырь Василий Пепеляев? Ну, хотя бы, как обыкновенный человек, без богатырских замашек, возродится?

Впрочем, как говорит некто из очереди (в рассказе «Тетя Муся и дядя Лева» Евгения Попова): «Человек бедный. Функция — бормотать. Выводов, обобщений — не надо».

Пошел и пошел себе бедный человек Пепеляев от родного крыльца прочь, а куда придет — неизвестность.

Какие могут быть из этого факта обобщения и оргвыводы?!

Но сам некто из очереди, бормочущий, как покойный, и наслаждающийся бормотанием, как птица дением, от обобщений не уберется.

«Ах, непременно скучны все эти мышинные подробности бытия», — сказал он. А потом растрогался: «Мышинные серые мелочи жизни! О, как прекрасны вы!» И снова разочаровался: «Все прошло, проходит, и пройдет, и бог знает, зачем только и жили люди на земле, если они занимались такими мелочами».

В самом деле: чем занимался, например, герой рассказа Фазиля Искандера с неоправданно восторженным, риторическим названием «О, Марат!?»

Занимался он, положим, в основном тем же, что и остальные его сограждане, но народная молва не без тайной зависти и ехидства нахально укрупнила его фигуру, а главное — его любовный потенциал и пыл, и с огромным интересом, как в театре или на стадионе, стала наблюдать за его романами, то с какой-то лилипуткой, то с укротительницей удава...

Вот у кого ни обобщений, ни выводов — у Искандера. Жизнь — не воплощаемая теория, жизнь топорщится и своевольничает, ее не загощишь в формулу, и человек, разобранный по косточкам молвой, остается по-прежнему загадкой, единственным случаем, слабым, но самостоятельным существом... И никто его не объяснит, и тайна его чувств к «приземистой тумбе с головой совенка» останется нераскрытой...

Установка на «бормотание» — установка на полное раскрепощение литературного слова. Кому нравится, кому — нет, но можно бормотать об одном, и можно параллельно о другом, и можно вести сразу три сюжета, а хочешь — и четыре. И чтобы была некоторая бессвязность, и связность в бессвязности и т. д. (Мастер «бормотания» — Петрушевская, или не так? Ну, тогда тот Ерофеев, что сопровождал своего героя из Москвы в Петушки.)

Допустим, герой рассказа принадлежит к некоему интеллектуальному косяку, который тянет то ли к югу, то ли к северу, а может, и не принадлежит, а только играет в эту принадлежность, но все равно приятно, будучи погруженным в очередь, бормотать славные имена друзей и знакомых, как бы окликая их на лету и даже вызывая к ним, слегка шифруя те имена — для забавы и легкого включения в текст... А еще можно вразбивку рассказывать свою жизнь, то одно, то другое из бедной и прекрасной молодости... И вспоминать юные литературные забавы, и внелитературные тоже, и цену комплексного студенческого обеда, и жалкую сумму материнской пенсии... Мало ли что можно обсудить с самим собой и воображаемыми слушателями, покорно стоя в очереди в универсаме Теплого Стана... Например, почему надо жить? Почему так трудно иным бормочущим печататься в СССР? Очевидно же, что бормотание — одна из форм приближения к истине, такого незаметного приближения, чтобы не вспугнуть...

Допустим, речь идет о приближении к истине тети Муси и дяди Левы. К «мышинным подробностям» их бытия, то скучным, то прекрасным. К жизни, от которой осталось несколько подробностей для рассказа (пыльный баян дяди Левы с зеркального шкафа, шелковый халат с птицами тети Муси и т. д.) и еще урна с прахом тети Муси, которую — урну — вполне могли перепутать с какой-нибудь другой, потому что зрители крематория оформляли фотомонтаж «Мы на субботнике»...

Урну могли перепутать, но от этого вряд ли бы что изменилось. Ее даже могли бы потерять. Но тетя Муся и дядя Лева жили, и это установленный в рассказе факт. Бормотание героя, которое так легко справляется с высокими и низкими предметами, упирается в этот факт, как в некую непрозрачную неподвижность. То — другая, суровая жизнь, постепенно смягчавшая, но подчиненная тому, что прошло, и замороженная прошедшим. Ее так легко попрекнуть «мелочами», которыми она занималась, но медитирующий, то есть бормочущий, в очереди за едой понимает, что на поверхности жизни всегда чаще всего разные мелочи: эта очередь, еда, которую нужно запасти, и мольба: «Господи, дай силы жить и не уставать к вечеру!»

...Эта книга, благодаря художественному таланту ее авторов, вместила много нашей общей истории. Но это — человеческая история, и она состоит из людей и их насущных забот. Из того, что происходило и происходит каждый день. Из ленинградской очереди тридцать седьмого и московской очереди восемьдесят восьмого. Из повседневности, в которой все смешалось, и трудно уловить тот миг, когда трагедия оборачивается фарсом, а фарс — трагедией. Из непонятного, непрактичного, но неистребимого желания многих людей удерживать нравственный порядок в этом расшатанном мире.

Игорь Дедков

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ
СОФЬЯ ПЕТРОВНА
повесть
5

И. ГРЕКОВА
ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ
рассказ
61

БУЛАТ ОКУДЖАВА
ИСКУССТВО КРОЙКИ И ЖИТЬЯ
рассказ
77

НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ
рассказ
95

МИХАИЛ КУРАЕВ
КАПИТАН ДИКШТЕЙН
повесть
114

СЕРГЕЙ КАЛЕДИН
СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ
повесть
216

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ
ТЕТЯ МУСЯ И ДЯДЯ ЛЕВА
повесть
267

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ
СВОЙ КРУГ
повесть
279

ГЕННАДИЙ ГОЛОВИН
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОКОЙНИКА
повесть
297

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР
О, МАРАТ!
рассказ
377

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ
ФАКИР
рассказ
403

И. ДЕДКОВ
МЕТАМОРФОЗЫ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА,
ИЛИ
ТРАГЕДИЯ И ФАРС ОБЫДЕННОСТИ
417

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Издательство «Книжная палата» поручило мне составить сборник современной прозы по своему, то есть моему, усмотрению, учитывая читательский спрос. Я стал учитывать. Выяснилось, что спросов несколько: вчерашний, сегодняшний, статистический... «Последний этаж», несмотря на то, что некоторые вещи, входящие в него, написаны и четверть, и полвека назад,— это разговор с читателем с е г о д н я. Так это или нет — судите сами. А свои суждения — и новые пожелания — присылайте нам по адресу 127018 Москва, Октябрьская ул., 4. Издательство «Книжная палата», «Популярная библиотека».

С нетерпением ждем ваших писем, поскольку они во многом будут определять судьбу следующего подобного сборника, который не за горами.

Сергей Каледин

Литературно-художественное издание
ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ

Сборник современной прозы

Составитель

КАЛЕДИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Зав. редакцией **Н. В. ГАНИКОВСКАЯ**

Редактор **В. Л. САГАЛОВА**

Художественный редактор **Е. Ю. ВОРОНЦОВА**

Технический редактор **В. М. СКРЕБНЕВА**

Корректор **Л. В. НАЗАРОВА**

ИБ № 101

Сдано в набор 11.04.89. Подписано в печать 24.08.89. Формат 60×90/16.

Бумага кн-журн. для офс. печ. 60 г. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. п. л. 27,0. Усл. кр.-отт. 54,95. Уч.-изд. л. 30,92.

Тираж 75 000 экз. Изд. № 176. Заказ 9—205.

Цена 4 р.

Издательство «Книжная палата». 103009 Москва, ул. Неждановой, 8/10.
Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени
издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
252119 Киев, ул. Пархоменко, 38—44.





